Працы
БДУ
№ 6-7.
1925 г.

Соцыялістычная Савецкая Рэспубліка Беларусі
Белорусская Социалистическая Советская Республика

ПРАЦЫ

Беларускага Дзяржаўнага Унівэрсытэту ў Менску

Les Annales

de l' Universitè de Minsk

1925 г.



№ 6—7.

Дзяржаўнае Выдавецтва Беларусі
МЕНСК—1925

Содержание:

Минск, 1-ая Гос. тип. „БГИ". Заказ № 2036. Тираж 1000. Главлитбел № 5514.

1925 г. № 6—7.

ПРАЦЫ
Беларускага Дзяржаўнага Унівэрсытэту.

ТРУДЫ
Белорусского Государственного Университета.

וויסנשאַפטלעכע שריפטן
פון ווייסרוסישן מלוכע-אוניווערסיטעט.

PRACE NAUKOWE
Uniwersitetu Państwowego na Białorusi.

LES ANNALES
de l'Université de la Russie-Blanche.



Содержание:

Минск, 1-ая Гос. тип. „БГИ“. Заказ № 2036. Тираж 1000. Главлитбел № 5514.

От редакции.

Настоящая книга „Трудов Б. Г. У." выходит опять соединенным, двойным номером (6—7), так как для редакции, по техническим соображениям, оказывается значительно удобнее давать сразу двойное количество листов—против определенной для отдельного номера нормы в 10 листов.

В настоящем выпуске „Трудов" редакционная коллегия, прежде всего, с большим удовлетворением может отметить значительно больший, против прежних номеров, местный, белорусский характер его.

Это касается, прежде всего, языков. В предыдущих номерах не было вовсе статей на белорусском языке; в настоящем таких статей три: одна по белорусской филологии и языку, другая—по белорусской литературе и третья—по истории Белоруссии. Кроме того, есть одна статья на еврейском языке.

В еще большей степени белорусским характером отмечено само содержание статей. Так или иначе связано с Белоруссией не менее семи статей выпуска (М. М. Піотуховича, В. Воўк-Левановіча, И. Д. Сосиса, вторая статья С. З. Каценбогена, статьи В. Д. Дружчыца, В. И. Пичета и М. Б. Вейнгера).

Начиная с настоящего выпуска, оказывается возможным составлять целые номера „Трудов Б. Г. У". из статей по одной широкой области знания. В этой книге даны статьи по так наз. „гуманитарным" наукам. Следующий, подготовляемый к печати номер „Трудов" будет занят статьями по физико-математическим, естественным и медицинским наукам.

В жизни Б. Г. У. за истекший, 1924-25 учебный год произошло немало довольно важных событий. В этом году имели место первые выпуски на рабочем факультете; состоялся I-й выпуск студентов, окончивших курс Факультета общ. наук—по экономическому и юридическому отделениям *)

---

*) Подробный отчет об этом выпуске вышел особой брошюрой.

(всего 60 человек) и 11-го июля 1925 г. состоится II-й выпуск того же Факультета (около 120 чел.). Этими выпусками заканчивается существование Фак—та общ. наук, постановление о закрытии которого состоялось летом 1924 г. Ими Б.Г.У. начал выполнение своей основной задачи—подготовки красных специалистов для различных отраслей советского строительства. Осенью текущего 1925 г. состоятся первые выпуски по факультетам педагогическому и медицинскому.

Далее, необходимо отметить реформу учебного плана и отчасти методов преподавания на педагогическом факультете, разработанную также в истекающем учебном году.

В виду того, что размеры настоящей книги превысили положенное для двойного номера количество печатных листов, подробные сведения о только что упомянутых университетских событиях, а также и хронику и статистические данные по Университету редакционная коллегия откладывает до следующего выпуска „Трудов".

По независящим от редакции обстоятельствам настоящая книга печаталась довольно медленно и довольно долго. В связи с этим в некоторых статьях не могли быть учтены коекакие вновь вышедшие работы, учесть которые авторы считали бы необходимым при нормальном порядке. Это как авторы, так и редакция считают нужным оговорить.

Минск.
4 июня 1925 г.

С. З. Каценбоген.

Ленин о государстве.

Величие Ленина заключается в том, что он, как никто до него, блестяще постиг диалектическую природу революционного марксизма. Для Ленина не существует застывших, мертвых догм, статических категорий. Словно блестящий анатом, он вскрывает покровы социальных явлений и прищуренным глазом зорко всматривается в сложный противоречивый, диалектический характер их бытия.

В руках Ленина диалектика превращается в тончайший метод исследования сложнейших социологических проблем.

Он блестяще сочетает последнее слово социологической теории с общественной практикой, отметая голые, абстрактные формулы, внося в глубокие научные изыскания богатый опыт истории.

„Мы не доктринеры, говорит Ленин. Наше учение не догма, а руководство к деятельности. Мы не претендуем на то, что Маркс или марксисты знают путь к социализму во всей его конкретности. Это —вздор. Мы знаем направление этого пути, мы знаем какие классовые силы ведут к нему, а конкретно это практически покажет лишь опыт миллионов, когда они возьмутся за дело“.

Ленин принадлежал к числу тех корифеев-классиков марксизма, которые овладели этим тончайшим оружием современной общественной науки в полной мере, до дна, которые умели находить в марксовой философии и социологии их сокровенную, революционную сущность.

Ленин, как и Плеханов, в течение трех десятков своей богатой революционной деятельности безжалостно боролся с малейшей попыткой „пересмотреть“ марксизм, с любым поползновением его исказить, опошлить или же превратить в сухое, догматическое, оторванное от жизни „гелертерство“.

Ленин большой, гениальный мыслитель. Но прежде всего и больше всего он—вождь пролетарских масс, и потому то он так мастерски умеет ученый язык диалектического материализма переводить на простой и всем рабочим и крестьянам доступный язык их нужд, их опыта, язык революции.

Можно считать несомненным, что одной из крупнейших теоретических и революционных заслуг Ленина является его учение о государстве и революции.

Для нас, переживших небывалый в истории социальный переворот и в течение 7 лет наблюдающих строительство первого в мире советского государства, учение Ленина должно казаться сейчас, как нельзя более простым и ясным. Следует, однако, припомнить, что основные элементы современной пролетарской государственности были намечены Лениным задолго до Октябрьской революции, чтобы понять все неизмеримое значение его учения о государстве и революции.

Ленин не ставил своей задачей заполнить брешь в марксовой социологии, дополнить ее новым учением о сложнейшем общественном феномене—государстве.

Нет. Анализ государства, его типичных форм, их генезиса и эволюции был дан блестяще Марксом и Энгельсом и до сих пор не превзойден.

Однако, на протяжении десятков лет, многочисленные случайные попутчики марксизма до того исказили его основные положения, что несомненно большой и неоспоримый заслугой Ленина является предпринятая им труднейшая задача восстановления марксова учения в его подлинной чистоте.

Известно, что Маркс и Энгельс относились самым беспощадным образом ко всей идеологии современного буржуазного общества. Особенное их внимание привлекала борьба прежде всего с религиозной и правовой идеологией, наиболее мощными устоями классового общества.

В „Людвиге Фейербахе“ Ф. Энгельс отмечает, как главную задачу „критическое преодоление идей права, государства, морали, эстетики, философии и исследование их происхождения из материальных условий общественной жизни“.

Для буржуазных юристов право, государство—абстрактная идея, конструктивная юридическая формула, существующая an und für sich, вне всякой связи с общественной материей, с социальными, производственными отношениями.

Современная правовая идеология—наиболее приспособившаяся к условиям капиталистического строя.

Она неполно и извращенно отображает в своих нормах реальные общественные отношения.

Она прикрывает их фиговым листком юридического лицемерия.

„Декларация прав человека и гражданина“, демократия, свободы—это, будто-бы киты современного государственного права. Но в том и заключается ложь современного буржуазного права, что оно неадэкватно реальной действительности, что рядом с официальными предусмотренными конституциями правительствами существует подлинная и единственно реальная закулисная власть, невидимые нити которой в правлениях трестов, синдикатов, королей нефти, стали и угля. Эти Nebenregierungen и есть подлинное, ничем не замаскированное правительство, но их удобнее оставлять в тени, заслоняя фолиантами законов.

Что такое государство по Марксу и Энгельсу?

Для них это понятие скрывает определенные общественные отношения.

Для них в государстве, как фокусе, концентрируются в наиболее ярком виде все противоречия классового общества. Государство есть продукт общества на известной ступени его развития.

„Это есть власть, вышедшая из общества, но поставившая себя над ним и мало-по-малу, обособившаяся от него“.

Государство есть далее организация господствующего класса для защиты от неимущих.

Для достижения этой цели эта организация должна быть и не может не быть органом насилия, которое оно осуществляет через свой бюрократическо-военный аппарат.

Буржуазные юристы, творцы специфической, наиболее консервативной правовой идеологии, гипостазируют явления права, отрывают его от материнской пуповины, от скрывающихся за ним, порождающих его материальных, экономических сил.

„Государство, говорит Ф. Энгельс, сделавшись самостоятельной силой, независимой от общества, создает тотчас дальнейшую идеологию. Для политиков по профессии, для теоретиков государственного права и юристов-цивилистов связь государства с экономикой совер-

шенно исчезает. Так как в каждом отдельном случае экономические факты должны быть юридически мотивированы для того, чтобы быть санкционированными в форме закона, и так как, кроме того само собой разумеется, приходится считаться со всей уже действующей системой права, то поэтому юридическая форма, якобы, должна быть всем, а экономическое содержание ничем".[1])

Несколько классических определений понятия „государство" докажут нам насколько прав Ф. Энгельс.

„Государство, по определению Зейделя, есть совокупность людей одной страны, об'единенных единой волей властителя".

Это определение совершенно элиминирует социальную дифференциацию в обществе, представляя его себе, как некое гармоническое единство, сознательно об'единившееся под скипетром властителя.

Еще ярче вскрываются особенности буржуазной правовой идеологии в определении американских юристов:

„Государство—союз свободных лиц, соединившихся вместе для общего блага, для мирного пользования собственностью и для осуществления справедливости по отношению к другим" [2].

Ленин прежде всего и более всего борется с теми буржуазными и мелко-буржуазными идеологами, которые „поправляют" Маркса таким образом: что государство выходит органом примирения классов.

---

[1]) Гегель уже разграничивал понятия „общество" и „государство". Но он имел в виду не конкретное, историческое государство, а идеальное, „законченное политическое государство" („Der vollendete Staat"). С этой точки зрения государство осуществляет всеобщую волю, а общество является ареной борьбы различных частных интересов. В „Rechtsphilosophie" Гегель трактует общество, как „Kampfplatz des indiwiduellen Priwatinteresses aller gegen alle", а государство, как „Sittliche Ganze die Verwirklichungder, Freiheit", цель же государства „das allgemeine Jnteresse".

В Гегелевской философии права Маркс усматривал самую последовательную, содержательную и законченную критику немецкой государственно-правовой философии. В „Еврейском вопросе" Маркс вскрывает различную природу государства и „гражданского общества".

„Политическое государство относится к гражданскому обществу так же спиритуалистически, как небо к земле". Свойства, приписываемые Гегелем идеальному, „законченному" государству буржуазные юристы и социалисты переносят на современное. Ludwig Stein (Einführung in die Soziologie 1921, S. 286,) утверждает, что der Staat repräsentiert das Allgemeine, das gattungsmässige, kurz die Interessen der Gesamtheit ohne Ausnahme".

[2]) Русская школа государственного права столь же умело затушевывает истинную социологическую природу государства, как западная и американская.

Проф. А. С. Алексеев („Русское Государственное право", стр. 147) уверяет, что государство осуществляет „высший общественный интерес".

„Определяя современное государство, говорит он, союзом *общественного* господства, мы этим подчеркиваем ту его отличительную черту, которая характеризует его как *союз равных, а следовательно и свободных людей,* признающих над собой не личную власть, а только власть общественную".

Аналогичное определение государства дает Н. М. Коркунов (Русское Государственное Право, стр. 27).

„Государство есть общественный союз *свободных людей* с принудительно установленным *мирным* порядком посредством предоставления исключительного права принуждения только органам государства".

После работ Ленина о государстве и после богатого опыта со всевозможными „свободными", „демократическими" чуть-ли не „социалистическими" государствами на Западе вряд ли кто-либо сейчас поверит тому, что государство это союз равных и свободных людей.

И тем не менее проф. Магазинер до сих пор жует старую, никуда негодную жвачку, ув ряя, что «служение классу в ущерб целому есть извращение правовой роли государства».

Вот, если бы советское государство служило не рабочему классу и к естьянству, а всему „целому" (т. е. буржуазии и помещикам), тогда бы оно было удостоено наименования «правового государства»?!

Наша задача, говорит Ленин, состоит прежде всего в восстановлении истинного учения Маркса о государстве.

Государство для Ленина, как и для Маркса и Энгельса, есть продукт и проявление непримиримости классовых противоречий и орудие эксплоатации угнетенного класса.

Проф. П. Новгородцев в своей статье „Спорные вопросы в истолковании политической теории марксизма“, помещенной в т. I „Трудов русских ученых за границей“ верно отмечает, что в отношении политического учения марксизма установились свои предрассудки, свои „fables conwenues“.

Одним из наиболее распространенных и укоренившихся предрассудков является утверждение будто бы Маркс, в отличие от современного русского коммунизма, мыслил диктатуру пролетариата в форме демократии.[1])

Вторым предрассудком являются суждения о воззрениях Маркса и Энгельса на процесс отмирания государства.

Ленин мастерски доказывает совершенную несостоятельность обоих предрассудков, главным образом в своих работах „Государство и Революция“, „Пролетарская Революция и ренегат Каутский“, „Тезисы на I-м Конгрессе Коммунистического Интернационала о буржуазной демократии и диктатуре пролетариата“ и др.

В своей статье о профессиональных союзах и в упомянутых трудах Ленин обрушивается на тех, кто „ни одной страницы не понял в „Капитале“ Маркса, которым теперь клянутся у нас, без исключения, все социалисты всех стран“.

„Они, говорит он, воображают, что может существовать внеклассовая или надклассовая демократия, что демократия в современном обществе (пока капиталисты остаются при собственности) может быть иная, что может быть демократия не буржуазная, т. е. „в действительности, прикрытая фальшивыми лживыми демократическими вывесками, буржуазная диктатура“.

Итак, последнее слово современного, так называемого, правового государства—демократия „есть только насквозь лицемерное прикрытие буржуазии“.

„История XIX и XX веков, говорит по этому поводу Ленин, еще до войны, показала нам, что представляет собою на самом деле хваленая „чистая демократия“ при капитализме. Марксисты всегда утверждали, что чем развитее, чем „чище“ демократия, тем более непри-

---

[1]) К. Каутский, упрямо защищающий „демократию“, уверяет, что „словечко“ диктатура „случайно“ обронено Марксом.

Проф. Новгородцев („Труды русских ученых за границей“. Т. I, стр. 119) великолепно парирует (конечно, не для защиты марксизма!) подобные извращения учения Маркса и Энгельса.

„Маркс и Энгельс нигде открыто не защищали права меньшинства на господство. Напротив, они предполагали, что пролетарская революция в самом понятии своем носит идею господства большинства. Но, как правильно указал Троцкий в своем ответе Каутскому (Terrorisme et Commuuismë“, Pétrograde, 1920), Маркс не видел никакого противоречия со своими взглядами в том, что Парижская Коммуна стремилась определить волю Франции, не справляясь с действительным мнением страны. Маркс полагал, что пролетарская революция в самой идее своей носит волю большинства и осуществляется в интересах большинства. При этом, с точки зрения его учения, безразлично, начинается ли социальная революция большинством или меньшинством; если это настоящая социальная революция, для которой пробил час, то хотя бы она и начиналась меньшинстом, она в существе своем есть всегда революция большинства“.

Писания Каутского, Кунова et tuti quanti Новгородцев справедливо называет „модернизацией марксизма“, имеющей в виду скорее практические задачи, чем чисто научные.

крытой, грубой и беспощадной становится классовая борьба, и тем очевиднее гнет капитала и диктатура буржуазии. Дело Дрейфуса в республиканской Франции, кровавые расправы вооруженной капиталистами армии наемников над бастующими рабочими свободной и демократической американской республики,—эти и тысячи других подобных фактов раскрывают правду, которую буржуазия старается напрасно скрыть, а именно ту правду, что в самых демократических республиках царят террор и диктатура буржуазии, проявляющиеся открыто каждый раз, когда власть капитала начинает, как будто терять почву под ногами. Империалистическая война 1914-1918 г. г. раз навсегда доказала даже отсталым рабочим, в самых свободных республиках, что настоящая буржуазная демократия носит характер диктатуры буржуазии... Именно война раскрыла рабочим глаза более, чем что-либо другое; она сорвала с буржуазной демократии ложные прикрасы и открыла народу всю бездну спекуляции и погони за наживой, которые проявились во время войны и в связи с нею".[1])

Различные формы современного государства, вплоть до демократической республики, остаются ничем иным, как формами одного и того же же типа государства, буржуазная эксплоататорская природа которого сохраняется и достигает даже апогея в демократической парламентской стране.

Подлинная демократия есть власть большинства народа—власть трудящихся. Ее не может быть, там, где царит демократия имущих, опирающаяся на подкупную печать, войска, полицию.

Государство есть историческая категория. Являясь продуктом определенных антагонистических социальных отношений, оно должно отмереть вместе с последними.

„Общество, говорит Ф. Энгельс, которое организует производство на основе свободных и равных ассоциаций производителей, поставит государственную машину туда, где ей тогда будет место—в музей древностей, рядом с веретеном и бронзовым топором".

Государство, проникая своими широко разветвленными щупальцами в самые сокровенные поры обществ, является могучей опорой капиталистического строя.

Переход к более совершенному коммунистическому обществу невозможен при сохранении старого государственного аппарата. Он должен быть безжалостно сломлен, разбит сверху до низу.

Диктатура буржуазии должна уступить место диктатуре пролетариата.

Старый, веками существовавший, тип буржуазного государства должен смениться новым типом государства, имя которому обнаженная от всех фиговых листков—диктатура пролетариата.

Здесь впервые строится право переходного времени (от капиталистического общества к коммунистическому), которое открыто формулирует права трудящихся.

Государство пролетариата, как и всякое другое, есть орган насилия, орган классового господства.

Разница лишь та, что в буржуазном государстве имеет место насилие в интересах меньшинства, в пролетарском же государстве вынужденное насилие творится над незначительным паразитическим меньшинством в интересах огромного большинства трудового народа, в интересах окончательного раскрепощения всего человечества.

Некоторые лжетолкователи Маркса пытались утверждать, что он никогда не говорил о диктатуре пролетариата или же представлял

---

[1]) Н. Ленин. Собрание сочинений, т, XVI, стр. 40—41. „Тезисы о буржуазной демократии и диктатуре пролетариата".

себе его обязательно в верном союзе со всеобщим избирательным правом, демократией и т. д.

Однако и в „Коммунистическом Манифесте“ в 1847 г. и в „Критике Готской программы“ в 1875 г. Маркс одинаково утверждал, что в переходный период между капиталистическим и коммунистическим обществом государство не может быть ничем иным, как революционной диктатурой пролетариата. Насилие—повивальная бабка старого общества, когда оно беременно новым, и нет иного пути к коммунистическому обществу, как через труп капиталистического строя и буржуазного государства.

В письме к Кугельману от 12 апреля, 1871 года, Маркс говорит о необходимости „не передавать бюрократически-военной машины из одних рук в другие, а сломать ее“.

Ленин, как и Маркс, прекрасно изучил богатый опыт Парижской Коммуны. Для него Парижская Коммуна первый шаг во всемирном развитии социалистической революции. Она показала, говорит Ленин, что она ведет к социализму рабочий класс не иначе, как через диктатуру, через насильственное подавление эксплоататоров. Рабочий класс не может итти к социализму через старое буржуазно-демократическое парламентарное государство, а лишь через государство нового типа, которое и капитализм и чиновничество разбивает снизу до верху.

Парижская Коммуна впервые показала, чем должно быть пролетарское государство.

По словам Маркса „Die Kommune sollte nicht eine parlamentarische, sondern eine arbeitende Körperschaft sein, vollziehend und gesetzgebend zu gleicher Zeit“.

Истинная тайна Коммуны, говорит Ленин, в том, что это было по существу правительство рабочего класса. Наличие всеобщих выборов в Коммуну нисколько не меняет дела. Это лишь формально-организационный принцип, при определенном соотношении сил потерявший всякое значение.

Советская организация государства, контуры которой носились перед духовным взором Ленина еще в 1905 г. в огне и буре первой русской революции, и была построена по тому же типу, что и Парижская Коммуна.

„Только советская организация государства может разрушить, говорит Ленин, сразу и окончательно старый, т. е. буржуазно-чиновничий и судейский аппарат, который продолжал существовать и должен был существовать при капитализме даже в самых демократических республиках и фактически служил самым большим препятствием для рабочих и трудящихся масс при осуществлении ими демократизма. Парижская Коммуна сделала на этом пути первый всемирно-исторический шаг, а советская власть второй“.

Ленин, подобно Марксу и Энгельсу, полагал, что пролетарское государство должно быть организовано, как „единая нация“, по принципу демократического централизма.

Из этой принципиальной позиции могут быть допущены из‘ятия единственно лишь в том случае, когда в государстве имеется несколько наций.

Национальные различия отдельных государств допускают их федерирование, при обязательном, однако, строении каждого из них по принципу демократического централизма.

Диктатура пролетариата—первый этап к безгосударственному обществу.

Прекрасно владея материалистическим методом, Ленин великолепно знает, что „отмирание государства“—чрезвычайно сложный и длительный процесс.

С правдивостью и трезвостью мудреца Ленин, анализируя сложный диалектический процесс отмирания государства, устанавливает ряд его этапов.

В первую фазу коммунизма еще неизбежно принуждение и „не может быть еще полной справедливости и равенства“.

В пролетарском праве и государстве еще надолго сохранят свое значение осколки буржуазного права.

Прозорливым взором гения, глядя в седую глубь времен, Ленин говорит о том, что полное исчезновение принуждения и государства как органа принуждения, придет лишь тогда, когда наступит такое высокое развитие коммунизма, при котором исчезнет противоречие умственного и физического труда—важнейшего источника современного неравенства.

Следовательно для безгосударственного общества нужна совершенная организация жизни, которая создаст и совершенное самоуправление всех общественных отношений, которое на место управления лицами поставит распоряжение вещами и руководство процессом производства.

Учение В. И. Ленина о государстве—прекрасный образчик гениального сочетания глубокой, научной, острой, как сталь, мысли, и смелого, решительного революционного претворения ее в жизнь.

Никогда еще наука так властно не стучалась в двери жизни, как в бессмертных творениях Ленина. Неудивительно поэтому, что вокруг его учения кипят до сих пор горячие споры не только в России, но и во всем мире.

Учение Ленина о государстве обсуждается и в бесконечной огромной научной западно-европейской литературе, которая настоящей волной захлестнула книжный рынок.

В настоящее время учение Ленина о государстве приобретает особенно большой и живой теоретический интерес.

В западно-европейской литературе права и буржуазной и „социалистической“, замечается сильное стремление „научно“ сокрушить революционную основу марксизма,—его учение о государстве.

Известный берлинский историк Эдуард Мейер еще в 1907-1910 г. пытался искать корни государственности в животном мире.[1])

Проф. Фиркандт и его школа (Кнабенганс и др.) отказываются от своей старой точки зрения на государство, как социальную организацию, стоящую над обществом и с ним не совпадающую.[2])

---

[1]) Eduard Meyer „Geschichte des Altertums“, Bd. I, Kap. 1, S. 11, (3 Aufl. 1907).

[2]) В своих воззрениях на государство Фиркандт проделал любопытную эволюцию: В своих старых работах („Die politischen Verhiältnisse der Naturvölker“, „Allgemeine Verfassungs, und Verwaltungsgeschichte“) он развивает совершенно легендарную мысль о том, будто бы сущность общества в отличие от государства, заключается в той моральной или духовной связи, которая об‘единяет людей („Moralische oder geistige Mitel“). Государство же покоится на физической силе, появляясь лишь на значительно высокой ступени общественного развития.

В своих новейших работах („Gesellschaftslehre. Hauptprobieme der philosophischen Soziologie“, 1923 и в предисловии к книге Alfred'a Knabenhans'a „Die politische Organisation bei den australischen Eingeborenen“) Фиркандт уже и в обществе находит элементы насилия, лишая государство этого признака, как основного, и усматривая его главные отличительные особенности в „автономии“ во вне, в „суприматии“ внутри общества и в его „коллективной воле“ („Autonomie nach aussen hin“, „Suprematie nach innen hin“ „und“ der Existenz eines Gesamtwillens mit den nötigen Organen zu seiner Durchführung“). Верный ученик Фиркандта, Кнабенганс, делая последовательные выводы из воззрений своего учителя, приходит к выводу о том, что государство может иметь место и в безклассовом обществе.

Растет упорное стремление доказать, что и наиболее примитивные, дикие племена, стоящие на рубеже палеолита и неолита, например, австралийцы, живут в государственном строе.[1])

С другой стороны пытается сказать свое слово и ревизионизм.

Ленц обвиняет Ленина в том, что у него безгосударственное общество отодвигается чрезмерно далеко и что он придает черезчур огромное значение государству.

Г. Кунов легкомысленно сравнивает Ленина с Бакуниным, попутно договариваясь до полного отказа от марксовых воззрений на сущность государства, утверждая, что оно будет существовать столь же вечно, как и самое общество, но получит лишь иной характер, превратившись в „Sozialistische Wirtschafts—und Verwaltungstaat.[2])

На аналогическую точку зрения В. И. Ленину пришлось натолкнуться еще в 1894 году в своем споре с лидером легального марксизма П. Струве.[3])

В статье „Экономическое содержание народничества и критика его в книге Г. Струве“ В. И. Ленин коснулся воззрений Струве на государство. Струве определял государство прежде всего, как организацию порядка. Метко опрокидывая оппортунистические доводы Струве, Ленин уже тогда отмечает, что отличительный признак государства—наличность особого класса лиц, в руках которого сосредоточивается власть, чего нет и быть не может в родовом неклассовом обществе.

---

[1]) Кнабенганс глубокомысленно убеждает Э. Мейера в том, что государство не может иметь места в животном мире „aus psychologischen Grunden“. Но он охотно отказывается от „узкого“ истолкования понятия государство, связывающего его „mit schroffen Klassengegensaten“.

Государство вовсе не является организацией господствующего класса, его элементы Кнабенганс готов открыть и среди первобытных охотничьих племен.

Поэтому он и утверждает, „dass die für den Staat massgebenden Momente auch schon bei den nomadischen und Jägerstämmen vorhanden seien und somit jeder Grund fehle, hier den Ausdruck Staat oder staatlicher zu vermeiden“.

[2]) Кунов, как и Зомбарт, придерживается пошлого, вульгарного взгляда на Маркса, как двуликого Януса. Маркс ученый, социолог ведет постоянную борьбу с Марксом политиком, революционером. („Marx Kontra Marx“). Кунов никак не может переварить теории отмирания государства К. Маркса. Во всем можно бы согласиться с Марксом, если бы не эта грозная перспектива смерти столь дорогого сердцу Кунова государства.

Кунов, однако, и здесь нашелся: видите ли, Маркс, собственно, в сем смертном грехе не повинен; это его подвели утописты-анархисты. Эта «гипотеза», уверяет Кунов, вытекает «aus einem halbutopistisch anarchistischen Rewolutionarismus».

В доказательство несостоятельности марксовой теории отмирания государства Кунов вытаскивает из архива заплесневелые доводы буржуазных юристов, умиленно доказывающих „общеполезные“ функции государства. Здесь и почта, и телеграф, и железные дороги, и автомобили, и каналы, и школы, и искусство, и парки, и театры (а про тюрьмы и полицию Кунов и забыл!).

По мнению Кунова государство вступило в такую фазу, когда все граждане могут смело сказать: „Der staat sind wir“.

Это ли не оскопленный марксизм!

Таким же грубым извращением учения Маркса является утверждение Кунова о том, что пролетариат будто бы только тогда достигнет власти, когда он завоюет большинство населения

Впрочем, проф. Новгородцев может быть кое-чему и научит Кунова.

Ленин, по авторитетному признанию Кунова, глубже Каутского („Lenin ist zwar tiefer als Karl Kautsky“), но он не постиг эволюционной сущности марксова учения и думает поэтому ввести коммунизм путем голого насилия „Die bolschewistischen Führer glauben, mit Gewalt ihr Kommunistisches Ideal durchführen“. А дальше Кунов договаривается до утверждения, что государство никогда не исчезнет, что оно сохранится и в бесклассовом обществе.

Так виднейший теоретик германской социал-демократии проделывает „streng-gesetzmässig“ эволюцию от марксизма к ревизионизму.

[3]) Н. Ленин. „Собрание сочинений“ т. II „Экономическое содержание народничества и критика его в книге Г. Струве“, стр. 53, 81.

На сентиментальные ламентации „реакционного народничества“ о том, что государство должно становиться на „нравственную и политическую точку зрения“ Ленин отвечает: „Нет, вы не правы. Государство, к которому вы обращаетесь, современное, данное государство *должно* становиться на точку зрения той нравственности, которая мила высшей буржуазии, *должно* потому, что таково распределение социальной силы между *наличными классами* общества“.

Струве, подобно современным Кунову, Ленцу e. t. c., упрекал Маркса и его последователей в том, что они „увлекались“ „слишком далеко в критике современного государства“ и впали в „односторонность“.

Ленин уже тогда бросил по адресу Струве слова, которые с полным основанием могут и сейчас быть отнесены ко всем исказителям Марксовой теории государства: „Говорить о нем (о государстве *С. К.*), что оно, прежде всего (sic!?!) организация порядка“—значит не понимать одного из очень важных пунктов теории Маркса“.

С тех пор Струве проделал „блестящую“ эволюцию и непонимание „одного из очень важных пунктов теории Маркса“ превратилось в бешенную ненависть к ней.

Не отражается ли в судьбе Струве, как в малой капле вод, общая судьба всех „поправляющих“, *ревизующих* и искажающих Маркса?!

В. Зомбарт называет Ленина—„фанатическим ненавистником, аморальным человеком насилия, гениально-жестоким главарем монгольских орд, при том ученейшим „Buchmenschen“.

В то же время он отмечает, что Ленину чужд „butterweiche Pazifismus“, что он полон героизма.

„Социализм, говорит Зомбарт, лишь благодаря большевизму снова становится антикапитализмом. Иначе ему угрожала опасность стать, своего рода „Über-Kapitalismus“.[1])

Некогда Маркс в „К критике Гегелевской философии права“ справедливо указал, что „оружие критики не может, конечно, заменить критики оружия“.

Против врагов рабочего класса, против трубадуров „Über-Kapitalismus“ Ленин боролся всеми средствами — и оружием критики и критикой оружия.

В марксистской теории государства Ленин справедливо усмотрел могучее оружие критики современного капиталистического общества и всех его вольных и невольных защитников.

Бессмертная заслуга В. И. Ленина заключается в том, что он извлек из марксовой социологии наиболее драгоценные ее жемчужины и озарил их блеском своего гения.

---

[1]) W. Sombart „Sozialismus und Soziale Bewegung“. Neunte Auflage. 1920. S. 191.

С. Я. Вольфсон.

К вопросу марксизма и государства.*)

Уважаемые товарищи! Целью моего настоящего выступления является остановиться на тех основных возражениях, которые делаются в последнее время по поводу марксистского понимания государства.

Проблема государства, как никогда, остро стала в послевоенные годы перед социалистическими партиями. Диктатура пролетариата, демократия, участие в управлении государством, отмирание государства, уничтожение государства, государство переходного периода—десятки вопросов, касающихся государства, властно стали в годы войны и по ее окончании перед международным социализмом, требуя словами сфинкса: „Отгадай или я пожру тебя". Проблема государства стала той демаркационной линией, которая отделила революционеров от реформистов, марксизм от оппортунизма. Вопросы государства в нашу эпоху—это буквально вопросы жизни и смерти для политических партий. Уже в предисловии к своей классической работе В. И. Ленин писал: „Вопрос о государстве приобретает в настоящее время особенную важность и в теоретическом и в практически-политическом отношениях". За семь лет, прошедших с тех пор, как были написаны эти слова, проблема государства в социализме не только не потеряла своего интереса, но, наоборот, его значительно увеличила, хотя-бы в силу одного только факта появления на исторической арене советского государства.

Вполне понятно поэтому то особое внимание, которое уделяет вопросу о марксистском понимании государства антимарксистская литература. Если попытаться классифицировать, так сказать, труды, посвященные критике марксистской теории государства, то можно будет наметить среди них три основных группы. Первая,—выступающая против марксизма с открытым забралом. То—явные враги, пытающиеся сокрушить всю Марксову концепцию государства. К этой группе относятся Ганс Кельзен и Фридрих Ленц. Ко второй группе принадлежат псевдомарксисты, вытравляющие революционную сущность марксистской теории государства. Эти оппортунистические фальсификаторы нашей теории государства представлены в литературе вопроса Генрихом Куновым и Гербертом Сультаном. Наконец, к третьей группе я бы отнес услужливых друзей марксизма—тех из защитников Марксова учения о государстве, которые, защищая это учение от нападок критиков, попутно вносят в него элементы реформизма и оппортунизма. В последнем случае мы сталкиваемся с наиболее тонким и потому наиболее опасным искажением марксизма. Из таких псевдо-защитников марксистской теории государства следует в первую голову назвать Карла Каутского и Макса Адлера.

---

*) Речь, произнесенная на торжественном акте, посвященном трехлетию Белорусского Государственного Университета, 30 октября 1924 года.

Желая разобраться в литературе интересующего нас вопроса, мы сперва обратимся к одному из застрельщиков современной противомарксистской атаки в вопросах государства—профессору Венского университета Гансу Кельзену. Кельзен—глава формально-юридической (нормативной) школы, в последнее время завоевавшей довольно многочисленных адептов среди правоведов запада—выступил с большой работой, направленной против марксовой теории государства: „Социализм и государство".

Вся работа Кельзена—воплощение формальной логики, отправной пункт всех его рассуждений—абстрактная юридическая норма. То обстоятельство, что юридическая абстракция сплошь и рядом вступает в конфликт с действительностью, ни мало не смущает нашего ученого. В одной из своих работ („Основные вопросы государственного права") Кельзен так и заявляет: „Упрек, который часто ставят чисто формальному методу, указывая, что он дает неудовлетворительные результаты, так как не обхватывает действительной жизни и оставляет необ'ясненной подлинную правовую действительность,—этот упрек покоится на полном непонимании сущности юриспруденции, которая отнюдь не стремится ни обхватить подлинную действительность, ни „об'яснить" жизнь".

Таким образом критика, которую Кельзен осуществляет по отношению к марксизму, по своему существу диаметрально противоположна нашему методу—методу социологическому, берущему жизнь во всей ее многогранности и далеко не „логической" действительности. Формально-логические схемы Кельзена, орудуя которыми он пытается взорвать марксистскую концепцию государства, дают неподражаемый образчик метафизического подхода к одной из кардинальных проблем современной социологии.

Критикуя марксистское понимание государства, Кельзен исходит из формально-юридического определения государства, как правового принудительного строя (Zwangsordnung). Решающим при определении государства является для Кельзена то, что государство—это союз, покоющийся на господстве (Herrschaftsverband). „Это означает прежде всего не что иное, как то, что строй человеческого общежития, который называют государством,—строй принудительный, и что этот принудительный строй... совпадает с правовым строем". Характеризуя государство, как строй принуждения, Кельзен хочет этим подчеркнуть два момента: во-первых, необходимость подчиняться данному строю не зависит от суб'ективной воли тех, кто образует данное государственное единство; во-вторых, государство осуществляет свою власть путем принудительных актов. Для Кельзена существенным в понятии государства является не преследуемая им социальная цель, не его социологическое содержание, а лишь юридическая норма, определяющая государство, как некую правовую форму общественной жизни. Ничего удивительного после этого нет в том, что Кельзен не хочет и не может понять того, что в действительности является основным в понимании государства: того, что оно служит определенной социальной цели—подчинению одних классов другим. Кельзен заявляет о своем согласии с марксизмом, рассматривающим, как фикцию, всякое определение государства на основе солидарности интересов. Но он не может согласиться с тем, что государство—это орудие эксплоатации класса классом. „Определение государства, как строя в высокой степени выраженного принуждения, отнюдь не является бессодержательным. С другой стороны, совершенно недопустимо отождествление понятия государства с эксплоататорским классовым господством, т.-е. с угнетением одного класса другим в целях эксплоатации. Почему же Кельзен восстает против „навязываемых" марксизмом государству эксплоататорских тенденций и классового угнетения? Потому, что, во-первых, существо-

вали государства, основным содержанием которых не являлась хозяйственная эксплоатация; во-вторых, эксплоатация эта не может быть признана единственной целью современного государства; в третьих, мыслимо государство, целью которого является не только не осуществлять эксплоатации, но наоборот, противодействовать ей; в четвертых, современное государство путем рабочего законодательства, охраны труда и т. д. обнаруживает стремление к уничтожению классовых противоречий.

Во всех приведенных доводах блестяще сказывается бесплодный схоластизм кельзеновской теории. Эти доводы применимы по отношению к той логической абстракции, которую Кельзен окрестил государством, но они совершенно несостоятельны в приложении к настоящему, конкретному государству, государству исторической действительности, а не юридической схемы.

Существовали государства, не знавшие хозяйственной эксплоатации, твердит Кельзен. Где и когда существовали такие государства? Разве в эпоху первобытного коммунизма, эпоху бесклассового общества, т.-е. тогда, когда не было еще государства. Когда возникло государство, общество, ведь, уже расслоилось на классы, один из которых эксплоатировали другие—настоящий заколдованный круг, из которого никак не выбраться. Далее, эксплоатация—не единственная цель современного государства. Кельзен упускает из виду, что основная и главенствующая цель государства—обеспечить возможность одним классам эксплоатировать другие, охранять классовое расчленение общества. В этом единственная социальная функция государства. Эксплоатация отнюдь не цель государства: она представляет собою факт экономического порядка, на стражу которого государство ставит свой политический аппарат. Заезженные ссылки наших противников на то, что государство, мол, печется о здравии всех граждан, всеобщем образовании, строит железные дороги для всех граждан, охраняет безопасность всех граждан и т. д. эти заезженные ссылки на так-называемые „общеполезные“ функции в высокой степени несостоятельны. Да, государство заботится о санитарии, да, оно строит железные дороги, ибо тем самым оно обеспечивает минимальные предпосылки для своего собственного существования. Без наличия этих предпосылок государство попросту не сможет отправлять свои функции. В основе указанных мероприятий лежит не забота о всеобщем благе, а обеспечение тех условий, при которых государство только и может осуществлять свою основную функцию: быть организацией классового господства. „Общеполезные“ функции государство выполняет лишь постольку, поскольку это необходимо для реализации стоящих перед ним классовых заданий.

Один из козырей Кельзена: мыслимо государство, не только не содействующее эксплоатации, но даже ей противодействующее. Наш ученый имел при этом возможность сослаться на разительный пример советского государства. Но и здесь сказывается лишь достойное удивления убожество логических конструкций Кельзена. Советское государство борется с эксплоататорскими тенденциями класса капиталистов, который революция лишила его господствующих позиций, но который она не убила. Значит, этот класс существует в данном государстве; значит, он старается эксплоатировать другие классы, но эти подвергающиеся угрозе эксплоатации классы держат в своих руках государственную власть и с ее помощью противодействуют классовому врагу. Мы имеем перед собой государство переходного типа. Пролетариат никого не эксплоатирует, в данном государстве он является господствующим классом, значит данное государство не служит целям эксплоатации, не служит целям порабощения, т.-е. не является государством в том смысле, как его представляют себе марксисты. Дело в

том, однако, что марксисты свое представление о государстве строят не на принципе юридического нормативизма, а на основе живого, динамико-социологического подхода к обществу, и потому-то они понимают то, чего не понимает Кельзен: „При капитализме мы имеем государство в собственном смысле слова, особую машину для подавления одного класса другим и притом большинства меньшинством. Далее при переходе от капитализма к коммунизму подавление еще необходимо, но уже подавление меньшинства эксплоататоров большинством эксплоатируемых. Особый аппарат, особая машина для подавления, „государство“ еще необходимо, но это уже переходное государство... Наконец, только коммунизм создает полную ненадобность государства, ибо некого подавлять—„некого“ в смысле класса...“ (*Ленин.* „Государство и революция“).

В арсенале Кельзена имеется еще четвертый довод. Посмотрим, надежнее ли он тех, на которых мы уже останавливались. Современное государство социальным законодательством смягчает классовые противоречия и обнаруживает тенденцию к их полному уничтожению. Эта мысль принадлежит к числу тех, которые без всякого труда обнаруживают свое банкротство. Слишком очевидно, что если парламент буржуазного государства вотирует закон, скажем, о воспрещении изнуряющего труда женщин и подростков, об уменьшении рабочего дня в шахтах и т.д., то он это делает не „обнаруживая тенденцию“ к уничтожению классов, а подчиняясь необходимости предохранить рабочий класс от вырождения, которое больно ударит по самим же капиталистам. Разве все социальное законодательство капиталистических правительств не продиктовано этой тяжелой для них необходимостью: не давать эксплоатации рабочего класса доходить до такой степени хищничества, при которой она разлагает производительные силы страны? Да, наконец, разве „добровольные“ акты капиталистических правительств в области охраны труда не обусловливаются сплошь и рядом завоеваниями пролетариата, заставляющего время от времени своих классовых врагов итти на уступки?

Кельзен весьма озадачен марксистской трактовкой вопроса в обществе и государстве. По Кельзену, общество и государство противостоят в марксизме друг другу, как добро злу, альтруизм—эгоизму, общий интерес—личному. „Государство становится выражением безнравственного принципа, эгоистического классового интереса, общество—выражением нравственной солидарности всех. Государство—это civitas diaboli должно поэтому быть побеждено, должно „отмереть“, должно уступить место состоянию бесклассового, свободного от государственности общества, некоего civitas dei. Между концепцией святого Августина и теорией марксизма имеется, собственно говоря, лишь та разница, что Августин свой идеал предусмотрительно отнес к потустороннему миру, в то время когда марксизм путем причинного закона развития применяет его к миру посюстореннему“.

Кельзен—классический представитель того типа юристов, о которых Энгельс говорил, что для них юридическая форма—все, экономическое содержание—ничто. И потому он со своей юридической статикой совершенно превратно понял и истолковал марксистский подход к вопросам общества и государства,—подход, основанный на социологической динамике. С точки зрения Кельзена, марксизм противопоставляет друг другу, как самостоятельные категории, две формы человеческого общежития—общество и государство. Общество не знает насилия, порабощения, эксплоатации, общество — это рай, рай потерянный и рай грядущий. Государство—вместилище угнетения, подавления, эксплоатации, это—ад, ад, в котором пребывает человечество. „Стройно вышло на бумаге“. Беда лишь в том, что все это не „по

Марксу", а „по Августину". По Марксу же общество и государство отнюдь не являются противостоящими друг другу категориями. Государство—это не что иное, как обусловленная экономическими отношениями форма существования общества в определенные исторические эпохи, „продукт общества на известной степени развития"—по формулировке Энгельса. Экономика на известных ступенях развития человеческого общества заставила общество „огосударствиться", она же заставит его на других ступенях „разгосударствиться". Величайшая заслуга Маркса и Энгельса именно в том, что они перестали рассматривать государство как некую извечную норму, что они превратили его из категории логической в категорию историческую, что они не противоставили государства обществу, а подчинили его диалектике общественного развития. Макс Адлер был вполне прав, указав в своей полемике с Кельзеном, что Маркс разрушил не только фетишизм товара, но и фетишизм государства. Кельзен это мог сам понять, если бы он хорошо продумал—не говоря уже о других местах—хотя бы два следующих известных отрывка из классических работ Энгельса:

> *Отрывок первый:* „...Итак, государство не извечно. Существовали общества, обходившиеся без него, не имевшие понятия о государстве и государственной власти. На определенной ступени экономического развития, необходимо связанного с разделением общества на классы, это разделение сделало государство необходимостью. В настоящее время мы приближаемся быстрыми шагами к такой ступени развития производства, на которой существование этих классов не только перестало быть необходимостью, но становится прямой помехой производству. Классы исчезнут с той же неизбежностью, с которой они раньше возникли. С исчезновением классов неизбежно исчезнет и государство. Общество, которое по новому организует производство на основе свободной и равной ассоциации производителей, отправит всю государственную машину туда, где ей тогда всего уместнее будет находиться: в музей древностей, рядом с прялкой и бронзовым топором..."
>
> *Отрывок второй:* „...Государство является первой идеологической силой, подчиняющей себе людей. Общество создает орган для защиты своих интересов от внутренних и внешних нападений. Этот орган есть государственная власть. Едва возникнув, она старается стать в независимое отношение к обществу, и тем более успевают в этом, чем более она является органом одного какого-нибудь класса и чем более она поддерживает господство этого класса... Но, сделавшись силой, независимой от общества, государство немедленно порождает новую идеологию. У политиков по профессии, у теоретиков государственного права, у юристов, занимающихся гражданским правом, экономические отношения совсем исчезают из виду. Чтоб получить санкцию закона, экономические факты должны в каждом отдельном случае принять вид юридических отношений. При этом приходится, разумеется, считаться со всей системой уже существующего права. Вот почему юридическая форма кажется—всем, экономическое содержание—ничем. Государственное и частное право рассматриваются как независимые области, которые имеют свое отдельное историческое развитие и которые должны и могут быть подвергаемы самостоятельной систематической разработке путем последовательного устранения всех внутренних противоречий..."

Характерны далее попытки некоторых современных критиков марксизма на живом примере военной и послевоенной кон'юнктуры доказать банкротство Марксова учения о государстве. Так, напр., Фридрих Ленц, автор книги „Государство и марксизм", доказывает, что

во время войны международные политические комбинации определяли мировую экономическую ситуацию, и отсюда он умозаключает о приоритете государственного начала над хозяйственным.

Что, однако, следует из того, что государственная власть регламентировала потребление продовольствия, что она искусственно влияла на денежный оборот, что она регулировала сырьевой рынок и т. д.? Лишь то, что государство отправляло свою основную функцию, что оно, с одной стороны, претворяло экономический факт в юридическую норму, а с другой—старалось максимально использовать обратное влияние этой самой правовой нормы на хозяйственный факт. То обстоятельство, что государство, в качестве хозяйствующего суб'екта, оказывало влияние на хозяйственную жизнь страны, отнюдь не льет воды на Ленцеву мельницу. Как крупный держатель ценностей, государство может заставить в некоторых пределах колебаться биржевую кривую. Но оно это делает исключительно как экономическая единица; эта единица сплошь и рядом оказывается слабее какой либо другой и пасует перед ней: правительство Эберта перед концерном Стиннеса, правительство Пуанкаре перед трестом Люберзака и т. д. Чем же это подкрепляет Ранке-Ленцеву идею приоритета государства по отношению к экономике?

Государственный акт, правовая норма, правительственное действие — вот чем в глазах Ленца определяется мировая хозяйственная кон'юнктура конца империалистической войны. И потому лучшим эпиграфом по всем рассуждениям нашего критика могут послужить старые слова Маркса: „Поистине нужно не иметь никаких исторических сведений, чтобы не знать того факта, что во все времена правителям приходилось подчиняться экономическим условиям, и никогда не удалось предписывать им закона. Как политическое, так и гражданское законодательство всегда лишь выражало, заносило в протокол требования экономических отношений“ („Нищета философии“).

Фридрих Ленц, самодовольно читающий нотации марксизму по поводу влияния политической силы на экономическую жизнь, является одной из многочисленных жертв той идеологической аберрации, которая была мастерски охарактеризована Энгельсом в его известном письме к Конраду Шмидту от 27 октября 1890 г. Эта аберрация возникает в результате того, что обратное действие государственной власти на экономическую жизнь принимается за независимое. Некоторая относительная самостоятельность, которой обладает политическая сила, взаимодействующая с экономическим движением, принимается за абсолютную. „Отражение экономических отношений в виде правовых принципов необходимо является точно так же стоящим вверх ногами“.

Одно из центральных мест в интересующей нас критике основывается на утверждении, что между социализмом и анархизмом нет никакой принципиальной разницы.

Марксизм и анархизм—кровные родственники, ибо тот и другой стремятся к безгосударственному обществу, свободному обществу, не знающему власти и принуждения. Коммунизм, во имя которого боролся руководимый Марксом и Энгельсом Интернационал, в сущности, является подлинным анархизмом. Когда Маркс и Энгельс боролись с Бакуниным, они ставили ему в вину, что он требует мгновенной отмены государства и замены его анархией и что, с другой стороны, вся его политика ведет к замене современного государства анархической организацией, являющейся своего рода государством. Таким образом Бакунину ставилось в вину не то, что он анархист, а то, что его анархизм недостаточно последователен. Кельзен потому полагает, что вся борьба Маркса с Бакуниным была обусловлена мотивами личного характера. Мировоззрения же Маркса и Бакунина весьма близки

друг другу. „Маркс был в его политической теории анархистом, точно так же, как Бакунин в его экономической теории марксистом“. Бакунинское революционное государстго и Маркс—Энгельсова диктатура пролетариата—понятия, сходные друг с другом, как две капли воды. И если, тем не менее, эти понятия противопоставлялись одно другому, то это происходило вследствие политического задора политических противников.

Экономическая и политическая стороны марксизма ничем не связаны между собой,—они, точнее, изолированы друг от друга. Экономическое учение Маркса ведет к строгой коллективности централизованной организации хозяйства, т.-е. хозяйствующих людей, в то время как политическая доктрина Маркса явно стремится к анархо-индивидуалистическому идеалу. Кельзен разводит руками: роковое противоречие марксизма. Люди не могут овладеть природой,—заявляет он,—без того, чтобы они не овладели самими собой, т.-е. без подчинения людей человеческой организации. Это подчинение, конечно, не является эксплоататорским порабощением. Кельзен требует ответа на вопрос: можно-ли руководить по единому плану огромной массой людей, человечеством,—не прибегая при этом к внешнему принуждению? Положительный ответ мыслится им лишь в одном случае: если верить, что будущее общество, вследствие уничтожения частной собственности на орудия и связанного с ним уничтожения классов, явится солидарным обществом, которое не будет знать материальных противоречий и в котором будут иметь место лишь безобидные расхождения во мнениях; только в таком случае бу́дут охотно подчиняться строю общежития, ибо тогда органы общества будут приказывать каждому лишь то, чего он сам желает. Таков тот единственный случай, когда можно предположить, что отношение одного к обществу и к его органам не будет отношением, покоющимся на господстве, а явится отношением равного к равным, вытекающим из одинаковой воли товарищей, образующих данное общество. Этот единственный случай и утверждается анархизмом; та же гипотеза лежит в основе Энгельсова учения о том, что вместо управления личностями организуется управление вещами. Однако эта гипотеза является для Кельзена несбыточной мечтой, утопией. Пусть коммунизм принесет обществу такие очевидные экономические выгоды, что всякая принципиальная оппозиция против коммунистического общества будет исключена,—но, ведь, коммунизм это не только экономический строй, а также культурная организация, охватывающая все стороны социальной жизни. Коммунизм будет регламентировать вопросы религии, искусства, половых отношений,—это поведет не к безобидным расхождениям во мнениях, а к ужасным конфликтам. Если в обществе будущего и осуществится солидарность экономическая, то это отнюдь не означает того, что эта солидарность охватит все стороны социальной жизни. Так могут полагать лишь марксисты, которые под влиянием характерной для них переоценки экономического фактора, об‘ясняют значительнейшие исторические события исключительно производственными отношениями.

Марксизм мечтает заменить классовое государство бесклассовым обществом, но он забывает, что солидарное, братское общество немыслимо при современной природе человека. Быть может, не капитализм калечит человека и превращает его в преступника, а, наоборот, сам капитализм существует потому, что проводимая им система эксплоатации соответствует природе человека, ибо „существующий у человека мощный инстинкт—заставлять других работать вместо себя, вообще использовывать других людей, как средство для достижения своих собственных целей“. Эксплоатация—такой же человеческий инстинкт, как лень, как воровство, ревность, честолюбие. Со всеми этими

инстинктами коммунистическому обществу придется бороться хотя-бы потому, что они будут представлять угрозу его капиталистическому укладу. Таким образом и коммунистический общественный строй будет базироваться на принуждении, он будет не чем иным, как Zwangsordnunq—государством. Марксизм вынужден строить общество будущего из того же человеческого материала, из которого создано государство вчерашняго и сегодняшняго дня. Это превращает все его мечты об обществе будущего в утопию.

Анархизм также стремится к созданию бесклассового общества.

Позволяют ли указанные точки соприкосновения (даже совпадения) марксизма с анархизмом вывести формулу:

марксизм равняется анархизму

Проф. Кельзен полагает, что да. Мы же в противоположность Кельзеновской формуле выдвигаем иную:

марксизм не равняется анархизму.

Фридрих Энгельс в письме к Куно от 24 января 1872 г. очень определенно показал, где разница между Марксовым „анархизмом“ и анархической теорией, как ее развивал, примерно, Бакунин: в то время, как массы социал-демократических рабочих, также и мы, держатся такого взгляда, что государственная власть есть не что иное, как организация, которую дали себе господствующие классы—земледельцы и капиталисты для того, чтобы защищать свои общественные привиллегии, Бакунин утверждает: *государство* создало капитал, капиталист обладает своим капиталом только *благодаря милости государства.* Так как, следовательно, государство является главным злом, то нужно прежде всего уничтожить государство, тогда и капитал сам собой погибнет. Мы же говорим наоборот. Уничтожьте капитал—сосредоточение всех средств производства в руках немногих, тогда само собой отпадает государство. Тут существенная разница: отмена государства без социального переворота,—бессмыслица.

В руках у Кельзена была ленинская брошюра „Государство и революция“. Хотя бы из нее он мог усвоить, что разница между марксистами и анархистами в существенном сводится к следующему:

1. Первые ставят своей целью полное уничтожение государства, признают эту цель осуществимой лишь после уничтожения классов социалистической революцией, как результат установления социализма, ведущего к отмиранию государства; вторые хотят полного уничтожения государства с сегодня на завтра, не понимая условий осуществимости такого уничтожения

2. Первые признают необходимым, чтобы пролетариат, завоевав политическую власть, разрушил полностью старую государственную машину, заменив ее новой, состоящей из организации вооруженных рабочих, по типу Коммуны; вторые, отстаивая разрушение государственной машины, представляют себе совершенно неясно, чем ее пролетариат заменит и как он будет пользоваться революционной властью; анархисты даже отрицают использование государственной власти революционным пролетариатом, его революционную диктатуру.

3. Первые требуют подготовки пролетариата к революции путем использования современного государства, анархисты это отрицают.

Анархисты требуют „отмены“ государства; они полагают, что уничтожение государства может быть декретировано. С точки зрения же марксизма уничтожение государства может наступить лишь в результате сложного исторического процесса. В этом процессе неизбежны два фазиса, из которых один неразрывно связан с другим: первый—смена буржуазного, капиталистического государства государством про-

летарским, государством переходного типа, рождающимся в огне и буре революции; второй—смена пролетарского государства бесклассовым обществом, наступающая благодаря постепенной утрате государством его функций—„отмиранию“ государства.

Такова огромная, принципиальная разница между марксизмом и анархизмом; не понять ее—значит почти ничего не понимать ни в марксизме, ни в анархизме.

Эксплоатация заложена в природе человека, твердит Кельзен. Точно также Кельзены эпохи рабства твердили о том, что рабство заложено в человеческой природе; точно так же клеветали на человеческую природу крепостники, защищавшие свое право владеть крестьянскими душами. Не от природы—человек-эксплоататор, не от природы он эксплоатируемый, не от природы люди воруют, а от социальных условий. Изменятся социальные условия, исчезнут и те „инстинкты“, которые составляют ultima ratio антимарксистской критики. А то, что эти условия изменятся,—об этом мы не *мечтаем*, в это мы не *верим*, а это мы попросту *знаем*. Знаем со всей той твердостью, которую только способно дать нам научное понимание общественного процесса.

Не сегодня и не завтра изменятся условия—знаем. Не сегодня и не завтра они изменят человека—знаем. „Мы не утописты. Мы не „мечтатели“ о том, как бы сразу обойтись без всякого управления, без всякого подчинения; эти анархистские мечты, основанные на непонимании задач диктатуры пролетариата, в корне чужды марксизму и на деле служат лишь оттягиванию социалистической революции до тех пор, пока люди будут иными“.

Мы знаем, как долог и как мучителен путь в социалистической революции, но *знаем* и куда ведет этот путь. „Конечная цель“ нами не предугадывается,—она устанавливается самой тенденцией общественного развития.

„...Когда в ходе развития исчезнут классовые различия и все производство сосредоточится в руках об‘единенных в союзы индивидуумов, тогда публичная власть утратит свой политический характер... Вместо старого буржуазного общества с его классами и классовыми противоположностями возникает ассоциация, в которой свободное развитие каждого является условием свободного развития всех“... („Коммунистический манифест“).

Пусть же те тысячи учащейся молодежи, которые в стенах Белорусского Государственного Университета приобщаются к сокровищнице знания и культуры, помнят о том, что они дети страны, дальше других продвинувшейся вперед по пути ведущему к идеалу, который заставлял крепче биться лучшие сердца человечества... То—идеал раскрепощенного от эксплоатации и порабощения, от гнета капитала над трудом, бесклассового, истинно свободного общества...

М. М. Піотуховіч.

Францышак Багушэвіч, як ідэолёг беларускага адраджэньня і як мастак.*)

Францышак Багушэвіч у гісторыі беларускае літаратуры займае асабліва выдатнае і пачэснае месца. Творчасьць поэты становіць сабой зваротны момант у разьвіцьці беларускай грамадзянскай думкі і, апроч таго, уяўляе сабой значныя, чыста мастацкія дасягненьні. Ідэёвы бок літаратурнай спадчыны Багушэвіча асабліва зварачае на сябе ўвагу ў наш час, калі пад сьцягам пролетарскай рэволюцыі закладаюцца моцныя падваліны культурна-нацыянальнага і соцыяльнага адраджэньня Беларусі. У думках Багушэвіча, песьняра гэтага адраджэньня, можна выявіць першапачатковае зараджэньне, так сказаць, эмбрыон тых ідэалаў, якія зьяўляюцца баявым лёзунгам сёнешняга дню. Так пытаньне а Багушэвічу набывае для нас ня толькі гістарычнае, але і сьцісла актуальнае значэньне.

На правялікую жаль, ня гледзячы на ўсю вялізарнасьць гэтага значэньня, мы стаім перад фактам амаль-што поўнай адсутнасьці біографічных і ўсялякіх іншых матар'ялаў, патрэбных для об'ектыўнага высьвятленьня асобы поэты і яго творчасьці. У дадзеным пытаньні, як і, наогул, у вобласьці беларускага пісьменства, дасьледчым плугам прыходзіцца пахаць амаль-што зусім ня горaную глебу, узьнімаць сьвежую цаліну. Зразумела, што пры гэткіх варунках адчыняецца шырокая мажлівасьць гіпотэтычных пабудоў. Магчыма, што і наша першая спроба больш-менш навукова падыйсьці да пытаньня а Багушэвічу ня будзе пазбаўлена элемэнта гіпотэтычнасьці ў некаторых выпадках. Але падтрымліваньнем нам служыць думка, што гіпотэзамі пасоўваецца наперад усякая навука; тым болей ня зьбегнуць іх маладой навуцы гісторыі беларускае літаратуры.

З пачатку некалькі слоў а жыцьці поэты.

Дробны шляхціц па пахаджэньню, нарадзіўшыся ў 1840 г. у Ашмяншчыне, на Віленшчыне, Францышак Багушэвіч праходзіць навуку спачатку ў Вільні, а потым у Ленінградзе, на фізычна-матэматычным факультэце унівэрсытэта. Польскае паўстаньне 1863 г. застае яго народным настаўнікам у роднай Ашмяншчыне. Багушэвіч прымае актыўны ўдзел у паўстаньні, сур'ёзная рана ў нагу пагражае яму сьмерцю, але адзін селянін выратоўвае яго. Відаць, з мэтай замесьці свае сьляды паўстанца, Багушэвіч кідаецца на Украіну, і там, у Нежынскім Юрыдычным ліцэю атрымлівае закончаную вышэйшую асьвету. Цягнуцца потым доўгія годы службовай працы з пачатку ў Канатопе, у якасьці сьледчага, а потым у Вільні, у якасьці адваката. У 1900 г. ён у роднай Ашмяншчыне знаходзіць сабе апошні і адвечны прытулак.

*) Даклад, зроблены 30 кастрычніка 1924 г. ў Доме Культуры на ўрачыстым акце пасьвечаным 3 гадавіне існаваньня Б. Д. У.



Вось кароткія асадкі жыцьця Багушэвіча, якія можна ўстанавіць па маючыхся надрукаваных матар'ялах.[1])

Гэтыя матар'ялы ўяўляюць сабой хутчэй паслужбовы сьпіс поэты, а не біографію яго ва ўласным сэнсе. Шмат вельмі цікавых пытаньняў, зьвязаных з асобай поэты, застаецца для нас адчыненым. Ядынай крыніцай для характарыстыкі ідэолёгіі аўтара і яго моральнага вобліка ў цэлым застаецца ў нас у дадзеным выпадку літаратурная спадчына беларускага песьняра.

Некаторыя творы Багушэвіча да гэтай пары яшчэ захоўваюцца ў рукапісах, напр. „Беларуская скрыпачка“ (знаходзіцца ў Б. І. Эпімах-Шыпілы, у Ленінградзе). З надрукаваных твораў бясспрэчна самымі выдатнымі і галоўнымі зьяўляюцца два зборнікі вершаў: „Дудка Беларуская“ (Кракаў, 1891; было 5 выданьняў) і „Смык Беларускі“ (Познань, 1894, было 4 выданьні). Апроч таго, у „Нашай Ніве“ за 1907 г. надрукована некалькі прозаічных апавяданьняў Багушэвіча: „Сьведка“ (№ 9), „Палясоўшчык“ (№ 10), „Дзядзіна“ (№ 25). З больш дробных твораў можна яшчэ зазначыць надрукаваны ў „Варце“, 1918 г., № 1, стар. 15-16 і паўтораны ў выданьні „Часопісь“, 1920 г., № 2 верш „Ясьне Вяльможнай Пані Арэшчысе“ (для альбома Оржэшкавай). З імем Багушэвіча злучаюць яшчэ два маленькіх творы: невялічкае апавяданьне ў прозе „Tralalonaczka“ (Kraków, 1892) і напісанае ў форме проклямацыі апавяданьне а зачыненьні касьцела ў Крожах у 1893 г., але пэўных вестак а прыналежнасьці гэтых твораў Багушэвічу ня маецца.[2])

Мы спынімся, галоўным чынам, на разглядзе твораў, зьмешчаных у зборніках „Дудка беларуская“ і „Смык беларускі“, бо гэтыя творы вызначаюцца вялікімі вартасьцямі і з боку ідэёвага, і з боку мастацкага; імі выключна азначаецца творчая постаць поэты; іншыя творы яго—гэта драбніцы, літаратурныя бязьдзелкі.

Характар сваей музы сам поэта вельмі трапна зазначае ў вершы „Мая дудка“, якім адчыняецца першы зборнік яго твораў. Гэты ўступны верш—прэлюдыя, у якой ужо моцна гучаць агульныя акорды сымфоніі; бадзёрае allegro тут сумна абрываецца душу шчэмячым adagio... У сваёй прэлюдыі з пачатку поэта выказвае замер наладзіць сваю ліру на вясёлы мажорны тон; зварачаючыся да сваёй дудкі ён гавора:

„Заграй так вясёла,
Каб ўсе ў кола,
Ўзяўшыся ў бокі
Ды пайшлі ў скокі,
Як віхор ў полі,“[3])

Але дудка ня слухае песьняра: з яе вылятаюць мінорныя гукі енку; поэта праконваецца, што яму трэба ўзяць другі лад:

„Енчыш бяз умолку.
Не, ня будзе толку.
Кіну-ж дудку тую,
А зраблю другую.
Цяпер зраблю дудку
Ад жалю, ад смутку.
Га. Зраблю-ж другую
Жалейку смутную,—
Ды каб так заграла,
Каб зямля стагнала,
От каб як заграла:
Каб сьлязьмі прабрала,
Каб аж было жутка,
От-то мая дудка.

[1]) Максім Гарэцкі. Гісторыя беларускае літаратуры. Карский. Белоруссы. Т. III вып. 3. Петроград, 1922 г.

[2]) Карский. Белоруссы. Т. III, вып. 3, стар. 194-195.

[3]) Дудка белар. Менск, 1922, стар. 9-10.

Ну, дык грай-жа, грай-жа,
Усё успамінай-жа...
Што дзень і што ночы
Плач, як мае вочы,
Над народу доляй
І плач, што раз боляй.
Плач так да астатку,
Галасі, як матка,
Хаваючы дзеці,—
Дзень, другі і трэці
І грай сьлёзным тонам
Над народа сконам...
Кінь наўкола вокам,
Дык крывавым сокам—
Не сьлязой—заплачаш,
Як усё ўбачыш.

У гэтым уступным вершы мы маем каштоўны помнік творчай самасьвядомасьці поэты; Багушэвіч зазначае, што ён далёкі ад задач і мэт чыстага мастацтва; пэўна акрэсьлена ўстаноўка яго творчасьці на ідэёвасьць, на раскрыцьце грамадзянскіх тэм аб сконе роднага народу і аб яго долі—адсюль вынікае пераважнае панаваньне ў творчасьці беларускага песьняра мотываў нацыянальных і соцыяльных.

Нацыянальную проблему вызваленьня беларускага народу Францышак Багушэвіч асабліва шырока ставіць у сваей прозаічнай прадмове да „Дудкі Беларускай". У грунт нацыянальнай справы ён кладзе адраджэньне беларускай мовы. Гэта апошняя, па яго поглядах, галоўная адзнака нацыі. Народ, як цэльны і самастойны організм, жыве, пакуль існуе яго мова. „Шмат было такіх народаў, што страцілі наперш мову сваю, так як той чалавек прад скананьнем, катораму мову займе, а потым і зусім памёрлі"[1]). Выходзячы з гэтага прынцыпу, Багушэвіч энэргічна бароніць правы беларускай мовы. У час поўнай русыфікацыі ён адважна зазначае: „Мова наша ёсьць—такая-ж людзкая і панская, як і француская, альбо нямецкая, альбо і іншая якая"[2]). Гэта думка, зрабіўшаяся труюзмам у наш час, для часу Багушэвіча была досыць орыгінальнай і сьмелай, калі прыняць пад увагу, што тады, як зазначае і сам поэта, беларуская мова зьніжана была на ступень толькі народнага дыялекту і лічылась „мужыцкаю" мовою. З добрароднай шчырасьцю беларускі пясьняр прызнаецца, што ён і сам калісь-та стаяў на гэтай позыцыі тагочасных інтэлігэнтаў: „Я сам калісь думаў, зазначае ён, што мова наша—мужыцкая мова і толькі таго"[3]). Цяпер, пераконаны ў высокіх вартасьцях беларускай мовы і ў вагромністым значэньні яе для беларусаў, поэта дае завет: „Не пакідайце-ж мовы нашай беларускай, каб ня ўмерлі. Пазнаюць людзі ці па гаворцы, ці па адзежы, хто якую носіць, о то-ж гаворка, язык і ёсьць адзежа душы".[4]) Выказаўшы гэткія погляды на беларускую мову, Багушэвіч прыводзіць яшчэ два довады аб неабходнасьці адраджэньня яе. Поэта ўказвае на бясспрэчны факт існаваньня ў мінулым беларускай мовы, як мовы літаратурнай: „Чытаў я ці мала старых папераў па дзьвесьці, па трыста гадоў таму пісаных вялікімі панамі, а нашай мовай чысьцюсенькай, як бы вот цяпер пісалась"[5]). І потым гэты гістарычны довад ён узмацняе яшчэ довадам этнографічным—указаньнем на існаваньне нацыянальнай культуры ў народаў меншых па колькасьці за беларусаў. З вялікім

---

[1]) Ibid., стар 8;
[2]) Ibid., стар. 7;
[3]) Ibid., стар. 7;
[4]) Ibid., стар 8;
[5]) Ibid , стар. 7;

засмучэньнем душы наш поэта зазначае: „Якаясь маленькая Баўгарыя— са жменю таго народа—якіясь-ці харваты, чэхі, маларосы і другія пабратымцы нашыя і розныя чужыя жыды маюць па свойму пісаныя і друкаваныя ксёнжачкі і газэты, і набожныя, і сьмешныя, і сьлязныя, і гісторыйкі, і баечкі, і дзеткі іх чытаюць так, як і гавораць, а ў нас як-бы захацеў цыдулку ці да бацькі—лісток напісаць па свойму, дык можа-б і ў сваёй вёсцы людзі сказалі, што піша па мужыцку і, як дурня, абсьмяялі-б“.[1])

Прадмова Багушэвіча па сутнасьці сваёй—твор публіцыстычны: яна пасьвечана абароне ідэі беларускага нацыянальнага адраджэньня і выяўленьню ўласнага credo аўтара па гэтаму пытаньню. Але ўжо і ў гэтай публіцыстыцы выяўляецца супраўдны поэта, які мысьліць вобразамі. У Багушэвіча часта ў гэтай прадмове можна канстатаваць імкненьне ня столькі лёгічна да канца разьвіць тое ці іншае паняцьце, колькі даць нам трапны і маляўнічы вобраз: поэта, як мы бачылі, прыводзіць, напрыклад, аналёгію паміж нацыянальным заняпадам народа, які губіць сваю мову, і сконам паасобнага індывідуума, якому мову займе перад сьмерцю; другі вобраз: „у сярэдзіне Літвы, як тое зярно ў гаросе, была наша зямліца Беларусь“. Асабліва гэты нахіл да маляўнічасьці выяўляецца ў тым тлумачэньні, якое Багушэвіч дае слову „Беларусь“; ён ня робіць тут філёлёгічных досьледаў адносна пахаджэньня і супраўднага значэньня тэрміна, для яго больш паважным зьяўляецца і тут даць нам трапны вобраз: „Спрадвеку, як наша зямелька, піша Багушэвіч, з Літвой злучылася, як і з Польшчай зьядналася дабравольна, дык усе яе „Беларусіяй“ звалі і не дарма-жа гэта. Не вялікая, не малая, ня чырвоная, ня чорная яна была, а белая, чыстая: нікога ня біла, не падбівала, толькі баранілася“.[2])

Гэткім чынам мы бачым, што ў „Прадмове“ Багушэвіча побач з элемэнтамі чыстай публіцыстыкі, ёсьць і некаторыя элемэнты мастацкасьці: поэта малюе тут вобразы, якія ў цэлым выяўляюць своеасаблівую романтыку мінулага.

Погляды на нацыянальную беларускую справу, выказаныя ў „Прадмове“, Багушэвіч далей разьвівае і паглыбляе ў сваіх вершах. Па-першае ён узмацняе тут сваю позыцыю довадам псыхолёгічным. У вершы „Мая хата“ поэта разьвівае думку а глыбокай органічнай сувязі, якая ўтвараецца паміж чалавекам і айчынай.

Хата, якую малюе беларускі пясьняр, гэта сымболь усей тагочаснай Беларусі з яе беднасьцю і разбурэньнем.

Бедная-ж мая хатка, расьселася з краю,—
Між пяскоў, каменьняў, ля самага гаю,
Ля самага бору, на беражку лесу,
Кепска-ж мая хатка: падваліна згніла,
І дымна, і зімна, а мне яна міла.

І далей поэта сьведчыць, што ён ня зьменіць гэтай хаты, гэтай роднай айчыны на іншую, хоць-бы і багацейшую.

Сваталі-ж мне ў прымы ў новую хату.
На зямлю ўраджайную і дзеўку багату,
Я ня кіну хаты, хоць вы мяне рэжце,
Не пайду да вас я, хіба ў арэшце.
А хоць сілай, нават адарвалі-б з дому,
Калісьці вярнуўся-б, як мядзьведзь да лому,
Заваліцца хата, зарастуць пакосы, —
Усё-б я вярнуўся, хоць голы ды босы.[3])

---

[1]) Ibid.
[2]) Ibid., стар. 8.
[3]) Ibid., стар. 20.

Ня цяжка ў гэтым вершы заўважыць аўтабіографічную аснову поэта сам бадзяўся на чужыне, доўгі час жыў на багатай Украіне, але відаць заўжды яго цягнула з зямлі ўраждайнай на сваю бяднейшую, але за то родную і любую сэрцу зямельку — Беларусь, і апошні прытулак ён знайшоў у роднай Ашмяншчыне.

Сам гэтак моцна адчуваючы сувязь з роднай зямелькай, Багушэвіч абураецца супроць рэнэгатаў, адшчапенцаў ад роднай глебы. Помнік гэтага абурэньня—верш „Калыханка“. Тут малюецца вобраз сялянкі, якая над калыскай сына марыць аб яго долі. Перад ёй разгарнаюцца розныя малюнкі мажлівай будучыны дзіцёнка, паўстае думка, што можа ён зробіцца калі панам; спачатку гэта пэрспэктыва зачароўвае маці, але потым яна з ненавісьцю адхіляе гэткую мажлівасьць, пры мысьлі, што панства зьвязана з прыгнечаньнем другіх і рэнэгацтвам, адмовай ад роднага. Маці ў сваей калыханцы сьпявае:

Можа будзеш калі панам
Ці вялікім капітанам:
Людцаў божых будзеш біці,
Цяжка будзе ў сьвеце жыці;
Будуць клясьці, як ліхога,
Прасіць сьмертухны ад бога...
Тады матка прыдзе ў госьці,—
Сын выкіне стары косьці;
Жабруючы пойдзе ў вёску,
Будзе прасіць матку боску,
Каб забыцца ёй аб сыне,
Каб ня ведаць, дзе ён згіне“.[1])

Беларускі народ, згубіўшы пачуцьце нацыянальнай сьвядомасьці, сымболічна прадстаўлены ў вершы: „Хмаркі“. Хмаркі ня ведаюць, дзе яны радзіліся, дзе „тутэйшымі“ называліся, гэтак і беларускі народ ня ведае сваей айчыны. У апошніх дзьвюх строфах верша мы знаходзім асабліва маляўнічы па форме і багаты па зьместу зварот поэты да хмарак:

Зямлі родненькай, знаць, няма у вас,
Ні углачка, ні прытулачку...
Лятучы сьлязой зямлю росіце,
А шумяць лісткі, зялянее лес;
Уміраючы жыцьцё носіце;
Ўсяму жыцьцё, сабе толькі крэс.[2])

У вобразна-алегорычнай форме тут выражана глыбокая па сутнасьці думка: як хмаркі, праліваючыся дажджом і самі зьнікаючы, даюць жыцьцё зямле, гэтак і беларускі народ ў процэсе сваёй дэнацыяналізацыі ўзмацняе іншыя організмы: досыць успомніць тут Адама Міцкевіча, Сыракомлю, Дастаеўскага, і інш.—Гэтыя выдатныя гэніі, беларусы па пахаджэньню, аддалі свае сілы іншым культурам.

Гэткім чынам у творах Багушэвіча, прасякнутых нацыянальным пафасам, можна ўскрыць наступныя элемэнты—разумовыя і эмоцыянальныя:

а) ідэю нацыянальнага адраджэньня Беларусі, грунтуючуюся на гістарычным, этнографічным і псыхолёгічным довадах;

б) замілаваньне да роднага краю;

в) засмучэньне над нацыянальным сконам беларусаў;

г) абурэньне супроць рэнэгацтва;

д) романтыку мінулага.

---

[1]) Ibid., стар. 70.
[2]) Ibid., стар. 72.

Ідэолёгія Багушэвіча па нацыянальнаму пытаньню становіць сабой паважны момант ў разьвіцьці беларускай грамадзянскай думкі. Гэта ідэолёгія акрэсьлівае сабой галоўныя мотывы творчасьці новага беларускага пісьменства. Наступныя беларускія песьняры будуць пашыраць і паглыбляць тэмы, дадзеныя ўжо ў творчасьці Багушэвіча.

Вынікае пытаньне, дзе-ж крыніцы думак гэтага піонэра беларускага нацыянальнага руху, як сьпелі і пад якімі ўплывамі разьвіваліся ідэалы нашага поэты.

Грунтоўная падстава ідэолёгіі Багушэвіча гэта, бязумоўна, соцыяльныя варункі яго эпохі. 2-ая палова мінулага стагодзьдзя, на якую прыпадае чыннасьць Багушэвіча, гэта пара ліквідацыі прыгоннай гаспадаркі і разьвіцьця ў нас прамысловага капіталізма. З гэтым эканамічным фактарам зьвязаны нацыянальны рух на Беларусі, як і наогул усякі нацыянальны рух. „Ва ўсім сьвеці, кажа Ленін, эпоха канчальнай перамогі капіталізма над фэодалізмам была зьвязана з нацыянальнымі рухамі. Эканамічную аснову гэтых рухаў становіць тое, што для поўнай перамогі таварнага вырабу неабходна заваёва ўнутранога рынку буржуазіяй, неабходна дзяржаўнае згуртаваньне тэрыторый з жыхарствам, якое гаворыць на аднэй мове, пры скасаваньні ўсялякіх перашкод разьвіцьцю гэтай мовы і замацаваньню яе ў літаратуры. Мова ёсьць найважнейшы сродак чалавечых зносін, еднасьць мовы і беспарашкоднае разьвіцьце яе ёсьць адна з найважнейшых умоў сапраўды свабоднага і шырокага, адпавядаючага сучаснаму капіталізму, гандалёвага зварота, свабоднага і шырокага групаваньня жыхарства па паасобных клясах,—нарэшці умова цеснай сувязі рынка з ўсякім і кожным гаспадаром і гаспадарчыкам, прадаўцом і купцом“.[1]) Аналёгічную думку а залежнасьці нацыянальнага руху ад экономікі выказвае і Сталін: „нацыя, говора ён, зьяўляецца ня проста гістарычнай катэгорыяй, а гістарычнай катэгорыяй пэўнай эпохі, эпохі падымаючагася капіталізма. Процэс ліквідацыі фэодалізма і разьвіцьця капіталізма зьяўляецца ў той-жа час процэсам складваньня людзей ў нацыі“. [2])

Пад уплывам зазначаных соцыяльных умоў нацыянальнае пытаньне ў час Багушэвіча робіцца актуальным ня толькі на Беларусі: разьвіваецца нацыянальны рух у іншых старонках. На Украіне, напр., у гэты час разьвіваюць сваю чыннасьць: Куліш, Кастамараў, Шэўчэнка і інш. Яны, падобна Багушэвічу, бароняць правы роднай мовы, шырока ставяць проблему адраджэньня роднага народу. Нават сярод расійцаў, вялікадзяржаўнага тагочаснага пляменьня, зьяўляюцца людзі, якія падымаюць свой голас ў абарону прыгнечаных нацый. Гэрцэн, напр., бароніць правы палякоў, ён разьвязвае нацыянальнае пытаньне ў напрамку фэдэралізма. Па яго поглядах: „фэдэралізм адыная аснова, на якой славянства павінна аб'яднацца і на якой яно будзе моцным і незалежным“.[3]) Гэрцэн выступае ў якасьці праконанага ворага тагочаснай расійскай цэнтралізацыі. Ён піша: „Цэнтралізацыя, якая прыносіць у афяру самабытнасьць частак, якая імкнецца да паліцэйскага аднастайнага фронта і забівае ўсё індывідуальнае, характарнае-мясцовае—заўжды будзе хістацца паміж Міколай і Банапартам. [4]) Яшчэ далей ў гэтых адносінах ідзе М. Бакунін; ён у нацыянальным пытаньні стаіць на пункту погляду поўнага сэпэратызма: „Я думаю, піша Бакунін, што ўся Украіна й таксама і Беларусь, будуць самаістымі сябрамі агульнаславянскай сувязі. Я вымагаю толькі аднаго, каб кожнаму народу, кожнаму маламу і вялікаму племю былі дадзены магчымасьці і правы паступаць згодна ўласнай волі; жадае ён зьліцца з Расіяй ці з Поль-

---

[1]) *Н. Ленин (В. Ульянов).* Собрание сочинений, т. XIX, стр. 98.
[2]) *Сталин.* Сборник статей. Изд. 1921 г., стр. 13.
[3]) *Кирил Левин. А. И. Герцен.* Личность-идеология стр. 79;
[4]) ibid.

шчай—няхай зьліваецца. Хоча быць самаістым—няхай будзе гэткім. Урэшці, хоча ён зусім ад ўсіх аддзяліцца і жыць на варунках зусім асобнае дзяржавы—бог з ім, няхай аддзяляецца".[1])

Як украінскі нацыянальны рух, гэтак і ідэі Герцэна й Бакуніна, мажліва прадпалажыць, да некаторага стопня маглі зрабіць свой уплыў на Францышка Багушэвіча. Сам поэта, зазначаючы зьмену сваіх поглядаў на беларускую мову, тлумачыць гэтую зьмену жыцьцёвым вопытам і ўплывам кніжок; ён гавора: „шмат дзе я быў, шмат чаго відзеў, і чытаў і праканаўся, што мова наша ёсьць такая-ж людзкая й панская, як і французская, альбо нямецкая, альбо і іншая якая".[2])

З жыцьцярысу Багушэвіча вядома, што ён доўгі час, як мы бачылі, жыў на Украіне; ёсьць весткі, што, жывучы там, беларускі пясьняр „навучыўся надта добра гаварыць па ўкраінску і дасканальна пазнаёмыўся з народным ўкраінскім жыцьцём". [3]) Гэткія факты сьведчаць, што ў асобе Багушэвіча Украіна мела далёка ня звычайнага казённага ўрадоўца, а мела чалавека, які ўважліва прыглядаўся да акружаўшых яго формаў жыцьця. Мажліва, што пры гэткіх варунках і ідэолёгі ўкраінскага нацыянальнага руху, маглі зрабіць свой уплыў на нашага поэту. Што датыча да ўплыва на яго ідэй Гэрцэна й Бакуніна, то мажлівасьць гэтага ўплыва вынікае з таго факта, што Багушэвіч у пачатку 60 гадоў быў студэнтам Ленінградзкага Унівэрсітэту. А гэта, як вядома быў час, калі моцна гучэў „Колокол" Гэрцэна, калі студэнцтва, па словах проф. *М. П. Пакроўскага*, уяўляла сабой „ніжэйшы слой Расійскага Рэволюцыйнага руху". [4])

Вынікшая ў сувязі з пэўнымі соцыяльнымі ўплывамі жыцьця, канчальна сфармаваўшаяся, можна думаць, пад рознымі пабочнымі ўплывамі, ідэолёгія Багушэвіча па нацыянальнаму пытаньню носіць на сябе выразныя сьляды клясавай псыхолёгіі поэты. Шляхціц па пахаджэньню, бязлітасным ходам гісторыі выкінуты ў стракаты натоўп разначынцаў, Багушэвіч крыўна ўсё-ж такі зьвязаны з зваей клясай: сваім духоўным тварам ён зьвернуты да даўно мінулага, калі яго кляса была гаспадаром жыцьця. Шукаючы ў гэтым мінулым падставаў для сучаснага, поэта шырокім пэнзалям, з вялікім захапленьнем малюе нам вялікадзяржаўнасьць Літвы. „Ужо больш, як пяцьсот гадоў таму, піша ён ў сваёй „Прадмове", да панаваньня князя Вітэніса на Літве, Беларусь разам з Літвой баранілася ад крыжацкіх напасьцяў, і шмат местаў, як Полацк, прызнавалі над сабой панаваньне князёў Літоўскіх, а пасьля Вітэніса, Літоўскі князь Гэдымін злучыў зусім Беларусь з Літвой ў адно сільнае каралеўства і адваяваў шмат зямлі ад крыжакоў і ад другіх суседзяў. Літва пяцьсот дваццаць гадоў таму назад ўжо была ад Балтыцкага мора ўдоўжкі аж да Чорнага, ад Дняпра і Днястра-ракі да Нёмна; ад Каменца-места аж да Вязьмы,—у сярэдзіне Вялікаросіі, ад Дынабургу і за Крамянчык, а ў сярэдзіне Літвы, як тое зярно ў гарэсе, была наша зямліца—Беларусь".

Як зачарованы рыцар, праспаўшы целыя стагодзьдзі, Багушэвіч і пад сьвіст фабрычных гудкоў ўсё яшчэ марыць а сваёй пекнай даме сэрца — Беларусі даўно мінулага, забываючы, што кола гісторыі ня можна зьвярнуць назад.

Але побач з бязгрунтоўнай романтыкай мінулага ў ідэолёгіі Багушэвіча па нацыянальнаму пытаньню ёсьць безумоўна й здаровыя элемэнты. Поэта не замыкаецца ў вузкае кола толькі нацыянальнаных ідэй. Ён пад нацыянальнае пытаньне падводзіць шырокі соцыяльны базіс,

---

[1]) *Іван Трызна.* Кастусь Каліноўскі (гістарычны нарыс) Беларускі Сьцяг, 1922 г. № 4, стар. 13.

[2]) Дудка беларуская, стар. 7.

[3]) Кароткі жыцьцярыс Багушэвіча у зборніку „Дудка беларуская", ст. 3.

[4]) Русская история с древнейших времен. 1920 г., т. IV, стар. 156.

добра разумеючы, што ў умовах эксплёатацыі, соцыяльнага ўціску ўсякае нацыянальнае адраджэньне—гэта фікцыя.

Адсюль у творчасьці Багушэвіча мотывы нацыянальныя цесна злучаюцца з матывамі соцыяльнымі. Падобнае злучэньне мы бачым ужо ў вершы „Калыханка"; тут панства разглядаецца ня толькі ў асьпэкце нацыянальным, як рэнэгацтва, але й ў асьпэкце соцыяльным, як зьява, грунтуючаяся на эксплёатацыі. Аднальково разглядаецца панства і ў вершы „Ахвяра":

Маліся-ж, бабулька, да бога
Каб я панам ніколі ня быў:
Ня жадаў бы чужога,
Сваё дзела, як трэба, рабіў...
Каб за край быў ўмерці гатоў,
Каб ня прагнуў айчызны чужых,
Каб я бога свайго не акпіў,
Каб ня зрадзіў за грошы свой люд,
Каб свайго я добра не прапіў,
І ні за што ня меў чужы труд.[1])

Апроч твораў, у якіх злучаюцца мотывы нацыянальныя і соцыяльнмя, у Багушэвіча ёсьць шмат твораў, прасякнутых выключна соцыяльным пафасам.

У вершах з соцыяльным зьместам, Багушэвіч малюе два станы: паноў, эксплёататараў і прыгнетальнікаў, і сялян, пакутаючых у ўмовах прыгнечаньня.—У адным стане—багацьце, задаваленьне, у другім —беднасьць і цемра.

Аддзін ходзе у саеце,
Ў золаце з плеч да ног,
А другому, каб прыкрыцца
Хоць анучай—велькі труд;
Ўвесь, як рэшата, сьвіціцца,
Адны латы, адзін бруд.
Адзін мае хатаў многа,
А вялікіх—касьцёл моў;
Ўвясьці-б туды хоць бога,
І той бы з іх не пайшоў,
У другога ў сьцяне дзюры,—
Вецер ходзе, дым і сьнег;
Тут карова, сьвіньні, куры...
Тут пакута, тут і грэх...
Гэты хлеба і ня знае,
Толькі мяса ды пірог.
І сабакам выкідае
Ўсё тое, што ня змог.
А той хлеб жуе з мякінай,
Хлебча квас ды лебяду,
Разам жывець і есьць з сьвінкай,
З канём разам п'ець ваду.[2])

Часам у гумарыстычным асьвятленьні малюе пясьняр гаротную долю селяніна, але гэта горкі сьмех скрозь сьлёзы—чыста гогалеўскі, душу шчэмячы сьмех:

Ці-ж ня дурань мужык гэта:
Гарэ, сее ўсё лета,
А як прыдуцца дажынкі,
Няма збожжа ні асьмінкі,

---

[1]) Дудка беларуская, 73 стар.
[2]) Дудка беларуская, 73 стар.

А даждаўшы на каляды,
Мужыкі мякінцы рады.
Дык крычыце-ж, біце ў звоны:
Дурны мужык, як варона.
Глядзі, касьцёл аж да неба,
Воласьць бляхамі пакрыта...
Срэбрам скрые, калі трэба,
Бо за гэта яго біта;
А сам жыве ў мокрай яме,
Дзьверы заткнуў анучамі.
Дык крычыце-ж, біце ў звоны:
Дурны мужык, як варона.[1])

Мягкім і пяшчотным гумарам, поўным засмучэньня і ціхай развагі, павевае ад вершаў Багушэвіча, якія малююць побыт селяніна. Наадварот, ў вершах, рысуючых працілеглы социяльны стан, адчуваецца жоўчнасьць, заўважваецца сатарычныя малюнкі, поўныя злосьці і абурэньня.

Агідлы й брыдкі самы надворны выгляд пана, як малюе яго поэта:

Рукі ў яго як падушкі,
Як кісель жывот дрыжыць.[2])

Агідлае па надворнасьці панства ня лепш і з боку ўнутранога: яно зьвязана з моральнай распустай, ашуканствам і паразітарным жыцьцём („Ахвяра“, „Быў ў чыстцы“). Пан нават ў сваіх гуманных імкненьнях аказваецца прыгнетальнікам селяніна. У вершы „Скацiная апека“ пан выступае ў якасьці абаронцы жывёлы, але гэтая гуманнасьць дорага каштавала селяніну: ён быў пабіты, абабраны, кабыла яго здохла. Сумна разважае наш небарака:

Вот дык дажыўся. Узналі-б іх злыдні,
Што і над кабылай такая апека,
Што з голаду здохла, прастаяўшы тры дні.
Але біць ня можна. Мяне-ж чалавека,
Зьбілі, як хацелі, і дабро мне гіне,
І німа апекі нада мной ніякай.[3])

Нават у час апошняга разьвітаньня з жыцьцём пан выяўляе сваю прагавітасьць, і яго сьмерць зусім не падобна да сьмерці селяніна. З эпічным супакоем і прастатой памірае гаротны працаўнік:

Ён дык лёгка умёр,
Клікаў сьмерць, бо хлеба ня стала:
Уміраў, як заснуў, ані пікнуў.[4])

Наадвдварот, цяжка разьвітацца з жыцьцём: пану:

Умарылася сьмерць, пан раве,
Уміраць ані мысьле сабе;
Аж кашулю парваў, коўдру рве,
І ўсё грошы пад бруха грабе.[5])

Гэтак Багушэвіч яскравым прожэктарам сваей сатыры імкнецца асьвятліцць адмоўныя бакі панства. Але галоўным гэроем яго твораў ўсёж-ж такі застаецца ня пан, а селянін і вёска з яе беднасьцю і цемрай. Багушэвіч—засмуэчньнік народнага гора; гэтаму гору пасьвечаны лепшыя яго песьні; панства большаю часткаю рысуецца беларускім поэтаю не само па сабе, а ў яго адносінах да селяніна.

---

[1]) Ibid., стар. 12 і 13.
[2]) Ibid., стар. 22.
[3]) Ibid., стар. 75.
[4]) Ibid., стар. 80.
[5]) Ibid.

Гэта напружаная ўвага да сялянства цесна зьвязвае нашага поэту з эпохай 60 і 70 гадоў. Селяніна ў зазначаны пэрыод высоўваюць на сцэну об'ектыўныя ўмовы жыцьця. Сялянскія паўстаньні, з года ў год павялічваўшыяся перад рэформай 19 лютага, ня спыніліся, як вядома, і пасьля гэтай рэформы. Народнае бушаваньне, як сьведчыць Пакроўскі, было цяпер па сваіх разьмерах нават больш сурьёзным, чым абурэньні дзён Крымскай кампаніі;[1]) толькі у працягу двох гадоў (1861-1863) было 1100 ўзбурэньняў. [2]) Селянін, гэткім чынам, сам заяўляе а сваіх правох на жыцьцё. У тон дзейснасьці і літаратура выяўляе в агромністую цікавасьць да „мужыка". Беларускі поэта падзяляе гэтую цікавасьць: ён ў сваей творчасьці селяніну адводзіць пераважнае мейсца.

Але ня толькі гэтая ўвага да сялянскіх мас цесна зьвязвае беларускага поэту з эпохай 60 і 70 гадоў: яшчэ больш органічная сувязь выяўляецца ў дадзенных адносінах з таго, як Багушэвіч ставіць і разьвязвае социяльнае пытаньне.

Для ідэолёгаў эпохі 60 гадоў характэрным зьяўляецца асаблівая ўвага да эканоміkі. Гэрцэн, напр., эканамічную праблему кладзе ў грунт свайго социяльнага сьветапагляда. У адносінах да палітычных пытаньняў ён выяўляе вялікі скептыцызм і індэфэрэнтызм. Яго не захапліваe нават лёзунг палітычнай свабоды, парлямэнтарызма. Па яго поглядах. супраўдная свабода не мажліва без социяльнай і эканамічнай роўнасьці. За палітычнай свабодай Гэрцэн прызнае толькі гістарычнае значэньне. „Палітычная свабода, піша ён, пры сваім нараджэньні дала сьвету гэрояў-волатаў, а потым вялікая аснаўная думка рэволюцыі хутка перагнула ў поліцыю, інквызыцыю, тэрор, прышла ў тупік. Зьмяніліся толькі дзяржаўныя формы, а формы жыцьця засталіся прэжнія... Усё няшчасьце мінулых зваротаў становіць ўласьне апушчэньне экономічнай стараны, которая тады яшчэ ня была настолькі сьпела, каб заняць сваё мейсца. Тут адна з прычын, чаму вялікія словы і ідэі засталіся словамі і ідэямі і—што горш таго, надакучылі".[3]) Гэтак сама і Чэрнышэўскі пераважнае значэньне прыдаваў экономіцы. Пытаньні палітычнага ладу ён адсоўваў на самы задні плян і нават знаходзіў, што Сібір куды вышэй Ангельшчыны.[4]) Буржуазны лібералізм падвяргаецца ў Чэрнышэўскага, як і ў Гэрцэна, суровай крытыцы: „Лібэралізм разумее свабоду вельмі вузкім, чыста формальным чынам. Яна для яго заключаецца ў адцягненым праве, у дазволе на паперы, ў адсутнасьці юрыдычнай забароны. Ён ня хоча зразумець, што юрыдычны дазвол мае цану толькі тады, калі ў чалавека ёсьць матар'яльныя сродкі карыстацца з гэтага дазвола. Шасьцідзесятнік Міхайлаў у сваёй адозве да „Маладога пакаленьня", праводзіць думку, што трэба абаперціся не на тых, хто палітычна не здаволены, але, па сутнасьці сыты і знаходзяцца ў даб рабыце, а на тых, хто эканамічна прыгнечаны.[5])

Багушэвіч, загартаваны ў атмосфэры 60-х гадоў, гэтак сама у аснову сваёй ідэолёгіі кладзе эканамічную проблему.

Без эканамічнага вызваленьня, і па яго поглядах, ня можа быць супраўднага шчасьця народа. Адсюль вынікаюць скэптычна-іронічныя адносіны баларускага поэты да буржуазна—лібэральных рэформаў Аляксандра II. У сваім творы „У судзе" Багушэвіч высьмейвае новы парэформены суд з удзелам прысяжных і спрэчкамі старон. Бяздушны формалізм суда і адміністрацыі, далёкасьць іх ад народных патрэбаў

---

[1]) Русская история с древнейших времен. 1920 г., т. II, стар. 139.

[2]) *Пичета В. И.* История крестьянских волнений в России. Минск, 1923 года, стар. 112.

[3]) Левин op. cit, стр. 71.

[4]) *Плеханов Н. Г.* Чернышевский. СПБ, 1910 г., стар. 319.

[5]) *Покровский М. Н.* op. cit., стр. 158.

і разуменьня становіць сабой тэму твора „У вастрозе“, дзе перад намі разгарнаецца цэлая драма селяніна, які па сваей несьвядомасьці спаліў мяжавы знак. У творы „Кепска будзе“ поэта малюе нам гаротную одысэю вясковага хлопца, які, будучы не запісаны ў мэтрыках, прыцягнуты быў да адказнасьці і пасаджаны ў турму за ўхіленьне ад агульнай вайсковай павіннасьці. Нават да рэформы 19 лютага беларускі поэта адносіцца вельмі скэптычна; помнік гэтага скэптыцызму ўступ да твору „Быў ў чыстцы, дзе мы знаходзім гэткія разважаньні:

Іду й мяркую: ці то цяпер шчасьце,
Як паноў ня стала, ці то была доля.
І лічу па пальцах: паншчызны дванасьце.
І гадоў ды трыццаць, як настала воля...
Там быў аканом, камісар і цівун,
Намесьнік, лясьнічы, хмістрыня, паны.
І кожны меў права ўзяць за бізун,
І кожны меў права да нашай сьпіны...
А цяпер?.. Ой, штосьці кепска выходзе,
Цяпер ці ня болей настала паноў...
Ня надта свабодна ў гэтай свабодзе.
І давай я лічыць паноў новых зноў:
Стараста, соцкі, пісар, старшына,
Пасрэднік, ураднік, асэсар і суд,
Зьезд міравы, прысуцтвы і сход...
Аж паднялася са страху чупрына,
Аж пальцаў ня стала на ўвесь гэты шчот,
А пальцамі-ж трэба карміць гэты люд.

Творчасьць Багушэвіча, такім чынам, гэта як-бы моцны рэфлектар, які выясняе заганы рэформаў Аляксандра II; у творчасьці беларускага песьняра, як у крывой люстры, гэтыя рэформы праламляюцца з свайго адмоўнага боку. Малюючы розныя стораны сялянскага жыцьця, Багушэвіч намечае грунтоўны вузел—эканамічную эксплёатацыю; з гэтага вузла вынікаюць усе злыдні, тут заблытваюцца ўсе супярэчнасьці сялянскага жыцьця.

Соцыяльны пафос прасякае сабой ўсю творчасць Багушэвіча. Душа поэты як-бы ўпітала ў сябе ўсю злосьць і ненавісьць беларускага народа супроць нацыянальнага і соцыяльнага ўціску й засталася з гэтай прычыны глуха да іншых пяшчотных і мягкіх эмоцый: дзьве галоўныя крыніцы поэтычнага натхненьня—прырода і жаночае каханьне—амаль зусім адсутнічаюць у творчасьці беларускага песьняра. Прырода ледзь закранута ў творах поэты. У вершы „Мая хата“ даецца некалькі мазкоў пэнзэля з мэтай адцяніць вялікую беднасьць беларускага селяніна. Больш выразны дотык да прыроды мы маем ў вершы „Думка“. Тут даецца такі малюнек:

Вун стаіць бярозка тут ля самай хаткі,
Косы папусьціла... плача, кажуць людзі,
Мусіць такі праўда—гэта яе зьлёзка,
Што кажуць другія—капля расяная...
Ня тужы, бярозка, сьвет з намі ня згіне,
Вецер, як павее, шышачкі раскіне,
Хоць-бы ты засохла—вырасьце вас болей...
Перастанем плакаць мы над сваёй доляй.[1])

Маленькія абразкі прыроды і тут ўплецены ў верш, прасякнуты соцыяльнымі настроямі. Закранутая надта мала, прырода, гэткім чынам, ня займае самастойнага мейсца ў творах поэты; некалькі выхапленых з

---

[1]) Дудка белар. стар. 25.

яе дробных абразкоў граюць ролю толькі ілюстрацый да яго соцыяльных мотываў.

Другая крыніца натхненьня—жанчына і каханьне—ў творчасьці вялізарнай масы мастакоў грае ролю пераважнага фактара. На гэтай падставе навет вынікла тэорыя эстэтычнага эроса, выказаная ўжо даўно—яшчэ нямецкімі романтыкамі—Цікам і Новалісам і ў наш час разьвітая ў працах цэлага шэрагу псыхолёгаў, псыхіатраў, фызыолёгаў і гісторыкаў мастацтва. [1]) Дантэ і Беатрычэ, Петрарка і Лаўра, Бальзак і Ганская, Тургенеў, і Віардо і інш.—яны як-бы цьвердзяць думку а цеснай сувязі мастацтва і эмоцыі каханьня. Творчасьць беларускага поэты ўяўляе сабой адмоўную інстанцыю да тэорыі эстэтычнага эроса. Das ewig we bliche, адвечна жаночае, адсутнічае ў гэтай творчасьці. Багушэвіч—гэта беларускі Стрынберг ў мініатуры. Жанчына для яго—гэта не прадмет усхваленьня, а об'ект досыць жоўчнай сатыры; напр., у творы: „Быў ў чыстцы", малюючы сваё вандраваньне па затруннаму сьвету, поэта робіць гэткі сатырычны выпад супроць жанчыны:

А што баб і дзявок—сказаць так—
Ў трое больш, як мужчын, ёсьць на лік,
Хто за што, а як баб, дык найбольш за язык.
Языкі—даўжыны так, як добры ручнік.
Іх і паляць смалой і нажамі скрабуць,
І ніяк да бяла пріпаліць не магуць.
Надта шмат маладых, што дурылі мужоў
Чараўніцаў і зводняў старых... [2])

Далей надзвычайна характэрным зьяўляецца той факт, што з ўсяго вялікага багацьця беларускіх казак Багушэвіч для ўласнай мастацкай апрацоўкі выбраў толькі адну—„Чорт і баба",—гэтую дзікую адрыжку сярэднявяковых легэнд а благіх жанчынах,—дзе праводзіцца думка, што баба хітрэйшая за чорта: ей удаецца пасварыць чалавека с жонкай, што не ўдавалася самому д'ябалу.

На ліры беларускага поэты моцна гучэлі такім чынам толькі струны грамадзянскага абурэньня, для іншых больш пяшчотных мэлёдый гэта ліра была глуха. Ня ў постаці пекнай і прыгожай дзяўчыны з вянком на галаве, з пахучымі кветкамі ў руках прадстае прад намі муза поэты, а ў постаці нейкай схымніцы, дабраахвотна ўспрыняўшай на сябе вялікі ўчыпак апяяньня народнага гора. Ад творчасьці Багушэвіча павевае нейкім духам мастацкага аскэтызма. У гэтых адносінах беларускі пясьняр вельмі падобны да расійскага народніка Глеба Усьпенскага, схэма якога гэтак сама была свайго рода схымай. У нас, праўда, няма фактаў, якія-б сьведчылі а бесьпасярэднім ўплыве аднаго пісьменьніка на другога, але і бяз гэтых фактаў падабенства іх суровай музы лёгка зразумець: Глеб Усьпенскі й Багушэвіч жылі ў аднальковых соцыяльных умовах, абодва яны былі дзеці эпохі, калі ўся ўвага была зьвернута на адыны об'ект, якім быў народ і яго доля; абодва яны былі па сваей клясавай прыналежнасьці разначынцы, бязьлітасным ходам гісторыі адкінутыя ад банкетнага стала жыцьця і прымушаныя змагацца за кавалак хлеба, а не прадавацца панскаму эстэтызму.

На падставе аднальковай клясавай псыхолёгіі Багушэвіча з народніцкім рухам зьвязвае яшчэ адна рыса—„Тэорыя крытычна-мысьлячай асобы". Падобна Лаўрову, Багушэвіч высока ставіць інтэлігэнцыю, як фактор прогрэса і цывілізацыі. У сваім вершы „Ня цурайся" поэта ў вусны селяніна ўкладае просьбу да паніча прыйсьці яму на дапамогу:

---

[1]) *Грузенберг.* Психология творчества. Минск, 1923 г., стр. 112.
[2]) Op. cit. стар. 55.

Ня цурайся мяне, панічок,
Што далонь пакрываюць мазолі.
Мазоль працавітых значок,
Не заразіць цябе ён ніколі,
То медаль за труды і за мукі,
Не хвароба якая з заразы.
Ня стыдайся падаць ты мне руку,
Бо на гэтай руцэ німа сказу.

У далейшым селянін скардзіцца на сваю няпісьменнасьць і гавора, што калі-б ён „умеў кіраваць пяром,“ то апісаў-бы сваё гора і пакуты, і гэта апісаньне можа зрабіла-б свой уплыў напаніча:

Можа-б ты прачытаў той грызмол
І да працы набраў-бы ахвоты;
Шанаваў-бы мужыцкі мазоль,
Ня цураўся-б мужыцкай бядоты
І падаў-бы руку мне сьляцому
І давёў-бы мяне да дарогі.[1])

Тут інтэлігэнцыі выразна надаецца роля правадыра, бяз якога народ асуджаны „блудзіць сярод лому і калючак“.

У вершы „Ня цурайся“ Багушэвіч, разначынец, але родам з шляхты, выразна гэтак сама выяўляе сваю псыхолёгію „каючагася двараніна“,—сузнаньне вялікага доўга перад народам і патрэбы заплаціць гэты доўг. Поэта яскрава праводзіць думку, што сваім матар‘яльным дабрабытам і культурнай перавагай панства абавязана выключна народу, яго працы; ад асобы селяніна, зварачаячыся да паніча, поэта кажа:

Ня ўцякай ад маёй ты сярмягі,
Мне ня стыдна ў ёй ані чуць:
Вот твой храк я ня меў-бы адвагі,
Чортаў храк на сябе апрануць;
На кашулю глядзішь крывым вокам,
Што ў хаце мне бабы пашылі,
Прапацела яна маім сокам,
Цэлы тыдзень яе не памылі...
А твая-ж? Як той сьнег, як пацер:
А пацеў хто і ткаў і бяліў,
І хто мыў і хто праў... А цяпер
Ты той пот на сябе ўзваліў.
У кашулі тэй мне-б была стыдна,
Щто ня сам на яе гаравэў,
Хоць бялейша яна—не завідна,
Не вазьму, каб ты мне дараваў...
Ня дзівіся, панок, як жыву,
Мне ніхто не памог будаваць...
Хоць лянівым ў сьвеце слыву,
А магу сьвет карміць-гадаваць.
Ты-ж пазнаў, што ў ксёнжках стаіць,
А там разуму шмат ад вякоў
І ўсё можаш па ксёнжках рабіць:
А дзе-ж ксёнжка для нас, мужыкоў?

Узятая ў цэлым, ідэолёгія Багушэвіча, агорнутая романтыкай мінулага ў пастаноўцы нацыянальнага пытаньня і прасякутая верай у моц інтэлігэнцыі у разьвязваньні пытаньня соцыяльнага, зьяўляецца тыповай дробна буржуазнай ідэолёгіяй. І гэта зусім зразумела. „Рэволюцыйны рух 60 і 70 гадоў, правідлова кажа М. Н. Пакроўскі, ёсьць рух

[1]) Дудка беларуская, стар. 81-82.

дробна-буржуазнай інтэлігэнцыі. Уласьне інтэлігэнтнасьць і рабіла яго рэволюцыйным. Дробная буржуазія, якая па меры разьвіцьця капіталізму разбурваецца, пераварачваецца ў пролетарыят (рэформа 19 лютага разбурыла, паміж іншмм, якраз дробных земляўласьнікаў, валадаўшых дзесяткамі душ, каторым выкупная сума не дала капіталу на ўтварэньне новай гаспадаркі, і толькі іх) звычайна не здаволена, абурана, мармоча, бурчыць але яе. абурэньне, не заўжды накіроўваецца па належнаму шляху".[1])

Абурэньне Багушэвіча гэтак сама не заўжды зьўляецца пакіраваным мэтазгодна: ён часам кідае свой погляд не наперад, а назад, у глыб даўно мінулага, у яго няма супраўднай рэволюцыйнасьці з яе верай ў моц не вярхоў, а працоўных нізоў грамадзянства, якія самі зьяўляюцца кавалямі свайго шчасьця.

Але, ня гледзячы на сваю дробна-буржуазную прыроду, ідэолёгія Багушэвіча бязумоўна мае вялізнае значэньне ў гісторыі беларускай грамадзянскай думкі, становячы сабой першы этап сьвядомага беларускага адраджэньня, даючы імпульсы творчасьці наступных беларускіх поэтаў і пісьменьнікаў.

Значэньне ідэолёгіі Багушэвіча яшчэ больш павялічваецца ад таго, што яна выражана ня ў форме сухой публіцыстыкі, а ў высока мастацкай, поэтычнай форме. Наш поэта займае ў беларускім пісьменстве выдатнае мейсца ня толькі як выразьнік пэўных грамадзянскіх ідэалаў, але і як поэта, зрабіўшы значныя чыста эстэтычныя дасягненьні.

Формальныя прыёмы творчасьці ў Багушэвіча досыць разнастайны. Вышэй мы ўжо заўважылі, што нават ў „Прадмове", празаічнай ня толькі па форме, але і па сутнасьці, публіцыстычныя заданьні Багушэвіч падчыняе заданьням мастацкім, малюючы нам колёрытныя вобразы. У вершах поэты вобразнасьць узрастае, пры чым вельмі часта вобразу ім надаецца шырока сымболічнае значэньне. Адпраўляючыся ад простага і рэальнага факта, поэта пашырае асадкі гэтага факта, надаючы яму характар сымбаля. На гэткім прыёме набудаваны творы: „Мая хатка", „Хмаркі", „Калыханка" і інш. Хата, якую рысуе Багушэвіч, гэта вобраз ўсёй Беларусі—беднай, разбуранай, але любай сэрцу поэты; хмаркі—гэта сымболь усяго беларускага народу, згубіўшага пачуцьце нацыянальнай сьвядомасьці; сялянка ў „Калыханцы"—гэта маці-Беларусь, якая аплаківае сваю гаротную долю маткі бяз сыноў. З трапнай вобразнасьцю поэта злучае значную згушчонасьць думкі і, апроч таго, уменьне некалькімі штрыхамі, часта вельмі дробнымі, даць конкрэтнае ўяўленьне. Напр., у творы „Кепска будзе", у малюнку выпытаў, рысуючы „судзебніка маладзельнага", поэта падкрэсьлівае адну дэталь пра яго:

Ўсё пытаецца ды піша.
Ї нагой ўсё калыша.

Ў другі раз далей гэтая драбніца паўтараецца:

Ўсё піша, піша, піша,
Ї нагой ўсё калыша.[2])

Гэта маленькая дэталь яскрава рысуе нам увесь бяздушны формалізм казённага урадоўца, яго роўнадушнасьць да лёса вясковага хлапчука. Другі прыклад: у тым-жа творы даецца малюнак турмы:

Дзьверы, дзьверы, ў дзьверах дзюрка,
Ї ў каждай-жа хвігурка,
Як-бы тая-ж выглядае.
Дзе ня глянеш, усё-ж тая:
Блішчаць вочы, твар, як гліна,
Ї абросшы, як скаціна.

---

[1]) Русская история в самом сжатом очерке Изд. 1921 г., стр· 186
[2]) Дудка беларуская, 48 стар

Зноў трапным падборам драбніц поэта дасягае тут колёрытнай маляўнічасьці.

Апроч зазначаных мастацкіх прыёмаў, у поэтыцы беларускага песьняра можна зазначыць цэлы шэраг мастацкіх асаблівасьцяй, якія цесна, органічна зьвязаны з яго ідэолёгіяй...

Народнік па пераважнасьці, Багушэвіч відаць цікавіўся ня толькі народным побытам, соцыяльнымі варункамі сялянскага жыцьця, яго вабіла да сябе народная душа.

Апісваючы тыя ці іншыя жыцьцёвыя зьявы, поэта імкнецца паглядзець на гэтыя зьявы вачмі селяніна, ён становіцца на сялянскі пункт погляду, падрабляецца пад неродны тон. Адсюль вынікаюць прыёмы сказа і адзіўленьня (остранения) ў творчасьці Багушэвіча.

Поэта вельмі часта вядзе апавяданьне не ад сябе, а ад асобы свайго выдуманага гэроя; ён як-бы імкнецца старанна захаваць сваё інтэлігэнцкее „я“ і выявіць „я“ народнае... На гэтай манеры сказа пабудаваны творы: „Хрэзьбіны Мацюка“ (апавяданьне а гвалтоўных навараЧаваньнях вуніятаў ў праваслаўную веру) „Кепска будзе“, „У вастрозе“, Быў ў чыстцы“ і інш.

Апавядаючы тую ці іншую падзею ад асобы селяніна, гледзячы на яе народнымі вачыма, поэта часам малюе гэтую падзею, як нешта вельмі дзіўнае, мала зразумелае. На гэтым прыёме адзіўленьня пасудовены творы „У зудзе“, „Панскае ігрышча“ і інш.

Поэта гэткім чынам як-бы імкнецца зьліцца з народнай душой, растварыць сваё „я“ у народнай стыхіі.

Асабліва прынаднай была, відаць, для поэты, беларуская народная творчасьць—гэты найбольш яскравы выраз народнай душы. Поэтыка Багушэвіча ў некаторых адносінах носіць на сябе сьляды народнай поэтыкі. Напр., яго „Песьні“ вытрыманы ў стылю і духу народнай песьні. Так „Калыханка“, зьмешчаная у гэтым цыклю, па сваёй композыцыі і агульнаму характару напамінае народныя калыскавыя песьні. Вобраз удавы, яе задумленьне над лёсам дзяцей, увасабленьне адцягненых паняцьцяў, паралелізмы, ужываньне ласкальных і памяншальных, іменьняў—усе гэтыя малюнкі і прыёмы, якія знаходзяцца ў песьнях Багушэвіча, добра знаёмы нам з народнай творчасьці. Нават самы гумар поэты напамінае сабой мягкія і дабрадушныя кпіны беларускага селяніна. Часам заўважаецца тут і падабенства ў адносінах тэматыкі: сьмех над узаснай беднасьцю і многасямейнасьцю, вывядзеньне ў ролі комічных пэрсанажаў жывёл, птушак і казявак,—ўсё гэтыя вядомыя мотывы беларускай народней гумарыстыкі сустракаюцца і ў „песьнях“ Багушэвіча.

Захоплівае поэту і сьвет народнай фантастыкі, забабонаў. У доўгім творы „Хцівец і скарб на сьвятога Яна“ перад намі выступаюць усе дзівы купальскай ночы, з яе кветкай папараці, шуканьнямн скарбу, чартоўшчынай і іншымі нязьменнымі прыналежнасьцямі народнага вымыслу.

Часам поэта дае нам апрацоўку агульна людзкіх сужэтаў. На гэткіх сужэтах пабудованы яго „Баляда“ і „Быў ў чыстцы“. „Баляда“ Багушэвіча рагарнаецца на падставе легендарнага сужэту а прадажы душы д‘ябалу. Жыцьцё Васілія Кесарыйскага, жыцьцё Фэафіла, сярэднявяковыя легенды аб Фаусьце і інш.,—вось далёкія літаратурныя продкі нашай „Баляды. У доўгую гістторыю мастацкага апрацаваньня яе легендарнага сужэту побач з іменьнмі Марло, Лесінга, Гётэ, Ленаў, і інш. ўпісаў свае скромнае імя і беларускі поэта. Але ў самай трактоўцы гэтага сужэта Багушэвіч застаецца пэўным сабе: ён пераносіць яго ў сялянскую абстаноўку і дае яму соцыяльную афарбоўку. У беларускага поэты матывам запрадажы душы д‘ябалу служыць ня слава, не каханьне і ня веда—а жаданьне вызваліцца ад соцыяльных злыдняў; гаротны селянін развражае у „Балядзе“:

Хіба што чорту прадам сваю душу,
Каб грошы ён на падаткі мне даў.
Я тут ўжо згіну і там згінуць мушу.[1])

Ў творы „Быў ў чыстцы“, Багушэвіч скарыстаў легендарныя апаведаньні а затрунным сьвеце. Доўгая літэратура „відзеній“ ўжо даўно распрацавала гэты сужэт. „Відзеньні“ Паўла, Брандана, Альбэрыка, Чысьцец Патрыка і на рэшці сусьветны твор Дантэ пабудаваны на тэй-жа легендарнай падставе, што і твор Багушэвіча. Але і тут мы бачым падчыненьне сужэта народніцкай тэматыцы. Дантэ у „Бажэственай Комэдыі“ робіць затрунную помсту над сваімі ворагамі; ён нават напаў зьмяшчае ў пекле. Беларускі поэта ў сваім творы робіць помству над соцыяльнымі ворагамі беларусскага народу, зьмяшчаючы ў чысьцецы паноў, духоўнікаў, прадстаўнікоў вясковай адміністрацыі. Там перад фанфантастычным падарожнікам расчыняецца гэткі малюнак:

З мужыкоў тут ня надта каб шмат,
А ўсё больш дык багатых паноў...
Там паны і муруюць і гаруць,
Вымятаюць і сьвіньні пасуць,
А смалу дык, як мед, там жаруць,
А каменьні, як горы, нясуць,
Ўсё ў пекла, каб дно як зрабіць...
Я ж то думаў, што ксядзоў тут няма,
Калі зірк—аж і ксендз тут сядзіць:
Чорт яго аблажыў грашыма,
Запаліў ў грашох тых, і ксендз так гарыць,
Станавы, старшына і тый тут.
Тым дык чорт ўсё грошы зьбярэ,
Скруце цьверды круцель або жмут
Ды у горло запрэ, і даўбежкай пярэ,
Каласірам ці чым то паліў
І жмут той ў горле агнем запаліў.[2])

Гэтак, нават ў апрацоўцы агульных легендарных сужэтаў выяўляецца творчая постаць беларускага поэты—соцыяльны пафос яго музы. Багушэвіч не сузярцальнік, які аддаецца мягкім лірычным эмоцыям, ён змагаьнік, за народны дабрабыт, але змагаьнік, надзеляны мастацкім талентам. І свой талент беларускі пясьняр не зарыў ў зямлю: ён афяраваў яго роднаму народу, барацьбе за лепшы гістарычны лёс Беларусі, далёкі ад прынцыпа „мастацтва дзеля мастацтва“ Багушэвіч вынес свой падарунак музы на шырокую гістарычнаю арэну барацьбы. Але стыхія барацьбы не пашкодзіла эстэтызму: творчасьць беларускага поэты робіць ўражэньне монолітнасьці, гармоніі паміж зьместам і формай; яна няўмірушчы помнік здаровага сынтэза грамадзянскасьці і мастацкасьці.

---

[1]) Дудка беларуская, стар. 76.
[2]) ibid., 53 і 54 стар.

Проф. **И. И. Замотин.**

Вечно-юное в поэзии Пушкина.

По поводу 125-й годовщины рождения. *)

(1799—1924).

Есть несколько известных портретов Пушкина и всем знакомых иллюстраций его жизни. Мы любим их иногда пересматривать, потому что они оживляют наши воспоминания о великом поэте. Они изображают Пушкина в Крыму и в селе Михайловском, в Петербурге и в Москве, ребенком и лицеистом, в молодости и в зрелые годы.

Но в этой картинной Пушкинской галлерее нет, конечно, тех портретов, которые выполняются не кистью живописца, а силою научного творчества. Это—не изображения молодого Пушкина и не изображения Пушкина зрелых лет; это портреты вечно-юного Пушкина—того, который неизбывно связан с нашей культурой и образ которого невольно оживает при воспоминании о поэте. Конструировать образ этого вечно юного Пушкина—это самая благодарная и светлая задача каждого Пушкинского праздника.

Наука о Пушкине, действительно, знает этот бесплотный портрет его вечной юности. Даже больше: мы знаем несколько портретов вечно-юного Пушкина, отвечающих своей композицией его многогранным культурным устремлениям.

И вот перед нами первый портрет вечной юности Пушкина. Этот первый портрет раскрывается в его биографии. Неуклюжий, неинтересный по внешности мальчик, будущий поэт, под французскую болтовню светского салона еще в детстве силою творческой интуиции проникает в таинство русской речи и народно-поэтических созданий. В библиотеке отца он порывисто ловит мутную струю утонченной чувственности французской легкой поэзии и острого вольтерианского скептицизма, а в комнате бабушки и няни постигает стихийную красоту и мощь народного миропонимания. В лицейские годы молодое безудержное веселье он чередует с думою о высоком значении жизни, от придворных аллей царскосельского парка переходит к русским деревенским пейзажам, от философии наслаждения к мысли о социальном служении, от ложно-классической „авроры“—к „заре пленительного счастья“, когда „Россия вспрянет ото сна“... Перенесенный потом по воле судьбы с берегов Невы на берега Днепра и дальше на предгорья Кавказа и к изумрудным берегам Крыма, он собрал в сокровищницу своих творческих наблюдений самые лучшие краски и самые причудливые переливы света южной природы. В своих дальнейших скитаниях он впитал в себя знойный воздух бессарабской степи, пережил беспокойную живость цыганского табора, он услышал тоскливо-жгучую песню Мариулы,

---

*) Настоящая статья представляет переработку доклада, который был сделан автором ее на Пушкинском вечере, устроенном Рабфаком Белгосуниверситета в Белорусском Государственном театре 13 февраля 1923 г.

познакомился с причудливой канвой молдаванских преданий, увидел претенциозную грацию красавицы Одессы—эту причудливую смесь западной культуры с наивной некультурностью разноязычного русского юга. И дальше опять север. Но не берега Невы, где „некогда гулял“ поэт, подобно своему герою—Онегину, нет—провинциальное захолустье, глухая псковская деревня, сосновые леса вперемежку с озерами, полузабытая помещичья усадьба, пажити и нивы, косогоры, дороги, изрытые дождями, и редкая мельница, которая „насилу крылья ворочает при ветре“. И из этой серой природы и убогого быта поэт с‘умел извлечь силою своего художественного чутья все своеобразно-красивое и человечески-значительное, все, в чем ему слышалось „что-то родное“, будь то удалое разгулье или сердечная тоска. Возвратившись после своего изгнания опять к столичной жизни, Пушкин не отдал себя во власть светской суете и семейным путам: он снова широко ищет возможности соприкоснуться с окружающей жизнью, любовно и с большим интересом наблюдая жизнь средних классов русского общества; он рвется на простор из оффициального Петербурга, чтобы взглянуть прямо в лицо жизни; он самовольно, почти тайком, едет на Кавказ, куда влечет его величавая природа и первобытная свежесть туземных нравов; он видит там „потоков рожденье“ и движение снеговых обвалов, он слышит и даже переживает тревогу войны русских с горцами,—и с неохотой возвращается на север. Немного позже он так же порывисто отправляется на восток в Оренбург и Казань, куда его зовет не только интерес к топографии Пугачевского бунта, но и вообще жажда познания России, жажда приятия жизни во всей ее полноте. Прибавим сюда страстное желание Пушкина, желание несбывшееся, поехать за границу, куда он тоже порывался неоднократно направить свой „поэтический побег“.

Наконец, разве не характерно для Пушкинского приятия жизни это широкое, универсальное общение с мировой литературой, где поэту открывалась жизнь в самых разнообразных эпохах, странах и положениях, где он чувствовал себя гражданином не Николаевской только России, но и гражданином всего мира. Даже самая обстановка смерти Пушкина еще раз свидетельствует о его неразрывной связи с жизнью: светская дуэль в Петербурге во вкусе современных ему нравов и скромная могила в Святых Горах над почтовым трактом, пролегающим невдалеке от села Михайловского,—могила у „милого предела“, а милый предел—это родная природа, родной быт, это—жизнь, для поэта всегда дорогая и близкая.

Вот первый портрет вечно-юного Пушкина. Основной мотив в нем, основное освещение портрета—это приятие жизни, широкий отбор от жизни источников творчества, синтез жизни. Назовем этот первый синтез—синтезом биографическим и согласимся, что в нем налицо все признаки вечной юности. Когда мы читаем биографию Достоевского, мы все время видим перед собой скорбного человека, идущего путями своих и чужих страданий; когда вдумываемся в обстоятельства жизни Л. Толстого, мы неизбежно на каждом шагу встречаем интеллигентское покаяние и опрощение; с Чеховым мы идем в сумерки нашей действительности, с Горьким в низы нашего недавнего социального быта, с Буниным и Бальмонтом странствуем по разным культурам. С Пушкиным—мы живем, живем широко и многосторонне, дышим настоящим воздухом нашей природы, видим ее яркие краски и переливы света, переживаем колоритные моменты его жизненных положений, его среды, его наблюдений над современностью. Пушкин в этом смысле для нас всегда живой, в этом смысле—в смысле своей яркой, жизнерадостной биографии, в смысле своих искрящихся жизнью источников творчества—Пушкин для нас вечно-юный. Мы любим эту

вечную юность, так сказать, „послужного списка“ его личной жизни. Это—вечная юность его биографии, самого генезиса его поэзии.

Таков этот первый портрет вечно-юного Пушкина, его биографический синтез, синтез наблюдений над жизнью, как источников творчества поэта.

Этот синтез источников неизбежно повлек за собою и второй синтез—синтез художественно-формальный. Поясним это. Для широкого Пушкинского восприятия жизни недостаточно было какой-нибудь узко ограниченной литературной школы, литературной техники,—нужно было многостороннее об'единение разных направлений, школ, литературных манер, нужен был чуткий отбор от них того, что в них было устойчивого, значительного, творческого, вечно-живого, вечно-прекрасного. В этом соединении различных, до Пушкина бытовавших в нашей литературе, стилей и вообще художественных форм—в этом втором синтезе, синтезе формально-художественном, раскрывается перед нами второй портрет вечно-юного Пушкина. Вглядимся в его конкретные черты. Ученик Вольтера и французских анакреонтиков, в роде Парни, Шолье и Лафора, Пушкин был в то же время учеником и Батюшкова, и Жуковского, и Державина, который его „в гроб сходя, благословил“. Но, по выражению Жуковского, он оказался учеником „победителем“ по отношению к побежденным учителям. Эта победа, однако, не была отказом от литературного наследства прежних, допушкинских школ: нет, Пушкин отобрал лучшее, вечно-живое, вечно-зиждущее и от державинского торжественного пафоса, и от неоклассической пластики Батюшкова, и от сентиментально-романтической поэтики Карамзина и Жуковского. Прелесть и вечная юность Пушкинского стиля не в том только, что это стиль художественного реализма, а в том, главным образом, что художественный реализм Пушкина синтетически вместил в себя всю причудливую амальгаму русской литературно-художественной техники, начиная от ходульного парения ложно-классической оды и кончая наивной простотой устного, народно-поэтического творчества. Пушкинский художественный реализм это настоящее золото художественной речи, но это золото, которое не стирается с годами и с целыми эпохами, потому что его благородная мягкость укреплена прочной лигатурой всех прежних литературных направлений и литературных форм. В Пушкинском стиле поэтому живут до сих пор все лучшие возможности и сентиментализма, и романтической поэзии, и даже давно уже покойного французского классицизма. В Пушкинском стиле,—скажем больше,—внимательному взору исследователя раскрываются и все разновидности модернистской художественной техники, не исключая символизма и его вариаций. Еще не так давно один из начинателей эгофутуризма, ныне развенчанный самими футуристами, Игорь Северянин, обмолвился однажды по поводу Пушкина следующей заносчивой фразой:

Увы! Пустынно на опушке
Олимпа грезовых лесов...
Для нас Державиным стал Пушкин,—
Нам надо новых голосов!..

В переводе на простой язык это вот что значит: „Стало пустынно в русской литературе. Пушкин для нас устарел, как и Державин. Нам нужна новая поэзия.“ Тут есть прежде всего большая неточность: в те годы, когда „пел“ на эстрадах свои стихи „повсеградно оэкраненный“ Игорь Северянин, „грезовые леса“ русской поэзии были вовсе не так пустынны—слышались в них и новые голоса, иногда делавшие, подобно футуристам, большой шум. Но здесь, в этой стихотворной фразе, есть и большая историческая неправда: Пушкин еще далеко не стал для нас Державиным, и самое „словотворчество“ Северянина не родилось бы на свет без того первичного зерна, которое скрывается

в Пушкинской художественной манере. В 1903 году, когда присуждалась Пушкинская премия поэту И. А. Бунину за первый томик его стихотворений, академический его рецензент ценность его поэзии увидел именно в том, что она верна Пушкинским традициям и нова лишь в „подробностях“, т. е. в развитии тех возможностей, которые даны были в стиле Пушкина. Эти формально-художественные возможности поэзии Пушкина, действительно, остаются вечно-юными. Мы знаем вечно-юный роман Пушкина, роман „Евгений Онегин,“ давно разменявшийся в культурном обиходе нашей речи на отдельные сцены, образы, поговорки, символы, крылатые слова; мы знаем вечно-юную повесть Пушкина, повесть „Капитанская дочка,“ до настоящего времени не превзойденную в своей классической простоте стиля и без'искусственной прелести образов; мы знаем несравненные Пушкинские миниатюры, маленькие рассказцы, об'единенные под названием повестей Белкина, которые по своей форме только с появлением Чехова получили свое дальнейшее художественное развитие. Мы знаем и вечно-юную Пушкинскую драму—и ту, благодаря которой (я разумею „Бориса Годунова“). Пушкин навсегда приобщил нас к бессмертной красоте Шекспировской драматургии, и ту, т. наз. „маленькую драму“, в роде „Моцарта и Сальери“ или „Пира во время чумы“, где Пушкин, с удивительным прозрением будущих форм драматического творчества и театра, дал задолго до наших дней образцы новых пьес настроения, пьес большой символической емкости, вмещающих в маленькую схему большое, человечески-значительное содержание. Мы знаем и вечно-юную Пушкинскую лирику, ту лирику, в которой нашлись живые, до сих пор непоблекшие, краски и для унылого очарования нашей природы, и для высокого пафоса едкой политической сатиры, и для интимных личных переживаний, и для общечеловеческих движений чувства. Наконец, и самая эстетика Пушкина в ее основных тезисах, самый символ его художественного исповедания остаются и в наши дни во всей своей силе и свежести, потому что Пушкин прочно утвердил в нашей критике и теории литературы признание не только художественного, но и социального значения поэзии. Русский барин по рождению и воспитанию, всю жизнь не порывавший связей с светской, оффициальной и даже придворной сферой жизни, он сам не имел в этой сфере никакой—ни чиновной, ни деловой—позиции; он гордо входил в эту сферу без чинов, без служебной карьеры, без богатства, с одним лишь званием поэта—званием, которое для светской толпы звучало, как кличка актера, даже как кличка заезжего фокусника, авантюриста,—в глазах же самого Пушкина и благодаря именно ему оно выросло до пределов высокого общественного служения.

Это общественное служение Пушкина проявляется двояко в его поэзии: во-первых, в его постижении основных явлений нашей социальности, во-вторых, в его личной идеологии, художественно им выраженной. Как типизатор основных явлений нашей социальной жизни, Пушкин опять до наших дней остается вечно- юным. Это третий портрет вечно-юного Пушкина, раскрывающийся в его художественных обобщениях русской действительности, где он опять делает синтез русской жизни, на этот раз синтез не формально-художественный, а социологический.

Для всех совершенно ясна социально-культурная почва литературного творчества Пушкина. Это почва дворянской культуры, из которой вышел и Пушкин и большинство художников слова его эпохи. И если бы перед нами был не Пушкин, а рядовой типизатор жизни, то он не поднялся бы выше самых обыкновенных типических зарисовок быта и нравов дворянско-помещичьей культуры в момент ее цветения, как это и было в начале XIX столетия. Но Пушкин и в этом отношении, т. е. в отношении типических картин и образов, дал не прос-

то снимки с нашего быта, но и вечно-живое постижение основ нашей социальности. Он не только осознал то, что совершалось в его современности, но и чутко предугадал то, что должно было совершиться дальше. Поэтому с добродушной улыбкой рисуя тепличные цветы барского эстетизма, он вместе с тем предвидел и близкое их увядание: от расцвета дворянской культуры он орлиным взором пророка прозревал близкий ее распад и разложение; он знал, что она, не доживши до полного цвета, должна поблекнуть и уступить место молодым побегам новой, более жизнеспособной социальности. Для новых эпох русской общественности поэт предвидел и новые пути и формы. Онегин для него поэтому не только добрый малый, не только офранцуженный недоросль начала XIX в., но и эмбрион всех видов будущего интеллигентского типа: в одном месте своего романа поэт гадает о будущности онегинского типа и прозорливо видит в нем прообраз почти всех интеллигентских идеологий XIX-го века. Точно также в Ленском он вычеркивает обе разновидности „прекраснодушия" нач. XIX в.—и дряблого идеалиста-мечтателя, в духе Обломова, и бодрого бойца передовой общественности в духе декабристов и их преемников. Предвидя близкое разложение высшего класса нашего общества и утрату им руководящей исторической роли, Пушкин на место этой отживающей „умной ненужности", порожденной светским бытом, вычертил новые, полные неизжитых сил, типы среднего человека, которому суждено было—как он правильно понимал—в скором времени делать нашу историю и итти рука об руку с близкой тогда уже демократизацией русской жизни, пришедшей на смену дворянской культуре; эти типы, все еще не утратившие своей исторической молодости, он зарисовал не только на страницах „Капитанской дочки", но и в повестях Белкина, с которых у нас начинается непрерывающаяся в течение всего XIX-го века художественная реализация средних классов общества. Пушкин пошел, однако, значительно дальше в типизации классов нашего общества. Он первый осознал и раскрыл красоту народного типа и своим гениальным эскизом старого Савельича открыл, можно сказать, целую галлерею портретов из народной жизни, скоро властно завладевших вниманием нашей художественной литературы. Вместе с тем художественному чутью Пушкина оказалась доступной не только внутренняя природа народного смирения, но и грозная психика народного гнева и народного протеста против вековой неправды и векового гнета, художественно выраженная им в картинах Пугачевского бунта, символически предвосхищающих великий социальный сдвиг в русской жизни нашего времени. Еще более прав на вечную юность имеют те Пушкинские образы, символика которых выходит за пределы русской истории и национальности и теряется в необ'ятных далях общечеловеческих переживаний и устремлений. Сюда относятся художественные образы Пушкинского очарования, в роде его несравненной Татьяны—этой благоговейной мечты его сердца, этого символа лучезарной женственности; сюда относятся и образы его разочарования, в роде, напр., от коловшегося от жизни Алеко, воплощающего в себе идейное скитальчество не только в русском, но и в общечеловеческом масштабе; сюда же нужно отнести и многих скромных героев Пушкинских повестей и его широкой кистью написанные портреты на темы из европейской литературы и жизни, каковы: „Скупой рыцарь", „Дон Жуан", „Моцарт и Сальери".

Эти вечно-юные символические образы Пушкинского постижения жизни, сквозь которые, как сквозь широко открытые окна, он смотрит в многообразную действительность, эти типические образы, эти коллективные, обобщающие жизнь портреты неизбежно обвеяны такой же вечно-живой, вечно-творящей легенду бытия идеологией поэта:

в его социологическом синтезе нашей жизни всегда присутствует и синтез идеологический. Таким образом мы подходим и к четвертому портрету вечной юности Пушкина—к его художественно-выявленной идеологии.

Заявив себя в годы молодого задора смелым сатириком аракчеевского режима, Пушкин в зрелые годы казался лояльным гражданином Николаевской Руси, расцветшей махровыми цветами реакции на безжалостно затоптанной, еще неокрепшей ниве декабризма. Его корректные отношения к правительству Николая I, звание камер-юнкера, появление на придворных балах в свите красавицы-жены, кой-какие казенные субсидии и милости—все это дало основание историкам отнести Пушкина, вместе с Гоголем, Погодиным и др., к сторонникам оффициальной политики своего времени. Но это не так: „мудрость Пушкина“ была значительно выше бумажных измышлений Николаевской бюрократии и поверх русской реакции 30-х годов зорко вглядывалась в далекие горизонты мирового, общечеловеческого прогресса. Поэтому все идеологические проблемы, которые ставил себе Пушкин, как художник, остаются поныне вечно-юными и не утрачивают своей высокой культурной ценности. Первая проблема, которую он поставил в ранней юности, была проблема личности в современной ему жизни. Увлеченный модными тогда мотивами мировой скорби, Пушкин сначала на некоторое время заинтересовался личностью разочарованного и протестующего человека, но вскоре же, в поэме „Цыганы“, он осудил исключительный индивидуализм разочарованности и единственный выход из тоски без очарования увидел в служении общему благу и в подчинении своего единичного „я“ коллективной воле народной массы. Второй проблемой Пушкина была проблема личности в истории, и он ее решил в драме „Борис Годунов“ и в поэмах „Полтава“ и „Медный Всадник“ опять в пользу широких культурно-социальных целей, которыми только и можно, по мнению поэта, оправдать интенсивную роль выдающейся личности в истории. Третья проблема была проблема роли в историческом процессе широких народных и общественных масс; как известно, Пушкин, вопреки модному тогда культу гениальности, стал всецело на сторону массовых или роевых движений в истории и их скромный, но зиждущий героизм возвел, напр. в повести „Капитанская дочка“, в перл создания. Самую сущность прогресса русской жизни Пушкин понял—судя по роману „Евгений Онегин“—не в духе западничества или славянофильства, этих двух направлений, намечавшихся в его время, но в виде гармонического синтеза культуры своей и культур чужеземных, во имя общих братских целей; при этом в том же романе он наметил и основной уклон нашего развития в сторону постепенной демократизации жизни и ее приближения к идеалу простоты, добра и правды, впоследствии более отчетливо выраженному Л. Толстым. Припомним, кроме того, что Пушкин, как художник-идеолог, открывает собою поход художественной литературы XIX века против крепостного права, что он дает смелые уроки Николаю I-му, призывая его не презирать страны родной и служить ее просвещению, что он после крушения дела декабристов продолжает твердо исповедовать убеждение в плодотворности их „скорбного труда“, что он с юных лет твердо верил в будущую новую Россию, которая должна возникнуть на „обломках самовластья“—и тогда этот четвертый портрет его неувядающей юности предстанет во всех своих тонах и красках.

Таковы эти четыре портрета, которые теперь, в 125-летнюю годовщину рождения поэта, особенно уместно освежить в своей памяти. Переводя эту серию портретов Пушкина на отвлеченный язык истории литературы, мы сказали, что Пушкин в четырех отношениях дал гармонический синтез. Он дал синтез своих наблюдений над жизнью,

источников своего творчества, синтез биографический; он дал синтез художественных стилей и форм своего времени—синтез формально-художественный; дал синтез типических обобщений нашей социально-культурной жизни, ее постижения в прошлом и будущем—синтез социологический и, наконец, в своем миросозерцании дал синтез современного ему идейного осмысления путей жизни—синтез идеологический. Во всех четырех случаях Пушкин дал нам широкое и проникновенное осознание нашей жизни, дал приятие жизни в ее наиболее значительных проявлениях, он ввел нас в ее красоту и ценность. За это многогранное вечно-юное приятие жизни, за эту многоликую юность поэтического творчества мы полюбили Пушкина искреннею и глубокою любовью.

В скорбные дни Пушкинских поминок, которыми, тому назад 87 лет, 29 января 1837 г., закончилась одна из двух „вечно печальных" дуэлей в русской литературной семье, в те скорбные дни многие из поэтов Пушкинской поры, его современников, откликнулись стихами на смерть великого художника слова. И один из них сказал по истине „золотое слово, со слезами смешанное". Это был Ф. И. Тютчев. Отказываясь судить поэта за ту вспышку вражды и гнева, которая привела его к преждевременной смерти, он только оценивает по существу тяжесть этой утраты для России:

Вражду твою пусть тот рассудит,
Кто слышит пролитую кровь,
Тебя-ж, как первую любовь,
России сердце не забудет.

Более проникновенно нельзя было определить то вечно-юное и живое, что нас связывает с творчеством Пушкина. Да, конечно, он был „первой любовью" России, и никто из русских поэтов ни до него, ни после него не вправе оспаривать у него этого места в нашем сердце.

Первая любовь всегда, до известной степени, романтична. В сфере первой любви мы обычно ищем, как думали романтики, воплощения и отражения лучшей части нашего „я", наших лучших стремлений. По мнению Гёте, мы по настоящему любим тогда, когда в любви находим нашу innere Wärme, Seelenwärme., а по мнению поэта Новалиса, младшего современника Гёте, в об'екте любви мы хотим видеть „всю вселенную в сокращенном виде"—„die Abreviatur des Universums."

Такова именно и природа нашей любви к поэзии Пушкина. Мы любим в ней свое молодое приятие красоты и ценности жизни, любим микрокосм своего слагающегося мироощущения и миропонимания, свою опоэтизированную „Abreviatur des Universums", выраженную Пушкиным в величавом и многогранном синтезе.

В этом—сила поэзии Пушкина и в этом еще и еще раз вечная молодость Пушкинской традиции. Я говорю „еще и еще раз", потому что вечно-юные мотивы его творчества, о которых сказано выше, обвеяны таким же вечно-юным чувством нашей любви к его поэзии и тем самым прочной связью связаны с нашим культурным сознанием.

Наконец, вечная юность Пушкина еще и в том, куда, в какую сторону обращено вечно-юное лицо его поэзии. Было бы ошибочно думать, что Пушкин обращался только к современникам или к ближайшим ему эпохам. Его вечно-юные портреты смотрят в лицо вечно-юной жизни, в лицо вечно возрождающейся природы, вечно сменяющихся человеческих поколений, в лицо неумирающей красоты и радости бытия. Надо вспомнить, что Пушкин никогда не пел гимнов смерти: ведь это он сказал всем известные слова, что „сердце будущим живет"; ведь это он „средь горестей, забот и треволненья" не умирать хотел, а жить, „чтоб мыслить и страдать"; ведь это он в скорбных думах о неизбежной смерти искал утешения не в мистике веры в загробное существование, а в реальном обращении к молодой жизни и к вечной красоте, земно-

го бытия; ведь это он сказал: „и пусть у гробового входа младая будет жизнь играть“... И поэтому до какого величественного символа вырастает каждое его слово, обращенное к новой жизни, и как проникновенно оттуда, из Пушкинской эпохи, звучит в наши дни, когда молодые поколения призваны строить новую, молодую жизнь, как проникновенно звучит это вечно-юное обращение Пушкина к молодой жизни,—к молодой роще его родного села: „Здравствуй, племя молодое, незнакомое; не я увижу твой могучий поздний возраст, когда перерастешь моих знакомцев и старую главу их заслонишь от глаз прохожего. Но пусть мой внук услышит ваш приветный шум, когда, с приятельской беседы возвращаясь, веселых и приятных мыслей полн, пройдет он мимо вас во мраке ночи и обо мне вспомянет“...

Мы все—внуки и правнуки Пушкина по духу любви к нему, по родственному чувству к его неувядающей юности. И хотя он не дожил до могучего возраста новой жизни наших дней, хотя он не увидел этого возраста, мы всетаки как будто все еще видим поэта среди нас и вместе с ним созерцаем жизнь сквозь призму его вечно-юных художественных прозрений.

И поэтому мы, особенно же молодые поколения, строющие новую жизнь, должны вспомнить это бодрое слово Пушкина, обращенное к молодой жизни. Вспомнить о Пушкине—значить приобщить себя к вечной юности его творческих дум и образов, учесть их в культурном строительстве новой жизни. Пусть же новая молодежь, выходящая из толщи народной, сохранит эту вечно живую память о великом поэте, который, по его словам, считал себя „любезным“ народу; пусть вечная юность его поэзии будет желанной гостьей в новом здании красивой и радостной жизни, и пусть к ней, к этой поэзии приятия жизни, пусть к ней—по слову поэта—„не зарастет народная тропа“.

Е. И. Боричевский.

„Памятник“ Пушкина.

Опыт истолкования.

21 августа 1836 г., за 5 месяцев до смерти, Пушкин написал стихотворение, известное под заглавием „Памятник“. Самим поэтом оно опубликовано не было и появилось в печати в первом посмертном собрании сочинений, причем само заглавие принадлежит не автору, а редактору. Подлинный текст стихотворения не мог быть пропущен цензурой того времени. Жуковскому, приготовлявшему к печати рукописи поэта, пришлось внести ряд существенных изменений: заменить „александрийский“ столп „наполеоновым“ столпом, исключить слова о жестоком веке и о свободе. На постаменте пушкинского памятника в Москве отбита 4-я строфа этого стихотворения с поправками Жуковского. Без цензурных искажений оно было впервые обнародовано лишь в 1881 г. П. И. Бартеневым. Чтение автографа представляет большие трудности. Достаточно сказать, что в последнем выпуске издания „Пушкин и его современники“ М. Л. Гофман вносит некоторые немаловажные поправки в общепринятый текст „Памятника“. *)

Прототипом этого стихотворения по теме, стилю и композиции является „Памятник“ Горация. Имеется несколько переводов этой оды римского поэта на русский язык, в том числе сделанные Ломоносовым, Фетом, В. Брюсовым. Но кроме того в русской литературе мы находим 3 подражания „Памятнику“, в которых поэты, сохраняя в большей или меньшей степени построение и дух горацианского „Памятника“, попробовали определить свои поэтические заслуги и предугадать свою посмертную славу. Первым из них был Державин, вторым—Пушкин, третьим—В. Брюсов. Дать толкование пушкинского „Памятника“, пользуясь сравнением с „памятниками“, которые поэт имел перед собой, и составляет мою задачу.

Пушкинский „Памятник“ открывается следующей строфой:

Я памятник себе воздвиг нерукотворный
К нему не заростет народная тропа
Вознесся выше он главою непокорной
Александрийского столпа.

Эпитет „нерукотворный“ вызвал возражение Вяземского: „ а чем же писал он стихи свои, как не рукою? Статуя ваятеля, картина живописца так же рукотворны, как и написанная песнь поэта“.

*) Пушкин и его современники. Выпуск XXXIII—XXXV. М. Л. Гофман. Посмертные стихотворения 1833—1836 г. г.

Какой смысл вкладывает Пушкин в эпитет „нерукотворный“? Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к другим памятникам.

„Памятник“ Горация начинается следующими стихами:

Exegi monumentum aere perennius
Regalique situ piramidum altius,
Quod non imber edax, non Aquilo impotens
Possit diruere aut innumerabilis
Annorum series et fuga temporum.*)

Свой памятник Гораций противопоставляет памятникам вещественным, призванным увековечить память царей. Почти так же звучит этот мотив у Державина:

Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный!
Металлов тверже он и выше пирамид:
Ни вихрь его, ни гром не сломит быстротечный,
И времени полет его не сокрушит.

Для Державина памятник поэта вечен потому, что он воздвигнут не из вещества, подверженного действию времени и случая. Само по себе это противопоставление мало убедительно. В самом деле, можно ли утверждать, что создания поэта прочнее памятников пластического художника? От гениального, судя по отзывам греков и самого Аристотеля, поэта Агатона до нас не дошла ни одна из его многочисленных трагедий, тогда как многие современные Агатону произведения скульптуры и зодчества сохранились. Надежду, высказанную В. Брюсовым в его „Памятнике“—

Распад певучих слов в грядущем невозможен—

история не оправдывает. Их распад не раз оказывался возможным, и лишь после изобретения книгопечатания можно говорить об относительной прочности находящихся в бесчисленных книгохранилищах произведений слова, поскольку их гибель предполагала бы несравненно более ужасную мировую катастрофу, чем те случайности, от которых подчас погибают те или иные произведения изобразительного искусства.

Для Пушкина величие его памятника в другом:

К нему не зарастет народная тропа.

Вещественные памятники могут быть физически пощажены разрушительным временем, но ко многим из них, отлично сохранившимся, давно уже заросла народная тропа. А к скольким из них она никогда и не вела. Второй стих пушкинского „Памятника“ об'ясняет нам смутивший Вяземского эпитет „нерукотворный.“ Вещественные памятники создаются по воле тех или иных людей и волею отдельных людей могут быть разрушены. В этом смысле они рукотворны. Напротив, памятник, воздвигнутый себе Пушкиным, есть тот нерукотворный памятник, который великий человек создает себе в неистребимой памяти народной.

Сделанное Горацием и Державиным сравнение своих памятников с пирамидами Пушкин заменил сравнением с памятником современного ему русского царя:

Вознесся выше он главою непокорной
Александрийского столпа.

---

*) Вековечней воздвиг меди я памятник;
Выше он пирамид царских строения.
Ни снедающий дождь, как и бессильный ветр,
Не разрушат его ввек, ни бесчисленных
Ряд идущих годов или бег времени.

(Перевод В. Брюсова)

Славу Александра I Пушкин изобразил в сохранившихся стихах сожженной им X главы „Евгения Онегина“:

Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой,
Над нами царствовал тогда.
Его мы очень смирным знали,
Когда не наши повара
Орла двуглавого щипали
У Бонапартова шатра.
Гроза двенадцатого года
Настигла—кто тут нам помог?
Остервенение народа,
Барклай, зима иль русский бог?
Но бог помог—стал ропот ниже,
И скоро, силою вещей,
Мы очутилися в Париже,
А русский царь—главой царей.

Слава Пушкина—не каприз истории. Вечно-опальному поэту будет воздвигнут памятник—нерукотворный, не один из тех, к которым зарастет народная тропа. И этот памятник вознесется выше царского памятника „главою непокорной“,—при жизни непокорной царю, после нее—закону разрушения и смерти.

Во 2-ой строфе, в ее формальном построении, Пушкин подражает своим предшественникам:

Нет весь я не умру—душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит—
И славен буду я доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.

Утверждение своей посмертной славы—основная мысль всех „памятников“—выражено словами, определяющими, что именно переживет прах поэта: „душа в заветной лире“,—словами, заменившими прозаические и невыразительные multa pars mei Горация и „часть меня большая“ Державина. (Первоначальный эпитет „в бесмертной лире“ заменен менее громким и более задушевным—„в заветной“).

Все в мире имеет свой предел: имеет ее и слава величайших поэтов. Подобно своим предшественникам, Пушкин хотел предсказать, какими пределами судьба ограничит его славу. Гораций установил границы своей славы в следующих стихах:

Non omnis moriar, multaque pars mei
Vitabit Libitinam: usque ego postera
Crescam laude recens, dum Capitolium
Scandet cum tacita virgine pontifex.*)

Римский поэт недооценил своей слaвы. Уже давно не исполняются обряды римской государственной религии, уже давно в Капитолии не ходит с безмолвной девою верховный жрец, а венец Горация все еще зеленеет, доказательством чему служат хотя бы русские подражания его „Памятнику“ Его слава и после падения Рима росла, не раз меняла свой облик, вдохновляла других поэтов в течение 20-ти веков.

*) Нет, не весь я умру, бòльшая часть меня
Либитины уйдет; славой посмертною
Возрастать мне, пока по Капитолию
Жрец верховный ведет деву безмолвную.

Державин связывает долговечность своей славы с судьбою славянского племени:

И слава возрастет моя, не увядая,
Доколь Славянов род вселенна будет чтить.

Пушкин не связывает судьбы своей славы ни с судьбою русского государства, ни с судьбою славянства:

И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.

Отдаленная судьба его славы связана лишь с судьбою самой поэзии. Русский язык может стать мертвым языком, как стал им латинский язык, но слава Пушкина может возрасти. И, наоборот, русский народ может достигнуть блестящего развития и расцвета, но слава Пушкина может померкнуть. И она должна будет померкнуть, если в культуре будущего поэзия не сохранит своего места,—потому ли что художественное творчество будет вытеснено другими видами творчества, как в наши дни думают теоретики конструктивизма, или потому, что в человечестве иссякнут те душевные силы, которые нужны для поэзии,—мысль, которую современник Пушкина Боратынский выразил в стихотворении „Последний поэт“.

Предел, поставленный Пушкиным своей славе, отличается смелостью: ее судьбу он ставит в зависимость лишь от того, как отнесется к поэзии будущее человечество. Еще и поэтому его памятник вознесется выше александрийского столпа.

Если 2-ую строфу Пушкин посвятил предельному распространению своей славы во времени, то 3-ья и 4-я строфы посвящены ее ближайшему распространению в пространстве. И в этом отношении Пушкин следует за своими предшественниками:

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой
И назовет меня всяк сущий в ней язык
И гордый внук Славян, и Фин и ныне дикой
Тунгуз и друг степей Калмык.

Изменение, сделанное Пушкиным, состоит в том, что географические указания распространения своей славы, перечисление рек и морей, он заменил перечислением народов. В этом перечислении поэт делает особое ударение на народах, не причастных еще культуре. Он надеется, что в грядуший час своего культурного пробуждения они узнают и произнесут его имя.

Пушкин надеется на широкие общенародные симпатии и пытается определить их основания. Это сделано им в 4-ой строфе:

И долго буду тем любезен я народу
Что чувства добрые я лирой пробуждал
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.

Строфа начинается стихом „И долго буду тем любезен я народу“, не имеющим себе соответствия у Горация и Державина. Это изменение повлекло за собой другие.

Гораций притязает на славу за то, что он

Princeps Aeolium carmen ad Italos
Deduxisse modos. *)

Державин—за то,

Что первый я дерзнул в забавном русском слоге....

Оба отмечают, что они первыми вступили на определенный поэти-

---

*) Первым я перевел песни Эолии
На Италийский лад.

ческий путь; оба отмечают свои историко-литературные заслуги. Под их влиянием и Пушкин первоначально написал:

И долго буду тем любезен я народу
Что звуки новые для песен я обрел.

Но, вероятно, почувствовал, что такие основания для широких народных симпатий неправдоподобны, ибо эти заслуги слишком академичны и могут быть оценены скорее специалистами или любителями, чем народом в целом. Для народа всего дороже будет нравственная красота и общественный смысл его поэзии. Вероятнее всего, что именно этими мыслями руководствовался Пушкин, когда зачеркнул стих „Что звуки новые для песен я обрел“ и написал:

Что чувства добрые я лирой пробуждал.

Предположение С. А. Венгерова,*) что Пушкин колебался в данном случае между двумя литературными теориями—чисто-эстетической и учительски-гражданской—и этой поправкой отдал предпочтение второй теории, не выдерживает критики. Вопрос не в том, что Пушкин лично ценил в своей поэзии, а в том, что в ней будет дорого и близко народу. Пушкин был достаточно ясным мыслителем и об‘ективным художником, чтобы различать эти две вещи.

Известно, что Пушкин не хотел подчинять своего вдохновения каким-либо нравственным или общественным заданиям. Но вовсе не для того, чтобы его поэзия и не имела никакого нравственного или общественного значения. Он полагал, что его творчество само выполнит эти задания, выполнит их по-своему и, может быть, более ярко и непосредственно, чем если-бы поэт позволил моралисту, хотя бы этим моралистом был он сам, направлять свое творчество в заранее приготовленное русло рассудочного дидактизма. Художественный процесс есть, по мнению Пушкина, акт высокой сознательности **) и в то же время нечто глубоко-эмоциональное и в своей эмоциональности стихийное, не подвластное никаким рассудочным нормам и требованиям. В этом смысле явления поэтического творчества столь же нерукотворны (еще один смысл пушкинского эпитета), как и явления природы. Эту мысль Пушкин выразил в следующих стихах:

Зачем крутится ветр в овраге,
Волнует степь и пыль несет,
Когда корабль в недвижной влаге
Его дыханья жадно ждет?
Зачем от гор и мимо башен
Летит орел, угрюм и страшен,
На пень гнилой? Спроси его!
Зачем арапа своего
Младая любит Дездемона,
Как месяц любит ночи мглу?
Затем, что ветру и орлу
И сердцу девы нет закона.
Гордись! таков и ты поэт,—
И для тебя закона нет.

Для изображенных в этих стихах явлений нет закона, с другой стороны, они роковые и неотвратимые и, следовательно, глубоко-закономерные. Необходимо различать два понимания слова закон. Творчество поэта обладает своей внутренней закономерностью, лишь постепенно открывающейся нашему психологическому и социологическому

*) Пушкин под ред. С. А. Венгерова. Т. IУ «Последний завет Пушкина».
**) См. его заметку «О вдохновении и восторге».

зрению, закономерностью таинственной для самого поэта, скорее им чувствуемой, чем сознаваемой. Именно поэтому его творчество не подчиняется создаваемым критиками и моралистами законам-нормам. Нерукотворные законы природы действуют в художественном творчестве плодотворнее и целесообразнее законов-норм, слишком рассудочных и в своей рассудочности слишком плоских, чтобы их вмешательство могло быть полезно. Этот взгляд не бесспорен. Но это—взгляд Пушкина.

Итак, борьба против рассудочного подчинения поэзии нравственным и общественным целям не помешала поэту признать в „Памятнике“ ту очевидную истину, что его поэзия будет иметь не только эстетическое, но и нравственное действие. Художественная значительность писателя отделима от его нравственного облика лишь в абстракции. Правдивость художника есть одновременно и эстетическое, и нравственное качество. Широта, свойственная Пушкину, его способность рисовать людей разных классов, положений, возрастов, эпох, способность изображать бесконечно-разнообразный мир человеческих стремлений, страстей, подвигов и падений требуют исключительной чуткости, в которой эстетическая и нравственная тонкость слиты воедино. Его умение симпатически постигать самые различные характеры и симпатически переживать их судьбы, его способность сочувственного понимания людей и жизни вообще,—таковы те „чувства добрые“, на которые имел право указать Пушкин.

Первоначальный вариант следующего стиха „Что вслед Радищеву восславил я свободу“ поэт по тем или иным причинам *) заменил стихом „Что в мой жестокий век восславил я свободу“, дав характеристику своего времени в одном, но типично-пушкинском эпитете,—метком и многооб‘емлющем.

Следующий стих—„И милость к падшим призывал“—имеет первоначальный вариант „И милосердие воспел“, от которого поэт отказался по причинам чисто-техническим (необходимость заменить рифму к зачеркнутому слову „обрел“ новой рифмой к слову „пробуждал“). Так как поэт только-что говорил о свободе, то под падшими естественно разуметь декабристов, амнистия которых была в довольно туманной и сбивчивой политической программе поэта первым и пожалуй единственно-ясным пунктом. Слово „падший“ Пушкин употребил, конечно, в том-же смысле, как и в „Подражаниях Корану“: „блаженны падшие в сраженьи“. Но это слово имеет два смысла: побежденный и себя запятнавший. В современном языке преобладает второй смысл: мы бы назвали декабристов павшими, но, конечно, не падшими. Слово „падший“ в пушкинском смысле—архаизм. Современного читателя это слово в стихе „И милость к падшим призывал“ наталкивает—в чем мне не раз приходилось убеждаться—на более широкое понимание всего стиха. Не следует ли под „милостью к падшим“ понимать то милосердие (первый вариант стиха) и ту веру в человека, к которым зовет нас поэтический гений Пушкина? „Пушкину“—заметил талантливый, рано умерший писатель Ф. Шперк—„недостаточно изобразить страсть человека: он влагает в это изображение известное оправдание этой страсти“. И в самом деле, пушкинский рыцарь остается смелым мечтателем даже в самой своей скупости; его завистник привлекает своей духовной глубиной и значительностью в самой своей зависти; безрассудно сжигающий свою жизнь председатель пира слагает гимн, пленяющий своим смелым вызовом смерти. Милость и великодушие были для Пушкина не только случайным политическим лозунгом, выдвинутым им для спа-

*) См. проф. П. Н. Сакулин „Пушкин и Радищев“ М. 1920 и В. П. Семенников «Радищев» Гос. изд. 1923,

сения друзей, но они были и его поэтическим лозунгом, гениально применявшимся им при изображении падших в борьбе страстей.

С точки зрения текста такое понимание стиха, конечно, неверно. Пушкин говорит о своей заслуге, состоявшей в том, что он восславил свободу и призывал милость к падшим—в борьбе за нее. В общем поэт отмечает в 4-ой строфе лишь некоторые моменты своей поэтической деятельности, которые, будучи понятны всем, обеспечат ему общенародные симпатии.

В заключительной строфе Пушкин, следуя примеру Горация и Державина, обращается к музе:

Веленью божию, о Муза будь послушна
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспоривай глупца*)

Не противоречит ли эта строфа, дающая завет равнодушия ко всяким оценкам, предыдущей строфе с ее надеждой, что поэт будет любезен народу? Конечно, нет. Твори так, обращается к себе поэт, как если бы ты был совершенно равнодушен к чьим бы то ни было оценкам. Слушайся прежде всего своего внутреннего голоса,—остальное приложится. Этот завет равнодушия—один из любимых мотивов Пушкина: достаточно вспомнить его сонет о поэте. Но в то же время этот мотив не является чем-то новым для „памятников": все четверостишие и особенно заключительный стих являются как-бы развитием державинского стиха:

И презрит кто тебя, сама тех презирай.

Говоря о „Памятнике", нельзя пройти мимо истолкования, предложенного М. О. Гершензоном**). По его мнению, Пушкин относится к той народной оценке своего творчества, которую он формулировал в 4-ой строфе, несочувственно. „Пушкин говорит: „Знаю, что мое имя переживет меня; мои писания надолго обеспечивают мне славу. Но что будет гласить эта слава? Увы! она будет трубным гласом разглашать в мире клевету о моем творчестве и о поэзии вообще. Потомство будет чтить память обо мне не за то подлинно-ценное, что есть в моих писаниях и что я один знаю в них, а за их мнимую и жалкую полезность для обиходных нужд, для грубых потребностей толпы". Весь „Памятник"—по мнению Гершензона—„как бы один подавленный вздох". „В попытках осмыслить свое волнение, возбуждаемое его поэзией, люди неизбежно откроют в ней то, чего в ней вовсе нет, и проглядят ее истинное содержание: они откроют в ней полезность, нравоучительность. Отсюда горький сарказм этого пушкинского слова: буду любезен народу тем,

Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал,

н. е., что „сердца собратьев исправлял". Всю жизнь он слышал от толпы это требование, и всю жизнь отвергал его; но едва он умолктет, толпа об'яснит его творчество по-своему.

---

*) М. Л. Гофман предлагает поправку в 3-ем стихе:
Хвалу и клевету приемля равнодушно.
Поправка касается лишь одной буквы, но совершенно меняет синтаксическое построение и тон строфы. При обычном чтении соотношение частей более гармонично, стих движется плавно и величественно. При поправке Гофмана заключительный стих звучит подчеркнуто-резко. Более соответствующим стилю „Памятника" кажется прежнее чтение. Не видя автографа, не решаюсь высказаться окончательно.

**) М. Гершензон. Мудрость Пушкина. М. 1919.

Можно ли согласиться с этим толкованием? Справедливо, что Пушкин представлял себе свою грядущую славу не только в ореоле величия, но и в сереньких условиях бытовой повседневности:

Без неприметного следа
Мне было б грустно мир оставить...
Живу, пишу не для похвал;
Но я бы, кажется, желал
Печальный жребий свой прославить,
Чтоб обо мне, как верный друг,
Напомнил хоть единый звук.
И чье-нибудь он сердце тронет;
И, сохраненная судьбой,
Быть-может, в Лете не потонет
Строфа, слагаемая мной;
Быть-может—лестная надежда—
Укажет будущий невежда
На мой прославленный портрет,
И молвит: то-то был поэт!
Прими ж мое благодаренье,
Поклонник мирных Аонид,
О, ты, чья память сохранит
Мои летучие творенья,
Чья благосклонная рука
Потреплет лавры старика!

Два, обычно враждебных, душевных состояния—сентиментальность и ирония—живут в этом отрывке, не покушаясь друг на друга. Поэт знал, что с его точки зрения, точки зрения взыскательного художника, большинство проявлений его славы будет ничтожно и смешно. Но можно мрачно воспринимать их ничтожество, подобно Сальери, прогнавшему слепого музыканта, коверкавшего арию из „Дон-Жуана". И можно отнестись к ним с моцартовской веселостью, как к искаженным и все же дорогим отражениям чего-то великого.

По своему душевному складу Пушкин принадлежит к поэтам, у которых безграничная преданность своему искусству не связана с презрительным отношением к людям, плохо понимающим „язык поэтов и богов". По признанию Моцарта, если бы все чувствовали силу гармонии также глубоко, как он,

тогда б не мог
И мир существовать.

В „Памятнике" Пушкин лелеет мысль, что даже людям, мало чувствительным к красоте его произведений,—а число их всегда будет велико, ибо в мире есть много хорошего и помимо поэзии—его имя будет что-то говорить, благодаря тем чертам человека и гражданина, которые запечатлелись в его творчестве. В частности, в стихе «И милость к падшим призывал» Пушкин имеет в виду свое отношение к декабристам. Тот факт, что Пушкин всю свою жизнь не мог забыть о них, не мог примириться с их участью, поддерживал в них веру в будущее, вызывает уважение к Пушкину, как к человеку. И едва ли Пушкин мог относиться к высокой оценке этой черты своей жизни, как к чему-то оскорбляющему его ухо.

Если бы Пушкин хотел в 4-ой строфе выразить общенародную клевету на свое творчество, он не мог бы первоначально написать:

И долго буду тем любезен я народу,
Что звуки новые для песен я обрел—

где слово любезен, очевидно, лишено того горького сарказма, который приписывает этому слову Гершензон. Хотя Пушкин потом заме-

нил 2-ой стих другим, но уже самое существование такого варианта показывает, что у поэта вовсе не было того мрачного, сальерического замысла, который нашел у него Гершензон. Тон 4-ой строфы тот же, что и 3-ей, с которой она связана союзом „и“,—праздничный, светлый и радостный.

Если допустить вместе с Гершензоном, что Пушкин в 4-ой строфе хотел заранее определить, какое именно лживое истолкование даст его поэтическому наследию толпа, то придется признать, что великий мастер слова сделал это так неудачно и невыразительно, что на самом деле он сам подсказал то толкование, которое ему же казалось клеветой на его творчество.

Пушкинский „Памятник“, как и подобает памятнику, проникнут духом спокойной и гордой уверенности. От него веет душевной ясностью победителя, а не сарказмом мизантропа.

А. Н. Вознесенский.

Классификация методов историко-литературной науки.

Всякое знание, стремящееся быть научным, должно иметь определенный метод, как комплекс строго об'единенных, неразрозненных приемов изучения того материала, который входит в рамки известной научной дисциплины. Метод составляет первый признак „научности" каждой науки. Метод—это школа. Без метода нет науки. Следовательно, и наука о литературе, или иначе историко-литературная наука, которая в настоящее время стремится быть „подлинной" наукой, такой же точной, как естествознание и математика, которая теперь уже выходит на путь, пройденный этими дисциплинами, также должна иметь свой метод, как сумму приемов изучения материала, подлежащего ее ведению. В этом случае она должна иметь свою *частную логику*, логику *особой природы*, отличную от общей. Историко-литературная наука так же, как и другие науки, должна стремиться к построению своей собственной логики, логики историко-литературной науки, как определенной системы *особого* мышления, устанавливающего систематически об'единенный комплекс приемов научного изучения фактов художественного творчества.

Для построения этой логики является существенно необходимым учесть те достижения в сфере методологии изучения литературы, которые завещаны нам от минувшего времени. Только исходя из выводов прошлого, возможно дальнейшее движение и постановка новых заданий в данной области. Это обстоятельство заставляет кратко обозреть, в порядке определенной классификации, методы историко-литературной науки, существующие в настоящее время, и подвести соответствующие итоги. Эта классификация методов в связи с кратким изложением их содержания, как итог методологических изучений в области историко-литературной науки, и составляет предмет настоящей статьи.

Историографические обзоры методологических изучений историко-литературного характера имеются как в русской, так и иностранной литературе.

Из русских теоретиков историко-литературной науки, *впервые* выступивших со своей классификацией методов и предложивших *первый* опыт *систематической* методологии, следует назвать проф. А. М. Евлахова, перу которого принадлежит трехтомная работа под названием „Введение в философию художественного творчества".[1]) Предшественники его в области построения методологии изучения литературы, та-

---

[1]) А. М. Евлахов. „Введение в философию художественного творчества. Опыт историко-литературной методологии"; т. I. Варшава, 1910 г.; т. II. Варшава, 1912г.; т. III, Ростов-на-Дону, 1917 г.

кие, как Paul,[1]) Elster [2]), Lacombe [3]), Renard [4]), изучая различные вопросы методологическаго характера, однако, *систематического* изложения ее не дали.

Проф. Евлахов делит все историко-литературные методы, известные в настоящее время как в русской науке о литературе, так и иностранной, на две группы.

Первая обнимает методы ненаучные, которые не соответствуют выясненной им сущности истории литературы и противоречат основным признакам поэтического творчества—его художественности и индивидуальности. К числу их он относит этический и публицистический „методы", именуя их лишь предвзятыми точками зрения, с наукой не имеющими ничего общего. [5])

Вторая группа включает методы научные, распадающиеся в свою очередь на две категории. Первая—методы научные, но нерациональные „с точки зрения историко-литературного изучения, т. е. не вытекающие из самой сущности нашей науки и, следовательно, не характерные для нее, как таковой". [6]) Сюда относятся методы филологический, сравнительный, исторический, „этопсихологический" эволюционный и биографический. Вторая категория—научные методы рациональные, которые, однако, только намечены автором в общих контурах, как выводы из критического разбора ненаучных и нерациональных методов. Построение „рациональной методологии", т. е. „определение тех методов, которые естественно и единственно вытекают из выясненной сущности истории литературы" [7]) должно составить содержание IV-го тома того же „Введения", который, однако, в свет покуда не появлялся. Сущность рационального изучения проф. Евлахов сводит к анализу художественного творчества с точки зрения эстетико-психологических предпосылок, которые и отражают основные свойства произведения—его художественность и индивидуальность.

В виду того, что приемы „рациональной методологии" проф. Евлахова в их конкретном виде остались покуда не выясненными, и работа в данной области оказывается еще незаконченной, судить в полной мере о правомерности предлагаемой им классификации историко-литературных методов не представляется возможным.

Правда, автор дал и опыт конкретного приложения основных предпосылок своего метода в книге о Г. Гауптмане [8]), применив в ней по преимуществу *психологическое* изучение, отчасти и *эстетическое*, рассмотрев, таким образом, каждое художественное произведение этого писателя в связи со всем его творчеством, как часть целого, а частично—и независимо от него, само по себе, как таковое. Однако, и в этом случае теоретические основы эстетико-психологического метода, научность и рациональность коего не подлежит для проф. Евлахова сомнению, не получили точного и всестороннего определения. Поэтому входить в подробное обсуждение научной правильности выставленной автором классификации в настоящее время крайне трудно.

Можно только отметить одно обстоятельство, которое в значительной мере колеблет правильность предложенной автором теории. Поскольку историко-литературная наука в ее современном состоянии

---

[1]) H. Paul. „Grundriss der germanischen Philologie. I Bd. III Methodenlehre". Strass. 1891.

[2]) E. Elster. „Die Aufgaben der Literaturgeschichte". Halle. 1894. Его же „Prinzipien der Literaturwissenschaft". Bd I, Halle, 1897

[3]) P. Lacombe. „Jntroduction à l'histoire litteraire". Paris, 1898.

[4]) G. Renard. „La me'thode scientifique de l'histoire litteraire". Paris. 1900.

[5]) А. М. Евлахов. „Введение", т. II, стр. 3.

[6]) Проф. А. М. Евлахов. „Введение." т. III, стр. 3.

[7]) Ib. том III, стр. III

[8]) Проф. А. М. Евлахов. „Герогарт Гауптман. Путь его творческих исканий". Ростов на Дону. 1917 г.

не располагает апостериорными данными для доказательства того, что *художественность* и *индивидуальность* являются *единственными главными и характерными* признаками художественного творчества, постольку сами собою возникают и сомнения относительно незыблемости исходных предпосылок автора, определяющих содержание научной и ненаучной, рациональной и нерациональной методологии. Особенно в настоящее время приходится переживать этот скепсис, когда теория „наглядности“ или „образности“ творчества, являющейся неразрывным символом эстетичности произведения, до известной степени поколеблена разысканиями, так называемого, формального направления в историко-литературной науке, которое стремится „преодолеть“ „образ“, как существенный признак поэтического искусства.

В некотором родстве со взглядами проф. Евлахова в области систематизации методов находятся и воззрения акад. В. Н. Перетца—автора курса „Из лекций по методологии истории русской литературы“,[1]) во втором издании названного „Кратким очерком методологии истории русской литературы“.[2])

В первом издании своей книги акад. Перетц методы истории литературы „во всей их совокупности“ делит на две главные категории: на методы суб‘ективные и об‘ективные. Первые, „применяемые к изучению литературных произведений, всегда имеют своим критерием готовую предпосылку“. Вторые „имеют дело лишь с материалом, который служит предметом наблюдения, и с приемами, помогающими анализу и классификации материала по заключающимся в нем признакам“.[3])

Во втором издании своей „методологии“ автор сохраняет предлагаемую им схему разделения методов на суб‘ективные и об‘ективные или иначе—догматические и критические, отмечая вместе с этим, что методы истории литературы можно распределить и несколько иначе, именно на „методы *аналитические* и методы *конструкционные;* первые имеют целью подготовить материал для построения; вторые—дают основания для построения“. Указывает здесь акад. Перетц и то, что, наряду с отмеченными, наблюдаются и „такие методы, которые занимают как бы промежуточное положение, сочетая об‘ективное наблюдение и суб‘ективное истолкование наблюденного“.[4]) К методам первой категории—суб‘ективным, догматическим—автор относит: эстетический, этический, публицистический, историко-политический. Ко второй группе—к методам об‘ективным, критическим—причисляются: исторический, историко-психологический, культурно-исторический метод N Taine‘a, эстопсихологический, сравнительно-исторический, эволюционный, филологический. Классификация акад. Перетца по сравнению с той, которую предлагает проф. Евлахов, оказывается более об‘ективной, посколько первый автор исходит из принципов логического характера, лежащих в основе группируемых методов, а не из готовых предпосылок, принятых за аксиому, как это делает второй.

Несколько раньше работ проф. Евлахова появилась брошюра проф. В. В. Сиповского: „История литературы, как наука“,[5]) в которой также дается краткий обзор методологических изучений в области истории литературы, но в хронологическом порядке их появления и развития. В такой же последовательности излагается содержание историко-литера-

---

[1]) Проф. В. Н. Перетц. „Из лекций по методологии истории русской литературы. История изучений. Методы. Источники“. Киев, 1914 г.

[2]) Акад. В. Н. Перетц. Краткий очерк методологии истории русской литературы. Пгд. 1922 г.

[3]) Op. cit. Из лекций. Стр. 96.

[4]) Op. cit. „Краткий очерк“. Стр. 30.

[5]) В. В. Сиповский. „История литературы, как наука“. Спб 1906; изд. 2-е Сп. 1911 г.

турных методов и в книге проф. А. С. Архангельского: „Введение в историю русской литературы.[1])

Из иностранной литературы наших дней, рассматривающей те же вопросы систематического изложения историко-литературной методологии, следует назвать работы проф. P. Merker'a и проф. M. Weingart'a.

Первый из них в своем исследовании „Neue Aufgaben der deutschen Literaturgeschichte", [2]) во второй его главе: „Die Methoden der deutschen Literaturgeschichte" дает хронологический обзор методов истории немецкой литературы за время ее развития в прошлом XIX столетии и текущем XX-ом. Он приводит здесь краткое содержание методов: филологического, исторического, этнологического, психологического, философского, эстетического. Последним он рассматривает метод социально-литературный (die sozialliterarische Methobe), который автор считает своим методологическим profession de foi. P. Merker находит, что этот метод оказывается ценным и в научном отношении, поскольку он является дополнением к остальным методологическим направлениям, поскольку он углубляет проблему историко-литературных изучений, и важным для запросов текущего момента, поскольку он не только отвечает стремлению нашего времени к социальным проблемам, но также идет навстречу все возрастающей склонности к культурно-психологической постановке вопроса. [3])

Отмечая эти черты социально-литературного метода, автор вместе с этим указывает и на другое логическое отличие его от остальных направлений. Все рассмотренные до сих пор методы имеют дело исключительно или преимущественно с отдельными поэтическими личностями и созданными ими произведениями. Филологический, этнологический, философский и психологический методы имеют вполне индивидуалистическую ориентацию. Равным образом и эстетическое рассмотрение относится в большинстве случаев к анализу формы отдельного произведения искусства, и только эстетико-стилистическое направление этого метода обращает внимание на общее художественное творчество эпохи. В конечном итоге даже историческое изучение носит индивидуалистический оттенок, поскольку и в нем исходный пункт обычно образует отдельное явление, и дальнейший круг рассмотрения складывается при помощи суммирования отдельных случаев, поскольку и оно идет в своем изучении от частного к общему, создавая картину эпохи не аналитическим путем, а синтетическим. [4])

Совершенно иначе ведет работу социально-литературный метод. Для него первостепенное значение имеет общая история эпохи, в свете которой прежде всего получают свое об'яснение временно связанные индивидуальные явления (von dem aus erst Licht und Erklärung auf die sekundär-gebunden Jndividualerscheinung fällt). Центр тяжести здесь лежит не в единичном произведении, не в отдельном авторе, но на societas litterarum, на общей духовной и литературной структуре эпохи. [5])

Таким образом, обозревая методы изучения немецкой литературы в порядке их хронологического развития, выделяя из них особенно выпукло социально-литературный метод, P. Merker указывает в то же время и на логическое различие между ними; с одной стороны, находятся методы индивидуалистической ориентации, а с другой—суммирующей, групповой.

---

[1]) Проф. А. С. Архангельский. „Введение в историю русской литературы". Том I „История литературы—как наука". Очерк научных изучений в области истории русской литературы. Пгр 1916 г.

[2]) Paul Merker, Prof. „Neue Aufgaben der deutschen Literaturgechichte". Leipzig und Berlin. 1921.

[3]) Op. cit. S. v.

[4]) Op. cit. S. 48-49

[5]) Op. cit. S. 49.

Классификация P. Merker'a, интересная сама по себе, однако не может быть принята нами, ибо принципы, положенные в ее основу, нам кажутся мало характерными для рассматриваемых методов, а затем и неправильными. Результатом первого обстоятельства является то, что, с одной стороны, автор в первой группе методов об'единяет такие, которые по своей научно-логической телеологичности оказываются, как это будет показано ниже, совершенно различными. С другой стороны, он отделяет социально-литературный метод от других—прежде всего, от исторического, упуская из виду то обстоятельство, что по своим целям эти методы имеют много общего между собою. Неправильность общей предпосылки, положенной в основу группировки, заключается в том, что индивидуалистическая ориентация методов первой группы не имеет характера постоянного признака их. Эти методы лишь *временно* имеют в виду отдельных писателей и даже отдельные произведения, не будучи в состоянии по техническим условиям в один прием охватить своим изучением целые литературные эпохи и направления. Когда факты художественного творчества в их индивидуальном виде будут изучены в направлении, указываемом тем или другим методом, тогда только возможен и необходим переход к обобщениям более широкого масштаба. Особенно это следует сказать о методах психологическом и эстетическом.

Второй ученый M. Weingart в своей работе: „Problèmy a methody české literarní historie“ [1]) не дает систематического обзора методов историко-литературной науки со стороны их задач и приемов изучения. Он отмечает только, что отдельное место среди них занимает метод филологический, который устанавливает подлинность текста изучаемых произведений. Этот метод является предварительным; он предшествует тем изучениям историко-литературного характера, которые имеют в виду исследование произведений уже в их подлинном, точно установленном виде. Остальные методы, по мнению M. Weingart'a, должны образовать, так называемый, *комбинированный метод* (kombinováni method), который составляется путем скрещивания и одновременного употребления отдельных методов. Пользование ими порознь не дает исчерпывающих результатов и, с точки зрения M. Weingart'a, оказывается даже вредным для целей научного изучения литературы. В состав комбинированного метода он включает, прежде всего, метод, который он называет литературно-географическим (literárnè-zemépisnou). По своему составу он напоминает собою, пишет M. Weingart, этнологический метод P. Merker'a, который, в понимании этого ученого, ставит своею задачею об'яснение личности писателя и его творчества из условий этнологического и генеалогического характера. Фактор пространственный, история семьи, характер наследственности, отношение рода, история места рождения—все это составляет данные для об'ясняющего изучения метода этнологического. [2]) Но этот метод, как думает M. Weingart, имеет цену только в том случае, если он комбинируется с методами психологическим и социологическим.

В частности при пользовании методом комбинированным, по мнению M. Weingart'a, необходим, с одной стороны, анализ содержания (analysa obsahová) [3]) художественных произведений, а с другой—анализ их формы (analysa formálni). [4]) В первом случае автор предполагает изучение литературы по отдельным группам мотивов; примерно могут быть мотивы—античные, христианские, романтические, исторические,

---

[1]) Miloš Weingart, prof. „Problémy a methody české literarni historie. Uvahy a podněty. Sbornik filosofickej faculty University Komenskčho v Bratislave“. Bratislav. 1922.

[2]) P. Merker. „Neue Aufgaben.“ S. 37-39.

[3]) M. Weingart, str. 23-33.

[4]) Ib. str. 34-43.

славянские, чужеземные, сказочные и т. д. Во втором случае, следуя F. Brunetiére'у, он считает необходимым изучение отдельных родов творчества и их жанров. К области формального изучения литературы он относит также вопросы композиции и те темы, которые, как выражается M. Weingart, стоят на грани между литературой и языкознанием (na rozhrani mezi studiem literatury a jazykozpytem); сюда относятся стилистика, а также и вопросы метрики, рифмы, художественной грамматики и т. д.

На наш взгляд наиболее рациональной является классификация методов с точки зрения их научной целестремительности, логической телеологичности. В этом случае все методы, зафиксированные в историко-литературной науке, ставят двоякого рода задачи. Одни из них имеют ввиду *констатирование*, установление явлений определенного порядка, другие их *экзегетирование*, об'яснение. Исходя из этого положения следует различать методы *констатирующие* и *экзегетирующие*.

Первые—*констатирующие* устанавливают, констатируют наличность тех или других явлений идейного и формального характера в области изучаемого творчества.

Вторые методы—*экзегетирующие*, об'ясняют почему, благодаря каким условиям и причинам имеется наличность констатированных явлений—как в области содержания художественного произведения, так и его формы.

Если с этой точки зрения произвести подразделение всех методов, существующих и известных в историко-литературной науке, то **констатирующими** методами будут: *филологический*, *эстетический*, *психологический*, *публицистический* и *этический*; **экзегетирующими**: метод *исторический* с его разновидностями, затем—*эволюционный*, *сравнительный*, *социологический*, *марксистский*, *философский*.

Намечая такую классификацию, следует, однако, заметить, что абсолютно точного и определенного разграничения методологических направлений по двум указанным категориям произвести невозможно. Классификация по логическому признаку может быть только приблизительной. Это обстоятельство об'ясняется, прежде всего, тем, что известные в настоящее время методы со стороны своего содержания, с точки зрения определения тех заданий, которые каждый из них ставит для научного разыскания историко-литературной науке, крайне расплывчаты и, вследствие этого, трудно уловимы. Они еще не получили вполне определенной теоретической физиономии и не имеют в понимании и истолковании различных теоретиков науки о литературе одного и того же облика.

Обращаясь к обзору методологических направлений и внося в их классификацию два логических принципа—констатирование и экзегетирование—необходимо установить некое общее начало для группировки методов внутри этих двух названных отделов.

Таким началом, также логического свойства, может быть то или иное отношение каждого из методов к разрешению проблемы содержания произведения, его идейности, или формы. В зависимости от того, изучает ли данный метод идейные явления словесного искусства или формальные, или оба вместе, может быть произведена группировка, опять приблизительная, в пределах методов констатирующих. Методы экзегетирующие такого разделения не имеют, ибо каждый из них ставит своею задачею об'яснение одновременно и формы, и содержания.

Из методов, констатирующих, перечисленных выше, в первую очередь необходимо рассмотреть метод *филологический*, который получил свое теоретическое обоснование в науках археологического характера, откуда он был перенесен потом в область истории литературы. Этот метод имеет своею целью дать в руки ученого историка литературы

научно-изданный текст произведения, обнимая, таким образом, это произведение в его целом—как со стороны идейного содержания, так и формального.

Первый момент этого филологическогго изучения произведений художественного творчества заключается в отыскании их и собирании в одно целое—в составлении книжных и рукописных собраний и библиотек, ибо для научного изучения, прежде всего, необходимо сосредоточение в одних руках всего материала, имеющего отношение к интересующему вопросу.

Второй момент филологического метода составляют разыскания текстологического характера, направленные в сторону установления, констатирования достоверного и точного текста творений словесного искусства. Конечной целью такого рода разысканий является научное издание прозведений художественного творчества. Критика текста, прежде всего, предполагает производство каталогизации приведенного в известность художественного материала. Затем идут сложные наблюдения в этой области характера плеографического, герменевтического и грамматического, дающие в конечном итоге историку литературы научно изданный текст.

В области приемов и средств этой кропотливой филологической работы историко-литературная мысль за все время своего существования дала очень сложную систему наблюдений, наметив целый самостоятельный отдел логики историко-литературной науки—текстологию словесного искусства. Методологические указания в этой области настолько обширны и сложны, особенно, если принять во внимание рассмотрение вспомогательных наук, необходимых для текстологии, что составляет предмет отдельных, специальных исследований.

После изучения произведений словесного искусства с точки зрения филологической, после получения научно изданного текста на очереди должно стоять *установление, констатирование* идейного достояния изучаемых произведений художественного творчества. Эту сторону научной работы имеют в виду методы психологический, публицистический и этический, которые оперируют данными идейного свойства. Между ними есть определенное родство, поскольку главный интерес их сосредоточивается на идейности художественного творчества, и резкое различие, поскольку каждый из них интересуется определенным кругом мотивов идейного свойства и имеет в виду лишь присущее каждому из них содержание в этой идейности.

Метод *психологический* в определении своих целей и средств базируется на данных психологии, которая, таким образом, оказывается в роли вспомогательной дисциплины по отношению к историко-литературной науке. Но поскольку психология не является наукой точной, поскольку в ней существует целый ряд направлений[1]), из которых каждое с своей собственной точки зрения стремится разрешить проблему душевной жизни человека во всех ее проявлениях, постольку и психологический метод, опирающийся на выводы психологии, как науки, не может иметь строго определенных норм, составляющих его сущность и содержание. Поэтому в определении различных теоретиков этого метода он принимает довольно разнообразную форму, сохраняя, однако, свою основную черту—интерес к внутренней, идейной, психологической стороне художественного творчества.

В историко-литературной науке принято считать „первым видным представителем“[2]) этого психологического метода и „наиболее ранним

---

[1]) Ср. хотябы у В. Вундта в его „Очерках психологии“ М. 1897 г., стр. 11 и след.
[2]) В. Н. Перетц. Op. cit, стр. 135.

его основателем“ [1]) известного французского ученого Sainte-Beuve'a, предшественника и учителя таких теоретиков историко-литературной мысли, как Taine, Hennequin и Brunetiére.

Как будет видно из дальнейшего изложения, Sainte-Beuve придает большое значение материалам биографического характера и проявляет большой интерес к личности художника. Это обстоятельство дало повод проф. Евлахову [2]) и самый метод Sainte-Beuve'а назвать биографическим, выделив его в самостоятельную методологическую величину, отличную от метода психологического. Нам кажется такое выделение излишним, поскольку общие и принципиальные интересы этого ученого имеют определенный психологический уклон, что и дает основание причислять его к представителям данного метода.

Основные черты воззрений Sainte-Beuve'a сводятся к следующим положениям. [3]) Материал, подлежащий историко-литературному анализу, имеет определенные границы. В рамки его Sainte-Beuve включает, прежде всего, биографические данные изучаемого писателя, а затем и его творения. В этих пределах и должна оперировать историко-литературная наука. Выдвигая это положение, являющееся в методологическом мировоззрении одним из основных, Sainte-Beuve исходил из того утверждения, что между художественным произведением и личностью его автора существует самая тесная и неразрывная связь. Она выражается в том, что индивидуальность художника со всеми его чертами психики находит ближайшее отражение в произведениях его творчества.

Ограничив таким образом историко-литературный материал, подлежащий исследованию, Sainte-Beuve ставит две основных задачи изучения с точки зрения своих методологических воззрений. Первую задачу он видит в изучении личности писателя со стороны ее душевных настроений, нашедших в историко-литературном материале свое конкретное воплощение. Таким образом, первая обязанность историка литературы заключается в том, чтобы произвести психологический анализ биографического и художественного материала в целях знания и уяснения душевной стороны личности художника без отношения к тем или иным эстетическим эмоциям.

Определив внутренный духовный строй художника, историк литературы, с точки зрения Sainte-Beuve'a, должен дальше умозаключать к пониманию его творчества, его художественных произведений. Психологический анализ, произведенный в предыдущем изучении, является средством для уразумения и понимания духовной стороны самих творений художника.

Sainte-Beuve не ограничился постановкой только этих двух заданий для историко-литературной науки, не ограничился констатирующим изучением внутреннего облика художника и его произведения. Он наметил и третью задачу, но уже экзегетирующего характера, которая, однако, свою завершенную форму получила у другого историка и теоретика литературы Taine'а. Именно, после того, как понята душа писателя и определен дух его творчества, историк литературы обязан на основании данных этого анализа нарисовать картину духовного облика нации в ее целом, образ всего народа и человеческого духа вообще. В этом пункте Sainte-Beuve выдвигает вопрос о влиянии на душу на-

---

[1]) А. С. Архангельский. Op. cit, стр. 86

[2]) А. М. Евлахов. „Введение“. Т. III, стр. 503 и след.

[3]) Свои методологические взгляды Sainte-Beuve в разрозненном виде изложил в ряде своих работ, начиная от самой ранней „Pierre Corneille“ (1828 г.) и кончая монументальными „Nouveaux Lundis“ (13 v, 1863-1870), не придав им, однако, характера планомерной законченности и стройной системы. Особенное значение для уяснения его метода имеет III том названного большого сочинения.

рода и отдельного человека условий естественной природы, расовой традиции, переходя, таким образом, в сферу социально-исторических изучений, от констатирования, установления духовного образа художника и его произведений к его об'яснению, экзегетированию.

Несколько позднее та же проблема психологического изучения художественного творчества была поставлена другим французским критиком литературы Hennequin'ом, но намечена им в иной совершенно форме. Нужно отметить, что этот ученый не ограничился только постановкой задач психологического свойства. Он вышел за пределы такого изучения, указав одновременно на необходимость анализа эстетического и социологического, наметив, таким образом, возможности плюралистических исследований в области историко-литературной науки. Поскольку интересы психологические играют очень видную роль в его методологических рассуждениях, поскольку они окрашивают всю „методологию" Hennequin'а, постольку этим оправдывается рассмотрение его взглядов в историографическом обзоре метода психологического.

В основных чертах теоретические взгляды Hennequin'а представляются в следующем виде.[1]) Он устанавливает два вида изучения произведений искусства. Первый носит название литературной критики и сводится к тому, чтобы анализировать факты искусства в целях одобрения или осуждения их. Второй вид представляет собою особую науку, которой придано наименование „эстопсихологии". Эта новая наука стремится изучить произведение, главным образом, в целях знания тех или иных явлений художественного творчества и об'ективного установления законов изучаемых фактов. Эта возможность изучения достигается путем анализа—эстетического, психологического и социологического.

Эстетический анализ рассматривает два вопроса. Первый касается того, что призведение искусства выражает, какова его природа, содержание, какие эмоции оно вызывает. Таким образом, Hennequin ставит задачу приведения в известность всего круга идей, имеющих психологический характер, задачу констатирования идейности психологического свойства. Второй вопрос, подлежащий эстетическому анализу, состоит в установлении тех средств и приемов, при помощи которых вызываются эффекты психологического характера. Hennequin разделяет все средства художественного воздействия на две группы—стиль и композицию; стиль это сумма всех языковых средств, с помощью которых строится каждая фраза. Сюда относятся данные словаря художника, его синтаксис и риторика. Композиция произведений, рассматриваемая уже после определения всех средств построения фразы, заключается в анализе данных архитектоники творчества, „поднимаясь постепенно от композиции отдельных сцен к композиции глав и от этой последней к композиции целого".[2])

Анализ психологический заключается в том, чтобы „подняться от книги к ее автору", чтобы, „изучив все эстетические особенности известного художественного произведения, связанные с его формой и содержанием, определить в терминах научной психологии особенности душевной организации его автора".[3]) Hennequin думает, что с помощью установленных предыдущим анализом эстетических особенностей возможно определение душевного строя художника. Данные предыдущего изучения позволят, таким образом, установить особенности ума, чувства, воли, свойственные изучаемому писателю, ибо с точки зрения Hen-

---

[1]) E. Hennequin. „La critique scientifique". Paris, 1888; 2-me édition, 1890; есть русский перевод этой книги: Э. Геннекен. Опыт построения научной критики. Эстопсихология. Спб. 1892.

[2]) Геннекен. „Опыт построения научной критики". Спб. 1892 г., стр. 28.

[3]) Ib., стр. 35-36.

nequin'a „идеал художника есть сознательное выражение—в форме образов—тех самых способностей, которые составляют основу его души и которые являются лучшим определением его личности". [1]) Это обстоятельство дает право историку литературы умозаключать от произведения к личности художника. Таким образом, второй момент научной критики Hennequin'a представляет собою акт чисто логического свойства, ставящий своею задачею получение выводов, касающихся душевной жизни автора, при помощи синтеза данных эстетического изучения.

Если художественное произведение заключает в себе материал для установления психологического облика автора путем соответствующего изучения—эстетического и психологического, то в нем же имеются данные для суждения о душевном складе и тех людей, для которых чтение или созерцание произведения искусства доставляет эстетическое наслаждение. Как определенный закон, Hennequin выставляет положение о том, что „художественное произведение действует только на тех, чьим выражением оно служит". [2]) Другими словами, между художественным произведением и его читателями, между художником и его почитателями существует неразрывное родство. Как естественный логический вывод, отсюда следует то, что эстетические особенности художественного творчества, являющиеся выражением душевного облика автора, вместе с этим представляют собою выявление такого же облика его почитателей,—той части общества, в среде которой творения данного писателя имеют успех и доставляют эстетическое удовлетворение. Следовательно, от психологии художника возможно умозаключение, путем синтетическим, к психологии общества той эпохи, для которой данный художник является об'ектом ее любви, преклонения и популярности; возможно при этом, что эта эпоха будет отдаленной по отношению к жизнедеятельности данного писателя, как это было, напр., с Паскалем, Сен-Симоном, Шекспиром. Все данные, касающиеся определения психологии общественной, составляют содержание анализа, который автор называет социологическим. Этот последний вид изучения Hennequin считает главным, ибо и для эстопсихологии в ее конечной цели произведение искусства представляет интерес не само по себе, а лишь как символ духовной и социальной организации.

К числу историков литературы, прикосновенных к психологическому изучению художественного творчества, необходимо отнести известного датского профессоора G. Brandes'a. Следует однако отметить, что его методологические воззрения не укладываются в рамки какого-либо одного метода; его историко-литературное credo представляет собою сложный конгломерат методологических предпосылок относительно возможности научного изучения художественного творчества. Одна из таких точек зрения, которой оперирует Brandes в историко-литературной науке, между прочим, психологического свойства. В своей книге „Главные течения литературы XIX ст." Brandes определенно говорит о намерении своем рассматривать историю литературы с психологической точки зрения, [3]) понимая такое изучение в виде выяснения духовного образа художественного типа, который является, как результат литературных движений, переходящих из одной страны в другую. Установив эту внутреннюю сторону, обрисовав психологию художественного типа, который выкристаллизовался в том или ином литературном движении в определенные и ясные формы, Branbes далее стремится об'яснить его из слож-

[1]) Ib., стр. 38.
[2]) Ib., стр. 76.
[3]) Г. Брандес. „Главные течения литературы XIX ст.". Лекции, читанные в Копенгагенском университете. М. 1881 г. стр. 163.

ных условий умственной жизни человека, переходя, таким образом, уже к иным методологическим предпосылкам и употребляя приемы иного логического свойства.

В немецкой науке о литературе психологический метод также имеет своих представителей. Пионером в области изучения творческой личности P. Merker [1]) считает W. Dilthey'я. В своем исследовании: „Das Schaffen des Dichters, Bausteine zu einer Poëtik“ [2]) он один из первых положил фундамент для научной психологии поэтического творчества. Он имел в виду дать историю развития поэтической психики, пытаясь постигнуть проблему индивидуальности и стремясь распутать загадочные сплетения духовной жизни поэта. Однако W. Dilthey в своих методологических построениях порывает всякую логическую связь с теми научными основаниями, которыми располагает психология. В своем изучении он исходит из анализа тех духовных сил, которые „действуют“ в самом произведении.

В этом случае полную противоположность представляет другой представитель того же метода, это E. Elster, [3]) который в своих работах историко-литертурного свойства основывается на главных положениях психологии Wundt'а. Он имеет в виду, путем эстетико-психологического исследования стиля художника, изучить духовную структуру в ее индивидуальных отличиях, оставляя в стороне те ее явления, которые оказываются традиционными, общими с другими людьми.

Представителем третьего направления в области психологического метода является F. Gundolf. В своей книге о Гете, [4]) рассматривая течение жизни художника, он выдвигает настроения наиболее выпуклые, наиболее определенные; в результате получается цепь отдельных кругов психологических переживаний с одним ярко выраженным настроением в центре. [5])

Из русских историков литературы, которые пытаются употребить приемы психологического метода в деле историко-литературных изучений, следует назвать Д. Н. Овсянико-Куликовского. Задачею своих работ он ставит психологическое изучение натуры художника и его творчества. Как выражается автор, он стремится дать „опыт психологического диагноза“ личности писателя и его художественных произведений. Преимущественное внимание исследователь при этом обращает иа изучение психологии художника. Творчество писателя занимает его в меньшей степени. Раскрывая психологический состав и характер натуры художника, Д. Н. Овсянико-Куликовский исходит из данных психологии или психопатологии, как науки. Так, именно, построены его книги о Гоголе, Пушкине, Толстом [6]) и др.

В последнее время находит для себя все большее и большее применение в области историко-литературной науки психоаналитический метод Freud'а. [7]) По отношению к художественному творчеству сущность его сводится к тому, что он об'ясняет поэтические создания, как выражение эротических фантазий писателя. С точки зрения Freud'а, соз-

---

[1]) P, Merker. „Neue Aufgaben“. S. 39.

[2]) W. Dilthey. „Das Schaffen des Dichters, Bausteine zu einer Poëtik“. Philosophische Aufsätze. 1887. Его же. „Das Erlebnis und die Dichtung“. Leipzig, 8 Aufl., 1922.

[3]) E. Elster. „Prinzipien der Literaturwissenschaft“, Halle, Bd. I, 1897. Bd. II, 1911.

[4]) F. Gundolf. „Goethe“. Berlin. 1916.

[5]) По такой же схеме построены и другие работы F. Gundolf'a: „Stefan George“, Berlin, 1920, и „Heinrich von Kleist“. Berlin, 1923.

[6]) Д. Н. Овсянико-Куликовский. Пушкин. Соб. соч. т. IV, из. 3-е М. 1924 г.; Гоголь Соб. соч. т. III, Спб 1913 г.; Л. Толстой. Соб. соч., т. III, М. 1923, изд. 5-ое, и др.

[7]) Изложение взглядов Freud'а содержится в его сочинениях, издаваемых под редакцией проф. И. Д. Ермакова в серии «Психологическая и психоаналитическая библиотека» (вышло VI выпусков.)

даваемые художником образы представляют собою конкретное изображение эротических желаний его, не находящих исхода в иных способах их удовлетворения. В сублимации, как называет Freud этот процесс перегонки сексуальных потребностей в поэтические образы, в этой области бессознательных явлений человеческой психики и находят свое об'яснение особенности художественного творчества, главным образом, психологического и психопатологического свойства. Но для *об'яснения* их необходимо установление этих явлений в виде мотивов психологическаго содержания. Этот констатирующий момент и составляет наиболее ценную для нашей науки часть в сфере психоаналитических изысканий с точки зрения метода Freud'а. Что касается, второй части—экзегетирующей, то поскольку она в сфере психологии, как науки, является среди других лишь отдельным опытом изучения явлений бессознательной области человеческой души, поскольку она представляет на ряду с другими только отдельную гипотезу, постольку к этой части психоаналитических исследований отношение историка литературы может быть только осторожным.

Сторонником этого метода в области русской историко-литературной науки является, главным образом, проф. И. Д. Ермаков, давший опыт применения его в своих книгах о Пушкине и Гоголе. [1])

Как показывают приведенные взгляды, психологический метод в своем содержании имеет ряд вариаций. Одни исследователи, стоящие на точке зрения этого метода, строят принципы своего изучения, особенно общие, на основе априорных умозаключений, независимо от норм психологии, как науки. Другие, напротив, всецело опираются на выводы и заключения, которые имеет в своем распоряжении эта дисциплина. Интересы исследователей при этом обращены в различные стороны; они сосредоточиваются на анализе психологии или личности художника, или его творчества, или, наконец, тех читателей писателя, той эпохи, которая также, по мнению некоторых теоретиков литературы, находит свое отражение в художественном творчестве и, следовательно, в нем имеет материал для своей обрисовки. Эти три об'екта психологического изучения могут и соединяться вместе, как это было отмечено, напр., у Sainte—Beuve'а, Hennequin'а и др.

Во всяком случае, в виду тесной связи этого метода с психологией, успех его разработки находится всецело в зависимости от успешного развития психологических изучений и прогресса этой дисциплины, как науки.

В тесной связи с методом психологическим находятся также методы *этический и публицистический*, поскольку и они оперируют данными идейного характера в художественном произведении. Разница между ними заключается лишь в различии содержания той идейности, которая служит об'ектом их рассмотрения.

Оба метода совершенно определенно различают две задачи историко-литературного изучения. Первая, наиболее существенная и ценная для нашей науки, заключается в том, чтобы установить, констатировать в изучаемых произведениях весь круг идей морального или социально-политическаго содержания. Что же касается *отношения* к установленному наличию идей историка литературы или критика, применяющего мерку этическаго или публицистическаго изучения, отношению положительному или отрицательному, то этот момент не составляет задачи историко-литературной науки. Он является заданием критики, как приема „особенного изучения" литературы, что и дает

---

[1]) Проф. И. Д. Ермаков. „Этюды по психологии творчества А. С. Пушкина". М. 1923 г. Его-же. „Очерки по анализу творчества Н. В. Гоголя" М. 1923 г.
Тот же метод применен и в брошюре А. Кашиной-Евреиновой. „Подполье гения. Сексуальные источники творчества Достоевского". Пгр. 1923 г.

основание считать этод метод в его целом для нашей науки суб‘ективным и не научным. Между тем, в рамках первой задачи этого метода есть момент об‘ективный, по крайней мере, для того исторического периода, который *определенным* образом мыслит содержание норм морали личной и общественной; это—самый факт констатирования, в виде мотивов, идейности морального или общественно-политического свойства. Но эта сторона дела совершенно затушовывается отмеченным „отношением“ к изучаемому произведению, его оценкой с точки зрения известных этических или публицистических мнений, которые являются исходным пунктом для изучения этого порядка.

Метод моральный, или этический, в качестве критерия оценки, принимает понятие добра и блага, нравственного закона—понятие, которое в различные моменты человеческой жизни и в различных жизненных условиях подвергалось постоянным колебаниям. Каких-либо определенных общеобязательных норм в этой сфере установить до сих пор не представлялось возможным. Между тем опыты такого рода изучений и оценок можно отметить в большом количестве на всем протяжении существования историко-литературной науки и критики от глубокой древности до наших дней.

Если критерием оценки художественных произведений для метода этического является понятие о личной морали, то для метода политического или публицистического таким исходным пунктом служит идея морали общественной, социальной. Как понятие личной нравственности не имеет устойчивого характера и общезначимых форм, равным образом такой же текучестью отличается и понятие социальной морали.

Подобно критике этической, и разбираемый метод публицистических изучений также пользовался широкою известностью в течение всего периода жизни историко-литературной науки, причем мотивы морали индивидуальной и социальной часто соприкасались друг с другом, взаимно переплетаясь и образуя иногда неразрывное целое.

До сих пор мы рассматривали методы, которые *прежде всего* задачей своего изучения ставят *констатирование* в произведениях *идейного содержания* характера психологического, морального и общественно-политическаго. Теперь на очереди стоит метод, также констатирующего свойства, но установление в нем обращено в сторону формальной емкости художественных произведений. Это метод *эстетический.*

В истории его развития можно отличать два момента: „критический“ (априорный) и „научный“ (апостериорный). Первый из них в методологическом отношении может считаться законченным, поскольку теоретическая структура этого метода на протяжении его получила определеннные формы. Второй момент точно установленной определенности не имеет, продолжая в этом направлении свое дальнейшее развитие. Но оба момента тесно связаны друг с другом, причем второй является до некоторой степени естественным логическим следствием первого.

Как и предыдущие методы, которые в своем констатировании исходили из предпосылок, об‘язательных для известного момента, так и метод эстетический обращается к изучению фактов художественного творчества с точки зрения определенных принципов. Если метод психологический, выполняя констатирующее изучение идейности психологического свойства, руководствуется выводами и указаниями психологии, как науки, если методы этический и публицистический осуществляют то же задание, но только в области идейности моральной и общественио-политической, с точки зрения этических и социально-

политических норм, то и метод эстетический в процессе *констатирования* также имеет в виду определенные принципы, но только эстетического свойства.

С точки зрения этого принципа эстетическое изучение, равно как и предыдущие приемы, стремится соответствующим образом оценить изучаемое произведение. Оценка оказывается положительной, если оно отвечает требованиям эстетического критерия, и отрицательной, если оно находится в противоречии с ним.

Выводы психологии, как уже отмечалось, даже в настоящее время, когда эта наука сделала большие успехи, не имеют устойчивого характера, вследствие этого таким же свойством отличается и констатирующее изучение с точки зрения этого метода. Нормы морали индивидуальной и морали социальной, как мы говорили, имеют свойство большой текучести, будучи связаны с определенным периодом времени, зафиксированным местом и с известным кругом людей, отчего такой же характер носит на себе и само изучение, применяющее эти методы. Равным образом и эстетические принципы текучи, неустойчивы и неопределенны. Они также обусловлены временем, местом и кругом людей, даже в большей степени, чем только что рассмотренные. Это свойство эстетических понятий, составляющих критерий метода, предопределяет и характер того изучения, которое этот метод выполняет; оно также носит черты неустойчивости и неопределенности.

Содержание эстетического принципа составляет понятие о красоте, как абсолютно прекрасном. В это понятие, имеющее только формальный характер, в зависимости от времени, места и круга людей, вкладывалось различное содержание. Главные принципы его создавались на основании изучения *образцовых* и *первоклассных* произведений художественного творчества, произведений известного поэта или литературы целого народа за известный период времени, и это обстоятельство было одною из причин, почему то или иное понятие красоты, являющееся для эстетического метода критерием оценки, принималось априорно, на веру, и трактовалось, как абсолютное, непреходящее.

Если существовала известная разнородность того источника, который давал материал для определения общих принципов эстетического метода, то в области установления частных заданий эстетического критерия и их содержания можно наблюдать еще большее разнообразие. Проблема красоты занимала умы людей, начиная от древнейших времен и кончая современностью, и всякий раз это понятие в его конкретных чертах определялось различным образом.

Проблема эстетического восприятия, идея красоты, пройдя целые века истории, продолжает и теперь являть собою понятие с крайне разнообразным содержанием. До сих пор оно неизменно выступает перед критическим взором историка литературы в неясных, туманных, расплывчатых контурах. Нормы понятия красоты крайне различны и суб'ективны. В понимании каждого индивидуума эти нормы имеют *свое* содержание и *свою* форму, присущую только данному суб'екту. В этом случае это понятие по своему содержанию более разнообразно, чем нормы моральных идей—личных или общественных,—которые об'единяют собою более значительное количество отдельных индивидуумов и на протяжении большего промежутка времени.

Если разложить весь процесс эстетического изучения на отдельные составные элементы, то в нем определенно выступают три части. Первая—составление эстетического критерия. Вторая—констатирование формальных и идейных явлений в произведении, отвечающих требованиям этого критерия. Третья—оценка установленных особенностей фор-

мы и содержания в изучаемом творчестве. Центром тяжести в таком изучении является третий момент—момент оценки, который и составляет в нем основную задачу и конечную цель. Первая часть, а также последняя, составлют достояние критики, как известного приема изучения литературы, и к науке о ней непосредственного отношения не имеют. Второй момент, напротив, по характеру своего изучения является принадлежностью историко-литературной науки и представляет собою с этой стороны наиболее ценный элемент в эстетическом изучении, характеризуя это изучение, как метод.

Но поскольку эстетический критерий в своем содержании крайне неустойчив и разнообразен, постольку и этот констатирующий момент в эстетическом изучении оказывается разнохарактерным, лишенным, вследствие этого, научной об'ективности даже в пределах известного промежутка времени и в границах определенного общества.

Безнадежность научной мысли дать об'ективное определение для эстетического критерия и тем поставить эстетическое изучение литературы на более прочные основания, заставила ее ограничить требования эстетического метода лишь *установлением* формальных и идейных явлений, *наличных* в художественном произведении, и только в этом установлении видеть главную задачу и последнюю цель.

Этим эстетическое изучение заканчивает первый момент своего существования, который мы назвали „критическим“ (априорным) и начинает второй — „научный“ (апостериорный). Самый метод, благодаря такой перестановке основных целей изучения, все чаще и чаще называется *формальным*.

Стремление к такому именно пониманию задач эстетического метода особенно наглядно проявляется в последнее время, на протяжении начальных десятилетий нашего века. Изучение формы художественных произведений при таком понимании эстетического метода сводится к описанию в них формальных особенностей, начиная от фонетических, выражаемых отдельными звуками, такими, как, напр., аллитерации, ассонансы, рифмы, и кончая сложными композиционными формированиями отдельных частей произведения. При таком взгляде на требования эстетического метода необходимость в априорных предпосылках, определяющих понятие красоты, совершенно отпадает. Констатирование наличной формы и ее описание получает, благодаря этому, об'ективный характер. Кроме того, момент оценки, до сих пор имевший условный, относительный вид, теперь является необходимым выводом из наличия тех или других форм, приведенных в известность и расположенных в том или ином логическом порядке.

Вторую группу методов, известных в настоящее время историко-литературной науке, составляют методы, которые следует назвать *экзегетирующими*. Как уже отмечалось, эти методы об'ясняют теми или другими условиями наличие определенных идей и форм, констатированных в художественном творчестве предыдущим изучением. Те условия и причины, при помощи которых изучение этого рода стремится об'яснить идейные и формальные особенности, об'единяются для всех методов, входящих в эту группу, в понятие „*историко-культурной среды*“. Это понятие заключает в себе обширное содержание и составляется из целого ряда отдельных моментов. Сюда входят экономические отношения, явления политической жизни, социальный быт, умственное движение в виде различных настроений религиозного и философского характера, литературные течения и вообще условия литературно-художественного характера, направления в области изобразительных искусств и, наконец, явления биографического характера— черты жизнеописания изучаемого писателя.

Каждый из методов, составляющих вторую группу, получает свою теоретическую физиономию в зависимости от того, какие моменты „историко-культурной среды“ он включает в содержание своего экзегетирующего изучения.

Для метода *исторического* каждый из указанных факторов, кроме условий экономического характера, является одним из средств для об‘яснения тех или других явлений в области содержания и формы произведений, изучаемых в их генетической последовательности. Необходимо при этом отметить, что такие явления историко-культурной среды, как литературные направления и биографические сведения об авторе изучаемых произведений, иногда получают перевес по сравнению с другими. Эти факторы внешних отношений в глазах большинства историков литературы, стоящих на точке зрения данного метода, являются *ближайшим* источником для об‘яснения произведений художественного творчества. Условиями биографических данных и литературных умонастроений, господствующих в известный период, об‘ясняется более значительный круг особенностей идейного и формального свойства в изучаемых произведениях, чем остальными явлениями окружающей среды. Однако, и им принадлежит значительная роль. Во всяком случае „историко-культурная среда“ в ее целом, при наличии большинства условий, перечисленных выше, в историческом изучении составляет тот об‘ясняющий фактор, из которого выводится изучаемое творчество.

Другие методы, отнесенные к числу тех же приемов экзегетирующего характера, напротив, ставят в связь изучаемое творчество лишь только с некоторыми отдельными условиями внешней, нас окружающей, среды и при помощи их об‘ясняют разбираемые произведения.

Основные требования, выставляемые методом историческим, сводятся к определению влияний со стороны различных явлений „историко-культурной среды“ и тем самым к об‘яснению той или иной наличности идейных и формальных особенностей в изучаемых произведениях, рассматривая эти особенности в порядке их исторической преемственности. Такое определение основных задач исторического метода, однако, является только идеальным. Примеры конкретного осуществления его в таком виде сравнительно редки. Большинство историков литературы, стоящих на точке зрения этого метода, выясняет ту или иную связь между художественным творчеством и внешней обстановкой с иными целями. Для них первостепенное значение имеет не об‘яснение особенностей художественного творчества из условий „историко-культурной среды“, но описание именно этой среды на основании данных литературы. При таком отношении к задачам историко-литературных изучений, художественное произведение расценивается, как документ исторического характера, имеющий значение постольку, поскольку он дает иллюстративный материал для изображения окружающей внешней обстановки. История литературы, благодаря такому пониманию, превращалась в историю общественной мысли, и научные задачи, которые ставились историко-литературной науке, были в значительной мере задачами истории общественных движений или истории культуры.

Понятие „историко-культурной среды“, составляющее существенную принадлежность исторического метода, в процессе своего формирования подвергалось различным видоизменениям и долгое время не имело определенной схемы. В рамки этого понятия включались не только явления историко-культурного характера, но и различные условия физической природы. При таком понимании художественное творчество ставилось в связь с миром явлений как духовного, так и физического свойства.

Попытки исторического изучения художественного творчества относятся к XVIII веку; однако, до половины прошлого столетия они не имели характера научно-обоснованной системы. Такой вид историческому изучению стремился придать французский критик H. Taine. В качестве исходного пункта для своих теоретических построений, он принял выводы естествознания о закономерности и сцепленности всего существующего, о том, что всякое живое существо является отражением и результатом действия целого ряда причин окружающей среды.

Исходя из того, что „вся история вселенной написана на крыльях мухи", и применив этот принцип в области изучения художественного творчества, Taine создал известную теорию расы, среды и момента, которую он изложил во введении (Jntroduction) к „Истории английской литературы".[1]) При помощи этой теории Taine имеет в виду прежде всего дать систематическое определение понятию „историко-культурной среды", которое является исходным и основным признаком исторического метода. Сущность его взглядов сводится к следующим положениям.

В глазах Taine'а литературное произведение представляет собою „не простую игру воображения, или изолированный каприз пылкой головы, но точный снимок окружающих нравов и признак известного состояния ума" (oeuvre litteraire n'est pas un simple jeu d'imagination, le caprice isolé d'une tête chaude, mais une copie des moeurs environnantes et le signe d'un état d'esprit); вследствие этого „при помощи литературных памятников можно восстановить то мировоззрение, которым люди чувствовали и мыслили на протяжении нескольких столетий[2]), ибо „если литературный документ богат и если умело об'яснить его, то можно найти не только психологию души, но и психологию века, иногда и расы"[3]). Таким образом, Taine рассматривает всякое художественное творение, как исторический документ, необходимый для изображения окружающей обстановки; в этом случае он является типичным историком, интересы которого направлены в сторону изучения культурно-исторических условий известной эпохи.

Далее, всякое духовное явление, каждое художественное произведение, по мысли Taine'а, создается под воздействием „трех различных источников" (trois sources différentes), которые именуются „первичными силами" (les trois forces primordiales) и состоят из таких явлений, как *раса, среда и момент* (la race, le milieu et le moment).

С понятием расы он соединяет те „наклонности, которые являются врожденными и наследственными для каждого человека, получающего их вместе с появлением на свет, и которые обыкновенно соединяются с определенными отклонениями, разными у разных народов, в зависимости от темперамента и структуры организма". „Среди людей есть разновидности храбрые и умные, есть робкие и ограниченные; одни способны на высшее понимание и творчество, другие осуждены на элементарные идеи и открытия; некоторые более приспособлены к известному делу и богаче наделены известными инстинктами, подобно тому, как одни породы собак обладают способностью быстро бегать, другие бороться, третьи охотиться и, наконец, четвертые сторожить дома и стада". Это те природные свойства человека, которые „оказываются обозначенными настолько явственно, что, несмотря на значительные отклонения, сообщаемые двумя другими факторами, остаются ярко выраженными и преобладающими".[4]) „Они являются первым

---

[1]) H. Taine. Histoire de la littérature anglaise. Tome 1-er, Paris, 1863; имеется и русский перевод под названием: „Развитие политической и гражданской свободы в Англии в связи с развитием литературы"; ч. I Спб. 1871 г.

[2]) H. Taine. Histoire de la lettèrature anglaise, p. VII.

[3]) ib. p. XLV.

[4]) ib. p. XXIII.

и самым богатым источником главных свойств (facultés maîtresses), которые дают начало историческим событиям, и если сила его видна с самого начала, то именно потому, что он не простой источник, но нечто вроде озерца или глубокого резервуара, куда несли свои воды остальные источники на протяжении множества столетий“.[1])

Второй фактор—*среда*, в которой раса живет; в понимании Taine‘а, этот источник является совокупностью не только физических условий климата и местных природных явлений, но в содержание этого фактора входит и сам народ в его социально-полититическом и бытовом положении. Эти причины для народов имеют такое же значение, какое для отдельных личностей имеют воспитание, профессия, условия жизни, местопребывание и повидимому обнимают собою все внешние силы, образующие человеческую сущность, при помощи которых внешний мир действует на внутренний.[2])

Третий род причин—*момент*. „Кроме постоянного импульса и данной среды есть приобретенная скорость (la vitesse acquise). Когда действуют национальный характер и окружающие обстоятельства, то об‘ектом их действия является не чистая страница (une table rase), но такая, на которой имеется уже известный отпечаток. В зависимости от того, в какой *момент* берется эта страница, отпечаток на ней будет различным, а этого уже достаточно, чтобы и общий результат был различен“. Если взять два периода, таких, как средние века и классический век Людовика XIV-го, то в каждую из этих эпох господствовала известная преобладающая концепция; „люди на протяжении двухсот или пятисот лет стремились к известному идеалу человека: в средние века к идеалу рыцаря и монаха, в век классицизма к идеалу царедворца и краснобая (le beau parleur). Эта творческая и мировая идея обнимала все поле действия и мысли и, покрыв мир своими непроизвольно-систематическими произведениями, ослабела, потом умерла, а вместо нее выступила новая идея, предназначенная к такому же господству и многообразному творчеству; и эта вторая идея частью зависит от первой, и первая, соединяя свое действие с проявлениями национального гения и окружающих условий, придает вновь рождающемуся порядку свое направление и свою форму. По этому закону образуются великие исторические течения, т. е. продолжительные господства одной формы ума и одной господствующей идеи“[3])—то, что называется *моментом*.

Комбинированное действие этих „первичных сил“ предопределяет и тот вывод, который является результатом взаимных влияний. Содержание и характер этого вывода находятся в зависимости от того, „велики или малы основные силы и более или менее направлены они в одну сторону, а также в зависимости от того, соединяются ли различные действия расы, среды и момента для взаимного действия или же для уничтожения друг друга. Этими обстоятельствами—внутренним их совпадением или противоречием—об‘ясняются продолжительное бессилие или блестящий успех, которые неправильно и без очевидной причины проявляются в жизни народа“.[4])

Раса, среда и момент, т. е. внутреннее побуждение, давление извне и приобретенная скорость (le ressort du dedans, la pression du dehors et l‘impulsion déja acquise), являются не только действительными причинами движения человеческой цивилизации, но и единственно возможными, ибо ими исчерпывается полный круг действующих сил. Этими же основными началами вызывается и художественное твор-

---

1) ib. p. XXV.
2) ib. p. XXV-XXVIII.
3) ib. p. XXX.
4) ib. p. XXXII.

чество: ими же оно и управляется. Если бы эти силы могли быть измерены и выражены в цифрах, то из них можно было бы, как из формулы, вывести свойство будущей цивилизации.[1])

Эти методологические принципы, выражающиеся в теории расы, среды и момента, Taine применяет при изучении литературы целого народа. Такой, именно, является „История английской литературы", которая, по его мнению, оказывается наиболее „полной и большой" (une grand littèrature complète) для обнаружения в ее памятниках с совершенной точностью (avec une précision parfaite) основных начал движения цивилизации—расы, среды и момента.

Изложенные принципы, однако, еще не исчерпывают всего содержания методологической теории Taine'a. Он дополняет ее теорией „господствующей способности" (faculté maîtresse). В той же „Истории английской литературы" автор указывает на то, что в основе каждого произведения искусства лежит идея природы и жизни; она и руководит поэтами, которые сознательно или нет, пишут для того, чтобы сделать ее более заметной (sensible), и персонажи, созданные ими, а также и события, ими сгруппированные, служат только для пояснения той таинственной силы творчества, которая их порождает и связывает. [2]) Эта таинственная сила, внутреннее качество и есть то, что Гегель называет идеей, а Taine именует „преобладающим характером", или „господствующей способностью".

Наиболее полное и систематическое обоснование эта часть методологии Taine'a получила в его исследовании о Тите Ливии. [3]) Определяя конкретно новое понятие своей теории, Taine исходит из слов Спинозы о том, что человек в мире действительном не занимает самостоятельного положения, как империя в империи (comme un empire dans un empire), но составляет лишь часть целого; все движения этого таинственного автомата, который составляет наше существо, управляется теми же силами, что и мир материальный, в котором он находится. Но прав ли Спиноза, спрашивает себя Taine. Действительно ли все дарования человека, подобно органам растений, находятся во взаимной связи и обусловлены одним законом? Обладает ли каждый индивидуум некоторой господствующей способностью, единообразное действие которой различными способами передается нашим различным колесам и сообщает нашей машине необходимую систему заранее предвиденных движений? [4]) На поставленные вопросы Taine отвечает утвердительно, давая свой опыт о Тите Ливии.

По отношению к этому писателю господствующая способность выражается в том, что он, обладая от природы ораторским гением, в момент общественной реакции сделался историком; его ораторский талант постепенно трансформировался в талант историка; он, как гласит избранный эпиграф для этой книги при посылке ее на конкурс в академию, in historia orator. Эта формула, как думает Taine, об'ясняет все достоинства, все недостатки и все влияние, какое на него оказала окружающая обстановка. Эта основная идея проходит через все исследования Taine'a об этом ораторе-историке; оно, в свою очередь, является лишь обоснованием и развитием указанной формулы Тита Ливия.

Однако, эта идея движущей силы, господствующей способности, как анализирующая личные свойства отдельного индивидуума, находится в полной зависимости от теории расы, среды и момента, которая обследует общие причины, порождающие эту индивидуальность. В том же „Опыте о Тите Ливии" он определенно отмечает, что поэт

[1]) ib. p. XXXIII.
[2]) ib. p 229.
[3]) H. Taine. Essai sur Tite Live. Paris, 4-éme edition, 1882.
[4]) io. Preface, p. VII—VIII.

ничего не создает нового; идеи художника—идеи его времени (ses idèes sont celles de son temps), которое об'единяет в своем содержании три первичные силы—расу, среду и момент.

Таким образом, „раса, среда и момент", а также и „господствующая способность", в том понимании, которое придает им Taine, составляют содержание всей суммы внешних условий окружающей действительности.

Что касается об'екта, который составляет предмет об'яснения в этом изучении, то как Taine, так и его последователи ограничивались на этот счет только указаниями общего характера. Было отмечено лишь, что художественное творчество в его идейных и формальных проявлениях, произведение в его целом виде составляет предмет об'ясняющего изучения. Вследствие этого, как сам Taine, так и последующие историки литературы для об'яснения брали лишь *некоторые, случайные* явления из общего состава идейности и формы изучаемых произведений. Об'ект экзегетирующего изучения в своем содержании, таким образом, не имел строгой определенности и носил *случайный* характер.

Своей методологией Taine создал целую школу, положив в ее основу метод исторического изучения литературы. Представители этой школы, расходясь в деталях своих теоретических взглядов, в общем масштабе разделяют основные принципы воззрений Taine'а: именно, необходимость изучения фактов художественного творчества в связи с той культурной и физической обстановкой, в среде которой оно создавалось; равным образом в большинстве случаев они видят в каждом литературном произведении лишь только документальный материал исторического характера, по которому можно воссоздать изучаемую эпоху. Самодовлеющее значение художественного творчества в большинстве случаев оставляется без внимания.

До настоящего времени этот метод не потерял своего научного обаяния и занимает видное место в историко-литературной науке, или являясь самостоятельным приемом, или же входя, как отдельная часть, в состав более сложных методологических образований.

Очень близок к историческому методу по своей логической структуре метод *эволюционный*. Появление его в области историко-литературной науки тесно связано с блестящими достижениями в области естественных наук, которые относятся к половине прошлого столетия и связываются с именем Дарвина. Принцип эволюции, примененный с таким успехом в деле об'яснения развития видов животных, был перенесен и в сфему историко-литературных изучений.

Первым опытом перенесения эволюционного метода в область изучения фактов художественного творчества является книга проф. Н. И. Кареева „Литературная эволюция на Западе". [1]) Автор заимствует из области естествознания принципы дарвинизма и переносит их *через посредство истории* в сферу изучений художественного творчества, которое он рассматривает в общей совокупности. Проф. Кареев считает, что два вопроса составляют главное содержание эволюционизма в литературе. Первый касается „исторических отношений между литературою и жизнью"; второй—„отношений между творчеством и традиционными элементами в литературе". [2])

Другой его современник—В. Плотников—делает то же самое, но без посредствующего звена. В своей брошюре „Основные принципы научной теории литературы" [3]) он дает сопоставление литературы с

---

[1]) *Н. И. Кареев*. „Литературная эволюция на Западе". Воронеж, 1886 г.
[2]) ib. стр. 319.
[3]) *В. Плотников.* Основные принципы научной теории литературы. Воронеж, 1888 г.

естественными науками, непосредственно пересаживая в область изучения художественного творчества в его целом виде теорию эволюционизма со всем ее терминологическим аппаратом. Благодаря этому, специфический элемент историзма, присущий „литературной эволюции“ проф. Кареева, не играет существенной роли в изложении Плотникова.

Выступив с опытом теоретического применения основных принципов эволюционной теории в области историко-литературных изучений, В. Плотников, равно как и проф. Кареев, не дали приложения ее к отдельным видам художественного творчества. Между тем, изучение, именно, видов составляет одну из существенных сторон теории эволюционизма. Как первый, так и второй оперировали литературой в ее целом виде, без разделения ее на отдельные роды и виды. Изучение эволюции отдельных жанров художественного творчества занимает у них незначительное место и выражено в недостаточно определенной форме.

На эту сторону эволюционного метода обратил свое главное внимание французский критик и историк литературы F. Brunetière, который выступил с своей теорией несколько позднее, чем русские ученые; тем не менее, с его именем связывается этот метод, ибо он, именно, применил принципы эволюционизма в его *чистом виде*, изучая эволюцию литературы в ее отдельных жанрах, но не в общем виде. [1])

В качестве исходной точки при построении своей теории, Brunetière принимает гипотезу эволюционизма (l'hypothése de l'evolution) и, пользуясь ее терминологией, ставит для разрешения пять следующих вопросов:

1. *О существовании жанров* (l'Existance des genres), т. е. существуют ли виды художественного творчества, подобно тому, как они существуют в природе, обусловлено ли их существование определенными, только им свойственными факторами или они произвольные категории, придуманные критикой для собственного удобства, чтобы разобраться во всей массе литературных произведений.

2. *О дифференциации жанров* (de la Différenciation des genres), т. е., каким образом жанры выделяются из первоначальной неопределенности, в каком порядке происходит их дифференциация, которая сначала их разделяет, затем сообщает им характерные свойства и, наконец, их индивидуализирует.

3. *О фиксации жанров* (de la Fixation des genres), или об условиях их устойчивости, которые обеспечивают им определенное историческое существование.

4. *О модификаторах жанров* (des Modifications des genres), другими словами, каковы те силы, которые оказывают воздействие на жанры или в сторону усиления их устойчивости или же ее уменьшения, каковы факторы, видоизменяющие их физиономию и дающие те или иные разновидности их.

5. *О трансформации жанров* (de la Transformation des genres), т. е. о том, происходит ли эволюция видов по их собственным законам или же существует общий закон эволюции жанров литературы.

На поставленные вопросы Brunetière отвечает следующим образом.

Вопрос о существовании жанров, по мнению Brunetière'а, не вызывает сомнений. Их бытие подтверждается тремя фактами, не вызывающими возражений; во-первых, *различием средств каждого искусства* (á la diversité des moyens de chaque art); во-вторых, *различием их об'ектов* (á la diversité de l'objet de chaque art) и, наконец, в третьих,

---

[1]) Теоретическое изложение его находится во введении к курсу лекций, названных им: L'évolution des genres dans l'histoire de la littérature. Introduction. L'évolution de la critique depuis la Renaissance jusqu'à nos jours. 2-me éd. Leçons professées a l'Ecole normale supérieure. Paris. 1892.

различием духовных организаций (á la diversité des familles d'esprits), из которых каждая, сообразно своим внутренним потребностям, избирает тот или другой вид литературных произведений или предпочитает одного художника другому.

Ответ на вопрос о дифференциации видов дает, как думает Brunetière, эволюционная доктрина (la doctrine de l'évolution). Без сомнения, говорит он, дифференциация жанров в истории, как и дифференциация видов в природе, происходит прогрессивно, от единичного к множественному, от простого к сложному, от гомогена к гетерогену, благодаря принципу, который называется *расходимостью характеров* (la divergence de caractéres).

Вопрос о фиксации или устойчивости жанров, имеющий в виду установление признаков их юности и смерти, а главное их совершенства или зрелости (la perfection ou la maturité), находит для себя ответ в проблеме *классичности* (la question du classicisme), одинаково сложной, трудной и обширной как в литературе, так равным образом в живописи и скульптуре.

Четвертый вопрос—о модификаторах видов, определяющий самый характер эволюции их, является одним из самых темных и сложных. Он складывается, по мнению Brunetiere'a, из следующих моментов. На первом месте *наследственность* или *раса* (l'Hérédité ou la Race), которая об'ясняет естественность развития того или иного жанра в одном месте и искусственность его в другом. Более многообразно влияние *среды* (l'influence des Mileux), которая заключает в себе сложный комплекс условий *географических* или *климатических* (les conditions géographiques, ou climatologiques), условий *социальных* (les conditions sociales), определяемых строем общества, условий *исторических* (les conditions historiques), определяющих структуру общества и оказывающих воздействие на его строение и, наконец, условий, создаваемых индивидуальностью (l'Individualité), т. е. совокупностью таких достоинств или недостатков, которые, делая личность *единственной* (unique) в своем роде, заставляют ее и в историю литературы, а также в искусство вносить то, что не существовало до него, что не существовало бы без него, но что будет продолжать жить после него. Этот последний фактор, видоизменяющий жанры, имеет первостепенное значение в доктрине эволюционизма, ибо он, согласно *„Происхождению видов“* (l'Origine des Espéces), является началом всех разновидностей—тем, что представляет собою идиосинкразию.

Последний вопрос—о трансформации жанров—Brunètiere доказывает, продолжая аналогию с науками естественными. Как в природе существует *борьба за существование* (concurence vitale), *выживание более приспособленного* (persistance du plus apte) или вообще *естественный подбор* (sélection naturelle), так примеры подобных же явлений могут быть отмечены и в истории литературы, поскольку и здесь совершенно очевидно можно констатировать исчезновение одних жанров художественного творчества и появление других.

Для доказательства вероятности и справедливости своей доктрины в области историко-литературной науки Brunetière приводит три примера из истории французской литературы.

Первый касается *истории французской трагедии* (l'Histoire de la tragédie francaise), того жанра, который некогда был славным и знаменитым, теперь же оказывается совершенно мертвым. Этот пример, единственный в своем роде, особенно красноречиво иллюстрирует то, как жанр зарождается, растет, достигает своего совершенства, клонится к упадку и, наконец, умирает (un Genre naît, grandit, atteint sa perfection, decline et enfin meurt).

Второй пример Brunetière заимствует из истории церковного красноречия (l'éloquence de la chaire) XVII века, которое в позднейшее время под влиянием различных условий превратилось в лирическую поэзию Ламартина, Гюго, Виньи и Мюссе. Он показывает, каким образом, *один жанр превращается в другой* (comment un Genre se transforme en un autre).

Наконец, для последнего примера он берет историю французского романа (l'Histoire du roman fransais) и ею доказывает, как с наступлением известного момента *один жанр образуется из обломков нескольких других* (comment un Genre se forme du débris de plusieurs autres), достигая после многих исканий своего совершенства.

Вопросы, поставленные Brunetière'ом и его русскими предшественниками, в значительной мере носят характер экзегетирующий. Намечая их, автор имеет в виду об'яснение *некоторых* явлений в области исторического существования литературы и ее отдельных видов. В этом отношении особенно характерен четвертый вопрос—о модификации видов, который разрешается им в духе воззрений Taine'a. Таким образом, в этом случае между историческим изучением и эволюционным устанавливаются точки соприкосновения.

Представители эволюционного метода—проф. Кареев, В. Плотников, Brunetière дают, главным образом, его теоретическое изложение и обоснование. Последующие сторонники этого же метода, довольно многочисленные—главным образом, начала нынешнего века—стремятся уже к конкретному осуществлению его в области изучения отдельных жанров литературы и обоснованию этого метода выводами экспериментального свойства.

В родственных и близких отношениях с методом историческим находится и метод *сравнительный*, который можно рассматривать с двух сторон—технической и философской.

В первом случае этот метод представляет собою чисто технический прием, выражающийся в сравнении тех или других литературных величин и употребляющийся в этом значении при историко-литературных изучениях с точки зрения различных методологических приемов и заданий. Главным образом, этим приемом сравнения пользуются методы экзегетирующие, которые, стремясь разрешить основную проблему своей задачи—об'яснение, выполняют это преимущественно через посредство сравнения.

В смысле философском этот метод, пользуясь также сравнением, как техническим приемом, ставит себе, однако, известные цели историко-литературного характера, приобретая вследствие этого определенную методологическую телеологичность.

Допуская возможности широких международных влияний, он имеет в виду изучение и установление генезиса художественных произведений, выяснение происхождения памятников и процесса их развития. Выполнение этой задачи предполагает определение, с одной стороны, источников творчества, того, что дает традиция литературная, а с другой,—тех индивидуальных достижений каждого художника, которые имеются в его произведениях. Решение этих вопросов сравнительный метод и дает путем установления приемственной, генетической связи между отдельными родами и видами изучаемого творчества. В этом отношении он выполняет те же функции, которые ставит себе и метод исторический—с тою разницей, что в первом случае имеется в виду каузально-генетическая связь между творчеством и „культурно-исторической средой“, а во втором лишь между изучаемыми произведениями и одним моментом этой среды—литературными течениями и литературной традицией. Это обстоятельство привносит в сравнительное изучение литературы значительную долю историзма, сооб-

щая этим самым рассматриваемому методу сравнительно-исторический характер.

Наиболее широкое развитие этот метод на первых порах своего применения в области гуманитарных наук получил в языкознании, дав здесь значительные результаты. Отсюда он был перенесен в сферу историко-литературной науки и применен сначала в изучении произведений народного творчества, дав основание так называемой теории заимствований. Несколько позднее он получил широкое применение и в исследовании памятников личного творчества. Однако, как в первом, так и во втором случае внимание историков литературы, стоящих на точке зрения сравнительного метода, в большинстве случаев было обращено на выяснение традиционного момента, на определение источников изучаемых произведений. Личный элемент творчества, индивидуальные приобретения художника сравнительно редко было предметом рассмотрения со стороны историков литературы, применявших сравнительно-исторический метод. Это обстоятельство было причиною некоторого разочарования в этом методе со стороны главных адептов его.

В частности, ак. А. Н. Веселовский, который в сфере своей научной деятельности особенно широко пользовался этим методом, также пережил минуты неудовлетворенности результатом своих историко-сравнительных изучений. В последнем периоде своей научной деятельности он признал, что результаты сравнительно-исторических изучений, при условии установления лишь заимствований и накопления бесконечной цепи сравниваемых памятников (что на его языке получило название „нагромождения Оссы на Пэлион“) не могут доставить удовлетворения научным устремлениям историко-литературной науки. Для выполнения заданий этого метода в полном об‘еме необходимо изучение и самобытных элементов творчества. Это разочарование и послужило одним из поводов к окончательному обращению А. Н. Веселовского к исторической поэтике и психологии творчества, т. е., к таким моментам художественного творчества, которые в значительной мере базируются, именно, на индивидуальных достижениях писателя.

Несмотря на это, сравнительно-исторический метод занимает в методологическом credo А. Н. Веселовского одно из самых главных мест, заполняя собою значительную часть его. Он составляет неот‘емлемую часть историко-литературных изучений на всем протяжении его научной деятельности, то расширяясь в своем об‘еме, то сокращаясь. А. Н. Веселовский дал ему и теоретическое обоснование.

Уже в своей вступительной лекции, говоря о методе и задачах историко-литературной науки, он определяет сравнительный метод, как развитие исторического; по его мнению, „он тот же исторический метод, только учащенный, повторенный в параллельных рядах, в видах достижения возможно полного обобщения“.[1]) В данном случае, отмечая некоторое родство сравнительного метода с историческим, А. Н. Веселовский имел в виду тот момент „историзма“, его каузально-генетических отношений, который был уже указан в его содержании. В таком, именно, духе эту сторону сравнительного метода он и определяет, говоря на этот счет в таких выражениях. „Изучая ряды фактов, мы замечаем их последовательность, отношение между ними последующего и предыдущего; если это отношение повторяется, мы начинаем подозревать в нем известную законность; если оно повторяется часто, мы перестаем говорить о предыдущем и последующем, заменяя их выражением причины и следствия“.[2])

---

[1]) *А. Н. Веселовский.* Соб. сочинений. т. I, Спб. 1913 г. „О методе и задачах истории литературы, как науки“. Стр. 9.

[2]) ib. стр. 10

Подчеркнув момент каузальности, А. Н. Веселовский отмечает характерную черту историзма, свойственную и методу сравнительному, вследствие чего и самый метод обозначается именем „сравнительно-исторического“. Момент „историзма“ в сравнительных изучениях А. Н. Веселовскаго играет всегда первенствующее место, захватывая, однако, в большинстве случаев только явления литературного порядка. Идеальной задачей этого метода он считает то, чтобы при помощи его „проследить, каким образом новое содержание жизни, этот элемент свободы, приливающий с каждым новым поколением, проникает в старые образы, эти формы необходимости, в которые неизбежно отливалось всякое предыдущее развитие“. [1])

Ставя такие задания для научного изучения поэзии, которые, как уже отмечалось, остались, однако, в большинстве случаев невыполненными, А. Н. Веселовский дает перед этим пояснительные замечания относительно возможности такого рода конечных целей для историко-литературной науки. Он ставит ряд вопросов гипотетического характера, которые подлежат сравнительно-историческому изучению в целях доказательства их действительной возможности и признания их в значении незыблемых выводов. „Не ограниченно ли,-говорит он,-поэтическое творчество известными определенными формулами, устойчивыми мотивами, которые одно поколение приняло от предыдущего, а это от третьего, которых первообразы мы неизбежно встретили в эпической старине и далее, на степени мифа, в конкретных определениях первобытного слова. Каждая новая поэтическая эпоха не работает ли исстари завещанными образами, обязательно вращаясь в их границах, позволяя себе лишь новые комбинации старых, и только наполняя их тем новым пониманием жизни, которое собственно и составляет ее прогресс перед прошлым. По крайней мере, история языка предлагает нам аналогическое явление. Нового языка мы не создаем; мы получаем его от рождения совсем готовым, не подлежащим отмене; фактические изменения, приводимые историей, не скрадывают первоначальной формы слова или скрадывают постепенно, незаметно для двух следующих друг за другом поколений. Новые комбинации совершаются внутри положенных границ, из обветрившегося материала; каждая культурная эпоха обогащает внутреннее содержание слова новыми успехами знания, новыми понятиями человечности“. [2])

Определяя основные черты сравнительно-исторического метода в таких, именно, словах, А. Н. Веселовский констатирует ряд наиболее существенных его моментов. Прежде всего, он устанавливает два элемента в творчестве, подлежащие изучению: содержание и форму; первое подвергается изменению в зависимости от текучести жизни; вторая—имеет более устойчивый характер, передаваясь по традиции в исстари завещанных образах.

Далее, поскольку особенно важным в деле историко-литературного изучения является, именно, определение тех или других формул, в которых выливается форма произведения, постольку этот наиболее устойчивый традиционный момент в художественном творчестве подлежит изучению в первую очередь. Идейность творчества занимает уже второе место и подлежит ведению истории общественной мысли. А. Н. Веселовский думает, что „внутреннее обогащение содержания, этот прогресс общественной мысли в границах слова или устойчивой поэтической формулы должен привлечь внимание психолога, философа и эстетика: он относится к истории мысли“. [3])

---

[1]) ib. стр. 17

[2]) ib. стр. 16.

[3]) ib. стр. 16.

Наконец, А. Н. Веселовский отмечает и то, что „определенные формулы“, „устойчивые мотивы“ касаются только явлений литературного характера, не захватывая других сторон историко-культурной обстановки. Этим подчеркивается разница между „историзмом“ сравнительного метода и метода исторического.

Впоследствии он несколько изменил свои взгляды на сравнительно-исторический метод. В своем труде „Из истории романа и повести“[1]) он признает, что модификация происходит не только в области внутреннего содержания, но и формы. „В истории поэтических родов,— говорит он,—есть своего рода последовательность, не везде одинаково выраженная, затемненная иногда посторонними влияниями, ускорившими или извратившими правильный ход развития, но настолько прозрачная, что она производит впечатление законченности. Как последовательные изменения быта и рост общественного и личного сознания выражались в *новых* формах политического устройства, в выделении научного миросозерцания из мифического, философии—из религии, истории—из эпоса,—так выражались они в поэзии в *чередовании* ее форм, обусловленном изменениями ее идеального содержания“. [2])

Таким образом, на этот раз А. Н. Веселовский поставил форму и содержание творчества в неразрывное единение между собою, настолько тесное, что важное изменение идейных переживаний влечет за собою соответствующую модификацию и той формальной оболочки, в которую они заключены. Он признал, следовательно, что эволюционный процесс касается не только идейного содержания, но и формальных явлений творчества. Отсюда понятен и вывод А. Н. Веселовского, что „история общественной мысли в образно-поэтическом переживании и выражающих его формах“ и есть то, что составляет историю литературы.

Сравнтельно-исторический метод принадлежит к такого рода приемам историко-литературных изучений, которые имеют целые плеяды последователей как в западно-европейской, так и в русской историко-литературной науке. Не потерял он своего значения и в настоящее время.

Уже отмечалось, что в понятие „историко-культурной среды“ входит сложное и разнообразное содержание. Между прочим, одним из моментов этой среды являются *политические* настроения изучаемого периода. Для некоторых историков литературы эти явления жизни народа играют первенствующую роль в общих условиях его жизни, и ими в значительной мере определяется характер и направление его литературно-художественных достижений. Следовательно, при изучении этих достояний культурной жизни, при их об'яснении необходимо исходить только из этих политических условий, отодвигая все остальное на задний план и придавая ему второстепенное значение. Представителями этого *историко-политического* метода в большинстве случаев являются те же историки литературы, которые стоят на точке зрения исторического метода. Сюда же примыкают и представители метода публицистического, или политического—в том пункте своих изучений, когда момент публицистической оценки художественного творчества получает у них характер изучений экзегетирующего об'ясняющего свойства. В своем чистом виде этот прием изучения не нашел для себя полного развития и представляет собою лишь отдельную разновидность исторического метода. В числе сторонников этого метода, как составной части более широкого мето-

---

[1]) *А. Н. Веселовский*. Из истории романа и повести, т. I, Спб, 1886 г.

[2]) ib. стр. I.

дологического направления, можно назвать L. Wachler'a[1]), M. Villemain'a[2]), K. Rozenkranz'a[3]), K. Fortlage[4]), I. Honegger'a[5]) и др., которые ставили факты художественного творчества в связь с явлениями политического порядка, стремясь установить влияние их на литературу.

Социальные явления, входящие, как отдельный момент, в содержание „историко культурной среды", являются тем материалом, которым оперирует так называемый метод *социологический.* Сущность его заключается в том, что определенная наличность известных идейных и формальных явлений здесь выводится и об'ясняется из условий социальных отношений той эпохи, в среде которой жил и действовал изучаемый писатель.

Социологический метод очень близок к методу марксистскому. Близость между ними настолько велика, что во многих случаях их устремления в области изучения литературы и искусства перекрещиваются друг с другом. Это обстоятельство дало повод эти методы отожествлять в одном методологическом направлении. [6])

Однако, есть между ними и разница. Метод марксистский из области социальных явлений человеческой жизни берет, в качестве факторов экзегетирующего изучения творчества, *социальную психологию*, создаваемую экономическими отношениями и классовыми противоречиями. Между тем как метод социологический имеет в виду, главным образом, *социальный быт* данного периода и ставит своею задачей об'яснение его условиями особенностей в области идейных и формальных явлений изучаемого творчества.

Метод *марксистский* в изучении художественного творчества исходит из принципов исторического материализма.

Насколько позволяет заключать его теоретическая физиономия, не определившаяся еще в настоящее время в окончательном и точном виде, а также его практическое применение,—этот метод также является экзегетирующим, об'ясняющим идейную сторону художественных произведений и общие особенности их формы. Это об'яснение марксистский метод стремится почерпнуть в условиях „историко-культурной среды", являясь, таким образом, с этой стороны, родственным методу историческому.

Но из этой среды на первый план он выдвигает условия экономического характера, считая их при об'яснении художественного творчества, а также и других явлений человеческой жизни, первостепенными и основными. На ряду с этим моментом, столь же важное значение марксистский метод отводит и социальным движениям эпохи, которые, с точки зрения исторического материализма, являются первым необходимым следствием определенных отношений экономического характера. С этой стороны, таким образом, метод марксизма тесно примыкает к методу социологическому. Однако, в отличие от последнего этот метод в условиях социально-политических течений преимущественное внимание отводит явлениям классовой борьбы, которая создает определенную психологию для того или иного класса. Условия этой общественной психологии и определяют особенности идеологических настроений класса, заключая в себе, таким образом, источник об'яснения его духовной жизни вообще, а также и его деятельности в области словесного искусства.

---

[1]) *Л. Вахлер.* Руководство к истории литературы. Ч. I, Спб., 1836 г.
[2]) M. Villemain. Cours de littérature francaise. Paris , T. I—IV, 1828—30.
[3]) K. Rosenkranz. Handbuch einer allgemeinen Geschichte der Poesie. Teil 1—3, Halle, 1832—33.
[4]) K. Fortlage. Vorlesungen über die Geschichte der Poesie. Stuttgart, 1839.
[5]) *I. I. Гонеггер.* Очерк литературы и культуры XIX столетия. С немец. Спб., 1867 г.
[6]) Ср. Б. Якубський. Соціологичний метод у письменстві. Київ. 1923 г. стр. 48.

Таким образом, общая схема марксистского изучения художественного творчества предполагает установление трех моментов в содержании „историко-культурной среды“. Первым моментом в общественном процессе, его направляющем, является определенное состояние производительных сил данного периода, его экономика. Второй, являющийся результатом первого, составляет наличие того или иного социального быта, тех или других классовых разделений, принадлежащих изучаемому моменту. Наконец, третий—та общественная психология, которая складывается в результате многосторонних воздействий предыдущих факторов экономического и социального характера; эта социальная психология и составляет ближайший источник для об'яснения духовной деятельности общества, в том числе и художественной.

Это третий момент является существенным, имеющим ближайшее отношение к экзегетированию художественного творчества, ибо только условия этой психологии общества определяют характер его литературы. Между тем как первые два фактора непосредственного отношения к словесному искусству не имеют, оказывая свое воздействие через посредство третьего момента. Они являются только теми условиями, из которых складывается общественная психология, как ближайший источник экзегетирующего изучения литературы с точки зрения принципов исторического материализма.

Теоретическое обоснование этого метода далеко еще, как отмечалось, не законченное, относится к недавнему времени. Первые опыты изучения литературы в указанном направлении принадлежат прошлому веку. Наиболее же интенсивный характер обозрение литературных явлений с точки зрения марксистского метода получило в начале нынешнего века и особенно в наши дни.

Если опыты обоснования этого метода в его систематическом и цельном виде относятся ко времени наших дней, то основные положения его, как отдельные части, были намечены еще в прошлом столетии.

Белинский, характеризуя Пушкина в романе „Евгений Онегин“, уже указывал на зависимость индивидуального самосознания художника от классовой психологии. „Личность поэта,—говорит он,—так полно и ярко отразившаяся в этой поэме, везде является такой прекрасною, такою гуманною, но в то же время артистическою. Везде видите вы в нем человека, душою и телом принадлежащего к основному принципу, составляющему сущность изображаемого им класса, короче—везде видите русского помещика. Он нападает в этом классе на все, что противоречит гуманности, но принцип класса—для него вечная истина. И потому в самой сатире его так много любви, самое отрицание его так похоже на одобрение и на любование“. [1])

Далее, Чернышевский также строил свою эстетическую теорию на основах материалистической философии. Отвергая возможность существования абсолютной красоты, он стремился показать ее изменчивость, и прежде всего, в зависимости от условий социального быта, в недрах которого он слагается, а также от явлений экономического характера, которые определяют характер общественного процесса.

Одним из главных теоретиков разбираемой точки зрения применительно к вопросам искусства, придававшим этому приему изучения характер метода, является Г. В. Плеханов. В целом ряде своих работ он не раз касается теоретической стороны этого метода, стараясь в то же время показать и его практическое применение в области экзегетирующего изучения художественного творчества. В этом отношении

---

[1]) *В. Г. Белинский*. Статьи о Пушкине. Историко-литературная библиотека под ред. Иванова-Разумнина Ч. 2. СПБ, 1911 г., стр. 343.

наиболее интересными работами являются его литературные статьи, а также предисловие к ним, собранные в его сборнике. „За двадцать лет“[1]) и книга под названием „Искусство и общественная жизнь“.[2])

Свой взгляд на изучение искусства с точки зрения марксизма Г. В. Плеханов выражает в следующих словах: „я держусь того взгляда, говорит он, что общественное *сознание* определяется общественным *бытием*. Для человека, держащегося такого взгляда, ясно, что всякая данная „идеология“, стало быть, также и *искусство* и так называемая *изящная литература*, выражает собой *стремления* и *настроения даннаго общества* или,—если мы имеем дело с обществом, разделенным на классы,—*данного общественного класса*. В качестве сторонника материалистического мировоззрения, скажу, что первая задача критика состоит в том, чтобы перевести идею данного художественного произведения *с языка искусства на язык социологии*, чтобы найти то, что может быть названо *социологическим эквивалентом данного литературного явления*“.[3]) Отыскание этого эквивалента составляет первый акт критики материалистического характера.

Вторым моментом такой критики „должна быть оценка эстетических достоинств разбираемого произведения“. Отказ от такого рода оценочных суждений равносилен непониманию самой точки зрения данного метода. „Особенности художественного творчества всякой данной эпохи всегда находятся в самой тесной причинной связи с тем общественным настроением, которое в нем выражается. Общественное же настроение всякой данной эпохи всегда обуславливается свойственными ей общественными отношениями. Иначе сказать, *первый акт материалистической критики не только не устраняет надобности во втором акте, но предполагает его, как свое необходимое дополнение*“.[4])

Наиболее стройное приложение в области изучения литературы изложенные положения марксистского метода нашли в его статье „Французская драматическая литература и французская живопись XVIII века с точки зрения социологии“[5]); здесь автор вновь повторяет те же основные пункты данного метода, вытекающие, как неизбежные выводы, из экзегетирующего изучения французской литературы и живописи XVIII столетия.

В настоящее время наиболее видными представителями марксистского метода в области историко-литературных изучений являются В. Фриче, П. С. Коган, В. Львов-Рогачевский, Л. И. Аксельрод-Ортодокс и др.

Первый из названных историков литературы—Фриче—ставит развитие художественного творчества в зависимости от экономических условий „окружающей среды“; одна из его работ носит название „Художественная литература и капитализм“[6]), уже своим наименованием указывающая на характер метода автора. В своих „Очерках по истории западно-европейской литературы“[7]) Фриче следующим образом формулирует свои взгляды на вопрос о марксистском изучении художественного творчества. „Мы держимся,—говорит он,—того убеждения, что литературные произведения теснейшим образом связаны с социально-экономическою жизнью народов, что они переводят эту социально-экономическую жизнь на язык особых символических значков,

---

[1]) *Бельтов.* (Г. В. Плеханов) За двадцать лет. Сборник статей. Спб. 1908 г.

[2]) *Г. В. Плеханов.* Искусство и общественная жизнь. М. 1922 г.

[3]) *Бельтов.* За двадцать лет, стр. 9-10.

[4]) Ib., стр. 16.

[5]) ib. стр. 302-325.

[6]) *В. Фриче.* Художественная литература и капитализм, Ч. I (Англия, Германия, Австрия, Скандинавия). М. 1906 г.

[7]) *В. Фриче.* Очерки по истории западно-европейской литературы. М. 1908 г.

т. е. художественных образов". Исходя из этого, Фриче историю западно-европейской литературы делит на периоды „в зависимости от господствующей формы хозяйственной деятельности". По его мнению, „настроения и идеи и, далее, приемы художественного творчества людей данной эпохи зависят прежде всего от достигнутой ими высоты технической и экономической культуры и меняются, когда они переходят к новой форме производства жизненных благ, к новому ряду экономических отношений".[1])

„Эта смена противоположных форм хозяйственной деятельности является, как думает автор „Очерков", первым фактором, с которым необходимо считаться при об'яснении литературной эволюции, потому что она создает те общие всем людям данной эпохи психологические особенности, которые отличают их внутренний мир и их приемы творчества от людей других эпох и являются, таким образом, одной из причин, обусловливающих разнообразие литературных течений и стилей".

„Но в рамках одной и той-же экономической системы литература отличается многообразием увековеченных в ней идей и образов, потому что в ее создании участвуют и ею пользуются в своих интересах самые различные классы общества. При об'яснении литературных явлений, кроме фактора экономического, т. е. смены форм производства, необходимо считаться еще и с фактором социальным, т. е., с борьбой классов. При таком социологическом методе рассмотрения литературы последняя превращается в составную часть более широкой науки, а именно: социально-экономической истории человечества".[2])

В зависимости от указанных факторов литературные течения рассматриваемого им периода, от средних веков до нашего времени, распределены на восемь групп. К „эпохе натурального хозяйства" относится Данте; „зарождению городской культуры" соответствует Боккачио, Чосер; „господству торгового капитала"—Рабле, Сервантес, Шекспир, Тасоо, Корнель, Расин, Лопе-де Вега, Кельдерон;" „возникновению буржуазного общества"—Мильтон, Свифт, Бёрне, Мольер, Бомарше, Руссо, Лессинг, Шиллер, Гёте; „феодально-монархической реакции" —Шатобриан, Новалис; „эпохе промышленного переворота"—Вальтер Скотт, Байрон, Шелли, Диккенс, Гюго, Бальзак, Альфред-де-Виньи, Жорж Занд, Беранже, Гейне, Ленау, Манцони, Леопарди; эпохе, которую автор именует „на другой день после революции 1848 г.",—Бодлер; наконец „расцвету капитализма"—Верхарн, Пшибышевский, Золя, Гамсун, Стриндберг, Шницлер, Гауптман, Метерлинк, Д'Аннунцио, Роденбах, Ибсен, Ола Хансон, Адда Негри и т. д.

Очень близки к рассмотренному пониманию марксистского метода, как в отношении его теоретической физиономии, так и практического применения в области изучения художественных явлений,—два других историка литературы: П. С. Коган[3]) и В. Львов-Рогачевский.[4])

Краткое изложение взглядов Фриче на основные принципы марксистского метода с полною очевидностью указывает, что между этим историком литературы и Г. В. Плехановым в данном вопросе существует значительная разница. Уже отмечалось, что Плеханов исходит в своем изучении литературы из социальной психологии, считая ее про-

---

[1]) Ib. стр. 3-4.
[2]) Ib. стр. 4.
[3]) *П. С. Коган.* Очерки по истории западно-европейской литературы. Изд. 8-е Пгр. 1823 г.
Его же. Очерки по истории новейшей русской литературы. Изд. 4-е, ч. 1-II. М. 1823 г.
Его же. Литература этих лет. 1917-23 г. М. 1924 г.
[4]) *В. Львов-Рогачевский.* Новейшая русская литература. М. 1922 г.; 2 изд. М. 1824.

дуктом взаимодействия экономических отношений и классовых разделений данного периода. Между тем Фриче, а также Коган, Львов-Рогачевский и др., в качестве исходного пункта для своих изучений, принимают фактор экономического характера, именно, „господствующую форму хозяйственной деятельности“. Такое формулирование основных положений рассматриваемого метода в свое время вызвало возражения со стороны Г. В. Плеханова, который увидел в этом непонимание основ марксистского метода.[1])

Л. И. Аксельрод-Ортодокс стоит по плехановской точке зрения. об'ясняя факты художественного творчества из условий социальной психологии изучаемого момента. Там, именно, построена ее книжка о Л. Толстом.[2])

Следующим моментом, характеризующим понятие „историка-культурной среды“, являются умственные движения определенного момента, выражающиеся в разнообразных течениях философской мысли. В глазах некоторых историков литературы этот момент внешних условий в известных случаях играет первостепенную роль при об'яснении особенностей художественного творчества. В таком случае он занимает главное место, отодвигая остальные явления „историко-культурной среды“ на задний план или же совершенно оставляя их в стороне. При таком понимании задач историко-литературных изучений в результате получается то, что называется *философией* литературы. Иными словами, стремление об'яснить художественное творчество из условий умственных настроений эпохи при помощи различных течений философской мысли—составляет главное содержание метода, который принято называть *философским*.

Ярким примером построения философии литературы в такой именно форме является книга Krantz'a „Опыт философии литературы. Декарт и французский классицизм“.[3])

О задачах своей работы он говорит в следующих выражениях: „Мы задались целью показать влияние картезианской философии на классическое искусство или, по меньшей мере, если это влияние покажется спорным, установить их сходные черты. Мы хотели найти в метафизике Декарта принципы классической эстетики, а в его методе—приемы мышления великих писателей XVII века“.[4]) Из этого заявления вполне очевидно устремление автора в сторону об'яснения особенностей классической литературы XVII века из философских настроений картезианства. Так, именно, понимает задачи Krantz'a и редактор его книги проф. Ф. Д. Батюшков. Он говорит, что „философия литературы“ у него сводится к определению основных свойств данного литературного направления, его идейного содержания, его приемов и принципов поэтического творчества и, рассматривая с этой точки зрения кодекс поэзии и некоторые памятники классической эпохи во Франции, автор нашел возможным связать между собою или установить общность двух параллельных течений общественной мысли, выразившихся в области отвлеченной мысли (или в философии в тесном смысле слова) и в области художественного творчества, преимущественно в теории поэзии того времени. В установлении соотношений, так сказать, внутренней связи, между литературой и философией данной эпохи главная заслуга автора“.[5])

---

[1]) *Г. В. Плеханов.* Основные вопросы марксизма. Пгр. 1917 г. Стр. 95.
[2]) *Л. И. Аксельрод-Ортодокс.* Л. Н. Толстой, М. 1922 г.
[3]) *Кранти.* Опыт философии литературы. Декарт и французский классицизм. Перевод М. Славинской, под ред. проф. Ф. Д. Батюшкова. Спб., 1902 г.
[4]) Ib., стр. 209.
[5]) Ib., стр. 5.

Совершенно иначе понимает задачи философии литературы русский критик Г. А. Соловьев-Андреевич. В своей книге „Опыт философии русской литературы“ [1]) он следующим образом формулирует ее основные задачи и цели. „Философия литературы—говорит он,—означает рассмотрение ее *господствующей идеи и воли* (стремления), в которых определились ее особое лицо и характер, а также ее жизнь в ее *необходимом* развитии. Господствующую идею нашей литературы я определяю, как аболиционистскую, освободительную. Для меня литература—борьба за освобождние *личности и личного начала* прежде всего. Указать и определить главные моменты этого процесса—вот моя цель“.[2]) „Я выделяю борьбу с крепостным правом и официальною жизнью,—поясняет далее свою мысль автор,—*во имя интересов развития личности.* Я думаю, что это и есть ось, вокруг которой „вертятся“ у нас литературные явления 19 века“.[3]) „Аболиционизм—вот знамя, вот идея, возле которых собрались лучшие силы нашей литературы. Аболиционизм это борьба с рабством во имя свободы человеческой личности и ее достоинства. И наша литература вся, в главном русле своем, в тех своих произведениях, которые дали ей лицо и определили ее самостоятельный характер, прежде всего аболиционистская“.[4])

Таким образом, аболиционизм—это то понятие, которое заполняет содержание господствующей идеи русской литературы, та особенность ее, то своеобразие, которое составляет ее отличительный признак среди литератур других народов.

Сравнивая две различных точки зрения—Krantz‘a и Соловьева-Андреевича—на возможность построения философии литературы, необходимо поставить и разрешить так или иначе вопрос о том, в какой мере та и другая оказываются выражающими сущность философского изучения, и в какой степени первая и вторая соответствуют его устремлениям.

Поскольку метод философский является приемом экзегетирующего изучения литературы, ставящим себе задачу об‘яснения ее особенностей при помощи умственных течений изучаемого момента, в частности, из условий воздействия на литературу тех или других философских умонастроений, постольку взгляд Krantz‘a оказывается наиболее отвечающим требованиям такого изучения. Между тем как воззрения Соловьева-Андреевича таким заданиям указанного метода не отвечают. Его „опыт“ представляет в сущности констатирующее изучение лишь известного мотива, именно, мотива аболиционизма, который с точки зрения автора имеет определенную общественно-политическую стоимость и проходит широкою волною в художественных явлениях 19 столетия.

Подводя некоторые итоги историографической классификации методологических изучений в области литературы, необходимо подчеркнуть следующие положения.

Если обратить внимание на теоретическую сторону перечисленных методов, как констатирующих, так и экзегетирующих, то приходится отметить что в этом отношении вторая группа их оказывается более разработанной, чем первая. Методы экзегетирующие более точны в своей теоретической физиономии, чем методы констатирующие, которые в этом случае часто носят характер неопределенный.

---

[1]) *Г. А. Соловьев-Андреевич.* Опыт философии русской литературы. Спб., 1905 г. изд. 3-е, М. 1922 г.

[2]) Ib., стр. V.

[3]) Ib., стр. VIII.

[4]) Ib., стр. 15-16.

Следует вместе с этим сказать, что та или иная степень разработанности методов обоих категорий касается, главным образом, их *общих* заданий и *основных* устремлений. Более *частные* вопросы и задачи их в большинстве случаев или совсем не поставлены, или, если намечены, то не выяснены в конкретной и определенной форме.

Однако, в той и другой области более всего методы констатирующие не имеют твердых оснований. Круг явлений идейного или формального порядка, приводимых в известность, не имеет точно установленных границ. Намечены только *некоторые* вопросы для изучений этого свойства, не приведенные, однако, в порядок и не исчерпывающие всех возможностей научного исследования литературы в данном направлении. Вследствие такой неопределенности в области констатирующих приемов и методы экзегетирующие не располагают *определенным* об'ектом для своего изучения. Этот об'ект в своем содержании оказывается совершенно *случайным* и *неполным*.

В связи с этим *очередной* задачей историко-литературной науки и является создание этого об'екта в его исчерпывающей и научно обоснованной форме, который ценен сам по себе, как явление имманентное, и одновременно необходим для изучений об'ясняющего порядка.

В области методов экзегетирующих следует еще отметить, что момент об'яснения художественных произведений—их содержания и формы—из условий „историко-культурной среды" поставлен ими сравнительно ясно и определенно.

Спорным является вопрос о *степени* воздействия на художественное творчество тех или других явлений окружающей внешней обстановки, что является, как следует из предыдущего, одним из существенных моментов об'ясняющего изучения литературы. В этом случае каждый из перечисленных методов претендует на исключительное и безусловное право об'яснения только теми условиями „историко-культурной среды", которые кажутся определяющими самый характер литературы и об'ясняющими ее идейное и формальное достояние.

Одновременно с этим методы той же категории не дают *конкретных* указаний на те *цели*, которые ставит себе об'яснение, как определенный принцип изучения художественного творчества.

Подчеркнутые вопросы составляют те задачи, которые подлежат разрешению историко-литературной науки в ближайшую очередь. Выполнение их является залогом неуклонного движения ее на пути научного развития.

Вл. Ивановский.

Пушкин в истории русской общественности.*)

I.

Точки зрения общественные являются, в известном смысле и отношении, несомненно, высшими, определяющими; а потому и вопрос об общественном значении каждого культурного деятеля есть вопрос по отношении к нему важнейший, основной. И мне думается, мне не поставят в упрек избранную мною для речи на настоящих, торжественных поминках великого поэта тему,— хотя бы мне не пришлось даже предложить вашему вниманию каких-либо новых результатов, самостоятельных исследований по этому вопросу.

„Пушкин—поэт, и прежде всего поэт"…. Это совершенно верно…. Но представляет ли собою поэзия какую-то совершенно изолированную область, оторваную от всех остальных сторон жизни? Является ли она чем-то чуждым жизни, быть может, даже враждебным некоторым очень ценным ее сторонам?

Конечно, нет… Все в природе вообще, и в частности в жизни общества, связано известными внутренними соотношениями, зависимостями в своем генезисе и существе, в своей динамике и своих изменениях.

Это мы видим и в литературе, в ее истории, в ее отношениях к общественности.

Поэзией мы называем особого рода способ обработки и выражения *всякого вообще* содержания,—особый, подчиняющийся своим собственным законам *метод* и *язык*, приложимый ко всему, чем живет, что мыслит и чувствует, чего хочет человек. Нет особой области „поэтического", как таковового: в поэзии может найти себе выражение решительно все, всякое жизненное содержание—личное или мировое, индивидуальное или общественное,—все, чем жива личность поэта. Поэзия —это особым образом устроенный рупор, через который поэт высказывает все, чем он дышет и что им движет, рассказывает свое и чужое пережитое, свои думы и мечты, свои надежды и разочарования, свое горе и обиды, словом, запечатлевает и отражает свою личность… И конечно, при прочих равных условиях, чем жизненно значительнее выражаемое поэтом содержание, чем глубже общественная укоренность его поэзии, тем и его поэзия ценнее, тем значительнее ее жизненная действеность—в пределах, конечно, общих законов эстетических переживаний и выражений, среди которых не надо забывать закона „контраста", оживляющего действия смены и новизны…

II.

В поэзии мы должны различать, прежде всего, известную формальную сторону ее, присущую поэзии, как таковой, каково бы ни бы-

---

*) Настоящая статья воспроизводит (с сокращениями) речь, сказанную 8-го июня 1924 г. на торжественном чествовании 125-летия со дня рождения Пушкина в соединенном заседании Совета Бел. Гос. Унив. состоящего при Университете Научного Общества и Комитета Минской Публичной Библиотеки имени Пушкина.

ло ее содержание. Это совокупность известных настроений и состояний мысли и воли, известных форм идеализирующего переживания, восприятия и переработки жизненных содержаний и, наконец, их выражения. Эти формы охватывают процессы чувствования, комбинации, творчества, построения, свободной игры сил, свободного искания того, что (если даже не дает прямо человеку внутренней силы, то) является какой-то неотделимой стороной, необходимым рефлексом общего под'ема жизненной действенности человека, каким-то необходимым сопровождением богатства творческих возможностей во всех областях и аспектах человеческого бытия. Поэзия есть, с этой точки зрения преимущественное, прерогативное создание личности, возникающее, само собой разумеется, под действием всех тех условий, от которых зависит личность в своем общественном бытии, и тех реакций на эти условия, какие она проявляет, но невозможное помимо богатого развития сил этой личности. И в обществе, в которое вкраплены такие личности, в обществе, которое ценит и любит их творчество,—в таком обществе не может надолго укорениться общественный гнет и общественная апатия; в нем не может остановиться диалектический процесс прогрессивного развития, как и не может быть безнадежного попятного движения.

И пускай, в более глубоких своих корнях, такое соотношение будет об'ясняться моментами иного порядка,—не в собственном смысле „творческого", но, напр., производственно-хозяйственного... Надо помнить, что все эти определяющие хозяйственные факторы действуют не помимо, а через известный строй, через известные типы личностей,—типы мыслителей и публицистов, организаторов и художников, и в том числе (и на очень видном месте) поэтов. Ведь плоды социального развития России сказались не где-то в безвоздушном пространстве,—они должны были воплотиться в известных творческих, прокладывающих пути личностях, чтобы стать действенными силами истории. Личность Ленина *творчески* выразила, осознала, оформила, популяризировала и превратила в могучую силу результаты об'ективного исторического процесса. И эта роль творческой личности колоссальна: без нее невозможна никакая политика, никакое сознательное влияние на жизнь и руководство ею, никакая общественная борьба, никакое движение вперед. Жизнь дает свои плоды в личностях,—конечно, обратно влияющих на эту жизнь: творческая личность есть необходимое звено, необходимый передатчик в круговороте социального механизма.

В истории поэзии эпохи ее расцвета часто предшествовали периодам крупных общественных достижений... Они подготовляли их в смысле настроения; они в определенном, четком и всем доступном отражении формировали чувства и эмоционально-волевые предрасположения людей в такой период, когда новые элементы общественные еще не могли, еще не в силах были дать внешние, об'ективные результаты в форме определенных общественных достижений. Поэзия эмоционально предрасполагала и подготовляла умы к об'ективно неизбежному, являясь в высшей степени действенным пропагандистом этого неизбежного, могучим агитатором в пользу его; и все „об'ективно неизбежное" естественно и необходимо использует поэзию для своего рождения...

Эта агитация, это перевоспитание чувствований и настроений, уготовляющее путь и к пересмотру идейного багажа, а в дальнейшем и к реформе реальной жизни, совершается творческим духом поэзии, ее протестующей независимостью от грубых сил, давящих в данный момент общественную жизнь, тем общим под'емом, который является результатом поэтического творчества и восприятия, процессов создания произведений искусства и наслаждения ими... Поэтому, даже с общественной стороны отнюдь не следует пренебрегать вопросами поэти-

ческого творчества, изучением его приемов, его техники, стиля, средств выражения... Все это—ценнейшие технические методы того великого, стихийного, непроизвольного и непреднамеренного влияния на жизнь, какое природа и органические (экономические и т. п.) моменты оказывают через психику поэта и общества; все это—великие орудия производства общественных ценностей,—правда, орудия особого рода, специальные, но оттого не менее действенные. Поэт—и именно через поэзию, при техническом посредстве своего поэтического дарования, через свою технику, свой стиль, свои ритмы и рифмы, через свои образы и сравнения, через внутреннюю игру своих ассонансов и аллитераций, через магию музыкальной стихии, через звучность своих выражений—словом, через красоту своих творений—является и общественным деятелем первейшего порядка.

Однако, кроме самой „формы“ поэзии общественно ценным и действенным оказывается, конечно, и содержание ее. Форма поэзии (если она истинно художественная, а не подделка, не помесь жалких суррогатов поэтического под‘ема: гаэрства, кривлянья, цинизма, истерических выкриков)—истинно „поэтическая“ форма обработки переживаний всегда действует в положительном смысле; „содержание“ же поэзии может быть иногда и общественно безразличным или даже вредным.

В отношении „содержания“ поэзии могут иметь значение разные его моменты: выбор тем и сюжетов и их освещение, характер выражаемых поэтом чувствований, общественный смысл и истолкование изображаемых событий, характерные для самого поэта настроения и т. д.

И в обоих этих отношениях—и формой самого поэтического одушевления, переживания, идеализирующего под‘ема, и содержанием своей поэзии—Пушкин одинаково велик с общественной точки зрения.

В области поэтической формы переживания и выражения Пушкин слил великие силы своего духа, свою безконечно живую, богатую и пластическую личность с техническими достижениями прежней литературы как мировой (Шекспир, Байрон, французские лирики XVIII века, А. Шенье и многие, многие другие), так и русской—XVIII и начала XIX веков. Содержанием свой поэзии Пушкин был важнейшим звеном в эволюционной цепи развития русской общественности в один из труднейших моментов ее многострадальной истории—в тот момент, когда, после восстания декабристов, нить общественного протеста грозила (быть может, надолго) совсем оборваться.

III.

Попробуем вставить Пушкина в схему развития русской общественности.

Мы можем группировать и классифицировать любой материал самыми разнообразными способами—в зависимости от тех точек зрения, из которых мы в каждом данном случае будем исходить. В специальных исследованиях по русской истории мы найдем ряд попыток разделения русского исторического процесса в его целом на отдельные периоды—попыток, исходивших из политических и социально-экономических моментов. Но если мы взглянем на этот процесс с точки зрения отношения между общественными группами, стоявшими у власти, с одной стороны, и массой населения, с другой,—мы будем, может быть, вправе разделить этот процесс на три главных периода.

В первом периоде, охватывающем несколько веков нашей истории, у власти стоят рабовладельцы (князья, бояре-дружина, крупные купцы),—мало того, сначала даже прямо работорговцы. И на всем общественном строе того времени лежит печать воспитанных рабством отношений, тяжело давивших простолюдина (официально носившего

презрительную кличку „смерда“, т. е. нечистоплотного, грязного), не говоря уже о рабе—„полном или обельном холопе“.

Позже, особенно с того времени, как татарское нашествие откинуло массу русских людей на северо-восток, в „междуречье Оки и верхней Волги“, прежний, основанный на рабстве строй постепенно превращается в крепостной. Этот период состоит из двух эпох: эпохи удельной, когда „крепость“ держала в подчинении только местному владельцу (князю, боярину), и эпохи самодержавной,—когда к местному тяглу стало присоединяться постепенно тягло общегосударственное.

Постепенно, под царской властью слагается на восточно-европейской равнине огромный хозяйственно-производственный, предопределенный географическими условиями организм, весь общественный уклад которого покоится на принудительном прикреплении правительством каждой общественной группы и класса к „тяглу“,—к определенной общественной повинности.

При этом строе мелькнули и отшумели цари Иваны, Борис и Смута, Алексей и могучий Петр... Основные исторические задачи, для выполнения которых был создан этот крепостной строй, были решены,—и строй этот стал после Петра медленно, но верно клониться к упадку... Наступает новый период нашей истории,—когда прежний организатор общества—царская власть—постепенно изживает сама себя, превращаясь мало по-малу в какую-то помесь истерического юродства, тупости и бесцельной жестокости. Это—период постепенного освобождения живых сил нашей истории—общественных классов и национальных культур, об‘единенных в колоссальном народно-хозяйственном целом. В этом периоде общественная энергия и активность, социальная действенность и авторитет, а вместе с ними и место у государственного руля, переходят постепенно в руки самого населения—в лице его представителей, выдвигаемых общественным мнением отдельных социальных классов, народностей, трудовых групп.

Единство этого процесса, понимаемого как процесс самоопределения живых народных сил, совершенно совместимо с резкими различиями, столкновениями и борьбой самих этих сил между собою. Будучи иногда резко враждебными друг другу, они представляют собою, пусть взаимно исключающие, но все-же—члены одного и того же исторического ряда...

Процесс этот идет вот уже в течение более полутораста лет... Сейчас он подвел нас к новому периоду истории—к периоду, когда окончательно сметены остатки крепостного строя и на очищенном от них месте планируется новое общественное здание, долженствующее быть более светлым и просторным.

В наступающем периоде общественная борьба должна быть, прежде всего, созидательной, должна быть борьбой во имя организующих начал жизни. Ее не должна осложнять простая разрушительная вражда к нелепым пережиткам старого порядка, ленивого и неспособного понять насущные нужды народных масс.

Все это движение в целом, не смотря на большие различия, даже противоположность, в конкретных требованиях отдельных общественных классов, все же до известной степени едино как в психологических источниках одушевления, так и в политических программах вождей классов, выступавших преемственно друг за другом в этой широкой исторической драме. В последние годы жизни Г. В. Плеханова одною из его любимых мыслей была мысль о последовательном выступлении в революционном процессе одного общественного класса за другим—мысль о том, что каждый класс доводит общественное движение до того пункта, на котором исчерпываются и его запросы, и его силы, и его идеология,—идея „классово-ступенеобразного“ хода рево-

люции. Идея эта не новая; она была у некоторых из французских историков; с этой точки зрения давно уже об'ясняли нашу смуту начала XVII века (напр., Ключевский) как ряд последовательных классовых революций, начавшихся с крупного боярства и закончившихся восстаниями голытьбы (Тушинский вор, Болотников). Правда, эту мысль Г. В. применял к последнему этапу нашего исторического процесса—к тому моменту, когда общественные силы схватились в последнем, открытом бою. И здесь применимость мысли Г. В. может быть подвергнута большому сомнению. Но если приложить ее к процессу самоосвобождения русского народа и народов России в его целом, мысль эта не лишена интереса. В свете этой мысли 150-летний период самоосвобождения и самоопределения народов и общественных классов России можно, с некоторой степенью точности, разбить на ряд двадцатипятилетий, из которых каждое вносит нечто новое в общественную идеологию,—при чем в зависимости от того, какой общественный класс выражает в данный период выработанные его вождями требования,—общественные программы постепенно эволюционируют от либерально-дворянских через разночинские (или мелко-буржуазные) к рабоче-социалистическим и коммунистическим. Конечно, начала и концы этих периодов заходят друг за друга; конечно, такая схематизация отнюдь не может претендовать ни на какую математическую точность; но она небесполезна для общей ориентировки в историческом процессе.

Зарождается движение лет через 25—30 после смерти Петра I... начальными его симптомами можно считать такие факты, как первые культурные успехи дворянства в елизаветинскую эпоху, деятельность Ломоносова,[1]) освобождение дворян от их специального „тягла"—от обязательной службы и т. д. Несколько позже, уже при Екатерине II движение это выражается в оживленной литературной работе журналов, воплощавшей то, что можно назвать зачаточным, культурно-бытовым и социальным либерализмом. По всей линии журналов той эпохи идет осмеяние дворянского тунеядства, невежества и поверхностности мысли, грубости, самодурства и дикости „привилегированного" сословия, безграничного легкомыслия его в деле усвоения внешних приемов и форм западно-европейской жизни и т. д. И всегда в основе этого, нередко мало внятного, робкого, косноязычного протеста лежит одна великая проблема, один основной вопрос русской жизни—крестьянское тягло, крепостное право дворян над крестьянскими „душами", ставшее явной несправедливостью после того, как при Петре III с дворян спало их служебное тягло и они стали особо привилегированным. „благородным" сословием. Известно, что крепостное право как раз с этого времени принимает свои особенные одиозные формы, вследствие чего крестьянская доля начинает производить впечатление волнующей социальной несправедливости. И литература того времени постоянно намекает на этот основной вопрос русской социальной жизни... Н. И. Новиков, Фонвизин и ряд других деятелей являются в этом периоде идейными вождями. Движение ограничивается узкими рамками „образованного" дворянского общества той эпохи; в нем одно время принимает участие сама Екатерина. Хронологическими границами этого периода можно считать 1765 и 1790 годы.

Когда над Европой раздались громы французской революции, протест русского общества (по-прежнему дворянского) получает и политический характер, Радищев-первый русский республиканец; он же первый, кто прямо и полными словами, грозя царям, потребовал освобождения крестьян. Друзья Радищева, а также вообще деятели 1-й половины царствования Александра I-го со Сперанским во главе—пробуют произвести политическую реформу; но частию обстоятельства международной политики, частию общая шаткость основы их деятель-

---

[1]) А также, конечно основание Московского университета.

ности приводят их планы к неудаче и к наступлению резкой реакции с 1815 г. Этим заканчивается двадцатипятилетие 1790—1815 годов.

Двадцатипятилетие 1815—1840 г.г. охватывает деятельность поколения декабристов и Пушкина. Декабристы делают первую открытую попытку свергнуть самодержавие силой. Вышедшее наружу в конце 1825 г., движение это тогда же терпит неудачу. Представители декабристского поколения стоят во главе русской общественнной мысли до конца 30-х годов (или до начала 40-х). С этого же времени в лице, с одной стороны, славянофилов, с другой—западников и, наконец, первых русских социалистов (Герцена, Бакунина, частию Белинского) и др., синтезировавших в известном смысле принципы как западничества, так и славянофильства, начинается новый, опять приблизительно двадцатипятилетний период (1840—1865 г.г.) „западничества и славянофильства".

На смену этому поколению выступает, приблизительно с половины 60-х годов, народничество, русский „крестьянский социализм", руководимый Чернышевским,—второе поколение русских социалистов. Деятели этой эпохи выходят в большинстве своем уже из нового, только что поднявшегося в культурном отношении общественного слоя—из интеллигентного разночинства и радикально и социалистически настроенной части средних классов. Народничество и народовольчество, вторая отчаянная попытка борьбы силой с самодержавием и новый разгром движения ко второй половине 80-х годов XIX века завершают этот славный период нашей истории.

Около 1890 года начинает выступать на сцену третье поколение русских социалистов, руководимое Плехановым; в лице его и его ближайших сотрудников и последователей одерживает великие победы марксизм и идеология рабочего класса. И хотя новые настроения в русском социализме определяются (в лице Ленина) уже к началу XX столетия, однако, до Великой войны в общем еще господствуют настроения и воззрения, обозначаемые теперь термином „меньшевизма".

Конец этого двадцатипятилетия падает на 1915 г.: с мировой войны начинается наш сегодняшний день. Война эта выносит наверх четвертое поколение русских социалистов—с Лениным во главе.

Конечно, в области *практической политики* представители всех этих этапов русской культуры и общественности были часто ожесточенными противниками друг друга. И если мы будем смотреть на них с такой, *практико-политической* точки зрения, мы совершенно различно будем оценивать их. Но если мы посмотрим на весь ряд их с другой, с *историко-генетической* точки зрения, мы поймем всех их как необходимые звенья постепенно развертывающегося великого исторического процесса—звенья, из которых каждое последующее вырастало на почве предыдущего (и в последнем счете, всех предыдущих). И передовые люди всех этих направлений, их идейные вожди составляют единую, не умирающую цепь крупных умов, талантов и гениев—людей, творчеством и работой которых создалась и выросла наша культура. Все они вместе составляют исторический Пантеон отборных сил нашей культуры—культуры русской и всех тех народов, которых связали с русским народом исторические судьбы. Действительно, разве нашему времени уже совершенно чужд, напр., Плеханов? Разве нам не поучительны мысли и жизненная судьба Чернышевского, Герцена, несмотря на все отличия их идеологии от той, которая господствует сейчас? Или разве Ленин не обязан многим Плеханову? А Плеханов — Чернышевскому и Белинскому? А Белинский — Пушкину? А Пушкин—Радищеву?.. А Герцена разве не декабристы—не Пестель, не Рылеев—толкнули на путь протеста? Прочтите блестящие работы Плеханова о Чернышевском и Белинском; прочтите статьи Белинского о

Пушкине; вспомните Пушкинский „Памятник“, в первой редакции которого Пушкин писал, что „вслед Радищеву восславил он свободу“ и т. д.,—и вы не станете колебаться в ответах на эти вопросы.

IV.

Значение Пушкина для русской общественности связано, прежде всего, конечно с его поэтической деятельностью,—но не с нею одной; большое значение в этом смысле имела и его личная судьба—отношение к нему властей и обстоятельства, сопровождавшие его дуэль и смерть...

Поэтическая деятельность Пушкина, если брать ее в связи с его личной судьбой, ясно распадается на два периода: *первый*—с знаменитого выступления на акте Лицея со стихотворением „Размышления в Царском Селе“ в 1815 г. до возвращения из ссылки осенью 1826 г., т. е. в течение 11 лет; *второй*—с возвращения из ссылки до смерти,—тоже без малого 11 лет.

В течение первого периода Пушкин—молодой, жизнерадостный юноша, пылкий и увлекающийся, автор ярких поэм и лирических стихотворений, и в то-же время вольнодумец и представитель общественного протеста, сыплющий блестящими эпиграммами в министров и царедворцев, царей и временщиков, во всех сильных мира сего, человек „опасный“, переходящий из одной ссылки в другую: из Екатеринослава в Кишинев, из Кишинева в Одессу, оттуда—на безвыездное житье, под надзор полиции, в деревню—в Михайловское... В это время Пушкин не боится очень чувствительно задевать не только таких влиятельных людей, как министры кн. Голицин, Гурьев, как арх. Фотий, вел. кн. Михаил Павлович и многие другие, не только всесильных временщиков, как Аракчеев („холоп венчанного солдата“), но и императора Александра. Александр для него „самовластительный злодей“, род которого Пушкин „ненавидит“; по законспирированному Пушкиным и лишь недавно расшифрованному П. О. Морозовым наброску из последней, ненаписанной песни „Евгения Онегина“, Александр—„плешивый щеголь, враг труда“...

Я не буду характеризировать детально политические и социальные воззрения Пушкина: это сделано было не раз. Так, несколько мозаичный подбор Пушкинских мыслей этого рода мы находим в статье А. Ф. Кони „Общественные взгляды Пушкина“, напечатанной в сборнике „Дома литераторов“ (1921 г.). О „Пушкине и крепостном праве“ говорит В. Я. Брюсов („Печать и революция“, 1922 года г., № 2). Есть более старая статья проф. Кадлубовского „Гуманные мотивы в творчестве Пушкина“ (1899 г.). Об отношениях Пушкина к декабристам писал В. Е. Якушкин. Много отдельных замечаний и мелких исследований можно найти в литературе комментариев. Я коснусь только того, как Пушкин сам сознавал свою идейную близость к политическому движению своих друзей и сверстников.

Известно, что в „Арионе“ Пушкин называет их и себя вместе одним „мы“ („Нас было много на челне“). И не даром он шлет им „во глубину сибирских руд“ дружеский привет, утешение и одобряет их, говоря, „не пропадет ваш тяжкий труд и к славе гордое стремленье“,—бросая им в последних стихах надежду на освобождение („свобода вас примет радостно у входа, а братья меч вам отдадут“)...

Трудно, конечно, придать вполне конкретные формы политическим симпатиям Пушкина той эпохи; трудно сказать, к какому из направлений в среде декабристов примкнул бы он, если бы декабрьское восстание было удачным. Да и его поэтическая натура не особенно располагала его к конкретной, практической политике. Но общий

дух его стремлений ясен, и он подчеркивается сыпавшимися на Пушкина административными карами.

Но вот, недовольство, долго тлевшее, таившееся в частных кружках, прорвалось. Гвардейские офицеры вывели подчиненных им солдат на площадь с требованием свержения самодержавия... Восстание разразилось—и немедленно было подавлено: началась 30-летняя война власти с живыми силами народа; настала черная, беспросветная, „николаевская“ реакция.

Все общественные отношения сразу изменились: вольнодумство, социально-политические мечтания об освобождении крестьян, о реформах, о конституции, о республике—все было начисто сметено...

Пушкин, оторванный ссылкой от Петербурга, не был прямо замешан в восстание; но у каждого из декабристов при обысках находили его стихи,—а это был „плохой способ мириться с правительством“, как меланхолически сообщал ему Жуковский.

Так как Пушкина нельзя было ни казнить, ни даже сослать в Сибирь (для этого в деле декабристов не было достаточных данных), то Николай решил обезвредить поэта, вызвав его к своему двору—под свой личный надзор и цензурное попечение, осуществлявшиеся через шефа жандармом Бенкендорфа.

Пушкин, человек подозрительный для правительства, одинокий в своих думах и жизненной борьбе, не теряет тем не менее окончательно надежды повлиять на ход общественных дел. Он пытается внушить самому Николаю I, в качестве идеальной программы его царствования, кое-что из того, о чем мечтали декабристы. В августе 1826 г. Пушкин приезжает из ссылки в Москву на коронацию нового императора, а уже 22 декабря того-же года он пишет свои „стансы“ Николаю I. Пушкин начинает их с выражения „надежды славы и добра“—надежды, в силу которой он „глядит вперед без боязни“.. В сущности, этими словами он, с одной стороны, как бы подбадривает самого себя, делает „хорошую мину“ при—очень возможно—весьма плохой игре, а с другой—отдает дань политическому победителю—дань вынужденную и неизбежную, так как без уверений в будущих „славе и добре“ деспот не прочел бы, конечно, и следующих за ними осторожных, но достаточно внятных советов политического благоразумия и призывов к служению общественному благу...

„Ничего“, говорит Пушкин... „начало славных дней Петра“ тоже „мрачили мятежи и казни“. Но Петр сумел „привлечь сердца“ и „укротить нравы“... чем? „Правдой“, „наукой“, допущением более или менее свободной критики своих (и вообще правительственных) действий...

Трудно сказать вполне точно, что разумел Пушкин под „правдой“... Быть может, это была та стремительная прямота и открытость, с которой относился Петр к самому себе, к своему правлению, к России, то, как Петр в решительный момент борьбы просил о нем самом не думать, как он готов был на гибель, „была бы Россия счастлива“, как он не стеснялся отменять свои указы, раз замечал, что „сие не осмотря учинено“—вообще то, как цельно и деловито относился Петр к своей царской функции.

Но если не совсем ясно, что разумел Пушкин под „правдой“, то „наука“ („нравы укротил наукой“) и свобода слова („был от буйного стрельца перед ним отличен Долгорукий“) выражены, как желательные лозунги нового царствования, совершенно отчетливо.

Петр, продолжает далее Пушкин, „смело сеял просвещенье“; он был высокого мнения о своей стране—„не презирал ее, он знал ее предназначенье“. Он „на троне вечный был работник“: то в качестве академика, то героя, то мореплавателя, то плотника... И, наконец, он

был „незлобен памятью“... И ты, заключает Пушкин, будь таким же: „во всем будь пращуру подобен“... Иначе говоря, правь Россией искренно и честно, поощряй науку, сей просвещенье, допусти свободу слова и критики, смотри высоко на свою роль и на будущее России; трудись над ее техническим оборудованием и индустриально-торговым развитием („мореплаватель“, „плотник“), а главное, во-первых, не мни себя полубогом, чем-то высшим, чем другие люди,—будь *работником*, как все трудящиеся из твоего народа, как был таковым Петр, а во-вторых, *помилуй декабристов*.

Такое обращение к царю было до известной степени рискованным... Николай понимал, что он не хочет сеять просвещенье, что он враг науки (говорят, проезжая мимо Московского Универститета, Николай I назвал его однажды „гнездом волков“); что он не хочет быть „работником“ ни на войне, ни в мире, а хочет быть деспотом, „властителем“; что он никогда не простит декабристов... Тогда выходило, что пушкинская „надежда славы и добра“ обманывает поэта, что в будущем России предстоят не славные дни“—в роде дней Петра, а продолжение „мятежей и казней“... Выходило, что Пушкин, внушая свою программу, грозил Николаю, и это был бы лишний случай наложить на поэта какую-нибудь кару...

На этот раз дело обошлось лично для Пушкина благополучно; вероятно, подействовал тот ореол, каким (для вящего впечатления) окружил Пушкин Петра „пращура“ Николая. Но общественного эффекта не получилось: все эти осторожные внушения остались тщетными; они не могли повлиять на тупого и ограниченного, упрямого и недальновидного деспота, наивно принимавшего свое упрямство за пресловутую „твердость“ и „непреклонность“.

К необходимости амнистии декабристов Пушкин многократно возвращается в своих стихотворениях. Так, отвергая с негодовинием обвинение в том, что он льстит Николаю I („Друзьям“, 1828 г.), Пушкин, характеризуя по контрасту с собой „льстеца“, говорит: „я льстец?.. Нет, братья, льстец лукав; он горе на царя накличет; он из его державных прав одну лишь милость ограничит“. Т. е., иначе говоря, он, Пушкин, взывая к „милости“, хочет царю не горя, а добра... Дальнейшим выводом с этих слов могла бы быть мысль о готовности Пушкина ограничить все другие права царя, кроме милости.

Так, позже в „Памятнике“ Пушкин ставит себе в заслугу то, что он „милость к падшим призывал“. Так, он одобряет декабристов надеждой на свободу... Так, наконец, он пишет великолепное стихотворение („Пир Петра Великого“) для апофеоза амнистии.

„Над Невою резво вьются флаги пестрые судов... звучно с лодок раздаются песни дружные гребцов... В царском доме пир веселый; речь гостей шумна, хмельна, и Нева пальбой тяжелой далеко потрясена“.

„Что пирует царь великий в Петербурге-городке?“ спрашивает Пушкин, и высказав целый ряд предположений о важнейших государственных событиях, о семейных торжествах Петра (или их годовщинах), как о возможных причинах его радости, отвечает: „Нет, он с подданным мирится; виноватому вину отпуская, веселится; кружку пенит с ним одну. И в чело его целует, светел сердцем и лицом, и прощенье торжествует, как победу над врагом“.,.

Таким образом, Пушкин настойчиво указывает, что амнистия декабристов была бы для Николая такою же внутреннею победою, какою была для Петра в области внешней политики Полтавская победа: амнистия эта так же возвысила бы Россию и императорскую власть, как это сделала победа над Швецией, как просьба шведов о мире в

эпоху Петра... „Прощение“, „примирение с подданными“—великая политическая победа власти...

Тесно связанный и лично, и идейно с декабристами, глубоко скорбевший о постигшей их трагической судьбе и высказывавший эти свои чувства в поэтических творениях, Пушкин был для русского общества и народа ярким звеном в цепи представителей общественного протеста и живой связью между поколением 20-х годов и последующей эпохой западничества и славянофильства. Немного крупных людей, близких к декабристам, спаслось после кораблекрушения, о котором говорит Пушкин в „Арионе“... Грибоедов, ген. Ермолов, М. Ф. Орлов, да Пушкин с Чаадаевым.. Грибоедов скоро погиб; Ермолов и Орлов отошли от политической жизни, и лишь Пушкин с Чаадаевым явились центрами, около которых стало кристаллизоваться самосознание следующего поколения...

VI.

Но Пушкин осуществлял протест против старого порядка не только своей поэзией. Он протестовал против него и всей своей личной судьбой: теми гонениями, каким его подвергали власти, тою ненавистью, какую он вызывал на общественных верхах, наконец, своей страдальской смертью, своим трагическим концом, так глубоко всколыхнувшим любившую его часть русского общества. Смерть Пушкина была таким же великой важности общественным фактом, как смерть, напр., Сократа, Гуса, Джордано Бруно и др.

За последние годы издано много материалов, выпущено немало исследований, вскрывших всю тяжесть лежавшего на Пушкине полицейского гнета и всю силу ненависти и злобы, какие питали к нему „надменные потомки известной подлостью прославленных отцов“[1])...

18 февраля 1831 г. Пушкин женился на 18-летней Н. Н. Гончаровой, и через немного лет начался последний акт его жизненной драмы... Пушкин предчувствовал, предвидел его... Перед свадьбой он набрасывает прозаический отрывок, озаглавив его „с французского“—видимо, не желая прямо сказать то, что ясно всякому, кто прочтет этот отрывок: то, что он имеет автографическое значение. Там мы читаем, между прочим, следующие строки: „участь моя решена; я женюсь... Я боялся не одного отказа... Я удваиваю жизнь, и без того неполную. Счастье есть цель жизни... Теперь мне нужно его на двоих, а где мне взять его“?.

Тут характерно это „мне“... Почему он один берет на себя всю тяжесть ответственности за счастье своего брака? Где же „она“? Что она вносит в духовную сокровищницу своего супружества? Любит она его? В чем проявляется ее личность, ее душа?

И Пушкин знает и видит, что она его не любит. „Отец и мать сидели в гостинной... Позвали Наденьку; она явилась, бледная, неловкая... подала мне холодную, безответную руку... и я жених“.

Какое печальное, с позволения сказать, „об‘яснение в любви“! Какое трагическое сватовство!

Пушкин великолепно видит положение дела и, тем не менее, идет к своей цели... Почему? Трудный и сложный вопрос.

Незадолго до свадьбы он пишет матери своей невесты поразительное письмо... „Я столько имею сказать вам, и чем более мне приходится думать об этом, тем мрачнее и неутешительнее становятся осаждающие меня мысли...

... Привычка и продолжительное сближение одно могло бы развить привязанность Вашей дочери ко мне... Я надеюсь приобрести ее расположение современем; но во мне нет ничего, чем бы я мог ей

---

[1]) Краткий свод данных об отношении к Пушкину властей дан В. Максимовым-Евгеньевым в „памятке о Пушкине“ (Ленинград, 1924), в статье „Пушкин и правительственная власть“.

нравиться. В согласии ее отдать мне руку я буду видеть лишь безмолвное доказательство ее сердечного равнодушия. Но когда окружающая ее атмосфера наполнится восторгами, поклонениями и соблазнами, сохранит ли она это невозмутимое равнодушие? Молодой даме станут внушать, с видом сожаления, что лишь несчастный рок помешал ей вступить в более равный брак, в брак более ее достойный и блестящий. Может быть, искренность этих сожалений будет иногда сомнительна; но они должны представляться несомненными. Не начнет ли она тогда сама сожалеть о сделанном шаге? Не будет ли она смотреть на меня, как на помеху, как на обманщика-похитителя?. Не почувствует ли она отвращения ко мне?..“

И Пушкин кончает письмо загадочной, но в высшей степени знаменательной фразой: „Но есть еще одно опасение, которое я не решаюсь доверить бумаге“...

Что же могло быть еще более „опасного“, чем возможное разочарование будущей жены, в которую он был так влюблен?!.

Грозные предзнаменования... И действительно, через 3—4 года после замужества молодая красавица блистала на придворных балах, была окружена ухаживанием и лестью отборной светской молодежи. Из толпы поклонников ей нравился молодой красавец, француз, кавалергард бар. Дантес... Муж был некрасив; к его поэтическому гению, к его живой, отзывчивой душе жена была равнодушна... Что могло поспорить в сердце довольно ординарной молодой женщины с изяществом, ловкостью и беззастенчивой смелостью рано ставшего опытным юноши?..

Вопрос не в том, кто перед кем виноват. Пушкин много „грешил“ в данном отношении до женитьбы, грешил и после нее, и конечно, его жена, с своей стороны, имела много прав на известную свободу чувства. Была не столько «вина», сколько беда. Беда была в том, что Пушкин женился на девушке, которая его не любила; а она пошла замуж за нелюбимого человека без настоящего влечения, без горячей симпатии к великим достоинствам своего мужа.

И когда после долгих и тяжелых перипетий и страданий ревности и унижения—под свист и улюлюканье светских шалопаев и негодяев Пушкин узнал о последнем свидании его жены с Дантесом в пустой квартире Идалии Полетики, его ничто уже не могло остановить в его яростном, безумном гневе. Состоялась экспромтом, с нарушением обычно принимаемых предосторожностей, роковая дуэль, и через 3 дня после нее великого гения не стало.

VII.

Смерть Пушкина всколыхнула русское общество, как крупное политическое событие. Необычайны меры предосторожности, принятые правительством после смерти того, кого оно считало главным выразителем общественного недовольства и вождем противо-правительственной партии: запрещение похоронить Пушкина в Петербурге, тайный увоз ночью его тела с фельд-егерем в Псковскую губернию для погребения в Святогорском монастыре; дежурства соглядатаев в квартире Пушкина во время панихид, собиравших множество представителей самых различных слоев общества, ожидание жандармерией волнений и беспорядков... В известной книге Щеголева („Дуэль и смерть П.“), а также в работах А. С. Полякова («О смерти Пушкина»), Б. Л. Модзалевского и др. мы находим подробную картину смятения властей в связи со смертью и похоронами Пушкина... Смерть эта углубила ту пропасть между сознательной частью народа и властью, которая открылась во всю свою ширь через полтора—два десятка лет, к началу нового царствования.

„... До Пушкина наша литература была оранжерейным растением, утехою немногих любителей; на другой день после его смерти она— общественное явление первостепенной важности, сила, внушающая невольное уважение, сила, с которой вынуждены считаться. Литература приобретает значение единственной трибуны, с которой в словах поэтов и писателей доносятся думы и воля народа. До Пушкина на литературу смотрели свысока, то покровительствуя ей, то пренебрегая ею. После Пушкина литературы начинают бояться: ее пытаются заключить в тесные рамки, сделать вновь невинной и безвредной, какой она была в XVIII в.

„Вся история русской литературы после Пушкина—история великой борьбы, в которой литература была совершенно одинока. Под нею суровая и непреклонная государственная власть, сознательно ей не доверяющая; вокруг нее сословный общественный порядок, органически ей враждебный; под нею народная толща, ей недоступная и от нее намеренно ограждаемая несокрушимой стеной невежества и неграмотности. И тем не менее, литература делает свое дело, и скоро ее история становится неот'емлемой составной частью русской национальной истории. Русская история знает чисто литературные события, которые имели не меньше последствия, чем выигранные или проигранные сражения, дипломатические трактаты или акты внутреннего законодательства“...

Русская художественная литература есть великолепный, имевший мировой эффект пролог русской общественности, которая имеет не меньший отзвук во всех странах света, у всех народов...

К началу XX века значительная часть этой великой освободительной миссии нашей литературы уже выполнена. „Старый порядок подточен в своих идейных основах, общая программа намечена, цели указаны, друзья прославлены, враги обличены... На исторической авансцене появляются новые социальные элементы, и литературные направления могут превратиться в политические партии“...

Вся наша общественность поэтому в великом долгу перед нашей художественной литературой, и в частности перед ее источником и родоначальником—Пушкиным.

„Пушкин возвышается в начале этой новой русской литературы, как никем не превзойденный гигант. Гением Пушкина отмечены все ее великие достижения. И потому, как ни обаятельна чисто художественная прелесть его творений, для всякого культурного русского человека Пушкин—прежде всего символ общественно-исторического значения литературы, и судьба его—прижизненная и посмертная—неповторяемый пример могущества пера“.

Так говорит „Декларация о ежегодном Всероссийском чествовании памяти Пушкина в день его смерти“, принятая 24 культурными организациями Петрограда на собрании 11 февраля 1921 года. В числе этих организаций находятся Разряд изящной словесности Российской Академии Наук, Отдел народ. образов. Петросовета, Петроградское отделение Госиздата, Петроградский отдел Всероссийского союза писателей, Петроградское отделение Всероссийского союза поэтов, союз пролетарских писателей, Петроградский пролеткульт и ряд других важнейших средоточий нашей новой культуры.

Головокружительный, неожиданно быстрый темп и богатство результатов исторического развития новой России и роль в нем Пушкина акад. Н. А. Котляревский характеризует в таких словах („Пушкин и Россия“, 1922 г.). „За двести лет—такой ничтожный срок,—от Московской Руси до Третьего Интернационала и в сто лет от „Письмов-

ника“ Курганова до „Войны и мира“ и „Братьев Карамазовых“. И первый, в ком эта тайна неожиданного и необычного облеклась в человеческий образ, был Пушкин“....

VIII.

Пушкин—красотой своих творений, музыкой своего стиха, глубиной своих психолого-эстетических прозрений, широтой и трезвостью своей мысли,—был великим учителем жизни для всего русского народа. Красота его творений делала их доступными и непосредственно интересными для всех и каждого и пролагала путь к пониманию, к сочувственному переживанию и оценке всего великого умственного богатства этой блестяще одаренной личности. И это общение с великим умом, с великой душой в корне меняло строй каждой личности, обогащало и возвышало ее. Становясь любимым писателем, предметом любовного изучения и образцом для подражания, Пушкин вел за собой всех, кто им интересовался, по широкой дороге сознатального отношения к жизни. И если потом жизнь вкладывала в людей новое содержание, то несомненно, что сама форма сознательности, атмосфера духовной восприимчивости, утончение психики, без которого невозможно было и новое содержание, в значительной степени созданы Пушкным—сочувственным переживанием его творчества, внушенной им высокой оценкой красоты жизни и преданностью ее высшим благам.

Пушкин принадлежит всему миру: он один из тех мировых гениев, которым гордится все человечество. Поэтому, будучи русским (великороссом), он не чужд никакой другой нации, и в частности братскому белорусскому народу.

Помянем же и мы благоговейно великого творца, столь много сделавшего для того, чтобы освободить Россию от властной опеки царского режима, поднявшего у нас человеческую личность вообще. И возьмем от него все то светлое и доброе, что вечно в его творчестве, что не умерло и никогда не умрет, пока люди будут жить и мыслить, любить и страдать.

Будем воспринимать уроки его творчества и его жизни не пассивно, не бессознательно, а активно и творчески. Наполним нашу жизнь новым, современным содержанием. Но будем ценить у великого гения самое главное—способность живо и ярко, в прекрасных формах жить современной жизнью, воспримем эту высокую культурную традицию в свое жизнепонимание.

Пушкин велик и вечной, безотносительной к моменту красотой своих творений. Он велик и в исторической перспективе, как одно из самых могучих звеньев в развитии русской культуры, русской общественности. Но он велик и как высокий образец мужественного служения общественным задачам эпохи. Будем служить нашей эпохе; но пожелаем всем служить ей так же честно, стойко и твердо, так же красиво, так же благородно и культурно, так же исторически действенно, как служил он...

Возьмем его за образец исторически-необходимого подвига и искупляющего страдания и сохраним навеки и передадим всем дальнейшим поколениям драгоценную память о нем!..

Восіп Воўк-Левановіч.

Гістарычнае вывучэньне беларускай мовы ў славянскай філёлёгіі.

(Гістарычна—мэтодолёгічны нарыс).

I.

У моц гістарычных абставін беларуская мова, як і наогул беларуская культура, нарадзіўшыся ў параўнальна далёкім мінулым (каля XIII-XIV ст.), як паасобныя мова й культура, прымушаны былі на ўсім працягу свайго гістарычнага разьвіцьця падлягаць, пачынаючы ад часу княжэньня Ягайлы, то пад культурны уплыў заходняга суседа—польскай мовы, то пад культурны ўплыў усходняга суседа—мовы велікарускай, з якой мела й мае адзіную аснову—фонэтычную. Пад уплыў расійскай мовы беларуская мова падлягае толькі пасьля падзелаў Польшчы. У выніку гэтага гістарычнае вывучэньне беларускай мовы па сутнасьці павінна было-б пачацца ў заходніх нашых суседзяў—палякаў, пад культурным і політычным уплывам якіх наша бацькаўшчына знаходзілася значна вялікшы пэрыод часу. Аднак мы заўважаем адваротнае, якраз, што беларуская мова—як у жывым сваім складзе, гэтак, асабліва, і ў гістарычным асьвятленьні—адтрымлівае навуковую апрацоўку, знаходзячыся пад расійскім культурна-політычным уплывам. Тлумачыцца гэта як агульна гістарычным лёсам Беларусі, гэтак і, галоўным чынам, гістарычным лёсам разьвіцьця самой гістарычнай навукі аб мове наогул і паасобку ў Расіі. У Расіі, з культурным і політычным лёсам якой асабліва цесна зьвязаўся лёс Беларусі ад 60-х г. г. мінуўшага стал., якраз, можна лічыць, каля гэтага часу азначаюцца тыя шляхі, якімі пасьля разьвіваўся расійскае мовазнаўства. Да гэтага-ж ні ў Расіі, ні ў Польшчы дапраўднага гістарычнага вывучэньня моўных зьявішч (у нашым сучасным сэнсе) ня было. Адбываліся, праўда, паасобныя спрабы запісаў і характарыстыкі жывых беларускіх гутарак як з боку польскіх, гэтак і расійскіх вучоных і пісьменьнікаў. Гэтак ужо у канцы XVIII ст. выйшла першае апісаньне аднэй мясцовасьці Магілёўскай губ. з характарыстыкай з боку звычаяў і мовы[1]). Затым усю першую палову XIX ст. зьяўляюцца этнографічныя артыкулы й нават цэлыя зборнікі, прысьвечаныя беларускай мове, на польскай, чэскай, нямецкай і рускай мовах (Сам. Богуміл Ліндэ, Голэмбіоўскі, Рыпіньскі, Чэчат, Баршчэўскі, Тышкевіч, Надеждін, Шафарык і інш.). З іх трэба адзначыць водзыў аб беларускай мове Самуіла-Багуміла Ліндэ, які лічыў яе—„tak bardzo do polszczyzny zbliżony dyalekt“ (Pam. Warszawski 1815-16; вынятка з „Вестника Европы“ 1816 г., XC, 110-136, 230-244).

---

1) Андрей Мейер: „Описание Кричевск. графства“ 1786 г. надрукавана Е. Романовым у зборніку „Магілеўская Старына“ (выпуск II—1901 г.).

У другім сваім творы—O statucie litewskim, ruskim językiem i drukiem wydanym. W Warszawie. 1816—Ліндэ даводзіць, што белар. мова бліжэй к польскай, чым к велікарускай мове, і што Літоўскі Статут напісан *польскай* мовай, а рускія словы ў ім заносныя. Аднак, каб давесьці гэта, яму прыходзіцца прыводзіць доўгія пералічэньні „няпольскіх" слоў, якія маюцца ў Статуце, з агаворкай што гэта яшчэ ня ўсё, і афяраваць цэлых 8 старонак паказаньню рыс адрозьненьня паміж моваю Статуту і польскай мовай. Разьбіраючы гэтае зданьне С. Ліндэ, ак. Е. Ф. Карскі лічыць яго памылковым і правільна заўважае, што характар мовы і магчымасьць адносіць яе да тэй ці іншай групы моў азначаюцца ня столькі слоўнікавым яе складам, колькі асаблівасьцямі фонэтыкі і морфолёгіі яе. Па гэтых-жа асаблівасьцях, як мы ўбачым далей, беларуская мова належыць да групы ўсходня-славянскіх (рускіх) моў. Што-ж датыч. слоўніка, дык усе славянскія мовы паміж сабой у гэтых адносінах маюць многа агульнага, і агульнасьці многіх польскіх і беларускіх слоў яшчэ далёка не даволі для давядзеньня грунтоўнага адзінства гэтых моў.[1]) Але да 40-х г. г. мінуўшага сталецьця, ня толькі ня можа быць гутаркі аб гістарычным вывучэньні нашай мовы, але няма нават пэўнага погляду на яе, як на мову наогул. Да гэтага сустракаюцца проста сьмешныя й дзіўныя азначэньні беларускай мовы і радам даволі правільныя, сур'ёзныя погляды, адводзячыя ёй ўжо належнае месца ў коле вывучэньня якраз ўсходня-славянск. (рускіх) гутарак (Дм. Ив. Языкоў, Максімовіч, Надзеждзін, Кушын). Першы з памянёных (Языкоў) нават кажа: „Настоящий язык белорусский есть весьма любопытный памятник, который наши ученые должны тщательно изучать потому, что он многое об'ясняет в русских летописях и филологии нашего языка: (его) можно назвать отцом великороссийскому наречию. Это, вероятно, тот самый язык, которым говорили в Пскове и Новгороде при Варягах. Устраненный благовременно от влияния монголизма и доселе не испытавший воздействия великороссийского наречия, он сохранил во многих отношениях свой старинный вид и характер и менее претерпел от формы польского языка, нежели думают.[2]) Надзеждзін і Шафарык[3]) ужо ўпаўне азначаюць месца беларускай мовы, як аднэй з галаўнейшых дыалектычыых адзінак усходняславянскай (рускай) моўнай галіны. У выніку гэтага, а таксама таго, што ў далейшым якраз у расійскім мовазнаўстве беларуская мова атрымала найвялікшую навуковую распрацоўку, нам і прыдзецца наш агляд весьці, галоўным чынам, у межах расійскай гістарычнай навукі аб мове. Вышэй прыведзеныя азначэньні белар. мовы і яе месца сярод іншых усх.-слав. моў, зьяўляліся толькі поглядамі, якія не маглі быць навукова пацьверджаны ў выніку агульнага становішча расійскага мовазнаўства ў гэтым пэрыодзе, якое да 40-х г. г. можна характарызаваць, як дылетанскае. Гістарычны мэтод тагды яшчэ зусім не істнаваў, у агульным-жа й параўнальным мовазнаўстве таксама яшчэ ня было выпрацавана пэўнай сыстэматычнасьці, дакладнасьці й пераймальнасьці мэтодаў дасьледваньня гэтак, што такія выдатныя вучоныя ў гэтай галіне, як Вастокаў, зьяўляліся, па сутнасьці, адзіночкамі на агульным фоне хаотычнасьці. Дылетанты-мовазнаўцы коўзаліся па паверхні моўнага матар'ялу, вылаўлюючы з яго выпадковыя факты і будуючы з іх кожны па свайму густу вялізныя гіпотэзы, якім, па большасьці, ніколі ня суджана было стаць даведзеным. Гісторыя расійскага мовазнаўства поўна падчас вельмі сьмешных тлумачэньняў фонэтычнага і этымолёгічнага пахаджэнь-

---

[1]) Гл. Е. Ф. Карский. „Белоруссы", I, 407—408 стр.

[2]) Цыт. з Е. Ф. Карскага „Белоруссы" т. 1 стр. 209.

[3]) Надеждин: „Mundarten der Russischen Sprache" ў Jahrbücher der Litteratur. Wien. 1841.—Рэцэнзія на працу Копітара; Пав. Іосіф Шафарык: „Slowansky Narodopis. W Praze. 1842.

ня моўных зьявішч з даданьнем ня менш сьмешных вестак аб іх гістарычным пахаджэньні. Гэткімі тлумачэньнямі поўны працы гэткіх мовазнаўцаў таго часу, як Шышкоў і інш. Ад гэткіх кур'ёзаў не свабодзен нават Вастакоў. Аднак перайманьне з Захаду, хоць і з значным, як заўсёды, спазьненьнем, ідэй Шлегеля, Боппа, Як. Грымма і Гумбольдта, ужо ў 40-х г. г. пачынае аказвацца і ў Расіі. Працы Шафарыка, Караджыча, Копітара і, галоўн. чынам, Міклошыча[1]), прасякнутыя новымі ідэямі і накіроўваючыяся новымі мэтодомі, закладаюць падваліну для гісторыі славянскіх моў.

Ад ідэй агульнага й параўнальнага мовазнаўства, захоплюваючага шырокія моўныя палі (сям'я індо-эўроп. моў) навука паступова спускаецца да больш дробных падзелаў на галіны ўплоць да паасобных моў. Паступова даходзяць да думкі аб неабходнасьці параўнальнага вывучэньня ня толькі літэратурных моў, але і іх дыялектаў. Але параўнальны мэтад вёў за сабою ўжо й гістарычны, спачатку ў дапасаваньні да ўстанаўленьня форм індо-эўропэйскай першамовы („Compendium" Шлейхера), а затым і ў вадносінах да паасобных моў (Я. Грымм: „Deutsche Grammatik" 1819 г.). Параўнальна-гістарычны мэтод ужо разглядае паасобныя мовы ня толькі ў адносінах іх паміж сабою, але такসама, і пераважна, у адносінах тых зьмен, якія адбываліся ў кожнай з іх з плыньню часу ў гістарычныя, г. зн. засьведчаныя пісоўнымі помнікамі, эпохі іх існаваньня. Гэткім чынам, параўнальны мэтод ставіцца ўжо ў гістарычную роўніцу. У гэтай галіне лінгвістычных дасьледваньняў мы павінны пачаць з Вастокава, які сваімі пільнымі й дакладнымі дасьледваньнямі і апісаньнямі рукапісаў паклаў у Расіі пачатак ня толькі палеографіі, гэтай уводзіне ў гісторыю мовы, але й славяна-рускай філёлёгіі. У сваіх працах („Филологические наблюдения") ён азначыў адвечную розьніцу паміж стараж.-слав. і рускай мовамі, устанавіў галаўнейшыя адзнакі рускай мовы, па якіх яе можна пазнаць у стар. рукапісах; пры гэтым ён азначыў ня толькі агульнарускія рысы, але й беларускія, украінскія й „паўночна-рускія". Вастокаў, гэтк. чын., прыгатаваў шлях, якім ужо пашлі дасьледчыкі *гісторыі рускай мовы*. Першым гэткім дасьледчыкам быв Ф. І. Буслаеў, першы скарыстаўшы, па слов. А. А. Шахматава, матар'ял Вастокава „для основания великого здания, теперь еще далеко не достроенного, по мысли основателя широко раскинувшегося на заложенном фундаменте"[2]). Буслаеў напісаў „Опыт исторической грамматики русского языка" ў 1858 г., опыт няўдалы. У яго ўпершае ў „Исторической хрестоматии"[3]) надрукованы (з нязначнымі адхіленьнямі ад орыгіналу) і адрыўкі з перакладаў Скарыны на беларускую мову, з гэткай увагай: „В языке этого перевода библейских книг видим образец беларусского наречия начала XVI века. В грамматическом отношении это наречие, в предложенных текстах, ничем существенно не отличается от великорусского, но предлагает много особенных речений для словаря, частию местных, частию заимствованных из языка польского" (202)[4]). Адзначна ад мовы беларускай, мову кіеўскіх вучоных, церазьліш напоўненую полёнізмамі ён заве „языком польска-рускім".

Упершае ясна паказана карысьць гістарычнага вывучэньня мовы і паказаны яго падставы ў І. І. Сразнеўскага ў яго „Мыслях об истории русского языка"[5]). У гэтай працы паказваюцца шляхі строга-мэтодолёгічнага, гістарычнага вывучэньня рускай мовы. У галіне гістарычнай фонэтыкі, побач з палеографіей, Сразьнеўскі ставіць ужо дыялекто-

---

[1]) „Vergleichende Grammatik der Slavischen Sprachen". Wien, 1852-1874 г. г.

[2]) Гл. артык. Д. Ушакова „А. А. Шахматов, — историк русского языка" в т. XXV „Изв. Отд. русск. языка и словестности" за 1920 г. ст. 225 і наступн.

[3]) Ф. И. Буслаев „Историческая хрестоматия". Москва. 1861 г.

[4]) Цыт. з Е. Ф. Карскага „Белоруссы" т. 1 ст. 411.

[5]) Пер. выд. 1850 г., 2-е 1887 г.

лёгію. Але гісторыі рускай мовы, у дапраўдным значэньні гэтага слова, Сразьнеўскі тут яшчэ не дае, абрысоўваючы толькі некаторыя галоўныя этапы разьвіцьця рускай мовы. Датыкаецца ён тут і беларускай мовы, азначаючы яе, як падгутарку вялікарускай, адзінй адзначнай рысай якой ад велікарускай зьяўляецца, як ён кажа, нейкае „цьвяканье“ [1]) іншыя адзначныя рысы беларускай мовы, як г (h) фрыкатыўнае (працягляе), кароткае у (ў) і г. пад., Сразьнеўскі ня лічыць ўласьцівымі выключна беларускай мове, бо знаходзіць іх і ў велікарускіх гутарках. Аднак наогул ён ужо выказвае зусім правільны погляд на значэньне гістарычнага вывучэньня беларускай мовы ў наступных сваіх словах: „Белорусское наречие цринадлежит к числу самых важных местных видоизменений русского народного языка. Оно важно по своим особенностям, по остаткам древности в составе; оно важно и по обширности пространства, на котором господствует, как язык народный... Исследователи исторические не могут не обратить на него внимания столько-же, как и филологи, и, конечно, найдут в нем немало драгоценных указаний для своих соображений“. [2]) З наступных дасьледчыкаў П. Лаўроўскі пры пашырэньні палеографічных назіраньняў дапасоўвае дыалектолёгічны прынцып, клясыфікуючы орфографічныя адзнакі паўночна-рускіх летапісаў згодна з паказаньнямі жывых говараў паўночна-вялікаруск. гутаркі, між тым як Коласаў імкнецца да хронолёгічнай клясыфікацыі графічных віхаХньняў выданых рукапісаў без азначэньня дыалектычных падзелаў, з тэй прычыны, што наогул ухіляўся супастаўленьняў з фактамі жывой гутаркі, ня бачачы ў гэтым (па ўласн. словах) карысьці [3]). Пасьля спробы М. П. Пагодзіна давесьці старую ідэю нашых дылетантаў аб тым, што руская мова і старажытна-славянская (царкоўная) адно і тое самае [4]), маем у 1858 г. ужо памянёны няўдалы „Опыт историч. грам. русск. языка“ Буслаева. Уласна ў сваіх працах Буслаеў меў на увазе, галоўным чынам, мэты-культурна-гістарычных пабудоў на падставе даных гісторыі мовы, чым у будучым будзе гэтак выдавацца акад. А. А. Шахматаў. Гэткім чынам даволі бясплодна, у сэнсе прыданьня большай дакладнасьці мэтодам вывучэньня гістарычнай фонэтыкі, праходзяць цэлых 14 лет, ад зьяўленьня вельмі каштоўнага дасьледваньня П. Лаўроўскага „О языке сев.-русских летописей“ (1852 г.) да зьяўленьня наступнай каштоўнай працы— А. А. Потебні „Два исследования о звуках русского языка. О полногласии и о звуковых особенностях русских наречий“. Воронеж 1866 г. Працы Потебні па гістор. мовы гэта першая спроба такога дасьледваньня, у грунт якога пакладзены жывыя народныя гутаркі. Ён прыцягвае да параўнальн. вывучэньня беларускую і украінскую мовы, і з гэтага справядліва лічыцца пачынальнікам рускай дыалектолёгіі; ён жа першы выпрацаваў прадстаўленьне аб агульна-рускай мове. Яго праца „К истории звуков русского языка“ ўжо ёсьць гістарычная фонэтыка рускай мовы. Вянцом-жа ўсёй яго чынансьці, як лінгвісты, зьяўляецца праца „Из записок по русской грамтатике“—самае выдатнае, што толькі мы маем па гіст. рускай мовы. Потебня, па слов. В. Вінаградава (гл. вынаску 3-ю) зьяўляецца „двулікім Янусом“ русского языкознания, ибо стоит на грани биологического и психологического направления“ ў ім. У зьмесьце нашай навукі да яго, па сутнасьці, назіраецца падзел на гістарычную графіку, з аднаго боку, і дыалектолёгію без гістарычн.

[1]) Тэрмін, запазычаны у В. К. Трэдзякоўскага, які ўжываў яго ў аднос. Пскоўскага „Цоканьня“.

[2]) И. И. Срезневский. „XXXIV присуждение Демидовских наград“ (гл. Е. Карскага „Белоруссы“, I—82). Гл. таксама яго „Мысли“ СПБ 1887, стр. 35-36.

[3]) Гл. яго „Очерк .ист. звук. и форм русского языка“ 8—9 стр., гл. Вінаградаў: „Методы изуч. рукописей А. А. Шахматова“ ў „Изв. отд. русск. языка и слов. Акад. наук.“ т. XXV (стр. 172 і наст.).

[4]) „Записка о древнем языке русском“—1856 г.

глебы, з другога, якія неяк ухіляюцца ад аб'яднаньня. І толькі Потебня ў памянёнай працы выступае прыхільнікам органічнага злучэньня гэтых дзьвёх, павінных узаемна дапаўняць адна другую, галін—для пабудовы дапраўднай гістарычнай фонэтыкі рускай мовы. Ён ужо заяўляе, што „разделение русск. языка древнее XI в., и вся история его, основанная на свидетельствах памятников, имеет диалектологический характер и есть история русских наречий“. Вот тое мэтодолёгічнае насеньне, якое дасьць у будучым пышныя ўзыходы і на ніве гістарычнага вывучэньня беларускай мовы. Праўда, у сваёй навуковай практыцы П. робіць і памылкі, напр., хоць-бы ў адносінах да той-жа беларускай мовы. Гэтак у памянёнай працы—„Два исследования“—ён (на стар. 71—73) разглядае асаблівасьці некаторых беларускіх гутарак і пры гэтым згаджаецца з думкай Сразьнеўскага,што—„в Белорусском нет ни одной звуковой черты, которая бы не повторилась где нибудь в Великой России“. Лічачы белар. мову часткай паўднёва-вялікар. гутаркі[1]) усе яе рысы, адзначныя ад вялікарускай і украінскай, ён тлумачыць запазычаньнем.

Вось усё, што мы знаходзім за гэтыя гады ў працах найбольш выдатных творцаў гісторыі рускай мовы адносна. белар. мовы. Наогулжа памінаньні аб беларускай мове, одзывы і нават нарысы сустракаем шмат у каго з вучоных, пачынаючы ад Францышка Скарыны, пры чым, тут для нас прадстаўляе цікавасьць самая назва мовы. Да XVIII ст. ў Літоўска-беларускай дзяржаве наогул ня ўжываецца тэрмін „Беларусь, беларускі“, але называецца нашая мова рускай, альбо „літоўскай“. Упершае пачынаюць ужываць гэты тэрмін якраз, здаецца, чужаземцы, а ня самі нашыя продкі[2]). Некаторыя польскія пісьменьнікі проста адносяць белар. мову да польскай (ср. Сам. Богуміл Ліндэ „O literatur. Rosyjskiej“). Большасьць жа вучоных польскіх першай паловы XIX ст. называлі нашу старую мову „крывіцкай“ альбо „крывічанскім“ дыялектам, вачавідна прылічваючы яго, падобна да Ліндэ, да польскай мовы. (Ярашэвіч—„Obraz Litwy“, Narbut „Historya nar. litewsk“ t. III; Рогальскі—„Encycl. Powsz“. Чэчат „Pieśni...“). Ельскі і Вішнеўскі лічаць беларускую мову „jezykiem samorodnym. a raczej wyrobionym z pierwotnej slowianskiej gwary“[3])

Гэткі погляд не перашкодзіў, аднак, Вішнеўскаму прылічыць стар. беларускую літаратуру да польскай літарат. (ср. Карскі „Белоруссы“, т. I ст. 410). Называлі нашую мову й літоўска-рускай (Кеппен)[4]) і зусім адмаўлялі існаваньне яе, як мовы літаратурнай у граматах і кнігах старога друку, лічачы гэтую мову „за самую отвратительную смесь, какую только можно себе представить и какая когда-либо существовала на Руси, которой никто никогда не говорил и не говорит“ (О. М. Бодянскій „О поисках моих в Познанск. библиотеке“ и Головацкий в ст. „Несколько слов о библии Скорины“—Навуковы сборник 1865 года).

---

[1]) А. А. Потебня. „Два исследования о звуках русскаго языка“—стар. 52.

[2]) Гл. акад. В. И. Ламанский у „Жыв. стар.“ 1891 г. отд. III ст. 245, дзе прыводзяцца гісторычныя пасьведчаньні таго, што гэты тэрмін сустракаецца ў немцаў і палякаў ужо ў XIV ст. (Параўн, Е. Ф. Карскага „Белоруссы, т. I).

[3]) Mich. Wiszniewski. „Historya Literatury polskiej,“ t. VIII, 460: „Z czterech dyalektów, któremi w owczasnej Polsce mówiono, jezyk bialoruski najbardziej zbliża się do polskiego; wszakże niepowstał bynajmniej z mieszaniny (461) Słowiańskiego, ruskiego i polskiego, a tem mniej łacińskiego, jak mylnie twierdzi Sopików; lecz jest samorodny, równie jak język rosyjski; a jako język rosyjski ulegl wpływowi tatarskiego, w czasie panowania Tatarów... podobnież język bialoruski coraz więncej przybierał w siebie polszczyzny od czasu, jak Bialoruś z Polską złączyła się.

[4]) Неабходна памянуць яшчэ, што *Міклошыч*, мусібыць, лічыць белар. мову за частку украінскай, бо ў сваёй „Wergleichende Grammatik“ разглядае дадзеныя беларуск. говараў разам з говар. украінскімі. Таксама глядзіць і *Аганоўскі* ў „Studien auf dem Gebiete der Ruthenischen Sprache“ 20—21.

II.

Спэцыяльныя дасьледаваньні па гісторыі беларускай мовы пачынаюцца толькі з 80-х г. г. Але, перш чым перайсьці да агляду навуковых прац па гістарычнаму вывучэньню беларуск. мовы, мы павінны спыніцца на тых дасягненьнях, якія прыносяць з сабой 70-ыя альбо лепш 80-ыя г. г., у мэтодолёгію рускага гістарычнага мовазнаўства наогул. У палове 70-х г. пачаў сваю навуковую дзейнасьць у Маскоўскім Унівэрсітэце выдатны рускі лінгвіста Ф. Ф. Фортунатаў, настаўнік знаямітага пасьля акадэміка А. А. Шахматава па параўнальнаму мовазнаўству; пільна вывучаючы індо-эўропэйскія мовы, Ф. з асаблівай увагай вывучаў стар.-славянскую й літоўскую мовы, імкнучыся аднавіць пры дапамозе параўнальнага мэтоду малюнак першаславянскай мовы. Вось як кажа аб Фортунатаве Шахматаў: „Фортунатов самым ярким светом осветил звуковой состав обще-славянского языка; исследователь истории русского языка смело начнет изложение этой истории: в настоящем ему известны конечные результаты, к которым пришел русский язык в своих наречиях в вековом своем развитии; в прошедшем, благодаря Фортунатову, он обладает не менее положительными знаниями; процесс выделения русского языка из общеславянского, доисторические явления, пережитыя языком,—все это раз‘яснено, обосновано, доказано и притом так, как это умеет один Фортунатов“. „В дальнейшем изложении своего предмета историк русского языка не собьется с пути, не запутается в фактическом богатстве, которое раскроют памятники; у него будет надежный руководитель: методы, приемы исследования, строгая критика, способность отвлечения,—все это может передаться тому, кто пожелает поучиться у Фортунатова“. Гэткае значэньне дасягненьняў Фартунатава для гісторыі рускай мовы. Аднак з вышаўшых у хуткім часе на арэну гістарычнага вывучэньня рускай мовы трох тітанаў нашай навукі, *акадэмікаў А. И. Сабалеўскага, Е. Ф. Карскага і А. А. Шахматава*, толькі апошні зьявіўся поўным пасьлядоўнікам Фартунатава, далёка выперадзіўшым свайго вучыцеля, калі не заўсёды ў дакладнасьці і ў давядзеньні сваіх пабудоў, дык ва ўсякім разе ў нязвычайнай здольнасьці адцягненьня. Тут якраз будзе к месцу спыніцца на мэтодах памянёных трох вучоных, г. як яны стварылі ў сутнасьці дзьве розныя мэтодолёгічныя школы ў гісторыі рускай мовы; а гэтак як імі сказана зараз апошняе слова ў нашай навуцы, дык характарыстыка іх мэтодаў будзе, па сутнасьці, харáктарыстыкай мэтодаў сучаснага рускага гістарычнага мовазнаўства. Што-ж аб‘ядноае гэтых трох стаўпоў нашага мовазнаўства? Аб‘яднае іх імкненьне пабудаваць тую будыніну, падваліна для якой была ўжо часткова закладзена папярэднікамі іх, будынку гысторыі рускай мовы. Аднак прыёмы іх пры гэтым і адносіны да матар‘ялу зусім розныя. У той час як Сабалеўскі і Карскі стаяць на строга фактычным груньце, акад. Шахматаў з вялікай ахвотай прыбягае да пабудоў гіпотэтычнага характару. Наколькі сьмелыя гэтыя пабудовы,—кажа першая частка задуманага ім пашыранага курсу гісторыі рускай мовы—„Очерка древнейшего периода истории русского языка“—СПБ 1915 г.[1]), якая прадстаўляе гістарычную фонэтыку ня толькі стараж.-рускай мовы да моманту аканчальнага распаду яе на гутаркі, але й мовы—першаславянскай і першарускай. Ужо сама знадворнасьць працы кажа аб асаблівасьцях зьместу; гэтак з 355 стар. даволі дробн. друку, у памянёнай працы добрая палова адвезена фонэтыцы першаславянскай і першарускай, г. зн. галінам з найбольш гіпотэтычным і адцягненым зьместам... Як заўсёды бывае, на першых кроках сваёй навуковай чыннасьці *акад. А. А. Шахматаў* насьлядуе мэтодам сваіх папярэднікаў

[1]) У „Энцикл. Слав. филол.“ I, вып. 11...

(Вастокава, Сразьнеўскага, Ягіча) у справе непасрэднага вывучэньня рукапісных тэкстаў і дакладнага іх выданьня з захаваньнем усіх асаблівасьцяў орыгіналу. У першай сваёй значнай працы „Beiträge zur Russische Sprache“, ён, карыстаючыся багатым рукапісным матар'ялам, ідзе ўжо па шляху, паказанаму Потебнею, імкнучыся знайсьці „отражение диалектических делений русской языковой территории в древнейших текстах“[1]). Аднак у мэтодах дасьледваньня самых фонэтычных зьявішч ён яшчэ йдзе па сьлядох орфографічнай школы (Коласава, Лаўроўскага). Але, пачынаючы з наступнай за памянёнай працы—„Исследование о языке Новгородских грамот“, Ш. адмаўляецца ад прынцыпаў старой школы. Тут ён ужо высоўвае пытаньне аб пабудаваньні гістарычнай фонэтыкі цераз адцягненьне (пры дапамозе дыалектолёгічных даных) гукавых зьявішч ад графікі старажытных памятнікаў мовы, бо яго ўжо не здавальняюць тыя няпэўныя вывады адносна гукавога малюнку стар.-рускай мовы, якую ён знаходзіць у ак. А. И. Сабалеўскага, як вынік няздольнасьці апошняга адвязацца ад графічных прадстаўленьняў у гэтым пытаньні, якой адрозьнівалася старая школа. Застаючыся прывязаным да фактаў памятнікаў, Ш. натуральна пачуваў сябе няздольным намаляваць вялізны, поўны малюнак разьвіцьця рускай мовы, на ўсім працягу яе гісторыі, што зьяўлялася мэтай яго жыцьця. І вось, з мэтай найбольш поўна й праўдападобна ўстанавіць гукавы малюнак стараж.-рускай мовы, Ш. прыбягае к дакладнаму аналізу пелеографічнага матар'ялу з мэтай хронолёгічнага рязьмеркаваньня яго, вывучае школы пісьма, бачачы ў гэтым сродак да азначэньня гукавога значэньня літар. На падставе гэтага аналізу ён устанаўляе жывую гутарку старажытных пісароў пры гэтым робіць гэта з зьдзіўляючай нас паўнатой. Маючы на увазе штучнасьць і традыцыйнасьць старажытнага правапісу, як вынік уплыву—1) стар.-рускай мовы самага далёкага мінулага з аднага боку і 2) царк.-славянскай мовы з другога—Ш. высоўвае глыбока-абаснаванае паказаньне (якое, праўда, ужо рабіў і Сразьнеўскі) на розную каштоўнасьць для фонэтычных вывадаў памятнікаў царкоўных і сьвецкага зьместу і пахаджэньня. У выніку гэтага меркаваньня Ш. прыходзіць к вываду аб неабходнасьці розных мэтодолёгічных прыёмаў пры дасьледваньнях рукапісаў з XI да XIII ст., як адбіваючых на сабе найбольш уплыў царкоўнага вымаўленьня, і рукапісаў XIУ і пачатку XУ ст. Гэтага пагляду на памятнікі руск. пісоўнасьці ўслед за Ш. прытрымліваюцца яго пасьлядоўнікі (Г. Ильінскі, Будде, Ляпуноў, Щэпкін і інш.); іменна яны лічаць больш-менш надзейным матар'ялам для фонэтычных пабудоў—памятнікі грамадзянск. (сьвецк.) зьместу, бо ў іх яны бачаць некаторую гарантыю для вернасьці вывадаў—у большай вытрыманасьці іх правапісу. Маючы на увазе гэта, царкоўным памятнікам памянёныя вучоныя дадаюць меншае значэньне, чым грамадзянскім. Іншага пагляду на гэты прадмет прытрымліваюцца гэткія вучоныя, як А. И. Сабалеўскі, Е. Ф. Карскі, С. Кульбакін, Н. М. Карынскі і інш.; іменна яны лічаць тыя і другія памятнікі зусім роўнакаштоўнымі, а ў некатор. выпадках, дык нават царкоўныя лічаць каштаўнейшымі. Гэта адна з галаўнейшых разьбежнасьцяй у мэтодолёгічных поглядах дзьвёх школ у нашай сучаснай лігвістычнай навуцы: школы А. И. Сабалеўскага-Карскага і школы Фартунатава-Шахматава.

Прадстаўнікі першай школы ня імкнуцца да падробнага аднаўленьня гукавога складу той ці іншай старaж. гутаркі, клапатліва і уважліва адносячыся, між тым, да фонэтычных тлумачэньняў паасобных адхіленьняу ад традыцыйнай графікі. А. А. Шахм-в наадварот знаходзіць, што не даволі толькі адзначыць гэтыя адхіленьні й падвесьці іх пад пэўную рубрыку. Неабходна іх клясыфікаваць згодна

[1]) Гл. зноску 3-ю на стр. 101.

з паказаньнямі жывых сучасных гутарак. Для таго, каб ня прыняць паказаньняў чыста оформграфічнага характару за фонэтычныя зьявы, Ш. прапануе прыбягаць да статыстычнага спосабу, дакладна падлічваючы ўсе выпадкі заўважанага адхіленьня, пры чым ясьней азначаецца тагды выпадковасьць, альбо фонэтычныя прырода заўважанага зьявішча. Апрача небясьпекі мешаніны розных літараў з адрозьненьнем гукаў істнуе для дасьледчыка і процілежная небяспека: не заўважыць адрозьненасьць гукаў за тоесамасьцю літаральнага абазначэньня, што цягне за сабой неправільнае, па сутнасьці, аднясеньне гукавых зьмен да тых ці іншых хронолёгічных эпох на падставе толькі графічных абазначэньняў. Школа Сабалеўскага даволі някрытычна адносіцца да паказаньняў у гэтым сэнсе, і А. И. Сабалеўскі, напр., спакойна дастасоўвае зьяўленьне аканьня да XIУ ст. „А между тем"—кажа Шахматаў у рэцэнзіі на працу Зяленіна [1])—„связь южно-великорусского и белорусского аканья ведет неминуемо к утверждению, что это явление более древнее". (Асабліва рэльефна паказаў Ш., наколькі ненадзейны вывады, грунтуючыяся выключна на паказаньнях помнікаў, пры разглядзе зданьня памянёнага праф. Зяленіна аб пашырэньні мягкага „К"). У сваей рэцэнзіі на працу Гэбаўэра (Гіст. граматыка чэшск. мовы). Ш. кажа: „Письменные памятники не всегда дают надежный материал для определения звукового состава минувших эпох; действительно, преемственность письма, книжного языка, да и самой литературы, неминуемо ведет за собою перенесение из одной литературной эпохи в другую звуков и форм давно исчезнувших в языке, чуждых живому произношению. Поэтому определять эпохи на основании данных, извлеченных из письменных памятников, очень трудно и не-надежно". І далей—„Главный источник, откуда извлекается надежнейший и важнейший материал для исторической грамматики,—это, конечно, современные живые говоры". Шахмятаў і яго пасьледвацелі (Щэпкін, Ляпуноў) лічаць, што для правільных вывадаў ноабходна вывучаць помнік на ўсім яго працягу, а не выхватваць паасобныя факты з розных помнікаў, „ибо"—як кажа проф. Ляпуноў у сваім адказе на рэцэнзію Сабалеўскага—„отдельные случаи, будучи вырваны из текста, обусловливающего их значение, никоим образом не могут поколебать вывода, сделанного на основании изучения хотя-бы одного памятника, т. к. одно и тоже написание одной и той же формы в разных памятниках может иметь разное значение". [2]) Ш., аднак, ня лічыў даволі аднаго інтэнсіўнага мэтаду вывучэньня памятнікаў. Ён лічыць неабходным аб'яднаньне інтэнсіўнага і экстэнсіўнага мэтадаў з данымі дыялёктолёгіі й гісторыі бліжэйшых родных моў (што можа весьці да адкрыцьця новых старон у разьвіцьці фонэтычных зьявішч, напр. лёсу глухіх). Не ставячы сабе мэтай даць вычэрпваючую характарыстыку ўсіх мэтодаў дасьледваньня гістарычных зьявішч мовы, якімі ўзбагаціў нашую навуку гэніяльны мовазнаўца (Шахм.), я лічу што і разгледжаных даволі, каб паказаць наогул тыя карысныя дэталі, якімі ён папоўніў мэтодолёгію нашай дысцыпліны. Пры гэтым патрэбна, аднак, адзначыць, што пры ўсёй той клапатлівасьці аб дакладнасьці сваіх вывадаў і аб бяспрыменнай знаходцы фонэтычных падстаў таго ці іншага зьявішча, не абмяжоўваючыся ссылкай, напр., на аналогію (да якіх тлумачэньняў Ш. наогул рэдка прыбягаў), Ш. усётакі імкнуўся да церазліш шырокіх абагульненьняў. Захоп яго творчай фантазіі быў нязвычайна шырокім, аб чым сьведчаць, напр., яго пабудовы гістарычнага характару, грунтуючыяся на лінгвістычных даных („О происхожден. рус. племен и народностей"), не кажучы ўжо аб тых дэталь-

1) Д. К. Зеленин. „Великорусские говоры с неорганическим и непереходным смягчением".

2) Гл. „Журн. мин. нар. просв." 1909 г. июнь, стр. 395.

нейшых і вялізных, разам з тым, малюнках, якія ён дае нам у сваіх працах па гысторыі мовы (гл. напр. памянёны „Очерк“). Але тут як кажа проф. Л. В. Щэрба „лежит несомненно и источник слабости конструкций Алексея Александровича; т. к. все части его системы бывают обыкновенно тесно связаны между собою, то достаточно поколебать какой-либо ее уголок, достаточно зачастую одного нового соображения или новой группы фактов, чтобы разрушить всю систему. Этим об‘ясняется, между прочим, почему сам А. А. неоднократно вынуждался к перестройкам своих конструкций“ [1]). У сыстэме пашырных дасьледваньняў і вялізных пабудоў А. А. Ш.-ва знаходзіць віднае месца і беларуская мова, да даных якой ён адносіўся з вялікай увагай. Можна лічыць, што гэтую увагу ён зварачвае да бел. мовы блізка ва ўсіх сваіх працах (што тлумачыцца яго імкненьнем наогул ня выпусьціць у сваёй сыстэме ні воднага дыялекту, ні аднэй драбніцы). Гэтак у „Исследованиях в области русской фонэтики“ ім падробна разгледжан лёс гукаў „О“ і „е“ і ў беларскай мове. Падрабнейшым спосабам разглядае ён і пытаньне аб пахаджэньні беларускага народу і яго мовы, перш у артыкуле „К вопросу об образов. русских наречий“ Варшава 1894, затым у зьмянёным яго выданьні: „К вопросу об образов. русских наречий и русск народностей“ [2]), таксама ў артыкуле „Русский язык“ у слоўніку Брокгауза і Эфрона і паасобна ў зборніку „Россия“ (564-581) [3]). Ўрэшце паўней усяго разгледжана гэтае пытаньне ў адносіне да беларускіх народу й мовы у „Введении в курс ист. русск. яз.“ [4]). Тут ён датыкаецца прынцыповых пытаньняў гісторыі рускай мовы. На стр. 7 цыт. твору Ш. кажа: „Под руским языком в научном употреблении этого слова мы разумеем совокупность тех наречий и говоров, которыми как в настоящее время, так и в предшествующие эпохи пользовались в качестве материнского, родного языка, русские племена. Все эти наречия и говоры восходят к одному общему основанию: это видно для поверхностного наблюдателя из близкого их сходства между собою; это вытекает в виде научного вывода из более глубокого исторического изучения названных наречий и говоров. Каждый представитель русского племени, будь то великорус, или белорус, или малорус, может назвать свой родной язык русским: он русский по его происхождению и в силу этого своего происхождения останется русским, каким-бы изменениям ни подвергся с течением времени“. Бяручы за грунтоўнае палажэньне—адзінства ў прошлым усіх трох галоўных рускіх гутарак—велікарускай, беларускай і украінскай,—Шахматаў даводзіць гэта пры дапамозе гістарычна-параўнальнага мэтаду. „Их—(велікар. і малар.) – исконное единство“— гаворыць Ш. [5])—„так же как общее с ними происхождение третьего племени белоруссов, доказывается прежде всего общностью языка“, произошедшего „из одного общего языка, который, как до нас не дошедший, мы назовем *праязыком общерусским*“. Гэтае зданьне Ш. проціпастаўляе зданьню другіх вучоных, паміж іншым і Міклошыча, які ня лічыў неабходным прадпалагаць істнаваньне агульна-рускай першамовы, знаходзячы ўпаўне здавальняючым тлумачэньне блізкасьці, паміж усходня-славянскімі (рускімі) мовамі,—агульным з іншымі славянскімі мовамі пахаджэньнем іх з мовы першаславянскай, альбо з усходняславянскіх яе гутарак. Ш. аднак думае, што „великорусский, белорусский и малорусский языки выделились.... из восточно-славян-

[1]) Л. В. Щерба: „Методы лингвистических работ А. А. Шахматова“ в „Изв. отд. рус. яз. и слов. Р. А. Н.“ за 1920 г. т. 25, прысьвечаны памяці ак. Ш-ва.

[2]) Журн. Мин. Н. Пр. апрель 1899.

[3]) СПБ., 1900 г.

[4]) „Введ. в курс ист. р. яз.“—ч. І. „Ист. проц. пбразов. русск. племен и нареч.“ в изд. студ. изд. к-та при ист.—фил. фак. Петр. У-та. Пгр. 1916 г.

[5]) Цыт. твор. („Введ. в курс ист. рус. яз.“), стр. 11.

ского праязыка, а не непосредственно из праязыка общеславянского" і даводзіць гэта, не здавальняючыся толькі адноскай на вялікую колькасьць агульных усім сучасным рускім мовам адзнак. Ён знаходзіць цалiком справядлівымі паказаньні супярэчнікаў гэтага погляду на тое, што тыя-ж падобныя адзнакі, якія знаходзяцца ў сучасных украінскай і велікарускай (а, значыцца, і ў белар.) мовах, знаходзяцца і ў другіх славянскіх мовах (напр. „ч". з прасл. tj пры зах. слав. „С" (ц), „Ж" з „dj" пры зах.-слав. „dz" (якое знаходзім так жа сама і ў словенскай мове); поўнагалосьсе (оро-оло-ере), „у" і „а" з ǫ ці з ę, „о" з „ъ" (сонъ, ротъ зам. сънъ, рътъ) пры зах. -слав. „*е*" з таго-ж „ъ" (польск., чэшск. sen, mech) альбо „*а*" (сербск. „сан", „мах"), знаходзім і ў старажытна-баўгарскіх і сучасных (лужыцкай і словацкай) мовах і г. д.. Адсюль і магчымасьць пярэчаньняў опонэнтаў агульнасьці пахаджэньня ўсходня-славянскіх моў з адной першарускай мовы; іменна: яны кажуць, што ўсе гэтыя асаблівасьці ўсходня-славянскія мовы маглі выпрацаваць у сабе незалежна адна аб другой таксама, як незалежна ад рускіх моў выпрацавалі ў сабе гэткія-ж падобныя рысы-мовы зах.-славянскай і паўднёваслав. галін. Паказваючы на немагчымасьць абвергнуць зданьне опонэнтаў пры дапамозе мэтаду параўнальнага, Ш. даводзіць істнаваньне першарускай эпохі мэтадам параўнальна-гістарычным. Ужываючы гэты мэтад, мы будзем лічыць важнымі толькі тыя, падобныя ў дадзеных рускіх мовах, рысы, зьяўленьне якіх можна перанесьці ў эпоху догістарычную, г. зн. да X ст. І вось, калі мы заўважым, што паказаны шэраг зьявішч, агульных усім усходня-славянскім мовам, хоць бы і ня ў поўным складзе, ўзыходзіць к дагістарычнаму часу, дык акажацца, што „предок великорусского языка так же, как предок малорусского, в доисторическую эпоху своего существования, следоват. с момента выделения из общеславянского праязыка, т. е. до XI ст.[1]), пережили ряд общих явлений и образовали язык, отличный от языка старшей эпохи, эпохи общеславянской"[2]). Тут і аказваецца, што самыя старажытныя пісоўныя памятнікі, як паўночнарускія, гэтак і паўднёварускія сьведчаць сваімі напісаньнямі прысутнасьць у стар-рускіх говарах на ўсім працягу большай часткі тых агульных рыс, якія збліжаюць іх цяпер[3]). Разгледзеўшы гэтыя агульныя рысы, мы пераконваемся ў тым, што ўсе старaж-рускія говары ўжо ў тыя часы, ад якіх захаваліся да нашага часу пісоўныя помнікі, мелі многія грунтоўныя падобныя рысы. Адсюль і патрэбна дапусьціць, што існаваў некалі гэткі пэрыяд часу, ад выдзяленьня ўсходніх славян з агульна-славянскай сям'і да распаду ў сваю чаргу гэтай усходняй галіны, у які ўсходнія славяне складалі больш цесную сям'ю і ў які выпрацавалі гэтыя агульныя рысы. Гэты пэрыяд мы й будзем лічыць перыядам агульнарускім.

Атрыманы гэткім способам вывад, Ш. кладзе ў васнову выкладаньня гісторыі рускіх моў. „Исходя из этого положения—гаворыць Шахматаў,—и имея в виду, во первых, несомненную продолжитель-

1) Рускія словы сустракаюцца ўжо ў X в. у візант. імпэратара і пісьменьніка К. Порфірароднага.

2) „Введение в курс истории р. яз.", стр. 14.

3) Рысы, агульныя ўсім стар-рускім говарам, як сустракаючыяся у самых старажытных паўночна-рускіх і паўднёва-рускіх піс. памятніках, прыводзячыхся А. А. Шахматавым: 1) Л на месцы першаслав. dl, tl у гэткіх славах, як мыла села, замест mydlo, sědla; 2) c'v, z'v на месцы kv, gv (зам. květъ, gvězda—цвет, звезда); 3) pl', bl', vl', ml, на месцы праслав. першаслав. pj, bj, mj, vj (люблю, куплю, слаўлю, зямлю): 4) „У" і „а", „я" на месцы насавых прасл. Ą, Ę, (хвалю, сяду, пяць), 5) Ненасавое ѣ на месцы насавога (родн. склоне адз. ліку: дѣвицѣ, душѣ і він. множ.—мужѣ); 6) ч, ж, на месцы праслав. tj, dj, (межа, хочю); 7) ч на месцы kt, gt (дочере, печь); 8) пачатковае О з je (возера, адзін-озеро, один); 9) О з „ъ" у канцы склада перад "Л" з „Е", „Ь" („молко" потым „молоко" з „мелко"; «волкъ» вълъкъ—вьлкъ) 10) „ро,"ло" ў пачатку слова, з праслав. or, ol (локъть, розвязати, лодия з olkъtь, oldiьa, орзвьзати); 11) Поўнагалосныя формы з першаслав. непоўпагалосных (городъ з gord, золото з zolto і інш.). 12) Мягкія зычныя перад галоснымі пярэдняга раду на месцы першаслав. цьвёрдых.

ность общерусского периода а, во вторых, и позднейшее, уже засвидетельствованное историей единство культуры, воспринятой русскими племенами, мы в праве рассматривать все современные русские языки во всем их разнообразии, как одно, в научном отношении, целое. За индивидуальными чертами, определяющими великорусский, белорусский и малорусский языки, мы видим те общие признаки их, по которым эти языки должны рассматриваться, как части одного языка общерусского".[1])

Назіраючаеся цяпер і выводзячаеся параўнальна—гістарычным мэтодам адзінства трох дыялектычных падзелаў рускай мовы тлумачыцца Шахматавым, як вынік цеснага культурна-політычнага жыцьця старажытных паўночна-рускіх і паўднёва-рускіх пляменьняў з утварэньнем Кіеўскага дзяржаўнага і культурнага цэнтру. Мова духавенства і наогул адукаванай клясы, склаўшаяся ў Кіеве з мовы вышэйшых клясаў пад уплывам кніжнай мовы старажытных баўгарскіх царкоўных кніг, пашырала свой нівеліруючы ўплыў далёка на поўнач і на ўсход, дадаючы паўночным і ўсходнім дыялектам старажытнай Русі Кіеўскае вымаўленьне [2]). Прытым, вачавідна, уплыў гэтай мовы не абмяжоўваўся гарадзкімі цэнтрамі, але, бяссумненна, заходзіў і ў народную вясковую гушчу; тым болей гэта было мажліва ў старажытнай Русі з прычыны больш цесных ўзаемаадносін гарадзкога і вясковага жыхарства, калі культурны ровень гаражан мала чым мог быць вышэй культурнага роўню вясковага люду. У выніку гэткіх цесных ўзаемаадносін мовы культурных цэнтраў, паперадзе якой ішоў Кіеўскі говар, і мовы народных мас поўначы, паўдня і ўсходу старажытнай Русі, назіраем таксама паўсюдныя ў старажытнай Русі і пазьнейшыя агульныя зьявішчы моўных зьмен, апрача паказаных раней. Гэта: а) паўсюднае падзеньне глухіх (заўважаецца ў памятніках, па зданьню Шахматава, не раней сярэдзіны XII ст.); 2) счэзнавеньне родавых адрозьненьняў у множн. ліку слоў азначаючых (определяющих: тѣ, всѣ, они, мои, добрые—для наз.-він. усіх радоў замест старажытных: ти, ты, та; вьси, вьсѣ, вься; они, оны, она; мои, моѣ, моя; добрый, добрыѣ, добрыя); 3) замена наз. мн. л. мужч. р. формай він. множ. л. *(столы* замест *столи)* і г. пад. Паасобна і даволі падробна і поўна разглядае Ш. і пытаньне аб пахаджэньні беларускай народнасьці й мовы. Усходнія славяне задоўга да IX ст. падзяліліся на тры пляменныя і моўныя групы: 1) паўднёвую (Паляне. Драўляне, Бужане, Харваты, Улічы, Ціверцы й Севяране) 2), Паўночную (Крывічы і Словене) і Усходнюю (Вяцічы). Куды-ж аднесьці Дрыгавічоў і Радзімічоў?—задае пытаньне Ш.—і адказвае: *„О Радимичах, согласно летописи* [3]) *утверждаем, что они были ляхи. Это делает особенно вероятным Ляшское происхождение также и Дреговичей.* Радимичи жили некогда в бассейне Оки, в нынешних Рязанской, Тульской и Калужской губ., откуда, вытесненные Вятичами, проникли в верхнее Поднепровье" [4]). Пацiснутыя з поўдня качаўнікамі, Драўляне пераходзяць Прыпяць і, папаўшы ў рэдка заселеную (трэба лічыць) з прычыны беднасьці прыроды краіну Дрыгавічоў, заваёўваюць апошніх і разам з тым самі з імі ўзаемна асімілююцца, атрымаўшы ў сваю мову рысы мовы Дрыгавічоў, надзяліўшы, у сваю чаргу, апошніх—паўднёвымі (украінскімі) моўнымі рысамі. "Воспринявший в себя отдельные ляшские черты язык Древлян лег в основание языка *белорусскаго*,—гаворыць Шахматаў.—Сьвядэцтвам цеснай узаемадзейнасьці ў тую эпоху моў-

---

[1]) Стр. 17 цыт. твору.

[2]) Напр. захаваўшаеся й да нашых дзён працяглае (фрыкатыўнае) г (h) у вымаўленьні гэткіх слоў, як: бог, господин, доброго, богатый, государь, уласьцівае і рускім говарам, зусім ня ведаючым г (h), як грунтоўнага.

[3]) Стар. 57, 58, 93, 96 цыт. твор. («Введение в курс ист. рус. яз.» Пгр. 1916).

[4]) Ibid. стар. 101. Курсіў наш.

ных стыхій—драўлянскай і дрыгавіцкай—зьяуляюцца адвечныя беларускія моўныя рысы, агульныя з аднаго боку з украінскай мовай, а з другога з польскай мовай"[1]). „*Однако беларусский язык в том виде*",—гаворыць Ш.—"*какой он предположительно имел тогда, когда в состав его входили только южно-русские и ляшские элементы, не дошел до нас*". Апрача ляшскіх і украінскіх элементаў ў беларускую мову ўвашлі і элемэнты паўднёва-велікарускія. Радзімічы жыўшыя спачатку ў бесэйне р. Акі, у цесным суседзьстве з Вяцічамі ўспрынялі многія моўныя рысы апошніх (рэдукцыю ненаціскных А, О, Е. прывёўшую ў многіх выпадках да аканьня), выпрацаваныя Вяцічамі самастойна ў выніку адарванасьці іх (бо яны жылі ў басэйне Дона і Аскола) ад прочых славян усходніх. З часам Вяцічы, пад дауленьнем Турскіх ордаў, прымушаны былі падацца к поўначы і к паўночнаму ўсходу, выцясьняючы з басэйна Акі Радзімічоў, якія, як мы бачылі, у выніку гэткага дауленьня апынуліся ў Паўночн. Подняпроўі. Цераз радзімічаў паўднёва-велікар. аканьне і рэдукцыя ненаціскных галосных перашлі і ў беларускую мову. Далей Ш., падробна спыняючыся на характарыстыцы беларускага аканьня па пытаньню аб яго пахаджэньні, выказвае прадпалажэньне, што Беларусь, як і Паўн. Украіну, пакрыла нейкая акаючая хваля, ішоўшая з Усходу. Аканьне гэтае магло прысьці на Беларусь разам з Радзімічамі й Вяцічамі. Гэткім то чынам у беларускую мову, па зданьню А. А. Шахматава, былі прыўнесены і паўднёва-велікар. рысы. У гэтым пункце, аднак, крыецца даволі значная супярэчнасьць. Іменна, калі прызнаць разам з Ш., што Радзімічі і Вяцічы былі Ляхі, дык яны не маглі мець у сваім вымаўленьні рэдуцыраваных галосных, а, значыць, і аканьня. Праўда Ш. стараецца абаснаваць гэткі свой пагляд на тым, што прадпалагае аканьне ўпершае зьявіўшымся ў Вяцічоў (самастойна выпрацавана імі), потым запазычаным ад Вяцічоў Радзімічамі і ўжо цераз апошніх зайшоўшым у сучасную беларускую мову (гл. „Введение" стр. 106 і наступн.); але ўсе яго гіпотэцічныя тлумачэньні ня здольны абвергнуць выказанага намі вышэй пярэчаньня. [2])

Гэткім чынам беларускі народ і яго мова зьявіліся ў выніку спайкі трох элемэнтаў: Ляшскага, драўлянскага й вяціцкага г. зн. продкаў польскага, украінскага й паўднёва-велікарускага.

---

[1]) I. Рысы, агульныя з укр. мовай: а) ў на месцы л. у пэўн. становишч. в) пераход ръ, лъ, рь, ль у становішчы за зычным у ры, лы, ри, ли (дрыва, крыві, блыха, блишчэць); с) „ў" на месцы „в"; д) падвоеньне зычных (кольле, здарэньне); е) адпадзеньне нескладовага і (й) у канчатку прыметных; f) прыдых. ў пачатку слова (возера, гавёс); g) адпадзеньне пачатков. нескладов. і з адвечн. і. (голка, грацъ); h) діфтонгізацыя Е, О (дыялэктычна).

II. Рысы, агульныя з польск. мовай: а) цеканьне і дзеканьне (ціха, дзень), у старажытнасьці нават меўшее ў бел. мове шапялявы характ. (Супр. зборн. XVI в. в) шапялявае вымаўленьне (ня ўсюды, паміж іниш.) S і Z падобна да польск. мовы и с) зацьвярдзеньне р. (пол. rz).

[2]) Аўтар гэтага нарысу ў другім сваім, ненадрукаванным артыкуле—„Беларускае аканьне"—прытрымліваецца якраз процілежнага пагляду на гэтае пытаньне. Ён лічыць што аканьне, як фонэтычная зьява выпрацавалася якраз у карэнных старажытных беларускіх пляменьняў—у Смаленска-Полацкіх крывічоў (каля XII ст.); затым аканьне ад гэтых пляменьняў было запазычана калёнізатарамі: з паўночнага заходу Літоўцамі, а з паўдневага ўсходу—качаўнікамі паўднёвых стэпаў. Географічнае пашырэньне гэтай зьявы моцнага аканьня пацьвярджае нашу дагадку: Моцна-акаючыя белар. говары клінам уразаюцца ў белар. тэрыторыю з паўночнага захаду; прычым шырокая частка гэтага кліна прылягае да самай мяжы з літоўска-латышскімі говарамі; адсюль клін звужаецца к паўдн. ўсходу і канчаецца войстрым кутам у самага Дняпра. (м. Прапойск).

Успомнім, што наймацнейшая літоўская колёнізацыя беларускай тэрыторыі йшла якраз у гэтым напрамку: на Полаччыну, як на самую магутную краіну старажытнай Беларусі, падалі самыя моцныя ўдары ліцьвінаў. Запазычыўшы ў беларусаў для культурн. ўжытку іх мову, ліцьвіны натуральна запазычылі і аканьне, але ў моцна-павялічаным выглядзе. Моцнае аканьне, маючае месца і ў паўднёва-вялікарускай моўнай тэрыторыі, займае ў ёй таксама украіннае палажэньне, і пахаджэньне яго можа тлумачыцца падобным-жа спосабам. Падробнага абаснаваньня гэтай дагадкі мы ня прыводзім за адсутнасьцю месца.

Мы бачым, што праца Шахматава мае вялізнае прынцыповае значэньне пры гістарычным вывучэньні беларускай мовы. Можна пярэчыць тут з пункту погляду дакладнай навукі супроць вычэрпваючай паўнаты[1]) і законченасьці малюнку расьсяленьня ўсходніх славянскіх племеньняў да супроць катэгорычнага аднясеньня Радзімічоў, а за імі і Дрыгавічоў к Ляхам на падставе паказаньняў летапісу, каштоўнасьць якіх для дакладных гістарычных вывадаў даўно ўжо падлегла сумненью. Але, наогул, сярод існуючых у даны момант у нашым распараджэньні дадзеная праца Шахматава зьяўляецца вельмі каштоўнай. Зьмяшчаючы ў грунце сваім упаўне надзейныя лінгвістычныя дадзеныя, зьвязаныя творчай фантазіяй вельмі вострavумных гіпотэз, уся сыстэма расьсяленьня ўсходніх славян і стварэньня моў прадстаўляецца нам вельмі жывым і, разам з тым, найбольш праўдападобным малюнкам гэтак жыва цікавячага нас мінулага ўсходніх (рускіх) славян. Гэтаму-ж пытаньню ахвяравана і апошняя праца А. А. Шахматава: „Древнейшие судьбы русского племени“. Выд. „Рус. Гіст. Журн.“ Пгр. 1919, 64 стр., каторую Ю. В. Готье ў сваім арт. „Шахматаў гісторык“ называе „одной из безспорно самых блестящих по остроте научного анализа его работ“. (Гл. т. XXV Изв. отд. русск. яз. и слов. Р. А. Н. за 1920 г., ахвярав. памяці акадэміка Шахматава, стар. 271). Гэтак, значыць, адзін адпраўны пункт для пабудовы гісторыі беларускай мовы— Шахматавым устаноўлен здавальняюча. Яго мы на першы выпадак і можам прыняць, рысуючы схэму гістарычнага разьвіцьця беларускай мовы.

Далей, пры пабудове гісторыі мовы, важнае значэньне маюць таксама тыя хронолёгічныя эпохі, па якіх прыдзецца разьмяшчаць факты і зьявішчы мовы ў паступовасьці іх зараджэньня, разьвіцця і адміраньня. У разабранай працы („Введ. в курс ист. р. яз.“) Ш. устанаўляе й гэтую пачатковую хронолёгічную эпоху, эпоху *агульна-рускай першамовы*. У каштоўнай таксама і для пабудовы гісторыі беларускай мовы працы сваёй—„Очерк древнейшего периода истории русского языка“—Шахматаў кажа: „Ошибочно было бы думать, что современные руские языки, а именно великорусский, белорусский и малорусский, произошли непосредственно из обще-русского праязыка. Анализ элементов и изучение наречий, составляющих эти языки, доказывают, что мы имеем в лице их весьма сложные явления, результат сложных культурно-исторических факторов“[2]). Пры вывучэньні ўжо старажытнейшых памятнікаў рускага пісьменства мы праконваемся, што пэрыод агульнарускі патрэбна аднесьці за межы гістарычнай эпохі. Бо ўсе, паказаныя намі вышэй моўныя рысы, аб'ядноючыя ў мінулым усе тры ўсходня-славянскія мовы і адначасна адмяжоўваючыя ўсе іх ад заходніх і паўднёвых славянскіх моў, маюцца ў гэтых старажытнейшых пісоўн. памятнікаx ужо ў гатовым відзе. З гэтай прычыны агульнарускую эпоху, тую эпоху, да канца якой ужо выпрацаваліся гэтыя рысы, патрэбна аднясьці далёка раней XI ст. Да гэтай эпохі патрэбна аднесьці й зьявы страты насавых гукаў, разьвіцьцё поўнагалосься, памягчэньне зычных перад галоснымі пярэдняга раду і др., ужо памянёныя зьявішчы. Гэткія зьявы, як падзеньне глухіх і некаторыя другія (гл. канец 16 і пачат. 17 стар.), адносяцца да эпохі пе-

---

[1]) Праўда, вычэрпываючы поўнай можна назваць сыстэму Ш-ва толькі ў сэнсе агульнай схэмы. У пытаньні-ж аб лёсе складаных элемэнтаў беларускай народнасьці яе такой ня можна назваць. Тут, напр., пытаньне аб дрыгавічах зьяўляецца як-бы скомканым. Як мы бачылі, Ш. толькі мімаходам заўважае, што дрыгавічы былі ляхі, зусім не бяручы пад увагу паказаньня Настаравага летапісу (які лічыць дрыгавічоў—рускім племям), а таксама дакладнага разгляду гэтага пытаньня значна раней зьявіўшагася у Е. Ф. Карскага (Гл. яго „Белоруссы“ т. I. Варш. 1904 г. стар. 71 і наступн.), аб чым гутарка наперадзе.

[2]) А. А. Шахматов. „Очерк древнейшего периода истории руск. яз.“. Введ., стр. 6.

раходнай паміж агульнарускай эпохай і эпохай аканчальнай дыфэрэнцыяцыі моў—украінскай, беларускай і велікарускай. Гэтую эпоху Ш. умоўна называе *старажытна-рускай*. „Она“—гаворыць Ш.—„отличается от предшествующей, общерусской эпохи тем, что на место единого языка вводит несколько раздробившихся наречий; но от последующей эпохи она отделяется тем, что эти наречия об‘единены еще общими языковыми процессами, позже уже неизвестными. История русского языка в эту последующую эпоху переходит в историю трех современных нам русских наречий, между тем как раньше она имеет дело или с общими для всего русского языка процессами, или с развивавшимися паралельно общим процессам явлениями диалектическими, местными“. Аб гісторыі беларускай мовы ў гэты пераходны пэрыод у выніку гэтага ня можа быць гутаркі. Беларуская мова той эпохі, калі ў яе ўваходзілі толькі паўднёва-рускія й ляшскія элемэнты як мы бачылі (гл. стар. 108), да нас не дайшла, ні ў выглядзе пісоўных памятнікаў, ні ў жывых говарах, а з гэтай прычыны і аднавіць яе немагчыма. Гэтак што самае палажэньне аб істнаваньні гэтай старажытнай эпохі гісторыі беларускай мовы застаецца ня больш, як гіпотэзай. Дзеля таго Шахматаў у сваім „Очерке древ. пер, ист. р. яз.“ дае толькі гісторыю гукаў складаных элемэнтаў сучаснай беларускай мовы ў эпоху стар.-рускую.

У гэтую эпоху галоўная складаная частка той мяшанай гутаркі, якой гаварылі пляменьні (заходня-русаў-дрыгавічоў, паўднёва-русаў—драўлян і ўсходня-русаў—вяцічоў), насяляўшыя тэрыторыю сучаснай Беларусі, разам са ўсёй старажытна-рускай мовай страціла ў вымаўленьні глухія ъ і ь у слабым становішчы й замяніла іх на **о**, **е** ў моцным. Гэтая абставіна сыграла вялікую роль ў эволюцыі ўжо *беларускай мовы* наступнага пэрыоду (устаўка й прыстаўка галосных у складох і перад складамі, нязручнымі для вымаўленьня: руб*е*ль, караб*е*ль, *и*ржа, *а*мшаны, *А*мсьціслаў, *А*млин-(Мглин), хр*ы*сьціць, кр*ы*ві і г. д.). Гэтае падзеньне глухіх здарылася ўжо пасьля распаду агульна-рускай мовы на дыалектычныя групы, распаду, няўхільнага ў выніку вялізнасьці тэрыторыі расьсяленьня рускіх славян. Тым ня меней і падзеньне глухіх і, выкліканыя гэтым зьявішчам, зьмены фонэтычныя (асіміляцыі й дісіміляцыі радам стаячых у славе гукаў),—агульныя для ўсяе мовы рускай. Аб тым-жа гавораць і зьявішчы морфолёгічныя, агульныя ўсім дыалектолёгічным падзелам, нават у XII сталецьці.

Гэта даводзіць, па зданьню Шахматава, што ў той час руская мова яшчэ ня страціла свайго адзінства [1]) «История русских наречий“—гаворыць Ш. [2]) „может начинаться с момента фактического распадения русского племени, следоват. с VIII—IX века; но история русского языка как единого целого, не может ограничиться этими эпохами: она захватывает і IX—XIII в.в. ибо, как указано, и в это время единство не было порвано окончательно, оно поддерживалось внутренней связью между расщепившимися уже частями. Период IX-XII—это время, когда создавались различия в языке русских племен, успевших разойтись в IX еще веке торриториально“. Гэткім чынам, хоць і можна пачынаць гісторыю кожнай з сучасных рускіх моў з VIII-IX веку, але прыдзецца разглядаць яе не як гісторыю старжытн. пэрыоду беларускай, украінскай. альбо вялікарускай моў, але як гісторыю пераходных гутарак, меўшых месца ў паказаны пэрыод ад IX да XII ст. Іменна прыходзіцца прадпалажыць, што гутаркам украінскай, беларускай і вялікарускай, зьявіўшымся пасьля XII ст., папераджалі старэйшыя гутаркі, якімі гаварылі распаўшыяся на тры галоўныя галіны ўсх.-слав. пламеньні: паўднёва-рускую, сярэдня-рускую і ўсходня-рускую. Гэта і ёсьць тыя гутаркі, на

---

1) „Очерк древ. периода ист. русск. яз.“. стр. 287 і наступн.
2) Ibidem.

якія распадалася старaж.-руская мова. У гэтую эпоху і ў паказаных у старатжытнейшых гутарках выпрацаваліся многія дыалектычныя рысы; некаторыя з гэтых рыс, стаўшы ў наступнасьці переважнаю прыналежнасьцю адных з пазьнейшых гутарак, тым ня меней, хаця-б іншы раз і спорадычна, усё-ж такі пападаюцца блізка ва ўсіх пазьнейшых нашых чатырох дыалектычных падзелах (беларускай, украінскай і вялікарускай мовах з гутаркамі—паўночна-вялікар. і паўднёва-вялікар.[1]). Гэтыя зьявішчы павінны быць зьмешчаны ў гісторыі кожнай з цяпер паасобных альбо імкнучыхся стаць паасобнымі, усходня-славянскіх (рускіх) моў, як зьявішчы старажытнейшага пэрыоду, зьяўляючыся пазьнейшым, наступным этапам адносна да паказаных вышэй зьявішч агульна-рускай эпохі, атрыманым параўнальным мэтодам, моўныя зьявішчы старажытна-рускай эпохі, якія мы адтрымліваем ужо параўнальна-гістарычным мэтадам, гэтак сказаць, дакумантальна зацьвярджаныя, зьяўляюцца яшчэ адным лішнім давядзеньнем грунтоўнага адзінства ўсходня-слав. (рускіх) моў. Гэтыя зьявішчы, перашоўшыя і ў беларускую мову, наступныя[2]):

a) Чаргаваньне v, w і u (ў) (вода, вор, трава, галава, баранаваць, карова, але ўдова, праўды, діўка, кроў, здароў, даўно, зноў, аўторак, аўца, дзяўчынка і г. пад.). У (u) у паказанных выпадках ведаюць паўночна-велікар. говары (у многіх паветах Наўгародзкай, Валагодзкай г.г., у двох паветах Вяцкай, Алонецкай і Кастрамскім і Казанскім паветах) і паўднёва-вялікарускія (у Калускай, Тульскай, Курскай, Арлоўскай і ў паўночн. паветах Разанскай г.).

b) Чаргаваньне g, γ, h. У адносінах да гэтага зьявішча стар.-рускія говары, як і сучасныя, разьбіваюцца на тры групы: 1) говары, захаваўшыя g і h; 2) захаваўшыя g але h таксама зьмяніўшыя ў g; урэшце, 3) зьмяніўшыя і g і h ў „γ.“ Да першых дзьвюх груп адносяцца паўночна-рускія (сучасн. паўночна-вялікар.) говары, а да трэцяй усходня-рускія і паўднёва-рускія (сучасныя паўднёва-вялікар., беларускія і украінскія).

c) Чаргаваньне (замена) (*д'ж'* і *ж'*, *д'з'* і *д'*), прычым паўднёва-рускія говары (лёгшыя ў наступнасьці ў грунт беларускіх) захавалі дыалектычна і d'ž і d'ź. d) Дзіфтонгізацыя доўгіх O і E (уласьцівая й сучасным паўднёва-беларускім говарам).

e) Пераход ł (л) у u (ў) ў канцы склада; f) Прыдыхальны прыступ (j, γ, v) перад пачатковымі ў слове галоснымі. g) Пераход камбінацый *ку*, *γу*, *ху* (кы, гы, хы) ў *к'і*, *γі*, *хі*. h) Пераход *i* у j пасьля зычнага (brat'*i*ia—brat'*i*a—brat'ja), якое j пасьля (магчыма, што яшчэ ў стар. паўднёва-руск. гутарцы) асіміліраваўшыся з папярэднім зычным, дало форму ўродзе: судзьдзя, ральля, плацьце, ружжо і г. пад.; j) цеканьне й дзеканьне, шапалявае вымаўленьне сьвісьцячых мяккіх—*т* і *д* (па зданьню Шахматава пад польскім уплывам) i) ацьвярдзеньне Р[3]) (гл. стар. 314-316 „Очерка“); к) Супадзеньне е і ѣ (у белар. ужо у

---

[1]) А. А. Шахматов. „Очерк древнейшего периода ист. русского яз.“. стр. 288: „Возможно, что некогда, при своем возникновении, ими определялись диалектические грани, но теперь эти грани стерлись, уступив место другим. Впрочем необходимо сделать оговорку произнош. у как ў и как у (полукр.) в полож. не перед гласной до сих пор характеризует все малорусское и белорускoе наречие, но все таки, диалектической гранью оно служить не может, ибо свойственно также пекоторым великорусским говарам; произношение г, как (h), характеризует все русские наречия, кроме сев.-великор. и средне великорусских, но и его нельзя класть в основание диалектич. деления, ибо им об'единяются такие существенно различные нарачия, как малорусское и южно-великорусское; сохранение „дж“ свойственно белор. и малор. наречиям, но и в них оно вытесняется черсз ж. возобладавшее окончательно в великоруск.; следоват. и „дж“ вм. ж, не может относиться к характерным для позднейших наречий признакам и т. д.“

[2]) А. А. Шахматаў. „Очерк древн. пер. ист. русск. яз.“ стр. 289 і наступн.

[3]) Уласьціва таксама паўночнай частцы паўднёва-руск. гутаркі.

вельмі аддаленую эпоху); l) Пераход *аі* у *еі* пад націскам (тэй, аднэй, залатэй); m) ацьвярдзеньне *ć* грунтоўнага (старажытнага).

Вось, наогул, тыя дадзеныя для гісторыі беларускай мовы, якія маем у важнейшых у гэтых адносінах працах А. А. Шахматава.

Ужо пасьля напісаньня гэтага артыкулу нам давялося пазнаёміцца з новай, вельмі цікавай кнігай: *Акад. Ол. Шахматов—Акад. Аг. Кримський.* Нариси з історіі украінськоі мови та хрестоматія з пам'ятників письменскоі старо-украінщини XI-XVIII в.в.—Київ. Друкарня Украінськоі Академіі Наук. 1924. (Зборнік гістарычна-філёлёгічнага аддзелу Украінскай Акадэміі Наук № 12). З боку агульна-мэтодолёгічных меркаваньняў аб пэрыодах гісторыі ўсх.-слав. моў у нарысе А. Шахматава, па сутнасьці, не знаходзім нічога новага параўнальна з тым, з чым мы ўжо пазнаёміліся (гэты „Короткий нарис історіі украінскоі мови"—А. Шахматава быў упершае надрукованы парасійску ў II томе выданьня „Украинский народ в его прошлом и настоящем"—СПБ 1916). Зато як у нарысе ак. Ш—ва, гэтак і ў нарысе ак. Крымскага, знаходзім многа каштоўнага ў галіне агульнага асьвятленьня фактаў гісторыі разьвіцьця украінскай мовы, як матар'ялу для параўнальнага вывучэньня белар. і укр. моў. Цікава „Передне слово" ак. Крымскага да абоіх нарысаў (стар. III-IV) і заключны разьдзел (X-ты, на стар. 127-128) яго ўласнага нарысу („Украінська мова звідкіля вона взялася і як розвівалася"). Вельмі цьвярозыя думкі акад. А. Крымскага mutatis mutandis упаўне можна дапасаваць і да пытаньня аб тым, у якім сэнсе трэба разглядаць ужываючыйся ў філёлёгічн. навуцы тэрмін „белорускoе наречіе" (гутарка) і ў якім—„язык" (мова). [1])

III.

Першае спэцыяльна-навуковае дасьледваньне па гісторыі беларускай мовы маем у працы *Ів. Недзёшава* „Исторический обзор важнейших звуковых и морфологических особенностей беларусских говоров"[2]). Праца гэтая дакладна разабрана А. И. Сабалеўскім (у журн. Мин. Н. Пр. 1885 г., іюнь). Гэтая праца ўжо даволі добра асьвятліла гісторыю беларускай мовы, даўшы значную колькасць фактычнага матар'ялу. Ак. Карскі, аднак, ставіць у віну аўтару[3]) не заўсёды крытычныя яго адносіны да таго, „что у него было под рукамі" а таксама й тое, што Нядзёшаў карыстаўся матар'ялам з актаў і грамат, прытым не з орыгіналаў, але друкованых зборнікаў, не зварачаючы увагі на іншыя памятнікі стар.-белар. мовы. Нельга не памянуць яшчэ аб працы *Іосіфа Перфольфа:* „Славяне, их взаимныя отношения и связи" Варшава, 1886-1893 г. У розных мясцох гэтай працы кажацца аб стар. белар. мове. У другім томе (стр. 595-601) кажацца аб перакладах кніг сьв. пісаньня на бел. мову (Скарыны). У частцы II-й тома III-га (стр. 29—44) на пятнаццацёх старонках кажацца аб розьніцы гукаў і форм белар. і польск. моў, аб запазычаньнях іх з адной у другую і нагуол аб узаемным уплыве іх адной на другую. Аб слоўнікавай падобнасьці гэтых моў ён кажа: „В западно-русских наречиях находится,

---

[1]) Вось што акад. А. Крымскі кажа ў гэтым сэнсе адносна украінскай мовы: „...суперечитися про терміни „малоруська мова" чи „малоруське наріччя" абсолютно не варто. Попросту аж часу шкода... Права украінськоі мови на окремишнє літературне життя та на державне вживання засновуются не на чисто—філологічних міркуваннях, а на реальній, пекучій життєвій потребі... А колі так, то вкраінська мова досягне всіх потрібних ій прав, незалежно од того, чи схоче хтось заринаючи в історичні глибини IX віку, звати украінську (як і російську і білоруську) мову „нарѣчіемъ" умерлого „общерусского языка" чи, базуючись на сучасному фактичному становіщі, визнаватиме іі за „самостоятельный языкъ"... (Гл. вышэй—названы зборнік У. А. Н. № 12, стар 127—128).

[2]) Русск. Филолог. Вестник 1884 г. № 3 т. XII,

[3]) Е. Ф. Карский. К ист. звук и форм. бел. речи.

конечно, больше *слов*, общих с Ляшскими наречиями, чем в восточно-русских наречиях: но много таких слов, общих наречиям Ляшским и зап.-русским, встречается также в вост.-русских говорах". (стр. 35—36). За гэтым даецца сьпіс гэткіх слоў на дзьвёх старонках. Шмат цікавага знаходзіцца наконт займаючых нас пытаньняў гіст. бел. мовы ў аддзеле гэтай працы пад загал. „Русь Літовская". Яшчэ больш матар'ялу знаходзім для гіст. бел. мовы ў працах *А. І. Сабалеўскага.* Перш чым разглядаць зробленае ак. Сабалеўскім для гіст. бел. мовы, спынімся ў некалькіх словах на характарыстыцы яго мэтодолёгічных поглядаў, аб якіх ён сам кажа зусім ясна й пэуна. Гэтак у прадмове да сваіх лекцый па гіст. рас. мовы [1]) ён кажа: „Мы не гонимся за обилием выписок из рукописей, если эти выписки представл. однообразн. материал... *Мы не предлагаем ни на чем не основанных гипотез и не предаемся лингвистическим мечтаниям* (вошедшим, увы, в моду в молодой науке о русском языке")... У апошніх словах бачым пэўны намёк на школу Фартунатава-Шахматава. З дадзенай цытаты нам ужо даволі ясна, што А. І. Сабалеўскі, як мы ўжо казалі, стаіць на пункце погляду, проста процілежным да школы Ш—ва. Гэта заўважаецца на усім выкладаньні яго прац, у высокай ступені каштоўных іменна з боку прадстаўленьня багатага фактычнага матар'ялу. У першых жа сваіх дасьледваньнях А. І. Сабалеўскі паказаў „обширное знакомство с древне-русскими произведениями и богатую проницательность, сказавшуюся в об'яснениях фактов языка". [2]) Яго вялікая заслуга, як гісторыка рускай мовы, складаецца ў тым, што хаотычную масу памятнікаў гэтай мовы, ён прывёў у сыстэму, падзяліўшы іх на некалькі зводаў па месцу напісаньня іх. Згодна з гэтым, прымаючы грунтоўнае адзінства ўсіх старажытна-рускіх гутарак, ён на падставе існаваньня некалькіх зводаў старажытных памятнікаў, кажа, што яна падзялялася „на говоры издавна, с тех пор, когда у нас еще не существовало никакой письменности"; гэта гутаркі: а) „сев.-зап. угла древней Руси—новгородский, псковский, смоленско-полоцкий", выдзяліўшыяся ў паасобную групу, дзякуючы асаблівасьцям свайго консонантызму, б) говары паўднёвай, заходняй і паўночна-заходняй Русі, блізка тоесамыя. Гэты падзел на говары стар.-рускай мовы даў ужо рэальную, абаснованую магчымасьць праводзіць у гісторыі рускай мовы дыалектолёгічны прынцып. З часам ён той-жа прынцып прыстасаваў і к жывым говарам (упершае ў „Опыте русской диалектологии. В. І. Наречия великорусское и белорусское" СПБ, 1897 г. и малорусское—у „Жив. старине" 1892).

Галоўная-ж заслуга А. І. Сабалеўскага заключаецца ў тым, што ён першы даў сувязны й поўны курс, у якім вельмі здавальняюча прадставіў малюнак гістарычнага разьвіцьця рускай мовы ў целым. У сваіх характарыстыках старажытных рускіх гукаў і фонэтычных зьявішч наогул А. І. Сабалеўскі каротак і ясен, ніколі не аддаляючыся ад прыводзячыхся фактычных дадзеных на церазліш вялікую адлегласьць у глыб гіпотэтычнага, даючы найбольш праўдападобныя тлумачэньні фактаў. Гэткім чынам гіпотэтычная частка яго выкладаньня—кароткая і, я-б сказаў, куды больш дотыкальная, калі можна так выразіцца. Пры чытаньні яго прац, пачуваеш сябе больш пэўным і надзейным, чым, напр., пры чытаньні прац А. А. Шахматова, бо за вывадамі Сабалеўскага вельмі блізка чуеш найдзеныя апорныя пункты фактаў.

Для гісторыі беларускай мовы А. І. Сабалеўскі даў вельмі многа каштоўнага матар'ялу. Гэтак у артыкуле „Смоленско-Полоцкий говор в XIII-XV в.в." [3]) ён дае дакладную характарыстыку гэтага старого

---

[1]) „Лекц. по ист. р. язык." М. 1903. Першая пасьля загалоўнай старонка.

[2]) Е. Ф. Карский „Шахматов, как историк языка".—в „Изв. отд. рус. яз. и слов". Р. А. Н. т. XXV—1920 г.

[3]) У „Рус. Філёлёгіч. В." т. XV 1886 г. стр. 7—26.

беларускага говару, скарыстаўшы ня толькі друкаваныя, але й рукапісныя матар'ялы. У яго „Лекциях по истории русского языка“ знаходзім значны матар'ял для характарыстыкі і ўсяе беларускае мовы. Там знаходзім дадзеныя з Мсьціжскага Эванг. XIV ст., беларускай Чацьці 1489 г., навучаньняў Яфрэма Сірына 1492 г. (аб іх-жа больш падробна у яго „Очерках по истор. русск. яз.“), друкаванай Бібліі Скарыны 1517-1519 г., друкаванага лютаранскага Катахізісу 1562 г., Літоўск. Статуту 1588 г., Эванг. Цяпінскага, Заходня-Руск. Псалт. XVI ст. (Румянц. Муз пад № 355). Напісана ім і заметка „О печатных изданиях Фіоля и Скорины“.[1]) У IX кнізе тых-жа „Чтений“ апісана некалькі зах.-рускіх памятнікаў у арт. „Заметки о малоизвестных памятниках западно русского письма XV-XVI вв. (Кіеў, 1894). Апрача таго ў сваіх дробных артыкулах пад агульным загалоўкам—„Из истории русского языка“, друкаваўшыхся ў „Журн. Мин. Нар. Просв.“, ён датыкаецца і беларускай мовы, разьбіраючы паасобныя пытаньні беларускай фонэтыкі: *у* з *ву*; цяпер, зазуля, залоза, ш зам. с, упадабленьне ј наступнаму ш у параўн. ступ. і др. падобн. выпадках, *дж* зам. *ж.* і інш.[2]).

Цікавы пагляды ак. А. І. Сабалеўскага адносна пахаджэньня рускіх народнасьцяў і моў і таго месца, якое, па яго зданьню, займае сярод іх беларуская мова. Ва ўвядзеньні да сваіх „Лекций по истории русского языка“[3]) Сабалеўскі з першай-жа фразы заяўляе: „Русский народ в лингвистическом отношении представляет одно целое... Он делился на говоры издавна, с тех времен, когда у нас не существовало еще никакой письменности; он делится на наречия и говоры теперь, подобно тому, как делится на них всякий язык, имеющий сколько-нибудь значительную территорию; но эти наречия и говоры, имея друг от друга отличия в фонетике, морфологии и лексике, вм. с тем имеют такое множество общих черт, что русский тип языка вполне сохраняется в каждом из них.. Кое кто из русских ученых делит русский язык на два языка, хотя и близко родственных между собою, но вм. с тем, по их мнению, резко отличных друг от друга,— малорусский и великорусский, причем одни причисляют белорусское наречие к первому, другие ко второму. Эти лица делают крупную ошибку“. І далей: „если возьмем всю массу великорусских говоров (со включением сюда и белорусских, т. к. *белорусское наречие есть*, конечно, *часть великорусского наречия*) и сопоставим их со всею массою малорусских говоров, то обстоятельное сравнение особенностей тех и других не даст нам основания видеть в каждой группе особый, самостоятельный язык“. У выніку гэтага С. лічыць, што адзінства стараж.-рускай мовы ва ўсіх яе гутарках (паўднёва-руск., паўночна-руск. і заходня-руск.—беларускай) рэч вачавідная і на гэтай падставе выкладае „не историю отдельных русских наречий, а историю всего русского языка“. У заключэньні („Лекции“, стр. 274) С. гаворыць, што руская мова старажытнейшай эпохі, будучы адзінай, падзялялася, аднак, ужо тады на гутаркі (гл. стр. 114 гэтага нарысу). Далей (на стр. 275-276) С. кажа: „К XIV в... произошло обособление двух частей русского языка: юго-западной и сев.-восточной, иначе говоря окончательное образование наречий малорусского с одной стороны и великорусско-белорусского с другой стороны“. Апошняя гутарка не пазьней XIV ст. падзялілася на говары акаючыя (зах.-рускі, смаленска-полацкі й частка сярэдня-рускага) и окаючыя (стараж.-наўгародзкі й частка сярэдня-руск.). У XV ст. ў заходняй частцы сярэдня-рускіх,

---

[1]) У 2-й кн. „Чтений в историч. О-ве Нестора-летописца“.

[2]) У папраўл. відзе выданы паасобку у 2-х вып. пад. загал. „Лингвистические и археологические наблюдения“: Варш. 1910-12 г. з „Рус. Фил. В.“

[3]) А. И. Соболевский „Лек. по истр. р яз.“ выд. 3-е. М. 1903 г.“

акаючых говараў адбыўся пераход мяккіх *д* і *т* у *дз* і *ц* (цеканьне і дзеканьне); да гэтай асаблівасьці далучылася ацьвярдзеньне *р*, *ў* на месцы *л* у пэўных выпадках і др. рысы; усе гэтыя адзнакі і зьявіліся падставай для падзелу акаючых говараў на беларускія і паўднёва-велікарускія. Гэткім чынам, па Сабалеўскаму, к XV веку мы ўжо маем гэткія дыалектычныя падзелы рускай мовы: украінская (з галіцка-валынск. галіной), беларуская і паўночна-велікар. з паўднёва-велікарускай.

Дадзеныя, на падставе каторых усе гэтыя дыалектычныя адзінкі патрэбна лічыць складаючымі адну мову, заключаюцца ў тых многіх важных рысах, якія зьяўляюцца агульнымі ў названых гутарках. Гэта: поўнагалосьсе; *ж* і *ч* з dj, tj; *л* з j пасьля губных, форма дав. адз. л. прыметных на *ому* і г. пад. Агульны ва ўсіх гутарках лёс глухіх, пераход *е* у *о* пасьля памякчон. зычнага перад цьвёрдым складам, памякчэньне заднянёбных, мешаніна асноў і склонаў у скланеньнях і г. пад. рысы—усе гэтыя зьявішчы ўжо гістарычнага жыцьця рускіх гутарак—даводзяць іх цесную блізкасьць і грунтоўнае адзінства. Другія, гістарычна разьвіўшыяся рысы, таксама ўласьцівы блізка ўсім рускім гутаркам; сюды адносяцца, напр.: а) зглалашэньне (изглашение) звонкіх зычных у канцы слоў, уласьцівае беларускай, велікарускай і часткова украінскай гутаркам; б) *ў* з *в* і *г* прыцяглае (h) маюць беларуская, украінская і частка велікар. (паўднёва-велікар.); ацьвярдзеласьць ж, ш і ц, уласьцівая большасьці велікарускіх, беларускіх і украінскіх гутарак; г) *е* на месцы старажытн. націскнага ѣ у велікар. і беларуск. мовах і інш. рысы.

Агульныя зьявы аб'яднаюць самыя, здавалася-б, аддаленыя адна ад другой моўныя галіны; гэтак, напр., оканьне зьбліжае паўночна-велікар. гутарку і украінскую мову і многія зьявы зьбліжаюць беларускую і украінскую мовы.

У XV ст. смаленска-полацкі говар быў распаўсюджаны ў Полацку. Час і прычыны выцясьненьня гэтага говару ўжо беларускай гутаркай—невядомы за недастачай гістарычных дадзеных. Пасьля XVI ст. беларуская мова зьяўляецца таксама ў Чарнігаўшчыне, дзе „Литовское наречие“—гаворыць С.—„стало слышаться вероятно не ранее начала XVII в., когда эта часть древней Северщины вошла в состав Польско-Литовского Государства“.[1]).

У тыя-ж 80-я гг. (1886) у „Archiv für slav. Philologie“, польскі славіст *А. Брукнер* (проф. Бэрлінск. Ун-ту) зьмясьціў сваё дасьледваньне аб мове Пазнанск. зборніка XVI ст. на нямецкай мове пад загалоўкам: „Ein weisrussischer Codex miscellaneus der Gräfflich—Raczyński-schen Bibliotek in Posen“. Дасьледваньне разглядае асаблівасьці мовы памянёнага зборніку, яго палеографічныя асаблівасьці і літаратурную гісторыю. Тым-жа проф. Брукнерам зьмешчаны ў Архіве Ягіча (XII т.) яшчэ два цікавыя артыкулы: 1) „Die Visio Tundali in Bömischer und Russischer Uebersetzung“ па рукапісу XVI ст. з Варшаўскай бібліотэкі гр. Красінскіх і 2) аб польска-беларускіх інтэрмэдзіях XVII-XVIII ст. [2]) па рукапісах Петраградзк. Публ. Б-кі. Далей вельмі каштоўнымі для

---

[1]) „Лекции по истор. руск. яз.“ стр. 278, таксама „Смоленско-Полоцкий говор в XIII-XV“. Р. Ф. В., т. XV, стр. 7—24.

[2]) Бібліограф. дадзеныя аб гэтых інтэрмедзіях, вельмі каштоўных таксама для вывучэньня стар. белар. народнай мовы, знаходзім у „Белоруссах“ Е. Ф. Карскага, т. II, вып. 3—дополненія. Прыводзім гэтыя дадзеныя: ***В. Н. Перетц.*** К ист. польск. и русск. народн. театра,—в „Изв. отд. р. яз. и слов. А. Н.“ 1905 г. № 1. Адрыўкі інтэрмедзіяў (інтэрлюдзіі) XVII, XVIII в. на белар. м., разыгр. ў езуіцкіх школах Менску, Полацку, Гародны і інш. гарадоў, апублікаваны Марозавым, Брюкнерам, Перетцам, Сычэўскай. *Перетцам*: „Изв. отд. р. яз. и слов“. 1911 г., № 3, 274; *Сычэўскай*—Р. Ф. В. LXII, 73.

гіст. бел. мовы зьяўляюцца працы проф. *П. В. Уладзімірава.* Першая яго праца „Житие св. Алексея, человека Божия, в зап. руск. переводе конца XV в.“. Зьмяшчае апісаньне асаблівасьцяў моўных і палеографічных, а таксама адзначае уплывы царк.-слав. і зах.-славянскія. У канцы зьмешчан сьпіс слоў з тлумачэньнем. У 1888 г. выйшла самая каштоўная праца Уладзімірава: „Доктор Францыск Скорина, его переводы, печатные издания и язык“, вельмі добра выданая Пецярбурскім Т-вам „Любителей древн. письм.“, зьмяшчаючая наогул 389 стр. і 7 паасобных лістоў зьнімкаў. Твор гэты зьмяшчае апрача гістор.-літар. матар'ялу, і многа лінгвістычных даных для суджэньня аб стар.-бел. гутарках. У тым-жа 1888 г. вышлі і одзывы аб гэтай працы А. І. Сабалеўскага[1]), М. Доўнар-Запольскага[2]), Мурка[3]) і у 1892 г. Будзіловіча[4]). Апрача памянёных прац П. В. Уладзіміраў зьмясьціў у феўральскім № „Кіеўск. стар.“ за 1889 г. прадмову і адзін адрывак з Эв. Цяпінскага. У яго-ж „Обзоре южно-русск. и зап.-русских памятников письм. от XI до XVII ст.“ [5]) разам з паўднёва-заходнімі помнікамі разгледжаны і беларускія. Адносна важнейшых рукапісаў лінгвістычны матар'ял знаходзім тут даволі поўны. Уладзіміраў напісаў так-жа одзывы на працы Е. Ф. Карскага. На магістэрск. дысерт. (на дзьве працы: „Обзор звук. и форм бел. речи М. 1886 г.“ і „К ист. звук. и форм бел. наречия“ 1893 г.) і паасобны артык. „Научное изучение бел. нар. за послед. 10 л.: 1886-1896 г.“—у „Кіевск. Унив. Изв.“ за май 1898 г., які разглядае адны толькі працы Е. Ф. Карскага. Апрача прац Уладзімірава маем яшчэ каля гэтага часу дасьледваньне Чэцьці 1489 г., дакладна азначаючае асаблівасьці мовы гэтага памятніка і лексічны яго склад,—у артык. М. Карпінскага.[6]) Паасобныя весткі, маючыя большае альбо менш. значэньне для гісторыі бел. мовы, знаходзім таксама, напр., у арт. П. Жыцецкага „Очерк лит. истории малор наречия в XVII-XVIII вв.“ у „Кіевской Стар.“, у 1889 г. вышаўшы і паасобн. выданьнем. У розн. мясцох гаворыць аб белар. мове і А. Будзіловіч у сваей працы „Общеслав. язык в ряду других общих языков древней и новой Европы“, у другім томе (В. 1892 г.). Невялічкая заметка аб мове актавых кніг Літоўск. княжаства маецца ў прадмове да „Географич. словаря древней Жомойтск. землі XVI ст.“ *І. Я. Спрогіса.* Вільня 1888 г- (IX-XII). Беларускія матар'ялы прывёў таксама проф. *Е. Буддэ* ў розных мясцох свайго дасьледваньня. „К истор. великор. говоров“ Казань 1896 г.

IV.

Да 80-х-жа гадоў адносіцца й выхад першых прац трэцяга выдатнага нашага вучонага лінгвісты, *ак. Е. Ф. Карскага.* Што датычыць мэтодолёгічных поглядаў гэтага вучонага, дык наогул можна лічыць, што ён прытрымліваецца тых-жа праконаньняў, што і Сабалеўскі; нам мала застаецца дадаць для таго, каб паказаць, што Е. Ф. Карскі прытрымліваецца тых-жа традыцыяў у мэтодолёгічным падыходзе да дасьледваньняў гісторыка-лінгвістычнага характару, якія мы бачым у Сабалеўскага. Можна толькі сказаць, што Е. Ф. К-скі часьцей абасноўвае свае погляды. Гэтак, у сваіх „Лекциях по истор. русск. языка“ [7]) ён у некатарых мясцох выказвае свае погляды гэтак-жа пэўна. Пры разгляданьні пытаньня аб тым, якія гукі стар.-руск. мовы азна-

---

[1]) Ж. М. Н. Пр. окт. 1888 г.
[2]) Минский листок 1888, № 42 і 44.
[3]) Archiw f. sl. ph. XII, 243-268.
[4]) Отчет о 32 присуужд. Уваровск. прем. в зап. Имп. А. Н. 1892 г. т. 69.
[5]) Киев 1890 г. у IV кн. чтений в О-ве Нестора летописца.
[6]) М. Карпінскі „Зап. руск. Четья 1489 г.“ у Рус. Філ. В. за 1889 г. № 1.
[7]) „Лекции по истор. р. яз.“, чит. студ. Вар. Ун-та в 1912-13 г. (літогр. выданьне)

чаліся графікай яе памятнікаў пры дапамозе літараў Ъ і Ь, ак. Карскі кажа: „Трудно делать точные заключения о звуках языка, судя по начертаниям, тем более трудно для русских, у котор. целиком взята азбука из ц.-слав. языка...“ (стр. 98). Тут цікава адзначыць тую абставіну, што ў той час, як папярэднія дасьледчыкі (Сразьнеўскі. Буслаеў, Лаўроўскі, Поцебня, Коласаў), да й сучасьнік Карскага,—А. А. Шахматаў, даволі рышуча выказваліся за тое, што літарамі Ъ і Ь у гістарычную эпоху руск. мовы яшчэ азначаліся глухія галосныя гукі (да XIII ст.), ак. Карскі знаходзіць мажлівым на падставе тых-жа фактаў пісоўнасьці (мешаніна глухіх і чыстых у грам. Мсьціслава Смаленск. 1229г.), на якія апіраліся памянёныя вучоныя, прыйсьці да зусім процілежнага вываду. Іменна: „если писец допускал“—кажа Карскі—„совершенно безразлично употребление О вм. Ъ—и обратно, а также Е, Ѣ вм. Ь—и обратно, то это происходило оттого, что он совершенно одинаково произносил эти буквы, а в так. случ., судя по этому смешению, предполагать существование глухіх, как звуков для древне-русскаго яз. (по крайней мере для эпохи исторической) не приходится“. У выкладаньні гісторыі руск. мовы наогул і паасобных сваіх дасьледваньнях Е. Ф. Карскі заўсёды адмяжоваўвае гіпотэцічнае, якому дае месца ў сваім выкладаньні толькі ў выглядзе найбольш праўдападобных гіпотэз,—ад фактычнага. У выніку гэтага яго выкладаньне робіць на нас такое самое ўражаньне яснасьці, пэўнасьці і абаснованасьці, як і выкладаньне ак. Сабалеўскага. Наколькі Е. Ф. Карскі аддае сабе адчот у каштоўнасьці выказваючыхся ў гісторыі мовы палажэньняў, можна бачыць з наст. яго заключальных слоў пры разгляданьні ім пытаньня аб „Ѣ“ у тым-жа курсе яго „Лекций по ист. р. яз.“ (стр. 121): „На основании всего сказанного относительно Ѣ в русском языке можно притти лишь к заключению, что вопрос этот очень труден; оно и понятно: мы должны судить на основании показания памятников, а последние дают только буквы, а не звуки; выводы значит приходится считать лишь в известной степени остроумными, но далеко не вероятными. Ввиду всего этого и приходится довольствоваться подчеркиванием фактов и отчасти верным их освещением“. Вось у агульных рысах характарыстыка мэтодолёгічных поглядаў Е. Ф. Карскага; аб самых-жа мэтодах дасьледваньня мы ўжо мелі выпадак сказаць ў агульных рысах пры мэтодолёгічным разборы прац Шахматава.

Аднак працы Е. Ф. Карскага цікавы ня толькі для вучонага сьвету спэцыялістаў. Яго працы цікавы і каштоўны для кожнага беларуса яшчэ і як працы фактычна *першага гісторыка беларускае мовы*, каля 40 лепшых гадоў свайго жыцьця ахвяраваўшага цяжкой справе пільнага і уважлівага вывучэньня мовы свайго народу. Многалікія працы Е. Ф. Карскага ў гэтай галіне ёсьць каштаўнейшы падарунак, яго беларускаму народу і разам з тым каштаўнейшы ўклад ў маладую навуку аб беларускай мове, які, як моцная, сталая падваліна, ніколі ня страціць свайго значэньня для яе. Сам—беларус, узгадаваны і ўзросшы на Беларусі, Е. Ф. Карскі быў застрахаваны ад тых, мімавольных іншы раз, памылак, якія мы сустракаем у вучоных велікарускага пахаджэньня у іх суджэньнях і вывадах адносна беларускай мовы, як вынік таго, што гэтая мова ня была іх роднай.

Дакладны бібліографічны агляд усіх прац Карскага па беларускай мове, выданых да 1900 г. знаходзім ў яго самога, у І-м томе „Белорусов“, (стр. 422-426), дадзеныя з якого тут у кароткіх рысах і прывядзем.

Першая праца Е. Ф. Карскага па беларускай мове зьявілася у 1886 г.; гэта—„Обзор звуков и форм белорусской речи“. Москва, прадстаўляючы сабою нарыс жывой беларускай мовы ў гістарычным асьвятленьні.

Фактычны матар'ял К. чэрпае тут з памянёнай ўжо намі (стр. 113) працы І. Нядзёшава, з 2-х друкаваных тамоў актаў, з друкаванага апостала Скарыны 1525 г., рукапіснага зборніка Віленскай грамадз. бібліят. № 262 і з апісаньня Гільтебрандта—„Рукописное отделение Виленской публичной библиотеки“ вып. І. Вильно 1871 г. Гэткім чынам пераважаў матар'ял з друкаваных выданьняў памятнікаў, што і адзначана было ў рэцэнзыі на гэтую кнігу А. І. Сабалеўскім.

У „Рус. Фил. Вестн.“ за 1890-93 г. зьмяшчаюцца шэсьць разьдзелаў наступнай працы Е. Ф. Карскага: „К истории звуков и форм белорусского наречия“ (паасобным выданьнем выйшла ў колькасьці 50 экз. ў Варшаве ў 1893 г.). Тут дасьледваны дадзеныя жывой беларускай мовы, якія былі пад рукамі аўтара да таго часу, і наступн. старажытныя памятнікі: 1) зборнік Віленск. публ. біб-кі XVI-XVII в. № 261; 2) зборнік XVII в. той-жа біб-кі № 107; 3) богагласьнік пачатку XVIII в. № 234; 4) богагласьнік пачатку XIX в. № 235; 5) „Сон Богородицы“ пач. XIX в.; 6) прывілей Казіміра 1457 г.; 7) судзебнік Казіміра 1468 г.; 8) літоўскі статут 1529 г.; 9) літоўскі статут 1588 г.; 10) актавая кніга Гродзенск. земск. суду ў XVII т. Віленск. Арх. Ком.; 11) граматы і акты ад XII да XV в.; 12) зборнік Віл. публ. біб-кі № 262; 13) эванг. Цяпінскага; 14) „Аристотелевы врата“—Віл. публ. біб-кі № 272; 15) „Летапісец“ Пераяслаўлю Суздальскага, выданы Абаленскім.

На апошнюю і на першую працы маюцца рэцэньзіі: а) Ягіча ў „Archiv für Slav. Philologie, XVI, 289-291; б) А. І. Сабалеўскага ў „Живой Старине“ за 1894 г., II-283: „О трудах Е. Ф. Карскага“ па поваду прысуджэньня яму залат. мэдалі і в) П. В. Уладзімірава ў „Кіеўск. Універ. известиях“ за 1894 г. № 1.

Цікавы таксама тэзісы да гэтых дзьвёх прац, прыведзеныя самім Е. Ф. Карскім у памяненым аглядзе ў „Беларусах“ (І т.):

1) Появление научнай грамматики русского языка и его истории возможно лишь после тщательного изучения живых наречий русского языка и истории последних.

2) При характеристике старинных памятников того, или другого наречия недостаточно отмечать только интересующие нас черты, но, по возможности, все отличия их от господствующих старинных типов.

3) Белорусская речь среди других наречий русского языка, преимущественно заслуживает обстоятельного изучения вследствие того, что она лежала в основе литературного языка Западнай Руси в XV—XVII ст., да и в настоящее время сохраняет массу старинных особенностей.

4) Белорусская речь есть одно из великорусских наречий, равносильное сев.-великорусскому и южно-великорусскому.

5) Белорусское наречие представляет свои говоры, иногда очень близкие к соседним великорусским или малорусским.

6) Особенности современного белорусского наречия в отдельности часто восходят к XII в., в общем же они не моложе XV в.

7) Литературный язык старинных западно-русских памятников заключает в себе, кроме стихии белорусской, еще элементы церковнославянск. и польского языков, а также малорусского наречия.

8) Не имея в виду отдельных памятников, а говоря вообще, можно сказать, что иноземное влияние в старом западно-русском языке обнаруживалось, главным образом, на лексическом составе и лишь в очень незначительной степени на звуках и формах.

9) *Особенности живой белорусской речи развились, вероятно, самостоятельно, без посредства соседей.* [1])

---

[1]) Курсыў наш.

У якасьці ўвядзеньня да „Истории звук. и форм беларусск. наречия“, Карскім быў выданы артыкул: „К вопросу о разработке старого зап. русского наречия. Библиографический очерк“.—Вільна 1893 г. З прочых прац Е. Ф. Карскага пeралічым: „Главнейшие течения в русском литературном языке“ („Варшавск. Унив. Изв.“ за 1893 г.), якая была напісана для ўступнай лекцыі; ў гэтым артыкуле бяруцца пад ўвагу вынікі, здабытыя папярэднімі працамі. Далей патрэбна адзначыць рэфэрат для Віленскага археолёгічнага зьезду ў 1893 г.: „что такое древнее западно-русское наречие“ [1]). Тут Е. Ф. Карскі прыходзіць к гэткаму вываду: „Старое западно-русское наречие, будучи разговорным в устах тогдашнего образованного общества, постоянно опиралось на язык простого народа местного белорусского племени. Вследствие указанного обстоятельства, по преобладанию в нем элементов белорусской речи, и *называть его следует белорусским языком, прибавляя* разве, для отличия от современного белорусского наречия, название *старого*“. [*])

Тут, як мы бачым, Е. Ф. Карскі прызнае істнаваньне ў мінулым літаратурнай беларускай мовы, якой проціпакладае сучасную беларускую (трэба лічыць—жывую, народную) мову, якую ён заве ня толькі тут, але і ўсюды пасьля—гутаркай (наречіем), моваю (речью).

Далей ідуць працы Е. Ф. Карскага, ахвяраваныя дасьледваньню паасобных старажытных беларускіх памятнікаў.

Гэта наступныя працы: „Два памятника старого западно-русского наречия: 1) Лютеранский катехизис 1562 г. и 2) Католический катихизис 1585 г. [2])

Одзыў аб гэтай працы знаходзіцца ў памянёным артыкуле П. В. Уладзімірова: „Научное изучение беларусского языка за послед. 10 лет“ (гл. стр. 117 гэт. нар.).

У 1894 г. У „Варш. Універ. Изв.“—№ № 2 і 3—зьявілася праца Карскага: „О языке так называемых литовских летописей. В. 1894 г.“. Напісана на падставе летапісу з сьпіску „Авраамки“ XV в., з Увараўскага сьпіску летап., з Пазнанскага сьпіску па дасьледваньню Брукнера і асабліва з рукапісаў літоўскіх летапісаў бібліотэкі гр. Красінскіх у Варшаве. У 1896 г. зьяўляецца дасьледваньне К.—„Западно-русские переводы псалтири в XV—XVII в.в.“ (Варшава 1896 г. 8° XIII+444). Разбор гэтага дасьледваньня знаходзіцца ў тым-жа артыкуле Уладзімірава. „Научное из. белорусского языка...“ Усе тры паказаныя працы зьмяшчаюць ў сабе фонэтычны, морфолёгічны й сынтаксічны аналіз мовы разьбіраючыхся памятнікоў.

У наступных працах Е. Ф. Карскі ўжо пераважна зварачае увагу на літаратурны, палеографічны й сынтаксічны бакі памятнікоў.

Гэткія працы: а) Западно-русский сборник XV в., принадлежащий Имп. Публ. биб-ке Q I. № 391. Палеографические особенности, состав и язык рукописи. СПБ 1897 г. [3])

б) „Западно-русское сказание о Сивилле пророчице по рукописи XVI в. Текст сказания, его состав. и язык“. Варшава 1898 г. [4])

в) „Два древнейшие русские документа Главн. Арх. Царства Польск. в Варшаве. Древности“ [5]). г) „Особенности письма и языка рукописного сборника XV в., именуемого летописью Авраамки“ Варш. 1899 г. 1—44 (З „Варш. Унив. изв.“ 1899 г.—III). Аднак тут ня ўсё можна лічыць беларускім.

---

[1]) Глядзі: „Труды IX археологич. с‘езда,“ II М. 1897 г.
[*]) Курсыў наш.
[2]) У „журн. Мин. Нар. Прос.“ за жнівень 1893 г. стр. 406—430.
[3]) З „Изв. отд. русск. яз. и слов. И. А. Н.“ II, 964—1036.
[4]) У „Варш. Унів. Известиях“ 1898 г. № II, 1—32.
[5]) У працах Арх. Кам. Імп Маск. Арх. т-ва“т. I, 1898 г. вып. 3, стр. 543—550.

З пачатку XX ст. пачынае выходзіць і каштаўнешая праца Е. Ф. Карскага ня толькі для беларускай філёлёгіі, але й для славянскай філёлёгіі наогул, праца, вянчаючая сабою ўсё, зробленае Е. Ф. да гэтага часу; гэта—„Беларусы“,—вельмі пашыранае дасьледваньне ў галіне беларускай мовы й літаратуры, прадстаўляючае сабою цэлую энцыклёпэдзію з трох томаў у сямёх вялікіх кнігах. Асабліва цікавы для нас I том—„Введение в изучение языка и народной поэзии белоруссов“—(Вільна 1904 г.) і другі том, маючы агульны загаловак: „II. Язык белорусского племени“, складаючыйся з трох выпускаў: „1. Историческ. очерк звуков белорусского наречия“ (Варшава 1908 г.); „2. Историч. очерк словообразования и словоизменения в белорусском наречии“ (Варш. 1911 г.) і „3. Очерк синтаксиса языка белорусского племени“ (Варшава 1912 г.).

У паказаных двух томах Е. Ф. Карскі скарыстаў усе свае папярэднія працы і часткова працы іншых вучоных для дэтальнай характарыстыкі фактаў беларускай мовы ў магчымым гістарычным асьвятленьні; у гэтых адносінах праца Е. Ф. Карскага прадстаўляе для нас найвялікшую каштоўнасьць з усяго таго, што зроблена было ў славянскай філёлёгічнай навуцы да гэтых час.

Па пытаньню аб складаных элемэнтах беларускага народу і яго мовы вычэрпваючыя весткі дае I том „Белорусов“.

Тут Е. Ф. Карскі наогул дае схэму, падобную да разгледжанай ужо намі схэмы А. А. Шахматава. Разьбяганьне тут толькі ў пытаньні аб ляшскім пахаджэньні пляменьняў дрыгавічоў і радзімічоў. А. А. Шахматаў, як мы бачылі (стр. 108 гэт. нарысу), радзімічоў бяз усякага віханьня прылічвае да ляхаў і прымае, як найбольш праўдападобнае, палажэньне аб ляшскім пахаджэньні і дрыгавічоў. Е. Ф. Карскі, наадворот, не нахілен тлумачыць паказаньні Лаўрэнцеўскага сьпісу летапісу, як простае пасьведчаньне ляшскага пахаджэньня радзімічоў. [1]

Дрыгавічоў-жа К. лічыць рускім племям [2]), атрымаўшым, аднак, дзяржаўную арганізацыю значна раней іншых родных рускіх пляменьняў (драўлян, палян і наўгародзкіх словен), якое памінаецца ў візантыйскіх пісьменьнікаў (пад імем Δρουγουβῖται, Δραγουβῖται), як племя, вельмі рана зьяўляючаеся на Баўканскім паўвостраве і нават пазьней (пасьля 964 г.) сярод Палабскіх славян[3]). Е. Ф. лічыць нават, што калі прытрымлівацца пануючай тэорыі аб прыкарпата-прыпяцкай першародзіне славян, дык з трох галін дрыгавічоў (баўканскіх, палабскіх і папрыпяцкіх)—беларускіх прыдзецца лічыць самай старажытнай галіной[4]).

Падробна спыняецца К. і на трэцім пляменьні, якое ўвайшло ў аснову беларускай народнасьці: смаленска-полацкіх крывічох[5]). У агульным выніку ўсе тры пляменьні, увайшоўшыя ў склад беларускага народу, К. лічыць рускімі[6]). Далей[7]) знаходзім меркаваньні аб аднаўленьні фонэтычных і морфёлёгічных асаблівасьцяў рускай першамовы. У выніку адсутнасьці пісоўных памятнікаў ад паказанай эпохі прыдзецца зьвярнуцца да сучасных жывых гутарак і, параўняючы іх з гутаркамі іншых рускіх краін, адкінуць асаблівсьці іх пазьнейшыя, гістарычныя, і выдзеліць агульныя рысы, сагласаваўшы апошнія з паказаньнямі самых раньніх памятнікаў мовы.

Атрыманыя гэткім спосабам рысы і будуць складаць характарыстыку асаблівасьцяў рускай першамовы.

---

[1]) „Белорусы“ т. I стр. 71 і наступн.
[2]) Ibid.
[3]) Ibid., стр. 70; гл. таксама Шафарыка: „Слав. древности“, т. II, кн. 1. стр. 368-369.
[4]) „Белорусы“, гл. усё аб Дрыгавічох, стр. 65—71.
[5]) Ibid. стр. 74—80.
[6]) Ibid. стр. 83.
[7]) Ibid. стр. 83 і наступ.

Гэткім-жа дакладна мэтадам, параўняючы беларускія говары з украінскімі, і паўднёва-велікарускімі і адкідаючы рысы, разьвіўшыяся пасьля XII ст., „мы в состоянии будем“ —гаворыць К.—„отметить те зародыши местных особенностей, которые с присоединением более поздних черт, легли в основу современного белорусского наречия“[1]). „Адносячыся да прац у гэтым напрамку А. І. Сабалеўскага, А. А. Шахматава і інш., К. далей дае характарыстыку тых гукавых і фармальных рыс беларускай мовы, якія увайшлі ў яе ў розныя эпохі яе існаваньня й разьвіцьця. Пачынаючы з гукаў і форм, перайшоўшых у беларускую мову з агульна-славянскай эпохі, Е. Карскі пералічвае далей рысы рускай першамовы, у ліку іншых рускіх гутарак перайшоўшыя і ў беларускую, зводку якіх мы ўжо адзначылі ў пазьнейшых працах А. А. Шахматава (апрача фармальных і сынтаксічных рыс).

Далей К. пераходзіць да разгляду моўных рыс, разьвіўшыхся ў говарах пляменьняў, стварыўшых сучасную беларускую народнасьць; многія з гэтых рыс у большасьці былі разьвіты разам, альбо адначасна з іншымі рускімі пляменьнямі. Выказваючыяся тут меркаваньні па сутнасьці тыя ж самыя, што і прыведзеныя ва ўжо разабранай працы А. А. Шахматава[2]), якая, паміж іншым, зьявілася значна пазьней за працу Е. Ф. Карскага.

Зьявішчы гэтай эпохі, хронолёгічна азначаныя Карскім (як пазьней і Шахматавым), ад выдзяленьня з агульна-рускай мовы да XII-XIII в. (г. зн. да пачатку аб'яднаньня зах.-рускіх краін пад уладай Літоўскіх князёў), тыя самыя, што й прыведзеныя намі з нарысу Шахматава.

Патрэбна толькі памянуць прыведзеныя К. і няпрыведзеныя Ш-вым морфолёічныя зьявішчы гэтай эпохі.

Гэта: 1) Уплыў формаў род. адз. л. іменьняў з асн. на ô (тыпу bogôs conjós-бог-конь) на род. адз. іменьняў з асноваю на û, а затым і на jo, j (сын, гость), у выніку чаго зьяўляюцца формы, ўродзе-сына, гостя, і род на *ов-ей* (столов, полей-палёў[3]). 2) Аканчальнае памягчэньне „*т*“ у канчатку 3-й ас. адз. і мн. л. цяпер. часу дзеясловаў, адначасна меўшае месца і ў старажытных говарах усходняй часткі сярэдня-русаў (цяперашн. паўднёва-велікарусаў) і паўднёва-русаў (цяперашніх украінцаў). Затым Карскі пералічвае тыя зьявішчы, каторыя разьвіліся ў тую-ж старажытнейшую эпоху 1) *толькі ў зах.-рускіх (беларускіх) пляменьняў сумесна з паўднёва-рускімі, якія нельга прыпісаць стар-рускай мове ў цэлым (ў* на месцы *л* цьвёрдага ў канцы склада (воўк, ішоў); ацьвярдзеньне ж, ч, ш (шч) і адсутнасьць пры гэтым лабіалізацыі папярэдняга *е* (адзежа зам. велікар. одёжа); *дж* на месцы стаража.-руск. *ж.* з dj (віджу, ураджай); доўгае вымаўленьне зычных на месцы зычн.+j+ галосны[4]); ацьвярдзеньне губных у канцы слоў і перад j (сем, б'ю п'ю, голуб); страта складовага характару не пад. націскам перад зычным і ў канцы слова; замена дзеяслоўных прыслоўяў (деепричаст.) на-*а,-я* дзеяслоўн. прыслоўямі на-*учы-ючы-ачы* (*ячы*) і 2) *ў зах-рускіх говарах сумесна з усходн. часткай і часткова з паўночна-рускімі говарамі* аслабленьне звонкага элемэнту (згалашэньне) зычных, апынуўшыхся ў канцы слова пасьля страты за імі ъ і ь (сат, Бох), за выключэньнем (у белар.) д, з, ж; ацьвярдзеньне грунтоўнага *ц*; памягчэньне зычных (за выключэньнем ж, ч, ш, (шч), р, ц, перад галоснымі пярэдняга раду і некаторыя др. зьявішчы). Гэткім чынам галаўнейшыя гукавыя і часткова формальныя асаблівасьці сучаснай беларускай мовы, як мы бачылі, зарадзіліся ўжо ў эпоху старадж.-рускую

---

1) „Белоруссы“ т. I. стр. 84.
2) „Очерк древнейшего периода ист. русс. яз.“ Пгр 1915 г.
3) ужо пазьней, па аналёгіі з „сталоў“
4) Пачатак гэт зьявішча, як мы бач. (гл. стр. 112), Шахм. аднос. да стар. руск. эпохі.

(прыстасоўваючы тэрмін А. А. Шахматава), г. зн. каля XIII ст. Значыць старажытнейшая эпоха гісторыі беларускай мовы супадае хронолёгічна з старажытна-рускай эпохай гісторыі агульнарускай мовы.

У эпоху Літоўскага панаваньня над Беларусьсю, выпрацаваліся аканчальна ўсе тыя рысы беларускай народнай мовы, якія мы й цяпер маем у жывых беларускіх говарах. Гэта: а) разьвіцьцё прыдыханьня ў пачатку слова [1]), б) зьяўленьне сьцягнутых формаў займеннага скланеньня прыметных; в) замена формы наз. скл. двойств. л. у мужч. р. пры чыслах 2, 3, 4 формамі наз. мн. л. (два, тры, чатыры браты, сталы, кані); г) ужываньне формы наз. мн. л. у значэньні вінав. мн. л. (ганю коні, бачу гусі); д) замена прыйменьняў *с, из* цераз адно *з* і *от* цераз *ад* (пад уплывам-*пад*); е) *як, які* зам. *как, какой* і інш. рысы, часткова (пералічаныя вышэй) разьвіўшыяся ў беларускіх говарах (зах.-рускіх) сумесна з украінскімі (паўднева-рускімі), часткова сумесна з сярэдня-рускімі (паўднёва-велікарускімі) говарамі, часткова і на ўласнай глебе[2]). Прыводзяцца Карскім і вельмі цікавыя дадзеныя слоўнікавых запазычаньняў беларусаў з літоўскай і латыскай моў у гэтую эпоху[3]).

Наступная эпоха—эпоха панаваньня Польшчы—у жыцьці беларускай мовы характарызуецца Карскім, як эпоха зьяўленьня ў ёй многалікіх паланізмаў, што з часам зрабіла старую літаратурную беларускую мову вельмі штучнай і ўрэшце прывяло да замены яе ва ўжытку вышэйшага і гарадзкога клясаў беларускага грамадзянства мовай польскай. Слоўнікавыя паланізмы ўвайшлі (у невялікай колькасьці) і ў народную мову.

У паасобных выпадках польскі ўплыў (дзеканьне) можна бачыць у гэткіх славах, як *моц, цуд, моцны, абяцанка* і некат. другія. Што-ж датычыць агульна-фонэтычнага беларускага зьявішча цеканьня й дзеканьня, дык раней яно прыпісвалася Е. Ф. Карскім [4]) уплыву польскай мовы; пачатак гэтага зьявішча ён лічыў значна раней XVI ст.[5]). У „Беларусах“[6]), аднак, К. зьмяняе свой пункт погляду і лічыць што беларускае цеканьне і дзеканьне мае зусім іншы характар (бяз шыпячага прыгуку), чым у польскай мове, і разьвілося самастойна быць можа яшчэ ў XIII-XIV веку. Што датычыць цьвёрдага *р.*, дык акад. Карскі, згодна з І. А. Бодуэнам-дэ-Куртэнэ, выказваецца ў даным выпадку за тое, што беларуская мова магла разьвіць гэтую цьвёрдасьць таксама незалежна ад польскай мовы. Выказваецца тут, паміж іншым, і тое меркаваньне, што ў той час, як палякі лёгка ўсвайваюць мягкае *р*, заходнія беларусы, іхнія суседзі, фізычна ня могуць яго вымавіць. У тым-жа разьдзеле[7]) акад. Е. Ф. Карскі дае сьпісы слоў, запазычаных з польскай, жыдоўскай і татарскай моў. Канчаецца гістарычны агляд пахаджэньньня й разьвіцьця беларускай мовы VI-м разьдзелам („Белоруссы“ т. I), дзе даецца характарыстыка ўжо сучасных беларускіх говараў.

Зварачаючыся да II-га тому „Белоруссов“ ахвяраванага дэтальнаму вывучэньню фактаў фонэтыкі, морфолёгіі і сынтаксу беларускай мовы ў гістарычным мінулым і ў параўнаньні з сучаснымі жывымі беларускімі говарамі, мы заўважаем, што й тут Е. Ф. Карскі як у мэтодах вывучэньня фактаў, гэтак і ў тлумачэньні іх, да канца прытрымліваецца свайго навукавага „credo“. Ён не заходзіць вельмі далёка ў глыб гіпотэтычнага, аддаючы нават перавагу перад падобнымі фонетыч-

---

[1]) Гл. стр. 112 пункт f.
[2]) Гл. „Беларусы“ т. I. стр. 118-123.
[3]) Ibidem
[4]) Е. Ф. Карскі: „К истор. звуков и форм бел. р.“ стар. 236.
[5]) А. І. Сабалеўскі лічыў, наадварот, што зьяв. гэта мае пачатак у XVI ст.
[6]) „Беларусы“ т. I. стар. 165 і наступ.
[7]) Ibid. разьдзел V.

нымі пабудовамі, у процілежн. ак. Шахматаву, тлумачэньню некаторых фактаў дзеяньнем псыхолёгічнага фактара аналёгіі. На стар. 78 вып. I-га т. II-га „Белоруссов“—К. аб гэтым кажа: „В отдельных случаях те или другие изменения гласных придется отнести и на действие аналогии родственных или сходных слов или образований, а также и на народную этимологию. Прибегать к этим факторам иногда значительно безопаснее, чем допускать возможность необычайных фонетических изменений, часто прыдуманных ad hoc“. Агульны-ж характар і мэты гэтага пашыранага гістарычнага агляду гукаў і форм беларускай мовы, азначае сам аўтар у сваёй прадмове да 2-га вып. II-га тому, дзе гаворыць:

„... Здесь целью автора было прежде всего по возможности полно собрать факты старого западно-русского наречия и современных белорусских говоров, расположить их по соответствующим отделам и статьям и дать посильное их об‘яснение применительно к установившимся в науке русского языковедения взглядам. Широкие обобщения, окончательное выяснение исторических процесов в жизни русского языка, равным образом точное и решительное установление отношения белорусского наречия к великорусскому и малорусскому, по мнению автора, в настоящее время еще не возможны, так как необходимо закончить детальную разработку белорусского наречия, и кроме того, выждать появлення трудов, всесторонне-рассматривающих языковой материал великорусского и особенно малорусского наречия. Гипотезы, построенные теоретически, опирающиеся на незначительное число фактов, часто случайных, современем могут оказаться не имеющими под собою именно исторической почвы, и, следоват., лишенными цены, тогда как факты языка никогда не потеряют значения“.

Мы прывялі тут блізка цалiком прадмову Е. Ф. Карскага з прычыны яе важнасьці. З яе мы бачым:

I) Якую мэту ставіў сабе аўтар, робячы сваю вялізную працу па зьбіраньню і сыстэматызацыі фактаў гістарычнага мінулага і сучаснай беларускай мовы і 2) як ён ішоў да гэтай мэты.

Мы бачым, што ак. Карскі ня ставіў сабе мэтай стварэньне гісторыі беларускай мовы ў дапраўдным сэнсэ гэтага слова.

Знаёмячыся з самым зьместам усяго другога тому „Белорусов“ мы праконваемся, што К. якраз тут пунктуальна выпаўніў тыя заданьні, якія, мы ўжо бачылі, ён даваў для гісторыка мовы ў сваіх „Лекциях по истор. русск. яз.“ нашчот пытаньня аб ѣ (гл. стар. 31-32). Можна сказаць толькі, што тут, у гістарычным нарысе беларускай мовы, Е. Ф. Карскі на ўсім яго працягу, а не адносна некаторых толькі пытаньняў, здавальняецца „подчеркиванием фактов и отчасти верным их освещением“.

Апрача ўсіх разгледжаных намі вялікіх прац, неабходна памянуць яшчэ зьявіўшыяся ў апошнія часы, маючыя простыя адносіны да гісторыі белар. мовы:

а) *Е. Ф. Карский.* Белорусская речь. Очерк народного языка с историческим освещением. Петроград. 1918. Изд. Белорусского областного комитета при всероссийском совете крестьянск. депутатов—60 стр.

б) *Яго-ж.* „Белорусская речь арабским письмом“—арт. у „Ученых записках высшей школы гор. Одессы“, т. II (па аддзелу гуманітарн. навук), прысьвечаны Б. М. Ляпунову. 1922 г., стр. 1-2.

в) *Яго-ж.* Русская диалектология. Очерк литерат. русского произношения и народной речи великорусской (ю.-великор. и сев.-великор. говоров), белорусской и малорусской (украинского языка). Книгоизд-во „Сеятель“ Е. В. Высоцкого. Ленинград 1924. Каштоўны для нас аддзел—„Белорусское наречие“—стр. 73—118, як і наогул уся кніга.

г) *П. А. Расторгуев.* „Белорусская речь в ее современном и прошлом состоянии“—артык. у „Курсе белоруссоведения“ (лекцыі, чытан. ў Белар. народн. ун-це ў Маскве летам 1918 г.)—Масква 1918-1920 г. стр. 185—251. Даволі каштоўны артыкул.

д) *Николай Дурново.* Очерк истории русского языка. Гос. Изд. Масква—Ленінград. 1924 г., 376 стр. У адпаведных аддзелах многа вельмі каштоўнага для гсторыі белар. мовы. Ва ўсім курсе аўтар разглядае мовы велікар., укр. і беларускую, як паасобныя мовы ўсх.-слав. галіны.

V.

Гэтак мы пазнаёміліся з галоўнымі працамі нашых выдатнейшых вучоных мовазнаўцаў, маючымі значэньне для гісторыі беларускай мовы, і з іх мэтодамі вывучэньня гістарычных зьявішч мовы ў іх хронолёгічнай і гэнэтычнай паступовасьці.

Мы ўжо вышэй мелі магчымасьць заўважыць, што мэтоды гістарычнага вывучэньня рускай мовы, а ў яе складзе і беларускай, перажылі з часу свайго зараджэньня і да нашых дзён пэўную эволюцыю.

Якія-ж прычыны альбо, гэтак сказ., унутраныя рухаючыя сілы гэтай эволюцыі.

Як мы ведаем, наша навука ў пачатку свайго разьвіцьця ўжывала апісальны мэтод граматычнага вывучэньня мовы, які прыводзіў толькі к награмаджэньню сырога матар'ялу. За зьбіраньнем сырога матар'ялу няўхільна йдзе ўжо параўнальнае яго вывучэньне, а за апошнім і параўнальна-гістарычнае.

Ужо параўнальнае вывучэньне моў, паказваючы адпаведнасьці і аналёгіі ў параўнаючыхся мовах, ставіць пытаньне ня толькі аб неабходнасьці шукаць гістарычнага тлумачэньня гэтых адпаведнасьцяй і разьбяганьняў, але й знайсьці і растлумачыць прычыну самых гістарычных зьмен. А гэтае тлумачэньне ўжо залежыць ад тлумачэньня самага паняцьця „мова“. Можна сказаць, што рознае тлумачэньне гэтага паняцьця і зьяўляецца грунтоўным пунктам разьбяганьня існуючых і існаваўшых мэтодолёгічных школ у мовазнаўстве.

Біолёгічная школа, разглядаўшая мову, як організм (Бопп), у сабе самом зьмяшчаючы законы ўласнага разьвіцьця, якія прыводзяць спачатку мову (як і ўсякі фізыолёгічны організм) к падняцьцю, росквіту, а затым к падзеньню, уміраньню, натуральна глядзела на жывыя мовы, як на нешта недакладнае, уміраючае; на старажытны-ж іх стан, біолёгічная школа, наадварот, глядзела, як на стан росквіту, дакладнасьці, адзіна варты вывучэньня. Па гэтай прычыне дыялектычны прынцып у гістарычным вывучэньні моў і ня мог атрымаць належачага разьвіцьця ў эпоху панаваньня тэорый біолёгічнай школы.

У процілежнасьць біолёгічнай—псыхолёгічная школа, ня лічучая мову самастойным організмам, а толькі аднэй з праяў псыхічнай чыннасьці чалавека, маючай мэтай выражэньне ўнутранага яго сьвету[1]), у грунт мовазнаўчай навукі кладзе ўжо псыхолёгічнае, фізіолёгічнае і акустычнае вывучэньне мовы, а гэта цягне за сабою ўжо вывучэньне жывых гутарак, як адзіна-даступных для гэткіх назіраньняў і экспэрымэнтаў і разам з тым прадстаўляючых куды больш надзеўную апору, чым някывыя літары пісоўных памятнікаў. Найбольш яскравымі прадстаўнікамі гэтага напрамку зьяўляюцца профэсары—*І. А. Бодуэн дэ-Куртэнэ* і *В. А. Багародзіцкі.*

Грунтоўныя палажэньні гэтай школы прыняты ўсімі нашымі выдатнымі вучонымі (напр. І. А. Сабалеўскім, Е. Ф. Карскім) таксама як і зах.-эўропэйскімі (напр. Лескін, Ягіч, Бругман); гэтыя вучоныя, па-

---

[1]) Параўн. В. Гумбольдта „Ueber die Kavi-sprache“: „Язык есть не вещь (ἔργον), не мертвое произведение, а деятельность (ἐνεργεία). Он есть вечно повторяющееся усилие духа сделать членораздельный звук выражением мысли“. Гэтая думка Гумбольдта была разьвіта Штэйнталем.

клаўшы пагляды псыхолёгічнай школы ў грунт гістарычна-параўнальнага мэтоду, даволі добра асьвятлілі многія незразумелыя ўперад зьявішчы мовы як у яе мінулым, гэтак і ў цяперашнім стане (параўн. напр. тлумачэньні аналёгіей, народнай этымолёгіей—асмысьленьнем).

Школу, на чале якой стаяць нябошчыкі Ф. Ф. Фортунатаў і А. А. Шахматаў, завуць яшчэ „філёзофскай“.

Мы ўжо бачылі, што гэтая школа імкнецца, к шырокім абагульненьням, імкнецца даць яскравы, ўпаўне закончаны малюнак—„філёзофію гісторыі мовы“. Паглядзім-жа: ці магчыма гэта?

Мы ўжо заўважылі таксама, што ў той час, як школа Сабалеўскага—Карскага ў сваіх дасьледваньнях ад вядомага ідзе да невядомага (прычым у галіну апошняга далёка не заходзіць), г. зн. ужывае мэтод індукцыйны (наводны), школа Фортунатава-Шахматава часта прыбягае да дэдукцыйнага (выводнага) мэтоду; маючы ўжо цэлы шэраг гатовых (апрыорных) палажэньняў і гіпотэз агульнага характару, атрыманых на падставе вывучэньня жывой мовы, гэтыя вучоныя часта ня лічаць нават патрэбным вывучаць вялікую колькасьць памятнікаў, а задавальняюцца толькі паверкай сваіх палажэньняў на выніках вывучэньня аднаго толькі якога-небудзь памятніка. Пры гэтым здараюцца часам кур'ёзныя становішчы, што адзначыў, напр. Лескін у сваёй рэцэнзыі на працу В. Н. Шчэпкіна: „Рассуждение о языке Саввиной книги“ (СПБ 1899). Прыступаючы к дасьледваньню мовы Саввінай кнігі, Шчэпкін ужо наперад праканаsuccessfully ў тым, што 1) пісец Саввінай кнігі правільна перадаваў сваё вымаўленьне на пісьме і 2) што *Ь* перад наступным цьвёрдым складам у стараж.-царк.-слав. мове лабіалізавалася (агубілася)—(зданьне Ягіча)—і ставіць сабе заданьнем давесьці гэта на тэксьце Сав. кнігі. Яму прыходзіцца напруджваць усе свае здольнасьці, у выніку чаго ўсёж-такі аказваецца, што на 19 выпадкаў з Ъ і з Ь (што патрэбна было давесьці) прыходзіцца 150 выключэньняў!

Гэтак мы ўжо даволі ясна бачылі, у чым заключаецца прынцыповая падстава двух існуючых цяпер галоўных мэтодолёгічных напрамкаў у гістарычным вывучэньні рускай і паасобку беларускай моў. Мы бачылі, што пры ўсёй найвялікшай позытыўнасьці мэтодаў, якія ужывае школа Сабалеўскага-Карскага,—школа Фортунатава-Шахматава, робячы экскурсію ў галіну дакладнага вывучэньня жывых говараў і рукапіснага матар'ялу, у сутнасьці зноў варочаецца *да забытай*, з часу асуджэньня яе гістарычнай школай Я. Грымма, *філезофіі* ў даным разе ўжо *гісторыі мовы*, лепш сказаць—да мэтафізікі гісторыі мовы.

Бо калі прызнаць, што мова ёсьць зьявішча псыхолёгічнае, што ў груньце сваім бяссумненна, дык прыходзіцца прыйсьці да вельмі няўцешных вывадаў адносна магчымасьці аднаўленьня поўнага і дакладнага гукавога малюнку мовы ў мінулым. Бо законы мовы, устаўляючыяся мовазнаўствам наогул, ёсьць законы эмпірычныя, як і ўсе законы, выводзячыяся адносна псыхічнай чыннасьці чалавека; законы гэтыя прадстаўляюць сабою пэўныя палажэньні аб законамернасьці моўных зьявішч, якая назіраецца ў пэўны час, у пэўным месцы і пры пэўных умовах.

Каб праверыць гэткі эмпірычны „закон“, даволі простай устаноўкі дадзеных дасьведчаньня (опыта), г. зн. тых умоў экспэрымэнту альбо назіраньня, пры якіх мы заўважылі дадзенае зьявішча. І, па сутнасьці, гэтыя палажэньні, азначаючыя той ці іншы напрамак заўважанага зьявішча, толькі умоўна завуцца „законамі“.

Бо, калі прыняць палажэньне Я. Грымма, што для вываду гукавога закону неабходна *поўная індукцыя*, дык прыходзіцца разам з тым і прыпомніць, што палажэньні, да якіх прыводзіць нас поўная індукцыя, зьяўляюцца простым суміраваньнем паасобных фактаў, якія, будучы выказаны *аналітычным суджэньнем*, ніколькі не пашыраюць нашай веды.

Задача-ж усякай навукі заключаецца ў тым, каб вывесьці гэткія законы, якія-б выказваліся сынтэтычнымі суджэньнямі, устаўляючымі залежнасьць паміж зьявамі, далёка не вачавідную; к устаўленьню-ж гэткай залежнасьці нас прыводзіць толькі няпоўная, альбо навуковая (Бэканаўская) індукцыя.

Адсюль для нас ужо ясна, што, напр., лінгвістычны закон, які выказвае палажэньне: „глухия Ъ і Ь у старажытна-рускай мове пад націскам у пачатковым складзе і ў групах зычных, цяжкіх для вымаўленьня, перайшлі ў чыстыя *О*, *Е*, а ў канцы і ў сярэдзіне слова ў палажэньні перад складам з галоснымі, альбо Ъ, Ь—страціліся ў вымаўленьні"—ня болей як засьведчаньне факта, ды яшчэ пры тым і ня зусім праўдападобнае, а гіпотэтычнае. І гэткімі гіпотэзамі поўна наша гістарычная навука аб мове. Калі эмпірычныя законы й мажлівы адносна зьяў сучаснай нам жывой мовы, дык адносна адбітку іх у мінулым прыходзіцца рабіць толькі больш менш праўдападобныя прадпалажэньні, апіраючыся на факты помнікаў, але ні ў якім выпадку не будаваць на гэтых прадпалажэньнях яшчэ новых гіпотэз. Гэткім чынам роль гісторыі мовы па сутнасьці зводзіцца да таго, каб быць такім фонам, на якім больш яскрава і ясна адбіваюцца зьявы сучаснай жывой мовы, да ролі, значыць, дапаможнай. Дадатнага-ж і дакладнага аднаўленьня гукавога складу старажытных гавараў мы павінны чакаць ад агульнага мовазнаўства, апіраючагася на фізыолёгію й псыхолёгію мовы; мы павінны чакаць таго часу, калі псыхолёгія мовы знойдзе гэткія законы, якія граюць у разьвіцьці мовы вечна-накіроўваючую роль. Іншае пытаньне—ці магчыма гэта для псыхолёгіі наогул.

У заключэньне неабходна сказаць, што ня гледзячы на тое, што школа Фортунатава-Шахматава ў сваіх пабудовах гіпотэтычнага характару і ня вытрымоўвае строга-навуковай крытыкі, тым ня меней паасобныя мэтоды распрацоўкі матар'ялу, якія ўжываюцца гэтаю школай, напр., інтэнсіўны мэтод вывучэньня рукапісаў, прынесьлі і прыносяць вялізную карысьць для пашырэньня поля распрацаванных і асьветленых фактаў і, у злучэньні з мэтодамі процілежнай школы, палягчаюць вывады найвялікшай, магчымай для гісторыі мовы ў сучасным становішчы, дакладнасьці.

Апрача таго значныя весткі гістарычнага характару, атрыманыя А. А. Шахматавым пры дапамозе лінгвістычных дадзеных, вельмі жыва асьвятляюць цёмныя куткі як культурнай гісторыі нашага народу, гэтак і гісторыі яго мовы, і, нават пры спрэчнасьці іх, падкупляюць нас шыратою і стройнасьцю гістарычнай пэрспэктывы.

Што датычыць гістарычнага вывучэньня беларускай мовы, дык, калі тут і могуць знайсьціся некаторыя дадзеныя для больш шырокіх пэрспэктыўных пабудоў, якія можна было-б назваць гісторыяй беларускай мовы, дык ва ўсякім разе гэтая праца пабудаваньня патрабуе пры сучасным становішчы гістарычнай навукі аб мове наогул, Шахматаўскага да яе падыходу ў мэтодолёгічнай яе сутнасьці.

І, нават, калі-б такая праца (ізноў кажу: пры сучасных фактычных дадзеных і мэтодолёгічным становішчы гістарычнай навукі аб мове) і была зроблена, яна, па сутнасьці, нічога не дадала-б к дакладнасьці таго гістарычнага асьвятленьня фактаў беларускай мовы, якія мы ўжо маем хоць-бы ў працах ак. Е. Ф. Карскага.

Гэтак, прыступаючы да працы пабудовы гісторыі беларускай мовы, мы маем перад сабою тыя заданьні, якія зусім правільна паказаў акад. Карскі: мы павінны канчаць і паглыбляць дэтальнае выяўленьне гістарычных фактаў і фактаў сучаснай беларускай мовы ды чакаць усебаковага вывучэньня велікарускай і украінскай моў.

И. М. Соловьев.

Школоведение как предмет науки.

I.

Даже в наше время далеко не вполне изжита точка зрения на задачи школоведения, как лишь на сумму сведений, необходимых педагогам-практикам, организаторам школы и системы народного образования. И потому в тех случаях, когда ставилась на очередь—в ту или иную переходную эпоху, а тем более в революционные периоды,—реформа школы и реорганизация школьного дела в его целом, то эти сложные вопросы разрешались обычно как-то случайно, наспех, как того требовали практические нужды государственной политики. качестве экспертов и компетентных специалистов, привлекались при В этом преимущественно педагоги-практики, педагоги-организаторы и лица, знакомые с постановкою школьного дела в других странах. Педагоги-реформаторы, выявляя свои личные знания и свой практический опыт, не могли опереться на ту науку, которую мы называем школоведением.

Наука эта весьма сложная, организационно-синтетическая, имеющая своей целью установление принципов организации школьного дела. „Школьное дело“ берется при этом в широком значении. Имеется в виду школа, как всякое учебно-воспитательное учреждение для не достигших полного развития детей (подростков, юношества). Следовательно, сюда войдут и дошкольные учреждения, и внешкольные, имеющие дело главным образом с подростками; сюда войдут и детские дома (как бы они ни были связаны со школой), и разнообразные колонии (колонии-санатории), и коллекторы, учреждения-патронаты и пр. Школьное дело понимается, как органическое соединение всех этих учреждений, как звеньев общей организации системы народного образования.

Понятно, что только в наше время, когда получили достаточное развитие сами науки „социально-антропологические“, может оформляться и построяться подобная наука.

Трудно было даже ставить подобные проблемы, напр., в XVII столетии, когда в век декартовского рационализма не знали наук о природе человека, как развивающегося существа, не знали наук медицинско-гигиенических, социальных и проч. Но и в это время была сделана единственная в своем роде, смелая попытка осмыслить школьное дело, как цельную систему. Это была „Didactica Magna“ Амоса Коменского, написанная им в 1632 г. Здесь впервые была поставлена проблема о системе школ, правда, представляющих в себе нечто замкнутое. Коменскому была ясна мысль, что каждому возрасту должна соответствовать своя школа, что развитие человека совершается закономерно, что задача школы не только обучать, но развивать все силы детской личности. При этом он, рассматривая человека как часть единой природы, в самой природе, ее „порядке“ и законах стремится найти законы и для нормальной школы. Как omnes omnia docendi artificium (искусство всех учить всему), его „Великая Дедактика“ мыслит

саму школу, как закономерную организацию, одинаково построенную для всех педагогов, а не как произвольное, случайное, зависящее только от искусства педагогов учреждение. И такая школа, по крайней мере в своих первых ступенях, должна быть доступна для всех: принцип всеобщего обязательного обучения для обоих полов поставлен здесь категорически. Правда, во всех своих положениях этот мыслитель XVII века исходит от определенных теологических предпосылок, что придает его школе односторонний и к тому же слишком авторитарный и формальный характер; но все же по самой своей постановке школьных проблем, как цельной системы, Коменский является первым школоведом. Позднее, в XIX веке Гербарт и его школа, разрабатывая принципы научной педагогики, также давали свою систему школьного дела. Она была философски и психологически продумана, пыталась исходить из понимания детских интересов, намечала учебные планы в соответствии с культурными эпохами, преемственно об'единяла сами ступени школ. Но если Коменский был пленником теологии, то гербартианцы оставались педагогами-метафизиками. Их губила собственная теория. Свои общие положения они устанавливали не эмпирически; они не проверяли свои стройные логические построения упрямой практикой, они их выводили строго дедуктивно из принципов довольно сомнительных или совершенно ложных. Психология Гербарта, на которой строилось само обучение, была односторонне интеллектуальна, сводя все душевные процессы к механике представлений. Она не знала живого ребенка с его инстинктами и динамикой, развивающегося в определенной среде. Она его слишком рано порабощала моральными тенденциями, так как сама цель воспитания и обучения „в силе нравственного характера“.

И только теперь, в двадцатом веке, может быть построена действительно научная система школоведения.

Прежде всего, достаточно определились в своих методах и основных законах сами науки, раскрывающие природу человека. К концу XIX в. создалась особая ветвь биологии—педология, как наука о ребенке, его развивающемся организме. И поскольку мы теперь располагаем данными о его развитии, мы можем сделать из них ценные выводы педагогического характера. Дальше нам придется наметить схему проблем школоведения, которые могут быть разрешены только на этом педологическом базисе.

В настоящее время достаточно развилась и такая наука, как *гигиена*, и в особенности школьная гигиена. До сих пор этой науке приходилось больше воевать со школой, организованной в прямое нарушение законов гигиены. Ведь создались же, благодаря этому, специфические „школьные“ болезни детей. Не раз отмечалось именно врачами, что первый же год пребывания ребенка в школе, ухудшая его здоровье, нарушал нормальное развитие, а после нескольких лет школьной жизни развивалась близорукость, констатировалось искривление позвоночника, заходила речь об умственном переутомлении школьников и пр. Протестовали всегда педагоги-гигиенисты против антисанитарных условий, в каких ежедневно оставались школьники; даже само школьное здание далеко не всегда приспособлялось к элементарным требованиям школы. Итак, начиная с построения школьного здания и обстановки классных комнат вплоть до гигиены детских занятий в школе (психо-физиологические основы умственной работы, связь ее с физической, физическое упражнение, напр. (спорт и т. д.), —со всем этим в первую очередь должно считаться школоведение.

Такая наука, как психо-техника, имеет непосредственное отношение к задачам школьного дела. Она теснейшим образом связана с проблемой о выборе профессии. Педагогическая профессия требует

специфической пригодности и дарований. И поскольку наука располагает возможностью исследовать и узнавать эти дарования, ее достижения должны быть использованы и нашей наукой. С другой стороны, сама школа должна так организовать свою работу с детьми и подростками, чтобы на ней выяснялись и учитывались их развивающиеся склонности, чтобы правильнее намечался для них переход в следующую, собственно профессиональную школу. Помимо этого предпринимаются опыты, чтобы специально исследовать учащихся со стороны выявления их интереса к своей будущей профессии[1]. Наконец, психо-техническая подготовка самого педагога поможет ему усовершенствовать свою работу с детьми, делая его более искусным технически мастером своего творческого дела. А известно, что работа с детьми разных возрастов требует со стороны педагога особого подхода и подготовки.

Остановимся далее на науках *социально-экономических*. Школьное дело, его постановка и организация обусловливаются пониманием социально-экономических отношений. С этой точки зрения только и может быть уяснена та или иная система школьного дела в любую историческую эпоху. Как педагогическая идеология, так и ее реализация всегда зависели от реального соотношения борющихся общественных классов. Классовая, сословно-привилегированная школа, школа конфессиональная все это именно здесь находит свое определенное истолкование. А на этом сложном „школоведческом опыте“ прошлого легче уяснить принципы организации школы современных дней, построенной как школа единая, светская, производственно-трудовая с определенными уклонами локального значения, на обществоведческом и коммунистическом фундаменте. Строгий учет экономических рессурсов страны, соответственное областное ее районирование являются предпосылками в развертывании всей школьной сети с соответствующими центральными педагогическими учреждениями.

II.

Как наука производная, организационно-прикладная, школоведение ставит себе две основных задачи. Во-первых, выяснение принципов, на которых может быть построена *система* народного образования в целом. Во-вторых, выяснение основ построения определенного типа учебно-воспитательного учреждения, как такового. И в том, и в другом случае она исходит из результатов и постулатов, установленных и выдвигаемых отдельными науками, трактующими о природе развивающегося человека, природе социального общения между людьми и пр., и на основе их строит свои положения организационно-теоретического характера. Конечно, практическое применение последних в определенных конкретных условиях этой наукой предусмотрено быть не может. Это уже задачи государственной политики.

Естественное построение системы народного образования требует, прежде всего, взаимного согласования между всеми учреждениями учебно-воспитательного характера. И первая и основная проблема, требующая здесь своего научного разрешения, это—проблема единой школы. Вся система народного образования должна быть построена так, чтобы не было школ-тупиков, чтобы был возможен для учащихся естественный переход в следующую школу. Здесь речь идет не только о согласовании основных школьных ступеней (прежний безконечный спор, теоретически мало обоснованный, о двух или трехступенной школе, как этапе к высшей), но о всех школах вообще, так как между ними также должна быть установлена определенная связь. Напр., почему-то до сих пор дошкольное воспитание детей остается каким-то

[1] Erich Stern. Die Feststellung der psychischen Berufseignung und die Schule. Methodologische Untersuchungen (N IV Hamburger Arbeiten zur Begabungsforschung) Leip. 1921. Fr. Giese. Berufspsychologie und Arbeitsschule, Leip. 1921.

случайным придатком к начальной школе, которого может и не быть. Школоведение же рассматривает дошкольное воспитание в пределах детского сада, как основную, первую ступень общественного и государственного воспитания вообще. Исходя именно из того, что нормальное развитие природы ребенка этого возраста требует специальных упражнений и социального общения детей между собою, что не может он получить в обыкновенной семье,—государство должно детские сады включить в сеть нормальных учреждений, через которые должно быть проведено большинство детей. И чем менее культурна семья, не могущая дать своему ребенку нормального развития в этот ответственный для всей последующей его жизни период, тем необходимее позаботиться о создании этой сети. У нас же как раз первый удар снимания с государственного бюджета разразился по этому фундаменту массового воспитания, отчего целое поколение детей республики не может получить в эти годы надлежащего воспитания.

Далее ставится вопрос о времени поступления ребенка в начальную школу. Должны быть учтены условия его естественного роста, чтобы момент перехода из детского сада в школу был для него благоприятен. И если, напр., физиология и гигиена считают семилетний возраст переходным в виду смены молочных зубов, то прием в школу может быть на год раньше, как это видим почти во всех европейских и американских школах, где 6-ти летний возраст считается школьным, или на год позднее, как это видим у нас. К тому же развитие ребенка в умеренных и северных странах совершается медленнее, с чем приходится считаться школе. Итак, наука должна установить (учитывая биологические и климатические условия) время перехода ребенка из детского сада в школу. Она же может установить и переход в следующую ступень, опять исходя из того требования, чтобы этот переход не совпадал с временем наступления половой зрелости, когда замечается ослабление интеллектуальной деятельности подростка. Этот же период наступает не в одно время у детей в различных странах, с чем и должно считаться школоведение.

К школам первой и второй ступени естественно примыкают школы профтехнические. Естественно требуется разрешить при этом вопрос о той или другой профпригодности учащегося. Когда именно намечаются и выявляются личные его склонности и как их можно изучать? Ведь так или иначе поступление подростка в школу профтехническую уже решает вопрос о его последующей деятельности. Может ли сознательно избрать себе профессию, напр., в переходный возрас подросток? обладает ли он в это время достаточным знанием своих сил? убедился ли в этом на всей предшествующей своей работе в школе?

Затем, что должна предпринять сама школа, выпуская учащегося, чтобы помочь ему разобраться в этих трудных вопросах самоопределения? Опыты Erich'a Stern'a [1]) в гамбургских школах в этом направлении чрезвычайно поучительны. Именно подростки в возрасте 14—15 л., оканчивая народную школу, смутно представляли избираемую ими профессию. Чаще избиралась профессия отца, как более знакомая. У мальчиков оказалось заметное предпочтение ремесленных профессий (69 проц.), у девочек педагогических (35 проц.) и коммерческих (27 проц.). Методы изучения подростков оказались достаточно правильными, корреляция с показаниями педагогов была совпадающая. На такой путь и должна вступить школа, помогая учащимся вернее наметить свою последующую жизненную дорогу.

---

[1]) См. отмеченную выше работу, вышедшую в 1921 г. из Гамбургской психологической лаборатории.

III.

При построении системы единой школы приходится учитывать еще весьма важное условие—одаренность детей.

При современных сведениях по педологии уже ясно намечается резкое различие между уровнями одаренности. С одной стороны, различаем детей ниже средней нормы развития—детей интеллектуально-дефективных; с другой стороны, детей, стоящих по своему уровню выше нормы, детей высокоодаренных и талантливых. Очевидно, и для тех и для других должны быть созданы особые условия подходящих для них занятий.

По отношению к детям дефективным школоведение решило вопрос в смысле их выделения в особые вспомогательные школы (Hilfsschule). Ведь если эти дети, по утверждению A. Binet, в большинстве случаев запаздывают в своем развитии на три года[1]), то, следовательно, у них имеются настолько существенные дефекты в центральной нервной системе, что требуется особая система укрепляющих и развивающих упражнений.

Помещенные в среду нормальных детей, они тем самым обрекаются на хроническое отставание и неудачи в занятиях. Опыт вспомогательных школ достаточно убеждает во всей целесообразности подобных школ, всецело приспособленных к данной категории детей. Но, чтобы выделить ребенка в такую школу, необходимо достаточно его изучить и во всяком случае не с первого года занятий с ним в школе производить самое выделение. Тем более, что отсталость может обусловливаться привходящими причинами (истощающими болезнями, медленным развитием в раннем возрасте, ушибами и пр.), и ребенок в школе может постепенно выравняться и не быть действительно дефективным.

Система Sonderklassen в пределах общей школы, введенная по плану д-ра Sickinger'a в Маннгеймских школах, уже оправдала себя[2]) и во многом облегчила разрешение этой трудной проблемы. Оставаясь временно на всестороннем испытании в таком особом классе, иной ребенок или выправит свои временные дефекты, чтобы перейти в нормальные классы, или окончательно выявит свою хроническую отсталость, чтобы быть выделенным в вспомогательную школу.

Труднее разрешим вопрос о детях одаренных, талантливых. Следует ли их выделять в особые школы для одаренных детей, или в пределах общей школы организовать для них соответствующую работу? Эти вопросы остаются пока еще открытыми.

Делаются определенные попытки организации для них особых школ. Американская школа еще в конце прошлого века давала полную возможность проходить одаренным детям в более сокращенные сроки обычную начальную и высшую народную школу (Highschool). В Германии еще во время войны остро ставился вопрос о под'еме, выделении сильных детей. Выставлялся определенный логунг: Freie Bahn jedem Tüchtigen[3]). В Берлине возник опыт по организации специальной школы для одаренных детей (1917 г.). Правда, опыт далеко не из

---

[1]) А. Бине и Т. Симон. Ненормальные дети. Руководство при приеме ненормальных детей в специальные классы. Пер. М. Владимирского М. 1911 г. стр. 21.

[2]) Lutz, M. Die Mannheimer Sonderklassen etc. (Zeit. f. päd. Psych., Path. u. Hyg., II, Heft 5). См. также A. Sickinger. Arobeitsunterichtetc. 1921.

[3]) См. G. Kerschensteiner и др.

удачных, так как сама проблема решена крайне упрощенно; обычная средняя школа свою программу сжимала в меньшее количество лет.

Сильные подростки с большим напряжением сил должны усвоить об'ем сведений, необходимых при поступлении в высшую школу. Самый прием в эту школу производился на основе отбора более способных детей, для чего Moede-Piorkowski была организована особая система тестов.

Тесты касались исследования, главным образом, высших процессов: комбинаторной способности, оперирования понятиями, способности суждения, внимания, а также восприятия, наблюдения и памяти. Практика показала, что в такие школы подбирались наиболее сильные: сравнение полученного распределения учеников на основе экспериментально-психологических исследований со школьной оценкой учителей дало высокий корреляционный коэффициент $+0{,}91$ при вероятной ошибке $\pm 0{,}0635$.

Мы говорим, что вопрос о выделении одаренных детей—очень сложный. Требуется большое приспособление к их индивидуальности, особый строй подобных школ и, конечно, более повышенные требования к педагогическому персоналу. Кроме того, сильный, одаренный ребенок не всегда является талантливым. Сильный лучше приспособляется, его интеллект может быть разносторонне направлен. Талант же чаще односторонен и своеобразен; он силен в своей сфере, плохо приспособляясь к тому, что лежит вне его интересов. Поэтому берлинские „Begabtenschulen", вдвигая всех детей в общую школьную раму с обязательными максимальными программами, могут нивеллировать природную одаренность детей.

Во всяком случае проблема одаренности, устанавливая типы детей различного уровня и качественно индивидуальные различия, выдвигает новые сложные задачи для школоведа.

Школа отнюдь не должна быть рассчитана на какого-то средняго „алгебраического" учащегося; она всегда имеет дело с различными их индивидуальностями, и потому самый строй ее может быть весьма своеобразен.

Поэтому проблема единой школы всего яснее является проблемой одинаковой, общей для всех учащихся, однотипной школы. Концентрируя и согласовывая преемственно около основных стержней различные школы, она об'единяет их на однородных минимальных программах, предоставляя местным педагогам широкий простор их различного в деталях построения. Школоведение и намечает теоретические основы возможных типических построений.

IV.

Какова бы ни была организация любого типа учебно-воспитательного учреждения, школоведение и здесь положит в основу данные педологии и гигиены. Именно педология всесторонне освещает психофизическую природу детского организма в ее естественной эволюции. Отсюда мы узнаем пределы детских сил, соотношение между трудом умственным и физическим, чередование работы определенного напряжения с соответствующим отдыхом, роль упражняемости в процессе работы. С этими требованиями психофизиологии детского труда считается школоведение, напр., при решении построения школьного дня. Известны далее „годовые колебания" в развитии детского организма. Так, с октября по январь происходит повышение физической энергии (усиливается рост и вес), в марте и апреле замечается, напротив, осла-

бление, за которым вплоть до июля идет новый под'ем сил. Самыми неблагоприятными месяцами для роста мускульной силы оказываются для мальчиков январь и март, для девочек—март и апрель (Скойтен). Для умственной же производительности, по исследованиям того же Скойтена и Лобзина, наиболее благоприятен период с октября по январь, с января же до марта падают концентрация внимания и сила памяти. По выражению Меймана, человек работает летом больше мышцами, чем мозгом. Наша наука и здесь сделает свои выводы, намечая соответствующее распределение занятий и периодического отдыха весной и летом.

При организации школы на принципах совместного обучения также должны быть положены в основу физиологические особенности каждого пола в разные периоды развития и прежде всего несовпадение времени наступления половой зрелости. В этом смысле большой интерес представляют для нашей науки специальные экспериментальные исследования, производившиеся над утомляемостью учащихся в период полового созревания в школах с раздельным и совместным обучением. Так, по опытам, производившимся в этом направлении под руководством проф. А. П. Нечаева в петербургских школах в 1914 г., установлено, что девочки, учась вместе с мальчиками, хотя и устают больше их, но утомляются меньше сверстниц, учащихся в школах с раздельным обучением. „А к 16 годам их утомление даже ниже, чем утомление мальчиков". Обучаясь совместно, „учащиеся обоего пола работают с переменным напряжением: впереди тот пол, который в данном возрасте крепче, а другой пол, не истощаясь временно, пассивно следует за ним"[1]). Очевидно, в общем создается всегда достаточно бодрая, обоюдно возбуждающая среда.

Равным образом, опытным путем будет выяснен вопрос о более целесообразном типе детского дома—одновозрастном или смешанном. Тут важно учесть взаимное влияние разных возрастов. Так, малыши-дошкольники, составляя в пределах всей организации свою автономную группу, все же вызывают естественную заботливость со стороны старших, делают их морально более чуткими и как бы в известном смысле „воспитывают их", сами получая от них примеры.

Вопросы о детских самоорганизациях, о социальном воспитании детей в школе, детском доме, колонии и пр. тоже должны быть решены строго эмпирически. И если в первые годы революционного обновления школы самоуправление чаще насаждалось сверху, мало прививаясь в своих искусственных формах к детям, то, очевидно, в дальнейшем должны быть сделаны выводы из опыта самих детей, из естественных форм их самостоятельных об'единений. Социальная педагогика уже и вступила на путь научных наблюдений за жизнью детских коллективов, производя и в этой области возможные эксперименты.[2])

Школоведение выясняет, далее, принципы, касающиеся организации учебного дела в школе в целом. Сюда входит, напр., построение учебного плана в его целом, в зависимости от того или иного типа школы, ее уклона.

Сюда войдут и обще-методические организационные вопросы—о методах самой работы в школе. Могут встретиться принципиальные возражения, следует ли настолько расширять об'ем науки школоведения. Так, вопросы о методах работы в школе, о плане занятий и т. д. мо-

---

[1]) Вопрос о совместном обучении при свете экспериментальной психологии. Под ред. А. П. Нечаева. Петрогр. 1915 г., стр. 30.

[2]) См., напр., Walter Moede. Experimentelle Massenpsychologie. Beiträge zur Experimentalpsychologie der Gruppe. Leipz. 1920.

гут войти в другую науку, так наз. общую дидактику. Но мы рассматриваем общую дидактику, как она понималась прежде, т. е. как науку о выяснении общих вопросов обучения, как часть более общей синтетической науки, именно школоведения. Нельзя изолировать этих проблем от обусловливающих их основ, каковы: физиология детского организма и детского труда, психо-техника работы детей, организация их социальной жизни, роль учителя в жизни школьного коллектива и занятиях детей и т. д. Оторванная от этих основ, которые, как мы видели, входят в прямую задачу школоведения, общая дидактика (как и методики „отдельных предметов“) всегда вырождалась в нечто искусственное и безжизненное. И поскольку, напр., Коменскому удалось связать дидактику с основами школоведения, постольку и «искусство обучения» (Techne) получило свою реальную почву.

Итак, обоснование методов работы в школе—одна из естественных задач нашей науки. Продуманные с точки зрения принципов трудового воспитания, они сводятся всегда к организации научного труда детей, связанного с производственными заданиями. Задача школы—ввести детей в самостоятельную исследовательскую работу, помочь им овладеть научным методом, применяя его к изучению жизненного, близкого детям материала из окружающей их действительности. Итак, не преподавание и даже не усвоение науки, а, по возможности, самостоятельное исследование (собрание материала, наблюдение, экспериментирование, выводы, применение и т. д). И к тому же исследование на основе естественной кооперации, сотрудничества, распределения заданий среди определенной группы детей. В связи с этим определяется сама *роль педагога*, как организатора научного труда детей в школе, как организатора общественной жизни детей и их среды. Школа рассматривается нашей наукой, как целостный социальный коллектив, внутренно организованный, живущей общей жизнью. Здесь речь идет не об отдельных науках и их „преподавании“ в духе той или иной „методики“, а об организации социальной, согласованной жизни детей, об организации их научных занятий. При такой постановке проблем сами методы занятий с детьми (и комплексный метод, и Дальтон план и пр.) получают свое естественное обоснование. Так же ставятся эти проблемы и для всякого другого учебно-воспитывающего учреждения (детский сад, детский дом). При этом важно, что школоведение не рассматривает все эти учреждения, как нечто замкнутое, обособленное. Проблема детского сада выясняется в связи с начальной школой, как вообще первая ступень общественного воспитания; проблема детского дома—в связи с занятиями в школе, в клубе, в связи с окружающей жизнью местного населения. Школа также не замыкается в себя; она органически переплетается с другими учреждениями: другие школы разных типов, внешкольные учреждения (изба-читальня, музей местного края, студии и клубы и пр.), местная производственная жизнь (мастерские, заводы, фабрики и пр.). Школа всеми корнями входит в реальную жизнь местного населения, не отрывается от ее насущных задач, хотя у нее есть своя специфическая задача.

V.

Особое место отводит наука школоведения *проблеме педагога, его работы, его подготовки*. Это ее чрезвычайно важный отдел. Новые учебно-воспитательные учреждения, организующиеся в связи с теми требованиями, какие ставятся современной педагогикой, как очередную проблему, ставят проблему об учителе и педагоге.

В связи с характером и типом учреждения, как работа педагога, так и его подготовка могут варьировать. Особый тип может быть педагога-организатора сети учреждений, педагога-организатора рай-

онного, областного и пр., педагога-администратора; затем тип педагога-инструктора. Особый тип педагога-дошкольника, внешкольника (библиотекаря, клубиста, лектора и проч.), педагога, как школьного учителя. В связи с характером тех или иных занятий педагогических в широком смысле слова могут устанавливаться и самые склонности педагога. Можно говорить о некотором сродстве между душевным строем педагога (его темпераментом, интересами и пр.) и детьми того или иного возраста. Редко встречаются среди мужчин типы дошкольников; мы знаем обыкновенно дошкольниц, и то скорее более молодого возраста. Но бывают хорошие дошкольники и мужчины, как организаторы, заведующие административной стороной дошкольного дела или педагоги-теоретики по проблемам дошкольного воспитания. Иной педагог предпочтет жить и работать с подростками—более ранний возраст ему меньше понятен, меньше интересен. Если создается специальная отрасль, выясняющая эти стороны педагогической деятельности, то выводами ее воспользуется школоведение для пред'явления соответствующих требований к отбору педагогов. Психо-техник отчасти вступает и на этот путь, намечая выработку педагогического психо-графирования[1]) для определения педагогической профпригодности.

Школоведение выясняет и условия педагогического труда. Как заходила речь о специфических „школьных заболеваниях“ детей, их переутомлении, так аналогично касалось это и педагога. У него были и есть хронические заболевания и постоянное переутомление. Следовательно, должны быть прежде всего обусловлены гигиенические требования педагогического труда. Далее, должен быть установлен самый характер занятий педагога с детьми. Мы уже видели, к чему сводится принципиально роль педагога, как организатора научного труда детей и их общественной жизни. Эта роль логически вытекает из самих задач школы, ее структуры. С другой стороны, педагог всегда—общественный деятель, крепкими нитями связанный культурной работой с населением. И здесь он также общественник-организатор, одна из видных сил, направляющих местную просветительную работу. Наконец, он член своего профсоюза, как один из деятельных организаторов жизни своего профессионального коллектива (в той или иной области).

В связи с такими задачами педагогического труда естественно намечается и подготовка педагога. Он должен быть достаточно осведомлен в педагогии, раскрывающей ему особенности современного ребенка в данных условиях его развития. Он ознакомляется с методами работы в современной школе и практически совершенствуется в соответствующих умениях и искусствах, помимо научных знаний. Постановка голоса и искусство владеть словом, изобразительные искусства, практика игр, спорта и пр.—все это входит в „автагогику“ учительской работы с детьми. Далее идет соответствующая подготовка во внешкольной области и подготовка профессиональная, как деятеля в своем союзе.

Все эти сложные и специальные проблемы школоведение рассматривает с точки зрения установления принципов, определяющих „призвание“, работу и подготовку педагога.

VI.

Особый отдел школоведения составляет выяснение *внешней обстановки учреждения.* Сюда войдут задачи: каким гигиеническим и педагогическим условиям должно отвечать помещение (его раз-

[1]) См., напр., составленный Ульрихом „Проект психо-графической схемы функций, важных для выполнения академических профессий и в их основе лежащих особенностей“. Напечатана в Zeitschrift für päd. Psychologie 1923. Heft 1—2. S. 62-68, а также в книге Ф. Баумгартен. „Психо-техника“ ч. I стр. 205-211, Берлин 1922 г.

меры, кубатура воздуха, освещение, вентиляция и пр.); какова может быть обстановка его (мебель, соответствующая правильной посадке, оборудование пришкольных учреждений, мастерских, кухни и пр.) Школьная парта, которой до сих пор почему-то отводится много места в курсах школьной гигиены, можно надеяться, с введением исследовательских методов работы, отойдет в область прошлого, как характерный аттрибут школы „преподавания“, „слушания“, „записывания“ и т. д. Современная школа, требующая больше движения, лабораторных занятий, сотрудничества детей друг с другом и пр., потребует более разнообразной мебели и обстановки. Сюда же войдут вопросы, связанные с оборудованием студий, кабинетов, лабораторий, зал для игр и физических упражнений, вопросы библиотечной обстановки для более удобного пользования десятичной системой самими детьми, об обстановке мастерских, музеев и пр.

Но работа идет не только в помещениях. Современная школа, даже в условиях большого города, требует целого пришкольного участка, где планируются свои опытные грядки, огород, сад, оранжерея, площадки для игр и проч. Школоведение и с этих сторон является наукой нормативной, выставляющей свои требования.

Мы наметили основной круг задач, как конкретное содержание науки школоведения. Из этого можно заключить, насколько она сложна, скольких областей она касается. Но рассматривая все эти задачи с точки зрения установления принципов, нормирующих организацию отдельных ли типов учебно-воспитательных учреждений или же всего учебно-воспитательного дела в его совокупности, как стройную систему народного образования,—школоведение опирается на данные соответствующих наук, выводы которых и применяет к своей главной цели—к установлению норм для более целесообразной организации школьного дела. В этом смысле школоведение—наука конструктивная и теоретически-организационная.

Проф. Н. М. Никольский.

Талмудическая традиция об Иисусе.

Христианство при своем возникновении было иудейскою сектою; это положение считается бесспорным—столько же, сколько и другое положение: что христианство после своего распространения за пределы Палестины постепенно сделалось синкретической религией. Но если из второго положения делаются все выводы, даже и такие, которые вряд ли могут претендовать на научную об‘ективность, то первое положение до сих пор не привело к ближайшему и самому главному выводу, которого оно требует. Я разумею научное исследование всего того иудейского материала, который может так или иначе осветить или об‘яснить новозаветную традицию о возникновении христианства, а также идеологию евангелий, посланий и Откровения Иоанна. Было написано немало интереснейших и любопытнейших работ о знаменитом замечании Иосифа об Иисусе, при чем исследователи разделились на два лагеря, приемлющих и неприемлющих это замечание; есть работы,—и в числе их монументальный труд Шюрера,—пытающиеся проникнуть в историю, религию и быт Иудеи и диаспоры I века; с другой стороны, некоторые смелые, но мало сведущие в талмудической литературе ученые поспешили об‘явить чуть ли не половину евангельских изречений простой перифразой изречений иудейских раввинов. Однако, настоящего детального исследования в этой области до последнего времени не было; между тем, такое исследование настоятельно необходимо.

Такое положение вопроса в значительной степени об‘ясняется тем обстоятельством, что главный материал, из которого мы можем черпать наши сведения о всех сторонах внутренней жизни и быта иудейства I и II века, это—талмудическая литература. В исторических работах Иосифа перед нами проходит только динамика событий, и притом не в спокойной, беспристрастной передаче, а в форме апологетического и порою даже насквозь фальшивого памфлета. А в талмудической литературе, особенно в ее древнейших частях, Мишне и Тосефте, отражена сама жизнь, с ее будничными, мелкими и даже мельчайшими казусами и заботами, с ее противоречиями, с разногласиями раввинов, с пестрым клубком переплетающихся социальных, политических и религиозных отношений. Но эта богатейшая сокровищница, хранящая в себе жизненную практику рядового иудея и вместе с нею ученый опыт и остроумие выдающихся раввинов, до сих пор еще мало затронута научным исследованием. До сих пор нет критического издания текста Мишны, за исключением отдельных трактатов; до сих пор нет, также за исключением отдельных трактатов, научного перевода и комментария к Мишне[1]. А к другим частям талмудической

---

[1]) H. Strack, первым составивший научное Einleitung in den Talmud“, из брошюры первого издания (1887) разросшееся в V издании в целую солидную книгу (Einleitung in den Talmud und Midrasch, 1921, S. S. 235), выпустил текст, перевод и комментарий следующих трактатов: Aboth, Berachoth, Ioma, Sanhedrin-Makkoth, Aboda Zara, Pesachim,

литературы научное исследование попросту еще почти и не прикасалось. Тут научная работа, и притом колоссальная, вся еще впереди; и несомненно, что не только в области изучения раннего христианства, но и в области изучения иудейства мишнаитской и талмудической эпохи она подарит нас многими неожиданностями.

В области изучения раннего христианства такой неожиданностью явился выход в свет первых двух томов монументального труда „Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch,“ принадлежащего авторитетнейшему ученому в области изучения Талмуда, Герману *Штраку* (Strack) и его ученику и сотруднику *Биллербеку* (Billerbeck). Они работали над задуманным комментарием 16 лет, с 1906 г. по 1922, когда вышел I том; чрез два месяца после выхода в свет I тома Штрак скончался, но это не остановит выхода III и IV томов, так как весь материал был готов в рукописи к 1922 году. Одна продолжительность срока, понадобившегося для первой, разведывательной (работа Штрака и Биллербека, при всей ее монументальности, все же еще только разведывательная) работы уже показывает, насколько грандиозна задача, а ознакомление с содержанием вышедших первых двух томов открывает поистине неожиданные перспективы для дальнейшего исследования. Колоссальный материал, привлеченный авторами нового комментария из талмудической литературы,[1]) разочарует сторонников взгляда, что евангельские изречение заимствованы из Талмуда; не только о заимствовании, но и о сознательном подражании теперь не может быть и речи. Но за то во всей своей значительности обнаруживается другой факт: не только такие евангелия, как самое раннее евангелие от Марка и юдаистическое евангелие от Матфея, но и зараженное уже греческим универсализмом третье евангелие, Деяния и даже четвертое евангелие[2]) еще в значительной мере вращаются в среде иудейской идеологии, раввинистических споров, раввинистических способов аргументации и диалектики. Речь должна итти не о заимствовании, а о происхождении от одного корня, из одной почвы; при этом освещаются не только идеологические, формальные или религиозные пункты, но также и бытовые—поскольку многие намеки, выражения и притчи евангелий опираются на тогдашний иудейский быт, нашедший себе такое полное отражение в Мишне. Иудейский элемент в новом завете теперь можно точно учесть и оценить, и не может быть теперь уже никакой речи о том, что новозаветная литература по своей идеологии и, в значительной степени, по своей форме решительно отступила от иудейства и приблизилась к греческому универсализму. Универсализм в ней только провозглашен, но не выделился еще из своей первоначальной иудейской скорлупы, которая неохотно и неподатливо выпускает его на свет божий.

Но как уже было сказано, новый труд Штрака и Биллербека в значительной степени еще только разведывательная работа. К каждо-

---

Schabbath (1910-1915, *отд. выпусками*). Сверх того, *Гольцман и Бер* (Holtzmann und Beer) предприняли издание всей Мишны—текст, перевод и подробный комментарий; до сих пор вышло 15 трактатов. Меньшее значение имеет издание P. Fiebig, Auzgewählte Misehna—Traktate—перевод и краткий, недостаточный комментарий 7 трактатов, имеющих отношение к новому завету. Русский перевод Переферковича мало удовлетворителен.

[1]) I том посвящен сплошь только евангелию от Матфея и содержит в себе 1055 стр.; II том несколько меньших размеров (стр 867), комментирует остальные евангелия и Деяния; тут надо иметь в виду, что из синоптиков во II т. комментируется только ничтожная доля их материала, не совпадающая с материалом Матфея, а четвертое евангелие и Деяния уже в значительной степени вышли за пределы юдаизма.

[2]) Из ряда пунктов четвертого евангелия, получающих освещение из раввинистической литературы, отметим учение о Логосе (сравн. с memra Jahwe), о боге—духе, символическое выражение о живой воде—по связи с образами праздника Сукот, на котором произносится это выражение, о теле-храме, далее целый ряд мелких бытовых и религиозных деталей. Всего комментарий к Иоанну занимает 285 стр.

му месту евангелий или Деяний, требующим того по своему содержанию, в новом комментарии подобран и дан в точном переводе ряд цитат из талмудической и раввинистической литературы; цитаты расположены в систематическом порядке, но каких-либо попыток разобраться в них, исследовать их, выделить из них все то, что нужно для данного пункта и формулировать определенный вывод, авторы по общему правилу не делают. Это сделано только в некоторых отдельных случаях, но не всегда удачно[1]). Вот почему приходится сказать, что, в сущности говоря, новый комментарий есть только материал для комментария, но еще не самый комментарий; он открывает богатые перспективы, но для их достижения надо еще проделать длинный путь[2]). И нет никакого сомнения, что в области движения по этому пути начнется оживленная работа, и прежде всего по таким пунктам, которые являются особенно важными и острыми в области изучения новозаветной литературы и истории.

К числу таких пунктов относится в первую голову проблема Иисуса. Вокруг нее ведутся ожесточенные споры, и лагерь исследователей, отрицающих существование Иисуса, как исторической личности, до сих пор еще не сдал целиком своих позиций. Поэтому всякий материал, касающийся Иисуса, заслуживает особого внимания и изучения, поскольку он может приблизить науку к окончательному разрешению спора. Давно было известно, что об Иисусе имеется в иудейской раввинистической литературе целый ряд замечаний, хронологически начинающихся с конца I века, в Мишне, и переходящих в Тосефту, иерусалимский и вавилонский Талмуды; затем на них ссылаются последующие иудейские ученые, вплоть до эпохи Раши (вторая половина XI века). Этот имеющийся сейчас на лицо материал[3]), однако, не исчерпывает всего того, что говорилось и писалось в иудейской среде об Иисусе, так как были отдельные сочинения полемического характера, до нас не дошедшие и известные только по цитатам из них в произведениях отцов церкви и христианских писателей. К сожалению, этот во многих отношениях чрезвычайно любопытный материал до сих пор еще не получил должной оценки и разработки с чисто научной точки зрения. Правда, в научный оборот он был пущен не так давно; в 1891 г. немецкий перевод всех цитат из талмудической литературы, касающихся Иисуса, издал Лайбль[4]), а в 1910 г. Штрак выпустил новое издание того же материала, которое, кроме введения и немецкого перевода, дает также и оригинальный текст отрывков из Талмуда, проверенный по лучшим рукописям, а также добавляет отрывки в оригинале из церковных писателей, содержащие цитаты из недошедших до нас иудейских сочинений об Иисус и христианстве[5]). Но все же этот материал со времени его опубликования в доступном для широкого научного исследования виде не получил должной оценки. Немецкие богословы-новозаветники или проходят мимо него, или ограничиваются, как выразился один из виднейших новозаветников, Гейтмюллер, замечанием, что данные об Иисусе в раввинистической и иной позднейшей иудейской литературе в сущ-

---

[1]) Как один из примеров, укажу комментарий к Марк. 7, 33, об исцелении Иисусом глухонемого посредством своей слюны и вложения пальцев в уши; приведя целый ряд примеров, свидетельствующих, что способ исцеления посредством слюны был очень распространен среди иудейства, авторы комментария замечают, что Иисус, конечно, воспользовался этим приемом только как внешней обычной формой, но исцеляющее действие оказало только его слово (II, 15—17).

[2]) Тот же характер носит вышедшая во время печатания этого тома „Трудов БГУ" работа Fiebig, Jesu Bergpredigt; она дает текст и нем. перевод раввинистических текстов только с филологическими комментариями.

[3]) Кое-что было вытравлено в средние века христианской цензурой.

[4]) Heinr. Laible, Jesus, Christus im Talmud, II. Aufl., 1900.

[5]) H. L. Strack, Jesus die Häretiker und die Christen nach den ältesten jüdischen Angaben. Ссылки на тексты в настоящей статье сделаны по этому изданию.

ности являются подсказанной ненавистью каррикатурой отдельных частей евангельской традиции [1]). И даже такой знаток Талмуда, как Штрак, сверх ожидания дал также отрицательный отзыв; по его мнению, иудейская традиция об Иисусе вообще не имеет никакого значения [2]). К этой оценке, сделанной в издании текстов об Иисусе, Штрак в своем новом комментарии не прибавил ничего нового и существенного. Почти весь материал, изданный им ранее, он самым добросовестным образом сконцентрировал в несколько обновленных переводах, сравнительно с прежними переводами в брошюре Jesus u. s. w., вокруг Матф. 1,16: „Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус" [3]). В самом начале примечаний из раввинистической литературы к этому стиху первого евангелия Штрак отсылает читателя к своей прежней брошюре [4]); и, очевидно, целиком поддерживая свое прежнее мнение, что талмудическая традиция об Иисусе не имеет никакого значения, он ограничивается лишь пересказом текстов в их хронологической последовательности. При этом центр тяжести внимания он переносит на те имена, которые присваиваются Иисусу и Марии в талмудической традиции—конечно, в силу того, что Матф. 1, 16, сообщает тоже только имена; между тем, талмудические цитаты об Иисусе, кроме его особенных наименований, содержат также оценку его учения и личности и сообщают о его судьбе. Таким образом, и в новом комментарии талмудическая традиция об Иисусе не получила должного освещения и разработки.

Такое отношение к талмудической традиции об Иисусе об'ясняется, конечно, в первую голову влиянием, с одной стороны, антисемитских настроений, с другой стороны—влиянием предвзятых взглядов на Иисуса и его роль, господствующих до сих пор в лагере германской критической богословской науки. Так как отношение талмудической традиции и вообще раввинистической литературы к Иисусу и христианству, естественно, вполне отрицательное—иного и не могло быть при той ожесточенной борьбе и конкуренции, какая завязалась между иудейством и христианством с самых первых моментов возникновения последнего,—то прежде всего за этот материал ухватились антисемиты и использовали его для своих гнусных человеконенавистнических целей. Но тем самым, приложив к нему свою грязную, обагренную кровью руку, антисемиты отпугнули от занятий этим материалом ученых нейтрального направления, так как об'ективный подход к талмудической традиции об Иисусе грозил последним неприятной перспективой стать мишенью гнусных нападок и клеветы со стороны грязной и нестесняющейся в средствах антисемитской клики. С другой стороны, христианские богословы, одни инстинктивно, другие сознательно, должны были воздержаться от оценки этого материала и привлечения его к их исследованиям. Если бы они признали, что в талмудической традиции, при всем ее несомненно тенденциозном и преувеличенном характере, есть все-таки доля об'ективной правды, они принуждены были бы отказаться от целого ряда своих идеалистических построений, позволяющих им возводить раннее христианство в ранг абсолютной религии. Поэтому, они попросту, как мы видели, отмахнулись от разработки этого материала, ограничившись заявлениями, что иудейская традиция не имеет никакого значения или что она является каррикатурой некоторых данных евангельской традиции.

---

[1]) Heitmüller, Jesus, S. 5.

[2]) Strack, Jesus u. s. w., S. 4.

[3]) Kommentar, I, S. 35—43; ср. также стр. 84—85 к Матф., 2, 14; стр. 63—64 к Матф. 1, 21; стр. 631 к Матф. 12, 24.

[4]) Jbid., S. 36.

Однако, вряд ли можно согласиться с такой точкой зрения. Бесспорно, что эта традиция создавалась в атмосфере ожесточенной борьбы и конкурренции, и что иудеи так же, как и христиане, не стеснялись ни в сгущении красок, ни в выражениях, ни в вымыслах, чтобы уронить друг друга в глазах как своих сторонников, особенно колеблющихся, так и в глазах тогдашнего более широкого общественного мнения. Тем не менее, нельзя только из-за такого тенденциозного характера этой традиции сразу и целиком ее отвергать. Ведь и каррикатура основывается на факте; она менее всего является „чистым искусством“, но всегда насквозь проникнута злобой дня. Ведь полемика и агитация также исходят из фактов, использовывают для своих целей существующие слабые пункты противной стороны. Правда, и в карриканктуре, и в полемическо-агитационном произведении действительность получает далеко неполное и кривое отражение, часто при том еще закрашиваемое добавлениями и узорами с определенными тенденциозными целями. Но все эти моменты возможно учесть и снять со счетов; тогда в остатке могут оказаться такие данные, которые другая сторона намеренно оставляла в тени или замалчивала, т. е. материал, чрезвычайно ценный для всесторонней и об'ективной характеристики изучаемого явления. Достаточно вспомнить, какой ценнейший материал дала исторической науке, при надлежащем критическом анализе, комедия Аристофана или французская сатирическая и памфлетическая литература предреволюционной эпохи.

Поэтому, нельзя не признать крупной ошибкой со стороны исследователей новозаветных проблем вообще и со стороны Штрака в частности, что талмудическая традиция об Иисусе оставлена ими без разработки. Собрав ее и издав в готовом для научного исследования виде, Штрак, конечно, сделал дело огромной важности; но его работа все же дает лишь сырой или полусырой материал. Исследование талмудического материала стоит на очереди и должно представить немалый интерес как с методологической стороны, так и по существу. Это исследование, как мне кажется, необходимо вести в двух направлениях: прежде всего попытаться анализировать развитие традиции с целью определения ее основного ядра, основных сюжетов, которые находятся в центре внимания древнейших ее частей и разрабатываются в позднейших частях; и затем попытаться оценить значение первоначального ядра, чтобы выяснить, какие данные лежат в его основе, и каково значение этих данных для известий об Иисусе в евангельской традиции.

Уже беглое знакомство с иудейской традицией об Иисусе показывает, что она разрабатывает некоторые основные элементы, пущенные в оборот в эпоху таннаитов, т. е. первых поколений иудейских ученых, создавших первоначальное ядро талмудической традиции, Мишну и Тосефту; первыми их представителями были раввины из школ знаменитых Шаммая и Гиллеля (около начала нашей эры) и Гамалиил старший, современник апостола Павла, а их ряд замыкается учениками знаменитого равви Акибы, т. е. около 160 г. по р. х.[1]). Первое, что надо отметить в ряду таннаитских элементов, это—наименование Иисуса. Он чаще всего называется или Ieschu hanoçri—Иисус из Назарета[2]) или Ieschua (Ieschu) ben (bar) Pantera (Pandera, Pantere)

[1]) Ученики р. Акибы составляют третье поколение таннаитов; за ними следуют еще два поколения, при которых шла уже кодификация Мишны (ср. Strack, Einleitung in Talmud und Midrasch, 119-135); их приходится считать переходными ступенями к амореям (ср. ниже).

[2]) Bab. Sanhedr., 43-a, Bab. Berach 17-b, Bab. Sanhedr., 103-a; hanoçri по фонетическому составу вполне соответствует современному арабскому названию Назарета En-naçire.

—Иисус, сын Пантеры, или коротко ben (bar) Pantera—сын Пантеры [1]) —т. е. или по месту происхождения, или по имени отца—два общеупотребительных способа личных наименований среди иудейства той эпохи. При этом характерно, что ни в слоях таннаитской эпохи, ни в слоях позднейшей эпохи Иисус ни разу не называется ben (bar) Ioseph—сын Иосифа. Сверх того, обращает на себя внимание одна особенность: полная форма имени Ieschua встречается только два раза, во всех же остальных случаях употребляется сокращенная форма Ieschu, применяемая исключительно к наименованию Иисуса, но не других лиц. Это обстоятельство подало повод к предположению, что сокращение Ieschu было сделано намеренно, с целью придать имени Иисуса одиозный смысл. Имя Ieschua, весьма употребительное среди еврейства [2]), означает „Иагве—спасение“; если же взять три согласных из которых состоит сокращенное имя Ieschu, то эти согласные будут начальными буквами трех слов, из которых состоит формула проклятия „jimmach schemo weżikhro“—„да изгладится имя его и память его“[3]). Подобное изменение вполне соответствует вкусам и приемам раввинов, уже в I-II в. проявлявшим большую склонность к каббалистике; но возможно, что сокращение Ieschu имело более простое происхождение и было принято с целью попросту назвать Иисуса пренебрежительно уменьшительным именем, как наши старорусские Ивашка, Гришка и т. п. Во всяком случае сокращение Ieschu надо считать специфической чертой талмудической традиции об Иисусе.

Второй элемент, прочно кристаллизовавшийся в таннаитских слоях традиции, это—характеристика Иисуса, как чародея, соблазнителя и совратителя народа; именно за эти преступления („он колдовал, и соблазнял и склонял к отступничеству Израиль“) Иисус, согласно талмудической традиции, был осужден на смерть.[4]) Репутация Иисуса, как чародея, оценивалась среди иудейства настолько высоко, что раввины вполне допускали возможность исцелений именем Иисуса и рассказывали даже случаи этого рода.[5]) Не менее энергично подчеркивается также роль Иисуса, как лжеучителя. Иисус „сжег открыто свою пищу“, т. е., распространял лжеучение, по образному выражению раввинов[6]); христианское обозначение учения Иисуса, как evangelium, *добрая весть*, раввины тенденциозно, по своему обычаю, переделывают в созвучные avengillajjon—„писание, приносящее беду“ или avongillajjon—„писание греха“[7]). В связи с такой оценкой проповеднической деятельности Иисуса он в талмудической традиции приравнивается к библейскому Билеаму (Валааму), известному пророку; о нем, кроме традиции, рассказывавшей о том, как он вместо проклятия благословил израильский народ, была в библии еще другая традиция, передававшая, что он еще в кочевую эпоху склонял народ отступить от культа Иагве и поклоняться Баал-Пеору. Это отожествление начинается очень рано, еще в Мишне. Там в трактате Sanhedrin, 10,2 говорится, что в будущем мире не будут иметь доли три царя (Иеробеам, Ахаб и Менаше), и четыре частных лица: Билеам, Доэг, Ахитофел, и Гехази. Повидимому, здесь Билеам разумеется, как таковой; по крайней мере три царя и три частных лица—определен-

---

[1]) Tos. Chulin, II, 22-24 и др. Кроме этого в Midrasch Qoheleth, 1, 8, Иисус назван peloni—„известный некто“; ср. Strack-Biller., Kommentar, I, S. 37-38.

[2]) Ср. Иошуа бен Нун (Иисус Навин); в послепленную эпоху имя Иошуа носили очень многие первосвященники и раввины.

[3]) Ср. Kommentar, I,64.

[4]) Bab. Sanhedr., 43-a.

[5]) Tos Chullin, II, 22-23; ср. Pal. Aboda Zara, 40-d; Pal. Schabb. 14-d и др.

[6]) Bab. Berach., 17-b; ср. B. Sanh., 103-a.

[7]) Bab. Jchabb. 116-a—b.

ные библейские персонажи, которые с точки зрения ортодоксального иудейского богослова были яркими представителями отступничества и греха. Но уже в мишнаитскую эпоху, в связи с зарождающимся уклоном в сторону символического и иносказательного употребления библейских имен и терминов, имя „Билеам" начинает терять свои индивидуальные черты и становится условным обозначением вообще для соблазнителя и учителя народа. Повод к такому преобразованию дала искусственная этимология имени Bile'am, от bala'—„проглатывать", отсюда „уничтожать", „губить", и 'am—народ; так получается значение „губитель народа". В этом смысле уже Мишна применяет наименование Вилеам к Иисусу. Ученики Авраама, „нашего отца"—говорит Aboth, 5,19—и Билеама, „злодея", имеют различную участь: первые наследуют будущий мир, а вторые наследуют геенну и низвергаются в бездну гибели. Позднее, в вавилонском Талмуде, Доэг, Ахитофел и Гехази фигурируют уже рядом с Иисусом (Ieschu hanoçri), а не с Билеамом[1])—отождествление кристаллизовалось, и одно имя совершенно спокойно заменяется другим. Мидраш (к Num. 14) резюмирует весь этот процесс вопросом и ответом: „кого народы имеют пророком, соответствующим Моисею? Билеама". Наконец, последний основной момент таннаитской традиции об Иисусе относится к его судьбе: Иисус из Назарета был повешен накануне Пасхи, после того как его побили камнями за чародейство и совращение народа; при этом, как полагается по закону[2]), сорок дней перед казнью ходил глашатай и, об'являя о приговоре, призывал всех, кто может сказать что-либо в оправдание Иисуса, явиться и дать свое показание; но таких не нашлось, и Иисус был повешен накануне Пасхи[3]). Эта традиция имеет ясно выраженный полемический характер: с одной стороны, она хочет показать, что в процессе Иисуса все права обвиняемого на защиту были соблюдены даже в большей степени, чем это предписывалось действовавшим тогда правом, ибо глашатай вызывал свидетелей в пользу приговоренного в течение целых 40 дней, тогда как по Мишне (Sanhedr., 6, 1) глашатай производит вызов лишь по пути осужденного к месту казни; с другой стороны, она тем самым подчеркивает, что Иисус действительно заслужил свою судьбу, так как даже в течение сорока дней не нашлось ни одного свидетеля в его пользу.

Эти основные элементы древнейшего ядра талмудической традиции об Иисусе подвергаются дальнейшему развитию и преобразованию в эпоху т. наз. амореев (вторая половина II в. и начало III в.), раввинов, толковавших комментарии таннаитов; некоторые моменты дальнейшего развития, однако, намечаются еще раньше, в таннаитскую эпоху, как это видно из произведений христианских писателей II и III веков. Первым исходным пунктом дальнейшего развития является наименование Иисуса „сын Пантеры". Ориген (182-251 по р. х.) говорит, что иудеи срамят Иисуса его происхождением из иудейской деревни, от бедной поденщицы, которая вела распутный образ жизни, была за это выгнана из дому плотником, с которым была обручена, и родила Иисуса от некоего солдата Пантеры [4]). Таким образом, наименование „сын Пантеры" приобрело специфический смысл, позорящий мать Иисуса и его самого. Далее, позднейшая традиция стремится об'яснить происхождение дара чудотворения, которым обладал Иисус, и притом так, чтобы был очевиден нечистый источник этого дара. Тоже самое иудейское полемическое сочинение, цитируемое Оригеном,

---

1) Bab. Berach., 17-b.

2) Sanhedr, 6, I.

3) Bab. Sanhedr. 43-a.

4) Contra Celsum, 1.28,32.

говорит, что Иисус из-за бедности нанялся работать в Египет и там научился „неким силам" (dynameon tinon), которыми славятся египтяне, а затем вернулся на родину, и возгордившись своей силой, об'явил себя богом [1]). Таким образом, традиция стремится доказать, что дар чудотворения Иисуса, казавшийся для нее несомненным, проистекает не от благодати иудейского бога, а от тайной египетской чародейной науки, которая, по воззрениям иудейских богословов, стояла в оппозиции истинной иудейской вере еще со времени борьбы Моисея с египетскими магами перед исходом. Наконец, с Иисусом амореи начинают связывать различные упоминания о случайных лицах, которые часто появляются в конкретных примерах таннаитов при толковании тех или иных казусов; таких лиц Мишна, Тосефта и ранние части Талмуда называют очень много, но для амореев огромное их большинство было неясными фигурами, и потому некоторых из них иногда стремились отожествить с Иисусом. В Палестинском Талмуде [2]) был рассказ про равви Иегуда бен Табаи, который уехал из Иерусалима в Александрию; когда иерусалимляне упросили его вернуться, он, отправляясь на корабль, спросил у своих учеников, был ли в каком-либо отношении недостаток у Деборы, хозяйки дома, у которой они останавливались; и когда один из учеников, *не* названный по имени, заметил, что у нее были грустные глаза, равви разгневался на него и сказал: „ты дважды согрешил: во первых, тем, что заподозрил меня (т. е. в том, что равви обращает внимание на женскую красоту), во вторых тем, что глядел на нее; я говорил о ее делах!" И тогда ученик должен был уйти от него. Вавилонский Талмуд [3]) рассказывает подобную же историю про р. Иегошуа бен Перахья, который во время гонений Александра Ианнея на фариссев (в 90-х годах до р. х) должен был бежать со своим учеником Иешу (Jeschu) в Александрию, а затем, получив известие о прекращении преследований, поехал обратно. По пути он заехал в корчму, где ему был сделан особо почетный прием. Равви сказал: „как прекрасно (iaphe) это угощение (aksanja)". Но тоже слово aksanja значит и „хозяйка"; Иешу так и понял равви и сказал: „учитель, ее глаза восхитительны". Разгневанный раввин сказал: „нечестивец, чем ты занимаешься!" и прогнал его. Иешу несколько раз приходил к равви с просьбой о прощении; сначала равви не обращал на эти просьбы внимания, но последний раз, когда Иешу застал его на молитве, равви махнул ему рукой, чтобы тот подождал. Иешу, однако, понял знак в том смысле, что равви окончательно его прогоняет, пошел, воздвиг стэлу и стал ей молиться; а когда равви предложил ему покаяться, он ответил: „я принял от тебя (учение): кто грешит и учит других грешить, тому нет возможности покаяться". И рассказчик (mar) прибавляет от себя: „так Иешу колдовал и соблазнял, и совращал Израиль". Тут перед нами совершенно ясный процесс: был ходячий сюжет про равви, хозяйку гостинницы и недогадливого, но внимательного к женской красоте ученика, приурочивавшийся то к одному, то к другому раввину; в одном из вариантов ученик был назнан Иешу, и это дало повод отожествить его с Иисусом, тем более, что существовала традиция о пребывании Иисуса в Египте. Ее коренное противоречие с этим сюжетом (там Иисус—бедняк без роду и племени, поденщик, ученик египетских магов, здесь—ученик знаменитого раввина, лишь с отчаяния отступивший от веры) не смутило автора рассказа Sanhedr. 107/в, и он, следуя общему течению, отожествил

---

[1]) Contra Celsum, 1,28.

[2]) Pal. Chagiga II, 2.

[3]) Bab. Sanhedr. 107/b; Bab. Sota, 47/a.

незадачливого ученика Иегошуи бен Перахья с Иисусом [1]). Кроме незадачливого ученика александрийского раввина, Иисуса в аморейскую эпоху пытаются отожествить с некиим бен Стада (т. е. сыном Стада), каким-то еретиком из Лидды, который был побит камнями за совращение в идолопоклонство. В Тосефте бен Стада упоминается по поводу спора о том, против каких преступников возможно устраивать засаду с целью их изобличения. Приведем этот текст полностью в виду его основного значения для всех дальнейших талмудических споров о бен Стада. „Против кого бы то ни было из повинных смерти, какие встречаются в Торе, не делают засады, кроме того, кто совращает к идолопоклонству. Как поступают по отношению к такому? Помещают двух учеников мудрецов во внутренность дома, в то время как тот сидит вне дома, и зажигают для него огонь так, чтобы те его видели и слышали его голос. И так было поступлено по отношению к бен Стада в Лидде. Два ученика мудрецов были против него в засаде; и его отвели в дом суда и побили его камнями" [2]). Вавилонский Талмуд, развивая толкование дальше, повторяет этот отрывок с некоторыми видоизменениями и добавлениями [3]). Во-первых, он раз'ясняет подробно, как должно происходить изобличение: в то время, как двое сидят в засаде, третий подходит к изобличаемому и говорит: „скажи мне, что ты мне говорил, (еще раз) наедине", и таким образом провоцирует изобличаемого ни уличающие его слова. Во-вторых, вав. Талмуд изменяет конец таким образом: „и так было поступлено с бен Стада в Лидде, и его повесили накануне Пасхи"—характерная замена побития камнями повешением, в котором уже сказывается стремление связать бен Стада с Иисусом. Однако, в эпоху таннаитов бен Стада—еще совершенно особая фигура, вокруг которой не прекращаются казуистические споры. Он был казнен; но по поводу правомерности его казни высказывались сомнения. Как видно из другого места Тосефты [4]), бен Стада обвиняли между прочим в том, что он учил вырезывать на теле магические буквы и делал это в субботу; равви Элиезер считал это достойным кары и придавал случаю с бен Стада значение прецедента, но другие мудрецы возражали ему, не считая подобнаго рода деяние ни достойным кары, ни прецедентом: „разве мы должны ради одного глупца об'явить подлежащими каре всех разумных"? Отсюда с полной ясностью вытекает, что еретик бен Стада из Лидды был обвиняем не один раз, и что в конце концов его постигла смертная казнь за идолопоклонство. Но в эпоху амореев начинают спорить о том, кто такой был бен Стада, так как выдвигается предположение, что бен Стада—это бен Пантера. Мы читаем такой ряд предположений вавилонских амореев: „сын Стада? Сын Пандеры он был. Р. Хисда говорил: муж был Стада, любовник Пандера. Муж был Паппос, бен Иегуда, его мать Стада. Его мать была Мириам, завивальщица женских волос, как говорили в Пум Бедита [5]):

---

[1]) Штрак (Jesus u. s. w., S. 33—34) указывает, что почти все современные коментаторы считают рассказ Bab Sanhedr. 107b переработкой рассказа Pal. Chagiga, 2,2 и потому недостоверным. Мне кажется, что рассказ Bab Sanhedr. в его первоначальном виде вовсе не имел целью отожествлять Иешу и Иисуса, и что это сделано только в заключительной заметке рассказчика (mar), включившего его в текст Bab. Sanhedr. Но для позднейшей традиции этот рассказ стал основанием для перенесения Иисуса в дохристианскую эпоху (ср. Tosaphoth к. Bab. Schabb. Иакова бен Меира, внука знаменитого Раши—Strack, Jesus, S. 36).

[2]) Tos. Sanhedr., 10,11; ср Pal. Sanhedr, 7,16.

[3]) Bab. Sanh. 67-a.

[4]) Tos. Schab., 11,15. Bab. Schabb. 104-b прибавляет, что бен Стада научился этому искусству в Египте.

[5]) Так называлась иудейская высшая школа в Вавилоне.

она сделалась отступницей (setath da—игра слов=Stada) от своего мужа [1])". Р. Хисда высказал три предположения; но он, пользуясь обычными раввинистическими методами, мог бы привести их и тридцать. Нужно было доказать что бен Стада и бен Пандера одно и то же лицо; на выбор какая угодно комбинация: бен Пандера—по любовнику, а бен Стада—или по законному мужу, или по матери. Если первая гипотеза основывается на себе самой—на том, что бен Стада должен был быть бен Пандера, то вторая гипотеза основывается на обычных для раввинистического метода сопоставлениях. Тосефта рассказывает о Паппосе бен Иегуда, что он имел жену, не названную по имени, но занимавшуюся завиванием волос и, уходя из дому, запирал ее, чтобы она без него ни с кем не говорила: явное дело, жена Паппоса была была склонна к измене [2]). А вавилонский Талмуд рассказывал об одной ошибке ангела смерти, посланного за Мириам, завивальщицей волос, но приведшего Мириам, воспитательницу детей, [3])—отсюда для талмудистов было вполне возможно допустить, что жена Паппоса звалась Мириам; а так как и мать Иисуса была Мириам, то круг самым успешным образом завершался. Некоторым из современных не в меру усердных ученых скептиков вполне достаточно такого чисто механического и произвольного сцепления различных отрывков разновременных мест Талмуд, чтобы непререкаемым образом заявить, что все евангельские мифы прикреплены к некоему иудею, ученику бен Перахья, по имени Иисусу, который еще за 100 лет до начала нашей эры был в Лидде побит камнями и накануне Пасхи повешен на дереве [4]). Но им в пример можно привести хотя бы внука Раши, Иакова бен Меира, который не соглашался с мнением, что бен Стада был Иешу из Назарета, так как бен Стада жил в эпоху Паппоса (т. е. в 1 в. нашей эры), а Иешу был учеником Иегошуи бен Перахья, жившего в эпоху Александра Яннэя [5]). На самом деле, конечно, ни бен Стада, ни Иешу, ученик Иегошуа бен Перахья, ничего общего с подлинным Иисусом не имели.

Тенденция связывать Иисуса с разными отрицательными персонажами, выплывающими в различных частях Талмуда, есть, конечно, проявление той борьбы, которая шла между иудейством и христианством. Чем больше отрицательных черт можно было соединить с фигурой Иисуса, тем контр-агитация иудейства казалась надежнее. Но самым надежным приемом и в эпоху амореев казалось сопоставление Иисуса с Билеамом. То обстоятельство, что Иисус по традиции умер 33-34 лет, об'яснялось из писания: на вопрос, скольких лет достиг Билеам, ответ талмудистов гласит, что по писанию люди крови и обманщики не простирают дней своих дальше половины жизни, и что Билеаму „хромому" было действительно, 33 года, когда его убил Пинхас Листаа [6]). Характерно здесь название Иисуса хромым: Билеам по талмудическому преданию был на одну ногу хром, а про Иисуса не дошедшее до нас иудейское сочинение Toledoth Ieschu рассказывал, что он при попытке бежать очень неловко упал и повредил ногу [7]). Но завершением цикла Билеам—Иисус является грубый апологетичский рассказ из вавилонского Талмуда о некоем Онкелосе, сыне Калоника, который хотел сделаться прозелитом и спрашивал совета у трех злей-

---

[1]) Bab. Jchabb. 104-b.
[2]) Tos Sota, 5, 9, ср. Bab. Gittin, 90/a.
[3]) Bab. Chagiga, 4. b
[4]) Cp. Smith, Vorchristl. Iesus S. IX.
[5]) Jtack, Iesus, 36.
[6]) Bab, Sanh 106/b Пинхас Листаа-Понтий Пилат; Понтий-Пинхас, lista'a—греч. lestes—разбойник, сокращение Pelista'a—Пилат; ср. Levy, Handwörterbuch, II 503.
[7]) Strack, Iesus, S. 42, Anm. 4.

ших врагов иудейства, Тита, Билеама и Иисуса, вызвав заклинаниями их тени. Все трое признали, что Израиль—наиболее почтенный народ этого мира, и что заповеди его нелегки для исполнения; и вместе с тем, на вопрос Онкелоса, рассказали, как они страдают за свои грехи против этого народа: Тит, разрушивший и сжегший храм, ежедневно сжигается, и пепел его развевается по ветру, чтобы на другой день опять его собрать и сжечь; Билеам страдает вечным кипящим семяизлиянием, так как он соблазнил Израиль к распутному служению Баал-Пеору; казнь Иисуса—в вечно кипящем кале: „как учитель сказал: всякий, кто смеется над словами мудрецов, будет присужден к кипящему калу". [1])

Таково в главнейших чертах развитие талмудической традиции об Иисусе с конца II века. Оно не вносит никаких новых мотивов, но лишь разрабатывает прежние, установившиеся в эпоху таннаитов. Развитие идет по одному основному направлению: возможно сильнее скомпрометировать Иисуса. Если таннаиты еще не переходили границы известной умеренности в этом смысле, подчеркивая лишь, что Иисус заслужил свою участь, так как был магом, вероотступником и соблазнителем народа, и не касались моральных качеств его личности, то амореи сходят с позиции чисто вероисповедной оценки и пытаются скомпрометировать Иисуса уже не только как религиозного деятеля, но и как личность. Он засматривается на женскую красоту; он недогадлив и несообразителен; он смеется над мудрецами; он упрям и его тянет к греху—вот характеристика, которая получается из приуроченных к Иисусу рассказов об ученике александрийского раввина, о бен Стада, о вызове и ответах его тени. Характерно, что в аморейскую эпоху гораздо энергичнее, чем в таннаитскую, подчеркивается также, что мать Иисуса была женщиной легкого поведения—очевидный признак возрастающего культа богоматери во II и III веке. Методы амореев очень простые: по догадке, по внешнему сходству, по созвучию имени приурочиваются к Иисусу различные случайные сюжеты, попавшие в традицию со слов тех или иных раввинов. Отсюда ясно, что аморейская традиция является чисто вторичным образованием, и ее характерные черты заключаются не в новом материале, а в усиленной до крайних пределов перекраске в самые черные цвета старого материала.

Переходя теперь к характеристике того значения, какое может иметь талмудический материал для историка раннего христианства, мы должны прежде всего обратить внимание на основную его черту, одинаковую и для таннаитских и для аморейских слоев: именно, на резко выраженный полемическо-агитационный характер традиции. В равной степени тем же характером отмечена и внеталмудическая традиция об Иисусе, отрывки которой уцелели в сочинениях христианских писателей; и те же писатели бросают свет на происхождение этого полемического характера. Они указывают, что во втором веке велась с иудейской стороны против христианства самая страстная и широкая полемика; по словам Юстина-мученика, по всей „вселенной" были разосланы иудеями отборные (eklektoi) агитаторы для борьбы против этой „безбожной и беззаконной ереси"[2]); таким образом, талмудическая полемика является только частью обширной кампании со стороны иудейства против христианства, начатой еще в I веке. Но является вопрос: почему же христианство в конце I века, во II и даже еще в IV веке вызывало такие нападки со стороны иудейства? Допустимо ли, что иудейство боролось против *церковного* христианства, которое во II веке в подавляющем большинстве состояло из адептов *неиудейского*

---

[1]) Bab. Gittin, 56b, 57a.

[2]) Dial. cum Tryph. jud., 108,2 (написано в 155—160 г. г.).

происхождения? Конечно, борьба направлялась не против церковного христианства, а против *иудео-христианства*, которое уже во второй половине I века стало особняком от интернационального христианства, разойдясь с ним в вопросе об обязательности для христиан иудейского закона. Центром иудео-христианства до восстания 66—70 г. оставался Иерусалим; в начале осады христианская иерусалимская община выселилась в местечко Пеллу в Перее[1]), и с тех пор иудео-христиане не имели определенного центра, сосредоточиваясь, однако, в Палестине и Сирии. Эти-то группы, а также, начиная с середины II века, некоторые иудейские гностические секты, усвоившие известные элементы христианской идеологии, и были об'ектом антихристианской агитации с иудейской стороны. Официальное иудейство стремилось, конечно, не только изобличить иудео-христиан, но и переубедить их и вернуть в лоно иудейской веры, а также удержать от отпадения колеблющихся членов своей паствы; повидимому, по численности иудео-христиане представляли такую величину, которая имела известное влияние, и которою пренебрегать было нельзя. С другой стороны, христианская церковь также не теряла надежды привлечь на свою сторону эти элементы и также вела среди них пропаганду в защиту своей обрядности и догматики. Однако, и христианская, и иудейская пропаганда были одинаково безрезультатны: в 180 г. церковь принуждена была официально включить иудео-христианство в список ересей, и еще около 400 г. церковный писатель Иероним свидетельствует, что среди всех синагогальных общин на востоке распространена ересь так называемых назореев, которые в качестве священной книги имеют евангелие от Матфея на еврейском языке и осуждены фарисеями, как еретики.[2]) Отсюда ясно, что в аморейскую эпоху иудео-христианство распространилось уже за пределы Сирии и Палестины, и судя по тому, что наибольшая часть выпадов против Иисуса содержится в вавилонском Талмуде, проникло и в Вавилонию. После этого становится понятным, почему в аморейскую эпоху так усиливается стремление возможно больше скомпрометировать Иисуса: оно об'ясняется не успехами христианства, а успехами иудео-христианства.

Установив об'ект, на который направлялась антихристианская полемика талмудической традиции, мы можем теперь об'яснить некоторые характерные черты ее содержания. Полемика была направлена не против евангельской идеологии и не против христианской догматики—ни то, ни другое, как видно из обзора содержания талмудической традиции об Иисусе, не привлекало внимания раввинов,—но против основного пункта иудео-христианской идеологии. И если мы попытаемся на основании и талмудической, и внеталмудической традиции определить, в чем заключался этот основной пункт, эта главная мишень, то ответ может быть только один: личность Иисуса. При этом официальные вожди иудейства борются не против *бога Иисуса*, а против *человека Иисуса*. Он стоит в центре, он является притягательным магнитом для новициев из среды иудейства. Его притягательная сила не в его учении; называя Иисуса вообще лжеучителем и совратителем народа, талмудическая традиция нигде не полемизирует против лжеучения Иисуса и ничем его не конкретизирует. Но из талмудического материала ясно, чем притягательна была фигура Иисуса: его даром чудотворения и магической чудотворной силой, которую присвоивали имени Иисуса его иудейские последователи. С точки зрения раввинов, лучше умереть, чем быть исцеленным именем Иисуса; но так как всякий предпочитал

---

[1]) Euseb. Hist. ecclesiast., III, 5.

[2]) Hieron., De viris illustr. 3; Иреней (Adv. haer., I, 26,2) называет иудео-христиан эвионитами.

не умереть, а выздоравливать, то приходилось выдвигать на помощь домысел о том, что Иисус научился чародейному искусству в Египте, и что, следовательно, оно от сатаны и в конечном счете должно принести гибель всякому, кто к нему прибегнет. Но, конечно, талмудическая традиция не договаривает самого главного: Иисус привлекал последователей не только, как чудотворец, но и как Мессия. Это был, конечно, главный пункт разногласия между официальным иудейством и иудео-христианством, и его совершенно ясно указывает Юстин: „некоторые из вашего рода“ соглашаются, что Иисус есть christos, т. е. Мессия,—говорит он Трифону. Отсюда стремление скомпрометировать происхождение Иисуса: Мессия должен был произойти из рода Давидова, а Иисус, по утверждениям раввинов, человек без роду, без племени, незаконнорожденный, сын какого-то ни кому неведомого солдата Пандеры;[1]) отсюда усиленное распространение домысла, что ученики Иисуса выкрали после казни его тело из гробницы и провозгласили его воскресшим,[2]) ибо вера в воскресение Иисуса была для всех разновидностей раннего христианства основанием надежды на его парусию для суда над миром и для установления мессианического царства.

Таким образом, в раввинистической традиции об Иисусе нашли себе отражение основные пункты иудео-христианских воззрений на Иисуса; в конечном счете эти воззрения являются источником для раввинистической традиции об Иисусе. Тогда возникает вопрос: могут ли данные, сообщаемые раввинистической традицией об Иисусе, иметь какое либо об‘ективное значение, в смысле дополнения и исправления евангельской традиции? На этот вопрос можно ответить, лишь разрешив другой вопрос: является ли иудео-христианская традиция отличной от евангельской и заслуживающей доверия, или она есть только одна из модификаций евангельской традиции? Вопрос этот не так просто разрешается; но некоторые данные для его разрешения все же имеются, и они показывают, насколько поспешно заключение некоторых новозаветников, что иудейская традиция лишь воспроизводит в каррикатурном виде кое-какие данные евангельской традиции.

Прежде всего приходится оговориться, что термин „евангельская традиция“ очень часто расширяется за его точные, специальные пределы. Под ним нередко разумеют ранне-христианскую традицию вообще; но на самом деле значение его иное, более ограниченное. Под евангельской традицией об Иисусе прежде всего приходится разуметь традицию синоптическую—это первое ограничение. Второе ограничение заключается в том, что эта синоптическая традиция далеко не обнимает собою всей той традиции, устной или письменной, какая существовала об Иисусе в первых общинах. Синоптическая традиция, грубо говоря, составилась из двух традиций: той, которая легла в основу евангелия от Марка, и той, которая легла в основу так наз. Spruchquelle, использованного в первом и третьем евангелии. Но в этих последних есть мелкие отрывки, восходящие к каким-то иным источникам, использованным лишь мимоходом; и наконец, в евангелии от Иоанна с богословскими диатрибами и диалогами соединены отрывки из традиции об Иисусе, сродной по духу с синоптической традицией, но с ней не совпадающей по содержанию. Таким образом, синоптики закрепили

---

[1]) Штрак (Kommentar 1,42) относит также к Марии и Иисусу отрывок из Bab. Challa 18-b, где рассказывается, как р. Акиба угадал, что один мальчик, шедший мимо старейшин с непокрытой головой (Иисус?),—незаконорожденный и сын менструирующей; это подтвердила потом и его мать, рассказав, что в день свадьбы, когда она пошла в спальню, муж не остался с ней, так как у нее была менструация; но тогда зашел к ней дружка, и от него она зачала этого мальчика. Половое соитие с менструирующей было строго запрещено законом. Однако, остается под вопросом, не является ли этот рассказ просто примером прозорливости р. Акибы.

[2]) Justin.,Dial., 108,2.

только некоторую часть различных традиций об Иисусе; обрывки из прочих традиций, кроме евангелия от Иоанна, мы находим в некоторых замечаниях посланий Павла, среди апокрифических логий и в цитатах ранних христианских писателей. В настоящем своем виде эти обрывки совершенно ничтожны и не прибавляют ничего существенного к синоптической традиции; но в I веке они составляли часть крупного по размерам и важного по значению материала. Все указанные различные традиции восходили к различным апостолам, т. е., в конечном счете, к устной традиции; но при этом некоторые традиции должны были получить и получили известный местный отпечаток, поскольку их хранителями становились общины, основанные тем или иным апостолом [1]. Тем более обособленный характер должна была получить иудео-христианская традиция об Иисусе в виду раннего отделения иудео-христианства от интернационального христианства.

Обособление должно было начаться очень рано—в 40-х годах I века; и потому иудео-христианская традиция не могла испытать на себе тех многообразных влияний, каким подверглась первоначальная традиция в разноплеменных общинах интернационального христианства. Один из самых характернейших признаков иудео-христианской традиции об Иисусе, свидетельствующий в то-же время о ее большей близости к первоначальной традиции, чем синоптическая, заключается в том, что она не признает богочеловечества Иисуса. Именно, по словам Юстина, иудео-христиане, соглашаясь, что Иисус есть Мессия, в то же время заявляют, „что он *человек* и произошел *от людей*“ [2]). Другими словами, вера в богочеловечество Иисуса, сквозящая уже в евангелии от Марка и еще в 60-х годах I века давшая начало мифу о зачатии Иисуса от духа в подражание греческим мифам о зачатии Платона или Александра, совершенно чужда иудео-христианской традиции. Против догмата о богочеловечестве не борются и раввины, тем самым косвенным образом подтверждая показание Трифона. Но отсюда совершенно ясно следует, что иудео-христианская традиция об Иисусе сохранила в большей степени элементы первоначальной традиции, чем традиция синоптическая. Ученики Иисуса считали его Мессией, но не считали его богочеловеком; даже в Деяниях, произведении, уже затронутом синоптической схемой, Петр называет Иисуса Назарянина (=Jeschua hanoçri) „мужем“ (andra), которого бог выдвинул (apodedeigmenon) знамениями и чудесами и воскресил его после смерти [3]). Воскресение Иисуса с иудейской точки зрения не представляло из себя чего-либо специфического, особенного, свидетельствующего о его божественности. По воззрениям раввинов, бог может воскресить, кого хочет, теперь, в современном мире, и даже дает власть воскрешать умерших праведным людям и раввинам [4]); о случаях воскрешения мертвых есть рассказы в вавилонском Талмуде и Мидрашах [5]). Таким образом, иудео-христианская традиция в столь важном пункте, как квалификация лич-

---

[1]) Весьма интересна и плодотворна по результатам попытка Эд. Мейера выделить в традиции, использованной Марком, традицию, восходящую к Петру, и традицию, кристаллизовавшуюся в иерусалимской общине после ухода оттуда Петра (в 44 г.). Ср. Ursprung und Anfange des Christentums, I.

[2]) Anthropon de ex anthropon genomenon apophainomenoi.—Dial., 48, 4.

[3]) Деян., 2, 22—24.

[4]) Ср. Strack-Biller., Kommentar, I, 523—524.

[5]) Ср. Kommentar, I, 560. Один из цитируемых Штраком рассказов (B. Megilla, 7b) очень красочен: исполняя заповедь о том, что на празднике Пурим надо пить до тех пор, пока не потеряется различие между „да будет проклят Гаман“ и „да будет благословен Мардохай“, два раввина напились до того, что один зарезал другого; на другой день убийца, протрезвившись, воскресил убитого из мертвых. На следующий год воскресивший предложил воскрешенному опять праздновать вместе Пурим; но тот отказался, сказав: „не каждый час случается чудо“.

ности Иисуса стоит ближе всего к традиции первоначальной и расходится с традицией синоптической. В основе ее лежит, несомненно, традиция иерусалимской общины, древнейшей из христианских общин; и удаляясь от иудео-христианства, синоптическая традиция сделалась модификацией первоначальной традиции, в то время как иудео-христианская традиция, отличаясь присущим иудейству консерватизмом, могла сохранить многие первоначальные элементы в неприкосновенном виде.

После всех изложенных замечаний и соображений вопрос о признании за талмудической традицией об Иисусе известной доли об'ективного значения получает новое освещение. Раз в основе толмудической традиции лежит традиция иудео-христианских общин, более близкая к первоначальной традиции, чем традиция, сложившаяся в интернациональных общинах, то талмудическая традиция может содержать в себе об'ективные данные об Иисусе. Может содержать, но может и не содержать — ибо элементы иудео-христианской традиции в Мишне, а тем более в Талмуде, подверглись самой тенденциозной переработке и обросли целым рядом инородных наслоений. Задача историка заключается в том, чтобы исследовать по очереди главные элементы талмудической традиции, снимая со счетов моменты переработки и откидывая все то, что относится к разряду наслоений. При этом нашему исследованию подлежат, конечно, только основные, древнейшие элементы традиции, относящиеся к таннаитской эпохе; элементы аморейской эпохи не могут претендовать на какое-либо об'ективное значение. Правда, в аморейскую эпоху в школах ученых рядом с раввинами существовали особые хранители таннаитской традиции, помнившие ее наизусть и, в случае надобности, воспроизводившие ее для амореев[1]). Но они при этом почти всегда ссылались на определенного ученого таннаитской эпохи, и по этим ссылкам таннаитская традиция выделяется легко из вавилонского и палестинского талмудов, относящихся уже к эпохе амореев; выше, при изложении содержания традиции об Иисусе таннаитской и аморейской эпох это учтено, и к аморейской традиции отнесено только то, что составляет продукт работы именно амореев. Далее, при исследовании вопроса об об'ективном значении элементов таннаитской традиции чрезвычайно важно сопоставлять ее с данными традиции синоптической и с некоторыми указаниями церковных писателей, хорошо знавших иудейскую полемическую литературу против христианства; их указания в некоторых случаях могут служить верным масштабом для определения надежности или ненадежности того или иного элемента раввинистической традиции.

Первый элемент, подлежащий нашему исследованию,—это наименование Иисуса не бен-Иосиф, а бен-Пантера. Нам представляется, что здесь сохранилось подлинное иудейское имя Иисуса. Прежде всего, в этом пункте таннаитская традиция находит себе подтверждение в христианской традиции. Церковный писатель, известный Евсевий[2]), замечает, что некоторые из „обрезанных“ говорят, что Иисус родился от Пантеры, но не видит в этом ничего предосудительного, так как, по его мнению, этот факт лишь свидетельствует об исполнении пророчества Осии: „сделаюсь им львом, и буду высматривать на пути, как пантера“ (13,7). Несколько позже Епифаний[3]) говорит, что Иосиф, муж Марии, и его брат Клеопа были сыновьями Иакова, имевшего прозвание Пантер (Panther), и по отцу оба также получили прозвище Пантер. Совершенно правильно по поводу этих замечаний церковных писателей указывал еще в 90-х годах прошлого века Теодор Цан, что

[1]) Ср. Strack, Einleitung in Talmud und Midrasch, V Aufl. S. 2.
[2]) Eclog. Prophet, III, 10.
[3]) Adv. haeres., 78,7.

их наивное простодушие свидетельствует о полном отсутствии у их авторов понятия о том, в какой другой и притом одиозной связи имя Пантера применялось к биографии Иисуса. Цан видит в этих замечаниях заимствование из какого-то древнего христианского источника, вернее всего, из Гегесиппа [1]); и любопытно отметить, что, судя по сохранившимся отрывкам из этого писателя, он был как раз хорошо осведомлен по истории иерусалимской иудео-христианской общины. Конечно, имя Пантеры в действительности носил не любовник Марии, а законный отец Иисуса, так как наименование „сын такого-то“ всегда относилось к законному отцу или законному родоначальнику. Отец Иисуса, очевидно, носил двойное имя, иудейское и греческое, согласно обычаю, установившемуся среди высших слоев иудейского общества еще во II веке до р. х.; имя Пантера было в ходу в I веке именно среди эллинизованных сирийцев и палестинцев[2]). Если это так, то отсюда вытекает еще одно важное обстоятельство: семья Иисуса была мелкобуржуазной а не пролетарской, так как в среде чисто трудового населения, мелких наемных рабочих, мелких ремесленников и мелких полукрепостных арендаторов (арисов), обычай носить два имени вряд ли существовал. Тогда становится понятным и несомненный факт известной начитанности Иисуса в законе и пророках и знакомства его с раввинистической ученостью: происходя из более или менее достаточной семьи, он мог получить известное образование. Остается открытым вопрос об иудейском имени отца Иисуса. Талмудическая традиция упорно называет Иисуса по греческому отчеству, конечно, из полемических соображений; имя Иосиф, присвоенное мужу Марии в синоптической традиции, вряд ли может считаться подлинным, так как оно совершенно отсутствует у Марка и появляется только у Матфея и Луки, в мифической истории рождения Иисуса. Если мы прибавим сюда, что среди некоторой части иудейства существовало мнение, согласно которому Мессия должен быть произойти не из рода Давидова (ben Dawid), а из рода Иосифа, сына патриарха Иакова и легендарного предка сильнейшего израильского племени Эфраим (ben Ioseph или ben Ephraim), то подлинность имени Иосифа придется решительно отвергнуть; выбор этого имени об'ясняется, вероятно, стремлением соединить в мифической родословной Иисуса обе версии о происхождении Мессии, от Давида и от Иосифа [3]).

Второй чрезвычайно важный пункт талмудической традиции, подлежащий нашему исследованию, касается определения характера деятельности Иисуса. По таннаитской традиции, всецело поддерживаемой и в аморейскую эпоху, Иисус совершал чудеса и проповедовал учение, неправильное или еретическое с точки зрения официальной иудейской ортодоксии. По евангельской традиции, славу Иисуса составили прежде всго и главным образом чудеса; тут обе традиции сходятся. Но их схеодство еще не решает вопроса; синоптическую традицию в пункте, касающемся чудес, заподозривал еще Штраусс, и с тех пор точка зре-

---

[1]) Zahn, Forschungen zur Geschichte des neutestam. Kanons, B. VI, S. 267 (цитирую по Strack, Jesus, S. 11).

[2]) Cp. Deissman, Licht vom Osten, 4. Aufl, S. 57.

[3]) Цитаты из Талмудов и Мидрашей о Мессии, сыне Иосифа и сыне Эфраима см. Kommentar II, 292—295. Там же исчерпывающим образом показано, что ожидание Мессии из рода Иосифа есть чисто раввинистическая выкладка, основывающаяся на раввинистическом отождествлении Эдома с Римом и на раввинистическом толковании места Иеремии 49,20, что Эдом-Рим будет побежден потомками Рахили, т. е. потомством Иосифа и Вениамина. Начальная история Исуса у Матфея и Луки сработана авторами, сведущими в раввинистических взглядах и приемах, и неудивительно, что они воспользовались этой раввинистической выкладкой. Взгляд Робертсона (Евангельские мифы, стр. 42), что идея Мессии бен-Иосиф самарянского происхождения, совершенно произволен, тем более, что никаких самарянских идеологий, считавшихся среди ортодоксального иудейства еретическими, раввины рецепировать не могли.

ния Штраусса, считавшего, что все рассказы евангелий о чудесах относятся к разряду мифов, скомпанованных совершенно искусственным образом, поддерживали и поддерживают многие крупные новозаветники. Бесспорно, что чудес не бывает, и что все рассказы о чудесах всегда содержат в себе элементы мифа; но вопрос в данном случае стоит о том, пользовался ли Иисус при жизни славой чудотворца и считал ли себя таким, или в чудотворцы он был произведен лишь в христианских общинах, в процессе создания христологической догмы; при этом вполне допустимо, что подобного рода процесс окружения Иисуса ореолом славым чудотворца мог начаться еще в среде первоначальной христианской общины в Иерусалиме. Талмудическая традиция в этом пункте является особенно важной, так как она отразила традицию о даре чудотворения Иисуса не в простой и общей форме, а с некоторыми характерными деталями, наличие которых превращает эту традицию в надежное свидетельство о том, что Иисус действительно имел репутацию чудотворца и слыл подлинным чародеем даже в глазах правоверного иудейства. Как мы уже видели из обзора содержания талмудической традиции, Иисус был приговорен к побитию камнями за чародейство; к такому наказанию, согласно Sanhedr. 7,11, приговаривались только настоящие чародеи, а не фокусники, „обманывающие глаза". Чародейство, а особенности изгнание злых духов из больных при помощи заклинаний и различных магических обрядов, было в большом ходу среди иудейства эпохи I века, и при том далеко не всякое чародейство считалось недопустимым: чародеи, ссылавшиеся на чародейную науку царя Соломона, пользовались даже большим почетом [1]). Мы уже видели, что за многими раввинами была репутация чудотворцев и при том таких, которые могут даже воскрешать мертвых; сверх того, в Мишне и в вавилонском Талмуде есть совершенно точные указания, какие магические обряды дозволены и какие нет. И тут мы переходим уже в плоскость иллюстрации и подтверждения некоторых деталей синоптической традиции, связанных с рассказами о чудесах Иисуса. Иисус, судя по древнейшему евангелию от Марка, совершал свои исцеления не одними словами, но также и при помощи некоторых манипуляций, носивших магический характер: помазание глаз землею, смешанной с слюною самого Иисуса, вкладывание пальцев в уши [2])—все это примитивные магические способы для передачи больному целительной силы духа, обитающего в целителе. Но именно те способы, которые употреблял Иисус, были, как видно из талмудической литературы, весьма употребительными среди иудейства. Больные зубы исцелялись посредством прикосновения к ним пальцев целителя [3]); лучшим средством для исцеления больной части тела считалось оплевывание ее целителем, с нашептыванием при этом стиха Исх. 15,26, которому придавалась магическая сила: „никакого бедствия, какое возложил я на Египет, не возложу на тебя, ибо я Иагве, твой целитель". При этом запрещалось оплевывать раньше произнесения формулы и читать формулу на священном (еврейском) языке [4]). Таким образом, талмудическая традиция дает лишнее и весьма яркое доказательство более раннего характера известий Марка и подтверждает те детали, какими сопровождаются, по Марку, чудеса Иисуса. Он является типичным народным целителем, опирающимся на чародейное искусство своего времени и своего народа; эти его черты сохранила иудео-хри-

---

[1]) Ср. Jos., Archaeol., VIII, 2,5.

[2]) Ср. Марк 7,31—37; 8,22—26; интересно также Марк. 5,1—20 и комментарий Велльгаузена ad locum, Evangelium Marci S. 41. Иоанна, 9, 1—7 восходит также к древней, еще не подправленной традиции.

[3]) Ср. цитаты в Kommentar, II, 15.

[4]) Ibid., 15—17.

стианская традиция, они отражены в талмудической традиции, удержались еще в древнейшем евангелии от Марка, но уже изглажены в евангелиях от Матфея и от Луки. В связи с этим новое освещение и подтверждение получает также рассказ, имеющийся у всех синоптиков, согласно которому книжники об'ясняли чудеса Иисуса тем, что он имеет в себе Веельзевула и изгоняет бесов именем господина злых духов [1]). С точки зрения всякой религии, дар чародейства может быть только от духа, доброго или злого; добрый целитель действует именем доброго духа, магическим именем Иагве, а злой чародействует именем злого духа; только таким образом враги Иисуса и могли об'яснить его чародейную силу, которую они признавали. Мы видели выше, что раввинистическая традиция пыталась скомпрометировать целительную силу Иисуса тем, что он почерпнул свое магическое искусство из не чистого источника, из Египта. Эта попытка подводит нас к эпизоду с Веельзевулом с другой стороны. Имя Beelzebul, как обозначение главного злого духа, нигде, кроме евангелий, не встречается; попытки истолковать его с еврейского в смысле „ваал (господин) кала или навоза" (от zebel) не могут считаться сколько-нибудь удовлетворительными именно потому, что в этом значении термин может быть только раввинистическим [2]), а между тем в раввинистической литературе он совершенно не встречается. Но это обозначение находит себе звуковые параллели в народных синкретических заговорах, ходивших в Египте и в Палестине: образцы этих заговоров имеются теперь в целых сборниках заговоров, найденных в Египте и написанных на папирусе (по-гречески). Заговоры эти были запрещенными в Иудее, так как в них заклинание производилось недозволенными способами: призыванием собственного имени еврейского бога (в форме Jao) и рядом с ним призыванием имен различных божеств, отчасти египетских, отчасти вавилонских, отчасти настолько исковерканных, что происхождение их невозможно определить; сверх того прибавлялись особые магические словосочетания, смысл которых в настоящее время также не всегда ясен. В одном из сборников этого рода, так называемом *Лейденском папирусе*, изданном Дитерихом [3]), встречаются магические термины, очень близко напоминающие составные элементы имени Beelzebul: „belbali balbith Jao" [4]), "balalach ablalach otherchente buloch buloch" [5]); „borkaphrix rhix ordza dzich" [6]). Напрашивается предположение, что Beelzebul принадлежит к разряду таких же магических речений; возможно, что оно означало магическое тайное имя князя бесов. Тогда становится вполне понятным обвинение книжников: они хотели сказать, что при исцелениях Иисус прибегает не к дозволеннным магическим формулам из писания, а пользуется запрещенными иудейско-египетскими заклинаниями, в которых фигурирует тайное магическое имя главного злого духа [7]).

[1]) Марк., 3,22; ср. Матф. 12,24; Лук. 11,15.

[2]) Прием так называемого какофемизма, видоизменения одиозных почему-либо для иудейства имен с целью придать им дурной, иногда даже непристойный смысл, типичен для раввинизма и соферизма. В библии таким образом были изменены имена сыновей Саула; целый ряд примеров этого рода встречается в талмудической литературе: напр. язычник говорит: „лицо бога", а иудей должен говорить — „лицо собаки"; свой храм язычники называют „дом блеска", а еврей — „дом срама" и т. д. Ср. Kommentar, I, 682—633.

[3]) Abraxas, S. 167—205.

[4]) Ibid., S. 176, ст. 18.

[5]) Ibid., S. 197, ст. 12,—ср. стр. 195, ст. 10.

[6]) Ibid., стр. 202, ст. 9.

[7]) Возможно, что имя Beelzebul надо разлагать на три части: Beel—Bel, имя главного вавилонского бога в семитской форме; ze—есть числовой знак числа 7 (греческ. dzeta имеет это значение); bul—неясный термин. Во всяком случае, весьма желательно исследование слова Beelzebul именно в связи с магическими формулами иудейских синкретических папирусов.

Следующий пункт таннаитской традиции, подлежащий нашему исследованию, касается характеристики учения Иисуса. Иисус „соблазнял и совращал к отступничеству Израиль“—вот суммарная характеристика Иисуса, как проповедника. Она на первый взгляд кажется совершенно общей, не содержащей в себе никаких конкретных черт. Однако, при ближайшем ее рассмотрении в ней обнаружатся некоторые черты, делающие ее, при всей ее внешней общности, в некоторых отношениях более определенной, чем данные синоптической традиции. Эта последняя даже в иуданстическом евангелии от Матфея содержит элементы, характеризующие Иисуса, как проповедника учения не только для иудейства, но и для всех народов, учения, при этом выходящего за рамки иудейской религии I века и даже ее отрицающего. Подобного рода двойственность в изображении Иисуса об‘ясняется, конечно, борьбою двух направлений в первоначальном христианстве, иудаистического и интернационального; но в то же время многие новозаветники пользуются этой двойственностью для доказательства положения, что Иисус, конечно, разделял взгляды своего народа и своего времени, но внес также и нечто свое, оригинальное, превратившее все временные и условные элементы в вечные и абсолютные истины[1]). Талмудическая традиция лишена этой двойственности; она не хромает на оба колена. Отражая первоначальную иудео-христианскую традицию, еще неподвергшуюся влияниям со стороны вне-иудейского мира, она совершенно определенно заявляет, что проповедь Иисуса обращалась исключительно к „Израилю“, т. е. к иудейству. *Свой* народ Иисус склонял к отступничеству; в чем заключалась проповедь отступничества, талмудическая традиция не конкретизирует, но некоторые детали позднейших ее слоев дают возможность и в этом вопросе уловить некоторые конкретные черты. Именно, Иисус является не самородком, так сказать, а прошедшим раввинскую школу; отсюда и учение его определяется, как minuth, ересь[2]), т. е. не как проповедь совершенно новой веры, а как лжеучение, стоящее на почве иудейства[3]). Отсюда получается чрезвычайно важное указание для литературной критики евангельской традиции: при выделении из пестрого конгломерата евангельских изречений подлинных логий Иисуса надо исходить из того положения, что Иисус проповедывал учение, являвшееся видоизменением тогдашней иудейской веры, но отнюдь не новую веру, и что проповедь его не выходила за пределы иудейских национальных рамок.

Третий пункт талмудической традиции, подлежащий нашему разбору, касается процесса и казни Иисуса. Относящийся сюда отрывок из Bab. Sanhedr., 43a, который уже был цитирован, гласит так: „передают: накануне Пасхи повесили Иешу из Назарета. Глашатай ходил сорок дней перед ним (и взывал): он подлежит побитию камнями, ибо он чародействовал, и соблазнял, и склонял к отступничеству Израиль; всякий, кто знает что-либо в оправдание ему, пусть придет и заявит это для него. Но не нашли оправдания ему и повесили его накануне Пасхи“. Этот пункт является очень сложным и запутанным. Выделим прежде всего самое простое—указание дня казни Иисуса, которая, согласно настойчивому утверждению талмудической традиции, состоялась накануне Пасхи. Как известно, синоптики и четвертое евангелие

---

[1]) Этой участии не избежал даже такой трезвый ум, как Эд. Мейер; ср. его Ursprung und Anfänge des Christentums, II, S. S. 420—453.

[2]) Ср. Tosephta Chullin, 2.24; Bab. Aboda Zara, 16-b.

[3]) Термин minüth, как правильно указал Штрак, происходит от корня min, халд. mina, означающего род, разновидность чего-либо; полемика в различных частях Талмуда против еретиков, minim (ср. Strack, Jesus, u. s. w.), обнаруживает, что под еретиками разумелись представители течений, расходившихся с раввинами по вопросам мелких деталей различных обрядов.

датируют день казни по разному: по синоптикам, Иисус был арестован после пасхальной вечери и казнен на другой день утром, т. е. в первый день Пасхи; по Иоанну, последняя вечеря Иисуса с учениками не была пасхальной, пасхальная вечеря должна была состояться в день казни Иисуса, т. е. он казнен был накануне Пасхи. Теперь наиболее видные новозаветники и историки склонны признать, что предпочтение надо отдать версии Иоанна, как более древней[1]); у синоптиков она, как думает большинство новозаветников, заслонена более поздней версией, возникшей в связи с развитием христологической догмы, согласно которой пасхальный агнец и распятый Иисус сопоставлялись и отожествлялись один с другим.[2]) Талмудическая традиция, восходящая к воспоминаниям первоначальной иудео-христианской общины в Иерусалиме, заслуживает в этом пункте полного доверия и окончательно решает вопрос в пользу версии четвертого евангелия.

Остальная часть отрывка B. Sanhedr. 43_a вызывает целый ряд сложных вопросов. Отбросив замечение о глашатае, вызывавшем сорок дней свидетелей в пользу Иисуса, как тенденциозную апологетическую прибавку, мы в остальном получим версию, формулирующую пункты обвинения Иисуса и меру наказания, примененную к нему, совершенно иным образом, чем это делает синоптическая традиция; отсюда невольно возникает вопрос, об'ясняется ли это различие иными данными, которыми располагала иудео-христианская традиция, или оно возникло каким-либо другим способом.

Остановимся прежде всего на формулировке обвинений, выдвинутых против Иисуса. В синоптической традиции этот пункт не вполне ясен: на суде синедриона против Иисуса выдвигается обвинение в том, что он хотел разрушить иерусалимский храм и выдавал себя за Мессию[3]); Пилат осудил его ко кресту по обвинению в том, что он выдавал себя за царя иудейского[4]), т. е. за Мессию, и в такой же формулировке была сделана надпись на кресте[5]); однако, повидимому, было достаточно известно и обвинение в желании разрушить храм, так как оно передавалось из уст в уста среди глазевшей на казнь толпы[6]). Ни о том, ни о другом обвинении талмудическая традиция не говорит; с ее точки зрения Иисус — более мелкий преступник, чародей и лжеучитель. Далее, по синоптической традиции Иисус был распят на кресте, по талмудической—повешен, при чем предварительно должно было произойти побитие его камнями: вешать (thala‘) полагалось только после побития камнями[7]) т. е., вешались трупы казнен-

---

[1]) Ср. Ed. Meyer, op cit., I, 196, Heitmüller, Iesus, 102-103; Wellhausen. Evang Marci, 117—118; его-же Evang. Johannis, 88—89 и у других.

[2]) Более древняя версия, сохранившаяся у Иоанна, проглядывает и у Марка: 14,2—иудейские власти сговариваются покончить с Иисусом до праздника; 15,6—Пилат отпускает одного из осужденных ради праздника, конечно, не в день праздника, а перед праздником; наконец, необычайная поспешность синедриона показывает, что он торопился разделаться с Иисусом до вечера, так как с наступлением вечера начиналась Пасха, и всякие заседания прекращались. Следует отметить, что Штрак и Биллербек в обширном экскурсе (Kommentar II, 812—853) пытаются на основании многочисленных справок из Талмуда доказать, что между синоптиками и Иоанном здесь лишь кажущееся различие, основывающееся на различном расчете первого дня Нисана и дня принесения первого снопа на празднике опресноков; этот расчет фарисеи и боэтусейская группа саддукеев производили различно, и у синоптиков принят расчет фарисеев, а у Иоанна саддукеев. Это об'яснение, однако, весьма натянутое, как и все другие попытки гармонизировать в этом пункте синоптиков с четвертым евангелием.

[3]) Марк. 14,57-64; Матф. 26,60-66; Лук. 22,67-71.

[4]) Марк 15,2; Матф. 27,14; Лук. 23,3.

[5]) Марк 15,26, Матф. 27,37; Лук. 23,38.

[6]) Марк. 15,29-30; Матф. 27,39-40.

[7]) Ср. Sanhedr, 6,4; Bab. Sanh. 46-a.

ных; отсюда, повешение согласно иудейскому праву не есть самая казнь, а лишь последствие казни. Таким образом, возникают чрезвычайно трудные вопросы о сравнительной оценке и возникновении этих противоречивых известий.

С первого взгляда казалось бы, что самый простой и прямой путь к разрешению указанных вопросов заключается в выборе между талмудической и синоптической версиями. Они противоречивы; следовательно, одна исключают другую, одну надо признать, другую отбросить. Но какой же версии и на каком основании надо отдать предпочтение? С первого взгляда казалось бы, что по отношению к пунктам обвинения предпочтения заслуживает талмудическая версия, и не столько потому, что в ее основе может лежать древнейшая иудео-христианская традиция, сколько потому, что она может базироваться на известиях, идущих из среды иудейских судей Иисуса: в распоряжении раввинов могли быть документальные данные или устная традиция, основывавшаяся на документальных данных, в то время как синоптическая традиция ни в коем случае ни документальными данными, ни аутентичной информацией не располагала. В самом деле, никто из учеников Иисуса не присутствовал на его допросе в синедрионе; всякие сведения последователей Иисуса о содержании допроса должны были базироваться исключительно на слухах. Тоже самое приходится сказать и о допросе у Пилата; там могли присутствовать только члены синедриона; единственным надежным источником могла быть только надпись на кресте, если она действительно существовала[1]). Также и по вопросу о способе казни Иисуса за талмудическую версию как-будто говорит ее согласованность с иудейским правом, которое не предусматривает распятия в качестве смертной казни—это был иноземный обычай, персидский и римский[2]), занесенный в Иудею вместе с завоеванием.

Однако, эти первоначальные соображения в пользу талмудической традиции разбиваются сравнением ее с соответствующими данными внеталмудической иудейской традиции, следы которой сохранились в древней христианской литературе. Эти данные по вопросу о пункте обвинения совпадают не с талмудической, а с синоптической формулировкой. Цитированное у Оригена иудейское полемическое сочинение, как мы уже видели выше, упоминает, что Иисус об‘явил себя „богом"; но еще определеннее звучит сохраненный в Деяниях неофициальный отзыв знаменитого Гамалиила об Иисусе: Гамалиил ставит Иисуса на одну доску с такими же „царями иудейскими", Иудой Гавлонитянином и Февдой[3]). Несомненно, что именно в этих замечаниях внеталмудической традиции мы имеем отзвуки фактической, а не формальной только, формулировки преступления Иисуса: если-бы он ограничивался только полемикой с иудейскими ортодоксами по религиозным вопросам и создал какую-нибудь раскольничью общину в роде ессейской, то римский прокуратор никогда не присудил бы его ко кресту. Отсюда следует, что источник разногласий талмудической традиции по вопросу о формулировке обвинения с синоптической традицией надо искать не в особенностях иудео-христианской традиции, которая в этом пункте совпадает с синоптической, а в каких-то других обстоятельствах. Нам думается, что суть дела заключается в том, что формулировка обвинения Иисуса в талмудической традиции сделана иудейским законником, связанным определенными юридическими нор-

---

[1]) Ср. Wellhausen, Ev. Marci, S. 139; Ed. Meyer, op. cit., 1,196; II, 452, Anm. 1 (не сомневается в существовании надписи). По иудейским обычаям вина осужденного и приговор об‘являлись устно, особым глашатаем; ст. Kommentar, I, 1038, к Матф. 27, 37.

[2]) Ср. Cicero, in Verrem,5,64; у персов: Herod., III, 125; IV, 43; VII, 194.

[3]) Деян. 5,34—39.

мами. Не надо забывать, что талмудическая традиция есть традиция толкования права, она не может итти дальше того, что предусматривает Тора. А Тора не предусматривала такого преступления, как об'явление себя Мессией или сыном божиим; она предусматривала и карала смертью лишь совращение народа к отступничеству в идолопоклонство от истинной веры.[1]) Мишна рабски следует этому постановлению Торы—настолько, что в толкованиях не решается даже распространить понятие совращения и на тех еретиков, которые, как Иисус, вовсе не совращали в идопоклонство[2]); только в судебной практике, повидимому, понятие совращения расширялось должным образом. Но если стать на почву юридических определений, то безусловно и нельзя было ожидать от талмудистов иной формулировки обвинения Иисуса, чем та, какая дана в вавилонском Талмуде. При такой формулировке стремление вынудить у Иисуса признание в том, что он считает себя сыном божиим и Мессией, есть только стремление получить обоснование для обвинения из уст самого обвиняемого: это момент следствия, а не приговора. Напротив, синоптическая традиция, естественно, выдвигает другой момент, не форму, а факт: фактически Иисус никого не совратил бы, если бы не об'явил себя Мессией, и его последователи иначе и не могли об'яснять его арест и казнь. Остается вопрос, принадлежит ли эта чисто юридическая формулировка целиком позднейшим раввинам или в ней содержится также и доля исторической правды. Вопрос, конечно, идет не о пунктах обвинения по существу; мы уже видели, что пункты о чародействе, лжеучении и совращении, за которые якобы был казнен Иисус, были даны раввинам иудео-христианской традицией. Вопрос идет о том, соответствует ли талмудическая формулировка той формулировке, какая фигурировала в постановлении иерусалимского синедриона по делу Иисуса. Косвенный ответ на этот вопрос дает синоптическая традиция, как она передана у Матфея и Луки. Она знает совершенно определенно, что Иисусу было пред'явлено в синедрионе обвинение в совращении, хотя и не выдвигает его на первый план. Фарисеи, по ев. Матфея, называют Иисуса ho planos, *совратитель*, вводящий в заблуждение (27,63); еще интереснее то обстоятельство, что Лука передает формулировку обвинения Иисуса, с которою члены синедриона привели его к Пилату, таким образом: „мы нашли, что этот человек совращает (diastrephonta) наш народ и запрещает платить подать кесарю, и говорит, что он царь Мессия“ (23,2).[3]) Глагол diastrepho означает совращение не в политическом, а в идеологическом смысле; формулировку надо понимать так, что она содержит в себе три пункта: религиозного совращения, агитации против римской власти и об'явления себя Мессией. Ясно, что в последнем пункте концентрируются и два первых; но с формально-иудейской точки зрения первый пункт должен, конечно, занимать главное место. В итоге приходится признать, что талмудическая формулировка обвинения Иисуса не восходит к надежной традиции, но является искусственной формулой, составленной на основании формальных требований закона. Однако, она имеет цену постольку, поскольку и синедрион, разбиравший дело Иисуса, должен был придерживаться тех же формальных требований; и поэтому она дает нам полное право выбрать из противоречивого материала синоптиков по этому вопросу версию Луки, 23, 2, которая больше всех других отвечает и

---

[1]) Второзак., 13,7—12.

[2]) Sanhedr., VII, 4, 10.

[3]) Ср. также Иоанн, 7, 12: недоброжелатели Иисуса говорят, что он „совращает (plana) народ“. Эта заметка, как и некоторые другие, принадлежит к какой-то недошедшей до нас традиции синоптического типа, использованной четвертым евангелием.

формальным требованиям закона, и действительному положению дела с Иисусом [1]).

Переходим теперь к последнему вопросу, о способе казни Иисуса. И здесь кажущееся преимущество талмудической версии также парализуется ее формальным характером. Наказание, назначенное Иисусу по талмудической версии—побитие камнями—есть один из четырех родов смертной казни, установленных в Мишне. [2]) Характерно при этом, что три из них, кроме побития камнями, сожжение, обезглавление и удавление, почти никогда не применялись на практике; побитие камнями было в употреблении, но, как показывают дошедшие до нас случаи его применения, оно почти всегда было самосудом, а не исполненением официального приговора. Этот характер присущ побитию камнями уже в Торе: согласно Второзаконию, эта казнь производится всенародно, нет палачей, но все население города или местечка скопом производит побитие камнями. [3]) Так был побит камнями Стефан: его вывели за город и побили камнями. [4]) Так в Иконии хотели побить камнями Павла и Варнаву. [5]) Так несколько раз подвергался опасности быть побитым камнями Иисус. [6]) Характерно также, что Иосиф ни разу не упоминает о применении побития камнями, как законного способа казни [7]); отсюда можно заключить, что это был специфически иудейский способ расправы, не узаконенный римлянами и только терпевшийся ими. Однако, талмудическая традиция в вопросе о казни, как и в вопросе о формулировке обвинения, не могла придерживаться римских норм, но должна была следовать только иудейским нормам, не предусматривавшим распятия, но устанавливавшим побитие камнями с последующим повешением трупа на дереве. Отсюда талмудическая формулировка приговора; она является чисто фиктивной, как фиктивен и весь абзац о глашатае, в который она вставлена. Фактически же, согласно тому же отрывку из Sanhedr. 43, а, Иисус был только повешен; о фактическом побитии камнями не упомянуто, как это упомянуто в рассказе о бен Стада. Нам думается, что это не случайный пропуск. Здесь перед нами отзвук подлинной иудео-христианской традиции, не знавшей ничего о побитии камнями. Казнь Иисуса происходила публично; она у синоптиков описана особенно живо и драматично, и хотя, как и следовало ожидать, это описание приукрашено легендарными чудесами, оно все же является одной из надежнейших частей христианской традиции. Побития камнями не могло быть фактически также и потому, что в деле Иисуса приняла участие римская юрисдикция, а по ее нормам Иисус мог быть приговорен только ко кресту, обычной казни для бунтовщиков и разбойников, постоянно применявшейся римскими властями в Палестине I века. [8]) Постоянная практика подобного рода привела в конце концов к тому, что в иудейских книжнических кругах стали считать распятие обычной заменой повешения по закону, и оба эти способа казни некоторым казались даже равнозначащими. Отзвук этих взглядов мы находим у Павла, который, рассуждая чисто книжническими методами, доказы-

---

[1]) Характерно, что Штрак и Биллербек совершенно не привлекли для освещения Лук. 23, 2, отрывок Sanhedr 43 a, а приводят здесь другие отрывки, имеющие к этому месту Луки очень мало отношения. Ср. Kommentar, II, 262.

[2]) Sanhedr, 7,1.

[3]) Второзак. 13,11;21,21.

[4]) Деяния, 5,57—59.

[5]) Деяния, 14,5.

[6]) Иоанн, 9,59; 10,31; заимствовано также из традиции синоптического типа.

[7]) Случаи, описаные в Archaeol., XX,8,9; 9,4 и Vita, 58 иллюстрируют применение камней, как оружия в междуусобных схватках.

[8]) Ср. Jos., Bellum jud. V, 11,1; Vita, 75

вает, что одинаковое проклятие падает и на повешенного, и на распятого, и на этом сопоставлении строит свою идеологию искупления [1]).

В итоге, талмудическая традиция об Иисусе, как видно из всего предшествующего, вовсе не является такой незначительной или недоброкачественной величиной, чтобы ею можно было без дальних рассуждений пренебрегать. В ней есть, конечно, крупные недочеты, так как она проникнута полемическим духом и в то же время формальный подход ставит выше факта. Но эти недочеты не уничтожают тех об'ективных элементов, которые в ней имеются, благодаря тому, что она в последнем счете восходит к древнейшей иудео-христианской традиции, отражая в борьбе с иудео-христианством те взгляды на личность, свойства и судьбу Иисуса, какие сохранялись в среде иудео-христианства со времени первой общины в Иерусалиме. Правда, эти об'ективные данные слишком малочисленны, чтобы служить существенным дополнением к скудным известиям синоптической традиции о биографии Иисуса. Но за то они освещают новым светом и подчеркивают некоторые элементы синоптической традиции, имеющие немаловажное значение, особенно в вопросе о роли Иисуса, как народного целителя и народного проповедника. Самое же главное, что дает чрез посредство талмудической традиции древнейшая иудео-христианская традиция, это—утверждение исторического существовани личности Иисуса. В глазах первых иудео-христиан он был человеком, происшедшим от людей, иудеем, деятелем определенного рода; таким же он является и в талмудической традиции. Таким образом, для разрешения проблемы об Иисусе данные талмудической и раввинистической традиции приобретают первостепенное значение.

---

1) Галат., III, 1—13.

В. Перцев.

Историческая идеология Бисмарка.

В огромной литературе (по преимуществу немецкой), посвященной Бисмарку, довольно скромное место занимают работы, трактующие об его отношении к истории. Мы хорошо знаем, как относился Бисмарк к изящной литературе и к религии, имеем ряд работ, посвященных его государственно-правовым и народно-хозяйственным взглядам, но историческое мировоззрение Бисмарка почти совсем не изучено. То, что сделано в области изучения отношений Бисмарка к истории, касается почти исключительно его *исторических интересов*, но не его исторического мировоззрения. При этом и по первому вопросу, т. е. по вопросу об исторических интересах Бисмарка, литература очень небогата. Здесь, мы имеем лишь одну небольшую книжку Марии Фелинг „Bismarcks Geshichtskenntniss",[1]) вышедшую к тому же в свет очень недавно (1922 г.) и очень обстоятельную главу в книге Hans'a Prutz'a „Bismarcks Bildung"[2]). Но все же, благодаря этим двум работам, мы имеем довольно точные представления о том, когда, что и при каких обстоятельствах Бисмарк читал по истории, чем он особенно интересовался в ней, что и когда изучал и т. п. Но дальше вопроса об об'еме и характере исторических интересов Бисмарка указанные авторы не идут. Историческая идеология Бисмарка их совершенно не интересует, и они не сходят с почвы эмпирического изучения количества прочитанных Бисмарком исторических работ, исторического содержания его шенгаузенской библиотеки, отметок на полях по поводу прочитанных книг и т. п. Отдельных работ или хотя бы даже глав, посвященных исторической идеологии Бисмарка, до последнего времени совсем не было. Лишь некоторые авторы в общих работах, посвященных Бисмарку, бегло затрагивали этот вопрос, нигде, однако, не останавливаясь на нем более или менее обстоятельно. Так, известный биограф Бисмарка Эрих Маркс вскользь заметил в своей книге, вышедшей в свет еще в 1899 г., что Бисмарк выставил в своих мемуарах некоторые „теории", „из которых можно было бы попытаться вывести и его философию истории". Но Маркс тут же высказывает сомнение, достаточно ли созрели эти взгляды Бисмарка на общий ход исторического развития и можно ли считать, что Бисмарк твердо держался определенной исторической идеологии. Не оспаривая возможности существования у Бисмарка историко-философских взглядов, Э. Маркс, однако, признается, что он не мог бы конструировать историческую идеологию Бисмарка. „Все эти вопросы", заключает Маркс, „будут еще долго и часто подвергаться изучению"[3]).

Но этим надеждам биографа Бисмарка на обстоятельное изучение историко-философских взглядов бывшего канцлера германской империи не суждено было оправдаться, и если не считать некоторых беглых замечаний, вскользь сделанных Max'ом Zenz'ем в его статье

---

[1]) Maria Fehling. Bismarcks Geschichtskenntniss. Stuttgart und Berlin, 1922.
[2]) Hans Prutz. Bismarcks Bildung, ihre Quellen und Aeusserungen.
[3]) Erich Marcks. Fürst Bismarcks Gedanken und Erinnerungen. Versuch einer kritischen Würdigung. Berlin 1899, s. 71 f.

„Bismarck und Ranke“,[1]) к указанному вопросу никто из историков Бисмарка не подходил вплотную. Лишь в самое последнее время этим вопросом специально занялся немецкий иследователь Valentin Gitermann, поместивший в журнале „Archiv für Socialwissenschaft und Socialpolitik“ обширную статью, посвященную философско-историческим вэглядам Бисмарка.[2]) Автор этой статьи собрал довольно большой материал, относящийся к указанному вопросу и от этого материала мне и придется главным образом отправляться. Но приведенный Gitermann‘ом материал во-первых недостаточно полон, во вторых, во многих местах не имеет прямого отношения к вопросу о философско-исторических взглядах автора. Наконец, и выводы Gitermann‘a не всегда правильны, а иногда и не чужды противоречий. Поэтому вполне надежным руководителем по интересующему нас вопросу статья Gitermann‘a быть не может, что не мешает ей пока оставаться единственной работой, касающейся философско-исторических взглядов Бисмарка.

Переходя теперь к вопросу по существу, нужно прежде всего выяснить, действительно ли Бисмарк интересовался философско-историческими проблемами и не лежала ли историческая идеология совершенно вне круга его интересов. Этот вопрос далеко не празден. Ни одной главы, даже более того—ни одного абзаца, посвященного теоретическим вопросам истории, мы не найдем ни в письмах, ни в мемуарах, ни в издании речей Бисмарка. Систематическому обсуждению вопросы философии истории Бисмарк нигде не подвергал. Но из этого мы ни в коем случае не можем сделать заключения, что философско-исторические проблемы совсем его не интересовали. В его речах, мемуарах и письмах мы найдем довольно много попутно высказанных соображений о движущих силах исторического развития, о закономерности в истории, о роли личности и т. п. Эти попутные и как будто бы случайные замечания приурочены почти всегда к какому-нибудь практическому вопросу государственной политики или какому-либо конкретному случаю. Таким образом, философия история зарождается у Бисмарка эмпирически. Она рождается из потребности момента и развивается под напором задач, выдвигаемых его политической деятельностью. Для того, чтобы придать философско-историческим взглядам Бисмарка систематический вид, их надо извлекать из разных мест, сопоставлять и связывать, но и тогда они не принимают характера законченной доктрины, ибо практическая голова Бисмарка всегда боялась точных формул и доктринерских определений. И тем не менее, более или менее ясные контуры философско-исторического мировоззрения Бисмарка таким путем могут быть выяснены. Несмотря на всю свою нелюбовь к отвлеченным размышлениям и философскому теоретизированию, Бисмарк был слишком крупным политиком для того, чтобы не попытаться подвести некоторые общие основания под свою политическую деятельность. Ему хотелось найти в прошлом оправдание его настоящего политического поведения; он стремился отыскать в истории живые силы, которые совпадали бы с его действиями, как государственного деятеля. Ему хотелось генетически об‘яснить свою политику, как политику исторически необходимую и вытекающую из наблюдений над прошлым и настоящим. В себе он склонен был видеть ученика исторического опыта. В речи, произнесенной им в германском рейхстаге 13 марта 1877 года, он говорит о себе: „в области выработки нашей конституции я смотрю на себя, как на ученика, по крайней мере, как на ученика опыта,—я не недоступен воздействиям опыта, если история меня учит, что я впал в заблуж-

[1]) Max Lenz. Kleine. historische Schriften. Bd. I. München, 1910.

[2]) Valentin Giterman. Die Geschichtsphilosophischen Anschaungen Bismarcks. Archiv für Socialwissenschaft und Socialpolitik. 51 Band, 2 Heft, 1923.

дение, даже и в тех случаях, когда я уверен в правоте своего дела[1])". В другом месте Бисмарк пишет: „Ошибки в правительственной политике великих держав получают возмездие не тотчас же, но без вреда они не проходят. Историческая логика еще точнее в своих ревизионных отчетах, чем наша верховная счетная палата"[2]). Конечно, на деле у Бисмарка часто получалось как раз обратное тому, чего он хотел: не исторический опыт служит у него пробным камнем для испытания правильности взятой им линии поведения, а наоборот, в истории именно те силы и признавались живыми, которые он хотел оживить и развить своими политическим действиями. Но признавая это, нельзя, конечно, отрицать, что Бисмарк был очень чуток к впечатлениям живой действительности и к урокам прошлого. В историческом опыте он действительно искал указаний и поучений. Поэтому-то без хотя бы и суммарного, схваченного среди бурь политической борьбы исторического мировоззрения Бисмарк не мог обойтись.

Постараемся его реконструировать, причем нам в значительной мере придется пользоваться материалом, собранным Gitermann'ом, добавляя его, однако, в ряде случаев новыми данными и рассматривая его часто под иным углом зрения и иначе оценивая, чем это сделано у Gitermann'a.

Первый вопрос, которым мы должны задаться, это вопрос о том, было ли у Бисмарка более или менее ясное представление о факторах исторического развития. Конечно, было бы совершенно напрасно и здесь искать у Бисмарка какого либо систематического изложения взглядов на этот вопрос,—тем менее какой-либо доктрины. Тем не менее, ряд отдельных и часто очень оригинальных мнений, касающихся вопроса о движущих силах исторического развития, мы у него найдем. Прежде всего, нужно заметить, что вопросами о влиянии географических условий на историческое развитие Бисмарк интересуется довольно мало. Maria Fehling, которая изучала шенгаузенскую библиотеку Бисмарка, нашла там большое количество географических сочинений, описаний путешествий, атласов и специальных географических карт. Установлено также, что Бисмарк не поленился прочитать все 20 томов огромной работы Бюшинга „Neue Erdbeschreibung"[3]). И тем не менее, общих геополитических взглядов у Бисмарка не выработалось. У него довольно часто встречаются выражения „вследствие географического положения", но эти выражения относятся к частным случаям,—чаще всего из области международных отношений. Так, говоря, в эпоху Балканской войны, с Шуваловым о союзе России и Германии, Бисмарк указывает своему собеседнику, что, „если бы мы (т. е. немцы) принесли в жертву союзу с Россией наши отношения к другим державам, то при наличности острых стремлений к реваншу со стороны Франции и Австрии, мы оказались бы, благодаря нашему *выдвинутому географическому положению*[4]), в опасной зависимости от России"[5]). Тогда же он говорит Шувалову, что, „если бы немецкая политика ограничила все свои возможности союзом с Россией и отвернулась бы, уступая русским желаниям, от всех других держав, она могла бы попасть в

[1]) Bismarcks Parlamentarische Reden. Vollständige Ausgabe. Von Wilhelm Böhm. Stuttgart, Berlin, Leipzig, 8-er Band, 200.

[2]) Gedanken und Erinnerungen von Otto Fürst von Bismarck. Volks Ausgabe Stuttgart und Berlin. 1905. Zweiter Band.

[3]) Büsching (1724—1793)—известный немецкий географ; в своих географических сочинениях интересовался не столько вопросами физической географии, сколько политическими и статистическими данными.

[4]) В этом случае, как и ниже, курсив наш.

[5]) G. und E, II. B, 256.

сравнении с Россией в неравное положение, потому что *географическое положение* и самодержавное устройство России гораздо более облегчает заключение союзов ей, чем нам“[1]).

Несмотря на эти частные замечания, относящиеся к частным случаям, можно смело сказать, что географические условия в исторических соображениях Бисмарка большой роли не играют. Gitermann дает этому довольно искусственное об'яснение. По его мнению, слабый интерес Бисмарка к географическим особенностям вытекал из федеративного строя Германии, при котором только власти отдельных частей Германии должны были приспособлять свою деятельность к местным условиям, а центральная власть могла их не принимать во внимание. Поэтому и у Бисмарка, как у представителя этой центральной власти, не выработалось привычки считаться с локальными данными. Это об'яснение искусственно, так как нам известно, как внимателен был Бисмарк к отдельным конкретным случаям, какой-бы частный характер они ни носили, и как мало было в его натуре доктринерского стремления все мерить на один и тот же аршин. Вернее другое предположение Gitermann'a, по которому Бисмарк потому не обращает большого внимания на географические условия, что он жил в век довольно развитой техники, нивеллировавшей природные влияния, и развитых средств сообщения, сглаживавших локальные различия между отдельными странами. Но вернее всего думать, что подвижная, активная натура Бисмарка не могла примириться с фактом влияния косных, неподвижных сил природы на человеческое развитие. Он сам жил в век крупных политических перемен, в век образования новых форм общественной жизни и наростания новых экономических сил и не мог не видеть, что неподвижные географические влияния, на которые так много обращали внимания в XVIII веке, веке неподвижных общественно-экономических отношений, не могут определять собой текучего и вечно изменяющегося процесса исторического развития.

Гораздо более внимания Бисмарк обращает на расовой фактор. Нужно припомнить, что и в XVIII, и в XIX веке вопросы расоведения занимали довольно большое число ученых. Некоторые из этих работ были Бисмарку известны. В его шенгаузенской библиотеке находились, по словам Марии Фелинг, работы Вольтера, Гердера и Трейчке, и с их взглядами на роль расы в истории Бисмарк был, повидимому, знаком. Знакома ему была, по всей вероятности, и работа Гобино „Essay sur l'inegalité des races“, хотя ее и не было в шенгаузенской библиотеке. Гобино, как известно, придавал необычайно большое значение расовому фактору. Никаких других сил в истории, кроме чистоты и смешения рас, он не признавал. Книга Гобино, вышедшая в свет в 50-х годах прошлого столетия, произвела довольно большой шум; о ней много говорили, и Бисмарк, ценивший немецкую нацию, как нацию, едва ли стоял в стороне от этих толков. У Гобино есть положение, что народы различаются на „мужские“ и „женские“, и именно этот взгляд Бисмарк и кладет в основу своих расовых воззрений. Среди материалов, собранных о Бисмарке Пешингером, мы встречаем такие слова, сказанные Бисмарком: „среди народов, как и в природе, одни бывают— мужского, другие—женского характера; в германцах мужская природа настолько сильно выражена, что они, будучи предоставлены сами себе, прямо таки не поддаются управлению (für sich allein geradezu unregiebar sind). Каждый живет по своему; когда же они соединяются вместе, то им ничто не может противостоять, подобно потоку, который все ниспровергает. Женского характера, наоборот, славяне и кельты. Они ничего не производят из себя, они не способны к творчеству. Русские

---

[1]) G. и E, II B, 253.

не могут ничего сделать без немцев; также и кельты—только пассивная раса. Государственные народы появились только тогда, когда на сцену выступили германцы, только через смешение с ними“ [1]). О том же говорит Бисмарк в одной из своих политических речей, обращенных к северо-германскому рейхстагу, на злободневную в то время тему о германском единстве. „Без сомненя, милостивые государи, есть нечто в нашем национальном характере, что противодействует об‘единению Германии. Мы бы не потеряли иначе нашего единства или обрели бы его опять вновь... В чем же заключается причина, доведшая нас до потери единства и мешающая нам до сих пор достигнуть его? Говоря кратко, она заключается, как мне кажется, в некотором избытке чувства мужской самостоятельности, который побуждает в Германии и отдельное лицо, и общину, и племя полагаться более на собственные силы, чем на совокупность (gesamtheit). Это недостаток податливости отдельных лиц и племен в пользу общественности (gemeinwesen), той податливости, которая позволила нашим соседям уже раньше добиться благ, к которым мы стремимся“ [2]). Из этого рассуждения выходит, что дух партикуляризма, который Бисмарк считал основной чертой германской природы и с которым он долго и успешно боролся, вытекает из чрезмерной мужской самостоятельности немцев. Эта чрезмерно развитая мужественность германского народа мешала ему подчиниться единой воле и единому направляющему началу и разбила правителей на множество династий, государство—на множество княжеств и имперских городов, а народ—на партии [3]). В другой речи, обращенной к австрийским немцам и убеждающей их гуманно обращаться с славянами и руководить ими, „как это должен делать муж в семье“, Бисмарк говорит: „я верю, что мы, немцы, с самого начала созданы более сильными, я хочу сказать: более мужскими; бог воспроизвел во всех явлениях природы, а также и в европейских отношениях дуализм между мужским и женским началом. Если германцы остаются одни, без славянской и кельтской примеси, то образуется монастырь монахов, и они грызутся друг с другом“ [4]).

Склонность немцев к партикуляризму выражается не только в раздробленности Германии на отдельные государства, но и в многочисленности их партий. Никто не хочет подчиняться, как это обыкновенно бывает среди мужчин, друг другу; отсюда возникает фракционный партикуляризм. Бисмарк думает, что у немцев больше политических партий, чем различий в интересах отдельных общественных групп, и что только одна несчастная склонность к раздорам мешает некоторым партиям об‘единиться в одну. „Потребность в партикуляризме у нас, немцев, так велика, что после того, как мы преодолели, насколько это было нужно, географический партикуляризм, он всплыл тотчас же опять в другой форме. Немец нуждается в узких союзах; если он теряет географический партикуляризм, то он творит себе фракционный партикуляризм“ [5]). Сравнивая Германию с Англией, которая имеет только 2 партии, Бисмарк говорит: „от идеала мы отстоим очень далеко. У нас теперь восемь фракций, среди которых я едва могу указать между двумя такую симпатическую близость, что можно бы было думать о соединении их; немец строго держится за свой корпо-

---

[1]) Pöschinger. Bismarck und die Parlamentarier. 3 Bände, Breslau. 1894—96. Band II. 121—122.

[2]) Parlam. Reden, III B., 102 (4 März 1867).

[3]) Parlam. Reden, XII B., 154 (29 Nov. 1881).

[4]) Die polit. Reden des Fürsten Bismarck. Historisch-kritische Gesamtausgabe von Horst Kohl. (14 Bände). 1892—1904. XIII B., 344 (15 Apr. 1895). Более раннее издание Бема доведено только до 1889 г.

[5]) Pol. Reden, XIII, 185 (18 Juni 1893).

ративный дух и стремится к обособлению“ [1]). Очень характерно, но и почти курьезно то, что для Бисмарка французский феодализм представлялся проявлением германского духа, уцелевшим от франкских времен. Только Великая Революция уничтожила этот феодализм, но это потому, что „революция 1789 г. была ниспровержением германского элемента кельтским“ [2]).

Значит ли все это, что в глазах Бисмарка мужская природа германцев причиняла им в истории одни лишь неудобства и что Бисмарк низко оценивает государственные способности германского народа? Совсем нет.

В комплексе всемирно-исторических отношений Бисмарк приписывает германскому народу организующую и образующую силу; но эта благодетельная сила проявляется лишь тогда, когда немцы приходят в соприкосновение с другими народами и подчиняют их себе. Немцы сами по себе плохо поддаются управлению, потому что они слишком самостоятельны и неподатливы. Совсем другое наступает тогда, когда судьба отдает им в управление более гибкий материал в лице кельтов или славян. Busch в своих „Tagebuchblätter“ передает такие слова Бисмарка, сказанные им 31 января 1871 г.: „немцы, германская раса—это, так сказать, мужской принцип, прошедший оплодотворяющим образом через Европу. Кельтские и славянские народы—народы женского рода“. Развивая свою мысль об оплодотворяющем значении германского элемента, Бисмарк говорит далее: „мы видели это во Франции, когда франки там имели еще преимущество... И в Испании, пока преобладала готская кровь. Также и Италии, где в верхних областях германцы также играли главную роль. Когда это преобладание исчезло, все пришло в беспорядок. Не иначе обстоит дело в России, где германские варяги, рюриковичи, впервые соединили славян вместе. Когда же там националы одержали победу над вселившимися немцами, то они распались и образовались простые волости (lauter Gemeinde)“ [3]).

Из этого вытекает и то огромное значение, которое Бисмарк придает завоевательной политике. Завоевания необходимы, во-первых, потому, что в эпохи войн немцы забывают о своих партикуляристических склонностях и соединяются вместе против общего врага, а во-вторых, потому, что завоевания дают „мужскому началу“ немецкого народа удобный материал для управления в виде женских народов—французов, славян и т. п.

Несмотря, однако, на то большое значение, какое Бисмарк придавал расовому фактору, главную роль в его исторических представлениях играют хозяйственные силы. В этом смысле он—настоящий исторический материалист. Политическое настроение тех или других общественных классов для него всюду является только иделогической надстройкой над теми хозяйственными условиями, в которых люди живут. Такой взгляд выработался у Бисмарка не сразу. К нему привела его только революция 1848 г., когда Бисмарку было уже более 30 лет. До этого времени он, как и все тогдашние консерваторы, находился под влиянием популярного в то время консервативного государствоведа Шталя и известного юнкера барона Герлаха. Историк Бисмарка Meinecke в статье о Бисмарке и Герлахе [4]) указывает, что до 48 года Бисмарк держался обычных для тогдашних консервативных кругов представлений, что в основе правильно сконструированной государственной власти должна лежать христианская идея, что верховная власть

---

[1]) Parlam. Reden, IX, 228-9 (9 Okt. 1878).
[2]) M. Busch, Tagebuchblätter, II, 118, 31 Jan. 1871.
[3]) M. Busch, ibidem.
[4]) Meinecke, Bismarck und Gerlach, Hist: Zeitschrift, Bd, 72,

основана на божеской милости, что идеи являются истинными историческими реальностями и т. п. Революция 48 года произвела целый переворот в душе молодого юнкера. Она доказала ему силу экономических влияний и социальных отношений, принудила его самого подчиниться давлению об‘ективных условий, и с тех пор он, после довольно тяжелого душевного кризиса, навсегда отказался от герлаховской и шталевской мистики. Уже в том же 1848 г. появилась статья Бисмарка „Aus der Altmark“. В этой статье нет и следа прежних феодально-романтических представлений. „Мы живем в эпоху материальных интересов“, говорит Бисмарк, и с этой точки зрения он обсуждает современную ему общественную ситуацию. В государстве, говорит он, борются три класса: бюргеры, землевладельцы и крестьяне. Особенно резко проявляется противоположность между бюргерами и землевладельцами. Она проявляется прежде всего в налоговом вопросе, ибо каждый класс старается переложить на другой тяжесть государственных податей, а также и в таможенном вопросе, причем бюргеры выступают защитниками охранительных пошлин, а землевладельцы, заинтересованные в вывозе своего сырья за границу, стоят за свободную торговлю. В этой борьбе, говорит далее Бисмарк, горожане стремятся использовать противоположность интересов внутри деревенского общества—противоположность между помещиками и крестьянами, обещая крестьянам поддержку в их стремлениях освободиться от феодальных повинностей без выкупа[2]). Вся статья написана в довольно сухом, деловом тоне без всяких свойственных рядовым юнкерам того времени ламентаций об утерянных патриархальных отношениях тесной доверчивости между крестьянами и помещиками, и в общем дает довольно верное представление о столкновениях экономических интересов в то время—особенно, если мы припомним, что классовые противоречия внутри городского общества в то время были значительно менее резко выражены, чем классовые противоречия внутри деревенского общества.

Но, конечно, Бисмарк не мог скоро не заметить классовых противоречий и внутри городского общества. Уже в письме к своей жене от 25 апреля 1850 г. он пишет, что среди левых идет борьба: бюргеры враждуют с пролетариями и обратно. Позднее эта классовая борьба в городе все более и более привлекает к себе его внимание. Особенно озабочивает она его в 70-ых и 80-х годах, когда рост социал-демократии становится особенно заметным. Конечно, рост социализма интересен для Бисмарка лишь с точки зрения опасности, которую он представляет для современной ему государственной власти и современного общества. Характерно при этом, что Бисмарк совершенно не верил в то, что социализм может представить какую-нибудь опасность для частной собственности и экономической свободы. Конечный идеал социализма казался Бисмарку настолько далеким и неосуществимым, что верить в него, как грядущую силу, он не мог. Бисмарк боялся другого,—а именно того, что социализм может привести к ниспровержению монархической власти и утверждению радикальной республики. Поэтому-то в социализме он видел силу опасную для государей, а не для буржуазии. Социализм был способен, по его мнению, снести остатки феодально-монархического строя, но не строя буржуазного. „Я не верю в будущее социал-демократии“, говорит Бисмарк в 1883 г. Брауэру; „ее утопии останутся неосуществимыми до тех пор, пока человек предпочитает свободу принуждению. Конечно, они (социалисты)

---

[1]) В какой газете она была напечатана, не выяснено. Позднее она была перепечатана (с рукописного оригинала) Bismark—Jahrbuch, VI, 10 f.

[2]) Нужно припомнить, что статья была написана еще до окончательного разрешения вопроса о выкупе феодальных повинностей.

могут вследствие неспособности правителей довести дело до того, что повсюду в Европе, как уже это есть теперь во Франции, мы подпадем под власть радикальных республик. Мы окажемся тогда в условиях, которые не хуже и не опаснее, чем современное положение Франции. Поэтому теми, кому более всего надо бояться социал-демократии, являются государи, а не владеющие классы. Последние уже сумеют ужиться с радикальной республикой и отбиться от уничтожения собственности, которого, в сущности, не желает и простой народ. Но государи будут уничтожены, если революционному движению суждено и далее рости без препятствий“[1]).

Вести борьбу с социализмом, по мнению Бисмарка, можно только одним способом: именно, путем экономических реформ [2]), ибо в основе успеха социалистов лежит экономическая необеспеченность существования,—и прежде всего невозможность для рабочего стать собственником. В обладании собственностью Бисмарк видит могучий фактор консервативных настроений. „Я достаточно долго жил во Франции“ говорит Бисмарк в речи 18 мая 1889 г., чтобы знать, что привязанность французов к родине по существу связана с тем, что большинство французов являются держателями государственной ренты в маленьких, часто очень маленьких суммах... Эти люди говорят: если государствс терпит вред, тогда теряю и я свою ренту; если это только 40 франков в год, я все же не должен их терять; так всякий получает интерес к делам государства. Ведь это вполне сообразно с человеческой природой. У меня было время, когда я считал возможным держать у себя иностранные бумаги. Потом, однако, я нашел, что это при некоторых обстоятельствах сбивает меня с толку в правильности обсуждения политики тех правительств, бумагами которых я владею, и уже прошло, кажется, 15 лет, как я отделался от иностранных бумаг. Я хочу интересоваться только делами моей собственной страны, а не чужими бумагами. Если мы имеем 700 тысяч маленьких рентьеров, получающих свою ренту от государства, как раз в тех классах, которым кроме нее нечего терять и которые ошибочно думают, что они могут много выиграть при изменении обстоятельств, то я считаю это за необыкновенную выгоду“ [3]).

Такой же экономической причиной (прежде всего невозможностью обзавестись собственностью) об‘ясняет Бисмарк и успехи социалистов в земледельческих округах: „законодательство, говорит он (в речи 5 апреля 1876 г.), так создано, что ни один рабочий ни при каких обстоятельствах не может получить ни клочка земли, и должен искать спасения против неразумного законодательства в социализме“ [4]).

Но нигде, быть может, материалистическая подкладка мышления Бисмарка так ясно не сказывается, как в его отношениях к праву и религии. С полной беспощадностью он освобождает право от всякого идеологического фетишизма и видит в нем только производную от реальных интересов. В полемике, которую Бисмарк вел с генералом Леопольдом Герлахом по вопросу о признании Наполеона III (1857 г.), он совершенно определенно говорит, что для него принципиальная сторона дела,—вопрос о легитимности бонапартистской династии,—не играет никакой роли, ибо вся суть заключается здесь не в принципах, а в государственном интересе. В этом вопросе Бисмарк рассуждает с необычайной для рядового юнкера ясностью мысли. Не Наполеон,

---

[1]) „Meister der Politik“, Berlin, 1922 hrsrg: von E, Marcks und K. A. von Müller Bd. 2, 606 в статье A. von Brauer о Бисмарке.

[2]) См. G. u. E. 1, 400. „Реформа хозяйств. отношений образует почву, на которой правительства могут ближе подойти к этой цели“, т. е. к ослаблению социализма.

[3]) Parlam. Reden, XVI, 278 (18 Mai 1889).

[4]) Parlam. Reden, XVIII, 94 (5 Apr. 1876).

говорит он, создал революционное состояние во Франции; его господство явилось исторической необходимостью, и он взял власть, как никому непринадлежащую вещь. Правда, благодаря ему, прервалась законная последовательность в передаче власти. Но ведь это не первый случай в истории. „Кромвеля называли братом весьма антиреволюционные властители; они искали его дружбы, если она была им полезна; с Генеральными Штатами были в союзе многие почтенные государи, прежде чем они были признаны Испанией; Вильгельм Оранский и его наследники в Англии были признаны, когда Стюарты еще продолжали быть претендентами“, и т. д. „Когда же и соответственно каким признакам“, спрашивает Бисмарк, „все эти власти перестали быть революционными“? Кажется, отвечает он, „им простили их нелигитимное происхождениие, как только перестали их опасаться“ [1]).

В этой же переписке с Герлахом Бисмарк неоднократно говорит о том, что договоры сами по себе, по своему правовому значению, не могут быть вечны. „Параграфы венского заключительного акта не имеют силы остановить развития немецкой истории“. „Договоры являются выражением общих интересов и целей“, и потому они теряют всякое значение в тот момент, когда перестают соответствовать интересам.

„Единственное разумное основание великой державы“, говорит он в одной из своих ранних речей (3 дек. 1850 г.), и этим по существу она и отличается от маленьких государств,—это государственный эгоизм, а не романтика“ [2]). К той же мысли он неоднократно возвращается и в своих мемуарах: „Устойчивость всех договоров между великими державами—условная, коль скоро она подвергается испытанию в борьбе за существование. Ни одна великая держава не может быть склонена пожертвовать своим существованием на алтарь верности договору“ [3]).

Еще более свободно от всякого идеалистического налета отношение Бисмарка к вопросам религии. С 1848 г., с тех пор, как он разорвал со своими прежними конфессиональными взглядами, религия потеряла в его глазах самостоятельную ценность, и он стал смотреть на нее только как на средство для достижения политических целей. Соотвественно с этим, она, как и право, не могла быть в глазах Бисмарка самостоятельным историческим фактором и должна была сойти на положение только политического орудия. Еще 10 ноября 1861 г. он, в качестве прусского посланника при петербургском дворе, доносит своему правительству: „движение, которое разгорается среди поляков, встретит действительное сопротивление со стороны политически мертвой массы тамошних православных крестьян только с того момента, как императорское правительство и православное духовенство призовут крестьян к борьбе против католического духовенства, возвав к их жадности к (земельной) себственности. Тогда, конечно, дворяне разделят судьбу своих галицийских сотоварищей, т. е. будут убиты или изгнаны“ [4]).

Уже из этого видно, что тем фактором, который, по мнению Бисмарка, может вызвать польских крестьян из политически мертвого состояния, является не разность в религиозных убеждениях, а жадность к земле,—явление не идеологического, а материалистического характера. Такое отношение к религии Бисмарк сохранил и до конца своих

---

[1]) Bismarcks Briefe an Gerlach. 314 f., 321 f., также и G. u. E. I, 178-209. (переписка с Герлахом).

[2]) Parl. Reden, I. 189 (3 Dec. 1850).

[3]) G. u. E, II, 278.

[4]) Die politischen Berichte des Fürsten Bismarck aus Petersburg und Paris (1859—62) Hrg. v. Raschdau, 2 Bände, Berlin, 1920, II, 128

дней. Церковь для него осталась не религиозной, а политической организацией, и это особенно ярко выразилось в годы культуркампфа. Обороняясь от упреков, что он ведет борьбу против католической религии, Бисмарк (в речи от 10 марта 1873 г.) говорит: «вопрос, который мы трактуем, по моему мнению, ложно понимается, и свет, в котором мы его рассматриваем, есть ложный свет, поскольку в нем видят конфесиональный, церковный вопрос. Это—чисто политический вопрос; в нем идет речь не о борьбе евангелической династии против католической церкви, как утверждают наши католические сограждане; речь идет и не о борьбе между верой и неверием; речь идет о старом споре, который так же стар, как и человеческий род,—о споре между монархической властью и духовенством, споре, который старее, чем появление нашего спасителя в этом мире»... [1]) Уже эта цитата показывает, что для Бисмарка религия была не только в современную ему эпоху, но и значительно раньше,—только политической силой, которой духовенство пользовалось в своих видах. Характерно то, что первую половину XVII века он называет временем «*мнимо* конфессиональных столкновений тридцатилетней войны», отказываясь, таким образом в религиозных мотивах видеть настоящие движущие силы этой эпохи.

Итак,—развитием истории управляют, по Бисмарку, наряду с некоторыми расовыми предрасположениями, человеческие интересы, основанные, главным образом, на экономических потребностях. Отсюда было естественно сделать вывод, что крупные события привязаны и к крупным причинам, что через историческое развитие проходят некоторые основные линии, определяющие собой общий ход истории. Бисмарк не был ни историком, ни философом истории, и, конечно, он не пытался определить, в чем заключаются эти линии, и к чему они направлены. Все его исторические суждения приурочены только к тем явлениям, которые интересовали его, как политика, и никаких общих обзоров истории он, разумеется, давать не мог. С широко-исторической точки зрения он рассматривает только некоторые, особенно его интересовавшие периоды. К таким периодам относятся прежде всего революционные периоды. Развитие революций Бисмарк даже находит возможным подчинить особому социологическому закону, который он высказывает в своих мемуарах. Все революции, по мнению Бисмарка, проходят через определенный, замкнутый круг. Всякая из них начинается с того, что «неимущие классы»—(Die besitzlosen Klassen) поднимают борьбу против правительства из-за экономического и политического равноправия. При этом всегда и всюду недовольные развивают более энергичную деятельность, чем довольные, консервативные классы. «Общим явлением бывает всегда большая энергия в деятельности среди сил, нападающих на существующее, чем среди тех, кто защищает его, т. е. среди консервативных людей». Государственный корабль быстро склоняется влево, и порядок приходит в полное расстройство. Но тогда начинается и движение обратно. Наступившая анархия увеличивает страдания и нужду народа, и среди него все более и более развивается стремление восстановить прежнее соотношение сил, гарантирующее порядок. Но восстановить потрясенный порядок оказывается теперь возможно не иначе, как с помощью диктатуры... «Исторический кругооборот опять возвратится в сравнительно короткое время к диктатуре, к насильственной власти, к абсолютизму, потому что массы в конце концов подпадают под действие потребности в порядке; если они не познают ее a priori, то они признают ее в конце концов вследствие многочисленных аргументов ad hominem и покупают порядок

[1]) Parlam. Reden, VI, 204 (10 März 1873).

диктатуры и цезаризма путем добровольного пожертвования той законной и прочной долей свободы, которую безболезненно могут выносить европейские государства». В другом месте Бисмарк говорит об этом же «законе» лаконичнее, но не менее определенно: антимонархическое настроение быстро доводит охваченные им государства до «социальной республики», «пока невыносимость созданных таким путем обстоятельств не сделает разочарованное население восприимчивым к насильственному возвращению монархических учреждений в цезаристской форме»[1]). Таким образом, мы видим в этой схеме Бисмарка своеобразное применение диалектического метода: сначала тезис в виде старого порядка, затем—актитезис (революция), и, наконец, синтез—в виде цезаристской диктатуры, которая, однако, по мнению Бисмарка, представляет шаг не вперед, а назад в сравнении с дореволюционным временем. Независимо от оценки, которую Бисмарк дает различным моментам в развитии революций, нельзя не признать, что в этом обобщении он подмечает довольно правильно последовательности имевших место до него и в его время революционных движений. Это доказывает, что Бисмарк стремился проникнуть во внутреннюю последовательность событий и что история отнюдь не была для него цепью бессвязных и разрозренных явлений.

Нужно, однако, сказать, что в этом стремлении проникнуть в историческую связь событий Бисмарк слишком часто поддавался воздействию своих политических симпатий и антипатий и, связывая явления в одну неразрывную цепь, просто хотел этим дать своим современникам политическое предостережение и показать им, к каким пагубным последствиям может привести на первый взгляд невинное увлечение. В таких случаях исторические соображения у Бисмарка являлись простым прикрытием для политической пропаганды. Так, в 80-х годах, в период разрыва с национал-либералами, он стал доказывать, что либерализм есть необходимая предварительная ступень к социализму и к республике. „Бывают люди", говорит он в 1881 г. в рейхстаге, „которые, напр., садятся в потсдамский поезд, между тем как они хотят ехать только до Кольхазенбрюка[2]). Хотя кондуктор им говорит: поезд там никогда не останавливается, однако, они думают: он не останавливался никогда до сих пор, но, может быть, теперь он остановится. В результате они попадают не в Кольхазенбрюк, а в Потсдам. Так же и в политике. Либерализм всегда попадает дальше, чем это хотят его носители. Они не могут остановить тяжести 40 миллионов людей, однажды приведенных в движение, где они этого хотят"[3]). Дальше Бисмарк продолжает: «Со всем весом моего опыта и положения я свидетельствую перед Вами, что, по моему убеждению, политика прогрессистов нас медленно приводит к республике; я далек от того, чтобы обвинять в этом теперешних членов партии,—я верю, что они остаются верными монархии... Я думаю только, что Вы не принимаете к сердцу уроков истории. Ваши глаза смотрят мимо них; но Вы не будете в состоянии остановить машину, когда она придет туда, куда Вы ее направляете,—дорога поката, и Вы не можете остановить ужасную тяжесть 45 миллионов людей по команде,—этого сделать Вы не в состоянии, это пересилит Ваши силы и увлечет Вас»[4]).

Эти обобщения Бисмарка о необходимой связи между либерализмом и республикой были продиктованы ему политической борьбой и носили, в сущности, характер предупреждения по адресу нац.-либе-

---

1) G. und E. II, 257.

2) Местечко до Потсдама.

3) Pol. Reden, XII, 145 (29 Novem. 1881).

4) Ibid, 147—148 (29 Novem. 1881).

ралов и свободомыслящих. Бисмарк не высказал бы их в период своей дружбы с национал-либералами. Поэтому смотреть на них как на продукт исторической мысли Бисмарка, как это делает Gitermann, едва ли возможно. Это скорее были политические предостережения.

Но и при этой оговорке несомненно, что в историческом процессе Бисмарк видел нечто обязательное, закономерно связанное во всех своих частях и в большинстве случаев не доступное влиянию случайности. Характерно, что Бисмарк, сам бывший руководителем крупных исторических событий, не верил в силу той случайности, которую представляет собой личное вмешательство в ход исторического развития, иначе говоря, не верил в силу личности. M. Fehling нашла в шенгаузенской библиотеке Бисмарка книгу Карлейля „о героях и героическом в истории", причем фраза Карлейля: „История мира есть только жизнеописание великих людей" была подчеркнута карандашем Бисмарка. На этом основании Fehling делает заключение, что Бисмарк соглашался с этим мнением Карлейля [1]). В действительности, очевидно, дело обстояло совсем не так, и Бисмарк подчеркнул, вероятно, это место просто потому, что считал его особенно характерным для Карлейля. В заявлениях Бисмарка мы имеем довольно яркие доказательства тому, что он верил в продиктованный исторической закономерностью непреложный ход событий, в котором личности отводится очень мало места. Говоря в 1892 г. о своем участии в деле об'единения Германии, Бисмарк, однако, далек от того, чтобы приписывать себе в этом особенно большое значение. „Отдельное лицо, министр, напр., как я, не может вызвать течения времени, не может даже отклонить его в сторону. То течение, о котором я думаю, стремление к национальному единству, к образованию великой нации в средине Европы, было уже на лицо, когда я только родился" [2]). За 23 года до этой старческой речи, в 1869 г. Бисмарк высказывает аналогичные соображения: „мы не можем, господа, ни игнорировать прошедшего, ни делать будущего; это недоразумение, от котораго я хотел бы здесь предостеречь, чтобы мы не воображали, что мы можем ускорить течение времени, переставив вперед наши часы. Мое влияние на события, которые меня вынесли, часто сильно преувеличивается; но, вероятно, никто не предположит, что я способен делать историю. Этого я не могу, господа, сделать даже в единении с Вами, единении, которым мы настолько сильны, что мы могли бы сопротивляться всему миру с оружием в руках; но истории мы не можем делать,—мы можем только ждать, чтобы она совершилась. Мы не можем ускорить созревание плодов тем, что будем держать под ними лампу" [3]). В совершенно том же духе высказывается Бисмарк и в речи 21 апреля 1887 г., произнесенной в прусском ландтаге: „никто из нас не может предвидеть будущего, и самый могущественный монарх и самый способный государственный человек не в состоянии ни овладеть им, ни направить его. Историческое развитие нашей страны образует слишком широкий и могучий поток, чтобы один человек—хотя бы и властитель страны—мог его предопределить заранее. Мировая история в целом не позволяет себя вообще делать по произволу: на ее течение можно только направлять государственный корабль, если заботливо смотреть на компас государственного блага и уметь правильно определять последнее" [4]).

Значит ли все это, что Бисмарк отрицал за личностью вообще всякое значеное в истории? Уже последняя цитата, в которой Бисмарк говорит о направлении государственного корабля, очевидно, отдельными

---

[1]) M. Fehling, op. cit., 94
[2]) Pol. Reden, XIII, 105 (24 Juli 1892).
[3]) Pol. Reden, IV, 192 (16 Apr. 1869). В издании Бема этой речи нет.
[4]) Parl. Reden, XVI, 102.

лицами, хотя сообразуясь с течением истории, показывает, что влияние личности Бисмарк не считал нулем. Его взгляд на положительное значение личности особенно ясен из донесения о русских делах, которое он делает в бытность свою петербургским посланником в 1862 г., когда в России наростало революционное движение: „Движущий элемент всей ситуации“, пишет Бисмарк, „лежит не в столько в значении личностей, которые стремятся развить движение, или в ценности запутанных и неисполнимых предложений, которые ими выставляются, как идеал будущего, сколько во всеобщем убеждении..., что дело не может оставляться таким, как оно есть, что необходимы серьезные политические изменения, между тем как не находится никого, кто бы мог дать определенное выражение в форме ясных и практических проэктов этому темному стремлению к лучшему положению“[1]). Из этого ясно, что, по мнению Бисмарка, время пред‘являло запрос на государственный ум с ясным взглядом на вещи, и если бы такой сильный ум явился, то многое бы прояснилось и распуталось. Но действия такого государственного человека, конечно, не должны быть произвольны, а связаны об‘ективным положением вещей, ибо в них должны были только получить себе ясную формулировку „темные стремления“ русского общества. С таким взглядом Бисмарка согласуется и та оценка, которую он дает своей деятельности на закате своих дней в речи 30 июля 1892 г., сказанной в Иене: „Вы не должны приписывать моим способностям предвидения развития событий в целом;было бы преувеличением с моей стороны, если бы я стал утверждать, что я предвидел и подготовил все это течение истории. Люди не могут вообще делать истории, но из нее можно научиться, как нужно управлять политической жизнью великого народа сообразно с его развитием и его историческим назначением. В этом вся заслуга, которую я имею право признать за собой“[2]).

После всех этих соображений о самопроизвольном развитии истории, о подчиненности индивидуальных действий,—хотя бы и сильных личностей—общим направлениям и глубоким процессам исторического развития, было бы странно приписывать Бисмарку признание за случаем и случайностью какого бы то ни было значения в истории, Между тем, Gitermann это делает. Но мы увидим сейчас, можно ли делать из тех цитат, которые привлекает Gitermann, те выводы, которые он делает. Для подкрепления своего взгляда Gitermann указывает только на два заявления Бисмарка. Во-первых, врач Бисмарка, профессор Швенингер, в своих заявлениях о Бисмарке передает, что Бисмарк однажды в его присутствии рассказывал о битве при Белой Горе и с своим рассказом „связал рассуждение о последствиях этого военного события, которые клонились к тому, что другой исход этого сражения имел бы своим следствием такое историческое развитие, при котором бы можно было избежать войн 1864, 1866 и 1870 годов“[3]).

В другом случае в своих мемуарах Бисмарк уже сам рассказывает, что в 1870 г. во время затянувшейся осады Парижа он в бессонные ночи был мучим заботой, как бы тысячелетний спор между Германией и Францией не был „разрешен неправильно“, благодаря случайным и личным моментам, „без исторического основания“.

Но доказывают ли оба эти примера, что Бисмарк придавал большое значение случаю? Из первого примера видно только одно, а именно, что Бисмарк в битве при Белой Горе видел узел событий, нити от которого протянулись до очень отдаленных времен,—вплоть до совре-

---

1) Polit. Berichte aus Petersburg und Paris.

2) Pol. Reden, XIII, 130 (30 Juli 1892).

3) Schweninger, Erinnerungen an Bismark, 209.

менных Бисмарку войн. Если бы этого узла событий не было или если бы он завязался иначе, то и следствия были бы иные,—вот все, что сказал и хотел сказать в данном случае Бисмарк. Но Бисмарк ведь не говорит, что этого узла событий могло бы и не быть,—весь выше указанный его образ рассуждений приводит нас скорее к заключению, что в его глазах, что случается, то и должно случиться.

Другое место как будто бы более убедительно. „Случайные и личные моменты“, „без достаточного историчсского основания“ могут дать ложное разрешение тысячелетнему спору, спору между Францией и Германией. Но не нужно забывать, что Бисмарк мучился этой тревогой тогда, когда вопрос еще не разрешился, когда еще шла борьба под стенами Парижа, и ожидать от него такого бесстрастия, при котором бы его не волновали личные и случайные промахи отдельных дипломатов и генералов того времени, конечно, нельзя,—особенно, если принять во внимание темперамент Бисмарка. Ведь в данном месте на первом плане стоят именно тревоги Бисмарка, доводившие его до бессонных ночей, а ни в коем случае не философско-исторические его взгляды. И Бисмарк, говоря о своих волнениях, о правильном разрешении „тысячелетняго спора“, едва ли думал, что его слова будут истолкованы в смысле признания им большого значения за случайностью, и что ему вместо того, чтобы волноваться, было бы лучше положиться на силу непреложных исторических законов. В общем, эти примеры нисколько не колеблют многократно и по разным поводам высказываемых Бисмарком взглядов о закономерности исторического развития. Он представлял себе историческое развитие, как органический процесс, протекающий с той же принудительной силой, как протекают биологические процессы в живом организме. В этом процессе все предопределено заранее; но его течение так же трудно предугадать заранее и так же трудно по произволу изменить, как и развитие биологическаго организма. Вмешательство отдельных лиц в ход истории ему представлялось аналогичным с осторожным воздействием воспитателя, во всем сообразующегося с потребностями и нуждами вверенного ему воспитанника. В этом взгляде на историю Бисмарк, очевидно, подвергался прямому воздействию тогдашней исторической школы, с расцветом которой совпадает время образования его миросозерцания, хотя прямых указаний на это воздействие в его биографии мы не имеем.

И. Д. Сосис.

К истории антиеврейского движения в царской России. *)

История антиеврейского движения очень мало исследована, не смотря на то, что оно играло огромную роль в истории Польши, Литвы, Белоруссии, Украины и (после разделов Польши) в царской России. Сырого материала накопилось очень много; однако, до сих пор он не только не разработан, но даже не систематизирован, в научном смысле этого слова. Об'ясняется это, главным образом, тем, что в дореволюционное время, когда вакханалия юдофобии нередко отравляла и научную мысль, еврейский историк часто чувствовал себя в роли адвоката и публициста и не был в состоянии об'ективно изучать указанный материал. Октябрьская революция положила конец этому положению. В настоящее время и еврейский историк может повторить слова одного из французских историков: „я слишком высоко ставлю звание историка, чтобы заменить его пером публициста".

В частности, для истории антиеврейского движения в царской России создалось и другое благоприятное условие: открылись бывшие правительственные архивы, столь богатые „еврейскими делами". Первой попыткой использовать этот архивный материал являются два тома сырых и совершенно несистематизированных „Материалов для истории антиеврейских погромов в России", вышедших в Ленинграде в 1919 и 1923 г. г., под редакцией С. М. Дубнова (1-ый том) и Г. Я. Красного-Адмони.

Настоящий очерк, представляющий собой первую главу работы, начатой мной еще накануне революции, основан как на архивном материале, так и на анализе русско-еврейской периодической печати начала 80-х годов прошлого столетия.

I.

Антиеврейские погромы 1881-1882 г. г. поразили всех своей неожиданностью и обширными размерами своего распространения. До этого момента, в течение XIX века антиеврейские беспорядки, в больших или меньших размерах, имели место в одной лишь Одессе (в 1821, 1859 и 1871 г.г.). Их инициаторами являлись греки; к ним в последних двух погромах все в большей степени стали присоединяться и некоторые элементы русского населения, которое лишь во второй половине прошлого столетия начало играть заметную роль в разноплеменной Одессе. Помимо отмеченных беспорядков, в Одессе обычно перед пасхой возникало со стороны греков антиеврейское движение, пытавшееся обвинить евреев в ритуальных убийствах

*) Предпочитаю термин „антиеврейское движение", так как оно значительно шире погромного движения; термин же „антисемитизм" имеет западно-европейский оттенок

Движение это имело местный характер и коренилось, главным образом, в издавно существовавшем остром соперничестве между греками и евреями в области торговли [1]).

Антиеврейское движение начала 80-х годов происходило не без некоторого влияния давнишних юдофобских традиций (первый из погромов 1881 г. разразился в Елисаветграде, близком к Одессе, а в последней погром 1881 г. сопровождался слухами о необходимости ознаменовать десятилетнюю годовщину одесского погрома 1871 г.). Но основные причины этих явлений, охвативших юг и юго-запад России и перекинувшихся—совершенно неожиданным образом—в Варшаву, коренятся в общих условиях русской и еврейской жизни, которые особенно обострились к концу 70-ых годов.

Усилившиеся нужды крестьянства: малоземелье, периодические неурожаи, податное бремя и обычная язва деревни—пьянство все больше расшатывали крестьянское хозяйство и подготовляли почву не только для сознательной революционной пропаганды, но и для всякой агитации, направленной против частной собственности. В городе, вместе с начавшимся после освобождения крестьян усиленным темпом развития промышленности и железнодорожного строительства, образовались и в „черте“ еврейской оседлости значительные кадры рабочих, среди которых стало накопляться на почве тяжелых условий труда сильное, тогда еще стихийное недовольство, искавшее себе какого нибудь выхода. Положение рабочих еще больше ухудшилось после русско-турецкой войны, вследствие увеличения дороговизны продуктов первой необходимости. Вместе с этим до крайности обострилась конкуренция между еврейскими и русскими торговцами (а в Польше с польскими).

Освобождение крестьян и начавшийся в 60-х годах новый фазис промышленного развития Росси оказали огромное влияние на весь экономический уклад патриархального еврейства: они лишили его многих прежних отраслей торговли и факторства. Политические же условия еврейской жизни—существование „черты оседлости“ и других ограничений—отняли у еврейской народной массы возможность искать новых мест и новых путей экономической жизни. Уже в конце 60-х годов обнаружились большие размеры еврейской бедноты и возникли проекты эмиграции евреев в Америку, к которым, однако, еврейская интеллигенция относилась отрицательно, питая свои прежние надежды (возникшие в „эпоху великих реформ“) на близость раскрепощения русского еврейства и возможность внутреннего расселения евреев, вытесненных из своей прежней экономической колеи [2]).

Шестидесятые и семидесятые годы внесли большие изменения в соотношение различных групп и сословий внутри самого еврейства. Прежняя однородность патриархальной среды, скованной строгой религиозной дисциплиной, все больше стала уступать место классовой дифференциации и выделению верхних слоев еврейского населения. Зажиточное еврейское купечество, которому „эпоха великих реформ“ принесла, наряду с некоторыми другими правовыми облегчениями, право жительства вне „черты оседлости“, широко использовало начавшееся промышленное оживление. В различных городских центрах: в Петербурге, Москве, Одессе, Киеве и др. высшие слои еврейского населения стали выделяться своей богатой жизнью, давая обильный материал юдофобской печати, в которой тип еврейского дельца и финансиста стал синонимом еврея.

---

[1]) См. „Евр. Старина“ 1911 г. стр. 263-267, 1914 г., стр. 35-41; „Евр. Мир“ 1910 г., декабрь, стр. 42-46, а также мои очерки в „Евр. Стар.“ 1914 г. кн. 1.

[2]) Подробнее об этом в моей статье в „Евр. Старине“ 1914 г., стр. 129 и сл.

Вместе с богатым еврейским купечеством на поверхность общерусской жизни выдвинулась еврейская дипломированная интеллигенция, также получившая в начале 60-х годов значительные правовые привилегии и широкий доступ в область либеральных профессий, отчасти и общественной и государственной службы. А открытые в начале 60-х годов стены средних и высших учебных заведений стали привлекать все большие кадры еврейского юношества. Соперничество между евреями и русскими в школе и в сфере либеральных профессий вызывало в некоторых кругах русского общества недовольство и раздражение.

В жизнь еврейской народной массы реформы 60-х годов не внесли никаких сколько-нибудь значительных правовых облегчений. Правда, закон о праве жительства евреев-ремесленников вне „черты" мог бы иметь серьезные последствия. Но уже во второй половине 60-х годов действие этого закона было сильно парализовано последовавшими ограничительными циркулярами. Таким образом, еврейская масса вынуждена была цепко держаться за свои старые профессии, дальше развивая торговую конкуренцию в губерниях „черты", где все больше претензий стали пред'являть русские торговцы и промышленники. Весьма значительная часть еврейского населения продолжала заниматься и шинкарством, которое часто служило источником раздоров между евреями и окружавшим их населением.

Все эти факторы антиеврейских настроений осложнились традиционной религиозной и национальной враждой, которая, мало проявляясь в повседневных взаимоотношениях между еврейским и русским населениям, служила, тем не менее, одним из властных мотивов антиеврейского движения.

Ко всему этому присоединилось враждебное отношение русской администрации к евреям, в которых она видела постоянных „нарушителей закона" и вела с ними беспрерывную борьбу.

В высших бюрократических сферах традиционный антисемитизм, который красной нитью проходит через все русское законодательство о евреях, осложнился в конце 70-х годов озлоблением против них высших правительственных сфер, вызванным значительным участием еврейских интеллигентов в рядах революционеров.

Все эти различные влияния подготовили почву для того, чтобы антиеврейское движение, стихийно возникшее, как всякое массовое движение в царской России, поддерживалось и раздувалось в течение года слишком.

II.

Событие 1-го марта 1881 г., которое произвело потрясающее впечатление на всю страну и довело до апогея начавшееся раньше брожение в городе и деревне, усилило и антиеврейское движение. Антиеврейская печать, сильно развившаяся в 70-х годах („Новое Время" „Виленский Вестник", „Киевлянин", „Новороссийский Телеграф" и др.), ведя систематическую и очень яркую агитацию против евреев, еще до 1-го марта усиленно подчеркивали причастность евреев к революционному движению вообще и террористическим актам, в частности. „Новое Время" приписывало распространение социализма в России козням евреев, которые, по словам этой газеты „поджаривают" общество с двух сторон: сверху капиталом, а снизу социализмом. При этом газета подчеркивала, что еврейство, составляя всего 3% населения России, дает 7% арестованных революционеров. „С.-Петербургские Ведомости" писали между прочим: „Какая то темная сила двигает еврейскую молодежь на безумное поле политической агитации? Отчего это в редком политическом процессе не фигурируют

евреи и непременно в видных ролях? Что за причина того явления, что в университетском беспорядке 8-го февраля (1881 г.) главным виновником был еврей"?[1]) Русско-еврейская печать с тревогой указывала на опасность подобной агитации. Эта тревога особенно усилилась после 1-го марта, когда не только „Новое Время", но и „Виленский Вестник" и „Новороссийский Телеграф" (в Одессе), развивавшие свою антиеврейскую пропаганду в непосредственной атмосфере народных брожений, стали кричать о причастности евреев к цареубийству [2]).

Непосредственно за этим событием в различных местах Украины стали распространяться в народе толки о том, что на пасху „будут бить жидов". Подобные слухи и раньше часто распространялись перед пасхой и связывались с рассказами о ритуальных убийствах. И накануне пасхи 1881 г. подобные легенды циркулировали в различных местах, и слухи о готовящихся антиеврейских беспорядках были особенно упорны и тревожны.

Разразившиеся скоро погромы превзошли, однако, самые зловещие ожидания. И то, что им предшествовали везде определенные угрозы, что вспыхнули они в различных местах на протяжении короткого времени и протекали в однородной форме,—все это вызвало в то время много толков о существовании какой-то организации, подготовившей это движение. Так, автор докладной записки, предназначенной для „Паленской комиссии" и озаглавленной „Антиеврейское движение 1881-1882 г.", категорически утверждает, что „погромы явились результатом искусственно вызванного антиеврейского движения, вполне, до мельчайших деталей, организованного и обставленного всеми нужными средствами для достижения задуманной цели". Он, автор записки, как современник и близкий наблюдатель тогдашних событий, приходит к заключению, что в России, в подражании Пруссии, „образовалось нечто вроде антиеврейского согласия, агентами которого сделались лица разных сословий, в том числе даже многие представители власти, как провинциальной, так и центральной".[3]) Другой современник, автор воспоминаний об одном из погромов начала 80-ых годов (в „Евр. Старине" 1909 г., т. II) также говорит о симптомах планомерной организации погромов. Однако, документально до сих пор не установлено, существовала ли, в действительности, центральная организация, подготовившая антиеврейское движение. Поскольку имеющиеся материалы позволяют сделать на этот счет какой нибудь определенный вывод, можно лишь сказать, что в этом стихийном движении, обусловленном целым рядом указанных выше причин, элементы организации сыграли некоторую роль. Элементы эти были достаточно разнородны: тут были и лица, прикосновенные к борьбе с „крамолой", агенты администрации и представители городских мещан, озлобленных против евреев, и органы юдофобской печати, как проводники антиеврейской пропаганды. Со стороны же центрального правительства обнаружилось определенного рода „попустительство", возведенное в систему гр. Игнатьевым, сменившим Лорис-Меликова на посту министра внутренних дел. После 1-го марта, когда революционное движение казалось в полном разгаре, антиеврейское движение явилось той дивер-

---

[1]) См. „Рус. Еврей" 1881 г., № 8; „Рассвет" 1880 г. № 10, „Открытое письмо к незнакомцу" (Суворину).

[2]) Там же 1881 г. № 13 и сл.

[3]) Эта записка имеется в архиве Евр. Истор. Общества, в коллекции „Погромных дел"; часть ее, непосредственно относящаяся к нашей теме, опубликована в „Евр. Старине" 1909 г. т. 1, стр. 91—102.

См. также ст. С. М. Дубнова „Из истории 80-х годов", „Евр. Старина" 1915 г. т. III—IV, стр. 270 и 2-й том „Материалов для истории антиеврейских погромов", Ленинград, 1923 г.

сией, которую гр. Игнатьев, а под его влиянием—и местная администрация, сознательно потом допускали.

Подробнее об этом речь будет впереди. Сейчас же необходимо остановиться на других попытках об'яснения генезиса антиеврейского движения, которые исходили из правящих и административных кругов. Представившейся 11-го мая 1881 г. еврейской депутации Александр III, между прочим, сказал, что „в преступных беспорядках на юге России евреи служат только предлогом, и что это дело рук анархистов". Царь, однако, тут же прибавил и обычную тогда версию о „еврейской эксплоатации", как об источнике вражды к евреям. Великий князь Владимир Александрович, приняв (в мае того же года) барона Г. О. Гинзбурга, сказал, что „беспорядки, как теперь обнаружено правительством, имеют своим источником не возбуждение исключительно против евреев, а стремление к произведению смуты вообще"[1]).

Гр. Кутайсов, командированный для исследования причин беспорядков, приводит в своем официальном донесении отношение Екатеринославского губернатора, который утверждает, между прочим, что „антиеврейское движение подготовлено было преступной пропагандой людей, принадлежащих к социально-революционной партии". Тут же гр. Кутайсов цитирует докладную записку управляющего госуд. имуществами Тихонова, который сообщает о полученных им сведениях, что народные массы подняты злоумышленниками, желавшими воспользоваться неудовольствием крестьян на недостаток земли для возбуждения их к противу-еврейским беспорядкам"[1]). Сам же Кутайсов, однако, ко, пространно и настойчиво доказывает, что тут не было политической подкладки и „аграрной пропаганды". Он, впрочем, подтверждает, что в некоторых местах революционеры попытались воспользоваться антиеврейским движением для своих целей, но не имели успеха: народ не нападал на помещиков, русских купцов и проявлял „полное повиновение начальству". „Даже—говорит он,—после возмутительных экзекуций, произведенных в киевском генерал-губернаторстве, нигде (? И.С.) не было замечено никакого раздражения против начальства; мне кажется, что это служит лучшим доказательством, что дело это не есть дело социалистов". И дальше он продолжает: „все прокламации, появившиеся в Екатеринославле и его уездах, появились или после беспорядков или ранее, но ни одна из них собственно к еврейскому вопросу никакого отношения не имеет; есть, напротив, в числе их даже такие (как, например, полученные из Ростова), которые прямо советуют этим делом не заниматься".

Речь тут идет о Екатеринославской губ., но гр. Кутайсов вообще утверждает, на основании собранных им сведений, что не было никакой подготовки к антиеврейским беспорядкам, ибо говорит он, „движение это и не требовало никакого особенного подготовления". Все дело, по его мнению, в „страшном гнете" евреев и их быстром обогащении: „Евреи, на глазах одного поколения, обращались из простых факторов в миллионеров, фабрикантов и земельных собственников и вместе с тем становились все более и более нахальными, требуя, чтобы коренное население относилось с уважением и почетом к денежной аристократии. Народ возмущался их поведением и не мог свыкнуться с мыслью, что жидов приходится признавать „господами".

---

[1]) „Рассвет" №№ 19, 20, стр. 754, 764,

[2]) Такой же взгляд выражен в донесении агента „Священной дружины", копия которого имеется в архиве Евр. Истор. О-ва., упом. кол. 7.

[3]) Об отношении „Народной Воли" к погромам см. Тун.: Ист. рев. дв. в Рос 260-62, „Литература Народной Воли", Женева 1905, т. II, 386-423. См. также „Материалы для истории антиеврейских погромов" т. II, стр. 225, 287, 289-290, 297-8, 355, 363-4, 370, 445-446. На этом вопросе мы остановимся и во второй части настоящего очерка.

Впрочем, гр. Кутайсов в одном месте признает и другие причины погромов: „Неурожаи последних лет, событие 1-го марта, местная пресса и крайняя неразвитость местного крестьянства,—вот настоящие причины, послужившие здесь (в Екатериносл. губ.) основанием антиеврейского движения“.

Другой представитель высшей администрации, кн. Дундуков-Корсаков, в своем письме на имя министра внутренних дел от 14-го мая 1881 г., указывает, что „общее колебание умов, вызванное потрясающим, небывалым в России событием 1-го марта и отчасти традиционное, еще более окрепшее под влиянием новейших завоеваний и хищнических приемов евреев на экономической почве, нерасположение к ним, а паралельно с этим—хозяйственное расстройство и нужда христианской массы, вызванные неблагоприятными условиями земледелия и торговли в последние годы, наконец, даже некоторое участие революционной агитации в последующих фазисах беспорядков,—вот причины, обусловившие движение 1881 г.“ [1]).

На экономических мотивах антиеврейского движения нам придется подробно остановиться в дальнейшем изложении (во второй части настоящего очерка). Что же касается связи его с революционным движением, то можно лишь констатировать, что имевшие место отдельные попытки использовать погромы для революционных целей никакого влияния на ход событий не имели.

III.

Первый из погромов 1881 г. произошел в Елисаветграде. Город этот, как и другие города Новороссийского края, очень быстро развился, при главном и деятельном участии евреев, в крупный торгово-промышленный центр. Зажиточность значительной части елисаветградских евреев, богатство некоторых из них, их большие магазины и дома на центральных улицах стали (к рассматриваемому нами периоду) ярко выделяться на общем фоне города. Тем не менее, до весны 1881 г. русские и евреи уживались рядом без сколько-нибудь серьезных конфликтов. Общее брожение в стране, распространившиеся после 1-го марта, слухи о „Царском приказе“, разрешающем „бить и грабить жидов“, нашли свои отклики и в Елисаветграде. Толки о готовящемся тут погроме стали циркулировать еще накануне пасхи. Сами же беспорядки начались на четвертый день праздников, 15-го апреля,—разгромом еврейских кабаков и повальным пьянством, которое, по словам очевидца, „приводило толпу в безумное состояние“. Около 7 час. утра, 16 апреля,—сообщает официальное расследование елисаветградского погрома,—беспорядки возобновились, разростаясь с необычайной силой, по всему городу. Приказчики, служителя трактиров и гостинниц, мастеровые, кучера, лакеи, казенные деньщики, солдаты нестроевой роты,—все это примкнуло к движению. Город представлял необычайное зрелище; улицы, покрытые пухом, были завалены изломанной и выброшенной из домов мебелью; дома с разломанными дверями и окнами; неистовствующая толпа, с криком и свистом разбегающаяся по всем направлениям, беспрепятственно продолжающая свое дело разрушения, и в дополнение к этой картине—полное равнодушие со стороны местных обывателей нееврейского происхождения

[1]) Отзывы представителей администрации об антиевр. движении в извлечениях приведены в „Проекте общей записки“, Высшей Комиссии по пересмнтру законов о евреях (под председ. гр. Палена), отпечатанном в 1888 г. см. стр. 81, 82, 86.

Использовано мной и пространное офиц. донесение гр. Кутайсова о погромах в Екатеринославской губ. Архив Евр. Ист. О-ва, упом. кол. № 39.

См. также уже указанные выше „Материалы“ т. II.

к совершающемуся разгрому. Призванные для восстановления порядка войска не имели определенной инструкции, и при всяком нападении толпы на новый дом не знали, что делать, а выжидали указаний начальства или полиции. При таком отношении войска к делу, бушующая толпа, разбивая дома и лавки на глазах войска, не останавливавшего ее, не могли не прийти к заключению, что предпринятое ею разрушение есть дело не противозаконное, а разрешаемое правительством" [1]). К вечеру беспорядки усилились вследствие прибытия в город целой массы крестьян из ближайших деревень „с целью поживиться еврейским добром" [2]). Среди нападавших раздавались крики: „следует проучить их, проклятых; зазнались, все себе забрали и т. п.". Со стороны евреев обнаружились попытки сопротивления. В толпе даже говорили, что из одной синагоги, возле которой завязалась ожесточенная драка между евреями и громилами, сделано было несколько выстрелов. Толпа набросилась на синогогу и взяла ее штурмом. В начале погрома имущество истреблялось, но мало по малу сочувствующие зрители и приехавшие с подводами крестьяне стали забирать „жидовское добро". Евреи бежали, прятались, кто где мог, но были и многие случаи укрывательства русскими евреев. 17-го апреля, когда администрацией приняты были некоторые меры, погром прекратился [3]).

Из Елисаветграда антиеврейское движение перебросилось во второй половине апреля на целый ряд селений и местечек Елисаветградского и Александрийского уездов. Причем в деревнях беспорядки носили характер простого присвоения еврейского имущества. „В некоторых селениях, сообщает в своем донесении кн. Дондуков-Корсаков, в числе участников в беспорядках были сами сельские власти; в других же энергии и решительности тех же властей удалось предупредить беспорядки" [4]). Среди крестьян особенно распространены были слухи о „царском указе". Характерен в этом отношении следующий случай. Один крестьянин, проезжая через м. Витязевку (Елисаветгр. уезда), напился и, уверенный в разрешении бить евреев, приехал в деревню Антоновку, вызвал к себе сотского и, об'явив себя „царским посланцем", потребовал содействия в разграблении евреев „во исполнение царской воли". Сотский при помощи двух десятских не замедлил выполнить что распоряжение в деревнях Антоновке и Каменовозке [5]).

В Киеве руководящий и организаторский элемент был, повидимому, значительно сильнее. Официальное расследование подчеркивает, что, хотя громившая толпа состояла, главным образом, из мастеровых и „босой команды" (занятой выгрузкой товаров на днепровских пристанях), но в некоторых местах заметно было, что массой „руководили лица, одетые хотя не по-барски, но лучше других". Тот же официальный документ констатирует, что вследствие непринятия администрацией необходимых мер, киевский погром, начавшийся 26 апреля 1881 г., принял огромные размеры [6]).

Киевские беспорядки также начались с разгрома еврейских кабаков и всеобщего пьянства. Толпа, по словам очевидца, „купалась в водке", бабы уносили ее ведрами. В толпе раздавались те же крики, что в Елисаветграде. „Довольно господствовать евреям... Теперь на нашей улице праздник... Все они забрали в свои руки... Все дорого.

---

1) Из донесения гр. Кутайсова, приведен. в цит. выше „Проекте общей записки" стр. 63.

2) (Из отношения прокурора одесской судебной палаты), стр. 64.

3) „Разсвет" 1881 г. № 18687 и сл.

4) „Проект общ. зап." стр. 64. „Материалы", т. II, 241—287.

5) „Проект записки" стр. 65 (донес. гр. Кутайсова).

6) Там же стр. 67.

Мы страдаем из-за евреев...“ Много раз повторялись слова „Бродский“ (известный тогда богач): „на Бродского“. Толпа искала и разрушала дома известных в городе еврейских богачей. Но разгром направлялся против всех евреев без исключения; не щадились и самые бедные квартиры. Бушующая толпа часто набрасывалась на людей, одетых по европейски с криком: „Крестись“, чтобы убедиться, не евреи-ли они. Религиозный фанатизм толпы особенно резко проявлялся при разрушении синагог. С крайним остервенением (по свидетельству очевидцев) громилы набрасывались на свитки торы (писаны на пергаменте), рвали их в клочки, топтали в грязь и уничтожали их. Христианское население поспешило выставить в окнах иконы для ограждения своих жилищ. Квартиры же христиан, где находили спрятавшихся евреев, подвергались беспощадному разрушению.

С особенным упорством в Киеве циркулировали все те же слухи о разрешении бить и грабить евреев. Уверенность народа, что „так приказано“, была так велика, что толпа часто обращалась к офицерам с жалобами на солдат, что последние „мешают бить жидов“.

Как и в других городах, в Киеве больше всего пострадала бедная и трудовая часть еврейского населения, жившая на Подоле, где, в виду его сплошного еврейского населения, для громил было гораздо больше простора и меньше препятствий, чем на центральных улицах, где еврейский элемент вкраплен был среди христианских жителей. После киевского погрома, по поручению комитета помощи евреям, пострадавшим в Киеве, составлена была статистика населения временного лагеря (на Печерске), где в палатках нашли себе убежище 3.150 человек, и оказалось, что громадное большинство их занималось до тех пор физическим трудом [1]).

Продолжение киевского погрома происходило и в предместье Киева Демиевке, где, как и в других местах, прежде всего разрушены были питейные заведения, содержавшиеся евреями, и опьяневшая толпа совершала страшные насилия (были и случаи изнасилования [2]).

„Весть о киевском погроме,—констатирует официальное расследование,—и распространившийся в народе слух о существовании царского указа, повелевающего избивать евреев и грабить их имущество, имели своим последствием антиеврейские беспорядки в 42 селениях и деревнях киевской губ. (в последних числах апреля и начале мая 1881 г.[3]). Были разгромы и в некоторых местечках Киевской губ.

Очень близкий к Киеву Бердичев, сплошь населенный евреями, был огражден еврейской самообороной от попыток к погрому. В то же время антиеврейское движение проникло и в Черниговскую, Волынскую, Подольскую и Полтавскую губернии, но дело ограничивалось сравнительно незначительными размерами. Однако, попытки вызвать беспорядки были очень распространены во всем этом районе и вызывали панику среди еврейского населения. Например, в Балте, Под. губ. (где до весны 1882 г. порядок не был нарушен) весной 1881 г. тревожное настроение крайне усилилось, когда на столбах появилось несколько прокламаций с призывом к избиению евреев. В Козельце, Черниг. губ. на многих общественных и частных зданиях были кем-то расклеены об‘явления со следующим призывом: „Земля и воля, бить жидов третьего мая“. В Луцке, Волынской губ., появившиеся воззвания

---

[1]) „Рассв.“ 1881 г. № 23, стр. 895. Рассказы очевидцев киевского погрома см. там же № 19, стр. 730—759. Описания очевидцев и отклики газет противоположных направлений на события 1881—1882 г.г. приводились на столбцах русско-еврейских еженедельников „Рассвета“, „Рус. Еврея“ и „Хроники Восхода“. При анализе этого разнородного материала я буду делать ссылки на перечисленные три издания.

[2]) Архив Евр. Истор. О-ва, назв. выше кол. № 3.

[3]) „Проект общ. записки“, стр. 67.

к погрому выставляли следующие мотивы необходимости избиения евреев: 1. Евреи в воскресные дни выходят за город и закупают у крестьян привозимые с‘естные припасы, а потом перепродают их с прибылью. 2. Мясоторговцы все евреи и берут по 10 к. за фунт плохой говядины. 3. Эксплоатация, вообще, евреями христианского населения. В Полтаве (как и в других местах) разбросаны были прокламации с призывом к избиению евреев и богатого класса[1]).

В деревнях, как уже указано было выше относительно Елисаветградского района, крестьяне систематически и хладнокровно забирали еврейское имущество, убежденные, что действуют во имя „указа“. В с. Черико, Черниг. губ., волостной старшина убеждал крестьян не громить евреев. Тогда крестьяне потребовали от старшины удостоверения в том, что они не будут потом отвечать за свое бездействие. Однако, хотя старшина такое удостоверение выдал, толпа не успокоилась и разорила шесть еврейских домов[2]).

Распространенность слухов о существовании „указа“, санкционирующего антиеврейские погромы, выяснилась и на судебном процессе по делу о киевском погроме. Этот же процесс показал, что громилы— „босая команда“, рабочие и пришлый элемент (рабочие из внутренних губерний, не знавшие евреев у себя на родине) большей частью разрушали имущество, зрители же мещане (были среди них и домовладельцы) забирали все, что попадалось под руку[3]).

IV.

В Одессе, с самого ее основания (конец XVIII в.), евреи стали играть очень видную роль в развитие торговли и промышленности. Эта роль особенно усилилась в течении 60-х и 70-х годов. И та же неприязнь, какую питали раньше одесские греки к своим еврейским конкурентам, стала развиваться в русской торговой и мещанской среде, которая в Одессе больше, чем в каком-нибудь другом городе, видела на каждом шагу на центральных улицах силу и влияние одесской еврейской буржуазии (многочисленное трудовое еврейство Одессы живет на Молдаванке и других окраинах). Гр. Кутайсов очень точно выражает эту неприязнь определенных одесских кругов, когда он, касаясь одесского погрома 1881 г., говорит: „В настоящее время евреи, действительно, захватили в руки всю торговлю, всю промышленность, и их влияние усиливается со дня на день; лучшие дома, лучшие дачи постепенно переходят в их руки, но вместе с тем, наводняя собой весь город, они нисколько не сливаются с коренным населением“.[4])

С другой стороны, Одесса, как крупный торгово-промышленный и портовый центр, к рассматриваемому нами периоду уже обладала значительными кадрами люмпен-пролетариата (в лице бездомных портовых рабочих и „босяков“), который только искал повода, чтобы проявить свое возмущение условиями жизни и труда и излить свою стихийную страсть к разрушению. Если ко всему этому прибавить воспоминания о прежних погромных традициях Одессы и об общих условиях момента (после 1-го марта), а также, в частности, об антиеврейской агитации „Новоросийского Края“, то станет вполне ясно, что одесская почва была достаточно подготовлена для нового фазиса антиеврейского движения.

Одесский погром начался 3-го мая 1881 г. и грозил принять огромные размеры. Но повидимому, под влиянием только что выяснив-

---

1) „Рассв.“ 1881 г. 19, 20, 36, стр. 757, 759, 778, 779, 1415.
2) „Проект общ. записки“, стр. 69.
3) „Рассв.“ № 26, стр. 1038, № 27, 1095.
4) „Проект общей записки“ стр. 87

шихся результатов киевского погрома, одесские власти поспешили принять меры для ликвидации беспорядков. Особенно строго охранялись центральные улицы. Пострадал, пишет очевидец, один бедный люд. Несмотря на сравнительно небольшие размеры одесского погрома, одесские евреи пережили обычную панику и до погрома, и после него. По городу расклеены были прокламации, в которых говорилось, по словам очевидца, что „пора оставить бедных жидов и взяться вообще за богатых“ (при чем указаны не только еврейские, но и греческие фирмы [1]).

Рабочее население Одессы большей частью не принимало участия в погроме.

Отличительной особенностью одесских собитий является попытка заранее с‘организовать самооборону, на почве которой группа еврейского студенчества Новороссийского университета об‘единилась с некоторыми трудовыми элементами одесского еврейского населения. Однако, евреи, заподозренные в сопротивлении, арестовывались полицией наряду с громилами (всех арестованных было 800 чел., из них 150 евреев).[2])

В начале того же мая антиеврейское движение широко распространилось в Екатеринославской губ., главным образом в г. Александровске и его уезде.

Из Александровска стали передавать в ближайшие селения известия, что в городе „бьют жидов по царскому указу“. Начались беспорядки в целом ряде деревень. Были, по обыкновению, разбиты кабаки, лавки и пр., а имущество расхищалось. Еврейские помещики, жившие единицами в Александровском уезде, были совершенно разгромлены. Крестьяне забирали все имущество,а сельско-хозяйственные машины и экипажы уничтожали, приговаривая, что „жид должен остаться жидом, а не быть паном и позволять себе барские затеи“.[3]) У наиболее уважаемых крестьянами евреев производились незначительные повреждения имущества, чтобы „не ответить перед начальством“. В одном большом имении еврея забрано было все, что только можно было забрать (хлебные запасы и пр.). Было там 10 тысяч овец. Крестьяне об‘явили пастухам, что отныне овцы принадлежат им, как и другой гулевой скот еврея. Из сельско-хозяйственных орудий крестьяне выбрали те, какие пригодны для их хозяйства; земледельческие же машины были разбиты. То же было сделано и с домашней утварью. Дорогая посуда, роскошная мебель были истреблены; фортепиано разбито на мелкие кусочки. Когда же выяснилось заблуждение крестьян на счет „царской бумаги“, забранное имущество было возвращено, при чем виновные явились к еврею просить прощения, а потом продолжали попрежнему стричь его овец.

В другой деревне того же уезда, Гуляй-Поле, евреи успели убедить крестьян в том, что если оправдается слух о „царском указе“, то, ведь, имущество гуляйпольских евреев должно перейти к ним, гуляй-польским крестьянам, а не к жителям других сел, которые с‘езжаются в Гуляй-Поле (где было немало зажиточных евреев) в ожидании, что скоро „начнется“. Обращаясь к старшине, евреи заявили: „Вот вам ключи от наших лавок, погребов, подвалов и амбаров; храните все наше добро до тех пор, пока дело разрешится правительством, а не то наше имущество разграбят другие, и вам ничего не достанется“. Старшина торжественно приложил волостную печать к

---

[1]) Рассв. 81 г. №20, 284, стр. 785, 786.

[2]) Об одесской самообороне подробно рассказывает г. Бен-Ами, в своих воспоминаниях („Евр. Мир“ 1909 г. кн. V.)

[3]) Донесение гр. Кутайсова, архив Евр. Истор. О-ва, назв. выше кол. №39 и „Проект общей записки“ стр. 70 и сл.; „Рассвет“ 1881, №21, стр. 829

помещениям еврейских товаров, и крестьяне принялись сторожить их и дубинками стали гнать мужиков других сел, которые явились для участия в погроме [1]).

Антиеврейские беспорядки в Екатеринославской губ. не пощадили и еврейских земледельческих колоний Александровского и Мариупольского уездов. Крестьяне окрестных сел явились в колонии с женами и детьми и на своих подводах забирали еврейское имущество (найденные религиозные книги и свитки торы порваны, втоптаны в грязь, частью сожжены).

Александровский уезд явился центром развития антиеврейского движения в Екатеринославской губ. В других уездах беспорядки были предупреждены или прекращены в самом начале. Но везде настроение народа было крайне возбужденное.

В Воронеже были приняты меры охраны в виду того, что появились прокламации об избиении евреев, купцов и вообще „сюртучников", а в городе шли самые различные слухи: и о принудительной уступке помещичьих земель крестьянам, и об окончательном изгнании евреев из России и т. п. [2]).

Антиеврейские настроения распространились далеко за чертой еврейской оседлости—в Москве, Курске и др. городах [3]).

Из погромов, происшедших после небольшого перерыва, в июле 1881 г. (в Переяславле, Полт. губ. и его уезде и в Нежине), интересно отметить, что как только закончились беспорядки в Переяславле, мещане этого города поспешили формулировать свои требования, которые они внесли в образовавшийся комитет для исследования причин погрома и которые сводились к тому, чтобы евреи городские гласные сложили с себя это звание, чтобы еврейские женщины не носили шелка, бархата, золота и пр., не держали христианской прислуги, чтобы закрыты были питейные заведения, содержимые евреями, чтобы им запрещено было закупать для перепродажи продукты первой необходимости, арендовать ярмарочную и базарную площади и т. п. [4]).

V.

После июльских, более или менее значительных вспышек антиеврейского движения установилось сравнительное затишье. Однако, совершенно неожиданно антиеврейские беспорядки разразились в декабре 1881 г. в Варшаве. Еще в конце апреля того же года, сейчас же после елисаветградского и киевского погромов, в Варшаве были распространены прокламации с обычными призывами к борьбе с евреями, но эта агитация осталась тогда без последствий. В первый же день рождества, после страшной катастрофы в католической церкви (от ложной пожарной тревоги произошла паническая давка с многочисленными жертвами) и кем-то пущенного слуха, что евреи явились виновникаи несчастья,—толпа бросилась на евреев, их жилища и магазины. Начался ожесточенный разгром, который продолжался три дня. Разрушено было около 1.500 еврейских квартир, шинков, магазинов и синагог, а их имущество разграблено; были и раненые. По словам очевидца, толпа действовала дружно, как бы по заранее обдуманному плану. Ни одна квартира или лавка поляка, немца или русского не были тронуты. [5]) Во второй день рождества погром еще больше усилился. „Особенно буйствовали толпы, рассказывает очевидец, часов с 5-ти, когда начало темнеть. Крики „ура", с которыми толпы обыкно-

---

1) „Рассв." № 24, стр. 932.
2) Там же № 23, стр. 895, № 28 1102-1103, а также уже упом. донесение Кутайсова.
3) См. приложение к газете „Сибирь" № 24, от 20 июня 1881 г.
4) „Рассв." 1881 г. № 33 стр. 1295-1296.
5) Там же № 52.

венно бросались на дома, лязг битых стекол, рев толпы, плач и визг женщин и детей, крики о помощи тех, которых били и, наконец, под вечер, зарево пожаров на Вольском предместье и на улице Хлодной-превратили весь город в какой-то ад кромешный. Толпы разошлись только к утру. В некоторых местах евреи, вооружившись, кто чем мог, упорно защищались". [1]). Пострадал, главным образом, бедный и трудящийся люд, как это явствует из официального расследования, напечатанного в „Варшавском Дневнике", а также из данных комитета помощи пострадавшим, по исчислению которого потерпевших оказалось 2001 семейство, т. е. около 10.000 человек, из них большинство ремесленники и люди, занятые наемным трудом [2]).

Среди арестованных во время варшавских беспорядков (свыше 3.000 человек) было очень много польских рабочих. Один из очевидцев следующим образом рисует настроение в рабочей среде перед погромом. „Приглядываясь, я увидел, что брожение это не политическое, а экономическое. Откуда же начало этого недовольства? Ведь неурожая не было, и только овощи, по причине раннего мороза, испортились. Много на то причин и скопились они не разом. Улучшенные против прежнего жилища вздорожали больше, чем вдвое, а между тем заработки всюду уменьшились. На некоторых заводах и фабриках рабочие работают только полдня. До сорока тысяч мастеровых разных ремесл впали в бедственное положение. Коронные должности, как известно, заняты лицами, присланными изнутри империи; варшавские жители находили себе заработки на железных дорогах, но теперь и тут многие смещены и заменены присланными недавно солдатами. Между тем, наши польские мастеровые—безземельные мещане, не имеющие приюта в деревнях"... На этой почве и стали развиваться разбои и грабежи, способствовавшие возникновению антиеврейских беспорядков после упомянутой выше страшной катастрофы в церкви. [3])

Польское общество проявило очень много сочувствия разгромленным евреям, различным образом выражая свое негодование против погрома. Пресса, без различия направлений, с редким единодушием осуждала расправу с еврейским населением, называя ее нравственным ударом для польского населения. Польская интеллигенция, под непосредственным влиянием беспорядков, устроила собрания, на которых обсуждались вопросы ограждения дальнейшей безопасности евреев и помощи пострадавшим. Ходатайство об организации обывательской охраны было отклонено генерал-губернатором. Сборы же пожертвований в пользу потерпевших, как и массовая раздача хлеба и провизии, были очень широко организованы польскими общественными деятелями. В течение продолжительного времени после погрома на страницах варшавских газет печатались протесты против происшедших событий со стороны ученых, литераторов, медиков, адвокатов, обывателей, купцов и ремесленников. Необходимо еще заметить, что русская юдофобская печать открыто выражала свое злорадство по поводу того, что и культурная Польша присоединилась к погромной полосе. Польская же пресса решительно отклоняла от себя такую солидарность. Когда „Новое Время" выразило свое мнение, что причиной варшавских беспорядков послужила вражда ремесленников и бедной массы к евреям, газета „Nowiny" напечатала воззвание к бедному классу населения с предложением—фактом посильных пожертвований с его стороны протестовать против вывода „Нового Времени". Тогда

---

[1]) „Рус. Еврей" 1881 г. № 52, Хр. Восх. 1882. № 1. „Проект записки" стр. 77.
[2]) „Рус. Евр." 1882 г. № 3 „Хр. Восх." № 2.
[3]) „Рассвет" 1882, № 2, стр. 51.

стали поступать незначительные пожертвования в 20-30 к., которые скоро достигли 400 р.[1])

Эта форма открытого общественного протеста, сочувствия и организации непосредственной помощи пострадавшим очень ярко проявилась на общем фоне общественного индифферентизма, равнодушия или даже злорадства, которыми, большей частью, сопровождались погромы на Украине. Позже, после балтского погрома, настроения в этом отношении стали меняться,—об этом речь будет в дальнейшем изложении. В 1881-м же году только прогрессивная русская печать открыто осуждала погромы.

Любопытно в этом отношении письмо одного русского обывателя (из м. Звенигородки) в редакцию „Рассвета". Касаясь факта бездеятельности русского общества в деле защиты евреев, он предлагает организоваться тем русским людям, которые сочувствуют евреям, уверяя, что таких много, но они привыкли действовать „по предписаниям", а не по собственной инициативе. Автор письма предлагает поэтому организовать „Русский комитет друзей еврейства", который поставил бы своей задачей: помочь евреям и предотвращать дальнейшие погромы путем распространения здравых понятий о евреях и организации защиты.[2]) В сочувственном же духе реагировали в печати и некоторые другие русские обыватели, но их отдельные голоса остались совершенно одинокими.

После варшавского погрома, распространившегося и на предместья Варшавы (особенно пострадала Прага с ее, большею частью, бедным еврейским населением) и на ближайшие деревни,—антиеврейское движение значительно улеглось. Но варшавские антиеврейские беспорядки вызвали большую тревогу среди еврейского населения всей Польши, которая до тех пор считалась обеспеченной от погромов. Эта тревога особенно усилилась, под тем же влиянием,—в Литве и Белоруссии. Этот край за весь период 1881-1882 г.г. совершенно не был затронут антиеврейскими беспорядками, хотя и здесь наблюдалось тревожное состояние после украинских погромов весны 1881 г. Констатируя это настроение корреспондент „Рассвета" из Минска выразил уверенность, что оно не имеет под собой твердой почвы по следующим причинам: еврейское население составляет большинство городских жителей, не наблюдается острых отношений между христианами и евреями и т. д. Все же тревога, признает он, существует: „У нашей массы как-то сложилось убеждение, что еврейское население России теперь лишилось своих прав состояния, и что евреи с настоящего времени предоставлены произволу судьбы". После же описанных выше событий в столице Польши и центре польского еврейства паника быстро распространилась на весь „северо-западный край", о чем свидетельствуют корреспонденции из Вильны, Минска, Ковна, Брест-Литовска, Вилькомира, Слонима и других городов. Этому способствовала начавшаяся еще раньше полоса пожаров.

Весной 1882 г., перед пасхой, стали распространяться тревожные слухи о предстоящих новых антиеврейских погромах. Однако, тревога в общем оказалась ложной. Можно было думать, что антиеврейское движение в своих уличных проявлениях окончательно затихло. И вот, среди этого всеобщего затишья разразился страшный погром в г. Балте, Подольской губ. Событие это занимает особое место в погромной хронике 1881-1882 г.г. и заслуживает поэтому того, чтобы остановиться на нем отдельно.

---

[1]) „Рус. Еврей" 1881, № 52; „Нед. Хр. Восхода" 1882 г., № 3; „Рассвет" 1882 г. №1; архив Евр. Истор. О-ва, упомянут. выше коллекция № 9.

[2]) „Рассвет" 1882 г. № 19, стр. 707-708.

С. З. Каценбоген.

Правовое положение евреев в Белоруссии, накануне революций 1917 г.

„Еврейский вопрос получает разумную постановку, смотря по стране, в которой евреи живут“
К. Маркс.

Правовое положение евреев в Белоруссии к периоду февральской революции 1917 г. определялось бесчисленным множеством ограничительных законов, железным обручем сковывавших всю жизнь еврейского населения.

Граф Пален, председатель комиссии по „Еврейскому вопросу“, еще в 80-х годах насчитывал 650 ограничительных норм, касательно евреев. С тех пор их сделалось еще больше.

Правовое положение евреев определялось, однако, отнюдь не одним только действующим законодательством.

В гораздо большей мере судьба еврейского населения зависела от степени „административного восторга“, по меткому слову Щедрина, местных представителей центральной императорской власти.

Стремясь угодить высшему начальству, местные власти проявляли изумительную инициативу и изобретательность в деле измышления самых разнообразных мер притеснения еврейского населения и издевательства над ним.

В отношении к евреям русские цари были связаны „славными“ традициями веков. Еще в 1563 году Иоанн Грозный при занятии Полоцка приказал тех евреев, кои не пожелают креститься „в воду речную вметати“.

Не менее остроумен был ответ Елизаветы Сенату, доказывавшему в 1743 году, что запрещение доступа евреев на ярмарки Малороссии и в Ригу принесет убытки казне и разорит купечество.

„От врагов христовых не желаю интересной прибыли“ последовал ответ Елизаветы.

Ограничительное законодательство о евреях начинается, однако, лишь с момента присоединения к Российской империи Белоруссии, после первого раздела Польши в 1772 году.

Екатерина II, „просвещенная“ ученица Вольтера, Дидро, в манифесте о присоединении Белоруссии заявляла, что „всяк по званию и состоянию своему долженствует пользоваться выгодами и правами без различия закона и народа.“

Однако, российское купечество пожелало оградить себя от опасных конкурентов и стало жаловаться, что евреи занимаются запрещенной в то время разносной торговлей по домам и, назначая дешевые цены, наносят вред местной торговле.

Идя навстречу желаниям купечества, Екатерина II-я издала 23-го декабря 1791 г. закон, прикреплявший евреев к Белоруссии, Екатеринославскому наместничеству и Таврической губ.

Так коронованная ученица великих энциклопедистов, подчиняясь воле русского купечества, *положила начало черте оседлости,*—центральному пункту всего ограничительного законодательства о евреях.

В эпоху „Великих реформ", при Александре II-м, кольцо черты несколько разомкнулось: право жительства вне черты оседлости приобрели купцы I-й гильдии, лица с высшим образованием, ремесленники, акушерки, зубные врачи.

Так создана была, исходя из материальных интересов казны, привиллегированная группа еврейского населения.

Преловутая черта замыкала многомилионное население в тесные и узкие границы 15 губерний, обрекая его на нищету, голод, вырождение.

Несомненно, что в своем законодательном творчестве о евреях царское деспотическое правительство вдохновлялось не одним только зоологическим антисемитизмом. Крепкие позолоченные нити были протянуты между престолом „первого российского помещика", столбовым дворянством и именитым купечеством.

Их интересы были взаимны.

Русский торговец, пожелав быть монополистом на внутреннем рынке, диктует потребителю неимоверно высокие цены.

Царское правительство поспешило упрятать подальше конкурентов—еврейских купцов, довольствовавшихся иногда меньшими процентами, но зато при гораздо более быстром обороте капиталов.

Историк Ю. Гессен совершенно правильно об'ясняет подлинные экономические корни ограничительного законодательства.

„Ограничительное законодательство, пишет он, явилось результатом сложных взаимоотношении „между различными общественными группами с одной стороны и между их совокупностью и правительством с другой. В среде многообразных общественных групп происходила то явная, то скрытая борьба, за сохранение или ограничение прав евреев; боролись, конечно, не во имя принципа справедливости или естественных прав евреев;различие интересов превращало одних в защитников евреев, других в противников последних". Императорское правительство социально было связано с наиболее отсталыми феодально-кулацкими элементами страны. Деспотическое правительство, как и само ограничительное законодательство о евреях, было противно интересам крепнущего капиталистического хозяйства. Неудивительно поэтому, что передовые представители крупной индустрии и банкового мира часто выступали против ограничительного о евреях законодательства.

Российская буржуазия, благодаря особым историческим условиям ее развития, отличалась всегда исключительной дряблостью и трусостью. Таким же худосочным был и наш отечественный либерализм. Царизм имел все основания не считаться с его невинным брюзжанием.

„Вахмистры по воспитанию и погромщики по убеждению" меньше всего считались с интересами промышленности страны.

Политика правительства по отношению к евреям привела в 1881 году к знаменитым погромам на юге и юго-западе. Министр внутренних дел Игнатьев, озабоченный выработкой мер к „успокоению населения и к предотвращению противоеврейских беспорядков" издал 3 мая 1882 г. высочайше утвержденные временные правила, запрещавшие евреям жить вне городов и местечек, а также покупать или арендовать там землю, управлять ею и даже жить на даче.

При обсуждении в III-й Государственной Думе сметы мин. внутр. дел депутат от еврейской буржуазии Н. М. Фридмам вскрыл некоторые преинтересные детали, сопровождавшие издание временных правил.

Он сообщил о том, что тогдашний министр внутренних дел гр. Игнатьев, накануне издания правил, предусмотрительно совершил у одного из Киевских нотариусов арендные договоры на имя евреев, которым он сдал свои имения в долгосрочную аренду. „Всем запре—тил, а сам воспользовался заблаговременно; не хороший ли закон?" наивно спрашивал у третьеиюньской Думы Фридман [1]).

„Временные" Игнатьевские правила просуществовали 35 лет, вплоть до революции 1917 года.

Эти правила привели к разорению тысячи семей, к еще большей скученности еврейского населения в городах и местечках, к отчаянному его обнищанию. Страдало от этих правил и не-еврейское население и даже казна, налоги поступали неисправно, имущества, лишившиеся арендаторов стали бездоходными и т. п.

За то открылся широчайший простор для административного произвола, для вымогательства и взяточничества.

Особенное, исключительное усердие проявлял Минский губернатор Гирс.

Журналы того времени пестреют указаниями на то, что особенной интенсивности достигло выселение и конфискация имуществ в 1913—1914 г. г.

Выселяли тысячами, особенно в Волынской, Минской, Херсонской и Екатеринославской губерниях.

„Распространительное" толкование Игнатьевских правил доходило до того, что даже законопослушный и отнюдь не юдофильский Сенат вынужден был в 1913 г. отменить постановление Витебского Губернского Правления об отказе еврею Альтерману в разрешении переселиться из деревни Ювголово в деревню Селеники, Режицкого уезда. Черта оседлости, как и запрещение евреям селиться в деревнях, всей тяжестью обрушилась прежде всего, конечно, на беднейшее трудовое население.

Еврейские купцы, банкиры, фабриканты всегда умели найти доступ через черное крылечко к полицейским чинам и устраивались превосходно при всех обстоятельствах. Если иногда и страдало национальное самолюбие, то оно быстро испарялось при первом столкновеиии с еврейскими пролетариями и уступало место классовой ненависти.

Один известный в свое время еврейский проповедник в Германии, любивший для успеха своих речей щегольнуть „демократизмом", говорил о том, что богачи, „надменные, как павлины", застрахованы от антисемитизма, ибо „об их золотой панцырь притупляются и от него отскакивают все ядовитые стрелы". Нужда, говорил он, не выходит на парадную улицу, самая малая лачуга—приют наибольшей нищеты, великое горе убегает от глаз людских и прячется в затаенном

---

[1]) Ст. 779 т. IX Свода Законов.

„Евреи в черте общей их оседлости, равно как и везде, где дозволено им постоянное пребывание, могут переселяться с одного места на другое на общих правилах".

Примечание I: Высочайшее повеление: в виде временной меры и до общего пересмотра в установленном порядке законов о евреях, воспретить евреям в губерниях постоянной их оседлости впредь вновь селиться вне городов и местечек, с допущением в сем исключения только относительно существовавших до 1882 года еврейских колоний, занимающихся земледелием".

Ст. 780. Примечание I. „В девяти западных губерниях воспрещается, всем без исключения евреям, приобретать земли от помещиков и крестьян".

Примечание II: „В губерниях постоянной оседлости евреев, временно приостановить совершение на имя евреев купли крепостей и закладных на недвижимые имущества, находящиеся вне черты городов и местечек".

Примечание III. „В губерниях, не входящих в черту еврейской оседлости, воспрещается совершение от имени или в пользу евреев всякого рода крепостных актов".

углу, в то время как самодовольное богатство с шумом катит пестрое колесо роскоши по мостовым".

Черта оседлости создала для трудового еврейского населения душную атмосферу средневековья. Она держала его вдали от крупных промышленных центров, она преграждала ему доступ к земледельческому труду, она обрекала его на кустарный ремесленный, грошевый труд. Она создала в среде еврейской мелкой буржуазии особый тип, измученного и жалкого человека, основная профессия которого заключается в том, что у него нет никакой профессии.

Но больше всего черта оседлости способствовала развращению агентов правительства.

Кажется, пишет граф. И. И. Толстой, один из позволявших себе либеральничать русских министров, нельзя было бы изобрести, даже усердно постаравшись, лучшей школы взяточничества и административного произвола, чем ту, которую создало наше законодательство, установив черту оседлости прежде всего, а затем и другие ограничительные правила, направленные против этого племени".[1]).

Вокруг „черты" сплелось много изумительных жанровых картин. К их числу относятся знаменитые „облавы" в Киеве с обязательством оплаты евреями содержания полиции „на предмет надзора за проживающими в Киеве евреями" из сумм взимавшегося с убоя скота коробочного сбора, ложившегося тяжелым бременем на беднейшее население и предназначенного по закону на благотворительность и школьное дело.

Не мало трагедий перенесло и еврейское юношество, мечтавшее о поступлении в высшее учебное заведение.

Еврейские газеты передавали о следующей любопытной истории.

В Харьков приехало для экзаменов около ста еврейских девушек, окончивших зубоврачебную школу в Минске. Они заранее запаслись необходимыми документами на право жительства. Тем не менее вице-губернатор Кошура-Масальский запретил им временно проживать в Харькове. В результате их долгих ходатайств им вручили документы уже по окончании экзаменов и они вынуждены были уехать из Харькова ни с чем[2]).

Не менее характерен „Суд над еврейками-бестужевками" затеянный в 1902 году по случайному поводу, Плеве. Вопреки точному и ясному смыслу закона Плеве, а за ним Столыпин и Щегловитов принимали все меры к тому, чтобы лишить евреек окончивших бестужевские курсы, права на жительство вне черты.

Для этого был один только путь—доказать, что бестужевские курсы не являются высшим учебным заведением. Дело о курсах неоднократно рассматривалось в Сенате и было разрешено в пользу курсов лишь 8 л. спустя по особому постановлению государствен. совета[3]). Смешно, конечно, говорить о какой бы то ни было правовой основе Российской самодержавной власти Она, конечно, весьма далека была от каких бы то ни было правовых гарантий.

Реальная, подлинная суть российской самодержавной власти заключалась в ея совершенном беззаконии и в том что все многомиллионное население огромной страны было предоставлено произволу местных сатрапов.

На фоне общего всероссийского бесправия особенно зловещим пятном выделялось бесправие евреев, как в малой капле вод, отражавшее всю гниль и тупость императорского правительства.

---

[1]) Гр. И. И. Толстой „Антисемитизм в России" 17 г. Издание Русского Общества Изучения еврейской жизни. Стр. 32.

[2]) „Рассвет" 1912 г. № 6 стр. 33.

[3]) Л. Айзенберг „Виды правительства" в еврейском вопросе (Плеве и еврейки-бестужевки). Еврейская летопись 1923 г. изд „Радуга".

По словам И. Г. Оршанского „евреи составляют в России какое-то особенное сословие полу-граждан или, лучше сказать, граждан известной части государства—явление феноменальное и, можно сказать беспримерное“.

И. Г. Оршанский, однако, великолепно сознает, что „евреи представляют собой не единственный класс лиц, относительно, которого существуют из'ятия и ограничения общих законов.“

Он прекрасно знает, что „ни в одном европейском законодательстве принцип единства и равенства не применяется так слабо, как в России“.

Однако, особенность и исключительность правового положения евреев заключается в том, что так как они не пользуются правом повсеместного жительства в России, то считать их русскими гражданами в юридическом смысле слова невозможно“ [1]).

Ограничения свободы передвижения и жительства занимают центральное место в ограничительном законодательстве о евреях. Законодатель не оставил, однако, без своего усердного внимания и других сторон еврейской жизни.

Исключительное место в законодательстве о евреях занимают законы об образовании. Согласно ст. 787 IX т. Свода Законов дети евреев могут быть принимаемы и обучаемы без всякого различия от других детей в общих казенных учебных заведениях и частных училищах и пансионах тех мест, в каких жительство отцам их дозволено. Однако, высочайше утвержденным положением комитета министров от 5 декабря 1886 года министру народного просвещения предоставлено было право принимать по ближайшему его усмотрению частные меры к ограничению приема евреев в подведомственные Мин. Нар. Прос. средние и высшие учебные заведения. В июле в 1887 году властью министра народного просвещения гр. Делянава в видах более „нормального“ отношения числа учеников евреев к количеству учеников христиан, была введена процентная норма для детей евреев, желающих поступить в среднее учебное заведение. Право поступления евреев в среднее учебное заведение в черте оседлости было ограничено 10 проц., в местностях вне этой черты 5 проц., и в столицах—3 проц. общего числа учеников, подлежащих приему в начале каждого учебного года.

Это процентное ограничение евреев в составе учащегося юношества было распространено вскоре и на высшие учебные заведения. [2])

Если министерство Делянова ознаменовалось новыми законодательными ограничениями прав евреев, то преемник его Боголепов, Московский профессор, превратившийся в жандарма просвещения, не знал никакой жалости. Боголепов мстил еврейской молодежи за разыгравшиеся в 90-х годах студенческие волнения. Вскоре в 1901 г. Боголепов пал от руки студента Карповича.

Не довольствуясь одной процентной нормой министр народного просвещения циркуляром от 10 июля 1910 года установил, что на будущее время учащимся в специально еврейских учебных заведениях не могут быть присвоены права учащихся в правительственных учебных заведениях.

Это распоряжение особенно больно ударило по „черте“, где находилось большинство частных еврейских учебных заведений.

Кроме распоряжений центрального правительства, ограничивающих права евреев на образование, местные власти в порядке вдохновенной инициативы, самостоятельно закрывали евреям доступ в некоторые средние учебные заведения.

---

[1]) И. Г. Оршанский. „Русское законодательство о евреях“ СП. 1877 стр. 3,6.

[2]) М. И. Мыш. „Руководство к русским законам о евреях“ С.П. 1892 г., стр. 363.

Не менее ревниво правительство следило за тем, чтобы препятствовать низшему, хотя бы и ремесленному образованию евреев. Так, в Минске в 1913 году по распоряжению попечителя Виленского учебного округа, была закрыта еврейская одноклассная школа еврейского общества для учеников ремесленных мастерских, существовавшая 8 лет. Там же были закрыты курсы английского языка для эмигрантов евреев[1]).

В довершение ко всему своему правотворчеству об образовании евреев, министерство народного просвещения лишило еврейские учебные заведения педагогов, запретив евреям преподавать русский язык, географию и историю.

Заключительным аккордом явилась знаменитая „жеребьевка" Министра Просвещения Кассо для евреев, поступающих в учебные заведения. Царское правительство неусыпно наблюдало за состоянием и развитием еврейского просвещения, безжалостно и свирепо подавляя самые чахлые его ростки.

То в Ковне и других городах запрещается постановка еврейского спектакля, то отказывают в регистрации невинного еврейского литературно-музыкального общества, то запрещается продажа еврейских газет—без предварительного „компетентного" просмотра приставом и т. д. и т. п.

Не лишнее будет напомнить и ст. 773 Т. IX свода законов, согласно которой евреи во всех публичных актах и во всех бумагах, подаваемых, или присылаемых ими местам и лицам правительственным, судебным и полицейским должны употреблять язык русский или тот, на котором в месте их пребывания дела производятся, но отнюдь не еврейский. Это правило относится и к ведению установленных законом торговых книг.

Ограничительное законодательство опутывало еврейское население со всех сторон. Оно зорко следило за каждым движением и мыслью еврея, замыкая его в средневековые тиски, обрекая его на тяжелый изнурительный ремесленный труд и жалкое торгашество, отстраняя его от полей и степей и тем обрекая его на физическое вырождение. Российское законодательство, чрезвычайно озабоченное стремлением придать евреям в XX веке европейскую внешность, сохранило позорнейшую 775 ст. IX т. Свода Законов, гласившую: „Употребление особой одежды евреям воспрещается повсеместно, женщинам еврейкам запрещается брить головы".

Над ограничительным законодательством Российской империи незримо парит дух инквизиции.

Всемерно препятствуя еврейской молодежи получить элементарное, среднее и высшее, образование, российское правительство вместе с тем приняло ряд „остроумнейших" мер для того, чтобы лишить возможности чем-нибудь заняться тех „счастливцев", коим удалось сквозь игольное ушко ограничительных заков проникнуть в учебное заведение и его окончить.

На основании закона 1899 г. окончившие юридический факультет евреи не допускались в сословие присяжных поверенных. За 10 лет министр юстиции допустил в сословие присяжных поверенных лишь одного еврея, прослужившаго при том 25 лет в должности члена суда, как „пережиток" односекундного либерального дуновения ветерка в эпоху Александра 2-го.[2])

Евреи врачи были лишены права занимать академическую, государственную или общественную должности.

---

[1]) „Рассвет"—1912, № 5, стр. 36.

[2]) С. М. Дубнов, „Евреи в России в царствование Николая II". Птг. 1922 г Издание „Кадима" стр. 13.

По стопам самодержавного правительства шли и „автономные“ земства. Так, в Минске, губернская земская управа, чувствуя сильный недостаток во врачах для борьбы с эпидемией тифа, отказывалась брать на службу евреев-врачей. В Минской губернии были и такие больницы, где отказывали категорически в приеме не только евреям-врачам, но и евреям-пациентам. В г. Борисове было занято под земскую больницу здание еврейской больницы, а евреи больные туда не принимались.[1])

Несмотря на то, что еврейское население несло такие же, а часто и большие налоги, подати и повинности, как и все прочее население, тем не менее ему было запрещено принимать участие в земских избирательных собраниях и с‘ездах, а равно и в городском самоуправлении.[2])

Особо жестоким скорпионом для беднейшего еврейского населения была ст. 395 т. IV Свода законов (Устава о Воинской Повинности), согласно которой „Семейство еврея, уклонившегося от исполнения воинской повинности, подвергается денежному взысканию в размере трехсот руб.“ Тысячи беднейших семей вынуждены были подчас продавать свой последний скарб для того, чтобы вносить штрафы часто за мертвые души или же за весьма далеких родственников, давным давно выбывших за пределы России.

Нам остается упомянуть еще об одном старейшем законе о евреях, изданном еще в 1845 году.

Это 1171 ст. Уложения о наказаниях, согласно которой „евреи за производство вне черты, назначенной для постоянного их жительства, какой-либо торговли, кроме той, которая в определенных именно законом случаях им дозволена, подтвергаются: конфискации товаров их и немедленной высылке из тех мест“.

Статья эта открыла широчайшие возможности для издевательства и взяточничества местной администрации и привела к совершенному разорению многих тысяч еврейских мелких торговцев. Конфискация у них их часто ничтожного скарба приводила их к полнейшей нищете.[3])

Основные моменты ограничительного законодательства о евреях, действовавшего и в Белоруссии, нами очерчены.

Совершенно понятно, что законодательство это исключительно больно коснулось трудового беднейшего населения. Железный обруч „черты“ заставлял стонать от боли еврейского рабочего, ремесленника, кустаря. Богатый купец, банкир и фабрикант знали магические формулы, при помощи которых порочный, мертвый круг почтительно размыкался. В законодательстве об образовании были созданы для еврейской буржуазии специальные щели.

Барьер, поставленный для евреев, перед учебными заведениями, легко и безшумно перескакивали еврейские тузы.

Средние учебные заведения вообще весьма малодоступные для беднейшего населения, в результате всевозможных рогаток, оказались для еврейской бедноты вовсе недосягаемыми.

Еврейское трудовое население было обречено на то, чтобы коснеть в невежестве или же обучаться ненужному, давно истлевшему

---

[1]) „Рассвет“, 19.0 г., № 6, стр. 34.

[2]) Г. Б. Слиозберг „Сборник действующих законов о евреях“. Сп. 1909 г. стр. 14, 15. Ст. 16 Положения о губернск. уездн. земских учреждениях, иадан. в 1892 г. и ст. 24 Городового положения Изд. в 1892 году.

[3]) Как много говорит следующая коротенькая заметка в „Рассвете“ 1910 г., № 1, стр. 36 :„ В Минске в окружном суде возбуждено свыше ста дел по обвинению евреев, живущих в селах по 1171 ст. Уложения о наказаниях за незаконную торговлю вне черты оседлости“.

хламу в хедерах или же, в лучшем случае, мучительно искать особых путей самообразования.

Кроме того, еврейская буржуазия, когда чрезмерно и не в меру усердствовавшие громилы императорского правосудия черезчур больно наступали на ее карман, умела всегда найти горячих и влиятельных защитников в крупнейшем именитом российском купечестве.

Это уже был не новорожденный купец Екатерининского времени, нуждавшийся в пеленании и не рахитический мелкий торговец.

Оранжерейный протекционизм российских правительственных попечителей промышленности и торговли только стеснял развивающийся капитализм.

Ложе российского самодержавия оказывалось часто Прокрустовым ложем даже и для наших отечественных купцов и промышленников.

Общие интересы всей буржуазной России без различия национальностей сказались особенно ярко тогда, когда правительством были изданы правила об ограничении прав евреев в акционерных компаниях.

Интересы отечественной торговли и промышленности, которым эти правила грозили нанести жесточайший удар, заставили встрепенуться весь влиятельный биржевой, банковый, торговый и промышленный мир, обычно реакционный и антисемитский. Биржевые комитеты, купеческие банки, граф А. Бобринский, товарищ председателя Государственной Думы А. И. Коновалов и ряд других влиятельнейших лиц, заявили решительно о том, что „отношение к изданным ограничительным постановлениям может быть только самое отрицательное, а результаты такой политики самые пагубные“[1]).

Не приходится поэтому удивляться, что правительство, несмотря на свой неисправимый furor judophobicus, вынуждено было отменить ограничительные правила о правах евреев в акционерных компаниях.

Время от времени правительство, не довольствуясь ограничительным законодательством о евреях, вносит в их правовое положение соответствующие коррективы.

Этими коррективами являлись погромы и ритуальные наветы.

Уже Александр III ознаменовал свое царствование 150 еврейскими погромами, несомненно искусственно вызванными и организованными до мельчайших деталей, как доказывала поданная правительству докладная записка.

Погромы 80-ых годов, однако, бледнеют перед погромами, организованными правительством Николая II.

Кишиневский, Гомельский, Одесский, Белостокский, Седлецкий погромы и множество других были направлены в первую очередь против еврейской бедноты и рабочих. За спиной громил виднелся указующий, направляющий и благословляющий перст министра внутренних дел фон-Плеве.

---

[1]). „Рассвет“ 1909 г. № 19, стр. 19 Слова А. И. Коновалова:

„Рассвет“ № 16, стр. 35: „Как передают газеты, управляющий Государственным банком Коншин на вопрос интервьера, обсуждало ли совещание под его председательством вопрос о национализации кредита и об ограничениях евреев в акционерных обществах ответил: „Смешно было бы деловым людям в деловых беседах заниматься такими несерьезными несбыточными проектами.“

Там же приведено постановление общего собрания Екатеринославской биржи с ходатайством об отмене правил регистрации евреев, выезжающих за черту оседлости и майских правил 1882 года. Оба правила, по мнению биржи, создали невыносимые условия экономического развития России.

В № 17 „Рассвета“, стр. 36. приведено заявление Екатеринославской биржи о том, что от ограничительной политики о евреях „страдают“, главным образом, купцы и потребители внутренних губерний. При таких условиях ограничения евреев превращаются в бич экономической жизни страны“.

По меткому выражению историка Дубнова евреи после революции 1905 года получили „хартию конституции, завернутую в погром".

В течение одной лишь недели с 18-го по 25 октября в 1905 году произошло 624 погрома.

Столь же организованными и инспирированными правительством оказались и ритуальные процессы, среди которых особенно выделялась руководимая министром юстиции Щегловитым бейлисиада.

Если исходные мотивы ограничительного законодательства определялись, главным образом, желанием освободить русских купцов от конкурентов, то погромы и ритуальные процессы преследовали иную цель.

Самодержавие направляло рукой убийцы недовольство огромной бедствующей и невежественной массы городской и сельской черни по линии наименьшего сопротивления.

В море еврейской крови правительство надеялось потушить вспыхнувший огонь революции.

Разжигая зоологический антисемитизм, царизм пытался разбить классовую солидарность российского пролетариата.

В среде революционных русских рабочих погромы вызвали бурю негодования, и они вместе с еврейскими рабочими вступали в специальные боевые отряды самообороны для борьбы с погромщиками.

Расчеты самодержавия не оправдались и несомненно, что погромная и ритуальная политика лишь ускорила его падение.

Правовое положение евреев самым решительным образом повлияло на судьбы так называемой еврейской экономики.

Оно, как мы уже выше указывали, искусственно собрало многомиллионную массу еврейского населения в городах, побуждая ее сплошь и рядом заниматься грошевой торговлей или же самыми невыгодными, отсталыми отраслями ремесленного труда.

Тем не менее, роль евреев в экономической жизни Западного края была весьма значительна. На Западе, где жило 95,9% всех евреев в России, они составляли 11,6 проц. всего населения. В городах евреи составлали 37,6 проц., в местечках и посадах—39,8 проц. всего населения.

В Белоруссии процентный состав еврейского населения значительно повышался, достигая в городах 52,6%, а в отдельных губерниях—и того выше—в Гродненской—58,7%, в Минской—59,4%.

Гораздо существеннее доля участия евреев в промышленном труде.

В черте оседлости почти треть (31, 4%) промышленного труда выполнялась евреями.

Некоторые же отрасли ремесленного труда находились почти исключительно в руках евреев.

Так 51,4% лиц, изготовлявших одежду, падал на евреев. Табачное производство черты на 73,5% обслуживалось евреями.

В типографском и переплетном труде евреи участвовали в количестве 62,9%.

Понятно поэтому, что судьбы всего населения Западного края были теснейшим образом переплетены с судьбами еврейского населения.

Правовые ограничения евреев содействовали не одной только их нищете, но и несомненно влияли на подрыв хозяйственных сил всего края, а вместе с тем на благосостояние всего его населения[1]).

Ограничительное законодательство достигло несомненных результатов в деле совершенного обнищания беднейшего еврейского насе-

---

[1]) И. М. Бикерман. „Черта еврейской оседлости" СПБ. Изд. „Разум." 1911 года стр. 41, 42 и 43.

Также—„Очерки по вопросам экономической деятельности евреев в России". Выпуск первый. СП. 1913 г.

ления Западного края. Это удостоверяют показания весьма компетентных источников.

Еще царский сановник граф Пален в докладе о положении евреев писал: „Чуть ли не 9/10 всего еврейского населения составляют ничем необеспеченную массу, живущую изо дня в день в нищете, при самых тяжелых, гигиенических и бытовых условиях. Это самый настоящий, отчаянный пролетариат, которого нет нигде в других частях России. Все слои России, все классы находятся в лучшем состоянии, чем евреи, у них одних встречаются пролетарии, жизнь которых не обеспечена ничем".

Искусственная концентрация евреев в городах и местечках и ограниченный круг занятий сильнейшим образом влияли на понижение заработной платы еврейских рабочих и на общие условия их труда.

На менее тяжелы были и условия работы большинства ремесленников.

Один из контролеров, обходивший жилища ремесленников, так описывает быт еврейских швеек: „Это обитательницы темных и сырых кварталов с иглой в руках и с воспаленными глазами, наклонившиеся над своей мелкой работой..... Швейные машины здесь исключение. Сырость, невозможная атмосфера, скудное питание и недостаток света быстро стирают румянец с лица и медленно, но неуклонно губят молодую жизнь..... Те гроши, которые вырабатываются на этой работе, недостаточны и для полуголодной жизни"[1]).

Приведем еще несколько цифр, ярко говорящих про экономическое положение еврейской бедноты в черте вообще и Белоруссии в частности. В Волынской губ. средний годовой заработок еврея-портного в 35 пунктах из 69 равнялся 100—120 рублям в год. Заработок сапожников в большинстве мест не превышал 100—150 руб. в год. Заработок белошвейки в год колебался между 25 и 100 рублями[2]).

Жалкая, чахлая благотворительность еврейской буржуазии, творимая ею, якобы во имя „национального единства", бессильна была поспеть за гиганским ростом нищеты. По некоторым данным в Одессе в свое время обращалась часто за помощью почти вся половина еврейского населения, в Вильне $^1/_3$, в Ковне и Минске по 1.200 семейств и т. д.

Отчаянная скученность еврейской бедноты содействует росту эпидемических заболеваний и детской смертности[3]).

Немногими, но достаточно яркими словами характеризует материальное положение черты уже упомянутый нами царский министр гр. И. И. Толстой. „Типичная еврейская семья черты оседлости", пишет он, „живет в невозможных лачугах, одевается в лохмотья, питается, да и то не каждый день, самою дешевою дрянною селедкою, картофелем и хлебом, и все это в самом мизерном количестве, еле-еле достаточном для того, чтобы не умереть с голоду; таких еврейских семей не тысячи, а сотни тысяч"[4]).

Правовое положение евреев сделалось совершенно невыносимым во время мировой войны.

---

[1]) „Очерки по вопросам экономической деятельности евреев в России". Выпуск 1-ый. СП. 1913 г. стр. 31.

[2]) „Сборник материалов об экономич. положении евреев в России". Т. 1, стр. 334, 5, 6.

[3]) А. Субботин: „Настоящее положение еврейского вопроса". Лит. худ. Сборн. „Помощь". СП. 1901 г. Стр. 495.

[4]) Гр. И. И. Толстой „Антисемитизм в России". Изд. Русск. об-ва изуч. евр. жизни. ПТГ. 1917 г. стр. 65. По словам Н. С. Лескова, („Евреи в России" Госиздат, 1920 г. стр. 55) „Евреи, сидящие на носах друг у друга в Гомеле, Шклове, Бердичеве и Белой-Церкви зарабатывают средним числом около 7 к. в день на взрослого человека и питаются сухим хлебом, потертым зубцом чеснока".

Бездарное самодержавное правительство Распутина и Штюрмера, проигрывая на внешних фронтах, старалось наверстать свои потери на внутреннем фронте и, прежде всего, конечно, на евреях.

Еврейский депутат-кадет Н. М. Фридман с „высоты" думской трибуны спешил „от имени еврейского народа" заявить: „В настоящий час испытания, следуя раздавшемуся с высоты престола призыву, мы, русские евреи, как один человек, станем под русскими знаменами и положим все свои силы на отражение врага. Еврейский народ исполнит свой долг до конца".

Этой высокопатриотической лакейской речи демонстративно апплодировали даже погромщики на правых думских скамьях.

Под впечатлением всемирного забвения социал-демократией заветов Интернационала Д. Пасманик делал глубокомысленные выводы о том, что „настоящая война вскрыла пустоту космополитизма и жизненность национального принципа".

Она доказала, утверждал Пасманик, что перед интересами народности стушевываются всякие классовые противоречия.

А меч царского правосудия, под патриотический гимн Фридманов, кадетов и думских хулиганов, творил свое дело.

В районе западного фронта начались военные погромы в Тарнополе, Калуще и друг. городах.

Мясоедовы и Сухомлиновы, предававшие армию, обвиняли евреев в шпионаже.

Правительство, после очередного поражения на фронте, разослало по всей России телеграмму о том, что в Кужах евреи скрыли немецких солдат в подвалах, благодаря чему они затем нанесли неожиданный удар русской армии. Все это по проверке оказалось, конечно, чистейшим вымыслом. Столь же нагло лживым и гнусным было знаменитое дело Гершановича—„дело о Мариампольской измене".

Обвинявший старика Гершановича в шпионаже мусульманский имам Байрашевский сам оказался немецким шпионом. А старика Гершановича до суда все же продержали в тюрьме два года.

В то же время по распоряжению главнокомандующего армией на Западном фронте около двухсот тысяч евреев с женами и детьми было изгнано из Литвы, Лифляндии и Курляндии в восточные губернии России и было обречено на нищету, болезни и голодную смерть.

Особенным усердием в деле издевательства над евреями отличился вице-директор департамента полиции *К. Д. Кафафов.*

9 января 1916 года он разослал по всем губернским органам управления и охраны секретный циркуляр, в котором указывалось, что „евреи посредством многочисленных подпольных организаций усиленно заняты революционной пропагандой, при чем с целью возбуждения общего недовольства в России, они помимо преступной агитации в войсках и крупных промышленных и заводских центрах, а равно подстрекательства к забастовкам, избрали еще два важных фактора—искусственное вздорожание предметов первой необходимости и исчезновение из обращения звонкой монеты".

Кафафов имел, конечно, все основания обвинять еврейских рабочих в „усиленном занятии революционной пропагандой". Дьявольский замысел его циркуляра заключался, однако, не в этом, а в том, чтобы, распространяя о евреях заведомо ложные слухи, создавать благоприятную почву для организации погромов.

Кафафовский запрос в Государственной Думе доказал всю глубину лицемерия, трусости и предательства кадетов и шедшей у них на поводу еврейской буржуазии.

Кадеты во время запроса вовсе отсутствовали.

А прогрессивный блок удовлетворился об'яснениями погромщика Кафафова.

В контр-революционную историю кадетской партии достойно будет занесен и тот факт, что кадеты отказались подписать законопроект о национальном равноправии, составленный социалистами.

В одной из своих думских речей Пуришкевич привел арабскую поговорку:

„Женщину можно испытать золотом, мужчину—женщиной, а русское правительство, добавил от себя Пуришкевич,—можно испытать предвыборной кампанией и хорошими еврейскими законами".

Пуришкевич был прав.

Российское самодержавное правительство выдержало испытание на „хорошие еврейские законы".

Во славу божию и православной церкви, ad majorem Dei etecclesiae gloriam, во имя торжества распутинских идеалов, оно творило свою погромную политику и создало целый свод ограничительных законов о евреях.

В вихре Великой Российской революции было сметено царское правительство.

Вместе с аттрибутами его в музее древностей будет находиться и свод ограничительных законов о евреях.

Великая Октябрьская революция создала, наконец, все необходимые условия для окончательного решения „еврейского вопроса".

Она открыла широкие возможности для всестороннего приложения труда еврейских рабочих.

Советская власть в Белоруссии и в других центрах Союза наметила широкие мероприятия в области привлечения еврейских трудовых масс к здоровому земледельческому труду.

Советский Союз разрешил, как нельзя лучше, трудный и важный национальный вопрос.

И. В. Герчиков.

К идее государства у Фердинанда Лассаля.

(Из этюдов о Лассале).

Фердинанд Лассаль, знаменитый революционер и основоположник современного рабочего движения в Германии, родился 11 апреля 1825 г. в еврейской купеческой семье. И физически, и духовно Лассаль сложился чрезвычайно быстро и уже в раннем юношеском возрасте тяжело чувствовал тяжелое положение той нации, из которой он происходил. Если вообще в немецкой действительности первой половины XIX-го века было много пережитков средневековья, то в отношении к еврейству это средневековье царило полновластно во всей своей отвратительной наготе. Пылкий юноша не гнулся под тяжестью оскорбленного национального чувства, но как раз наоборот, настраивался на воинственный лад, смело вызываясь на борьбу с насилием и угнетением, тяготевшими над еврейством.

С другой стороны, Лассаль родился в Бреславле, столице Силезии, одной из первых областей самой жестокой, дикой, разнузданно-циничной, откровенной капиталистической эксплоатации раннего германского капитализма. Он рано узнал об эксплоатации силезских ткачей и об ужасной жизни ограбленных феодалами силезских крестьян. Это там, в семье крепостного крестьянина родился другой великий социалист, которому, как „незабвенному другу, смелому, верному, благородному, передовому борцу пролетариата“, К. Маркс посвятил первый том своего „Капитала“—Вильгельм Вольф.

В Силезии, раньше чем в других частях Германии, начались массовые расстрелы голодающих крастьян и рабочих, ссылки на каторгу.

В Силезии же, Франц Вурм написал свои статьи и организовал боевой союз рабочих. Вурм в 1844 г. был приговорен к смертной казни, которая была заменена тюремным заключением. Революция 48-го года извлекла его из тюрьмы. Вильгельм Вольф был товарищем Лассаля по университету. Наряду с национальным угнетением, социальные несправедливости вызвали чрезвычайное негодование Лассаля.

Нравственное негодование против социальной несправедливости, резко бившей в глаза, переходило в поиски исхода в социальных преобразованиях. Нужно было найти путь к этим социальным преобразованиям. Лассаль нашел рычаг для этих преобразований в государстве, в идеалистическом, гегелевском понимании его.

Через 13 лет после смерти Гегеля, в 1844 г. Лассаль вступил в берлинский университет, именно потому, „что хотел оказаться у источника гегелевской мудрости“. Среди немецких университетов первой половины XIX-го века берлинский был главной резиденцией гегелианства. Гегель читал в нем лекции до своей смерти (1831 г.), и еще долго после его смерти его философия еще более неограниченно господствовала в берлинском университете, чем при его жизни. Гегелианство завер-

шало собой целую эпоху истории Германии; оно же начинало ее новую историческую эпоху, хотя бы в том смысле, что новая историческая эпоха лежала по пути преодоления гегелианства.

Лассаль значительную часть своей жизни был другом и, в значительной степени, учеником Маркса, но марксистом он никогда не был. Марксизм—философия грядущего—шел через преодоление гегелианства. Лассаль гегелианства не преодолел. Он его и не углубил, не смотря на все свое желание это сделать, потому что история шла по пути отрицания гегелианства. Гегелианство Лассаля было главной причиной постоянных расхождений между ним и Марксом, а позже между марксистами и лассалианцами. После Лассаля развитие пролетарской классовой борьбы разрешало и разрешило сложнейший вопрос преодоления лассалианства, т. е. полного отрыва пролетарской идеологии от идеологии буржуазной.

Жизнь Лассаля полна энергии, радостных моментов, блестящих триумфов, но полна также без'исходного трагизма, и самая глубокая причина всего трагического в жизни Лассаля кроется в том, что он, связав себя с движением рабочего класса, не развязался с гегелианством. Это противоречие рвало на части и внутреннюю, и внешнюю жизнь Лассаля, создавая заколдованный круг без'исходности. Гегелианство не могло быть тем компасом, который указывал бы прямой и верный путь в общественной и политической жизни тому, кто хотел и не мог не идти с рабочим классом, а потому политический путь Лассаля полон зигзагов и противоречий. Лассаль ориентируется: то на союз прогрессивной буржуазии с пролетариатом, то на самостоятельное пролетарское движение, то на союз пролетариата с бисмарковской государственностью, не видя той чистой и прямой классовой борьбы, какую видел более гениальный его друг Маркс.

В детские и юношеские годы Гегеля (родился в 1770 г.) в Германии полновластно царят: пиетизм, мистицизм, религиозный догматизм и схоластическое богословие. Каковы бы ни были эти настроения сами по себе, по существу они являлись робким, пассивным протестом буржуазного общества против феодальной системы и официального лютеранства. Все эти настроения во всех формах разрывали с официальной церковью. Пиетизм уходит от церкви вглубь своих сердечных переживаний и влечений совести. Мистицизм окончательно уходит из-под эгиды протестантско-феодальной действительности в область религиозных мечтаний и настроений, в сильнейших своих проявлениях упиравшихся в католицизм. Изучение протестантской догматики и схоластики послужило средством лучше узнать врага, чтобы тем верней и успешней разить его потом. Этот разрыв между протестантско-феодальной действительностью и историческим направлением развития буржуазных элементов немецкого общества, т. н. разрыв между идеалом и действительностью, вызывает весьма существенный и остро чувствуемый кризис в личном и общественном состоянии. Выражением кризиса явился чрезвычайно развившийся индивидуализм, доходивший до полного отрицания общественных отношений. Индивидуализмом в одинаковой степени проникнуты, погрузившие свой „революционный" взор в средневековье, романтики и глядящие в античную даль неогуманисты. Это критическое состояние выражалось в судьбах отдельных лиц. Друг Гегеля поэт Гелдерин на этой почве сходит с ума, Фридрих Шлегель переходит в католицизм, Шеллинг впадает в мистицизм. Разрывающая практическую связь с настоящим, не имеющая еще ясных практических ощущений будущего, буржуазная философия уходит в заоблачные выси мечтательного идеализма, где царит полная свобода философского спекулирования. Жизнь в области абстрагированных от реальной жизни идей и понятий расцветает, благодаря от-

сутствию всяких реальных общественных и государственных ощущений. С поразительной очевидностью выявляется то, что угнетенные или просто не осуществляющие в государстве и через него свои интересы группы населения не имеют отечества и чувства патриотизма.

В 1806 г. происходит сражение при Иене, которое с победой Наполеона I уничтожает самостоятельность Германии. В это время Гегель пишет своему другу Нитгаммеру, что он в восторге от Наполеона—этой мировой души. „Это в самом деле чудное чувство, пишет он, когда видишь подобную личность (Наполеона), который, сидя верхом, здесь из одной точки охватывает мир и им повелевает. Конечно, пруссакам (понимай: прусским феодалам И. Г.) нельзя было предсказать ничего лучшего, но с четверга на понедельник подобные успехи возможны только для этого необыкновенного человека, которому нельзя не удивляться... *Как я заранее желал успеха французской армии, так все теперь желают его ей*, и успех неизбежен при чудовищном превосходстве ее предводителей и солдат над противниками". А через несколько месяцев он опять пишет, что „в истории этого дня (Иенского поражения Пруссии) он видел неотразимое доказательство победы образованности над грубостью духа на бездушным рассудком и умничанием". Гегель в своем отсутствии патриотизма—больше, в своем пораженчестве—не составляет исключения. Такое поражающее отсутствие патриотизма отражалось даже в самых мелких явлениях обыденной жизни. Типичный образец таких настроений мы видим в жизни отца знаменитого философа Артура Шопэнгауэра—богатого буржуа Генриха Флориса Шопэнгауэра (умер в 1805 г.). „Уроженец и гражданин вольного ганзейского города Данцига, он отличался свободолюбивыми наклонностями и симпатиями к Франции. В 1793 г. вольный город Данциг подвергся блокаде со стороны королевских прусских войск, и местные патриоты города утратили всякую надежду на сохранение своего республиканского строя; тогда он за несколько часов до вступления в Данциг пруссаков выехал в вольный город Гамбург". Он вообще не терпит Германии, в которой все больше укрепляется абсолютизм и подолгу живет за границей. „Родители Артура предполагали пробыть подольше в Англии для того, чтобы первенец их (Артур, появления которого на свет они ожидали) родился именно в Англии. Они дали этому первенцу имя Артур, потому что оно не носит специально немецкого характера и произносится почти совершенно одинаково на других языках: французском и английском"[1]).

Вышеприведенные фразы из писем Гегеля находятся в согласии с его же мнением, что Германия вообще не государство и что германская жизнь не может оставаться в том же состоянии, в каком находится теперь, потому что „все существующее потеряло уже всякую силу и всякое достоинство превратилось в явление чисто отрицательное".

Докатившиеся до Германии раскаты великой французской революции были с энтузиазмом встречены немецкими индивидуалистами. В начале революция с ее абстрактными лозунгами братства, равенства и свободы, с ее идеалистическими, вне конкретно государственными построениями „прав человека и гражданина", соответствовала идеалистическим, вне—и антигосударственным настроениям немцев, находившихся в разладе с действительностью. Но эти симпатии к „прекрасной издалека" революции в большей своей части быстро отцвели. Отцвели не потому, что революция скоро показала свое трагическое лицо, и не потому, что поражения немецких государей в революционных войнах (1792—1814) поражали патриотические чувства, которые, как

[1]) Э. К. Ватсон. „А. Шопэнгауэр".

мы видели, были не очень остры, а потому, что революционные войны, разбивая феодалов, которых так резко охарактеризовал Гегель, подготовляли в государственных системах Германии место для буржуазии, которое она торопилась занять. Антигосударственный идеализм и пораженчество отцвели, на их место пришли идеализация государства и патриотизм. Гегель не замедлил сделаться выразителем этих новых настроений в их самой возвышенной, самой законченной форме.

Разочарование французской революцией не было полно. Немецкая буржуазия не была еще настолько сильна, чтобы вполне и самостоятельно взять на себя разрешение проблемы власти, т. е. всей тяжести подчинения себе в своих интересах масс, она только стремилась урвать часть возможности эксплоатации масс у феодалов. Политически это выражалось в стремлении к укреплению власти монарха с одновременным усилением своего значения в ней и своего влияния на нее. Немецкой буржуазии вполне импонировал первый период французской революции, период сделок между буржуазией и королевским абсолютизмом бурбонов, и ее совершенно оттолкнул от себя якобинский период с его радикальными республиканскими требованиями. До якобинских выступлений немецкая буржуазия послушно училась у буржуазии французской отрицанию государственного полновластия феодалов и усвоила революционные теории, служившие этой цели: учение о естественном праве и общественном договоре. Эти теории служили основанием для уничтожающей критики, освященного давностью и религией, феодализма. Обе теории противопоставляли государству индивидуума. Критика и отрицание государства доходили чуть ли не до анархизма.

Так, Вильгельм Гумбольдт, в 1792 г. в сочинении, характерном уже по самому названию: „Опыт определения границ государственной деятельности“—сводил цель и деятельность государства только к поддержанию безопасности против внешних врагов и внутренних раздоров. Это была та роль „ночного сторожа“, которая сильно оскорбляла буржуазию и гегелианцев с тех пор, как буржуазия возымела надежду стать силой в государстве. Теории общественного договора и естественного права легли в основание учения о государстве Канта, который определял цели государства с точки зрения индивидуальной справедливости; а Фихте, отправляясь от Канта, только в позднейший период, в особенности под влиянием освободительных войн, внес социальные элементы в свое учение о государстве. Как только революция была взята под подозрение и революционные теории сделались лишним балластом в судне буржуазной государственности, взявшие курс на утверждение заключавшейся политической сделки все индивидуалистические, антигосударственные учения стали выбрасываться за борт. Так, за борт полетели естественное право и общественный договор. Нужно было уничтожить индивидуализм, поставить государство над личностью. Это делает органическое учение о государстве, при котором государство представляется как самостоятельно существующий организм—„мистический индивид“ „макроантропос“, человек крупных размеров, без помощи которого обыденный индивид, маленький человек, как человек, не может существовать. „Чтобы сделаться человеком и остаться таковым, человек нуждается в государстве“, учит романтик Новалис.

Апофеозом утверждения государства является учение Гегеля о нем.

Государство—самоцель стоит над индивидуумом, как высшее проявление разума, воплощение свободы и высшей нравственности. Высшим его выражением является монархия, связанная с религией, не ограниченная, а восполненная сословным представительством. В ко-

нечном счете—копия того государства, которое создалось в результате сделки между буржуазией и феодалами.

Во всей идеологической системе Гегеля, идеологическая фикция государства занимает одно из самых крупных мест, а в идеологической философии истории в особенности. В политической, государственной деятельности то или иное понимание государства играет крупнейшую роль, в значительной степени определяет и обуславливает эту деятельность.

Не даром и совершенно правильно, с своей точки зрения, буржуазная философия истории считает учение о государстве важнейшей заслугой Гегеля. Вместе со всей его, значительное время доминировавшей над европейской мыслью, идеологической философией, учение о государстве всего основательнее укрепляло буржуазию против нападков на буржуазную организацию общества вообще и государства в частности.

Феодализм и теология—неразлучные друзья средних веков. Буржуазия, нанося удары феодализму, беспощадно расправлялась с теологией в ее средне-вековых формах, но перевоплотила ее в новые формы философского идеализма—компромисса между теологией и философией. Идеализм вообще, а гегелевский в особенности, ставит над и вне истории свои абсолютные построения. Если мы имеем в идеализме так называемую „историческую школу", то не постольку, поскольку она изучает все, как преходящее явление истории, а поскольку она привлекает историю в подтверждение своих абсолютных положений. Таким образом, государство превращается, выражаясь языком К. Маркса, в „свободный от истории факт". А там где нет истории, есть религия. Идеологическое учение о государстве превратилось в учение религиозное, в религию государства, в религиозное служение государству. Научный социализм, закрывая обе страницы истории: феодализма и капитализма, должен был решительно покончить и с теологией, и с идеалистической философией. Первые шаги социализма на пути к преодолению буржуазии должны были в области мысли начаться с преодоления идеализма вообще и с самого стройного и сильного воплощения его в гегелевской философии в частности.

Вести правильной линии борьбы с феодальным миром и буржуазией, находясь под влиянием гегелевской идеи о государстве, нельзя было.

Лассаль писал Марксу, что он стал социалистом с 1843 г., но он тогда уже был государственником в идеалистическом смысле.

Девятнадцати лет Лассаль задумал написать „систему философии духа". Основанием этого философского здания должна была служить работа о Гераклите.

Если само название „система философии духа" говорит о гегелианстве Лассаля, то еще больше, для определения уклона его в гегелианстве, говорит выбор Гераклита, как об'екта для изучения и как основания для философской системы.

Гераклита „Гегель признавал своим предшественником". Государственность Лассаля здесь могла развернуться во всю. „Государство есть высшее проявление об'ективного духа, абсолютная самоцель, воплощение свободы в единстве всех, воплощение божественного". Здесь Гераклит и Гегель совпадают. Вся работа Лассаля—подтвержение Гегеля Гераклитом, воспевание гегелианства, утверждение себя в убеждении о великой миссии государства, долженствующем разрешить все вопросы нравственности, права, культуры и прогресса. Он всю жизнь оставался верен этому увлечению государством и в изданном за три года до смерти труде „Система приобретенных прав" говорит о том, что „более точное понимание „*понятия государства*" составляет тот источник, из которого берет и будет брать начало весь прогресс теку-

щего столетия". В данном случае Лассаль не ошибается. Правильное понимание того, что такое государство, должно было со второй половины XIX-го века играть крупнейшую роль и играет еще более крупную роль в XX-м веке, хотя, конечно, не является „источником, из которого прогресс берет свое начало".

К сожалению, сам Лассаль не обладал правильным пониманием того, что такое государство, его роль и значение в истории, соотношение между ним и обществом. Для гегелианства, хотя и мечтавшего о какой-то реформе всего учения о духе, правильного понимания государства и не могло быть, пока оно оставалось абсолютным, внеисторическим понятием. За три года до своей смерти, одновременно с тем, как Лассаль писал Францу Дункеру о том, что его труд „Система приобретенных прав" должен стать „несокрушимой крепостью научно-правовой системы для революции и социализма", он пишет восторженному ученику Гегеля тайному советнику Иогану Шульце по поводу этого же труда: „Es handelt sich darum, die Fahne unseres unsterblichen Meisters Hegel schlag und shlag, es handelt sich darum sie übral zum Siege zu führen".

Так, вдохновенным гегелианцем с мечтой о государстве, которое должно преобразовать все социальные отношения и уничтожить эксплоатацию буржуазией пролетариата, Лассаль и умирает.

В течение шести лет между 1840-47 г.г. К. Маркс преодолел и гегелианство, и идеалистическое построение государственности.

К 1840 г. относится докторская диссертация Маркса на тему: „Различие между натурфилософией Демокрита и Эпикура". Пусть Маркс здесь целиком идеалист-гегелианец, пусть он высмеивает легкомыслие натурфилософии Демокрита и отмечает недостаточную принципиальность Эпикура; но самый выбор темы, самое изучение материалиста Демокрита и сенсуалиста Эпикура, с философией которого гегелианство не ладило и к которому сам Гегель относится не совсем благосклонно, а затем и весь характер работы, некоторые выпады против гордого самомнения правоверных учеников Гегеля,—все говорит о будущем еретике в гегелианстве, а затем и полном разрушителе идеалистической философии. Эта работа не была специально написана для диссертации. Увлеченный философией, Маркс замышлял изобразить философию стоиков, эпикурейцев и скептиков. Здесь чувствуется начало нового в истории философии скептицизма—пролетарского. Начало нового отрицания и нового утверждения. Оно должно начаться с философии пролетарского самосознания. Греческие философские школы самосознания и скептицизма (эпикурейцы, стоики, скептики) только прообразы, к которым влечет Маркса. От индивидуализма к государственности—путь, проделанный буржуазным сознанием; от скептицизма, индивидуализма к коллективизму—путь проделанный пролетарским сознанием. С грандиозной интенсивностью, с молниеносной гениальной быстротой Маркс проделывает работу целого исторического периода. Шесть лет эволюции, и Маркс стал самим собой, стрелой в пролетарское будущее. 1847 г.—„коммунистический манифест"—венец грандиозных изживаний и переживаний, полный разрыв со всем старым, грандиозный скачек в будущеее...

В кругу младогегелианцев Маркс занимает особое место. Изучение французского просвещения XVIII-го века проливает для него особый свет на немецкую философию. Философия Канта превращается для него в „немецкую теорию французской революции". Критицизм ради критицизма у него превращается в действительную революционную теорию. Он уходит от идеалистической критики понятий к критике учреждений, установлений всех институтов буржуазного общества, как явлений. Мир понятий он заменяет миром действительности. С большой

осторожностью он в Рейнской газете в 1842 г. подходит к экономическим вопросам, чувствуя колоссальное их значение. 1843 г.—„Критика гегелевской философии права“. Вся идеалистическая философия об‘является только частичной победой над средневековьем; теперь об‘является необходимость эмансипации от этих частичных побед. Произведенная Фейербахом, Штраусом, Бруно Бауэром критика религии —только предпосылка для критики идеалистической философии. Смело низвергаются все идеалистические абстракции: „Ближайшая задача философии, находящейся на службе истории, с тех пор, как разоблачен священный образ человеческого самоотчуждения, состоит в том, чтобы разоблачить самоотчуждение в его безбожных образах“. Вот основание действительной истрической школы:—„философия на службе истории“, а не наоборот, как в идеалистической исторической школе. Государство, в частности немецкое, об‘является „самым несвободным фактом истории“. В то же время в статье „К еврейскому вопросу“ государство ставится вне религиозного и философского идеализма.

В 44-м году Маркс сходится с Энгельсом, и между ними устанавливается постоянное общение и дружба. Они делают одно из важнейших дел своей жизни в общем труде „Св. семейство“, „сводя счеты с своей философской совестью“, одновременно убивая извращение гегелианства и младогегелианства в кружке „свободных“, в виде никчемной и бессодержательной критики и бессодержательных протестов, à la романтики прошедшего периода буржуазной оппозиции, против господствующего филистерства. Тогда же Энгельс роняет замечательную эпиграмму: „Она превратилась в старуху, эта увядшая и выветрившаяся гегелевская философия, которая наряжает и приукрашивает свое высохшее до отвратительной отвлеченности тело и косится во все стороны, приискивая себе жениха по всей Германии“.

В „Святом семействе“ еще нет полного освобождения от гегелианско-фейербаховской идеологии, но уже есть все основания для экономическо-социалистических построений. Гегелевская же диалектика мастерски использовывается для изучения и построения. „Частная собственность в своем национально-экономическом движении, читаем мы здесь, все равно идет к упразднению самой себя, но лишь путем не зависящим от нее, путем бессознательного развития, происходящего против ее воли, обусловленного природой вещей,—только тем, что она создает пролетариат, как таковой, *создает нужду*, подчеркнуто мною И. Г.), сознающую свою духовную и физическую нужду, создает нечеловечность, сознающую и потому упраздняющую свою нечеловечность“. Логическая необходимость Гегеля заменяется необходимостью исторической, вместе с тем умозрительная идеалистическая необходимость—реальной, материальной нуждой, динамической силой материалистической диалектики развития истории. В этом же сочинении мы читаем: „Только политическое суеверие воображает еще в наши дни, что необходимо, чтобы гражданская жизнь сплачивалась государством; на самом деле происходит обратное: гражданское общество является оплотом для государства“.

В 1845 г. в труде „Немецкая идеология“ Маркс и Энгельс окончательно ликвидируют гегелианское наследство Фейербаха.

В 1846 г. произошла встреча Лассаля с Гейне. Во время этой встречи Лассаль явился перед Гейне апостолом философии, которая вся сводилась к гегелианству. Как раз в этом году, когда Лассаль расхваливал перед Гейне богатство философии, Маркс писал свой замечательный труд о ее нищете.

И Лассаль, и Маркс возлагали свои надежды на пролетариат, как на носителя исторического прогресса. Но для Лассаля пролетариат был прогрессивен, как „носитель чистой идеи государства—нрав-

ственного единства идивидуумов, воспитывающего человечество для свободы; для Маркса—как класс, который, упраздняя нечеловечность своего положения, упраздняет общественную и политическую нечеловечность вообще и необходимо уничтожает государство. На последнее мы имеем указание в Нищете философии, еще более об этом будет сказано в „Коммунистическом манифесте" (1847 г.) и еще более в работах, учитывающих опыт парижской коммуны (71 г.). Но выясненного уже для нас достаточно, чтобы видеть, какая непроходимая пропасть лежит между Лассалем и Марксом.

Не смотря на свое гегилианство, Лассаль сыграл чрезвычайно крупную роль в истории германского рабочего движения—и как практик, и как теоретик. Он умел очень тонко разбираться в конкретных фактах действительности своего времени. Как практического деятеля, его весьма ценил Карл Маркс. Через четыре года после смерти Лассаля, Маркс в письме к Швейцеру пишет: „После пятнадцатилетнего сна Лассаль снова пробудил в Германии рабочее движение—и это останется его бессмертной заслугой"[1]).

Начиная с революции 48 года, в которой Лассаль принимал непосредственное участие и как боевой революционер, и как публицист. работая в редактировавшейся Марксом „Новой Рейнской газете", он все время ждал революции или, как любил он выражаться, „того времени, когда прекратятся теоретические досуги". В сознании Лассаля, как и Маркса и Энгельса, война и революция переплетались, и каждый военный конфликт в Европе служил для них обстоятельством для того, чтобы ждать революционных встрясок в результате войны; также каждая революция должна была неизбежно вызвать войну. Этим об'ясняется чрезвычайное возбуждение Лассаля в связи с франко-итальянско-австрийской войной 1859 г. и появление его брошюры „Итальянская война и задача Пруссии". В эту тонкую, но крепкую, по выражению самого Лассаля, „ткань из логики и огня"[2]) должен был попасться, потерявший сознание от милитаристского угара анти-революционный зверь—для того, чтобы развязались силы революции. Но настоящая политическая деятельность Лассаля, которая дала ему мировую известность, совпадает с эпохой прусского конституционного конфликта между 1862—64 годами.

Обозревая события в Западной Европе, Чернышевский писал в феврале 62 г.: „Зловещие птицы начинают каркать похоронную песню над существующим порядком Западной Европы"[3]). И не только для современника, который живо переживал события, но и для нас, находящихся в отдалении от этого времени, видно, что Чернышевский имел все основания для указанного утверждения.

Падение Метерниха в 48 г. не может идти по своему значению в сравнении с падением системы священного союза после смерти Николая I-го, поражением, которое эта система понесла в самом ходе Крымской войны (1853-56), и краха ее с поражением русских армий. С падением Метерниха не пала его система; она, фактически, для всей Восточной Европы, воскресла уже 49 г., а Николай I для всей Европы являлся верным стражем заветов Метерниха и сознательным и добросовестным исполнителем задач, возложенных европейской реакцией на священный союз. У берегов Крыма, на бастионах Севастополя система Метерниха и священный союз почили вечным сном, и одна из форм политической реакции, реакция дворянско-феодально-легити-

---

[1]) Карл Маркс и Фридрих Энгельс—„письма изд. Моск. раб. 1823 г.".

[2]) Письмо к Марксу от средины мая 59 г. Письма Лассаля к Марксу и Энгельсу, стр. 148.

[3]) Чернышевский.—Собрание сочинений 9 том.

мистская, отошла в историю для того, чтобы уже больше никогда не появляться.

Царствование Луи-Филиппа и переворот Наполеона III-го выявили все черты буржуазно-монархической реакции. Но и на горизонте Наполеона III-го появились те „черные точки“, которые должны были вырости в грандиозное поражение 70-го года. Американское междуусобие (1861-65 г. г.), освобождение негров (1862 г.), национальное движение в Италии и Греции, реформы в России,—все говорило об окончательном утверждении буржуазных принципов во всех формах и видах политических движений во всей Европе, даже больше во всем мире,—если учесть колониальные войны того времени. Германия не могла оставаться вне этого движения. В Пруссии и в частности в ее наиболее промышленных прирейнских областях это движение должно было выясниться всего резче, и действительно в воздухе запахло крупными событиями. Усилившаяся с вступлением на прусский престол Вильгельма I-го феодально-легитимистская реакция, не смотря на ожидавшуюся эру либерализма, ускоряла события. И пока в конституционном конфликте не была найдена форма об‘единения либеральной буржуазии и реакционного юнкерства, революция не только по своему внутреннему содержанию, но и по своей внешней форме бурных и кровавых столкновений грозила разразиться в Пруссии, а вслед за тем и во всей остальной Германии. В разгар конституционного конфликта, Вильгельм I, вспоминая судьбу Людовика XVI, оплакивал свою и Бисмарка головы: „я отлично заранее знаю, чем все это кончится. Там, у оперной площади, под моими окнами Вам отрубят голову, а некоторое время спустя и мне“,—говорил он Бисмарку. Бисмарк отвечал согласием: „лучше погибнуть вместе с королем, чем покинуть его в борьбе с парламентским господством“, и предпочитая для короля воинственный и величественный конец Карла I-го малодушной смерти Людовика XVI, мечтал про себя сыграть роль Монка в истории династии Гогенцоллернов, все же вспоминая судьбу Страффорда, министра Карла I-го.

Все и вся декламировало на революционные темы: о конституции, о силе, о праве. Тон этим речам задавали Бисмарк и Лассаль. В ответ на выступление Бисмарка в палате с заявлениями о том, что „там, где есть конфликт и нет компромисса, там вступает в свои права сила“, и на угрозы „крови и железа“ Лассаль отвечает гениальными, меткими революционными вызовами—речами, противопоставляя силе-силу, крови кровь, армии короля—армию гражданскую, еще больше армию рабочего класса. Кровавым событиям как будто кладется начало Оскаром Беккером, отвечающим покушением на короля (14 июля 61 г.) на покушение короля на королевской же властью октроированную, куцую прусскую конституцию.

Поскольку для всех было ясно, что решался вопрос, имеющий самое непосредственное отношение к либеральной буржуазии, и поскольку ее действия могли оказывать сильнейшее влияние на ход и исход конфликта, обе крайние партии, правая и левая, более решительные по отношению к революции, действовали на нее страхом революции,—правая для того, чтобы парализовать ее движения, а левая для того, чтобы принудить к более решительным действиям. Революция есть движение народных масс, и Бисмарк угрожал либералам, что если его доведут до крайности, то он „приведет в движение Ахерон“, (обратится к народным массам против буржуазии). Лассаль утверждал, что Ахерон придет в движение, если буржуазия бубет топтаться на месте, а не идти решительно вперед. Бисмарк с самого начала заметил в буржуазии то, что он удачно выразил фразой: „Больше, чем она ненавидит меня, она боится революции“.

Лассаль в этом скоро убедился и об'явил, что революционный путь рабочих лежит против и мимо прусской буржуазии и прусского либерализма, и на этот *революционный* путь указал рабочим. Но таинственный Ахерон, которого одни так боялись, которым другие пугали, имея свои законы движения, не вздымал своих волн, несмотря на то, что, по достовернейшему свидетельству А. Бебеля, в период конституционного конфликта „суб'ективно все вожди политики чувствовали, видели, переживали революцию" (Мемуары, 1-ый том). В конфликте был возможен компромисс—воплощением его был либерализм, и пока Ахерон не поглотил в своих волнах либерализма, этот компромисс мог, должен был найти и нашел свое историческое осуществление.

„Буржуазия, с возникновением крупной промышленности и мирового рынка, завоевывает себе в современном представительном государстве исключительное политическое господство. Современная государственная власть есть не более, как администрация, заведующая общими делами класса буржуазии".

Когда Маркс писал приведенные положения в Коммунистическом Манифесте в 1847 г., накануне предсказанной им революции, он в описательной форме изображал для немецкого пролетариата идеалы грядущего немецкой буржуазии.

Еще в 1850 г. Ф. Энгельс в своем труде „Крестьянская война в Германии", сравнивая революцию 1525 г. с революцией 1848 г., не отказывается от мысли, что германская буржуазия тем или иным путем должна идти и идет к захвату, к подчинению себе государственной власти и видит за спинами „извлекших выгоды из революции 48 г. наиболее крупных князей, монархов Австрии и Пруссии, крупную буржуазию, которая подчиняет их себе с помощью государственных долгов". И только в написанном в 1874 г. предисловии к этой работе Энгельс признает, что уже в 1848 г. „политической власти буржуазии наступил конец". Июньские баррикады 48 г. испугали германскую буржуазию не менее, чем французскую. Если принять к тому же во внимание, что германская буржуазия была значительно слабей французской, а юнкерство представляло собою очень большую силу, то понятно, что германская буржуазия не могла решиться на самостоятельный захват власти. Прусская буржуазия бросилась в об'ятия феодалов и из этих об'ятий не могла вырваться во всю свою историю. Об'единение Германии было в интересах буржуазии, но она бессильна была осуществить его, предоставив сделать это юнкерству его методами и соответственно его понятиям, отдавая ему вольно и невольно свои экономические и культурные силы. Экономические силы способствовали об'единению Германии и указывали ему путь. С тех пор, как центр тяжести мировой торговли перенесся с Средиземного моря на Атлантический океан и Балтийское море приобрело доминирующее значение, гегемония от Австрии должна была перейти к Пруссии, а последняя расти и развиваться в ущерб первой. Взоры всей германской буржуазии были обращены на берега Балтийского моря и тот был их друг, кто владел этими берегами. Не только прусская, но вся германская буржуазия, за исключением австрийской, которая жила эксплоатацией подчиненных народностей, льнула к прусскому юнкерству. Об'единение Германии вокруг Пруссии диктовалось общим ходом экономического развития Европы. Прусская корона брала в руки то, что история сама ей давала, а буржуазия, получив об'единенную Германию из рук юнкерства, признала и усилила значение юнкерства в дальнейшем.

Поводом для возникновения конституционного конфликта между буржуазией и престолом явился проект военной реформы, внесенный

правительством в прусскую палату. Здесь впервые, казалось, начало осуществляться вышеприведенное предположение, высказанное Ф. Энгельсом. Действительно казалось, что крупная буржуазия начнет подчинять себе прусскую монархию, пользуясь силой денег, с помощью государственных долгов. Конфликт принимал характер спора по вопросам распоряжения и использования правительством сумм государственного бюджета. Лондонский Times следующим образом изображал конфликт при его возникновении: „В Пруссии, как и во Франции, министры, особенно военный министр, переносили суммы, вотированные Палатой, с одного предмета на другой, пока не расходовалось в общем итоге больше вотированной цифры. Пруссаки не претендовали на то, что деньги, вотированные на покупку штуцеров, обращались на покупку лошадей. Но в последнее время Палата стала недовольна этим. Один из департаментов предложил, чтобы каждая сумма расходовалась только на тот предмет, на который вотирована. Министры об'явили, что выйдут в отставку, если предложение будет принято, но оно было принято 175 голосами против 130. Результатом было распущение Палаты, и теперь скоро должны быть новые выборы, на которых будет господствовать вопрос о конституционных правах депутатов. Не приняв отставки министерства, не сделав уступок палате, король поступил не расчетливо. Король прусский вошел бы на имперский престол, если бы только об'явил, что на самом деле хочет быть конституционным государем". (Чернышевский, 9 том, стр. 236).

Почему же это вдруг буржуазия стала недовольна старым порядком использования кредита? Из заключения, делаемого корреспондентом газеты, видно, что он совершенно не понимал сущности конфликта. Король понимал свои интересы гораздо лучше своего английского советчика и совсем не из-за буквы конституции проявлял столько упорства. Чернышевский ближе подходит к существу вопроса, когда пишет в своем политическом обзоре за апрель месяц 62 г., что „в конституционном конфликте буржуазия легче всего сдалась в вопросе расходов на армию. Девять миллионов таллеров для содержания армии на военном положении было отпущено, но на предложенный проект реорганизации армии она не могла согласиться и обусловила отпуск денег именно тем, что реорганизация армии будет отложена. Во все время обсуждения вопроса в Палате шел спор не о суммах, а о самой реформе—здесь был гвоздь вопроса. А взорвало буржуазию то, что правительство ее обошло, надуло самым бессовестным образом, использовало деньги, отпущенные с условием не производить реформы именно на реформу, на новую организацию армии". (Чернышевский, том 9, стр. 236). Спор о перемещении статей в бюджете прикрывал спор о перемещении, произведенном в конституции Пруссии.

Во всей истории Западной Европы абсолютизм, стремившийся к государственной централизации, противоставлял себя феодализму, никогда не разрывая окончательно своих связей с ним, хотя и подчиняя его себе. Во Франции очень рано феодализм был преодолен абсолютизмом, и феодалы, переродившиеся в придворных дворян, поддерживали престол, как сила, заинтересованная в его существовании, но подчиненная ему. В Пруссии абсолютизм никогда не имел такого преобладания над феодализмом и попытки преодоления феодализма абсолютизмом неизменно терпели крах. Феодализм во всю историю Пруссии довлел над абсолютизмом. Сила феодолизма выражалась в его военной организации, доминировавшей над всей политической жизнью Пруссии. Эта военная организация ограничивала абсолютизм даже в периоды его наивысшего расцвета. „Деспотизм Фридриха II-го чувствовал себя в железных тисках, *выросшего на феодальной почве милитаризма*", говорит Франц Меринг (легенда о Лессинге). И во

всей дальнейшей истории Пруссии армия находилась в руках юнкеров. Львиная доля того, что давали налоги, поступало в карманы юнкеров. Этот юнкерский характер армии не изменился и после введения недостаточно полной всеобщей воинской повинности (1814 г.), о которой Энгельс в связи с конституционным конфликтом писал в 1865 г. в брошюре о „прусском военном вопросе", что „это единственное демократическое учреждение, которое в Пруссии существует, хотя бы на бумаге". По существу в этом демократическом учреждении классовое господство юнкеров сохранилось в полной мере. При Фридрихе I-ом (1688-1701) из четырех миллионов государственного дохода два с половиною миллиона тратились на армию. При Фридрихе-Вильгельме I-ом (1713--1740) из семи миллионов государственного дохода шесть тратились на армию (Ф. Меринг.—Легенда о Лессинге). Перед революцией 48 г. из государственного бюджета в пятьдесят один миллион, двадцать два миллиона тратились на армию (В. Блос.—История германской революции 48 г.) „В Пруссии последовательно, со времени великого Курфюрста (1640-88) до смерти Фридриха Великого (1786), каждое увеличение государственных доходов шло на увеличение армии, и государственные доходы увеличивались только для того, чтобы увеличить армию (Tweste. Прусское чиновничное государство; цитировано по Мерингу). „В виде исключения встречаются периоды, когда государственная власть на время получает известную самостоятельность по отношению к классам, как кажущаяся посредница между ними. Такова абсолютная монархия XVII и XVIII веков", говорит Ф. Энгельс (цит. Н. Ленин—„Государство и Революция"). Прусский абсолютизм никогда не составлял такого исключения и никогда не был самостоятелен по отношению к юнкерству, за исключением, может быть, периода в несколько дней в первые дни мартовской революции. Этим об'ясняется то, что всякие противоправительственные выступления в Пруссии переходили или начинались с выступления против армии. В мартовские дни 48 г. население Берлина требовало вывода войск, и требование это превратилось в самостоятельное революционное требование после сделанных королем уступок революции, когда между революцией и королем уже устанавливалось перемирие. Войскам противоставлялась гражданская милиция—не только, как сила для защиты революции от армии, а как организация, которая должна была сменить юнкерскую армию у престола. „Долой войска, убрать солдат. Король должен стать под защиту граждан", так провозглашала революция. Войска действовали в мартовские дни, как самостоятельная часть старой юнкерско-абсолютистской системы, когда король целым рядом своих действий из этой системы вышел. Стрельба около дворца, вызвавшая постройку баррикад, была таким самостоятельным действием армии. Когда король распорядился вывести войска из города и передать охрану города и дворца гражданской милиции, это было убийством юнкерского абсолютизма. Юнкера против воли короля пытались создать свое правительство для самостоятельного действия против народа и подчинения себе короля (признание Леопольда фон-Герлаха. Блос Германская революция 48 г., стр. 225). Разрыв между королем и армией—гибель юнкерства. Принц Вильгельм, в дальнейшем прусский король Вильгельм I-ый, и Бисмарк так всю жизнь и понимали этот факт. Но для них гибель юнкерского абсолютизма представлялась гибелью абсолютизма вообще. Когда в Потсдамском дворце король сказал перед офицерами гвардейского корпуса: „Я никогда не был более свободен и в большей безопасности, как под защитой моих граждан, поднялся ропот и зазвенели сабли", рассказывает Бисмарк в своих мемуарах. Бисмарк не только не мог во всю свою жизнь забыть ударов, нанесенных Фридрихом-Вильгельмом V-ым прусскому юн-

керству в мартовские дни, но через много лет после этих событий ему рисовалась весьма заманчивая картина того, как возможно было бы использовать разрушительные силы революции в интересах поглощения прусским юнкерством всех немецких земель. Революция разрушила все троны Германии, включая и трон австрийский. Прусский абсолютизм, победивший в мартовской революции, мог своими военными силами, при поддержке или пассивном отношении других монархов Европы, захватить Германию, и то, что достигнуто было в результате многих лет усиленной борьбы и войн, было бы достигнуто в результате победы над революцией". Я думаю, говорит Бисмарк, чтс энергически и разумно воспользовавшись победой, единственной победой, которая в то время была одержана в Европе правительством над мятежниками, можно было-бы достигнуть **германского единства**. Если бы король окончательно подавил восстание в марте и не дал ему вспыхнуть снова, то мы не встретили бы со стороны императора Николая никаких затруднений в деле образования нового прочного устройства Германии после разгрома Австрии".

Ошибку Фридриха-Вильгельма IV-го должен был исправить Вильгельм I-й, и действовать нужно было начать с самого важного пункта,—с исправления недостатков прусской военной организации. Эти недостатки проявились в революции 48 года, после нее и в мобилизации 59 г., а вместе с тем, с ростом населения Пруссии относительное значение армии начало падать. Нужно было армию вообще увеличить, нужно было увеличить ее постоянную, кадровую часть и увеличить более дисциплинированную часть—действительную армию за счет народного ополчения (ландвера), для чего нужно было удлинить срок действительной службы. „В годы революции, говорит А. Бебель (мемуары), ополчение (ландвер) иногда отказывалось повиноваться. Оно слишком сильно чувствовало свою близость к народу, и им нельзя было пользоваться, как простым орудием для реакционных проделок, да и для войны, которая была не популярной, его тоже употреблять было не легко. Именно это побуждало принца регента при новой военной организации оттеснить по возможности ландвер на задний план". К этому и должна была вести реформа, предложенная правительством прусскому Ландтагу в 1862 г., которая в частности должна была отнять у страны сентябрьский закон 1814 г., в силу которого ландвер не причислялся к армии.

Как ни разны были взгляды на надвигавшуюся революцию 60-ых годов „вождей политики", все они сходились на том, что она есть продолжение революции 48 г. Не только в памяти, но и в действительности были живы принципы, лица и учреждения революции 48 г. Здесь действительно была не преемственность, а прямое продолжение. Например, „по мнению Росмеслера (деятеля 60-х годов), говорит Август Бебель, парламент 1849 г. сохранил еще все свои права, и потому созвать новый парламент имел право только Леве-Кальбе, который был последним председателем того парламента".

Можно себе представить, в какую революционную даль уносили Лассаля его революционный темперамент и фантазия. В конце концов и для него кончилось мертвое время реакции, пришла долгожданная революция. Прошедшая революция 48-го года и назревавшая сливались в одну непрерывную линию, и он начал в 62-м году с того, чем кончил в 48-м году—с утверждения права на революцию, с оправдания и утверждения революции вооруженной рукой, с определения значения армии в истории и строе прусского государства и с утверждения значения гражданской милиции в борьбе с прусским государством. Призывом к оружию, в противовес пассивному сопротивлению, об'явленному буржуазно-национальным собранием 48-го года,

кончил Лассаль в 48-м году, призывом к оружию он начинал революцию в 62-м году.

Речь о „сущности конституции“, с которой он начал свою непосредственную политическо-революционную агитацию есть ни что иное, как пересказ „речи перед судом присяжных“, написанной им в 49-м году, в связи с привлечением его к суду за призыв к вооруженному восстанию в ноябре 48-го года. Он начинает новую революцию с учета опыта революции прошедшей. Над статьей „о сущности конституции“, можно поставить эпиграфом место из „речи перед судом присяжных“: „на веки вечные отметит история с ноября 1848 г. начало настоящей немецкой революции, и будут дивиться, дивиться неизгладимой памяти народа“. Но в 49-м году Лассаль говорил более ясно, определенно и решительно, чем в 62-м году. Высказав тогда основную мысль о „сущности конституции“ словами: „в жизни народов почва права—это плохая точка зрения, ибо закон есть лишь выражение и писаная воля общества, но никогда не играет здесь роль творца“, он констатирует тот факт, что „со времени ноябрьского разгона национального собрания в прусском государственном союзе нет уже ничего нравственного. Штыки—вот что служит здесь единственным связующим цементом“. А дальше он развивает мысль о том, что организованной военной силе короля нужно противоставить вооруженную силу гражданской милиции. Для того, кто прочитает защитительную речь 49-го года, в статье „О сущности конституции“ 62-го года по существу не будет ничего нового. Несколько больше обобщения; по внешней форме больше научности, нарочитой, в предвидении грядущей защиты в случае привлечения к ответственности, и некоторое привлечение соображений хозяйственного порядка к об‘яснению явлений права. По существу же и в 49-м, и в 62-м году Лассаль рассматривает государство, как организацию, которая по своей нравственной сущности должна выражать волю подавляющего количество членов общества. Классового содержания революции 48-го года и ноябрьского контр-революционного переворота 49-го года Лассаль не дает. Не дает его, несомненно, сознательно, т. к. перед ним лежал прекрасный образец классового анализа в речи Карла Маркса перед судом присяжных в Кельне, произнесенной 9-го февраля 49-го года—за пару месяцев до суда над Лассалем. С поразительной ясностью выражается Маркс: „Борьба между двумя государственными властями (по Лассалю, „конституция“ И. Г.) не укладывается в рамки ни гражданского права, ни уголовного права“. „Общество основывается не на законе. Это—фантазия юристов. Напротив, закон должен основываться на обществе; он, в противовес произволу отдельного индивидуума, должен быть выражением его общих интересов и потребностей, проистекающих из данного способа материального производства“. С неменьшей силой, чем Лассаль, Маркс говорит о значении силы в революции: „Здесь идет борьба между двумя властями, и решить исход борьбы двух властей может только сила“. „Дело теперь уже не в праве, а в силе“. В то время, как Лассаль говорит все время о каком-то едином обществе, которое он делит на бедных и богатых, делает чисто статистический вывод, что государство—это по своей массе бедные. Маркс говорит: „Здесь был не политический конфликт двух фракций, стоящих на почве *одного и того же* общества; это *был конфликт непосредственно между двумя обществами*, социальный конфликт, принявший политическую форму; это была борьба *старого феодально-бюрократического с современным буржуазным обществом*, борьба между *обществом свободной конкуренции и обществом цехового устройства*, между обществом землевладения и обществом промышленности, между обществом веры и обществом знания“. Материалистическая и классовая точка зрения дали возможность Марксу

проникнуть в самое существо разбираемого исторического факта, и с его экономической, и с его идеологической стороны. Идеалистическое воззрение на государство с'узило кругозор Лассаля и за вопросом о гражданской милиции и армии в значительной степени скрыло остальные моменты революционного процесса. При той роли, какую армия играла в истории Пруссии, речь Лассаля, для данного момента, имела громадное значение, с чрезвычайной выпуклостью вырисовывая одну из основных тактических задач, стоявших перед революцией, выявляла действительное политическое содержание военной реформы, предпринятой Вильгельмом I, с самого начала столкновения предсказывая всю глубину и значение тех событий, которые должны развернуться из несогласия прогрессивной буржуазии на реформу, предсказывая неизбежный конституционный конфликт, которого прусские прогрессисты старались избежать. В данном случае Лассаль обнаружил глубокое понимание истории Пруссии и делал правильные выводы о значении армии в ее прошлом и будущем.

Без классовой и действительно реальной политической оценки подходил Лассаль к требованию всеобщего избирательного права, как к политическому лозунгу рабочего класса. Когда „в программе работников", он говорит, что эти права рабочим нужно требовать, „как неизбежное политическое средство борьбы, как самое основное и наиболее важное из своих требований", то это верно, как боевой организующий политический лозунг для данного момента, но не как лозунг, при посредстве которого должно построиться какое-то „идеальное государство"—государство, в котором не будет классовых противоречий.

Из переоценки Лассалем значения государства и тех задач, которые на него можно возложить, проистекли также и важнейшей части его учения, сохранившиеся целиком в современном рабочем движении. В первую очередь здесь нужно отметить то, что Лассаль с непреложной определенностью указал рабочему классу, что путь к его освобождению лежит через политическую борьбу и овладение государством. Во-вторых, то, что приписывая высокие и многообразные функции государству, как общественному коллективу, Лассаль повел ожесточеннейшую борьбу с буржуазными индивидуалистическими течениями и со всеми разновидностями германского реакционного и либерального манчестерства.

Г. Брандес правильно отмечает, что „самой плодотворной стороной деятельности Лассаля представляется то, что он противопоставил так энергично односторонним принципам манчестерцев права и обязанности государства". А Петр Струве говорит, что „в литературной борьбе с Фердинандом Лассалем немецкое манчестерство, как научное направление, совершенно было разбито. В течение продолжительного времени учение о положительной и прогрессивной роли государственного вмешательства в общественные и экономические отношения считалось отличительным признаком социализма. Либеральные экономисты по этому именно признаку и окрестили представителей буржуазной экономической и академической науки, признавшей право государства на вмешательство в экономическую жизнь, „катедер-социалистами", утверждая, что эти профессора завидуют лаврам Лассаля.

Гегелианство и идеалистическое представление о государстве затемняли для Лассаля значение классовой борьбы, и это есть самая отрицательная черта в лассалианстве наряду со всеми его положительными сторонами в истории рабочего движения. Не даром и в нашей современности все реформисты и ревизионисты в социализме, старающиеся притупить противоречия классовой борьбы, возвращаются к Лассалю, зовут назад к нему, использовывая по преимуществу—его ошибочные воззрения на государство.

В. Дружчыц.

Палажэньне Літоўска-Беларускай дзяржавы пасьля Люблінскай вуніі.

Умовы Люблінскай вуніі.

Акт Люблінскай вуніі ня прыходзіцца прызнаваць за дагавор дабравольна заключоны на асновах перагавораў роўнага з роўным. Гэта хутчэй вынік вымушанай згоды праціўніка, які здаўся на ласку пераможцы. У такім становішчы была Літоўска-беларуская дзяржава ў час заключэньня вуніі. З аднаго боку пагражала існаваньню Маскоўшчына, якая ў асобе Івана Грознага заняла ня толькі прынятую ў склад дзяржавы Лівонію, але і значную частку Беларусі, а іменна: землі Полацкую і частку Віцебскай і пагражала самаму цэнтру дзяржавы. З другога боку, карыстаючыся гэтым цяжкім надворным становішчам літоўска-беларускага гаспадарства, Польшча—юрыдычная саюзьніца і зьвязаная з ім пэрсанальнай вуніяй, аннексіравала Падлясьсе і ўсю Украіну, грунтуючыся на фікцыйных падставах [1]), што гэтыя землі з пакон вякоў належалі да Польшчы. Утварыўшы такую аннексію, польская шляхта, марыўшая аб абшарах Украіны, здаволіла свае апэтыты, і далейшая справа аб злучэньні апошняго кавалка Літоўска-Беларускай дзяржавы, самага яе сэрца—цэнтра, пашла болей нормальна. У процэсе складаньня акту вуніі прыходзіцца зьвярнуць увагу на дзьве складных часткі польскага Сойму, апроч шляхты, рабіўшых уплыў на адбываўшыяся зьявы: гэта кароль, ён-жа і вялікі князь літоўска-беларускі, і сэнат—або каронная рада. Кароль, хаця і знаходзіўся ў поўным абкружэньні польскіх паноў і шляхты, ня мог забыць сваіх дэкларацый, якія зрабіў, нядаўна, напрыклад, у навуцы гаспадарскай, да павятовых Літоўскіх соймлікаў, скліканых у часы Люблінскага сойму, дзе абяцаў „постерегати, иж бы в ровности тые панства захованы были, а одно на другое не вывышало“. [2]) Кароль быў аднэй з трох складных частак Сойму: 1) Кароль, 2) Паны-рада, або Сэнат і 3) Пасольская ізба. Ня гледзячы на ўсю яго бесталентнасьць і залежнасьць ад Сэнату і пасłоў, хоць маленькі яго ўплыў на канчатковым вырашэньні вуніі захаваўся.

Другой сілай быў Сэнат, складаўшыйся з буйных землеўласьнікаў духоўных і сьвецкіх. Іх клясавыя інтарэсы не супадалі з інтарэсамі сярэдняй і асабліва дробнай шляхты, прадстаўнікамі якой была пасольская ізба. У гэты час паны сэнатары, як прадстаўнікі фэўдальнага магнацтва, ужо выпускалі ўладу з сваіх рук; галоўная роля ў кіраўніцтве польскай дзяржавай пераходзіла да шляхты.

Поўнае злучэньне з Літоўска-Беларускай дзяржавай пагражала новым наплывам такога-ж дробнага і сярэдняга шляхэцтва, якое яшчэ болей узмацняла-б шэрагі свайго ўласнага шляхэцтва і тым болей па-

[1]) Прывілей на далучэньне Падлясься, Валыні і Кіеўшчыны. Vol. legm. II, ст. 77-87.
[2]) Любавский-Литовско-русский сойм, прилож. 77, ст. 220

вялічвала-б яго політычную сілу. Спадзявацца на атрыманьне ўрадаў у княстве пры існаваньні там сваёй моцнай клясы паноў, пры існаваўшым і замацаваным у прывілеях і статутах прынцыпе аб раздаваньні ўрадаў толькі тубыльцам, ня было рэальнай магчымасьцю. Гэтым, у значнай меры, можна растлумачыць, чаму польскія паны-сэнатары былі болей згаворчывымі і ўступчывымі пры перагаворах аб вуніі.

Гэтыя абставіны памагчымасьці і скарысталі літоўска-беларускія паны,—дзеля абароны і захаваньня самастойнасьці і незалежнасьці Літоўска-Беларускай Дзяржавы. Пад уплывам усіх гэтых сіл склаўся той акт, які палажыў аснову дзеля новых ўзаемаадносін паміж Польшчай і Літвою з Беларусьсю. Як компроміс розных імкненьняў ня толькі двух дагаварываўшыхся праціўнікаў, але і стараны наступаючай, ужо часткаю задаволенай атрыманымі значнымі кавалкамі, склаўшыміся з Падлясься і Украіны, акт вуніі не зьяўляецца цэльным і аднальковым на ўсім працягненьні па правядзеньні сваёй асноўнай ідэі.

Галоўная яго думка адбілася у 3 § прывілея: „што ўжо Карона Польская і вялікае княства Літоўскае ёсьць адно-непадзельнае і адзінае цела, а так-жа ня розныя дзяржавы, а адна спольная Рэч Паспалітая, каторая з дзьвух дзяржаў і народаў злучылася і зьлілася у адзін народ“ [1]).

У выкананьне гэтага над абоімі народамі будзе панаваць адзін кароль абіраемы спольнымі галасамі Польшчы і Літвы, пры гэтым адсутнасьць аднэй часткі ня будзе перашкодай.

Асобнае абіраньне і вазьвядзеньне на трон адмяняецца, але цітул вялікага княства Літоўскага і ўрады захоўваюцца, і пры выбарах і коронацыі адразу гаспадар абвяшчаецца каралём Польскім, вялікім князем Літоўскім, Рускім, Прускім, Жмудзкім, Кіеўскім, Валынскім, Падляскім, Інфляндскім.

На коронацыі абраны гаспадар пацьвержае прысягай на адным лісьце і аднолькавымі словамі правы і вольнасьці ўсіх падданых абоіх злучаных народаў і Дзяржаў.

Соймы і Рады абоіх народаў заўжды будуць супольныя каронныя і паны радныя будуць засядаць сярод польскіх сэнатараў, а паслы—сярод паслоў і даваць нараду аб супольных патрэбах.

Асобных Соймаў і Станаў выключна польскіх або літоўскіх кароль складаць ня будзе, а толькі спольныя з абоіх народаў.

Дагаворы і згода з другімі народамі вядуцца з парады абоіх народаў.

Монэта павінна быць аднолькавай па форме, весу і надпісу.

Падаткі і мыта з тавараў, вырабляемых ў маёнтках шляхэцкага стану, скідаюцца, як у Польшчы, так і ў Літве.

Усялякія статуты ў уставы, існуючыя ў Літоўска-Беларускай дзяржаве і пакірованыя супроціў народу польскага ў Літве, адносна набываньня і дзяржаньня маёнткаў у Літве, якім бы спосабам паляк яго ні дастаў-па жонцы, выслугай, купляй, дарэньнем, заменай і ўсімі другімі спосабамі паводле грамадзянскага звычаю і права, ня маюць моцы, як супярэчныя праву, справядлівасьці і ўзаемнай брацкай любві, і акту вуніі аб аб'яднаньні двух народаў.

Але вольна заўсёды (кожнаму) паляку ў Літве і ліцьвіну ў Польшчы набываць і трымаць маёнткі адпаведна права той зямлі, у якой ляжыць маёнтак.

Застаюцца ненарушымым і Вялікаму Княству Літоўскаму яго цітул, дастойнасьці, усе ўрады і станавая значымасьць.

Экзэкуцыя адносна вялікіх княскіх маёнткаў паводле статуту караля Аляксандра і ўсякіх другіх прывілеяў і констытуцый ня будзе

[1]) Volumina legum, II t. ст. 89.

пашырана на станы і асобы вялікага княства і іх наступнікаў, ня гледзячы каму і ў які час гэтыя маёнткі разданы. Сэнатары, паслы і ўсе станы гэтай пастановай выключаюць сябе і сваіх наступнікаў права, якім-бы та ня была чынам падымаць і выражаць пытаньні аб экзэкуцыі адносна набытых да гэтага часу маёнткаў.

Усе правы і прывілеі, якія даны ранейшымі каралямі і самым Жыгімонтам Аўгустам да цяперашняга часу ўсім народам вялікага княства—Літоўскаму, Беларускаму, Жмудзыкаму і другім народам і жыхаром гэтага княства, а таксама землям, паветам, радам і асобам павінны быць захаванымі і ні ў чым не парушанымі. [1])

Прывілей на вунію Літоўска-Беларускай дзяржавы з Польшчай выразна адбіўшы галоўныя імкненьні польскай шляхты, з аднаго боку выявіўшыйся ў параграфе аб праве набываньня маёнткаў у Літве польскаю шляхтаю, з другога боку, многа месца ўдзяліў і для выяўленьня клясавага характару незалежных імкненьняў літоўска-беларускіх паноў, які баяліся з утварэньнем вуніі страціць свае маёнткі. Яны абаранілі ад экзэкуцыі свае маёнткі і забясьпечылі за сабой уладаньне імі ў будучыне. З гэтага погляду прывілей зьяўляецца надзвычайна характэрнай крыніцай дзеля высьвятленьня тых прычын, чаму так польскае шляхэцтва дабівалася вуніі і чаму так упарта баранілі сваю незалежнасьць літоўска-беларускія паны. Прывілей, як компроміс тых і другіх імкненьняў, выразна адбіў гэта ў сваім зьмесьце.

Трэба адзначыць і надворны бок прывілея—ён выдадзен на імя пралатаў і паноў рады каронай і паслоў земскіх каронных. Прывілей паіменна пералічвае сэнатараў і паслоў, і ўводзіць ў свой сьпіс і тых радных паноў і паслоў, якія ўвашлі ў каронны Сойм з аннексіраваных зямель Літоўска-Беларускага княства—Падляськя і Украіны. Удносна паноў радных і паслоў земскіх прывілей толькі спачатку ўпамнае аб іх прысутнасьці на спольным Люблінскім Сойме і згодзе на піамянёную вуніі, але зусім не пералічае іх паіменна. Гэта тлумачыцца тым, што літоўска-беларускія паны,—радныя паслы і ўсе станыпавінны былі з свайго боку даць падобны-жа прывілей.

Аднак, такога акту мы ня ведаем.

Дапаўняючымі актамі да прывілею зьяўляюцца: 1) акт аб пацьвярджэньні вуніі паміж народамі польскім і літоўскім на вальным Люблінскім Сойме, выданы ад іменя Жыгімонта Аўгуста, караля польскага, рускага і інш [2]).

2) парадак месц членаў Рады Каароннай, Польскай і Літоўскай, як установы ўжо адной Рэчы Паспалітай, утвораны каралём і радай каронай на Люблінскім вальным спольным сойме 1569 г. [3])

3) Констытуцыі Люблінскага кароннага сойму, аб'яднаўшага абодва народы—літоўскі і польскі ў 1569 г. [4])

У гэтых дакумэнтах падкрэсьліваецца далучэньне Падляськя, Валыні і Кіеўшчыны да Польшчы, устанаўляецца месца будучым Соймам у Польшчы; соймікі павятовыя адбываюцца звычайна ў Польшчы і ў Літве; адводзіцца месца літоўска-беларускім радным паном сярод сэнатараў польскіх і *земля Інфлянтская далучаецца спольна да Польшчы і да Літвы* пад абавязкам спольнай абароны. Апроч таго, Сойм па просьбе ўсіх станаў Вялікага Княства Літоўска-Беларускага, а выбраў дэпутатаў для паправы Статуту, „каб ужо ўва ўсіх панствах, як у адзінай Рэчы Паспалітай, аднальковыя правы былі“ а вырышаў некалькі дробных пастаноў аб падатках, адводзе пляцоў для пабудовы

---

[1]) Volumina legum, Petersburg 1859 г. t II, ст. 87-92.

[2]) Vol. legum, t. II, ст. 92-93.

[3]) Ibidem 93

[4]) Ibidem 94-102.

дамоў для земскіх судоў і аб астаўленьні паветаў Рэчыцкага і Мазырскага пры Менскім ваяводстве і іншыя дробныя пытаньні.[1])

Суджэньне аб характары злучэньня дзьвух дзяржаў на аснове даных актаў была доўга аднолькавым.

Погляды гісторыкаў склаліся пад уплывам тагочасных поглядаў польскіх шляхэцкіх колаў, якія глядзелі на дэклярацыю прывілею аб зьліяньні двух народаў у адзін, і дзьвёх дзяржаў у адну Рэч Пасполітую; погляды адбівалі жаданьні і імкненьні польскай шляхты, а не сапраўдныя факты. Ужо хроністы XVI в., як Мацей Стрыйкоўскі[2]), Марцін Бельскі[3]) і Лукаш Горніцкі[4]), хоць і ня многа ўдзяляюць увагі акту Люблінскай вуніі, аднак, гавораць аб ім, як аб канчатковым злучэньні дзьвух дзяржаў. Так Стрыйкоўскі піша: „На тым сойме грунтоўна закончылася вунія або аб'яднаньне Вялікага Княства Літоўскага з каронай Польскай. Валынь-жа, Падлясьсе і Кіеўскае ваяводства далучаліся да кароны, ня гледзячы на тое, што супроць гэтага было многа паноў з Польшчы".

Літаратура польская XVII і XVIII в. в., а ў большасьці XIX і XX ст., за ёю заходня-эўропэйская і руская разглядаюць акт Люблінскай вуніі такжа, як канчатковае злучэньне дзьвух дзяржаў у адну Рэч Паспалітую. Нават вядомы гісторык Літвы Тэодар Нарбут піша: „Я давёў апавяданьне да эпохі, з якой самастойнасьць вялікага княства перастала існаваць. Адсюль я павінен перадаць далейшае выкладаньне пісьменьнікам гісторыі польскай. Апошні незалежны манарх Літвы і астатні з мужчынскай лініі Ягелонаў памёр, і я ламаю маё пяро на яго труне"[5]). З пазьнейшых гісторыкаў, нават такія, як М. К. Любаўскі, самастойны і глыбокі дасьледчык гісторыі Літоўска-Беларускай дзяржавы, трымаецца такога-ж погляду. У сваіх „Очерках по истории Литовско-Русского государства до Люблинской унии включительно. (Москва 1910 г.)" ён піша:

„Так закончилось самостоятельное существование Литовско-русского государства, и произошло „втеление" его в корону польскую. Давнишния вожделения поляков получили, наконец, полное удовлетворение... Раздираемое внутреннею рознью в тот момент, когда требовалось наибольшее единение и напряжение сил, литовско-русское государство и кончило свое самостоятельное существование".

У. І. Пічэта трымаецца прыблізна такога ж погляду з некаторым нахілам прызнаньня аўтономіі Літоўска-Беларускай дзяржавы і пасьля вуніі. „Впрочем и новая уния не была инкорпорацией Литвы в Польшу. Правда, Литва лишилась части территории; к тому же Подлясье Волынь, Киевщина и Литовское Подолье были инкорпорированы, но урезанное Литовское княжество сохранило в некотором отношении автономию, в виде права иметь свои уряды, законы, суды. Поляки после долгих споров согласились на это, но за то добились уступки и себе: поляки и литовцы—равноправные народы, а потому оба народа могут свободно занимать должности в обеих старанах и приобретать недвижимое имущество, против чего еще недавно высказался Берестейский сейм 1566 года. Несомненно, что если на основании Люблинской унин Литва пользуется отчасти внутренней независимостью, то это дело магнатства. Демократическая же шляхта была настроена менее патриотично. Так усилиями шляхты была заключена парламентарная уния, отдавшая судьбу речи Посполитой в руки шляхетской демократии и по-

---

[1]) Ibidem 100-102.

[2]) Maciej Stryjkowski Kronika Polska-Litewska i Zmudska i Wszystkiej Rusi.

[3]) Marcin Bielski kronika.

[4]) Lukasz flornicki. Dzieje w koronie Polskiej za Żygmunda I i za Augusta... do roku 1572.

[5]) Geodor Narbut Dzieji narodu Litewskiego.

ложившая начало тем новым отношениям, которыя в конце концов, повели к полному слиянию обоих государств в одно“[1]).

Пр. М. Доўнар-Запольскі зусім туманна выяўляе свой погляд на характар вуніі. Высьветліўшы тэндэнцыі і імкненьні літоўска-беларускай шляхты, дамагаўшайся вуніі і літоўска-беларускіх паноў, абараняўшых незалежнасьць Літоўска-Беларускай дзяржавы, з аднаго боку, з другога боку—жаданьні польскай шляхты аб інкорпорацыі Літоўска-Беларускай дзяржавы у карону польскую, аб самым характары вуніі проф. М. Доўнар-Запольскі абмінае гаварыць ясна і выразна. У яго словах усё-ж такі болей адчуваецца нахіл да прызнаньня, што Літоўска-Беларуская дзяржава і пасьля захавала сваю дзяржаўнасьць: „Калі заставіць у баку страту Валыні і Украіны, то трэба сказаць, што дастойнасьць літоўскай дзяржавы была абаронена“[2]).

Навейшыя працы польскіх гісторыкаў паступова пачынаюць мяняць свой погляд. Так У. Смоленскі піша: „За літвою засталіся асобныя ўрады, нават асобныя міністры, праз што Літва ня страціла поўнасьцю характару аддзельнай дзяржавы“[3]).

Болей рашуча і абкрэсьлена высьвятляе пытаньне аб узаемаадносінах паміж Польшчай і Літоўска-Беларускай дзяржавай на аснове акту Люблінскай вуніі польскі гісторык Ст. Кутшэба. Яшчэ ў першым выданьні сваёй працы ,,Очер истории государственного и общественного строя Польшы“ (перевод с польского Ядвиги Пашкович. С-Петербург 1907 г.) С. Кутшэба піша: ,,У 1569 г., як і раней, палякі імкнуліся да поўнай інкорпорацыі Літвы, як адносна і другіх тэрыторый. Гэта, аднак, не ўдалося. Далучаны былі толькі ваяводзтвы: Падляскае, Валынскае, Брацлаўскае і Кіеўскае, ужо ў поўным сэнсэ слова, як адносна прывілегіяў, так і строю. Толькі адносна судовага права ў межах Валыні, Брацлаўля і Кіева захаваўся ў моцы літоўскі статут, так званы другі, з 1566 г., вядомы пад назваю Валынскага. Што датычыцца другіх, пакуль яшчэ літоўскіх тэрыторый, то паміж імі і Польшчай справа скончылася вуніяй, і, значыць, няпоўнай інкорпорацыяй. Была абвешчана непадзельнасьць дзяржавы, супольнасьць гаспадара, якога павінны абіраць супольна, супольныя соймы. утварыўшыяся такім чынам, што да ўдзелу ў іх заклікалі тых, хто меў права засядаць у польскім сэнаце, г. зн. біскупаў, міністраў ваявод і каштэлянаў, а такжа прадстаўнікоў соймікаў, нядаўна перад тым утвораных у Літве па польскім абразку. Земскія ўрады і раней былі ў Літве амаль што такія-ж, як і ў Польшчы. За тое заставілі (і гэта была ўступка з боку палякоў) асобныя цэнтральныя ўрады-міністэрствы, пабудаваныя па ўзору Польшчы, і, дзякуючы гэтаму, асобную, цэнтральную адміністрацыю, асобны скарб і ўласные войска. Захавалася такжа і сваё судавае права, згуртаванае ў другім літоўскім статуце. І так Літва атрымала канчаткова ў гэтай апошняй, рашаючай вуніі, цітул роўнай дзяржавы, хаця і ў болей абмежаваных, чым раней, прасторах. *„Рэч Паспалітая з гэтых часоў зьяўляецца саюзам дзьвюх дзяржаў, зьвязаных вуніяй“*. Праводзячы гэтую думку да канца, докт. Ст. Кутшэба ў другім выданьні сваёй працы выдзеліў Карону і Літву і выкладае гісторыю іх пабудовы паасобку, называючы I том працы Карона, а другі Літва[4]).

Такім чынам навейшая польская літаратура замест старых поглядаў аб поўным зьнішчэньні самастойнасьці вялікага княства Літоў-

---

[1]) В И. Пичета—Литовско-Польския унии и отношение к ним литовско-русской шляхты. Сборник статей, пасвященных Ключевскому М. 1909 г.

[2]) М. Довнар-Запольский. Польско-литовские унии на сеймах до 1569 г. (Древности Труды славянской комиссии Московского Археологического Общества, т. II, 1897 г.)

[3]) Wladyslaw Smoleński Dsieje narodu Polskiego wydanie piąte.

[4]) Stanislaw Kutseba Historya Ustroju Polski w zarysie, tom I: Korona Lwow 1913, tom II: Litwa, Lwow 1914.

ска-Беларускага прызнае існаваньне Літоўска-Беларускай дзяржавы і пасьля вуніі і акт вуніі лічыць дагаворам, злучаўшым дзьве дзяржавы ў саюз (з сваімі ўрадамі, уласным войскам, правамі ўстановамі і межамі і пасьля Люблінскай вуніі).

Такога-ж прыблізна погляду трымаецца і проф. Леонтович, які прызнае, што аб'яднаньне, утворанае Люблінскай вуніяй, ня мела характару поўнай інкорпарацыі Літвы з Польшчай, не адмяняла па сутнасьці старой палітычнай і адміністрацыйнай самастойнасьці, якой карысталася Літоўска-Беларускае княства да Люблінскай вуніі. Як і раней, княства жыло па свайму праву, кіравалася сваёю самостойнай сыстэмай вышэйшых і ніжэйшых адміністрацыйных і судавых органаў, мела сваё аддзельнае войска і здавальняла грамадзянскія патрэбы з свайго ўласнага бюджэту[1]).

З новых рускіх дасьледчыкаў па гісторыі Літоўска-Беларускай дзяржавы проф. І. І. Лаппа яшчэ болей выразна стаў на такі-ж шлях. Свой погляд на існаваньне самастойнага вялікага княства Літоўска-Беларускага проф. І. Лаппа выявіў ужо тым, што разглядае яго асобную гісторыю пасьля Люблінскай вуніі у сваім творы: „Великое княжество Литовское за время от заключения Люблинской унии до смерти Стефана Батория (1569-1586) (Опыт исследования политического и общественного строя. Том первый С. Петербург. Типография И. Н. Скороходова 1901). Разглядаючы Люблінскую вунію проф. Лаппа прыходзіць да вываду „отдельности княжества от короны ясно сознаваемой и поляками и литовцами XVI столетия". Існуюць радам „отдельные литовские и отдельные польские дела" і цікавасьці у палякаў да ўласналітоўскіх спраў, а ў літоўцаў да польскіх ня было пасьля зацьвярджаньня акту вуніі. На сойме палякі і літоўцы маюць сваіх асобных ураднікаў. Галасы літоўскім паном радным раздае літоўскі марашалак, польскім—польскі. Пакуль існавала соймавае значэньне літоўскіх урадаў, да тых часоў у літоўскага народу ўсягды перад вачамі існавалі відзімыя і датычныя для кожнага знакі асобнасьці Літвы і Польшчы. Якы былі як-бы маякамі, якія асьвятлялі літоўскаю асобнасьць. Гэтая сьвядомасьць асобнасьці Літоўска-Беларускай дзяржавы падтрымлівалася існаваньнем доўгі час асобнай літоўскай монэты, а асабліва асобнай мовы, заста접аўшайся мовай законаў і юрыдычнага жыцьця да канца XVII веку. Захоўваючы „русский язык" (ведама-беларускі) у сваіх законах, каралеўскіх распараджэньнях і судах, Літва абараняла і сваю асобнасьць ад кароны. Разам з моваю ахранялі сьвядомасьць Літвою свае асобнасьці і яе ўнутраныя урады і парадкі, утвораныя звычаем і старыной і стаяўшыя пад абаронай літоўскага Статуту. Старыя звычайныя парадкі захоўваліся, і захаваньне старыны ў дзяржаўным і грамадзянскім укладзе было нават уведзена ў палітычны прынцып княства. Калі захаваньне палітычнай старажытнасьці было прынцыпам, абабвешчаемым літоўскім урадам у XIV і XV стагодзьдзях, то яно заставалося і ў наступныя часы незалежнага існаваньня Літоўска-Беларускага княства, як заставалася і ў эпоху, наступіўшую пасьля Люблінскай вуніі 1569 году, і Літва зрочна абараняла сваю старажытнасьць.

Люблінская вунія высьветліла эгозім палякоў да Літвы актам анэксіі Падлесься і Украіны. Самы акт пераходу гэтых зямель ад Літвы да Кароны ў 1569 г. зьнішчае магчымасьць лічыць Літву і Польшчу адзінай дзяржавай. Інакш гэта адарваньне ня мелаб ніякага сэнсу, гэта было-б простым перакладаньнем з аднэй кішэні ў другую. Самы факт адарваньня ад княства багатых зямель выклікаў сярод грамадзянства Літоўска-Беларускага княства пачуцьцё глыбокага

[1]) *Леонтович—Сеймы и сеймики в Великом Княжестве Литовском.* (Журн. М. Н. Пр. 1910, № 3, стр. 50-51).

нездавальненьня вуніяй і палякамі і недаверанье да апошніх. Недаверанье да Польшчы, неабходнасьць пазіраць за кожным крокам палякаў, чы ня хіліцца ён да парушэньня літоўскіх інтарэсаў, павінны былі зьявіцца пастаяннымі падарожнікамі літвінаў, калі яны мелі справу з палякамі. Было лі магчыма поўнае зьліяньне Літвы з Полшчай пры такіх умовах? *Дзіўная чыннасьць палякоў у адносінах да „брацкага“ народу, які яны аграбілі зусім не пабрацкі, зьнішчаў у корні магчымасьць гэтага і аднычасна прымушаў літвінаў цясьней зблізкацца паміж сабой, асьцерагаючыся паўтарэньня польскіх вівісэкцыяў і тэрыторый Літоўскага княства. „Усе, што адбывалася паміж літвінамі і палякамі ў 1569 г., утварыла атмосфэру такога незадавальненьня ліцьвінаў палякамі і такога ўзаемнага недаверанья, што зьліваньне абоіх народаў надоўга стала немагчымым. Унія, заключоная такім спосабам, які абралі палякі, утвараючы аб'яднаньне з надворнага боку, утварыла аднычасна глыбокую „розьнь“ паміж абоімі народамі, і ўсякая думка аб ёй выклікала ў адчуваньні ліцьвіноў столькі абражлівага і ўніжаючага, што аб злучэньні двух народаў у адно целае не магло быць і гутаркі.

Затым проф. І. І. Лаппа зьвяртае ўвагу на артыкул прывілея аб агульным сойме, па зьместу якога ўсе паны-рада і станы абоіх народаў павінны памагаць друг другу верна, усімі сваімі сіламі, лічучы агульнымі шчасьце і няшчасьце. Пры правядзеньні ў жыцьцё гэтага пункту прадстаўнікі абоіх народаў не маглі згаварыцца нават у пытаньнях агульнай абароны, а ў справах унутраных нежаданьне працаваць адзін дзеля другога яшчэ прыметней. Літоўцы зусім адмаўляюцца абгаварываць няцікавыя для іх польскія справы на Люблінскім сойме, а палякі ня цікавяцца справамі літоўскімі. Літоўскія канстытуцыі, якія ня былі непасрэдна цікавымі для польскіх членаў сойму, павінны былі праходзіць без агульнага іх абгаварываньня, што не магло не падтрымліваць сэпаратызму Літвы. Працівалегласьць інтарэсаў і адсутнасьць праўдзівасьці і сяброўскага пачуцьця паміж палякамі і літоўцамі, якія аб'ядналіся, з адсутнасьцю інтарэсу адзін да другога і сьпешнасьцю пры абгаварваньні, няпрынцыповых спраў, разбурвалі ў *сапраўднасьці* артыкул дагавору вуніі аб агульных народах, і рабілі яго невыпаўнімым. *Літва і Польшча засталіся аддзельнымі адзінкамі з асобнымі тэрыторыямі і асобнымі правамі і пасьля вуніі 1569 г., хаця яны і мелі супольны сойм і супольнага караля.* Заключэньне вуніі ў тым выглядзе і тымі спосабамі, як яна ўтварылася „нанесло новую рану литовцам и повело к пущему раздору“ і зусім ня зьліла канчаткова Літву і Польшчу. Літоўскае вялікае княства засталося і пасьля 1569 г. са сваімі парадкамі, асобнасьцямі і Люблінскі сойм патрабаваў толькі, каб літоўцы селі з палякамі ў супольным сойме і не падумаў аб болей глыбокай рэформе Літвы, дзякуючы якой яна зрабілася-б Польшчай. [1])

Такія вывады проф. І. І. Лаппа сталі магчымымі, дзякуючы ня толькі разгляду Люблінскай вуніі і папярэдніх перад ею фактаў, але і спэцыяльнаму вывучэньню хода гісторыі Літоўска-Беларускай дзяржавы і пасьля 1569 г. Гэта вывучэньне даведзена ім да 1586 году.

Погляды ранейшых гісторыкаў аб канчатковым зьнішчэньні самастойнасьці вялікага княства актам Люблінскай вуніі ў значнай меры залежалі ад поўнай нераспрацаванасьці нашай гісторыі пасьля 1569 г. І цяпер яшчэ гэта ў поўным сэнсе слова tadula rasa (чыстая папера). Вось чым тлумачыцца, што і польскія апошнія гісторыкі, разглядаючы болей меней об'ектыўна гістарычныя факты пасьля Любінскай вуніі, як Кутшэба і рускія, як Лаппа, прыходзяць к аднолькавым вывадам:

---

[1]) Лаппо, opus citra ст. 79-85.

Літоўска-Беларуская дзяржава ня страціла з актам Люблінскай вуніі сваёй самастойнасьці. Яна захавала ўсе адзнакі сваёй дзяржаўнасьці як тэрыторыю, урад, войэка, дзяржаўную мову і свой кодэкс права, пры супольным каралі і сойме, але самыя спольныя соймы і нарады маюць характэр перагавораў розных народаў, а не агульных нарад.

Трэці Літоўскі Статут.

Другім важным дакумантам дзеля высьвятленьня становішча Літоўска-Беларускай дзяржавы ў складзе Рэчы Паспалітай зьяўляецца III Літоўскі Статут. Ужо проф. Лаппа ставіць пытаньне і часткаю вырашае яго, што Статут 1588 г. зьяўляецца асновай дзяржаўнага права Літоўска-Беларускай дзяржавы. [1]

Гэтае права ня толькі дапаўняе прывілей і конституцыю Люблінскага сойму, але ў значай меры і корэктуе іх на карысьць Літоўска-Беларускага княства.

Статут 1588 году да сяго часу зусім мала вывучан з боку яго значэньня, як дзяржаўнага права

Ужо Люблінскі сойм 1569 г. утварыў комісыю дзеля паправы статуту і прыстасаваньня яго да польскага права. Звычайна лічаць гэта мэтаю выданьня III Статуту 1588 г. Дзеля выкананьня гэтага заданьня была складзена комісія, у якую увашлі: ад паноў рады—Віленскі біскуп Валяр'ян Пратасэвіч, Жамойцкі каштэлян Мельхіор Шэмет, ад шляхты—Мікалай Дарагастанскі, князь Лукаш Сьвірскі, Ян Стацковіч, Бэнэдзікт Юрага, князь Павез Сакалінскі, Ян Смолка, Кірдзей Крычэўскі, Селецкі і Мартын Валадкевіч, апроч таго, Віленскі войт—Аўгусьцін Ратундус і два земскіх пісара—Віленскі, Андрэй Марковіч, і Ашмянскі—Пётр Станіслававіч [2]).

На справу дэпутатам комысіі, пакуль яны будуць працаваць, паложана з усіх абыватэляў вялікага княства з кожнай валокі па аднаму грошу, з дымоў Падляскіх—па 8 пенязеў, з агароднікаў—па 4 пенязі, з баяр путных і панцырных—па аднаму грошу, з шляхты, ня маючай людзей,—па 2 грошы з дыму [3]).

Звычайны погляд, што прычынай утварэньня новага Статуту, была мэта параўнаньня праў літоўскага нардоу з правамі польскімі ня адпавядае сапраўднасьці. Другі і Літоўскі Статут быў выдадзен сьпешна і „недаправенный да канца". Ужо Берасьцейскі сойм 1566 займаўся яго паправай, а Гародзенскі сойм 1568 году склаў нават комысію дзеля направы Статуту 1566 г., у якую ўвашлі чатыры радных пана і некалькі пэўных асоб з шляхты. Трэба заўважыць і тое, што ў Комісію, абраную на Люблінскім сойме не ўвашоў ні адзін паляк, а ўся ян, складалася з прадстаўнікоў Вялікага Княства Літоўска-Беларускага Месцам для заняткаў комісіі была назначана Вільня.[4])

Ужо па пытаньні аб тым, кім быў зацьверджан Статут 1588 г., у літаратуры выказаны працівалеглыя погляды. Адны вучоныя, як Лезнтовіч, да погляду каторага далучыўся і М. К. Любаўскі, упэўнены, што Статут зацьверджан Коронацыйным соймам 1588 году. Самае зацьверджаньне Статуту ня было актам аднаго караля; яно адбылося шляхам „намовы", або шляхам разгляданьня Статуту супольна з панамі радамі і панскай ізбой. З іх „пазваленьня" (глядзі прывілей 1 лютага 1588 году) кароль, як прадстаўнік улады ў дзяржаве, зацьвердзіў статут сваім прывілеем. Сумненьняў адносна законадаўчага паха-

---

[1]) И. И. Лаппо Люблинская уния и Третий Литовский Статут Ж. М. Н. Просв. Его же. К вопросу об утверждении Литовского Статута 1588 г. 1917, № 5.

[2]) Volumina legum, t II ст. 100-101.

[3]) Ibidem Г00.

[4]) Yolum. legum II. 101, гл. працу, И. И. Лаппо Люблинская уния и Третий Ливовский Статут ст. 104.

джэньня Статуту ніколі і ніхто не заяўляў, ды іначай і не магло быць, пры тым ходзе рэдакцыйнай працы, якая вялася пры выданьні Статуту[1]).

Другі погляд выказан С. Л. Пташыцкім: „Трэці Статут быў зацьверджан не ў законадаўчым парадку, як зацьверджываліся констытуцыі (кароль, сэнат і сойм), а "единолично" каралём пасьля перагавораў яго з станамі абоіх народаў[2])

Проф. І. І. Лаппа па гэтым пытаньні выказваецца ў многіх сваіх працах і нават удзяліў яму спэцыяльны артыкул[3]). Дзеля вырашэньня гэтай спрэчнасьці проф. Лаппа ставіць тры пытаньні: 1) якія ўказаньні на соймавае зацьверджаньне трэцяга Статуту мы маем у ём самом, у дакумантах, далучаных да яго тэксту, а также ў констытуцыі каранацыйнага сойму 1588 году. 2) Мог лі быць зацьверджан трэці Статут Коронным соймам з тым зьместам гэтага кодэксу, які ён сапраўды мае і 3) як утварылася яго зацьверджаньне.[4])

Звычайнай адзнакай соймавай санкцыі зьяўляецца ўнясеньне таго ці іншага акту ў соймавую констытуцыю і адпаведнае адзначэньне спосабў зацьверджаньня маецца ў самым акце. Адносна Статуту 1588 г. у констытуцыі коронацыйнага сойму не гаворыцца ні слова. У самым Статуце і ў яго дадатковых актах таксама ня відна гэтага зацьверджаньня. У лісьце Л. Сапегі, у якім Сапега зьвяртаецца з падзякаю да караля німа ніякай адзнакі аб зацьверджаньні соймам: „Ваша королевская милость, наш Милостивый пан, имя свое велце славное межы нами рачылесь учинить, же Статут новый, а на многих месьцях от людей мудрых, а в правах беглых, з народу нашаго на то обраных, поправленый на том першом в'ступку панованья своего рачилесь нам потвердити, а иж бы вжо вси суды в том панстве вашое королевское милости, славном Великом Княжестве Литовском, так были отправованы, з ласки своей господарской рачились нам позволити, тогда я, именем все речи посполитое (разумецца Літоўскае), вашой королевской милости, своему милостивому пану, покорне за так милостивую ласку дзякую".

У прывілеі Жыгімонта Вазы таксама ня маецца ўказаньняў на тое, што Статут быў зацьвержан ухвалаю сойму. Коронацыйны сойм у прывілее упамінаецца толькі для адзначэньня месца і часу, а не як улада даючая сваю санкцыю. На сойме Статут быў „прогледан" І Жыгімонт Ваза „памовлялся" аб ім з панамі радаю і станамі абоіх народаў, но не быў зацьвержан па „зволеньню" і „згоде" станаў сойму, якія павінны былі выліцца ў ухвалу сойму і быць запісаны ў яго констытуцыі.

Па сваім зьмесьце Статут ня мог быць зацьвержан, бо ен йшоў супроць акту Люблінскай вуніі. У сваіх артыкулах ён зьмяшчае: 1) захаваньне поўнай асобнасьці ад Польшчы Вялікага княства Літоўскага, яго дзяржаўнага значэньня, недатычнасьці і цэласьці яго тэрыторыі з абавязкам для гаспадара вярнуць у склад яе тое, што з яе разабрана „і ўпрошана" другімі дзяржавамі; 2) асобную прысягу гаспадара Вялікаму Княству Літоўскаму, зьнішчаную ў 1569 годзе на Люблінскім сойме, утварыўшым адзіную агульную прысягу каралёў

---

[1]) О. И. Леонтович, Русская правда и Литовский Статут в видах настоятельной необходимости включить Литовское законодательство в круг историы русск. права (Киевск. Унив. Изв. 1865 г. № 2, 3, 4).

[2]) С. Л. Пташицкий. К вопросу об изданиях и комментариях Литовского Статута СПб. 1893 г., ст. 13.

[3]) Апроч вышэй памянёных у працы: Великое Княжество Литовское за время от заключения Люблинской унии до смерти Стефана Батория СПб. 1901 г.

[4]) И. И. Лаппо к вопросу об утверждении Литовского Статута 1588 г., ст. 9.

дзеля кароны і княства, як аднае дзяржавы; 3) незалежную і асобную ад кароннай рады дзейнасьць Рады Княства; 4) прызнаньне права на атрыманьне спадкавых зямель выключна родзічам вялікага княства.

Разглядаючы зьмест артыкулаў Статуту 1588 году і раўняючы іх з пастановамі Люблінскага сойму, можна зрабіць вывад, што Вялікае княства ня лічылася з актамі вуніі, а калі гэта так, то немагчыма было чакаць ад спольнага сойму згоды на зацьвяржэньне Статуту Вялікага Княстве Літоўскага з падобным зьместам. Даць гэту згоду значыла-бы для Польшчы формальна, шляхам соймавага законадаўства, адмовіцца ад пастаноў Люблінскага сойму 1569 году.

Як-жа быў зацьверджан Трэці Літоўскі Статут. Высьвятленьня гэтага пытаньня ў значнай меры зробіць болей ясным і зразумелым самы зьмест Статуту і яго паходжэньне з пастановамі Люблінскай вуніі.

Паправа Статуту 1566 году фактычна пачалася ужо да Люблінскай вуніі. Ужо Берасьцейскій сойм таго-ж 1566 году ў ліку сваіх спраў уводзіць і „паправу“ Статуту. Горадзенскі сойм 1568 г. для паправы выбірае комісію і ўстанаўляе спосаб яго паправы. Люблінскі сойм так-жа пастанавіў папраўу, паставіўшы новае заданьне—прыстасаваць законы вялікага княства да законаў кароны, але ў склад камісіі ня ўвёў ніводнага польскага прадстаўніка.

Пасьля Люблінскага сойму кіруючыя колы Літоўска-Беларускай дзяржавы ня толькі не выказваюць жаданьняў правесьці ў жыцьцё пастановы сойму, аб зьліяньні дзьвю дзяржаў і двух народаў у вадно цэлае, но і ўпарта й напружана вядуць змаганьне за абарону незалежнасьці. Многа раз яны падымаюць пытаньне аб звароце анексіраваных Падлесься, Валыні і Украіны, вядуць самастойную надворную політыку з Масквой, адмаўляюцца прызнаваць констытуцыю 1573 году, ухваленую Варшаўскім соймам і, наканец, адмаўляюцца прызнаваць абранага Стэфана Баторыя, і прызнаюць яго пасьля асобнай прысягі і задаваленьня другіх сваіх дамаганьняў, выстаўляюць цэлы шэраг і другіх затрабаваньняў, як падзел Ліфлянт, для замацаваньня сваёй незалежнасьці[1]).

Значную частку гэтых патрабаваньняў яны зьдзейсьнілі. У ліку гэтых дамаганьняў было й зацьверджаньне Статуту. Ужо на Варшаўскім сойме 1582 году Літоўска-Беларускае княства, патрабавала зацьверджаньня Статуту без разгляданьня яго соймам, але польская частка Сойму абараніла абявязковае яго разгляданьне.[2])

На Віленскім зьезьдзе 1584 г. кароль Стэфан Баторы даў гарантыю зацьверджаньня Статуту, аднак гэтага яму зрабіць не ўдалося. Толькі ў бескаралеўе пасьля сьмерці Стэфана Батора, калі ўладу караля браў на сябе „народ“, вялікае княства стала болей рашуча ў сваіх дамаганьнях. Як асобная дзяржава, Літоўска-Беларускае княства ня прымае ўдзелу ў супольных соймах, а вядзе з імі перагаворы праз сваіх прадстаўнікоў, утварае свае соймы. У 1587 годзе яно зьбірае ў Вільні тры зьезды: у студзені, кастрычніку й лістападу, якія ўжо маюць характар не галоўных соймікаў, а ранейшых соймаў.[3]) Зьезды вырашалі пытаньні адносна задаваленьня бягучых патрэб княства й выставілі цэлы шэраг дамаганьняў да Польшчы. Паміж Каронай і Літвой была ўстаноўлена згода, замацаваная асобным актам 4 жніўня 1587 г. Па гэтай згодзе быў вызначан шлях, якім літоўцы могуць атры-

[1]) Лаппо. Великое Княжество Литовское за время от заключения Люблинской унии до смерти Стефана Батория, ст. 85—228.

[2]) Лаппо к вопросу об утверждении III литовского Статуту ст. 29.

[3]) И. И. Лаппо. Постановление трех Виленских с'ездов 1587 г. (Сборник статей пасвященных С. Ф. Платонову, СПб. 1911 г.)

мацьзадавальненьне сваім дамаганьням: пэрсональнае рашэньне новага караля ў выпадку нязгоды паміж каронаю й княствам на будучым каранацыйным сойме. Дамаганьні павінны быць пацьверджаны дакумантальнымі довадамі. Гэта дасягненьне было магчыма дзякуючы цяжкаму становішчу Польшчы. Шляхэцтва Польшчы падзялілася пры выбарах караля на дзьве партыі, а Літоўска-Беларускае княства пагражала абвясьціць вунію разарванаю і дзейнічаць зусім незалежна.

Элекцыйны сойм 1587 г. выклікаў новае выступленьне Літоўска-Беларускага княства. Княства ня нрызнала выбараў ні Жыгімонта Вазы, ні Максімільяна і абявсьціла аб гэтым асобным унівэрсалам. Скліканы ў кастрычніку ў Вільні зьезд паноў рады і шляхты прызнаў, што выбарамі двух каралёў парушана вунія. У лістах да палякоў Літоўска-Белар. княства трэбавала захаваньня вуніі, і ў лісьце да абоіх абраных каралёў было паслана запатрабаваньне ня прымаць абраньня, бо ў выбарах вялікае княства мае вольнае і роўнае права з народам польскім.

Зьезд у лістападзе 1587 г. абраў пасольства да абоіх номінатаў, якое ў ліку ўмоў паставілаі патрабаваньне зацьверджаньня і выданьня Новага Статуту[1]). У гэты час, як Літоўска-Беларускае пасольства вяло перагаворы паміж прыхільнікамі абоіх номінатаў йшла сапраўдная вайна. У бойцы пад Бычыным 24 студзеня 1588 году прыхільнікі Максімільяна былі разьбіты, а сам ён узят у палон. Літоўска-Беларускае пасольства ўважна сачыла за ходам змаганьня і, даведаўшыся аб перамозе прыхільнікаў Жыгімонта Вазы, прызнала яго каралём, паставіўшы яму свае ўмовы. Дзеля падмацаваньня іх яно ваарyжыла свой народ—шляхту. Знаходзячыся ў такім становішчы, Жыгімонт Ваза, на нарадзе з каронными сэнатарамі, прыняў умовы княства, і 28 студзеня прынёс прысягу княству, выдаў прывілей, якім зацьвярджаўся Статут. Па славам Гейдэнштэйна, Каралеўскага сакратара, згода каронных Сэнатараў была вырвана да таго, пакуль палякі не даведаліся аб выніках Бычынскай бойкі.

Гэтыя спрэчкі аб зацьверджаньні III Статуту падняты ў XIX і XX стагодз. Усе гісторыкі, якія разглядалі гэта пытаньне, не зьвярнулі ўвагі на доеыць выразнае і яснае апавяданьне хроністага XУI веку Іоахіма Бельскага. „Літвіны“ піша ён, „тымчасам свае зьезды часта зьбіралі, абгаварваючы да якога элэкта далучыцца. Да іх яшчэ з Вісьліцы паслан быў падсудак Люблінскі Станіслаў Неглеўскі, каторы, будучы на вялікім зьезьдзе паноў Рады, прасіў іх, каб яны разам з каронными станамі далучыліся да кандытатуры каралевіча Швэцкага, і запрасіў іх на коронацыю ў Кракаў. Але там-жа былі паслы і ад прыхільнікаў другога электа—Максімільяна. Затым літвіны выправілі сваіх паслоў да Кракава. У ліку іх былі ад паноў Рады— Троцкі ваявода Ян Глебавіч; падканцлер Леу Сапега, а ад шляхты—Бенедзікт Война, Зьміцер Халецкі, Габрiэль Война і інш. Ад іх імя гаварыў Глебавіч. За тое, што караля яны не абіралі, яны выгаварылі сабе палову Ліфлянт, а так-жа прымусілі караля зацьвердзіць свой новы Статут яшчэ да прысягі (kvólowi doporgysię wtvącili, zenia ięż wtvowili), які найбольш усяго варожы супроць палякоў. Але гэта ўжо адбылося пасьля коронацыйнага сойму, і ня ведаю, як можа быць законным тым болей, што яны зацьвердзілі (ukowali) яго бяз нас, у той час, як мы самай нязначнай пастановы на сойме без іх удзелу не ухваляем[2]).

З працэсу зацьверджаньня статуту мы бачым, што статут убачыў сьвет у выніку цяжкай і досыць доўгай барацьбы за незалежнасьць Літоўска-Беларускае дзяржавы. Ужо самы ход барацьбы паказвае выразнае выступленьне вялікага княства, як самастайнай дзяржавы,

[1]) „Лаппо“ К вопросу об утверждении III Литовского сто. 38.
[2]) Ioachima Bielskiego dalszy ciąg kroniki Polskiej... warszawa 1851 г,

каторая вядзе сябе з Польшчай, як роўная з роўнай і як асобная дзяржава. Зразумела, што калі Статут зьявіўся, як вынік барацьбы і ў процэсе барацьбы, то ён павінен быў адбіць і замацаваць на сваіх старонках політычныя жаданьні Літоўска-Беларускіх кіруючых колаў і устанавіць новыя ўзаемаадносіны да кароны, бо умовы існаваньня княства ў складзе Рэчы Паспалітай на аснове пастаноў Люблінскага сойму адразу пасьля іх утварэньня, як і ў самы момант утварэньня, не задавальняюць панскае і шляхэцкае грамадзянства Літвы і Беларусі.

Па прывілею Люблінскага сойму, які вырашае будучыя узаемаадносіны дзьвех дзяржаў пастанаўляецца, што з гэтага часу карона польская і вялікае княства Літоўскае ёсьць адно непадзельнае і аднолькавае цела, а так-жа ня розная, а адна Рэч Паспалітая, каторая з дзьвех дзяржаў і народаў спаялася і зьлілася ў адзін народ.

Пасьля амаль што не 20 год па выданьні гэтага прывілея, гэтая спайка не адбылася і ўжо ў зацьверджваючым Статут прывілею Вялікае княства прызнаецца дзяржавай-панствам, якому кароль прыносіць прысягу і да актаў якога прыкладаецца ўласная дзяржаўная пячатка і, гаворачы аб абедзьвух панствах Рэчы Паспалітай, выказваецца ў множным ліку. Таксама і народы ня зьліліся ў адзін, а застаюцца два.

„Мы господарь знаючы быти повинность нашу ижь есмо тым панством на которых нас пад бог з ласки и воли своее святое задобровольным обудвух народов кароны польскаей великого князьства литовского обраньнем посадити рачыл, повиньни права вольносьти и свободы их не толко цело и не порушимо держати, але штобы на болей примножати справедливость и оборону чинити, помнечи теж и на то, яко тыя оба два славные народы польский и литовский, опустивши много иншых славных и зацных панов, которые се о паньства з великими обетницами ни одно примноженыя прав, свобод и вольностей шляхетских, але розширьньня тых паньств и прабавленьня им многих пожитков старали, до нас хуть и волю свою склонивши нас господаря за пана собе зверхнего на корону польскую и на вяликое князьство литовское взяти волели, того мы вдячни от них будучи, и хотячи им завжды прав, вольностей и свобод вшеляких, прикладом продков нашых прибавляти и примножати, на сесь час с повинности нашое господарское намовившись в том с паны радами нашими, и зо всими стана обоего народу на сойме вальном коронации нашое будучими, тот Статут права великого князьства литовского новоправленый, сим привильем нашим стверждаем и всим станам великого князьства литовского ку ужываньню на вси потомные часы выдаем, водле которого вже якось мы сами господар, так и вси иные станы, обыватели великого князьства литовского заховатися маем и под тою ж присегою нашою которую есьмо на вси права и вольности, великого князьства литовского учинили, шлюбуем и обецуем, и вжо во всих землях и поветех в рядех и судех вшеляких до великого князьства належачых вси справы судовые порядком в том Статуте новоправленным описаным отправовати почати мають, в року пришлом тисеча пятьсот осьмдзесять девятом в трех кролех святе рымском, на роках судовых земских, але на потом завжды кагды одно того потребовати будеть вольность поправаньня того, Статут вцале им заховываем. А иж бы там рыхлей всим ку ведомости и ужываньню прыйци мог, про то тот Статут новоправленный и правильями земьскими, письмом польским и руским друковати и в поветы разослати велели есьмо, яко к для лепшое певности и стверժаньня того Статуту, сесь наш прывилей на сойме коронацыи нашое, рукою нашою подписавши и печать нашу великого князьства литовского да его привести и казавши станом великого князьства литовского, дали есмо, ведь же тот Статут, новопроправленный, звязьком, и списом унии, ни в чем противен быти и ничого шкодити и у-ближати не маеть. Писан у Кракове лета божаго нарожэньня 1588 генваря 28 дня.

Сикисмундус Рекс.

Лев Сапега подканцлерий
Великого князьства литовского

Кгабриель Война Писар.[1])

Вялікае княства Літоўска-Беларускае трактуецца як дзяржава на працягу ўсяго статуту[2]) Напрод мы гаспадар обецуем і шлюбуем под тою ж присегою, которую учинили есмо всим обывателем

---

[1]) Статут Великого Князьства Литовского 1588 г. Новое издание Московского общества истории и древностей российских. Москва 1854 г.

[2]) Асабліва яскрава у паступных разд. і артык.: 1, 2, 4, 6, 7, 8,/9, 10, 14, 15, 16 17, 22, 25, 26, 29, 30, 31, 34, 35; разд. II-1, 23, і др. разд. III арт. I. 2, 3, 4, 5, 7, 8/12 13, 14, 16, 18, 29, 30, 32, 33, 36, 38, 39, 46, 48. разд. IV-арт.-1, 12, 14, 15, 29, 37, 45, 55, 56, 67, 80, 94, 95, 96, 104; разд. V-арт. 4, 7, 22, разд. VII; разд. VII і 1-2, р. XI арт. 14, 4, 57, 60, і др.

всих земль паньства нашого великого Литовского, иж всих княжатъ панов рад духовных и светских, панов хоруговных, шляхту, места всих поданных наших, и всих станов в том панстве нашем вяликом князьстве литовском, и иных всех земль, здавна ку тому паньству прыслухаючых, почоншы от вышшого стану аж до нижшого, тыми одными правы и артыкулы в том же Статуте нижей писаным, и от нас даными судити и справовати маем, так же чужоземцы заграничники великого князьства литовского, прыежджые и яким колвек обычаем прибылые люди, тым же правом мают быть сужоны, и на тых врадех, где хто выступить [1])

Гэтым артыкулам вызначаны ня толькі назвы дзяржавы-панства вялікага княства Літоўскага, але і ўсе яго адзнакі: тэрыторыя, складаючаяся з усіх зямель панства і зямель, „здаўна прыслухаючых ку тому паньству“, жыхарства, якое дзеліцца на „обывателей“, которыя складаюцца з паноў радных духоўных і сьвецкіх, паноў хоругоўных, шляхты, мяшчан і „паданых“, гэта значыць, сялян, як гаспадарскіх, так і паданых другіх станаў. Грамадзян вялікага княства Статут строга аддзеляе ад загранічнікаў і чузаземцаў, якія аднак падлегаюць і адпаведаюць за ўсе учынкі літоўска-беларускаму дзяржаўнаму праву. Дзяржава або паньства вялікае княжаства літоўскае выдзяляецца з другіх паньстваў Рэчы Паспалітай „Уставуем же выволанцы великого князьства литовского так же и чети отсужоные во всих паньствах нашых не только у великом князьстве литовском , але и во всих паньствах наших не мають быти ни через кого переховываны [2])

Абразіўшы словам гаспадарскі маестат сядзіць у турме, аселый у Вільні, а неаселы можа і ў другім месце „ведь же не инде одно ў великом князьстве.“ І таковую „справу“ тэж не инде, одно у великом князьстве литовском с паны радами, нашими судити маем [3]). Асобнасьць вялікага княства як самастойнай дзяржавы на працягу ўсяго Статуту рэзка падкрэсьліваецца. Назва паньствам Вялікага Княства ўстанаўляецца амаль што ня ў кожным артыкуле, выдзяляецца з другіх дзяржаў, падлеглых таму-ж самаму гаспадару, наша панства працівалегла чужым іншым панствам [4]). Такое падкрэсьліваньне назвы вялікага княства дзяржаваю і такая частасьць ужываньня гэтай назвы тлумачыцца бязумоўна тымі незалежніцкімі тэндэнцыямі комісіі, складаўшай Статут і ўсяго панства і шляхэцтва, асабліва першага, якім было яно ахоплена ў першыя часы пасьля Люблінскай вуніі. Добра зразумеўшы, што на спольным сойме нельга дабіцца згоды палякоў, яны выбралі другі шлях замацаваньня сваіх імкненьняў, шлях унясеньня іх у Статут і такім чынам замацаваньня сваёй дзяржаўнай незалежнасьці. З гэтай прычыны Статут зьяўляецца асноўнай констытуцыяй Літоўска-Беларускай дзяржавы пасьля Люблінскай вуніі.

Падкрэсьліваючы значэньне вялікага княства, як асобнага „панства“ Статут вызначае і склад зямель „к тому панству прыслухаючых“ [5]) і яго межы. Едучы у замежныя дзяржавы, павінен мець пропуск, „тады мають таковового за се з границ паньства нашего за тым же кглейтом нашим пропустити“ [6]) Устанаўляючы тэрмін позваў у суд, Статут падкрэсьлівае „если будем в здешнем панстве—за чотыре недели, астли заграницею того панства будем за осм недель“ [7]) Вялікі князь

---

[1]) Разд. 1 артыкул. I.
[2]) XI, 68.
[3]) 1-4.
[4]) Разд. XI, 28, глядзі ўказаныя вышей.
[5]) I, 1 I, 12.
[6]) I, 14.
[7]) Разьдз. I, 14.

абецае усім абыватэлям і абавязываецца за сябе і сваіх наступнікаў пад прысягой, якую ён учыняе усім абывателям „всих земель великого князьства литовского, так тое то славное панство вялікое князьство и вси земли ку нему здавнаи тепер належачые в славе тытулех, століцы зацности, владзы, можности, расказываньню... и теж в границах ни в чем умешивати и уймовати або понижати не маем, и а в тем еще всего того примножати хочем и будем [1]). Гаспадар велик князь дае абавязак вярнуць тыя землі, якія адайшлі да варожых дзяржаў і тыя што „ку иншему панству от того паньства нашего коли кольвек упрошоно, то за се ку власности того великого княжства привесьти, привлащити и границы направити обецуем.“ [2])

Што Літоўска-Беларускае княства мела свае межы, выразна сьведчыць факт доўгіх і частых дамаганьняў звароту анексіраваных Падлясься і Украіны, ад чаго не адмаўляецца і статут, а за тым Лівоніі, атрымаўшай назву Інфлянт. Першыя вярнуць не ўдалося; інфлянты жа былі падзелены паміж Польшчай і Літоўска-Беларускай дзяржавай. Па рашэньні Люблінскага сойму Інфлянты павінны былі належыць да абедзьвюх дзяржаў адначасна, а пастановай элекцыйнага сойму 1587 г.[3]) яны падзелены паміж Польшчай і княствам. Дзеля падзелу назначаны былі спэцыяльныя камісары, што зацьверджана рэцэсам коронацыйнага сойму 1588 г.[4]). Існаваньне меж Літоўска-Беларускай дзяржавы пасьля вуніі непадлеглае спрэчкам.

Як сымбол асобнай дзяржавы Літоўска-Беларускае княства мае свой дзяржаўны гэрб і пячатку[5]).

J *Жыхарства.* Абодвы народы па ўмовах Люблінскай вуніі зьліваюцца ў адзін народ. Як грамадзяне аднэй дзяржавы палякі ў Літве, а літоўцы ў Польшчы маюць права набываць маёнткі ўсімі законнымі спосабамі і ўсе пастановы, перашкаджаючыя гэтаму, павінны быць скасаваны[6]). З набываньнем маёнтку набывалася аселасьць і права займаць урады. Статут вырашае гэта зусім наадварот і згодна з асноўнай сваёй ідэяй аб дзяржаўнай незалежнасьці, праводзячы погляд на княства, як на самостойную дзяржаву, статут прыстасоўвае да яе і сваё разуменьне аб грамадзянстве гэтай дзяржавы. Статут вытрымана і строга адрозьнівае і падкрэсьлівае абыватэляў „родичов старожитныхъ и уроженцовъ великого княжества“, ад „чужоземцовъ заграничниковъ и суседовъ“[7]). Адпаведнасьці падлегяюць па артыкулах статуту і тыя другія, але правы іх у вялікім княстве далёка не аднолькавы. Правы і вольнасьці, даныя ўсімі ранейшымі князямі, гаспадар вялікі князь пад прысягаю забясьпечвае ўсім станам княства[8]).

Права на палучэньне „достойнасьцей духовныхъ и светъскихъ, городовъ, дворовъ, круктовъ, староствъ, державъ, врядовъ земскихъ и дворныхъ посесий або въ держанье и поживанье и вечностей жадныхъ чужоземцамъ и заграничникомъ, а ни суседом того паньства давати не маемъ, але то все мы и потомъки наши великие князи литовские давати будем повинни, только литве, руси, жомойти, родичомъ старожитнымъ и уроженцомъ великого княжества литовского, и иных земль тому великому князьству належачых“. Хто-б „з чужоземцовъ заграничниковъ и суседовъ того паньства“, адважыўся чаго-небудзь з гэтага ўпросіць „взяти“ і ўвайсьці ва ўладаньне, той траціць сваю маемасьць. Статут, аднак, дае магчымасьць за заслугі дзяржавы набыць

---

[1]) Разд. III, I.
[2]) Разьдз. III 4.
[3]) Лаппо—к вопросу об утверждении III лит. статута. ст. 32.
[4]) Uol. leg. II, 270.
[5]) Uol. leg. II, 268; Літ. ст. разд. I, 16 і IV, 12.
[6]) Uol. leg. II, ст. 89-90.
[7]) Літ. ст. разд. I, 26; III, 12; IV, 1, 4, 8 і др.
[8]) III, 1, 2, 3.

аселасьць, гэта значыць, маемасьць, аднак, пад умовай „індыгэнату“-3 даніны „Гаспадара“. або которымъ другимъ правомъ“ набыўшы нярухомую маемасьць „оселость“ павінен прынесьці прысягу перад урадам гродскім або земскім у тым павеце, дзе знаходзіцца аселасьць „ижъ маець быти вернымъ и зычливымъ тому паньству великому князьству литовскому, так яко и тубыльцы“. Набыўшы „оселость“, павінен адбываць „службу земскую“, гэта значыць, вайсковую „тому жъ паньству“. Аднак, і ў правах яны нераўны з ураджонымі тубыльцамі. „Але и таковые на достоенства всякие, вряды духовные и светъские, не маюць быти припущани, а ни от господара установлены, чого печатары и писары наши с повинности своее постерегати винъны будуць“[1].

Вольнае права набываньня маёнткаў для палякаў у літоўска-беларускай дзяржаве, набытае ўмовамі Люблінскай вуніі, 12 артыкулам, III разьдзелу статуту касуецца і суседзі палякі займаюць аднолькавае ў гэтых адносінах палажэньне з усялякімі другімі чужаземцамі і заграцічнікамі. Што пад назваю „суседи“ разумеюцца ні хто іншы, як палякі, назва досыць вытрымана праведзена на працягу ўсяго статуту, болей выразна відна з артыкулу 23, разьдзелу II: „теж уставуемъ ижи людей прибылыхъ такъ обчыхъ яко и суседнихъ заграничниковъ приймовати и вести не маем“.

Тое права, чаго так жадала польская шляхта і з-за чаго і была ўтворана, галоўным чынам, вунія, было скасована трэцім літоўскім статутам 1588 году.

Гэту ідэю аб правах родічаў і заграніічнікаў статут праводзіць строга і цэльна на ўсім сваім працягу, як і ідэю незалежнасьці. Яно і зразумела, бо правы грамадзянства былі жывым і конкрэтным зьместам ідэі незалежнасьці дзяржавы.

Устанавіўшы агульнае палажэньне аб праве набываньня аселасьці і права даручэньня ўрадавых пасад толькі „старажытнымъ родичомъ и уроженцом великого князьства“, Статут кожны раз, гаворачы аб якой-небудзь пасадзе, падкрэсьлівае, што яна можа займацца толькі імі, а не „чужоземцами, або суседями“.

Гэтман найвышшы можа быць толькі родзічам старадаўнім. „Мы господар обецуем тот вряд гетманство великое, годным и досведчоным людзем народу шляхетского, родичом стародавним тутошнего паньства нашого великого князьства литовского давати, и тое мест'це засаживати“ [2]).

Хорунжыя, павятовыя, земскія і дворныя іначай не даюцца, як толькі пасьля абраньня „родичов того паньства и оселых“ [3]).

Судзьдзя земскі, падсудак і пісар абіраюцца „з родичов того паньства великого князьства, и в том повете не ново незмышлене оселых“ [4]).

Немесьнікі ваявод і стараст судовых, або судзьдзя падстаросты і пісар назначаюцца з людзей „в праве и писма руского умезтным шляхтичов, в том же повете оселых и родичов того паньства великого князьства литовского“ [5]).

Членамі комісіі дзеля ўстанаўленьня меж і ацэнкі грунтаў могуць быць „толькі з родичов и обывателей того паньства нашого великого князьства литовского“ [6]).

Пасада вознага або гэнэрала даецца „оселому родичу великого князьства писмо руское умеючему“ [7]).

---

1) Разьдз. III, арт. 12.
2) Разьдз. II, арт. I.
3) II, 5.
4) IУ, I.
5) IУ, 37.
6) IУ, 83.
7) IУ, 104.

Подкоморы і коморнікі могуць быць толькі аселыя ў тым-жа павеце[1]).

Прокуратарамі, або „умацаванымі“ маюць права быць аселыя і неаселыя. Права выступаць па чужых справах неаселыя прокуратары маюць толькі па спэцыяльнаму даручэньню, замацаванаму перад урадам, а асобна па „умацаванаму лісту“ за родных паноў, за іх пячаткаю і ўласным подпісам, а за другіх станаў патрэбна яшчэ ўласнага подпісу і пячаткі і подпіс „староньного“ чалавека „ведь же за таковою неврядовою моцъю умацованый мает быти оселый въ томъ паньстве нашомъ великомъ князстве литовском.“ [2])

Апякунамі маюць право быць „не чужоземцы, але родичи того паньства великого князьства литовского.[3]).

Светкамі прадажы, падарунку, заставы, запісу маенткау айчызных, мацярыстых, выслужаных, купляных, усякім способом набытых, моуць быць з „особ пароду шляхэтского веры годных в великом князьстве оселых“[4]).

Сьведкі тэстамэнту также павінны быць аселымі. „Тогда перад трема шляхтичами в том паньстве нашом великом князьстве литовском оселыми людьми веры годными может тэстамэнт справити“[5]).

Такім чынам, ня толькі пасады ўрадывыя, але і права быць апякуном, сьведкай усякіх афіцыйных спраў, права правазаступніка, даручаюцца статутам толькі тубыльцам, родзічам вялікага княства. Такое падкрэсьліваньне абмяжаваньня гэтых праў, належачых выключна толькі грамадзянству Літоўска-Беларускай дзяржавы, адбівае той варожы настрой кіруючых колаў супроціў палякаў, збоку якіх пагражала небясьпека незалежнасьці.

Можа паўстаць пытаньне, што гэтае права ня выконвалася ў рэчавістасьці. Сказаць, што гэта права не нарушалася, зразумела нельга. Але постановы статуту былі апорай у тым змаганьні між Польшчай і Літоўска-Беларускай дзяржавай, якое ня скончылася Люблінскай вуніяй. Некаторыя выпадкі гэтага змаганьня вельмі цікавы і былі важны для таго часу, як прэцэдэнты і як пабеда поглядаў Літоўска-Беларускіх на узаемаадносіны паміж Польшчай і Літоўска-Беларускім княствам. Такім фактам было жаданьне Жыгімонта Вазы назначыць на пасаду Віленскага біскупа паляка Бернарда Мацееўскага.[6]).

У 1591 г. кардынал Юры Радзівіл, кіраваўшы віленскім біскупствам, быў назначан на Кракаўскую біскупскую катэдру. Ня гледзячы на протэсты польскага грамадзянства, заяўленыя ў 1891, 92 і 93 г.г. панамі і шляхтаю на сэсіях галоўнага трыбуналу, зьезьдзе і нават у сойме, Юры Радзівіл застаўся кракаўскім біскупам. Яго падтрымлівалі кароль, папа і кракаўская капітула.

Кароль Жыгімонт Ваза на вакантную пасаду Віленскага біскупа рашыў назначыць Луцкага біскупа паляка Бернарда Мацееўскага. У Віленскага біскупства ўваходзілі ваяводзтвы: Віленскае, Троцкае, Навагрудзкае, Полацкае, Віцебскае, Менскае, частка Падольскага і Падляшскага. Віленская капітула пасьля назначэньня Юрыя Радзівіла на катэдру Кракаўскага біскупа, абвесьціла катэдру Віленскага біскупства вакатнай. Назначэньне біскупа адбывалася ў той час, наступным спосабам: 1) абраньне кандыдата гаспадаром і 2) зацьверджаньне яго папай. Жаданьне караля назначыць Віленскім біскупам паляка сустрэла варожыя адносіны раней усяго паміж вышэйшыхураднікаў. Канцлер Вялікага княства Літоўскага Леў Сапега пісаў 12 лістапада 1592 г.

[1]) IX, 1 і 10.
[2]) Разд. IV, арт. 56.
[3]) VI, 3.
[4]) VII, 1.
[5]) VIII, 2.
[6]) Лаппо—Люблинская уния и третий Литовский Статут, стр. 108 і далей.

Віленскаму ваяводзе Крыштофу Радзівілу, што ваявода Смаленскі Ян Волменскі зьяўляецца прыхільнікам жаданьняў караля. Але сам Сапега глядзіць на гэту справу з прынцыповага боку: „тагды паддайцеся, піша ён, ува ўсім палякам, адмоўцеся ад літоўскай пячаткі, маршальскай ласкі, гэтманшай булавы, і няхай будуць польскія ласкі, пячатка, булава, да і агульны скарб... або загінуць, або дабіцца таго, каб літвін быў Віленскім біскупам“. [1]).

Калі на сойме 1593 г. Кракаўскае ваяводзтва падняла пытаньне аб назначэньні „Літвіна“ contra leqes patriae—супроць дзяржаўных законаў, паднялася думка аб назначэньні паляка на Віленскае біскупства. Леў Сапега ў сваім лісьце адбівае тую трывогу, якая паднялася сярод паноў і шляхэцтва з гэтай прычыны: „высунута думка аб назначэньні на Віленскае біскупства паляка, но мы ўсялякімі спосабамі будзем процівадзейнічаць; я паказаў ім усе небясьпекі, пераконваў арцыбіскупа, каб ён перашкодзіў гэтаму; ён абяцаў даць нараду каралю“. Літоўска-Беларуская шляхта, офіцыйна даведаўшаяся на сойме аб магчымым парушэньні асноўнай конституцыі Статута, пачала хвалявацца і абгаварываць гэта пытаньне на павятовых сойміках і вынесла сваю пастанову на Віленскім зьезьдзе, адбыўшымся ў жніўні 1593 году. Віленскі зьезд абвесьціў, што Віленская біскупская катэдра незаконна пустуе такі доўгі час, а яшчэ горш—стаў вядом намер караля аддаць гэта біскупства паляку, чым парушаюцца правы вольнасьці і даўнія звычаі. Зьезд даручае сваім паслом прасіць караля да ад‘езду ў Швэцыю (куды ён у той час зьбіраўся), назначыць Віленскім біскупам чалавека з „народа литовского“, згодна з правамі вялікага княства Літоўскага і прывілеямі, выданымі папярэднімі гаспадарамі. Калі-ж кароль, ня гледзячы на гэту заяву, аддасьць біскупства паляку, то вялікае княства Літоўскае ня прызнае яго, ня прыме, і не дапусьціць да ўпраўленьня Віленскім біскупствам. Зьезд даручае сваім дэпутатам не адсылаць да караля прасімага ім падатку, калі кароль не выканае жаданьняў зьезду; дэпутаты павінны запрасіць усе станы, як ім, дэпутатам, рабіць далей. Кароль аднак выехаў у Швэцыю, ня выканаўшы патрабаваньняў зьезду. Віленская капітула, трымаўшаяся тых-жа поглядаў, клапацілася аб неназначэньні на Віленскае біскупства паляка. Клопаты яе таксама ня мелі посьпеху. Між тым Бернард Мацееўскі дастаў брэве ад папы на выдачу яму з Віленскай капітулы пазыкі ў 10.000 злотых. Пасьля доўгіх спрэчак, грошы капітула павінна была выплаціць. Мала таго, папа патрабуе ад Жыгімонта Вазы, каб ён зараз-жа номінаваў у Вільню біскупа.

Між тым, у 1595 годзе павінен быў сабрацца вальны сойм. Віленскі павятовы прадсоймавы соймік патрабаваў ад абраных соймавых паслоў, каб яны, не прыступаючы да соймавых спраў, патрабавалі ад караля назначэньня „літвіна“ на Віленскае біскупства. Калі-ж Жыгімонт Ваза ня выканае просьбы, то паслы Віленскага павету павінны напамянуць радным панам рэзідэнтам аб іх абавязках і абяцаньнях, даных імі на двух папярэдніх Віленскіх зьездах, пад сваім шляхэцкім словам, што яны не дазволяць назначыць на біскупскую віленскую катэдру чужаземца, або паляка, а прымуць толькі чалавека „народа літовского“. Літоўска-беларускім панам печатарам, гэта значыць канцлеру і падканцлеру, Віленскія паслы павінны напамінаць аб гэтым-жа іх абавязку і прасіць іх, каб яны, як абаронцы праў і вольнасьцяй вялікага княства Літоўскага, ня прыкладалі дзяржаўнай пячаткі да прывілея на Віленскае біскупства. Калі паслы не даб‘юцца выкананьня гэтых пастаноў, яны павінны кінуць сойм, заявіўшы протэст і ня прымаючы ўдзелу ў соймавых справах.

---

[1]) Opus. citra ст. 117.

Яшчэ да сойму 1595 г. ад канцлера Л. Сапегі хацелі вырваць згоду на тое, каб ён прылажыў пячатку да паперы, у якой назначаўся біскупам Бернард Мацееўскі.

На сойме 1595 г. паслы Літоўска-Беларускага княства не дабіліся выкананьня сваіх пастаноў і ўнесьлі протэстацыю цераз Ашмянскага пасла Яна Чыжа. Протэстацыя ўнесена ў кнігі Літоўскай мэтрыкі і захавалася да цяперашняга часу.

Дзеля вырашэньня гэтай спрэчкі кароль утварыў спэцыяльную комісію. У комісію ўвашлі ад княства канцлер Леў Сапега, Троцкі ваявода Міколай Крыштоф Радзівіл, навагрудзкі ваявода Тодар Скумін Тышкевіч, Менскі ваявода Ян Абрамовіч, падканцлеры вялікага княства Літоўскага Гаўрыла Война і земскі падксарбі Дзімітры Халецкі; ад Польшчы—каронны канцлер Ян Замойцкі і чатыры сэнатары. Склад комісіі паказвае, наскольнкі важным лічылі гэту справу ў той час, як справу, маючую прынцыповы характар. Пры перагаворах літоўска-беларускія прадстаўнікі хоць і згодзіліся, што палякі пакрыўджаны назначэньнем літвіна Юрыя Радзівіла на Кракаўскае біскупства, аднак заявілі, што назначэньне на Віленскую катэдру паляка можа быць зроблена толькі шляхам гвалту, супроць іх волі. На нарадзе была ўнесена пропозыцыя, як компроміс з утварыўшагася становішча, даць права паляку заняць гэту пасаду, толькі гэты раз, з агаворкай, каб у будучыне ніводзін паляк ня меў права ня толькі на вышэйшыя біскупскія і сэнатарскія ўрады, але і на меней высокія. Аднак, і гэту пропозыцыю зьдзейсьніць магчыма толькі з добравольнай і аднагалоснай згоды ўсіх літоўска-беларускіх станаў. Да гэтай пропозыцыі нахіляўся Леў Сапега і Крыштоф Радзівіл. Апошні, апроч таго, прапанаваў для большай пэўнасьці замацаваць гэта палажэньне спэцыяльнай соймавай пастановай, каб у будучыне ніводзін чалавек „литовского народу“ ня мог займаць ніякіх пасад у Польшчы і ніводзін паляк—у Вялікім княстві Літоўскім пад страхам вялікай кары.

Жыгімонт пасьля нарады комісіі патрабаваў ад Льва Сапегі лістом ад 12 траўня 1595 г., каб ён, як канцлер Вялікага княства, прыклаў дзяржаўную пячатку да каралеўскай „прээзентацыі“ папе адносна Б. Мацееўскага, дзеля назначэньня яго біскупам. Кароль абаснаваў сваё патрабаваньне згодай Крыштофа Радзівіла. Леў Сапега раней, чым выканаць гэта патрабаваньне, запытаў аб гэтым самога Кр. Радзівіла, паслаўшы копію каралеўскага загаду, а пакуль што адмовіўся па тэй прычыне, што для ўзьвядзеньня паляка на Віленскую біскупскую катэдру неабходна згода станаў Вялікага Літоўска-Беларускага княства.

На сойме, скліканым у сакавіку 1596 году, станы энэргічна выступілі на абарону констытуцыі сваёй дзяржавы. Сойм закончыўся вялікімі спрэчкамі, а паслы вялікага княства ў літоўскую мэтрыку „протэстацыю“ „данесьли, ижъ будучи с поветовъ Великого Князьства Литовского до Варшавы на сойм вальный послаными, частокроть прозьбу до его королевское милости о бискупство Виленское именемъ братии своей чинили, наболей для тое причины, абы за дальшимъ затягомъ не далъ ее поводъ зменшеньня и затертыя права, вольности и свободу Великого Князьства Литовского; ижъ за такъ частыми прозьбами меншъ его королевскую милость, своего милостивого пана, зразумели быть прихилнымъ своей справе, абавляючы, абы недбалства виною у братьи, од которыхъ имъ сторожа правъ и вольностей есть поверона, не были строжовани просили, абы тое оповеданье их до книгъ канъцелярскихъ было записано. Што естъ записано и выписъ подъ печатью. Великого Князьства Литовского выдан. Писанъ у Варшаве“. [1])

---

[1]) Літоўская метрыка Судных Дзел Літоўскіх 73 л. 107-408 (узята ў Лаппа).

Кароль, аднак, не адмовіўся ад свайго намеру. Ён загадаў канцлеру Льву Сапегу ўнесьці ў інструкцыю гаспадарскім паслом на павятовыя соймікі вялікага княства перад соймам 1597 году каралеўскую просьбу а згодзе літоўска-беларускіх станаў на назначэньне паляка біскупам адзін раз. Ня гледзячы на пэрсанальную каралеўскую просьбу, Слонімскі зьезд, адбыўшыйся 28-30 студзеня 1597 году, катэгорычна адхіліў у яе. На падставе гэтай пастановы на сойме 1597 году літоўска-беларускія паслы рашуча адмовіліся задаволіць жаданьне караля і патрабавалі назначэньня на Віленскую катэдру „литвина“. Справа аб Віленскім біскупстве была частым і бурным прадметам спрэчак на сойме 1597 г. 10 лютага сойм адчыніўся, а 27 ў пасольскай ізьбе Віленскае біскупства выклікала буру спрэчак. Палякі даводзілі, што вунія аб'яднала абедзьве дзяржавы на аснове ўзаемнай дружбы, і дастойнасьці павінны раздавацца аднолькава прадстаўнікам таго і другога народаў. Літоўска-беларускія паслы пратэставалі супроць гэтага, а 4 сакавіка заявілі, што будуць дабівацца выкананьня патрабаваньняў вялікага княства цаною жыцьця. Калі 11 сакавіка складалася комісія дзеля апрацоўкі соймавых пастаноў, літоўска-беларускія паслы згодзіліся на гэта толькі пад умовай выпаўненьня іх патрабаваньняў, 13 сакавіка прасілі караля аб назначэньні літвіна на Віленскае біскупства, 14 патрабавалі захаваньня свабод і вольнасьцяй вялікага княсжства, 17 зноў паднялі пытаньне аб Віленскім біскупстве, а 18 тое-ж зрабілі ў сэнаце; 19 панавілі свае заявы, а 20 ўчынілі нараду з сваімі раднымі панамі, якім спосабам дабіцца задаваленьня сваіх патрабаваньняў аб Віленскім біскупстве. Калі Жыгімонт, даваўшы адказы ў канцы нарады сойму на просьбы станаў, нічога не адказаў на заяву літоўска-беларускіх станаў, то ад імя літоўска-беларускіх станаў, выступіў гаспадарскі сакратар Еронім Валовіч, заявіўшы, што ў выпадку назначэньня Віленскім біскупам паляка, ён ня будзе літоўска-беларускім сэнатарам, потым зьвярнуўся да канцлера і падканцлера з перакананьнем не прыкладаць да лістоў аб назначэньні паляка Віленскім біскупам пячаткі. Апроч таго літоўска-беларускія паслы падалі Льву Сапегу протэстацыю з заявай, што яны ня будуць і пачынаць ніякіх спраў, калі будзе паляк назначан Віленскім біскупам.

Сойм 1597 году ня вынес жадных пастаноў, і галоўнай прычынай гэтага былі спрэчкі аб Віленскім біскупе.

Між тым кароль номінаваў Бернарда Мацееўскага ў чэрвені 1597 г. Віленскім біскупам. Дзеля прадстаўленьня гэтае номінацыі папе патрэбна было прыкласьці пячатку Літоўска-Беларускага кня ства. Літоўска-беларускаму канцлеру быў прыслан ліст караля з „номінацыяй“ Б. Мацееўскага, якім загадвалася канцлеру прыкласьці пячатку. Сам Б. Мацееўскі явіўся да Сапегі і запытаў яго, ці прыкладуць яму пячатку да-яго номінацыі. Л. Сапега і быўшы тут-жа падканцлер Гаўрыла Война адказалі, што гэта яны могуць зрабіць па згодзе на гэта ўсіх станаў вялікага княства.

Кароль аднак і цяпер не адмовіўся ад сваёй думкі. На нарадзе з польскімі панамі рашано было да прадстаўленьня папе аб номінацыі Б. Мацееўскага прыкласьці польскую дзяржаўную пячатку, выходзячы з таго погляду, што ў Рыме ня прымецяць гэтага. Зьдзейсьненьне гэтага намера была-бы нарушэньнем ня толькі асноўнай констытуцыі, Трэйцяго Літоўскага Статуту [1]), але і ўмоў Люблінскай вуніі аб захаваньні ўрадаў вялікага княства. Сойм 1598 году зноў становіцца арэнай спрэчак аб Віленскім біскупстве. Пад уплывам розных прычын Жыгімонт Ваза не хацеў вызываць абурэньня літоўска-беларускіх станаў і ў сваім адказе на пытаньні аб Віленскім біскупстве абвесьціў, што ка-

[1]) III Літоўскі Статут III, 1 і 13.

роль вырашэньне гэтай справы адкладае да будучага сойму, а пакуль номінат ня будзе сэнатарам і ня будзе карыстацца даходамі Віленскага біскупства. У наступныя часы становішча Жыгімонта Вазы пагоршылася дзякуючы вайне за швэцкі прастол і пасьля сьмерці Кракаўскага біскупа Юрыя Радзівіла Бернарду Мацееўскаму была аддадзена Кракаўская катэдра, і на Віленскую быў назначан літвін і тубылец Бэнадзікт Война ў 1600 г.

Такім чынам літоўска-беларускі погляд на констытуцыю Вялікага княства атрымаў перамогу. Гэтая барацьба мела вялізарнае прынцыповае значэньне. Гэта добра разумелі і палякі, пад уплывам якіх у гэтым пытаньні быў кароль, і літоўска-беларускае грамадзянства. Здацца ў гэтым аддзельным выпадку значыла даць грунт канкрэтнага прэцэдэнту і дзеля будучых узаемаадносін да Польшчы. У гэтай барацьбе змагаліся два акты. Акт Люблінскай вуніі, абвяшчаўшы злучэньне двух народаў, дзьвёх дзяржаў, у адзін народ і дзяржаву, і Трэці Літоўскі Статут, утварыўшы і новую констытуцыю Літоўска-Беларускага княства і глядзеўшы на княства, як на асобную дзяржаву, зьвязаную саюзам з Польшчай, як роўную з роўнай. Грамадзянства гэтай саюзнай дзяржавы зьяўляецца „чужаземцамі", „загранічнікамі" і абмежавана у правах, як і ўсе „обчыя чужоземцы".

Гаспадар вялікі князь. Па прывілею Люблінскай вуніі на чале агульнай Рэчы Паспалітай стаіць адзін кароль, які носіць тытул караля польскага, в. Князя Літоўскага, Рускага, Жмудзкага і інш. Кароль выбіраецца палякамі і літвінамі і адначасна на Сойме ў Польшчы. На выбары павінны выклікацца станы абоіх народаў, але адсутнасьць аднаго не павінна перашкаджаць выбарам. Асобнае абіраньне Велікім Княствам і ўзвядзеньне выбранага гаспадара на прастол Літоўска-Беларускага княства адмяняецца і ў будучыне не павінна быць і падабенства такога парадку. Абраны гаспадар павінен прынесьц агульную прысягу абоім народам і на адным месцы і аднолькавымі словамі зацьвярджаць правы і вольнасьці абоіх народаў. [1]).

Гэтая пастанова праводзілася ў жыцьці ня так проста. Ужо пры абраньні Стэфана Баторага былі ў адсутнасьці паны Рады і паслы Вялікага княства. Яны протэставалі супроць выбараў караля бяз іх удзелу і грунтаваліся на тэксьці акту Люблінскай вуніі, па якімні адзін народ не павінен абгаварываць спраў бяз удзелу другога. Яны папракалі Стэфана Баторага за тое, што ён абраны аднымі палякамі, ужывае цітул вялікага князя Літоўскаго, ня гледзячы на тое, што яны яго не абіралі сваім князем, не запрашалі на трон праз сваіх паслоў і не падавалі яму ўмоў. Хаця Баторы і прынёс прысягу на ўмовы гаспадараваньня, але гэта ня мае сілы, бо супярэчыць жаданьням і воле літвінаў, як складзеныя аднымі палякамі. Літоўска-беларускія паслы прасілі, каб кароль устрымаўся ад коронацыі і пачакаў бы сойму, скліканага ў Варшаве, на якім адбудзецца новая элекцыя па згодзе абоіх народаў. Калі кароль ня зробіць згодна іх нарадзе, то яны выедуць, падаўшы прэтэстацыі аб нарушэньні іх праў і дагавору вуніі [2]).

Перад сэнатам і пасламі польскага сойму літоўска-беларускія прадстаўнікі такжа протэставалі аб нарушэньні іх праў праз коронацыю бяз іх удзелу і абвесьцілі, што яны вольны ад акту вуніі, парушанай палякамі. Дзеля ўрэгуляваньня ўзаемаадносін ад палякаў былі зазначаны паслы ў Літву ў Мсьцібогаў, дзе сабраліся на зьезд літоўска-беларускія станы. Зьезд згодзіўся прызнаць Стэфана Баторыя вялікім князем і адправіў спэцыяльнае пасольства дзеля абвэшчаньня гэтага Стэфану Баторыю з тымі ўмовамі, па якіх яны прызнаюць яго вялікім

---

[1] Volumina Legum, II, ст. 90.
[2]) И. И. Лаппо Велик. кн. Литовское т. I ст. 139.

князем. Кароль прынёс другі раз 29 чэрвеня, пасьля каранацыі, болей чым праз месяц, прысягу перад літоўска-беларускім пасольствам у прысутнасьці сэнатараў і шляхты кароны, пакрэсьліваючы ў асобным лісьце, што гэта зроблена дзеля дабра і згоды падданых яму народаў. Апроч аддзельнай прысягі кароль Стэфан Баторы на адзельным дакуманце задаволіў патрабаваньні Літоўска-Беларускага княства, чым формальна былі парушаны ўмовы Люблінскай вуніі. [1])

Прызнаньне і прысяга Жыгімонта Вазы, як мы ўжо бачым, таксама адбыліся асобна. У статуце пакрэсьлена гэта асобная прысяга гаспадара вялікаму княству: „Так жа мы господар обецуем и шлюбуем под присегою нашою, которую учынили есмо и всим станом обывателем его“. (III,1) Гэтыя факты сьведчаць аб тым, што літоўска-беларускія кіруючыя колы ня лічыліся з актам вуніі, праводзілі ў жыцьце свой погляд на князя, як гаспадара не агульнай рэчы Паспалітай, а свайго ўласнага гаспадара асобнай Літоўска-Беларускай дзяржавы.

Такі погляд на вярхоўную ўладу гаспадара Літоўска-Беларускага вялікага княства, як толькі на свайго князя, адбіўся ў статуце 1588 г., як новай констытуцыі вялікага княства.

Гэта констытуцыя, як асноўныя законы, зьяўляецца абавязкай і для гаспадара. Гаспадар „сторож посполитое вольности“, абмежаваў свае правы, то цяпер ужо не „заданьне“ і не „уподобаньне“ ляжаць у аснове ўлады гаспадара, але „певную границу панаваньня их пад нами права замерили“, тым што „рачылесь учынити Статут новый“. [2])

Гэта палажэньне аб значэньні Статуту, як законаў ня толькі для грамадзянства, але і для гаспадара, падкрэсьлена і ў самым прывілеі Жыгімонта Вазы, зацьвердзіўшым Статут: „Тот статут права великого князьства Литовского новоправленный, сим прывилеем нашом стверждаем и всим станем великого князьства Литовского к ужываныо на вси потомные часы выдаем, водле которого уже як *есмы сами господар*, так и вси иные станы заховатисе маем“. [3])

Гэта агульнае і асноўнае палажэньне гаспадара, падлягаючага Статуту, конкрэтызавана ў асобных выпадках. Гаспадар вялікі князь па сваім сане мае абшары зямель і маёнткаў; у спрэчках „той речи земляной маем мы и потомки наши великие князи литовские также одным правом яко и поданные наши великого князьства судитися“. [4])

Маючы гаспадара, які зьяўляецца ня толькі вялікім князем літоўска-беларускім, але і каралём польскім, Статут забясьпечвае цэлым шэрагам артыкулаў ад магчымых нарушэньняў збоку гаспадара, як караля польскага, праў вялікага княства. Мы ўжо бачылі гэтыя адмежаваньні, разглядаючы жыхарства. Статут выразна забараніў гаспадару раздаваньне зямель, дзяржаў, посэсій і ўрадаў „чужоземцам“ і „загранічнікам“ як агульным артыкулам, так і асобнымі.

На ўсім працягу Статуту гаспадар разглядаецца, як вялікі князь Літоўска-Беларускай дзяржавы. Цэлы шэраг артыкулаў, найчасьцей разделаў I-IV, абмежоўваюць уладу гаспадара, як вялікага княза. Разгляданьне іх не ўваходзіць у мэты гэтага артыкулу. Слаба зусім закранута вярхоўная ўлада, як гаспадара агульнай рэчы Паспалітай, маючая свае асобныя інтарэсы і абавязкі. Сутракаюцца толькі і ўпамінаньня аб тым, што гаспадар вялікага княства, адначасна зьяўляецца і гаспадаром другіх панств. Калі гаспадар будзе ў другой дзяржаве, то працяг часу дзеля яўкі ў суд гаспадарскі павялічваецца [5]). Гаспа-

---

[1]) И. И. Лаппо ibidem ст. 145-148.
[2]) Третий Литовский Статут, пасьвечаньне Л. Сапегі, ст. V-VI.
[3]) Статут, прывілей, ст. IV.
[4]) Статут, разд. I, арт. 20.
[5]) 1, 14.

дар у некаторых выпадках бярэ на сябе абавязак, як і гаспадар другіх панств: „уставуем же выволапцы великого княэьства литовского, также и чети отсужоныя во всех паньствах наших не только у великим князьстве литовском але и во всех паньствах наших не мают быти ни через кого нереховываны". [1])

Калі нават і сустракаецца назва караля польскага і вялікага князя літоўскага, то Статут разглядае пасаду гаспадара, толькі як вялікага князя „тутошнего паньства", а ня як гаспадаря рэчы Паспалітай.

„Кгды бы ся хто бунтовал покой посполитый взрушаючы против *нас господара, або ку шкоде речи посполитое... або по зейштью з се*го света нашом господарском, также и потомков наших королей польских и великих князей литоуских, хотечи хто осести и опановати тое паньство, великое князьство и господаром на нем быти таковой с права и розъсудку нашего с паны радами нашими великого князьства литовского честь, и горло тратить. [2]).

Маўчаньне Статуту аб агульнай уладзе гаспадара Рэчы Паспалітой нават ў тых выпадках, калі гаворыцца аб спсльных установах, як сойм, дзе ні слова не сказана ні аб месцы сойму, ні аб тым, што ён спольны з соймам польскім, і не сустракаецца слова Польшча, паляк, надзвычайна характэрна. Гэта сьведчыцца аб тым, што нават у гэтай, сапраўды агульным для Польшчы і Літоўска-Беларускай дзяржавы ўстанове, фактычна нічога ня было супольнага. Адна асоба, але розныя і асобныя ўлады гэтай асобы, як караля польскага і вялікага князя літоўска-беларускага. Яна кіруе па асобных для кожнай дзяржавы законах і, кіруючы, падлегае ім сама. Такім чынам, і ў гэтым кірунку вунія пацярпела паражэньне і нічога не дабілася, апроч замацаваньня таго палажэньня, фактычна існаваўшага і да 1569 году, што начале дзьвёх сфэдэрыраваных дзяржаў будзе стаяць адна асоба.

Рада. Побач з гаспадаром у Літоўска-Беларускай дзяржаве да Люблінскай вуніі стаяла Рада. Рада вырасла з Вялікакняскага савету, складаўшагася ў фэодальную эпоху з князёў і паноў, пад уладую каторых былі буйныя абшары зямлі, і тых асоб, якіх запрашаў на нараду вялікі князь. З зьнішчэньнем палітычнай улады князёў фэодалаў і ўтварэньня адзінадзяржавія вялікага літоўска-беларускага князя ў часы Вітаўта ў склад рады пачалі ўваходзіць супрацоўнікі вялікага князя, дапамагаўшыя яму ўтварыць адзінадзяржаўе. Яны такжа былі буйнымі земляўласьнікамі-панамі, князямі. Яны сталі намесьнікамі вялікага князя асобных зямель, складаўшых Літоуска-Беларускую дзяржаву, захапілі цэнтральныя ўрады, кіраваўшыя дзяржавай і ўрады дворныя, дапамагаўшыя вялікаму князю ў гаспадараваньні над яго вялізарнымі зямельнымі маемасьцямі. К канцу XV стагодзьдзя склад Рады вялікага княства выявіўся. У яе ўвашлі каталіцкія біскупы— Віленскі, Луцкі, Жамойцкі і Кіеўскі, ваяводы, ваштэляны або паны, старосты Жамойцкі і Луцкі, Маршалак Валынскай зямлі, канцлер і падканцлер, гэтман, марашалак земскі, маршалак дворны і падскарбі земскі.

Апроч дзяржаўных ураднікаў уваходілі ў склад Рады ураднікі дворныя, маршалкі, падчашыя, пакаморыя стольнікі, крапчыя, канюшыя, падстоліі, лоўчыя, кухмістры, мечнікі, хорунжыя, падскарбі дворны, пісары і сакратары[3]).

Некаторыя князі і паны, як перажытак старыны, мелі мйсца ў радзе па асабовым праву, а не па ўраду, напрыклад: князі—Мсьціслаўскі, Заслаўскі, Сангушкавіч, Чартарыйскі, Слуцкі і паны—Глебавічы Храбтовічы, Пацы і др.

---

[1]) XI, 68.

[2]) і разд. I, 3.

[3]) I. Малиновский. Рада Великого княжества литовского в связи с боярской думой Древней России, часть II вып. II. Томск 1912 г. ст. 12.

З складу ўсіх членаў Рады ўжо ў другой палове XV стал. вы-дзяляюцца „старшыя паны“, „Рада Найвысшая“, „Господа Старшая“, „прелаты и панове старшии“.

Да канца першай чвэрці XVI ст. ўсе члены рады былі поўна-праўнымі і называліся панамі-радамі. Паступова ўтвараецца тайная рада, розьнячаяся ад поўнага складу рады; апошняя выступае толькі пры ўрачыстых выпадках і называецца соймам паноў рады. У тайную раду не ўвашлі вураднікі дворныя, князі і паны. Панамі радамі тайнай рады сталі ўсе біскупы, ваяводы, каштэляны, старасты—Жамойцкі і Луцкі, маршалак Валынскай зямлі, канцлер, падканцлер, гэтманы маршалкі земскі і дворны і падскарбі земскі[1]. З членаў тайнай рады выдзяляецца „преднейшие“ Рады, складаўшыя першую „лавицу“ рады. „Преднейшая“ рада, сядзеўшая на пасяджэньнях агульнай рады на першай „лавице“, абгаварывала важнейшыя, сакрэтнейшыя, дзяржаўныя справы. „Преднейшую“ раду складалі біскуп Віленскі, ваявода Віленскі, пан (каштэлян) Віленскі, ваявода Троцкі, пан Троцкі і староста Жамойцкі. Гэта „паны рады старшы“, ўсе другія члены тайнай рады называюцца „Меншими“ і займаюць другую лавіцу.

Розьніца нацыянальнасьці і веры не перашкаджала займаць вышэйшыя ўрады і месца у Радзе „асобам светского стану“, у якой засядаюць каталікі, побач з праваслаўнымі. Рэлігія зрабіла ўплыў толькі на склад Рады духоўнага стану; духоўны стан Рады складаўся толькі з каталіцкіх біскупаў, атрамаўшых месца ў радзе пасьля таго, як Літва прыняла каталіцтва. Праваслаўныя архірэі ня мелі доступу ў Раду. Пасьля Люблінскай вуніі склад Рады перамяніўся толькі ў тым, што ўсе дворныя вураднікі, а także князі і паны, пэрсанальна ўваходзіўшыя ў Раду, адпалі, і членамі рады засталіся толькі члены тайнай рады і то ў абрэзаным відзе, бо адпалі ураднікі анэксіраваных земель— Украіны і Падляська, стаўшыя членамі Польскага Сэнату. Дамаганьня Літоўска-Беларускіх станаў і аддзельных асоб (як князь Слуцкі) аб увядзеньні ў склад рады ўсіх ранейшых яе членаў, ня мелі посьпеху[2].

Компэтэнцыі Рады. Паправілею 1492 году, формальна абмежаваўшаму гаспадара Літоўска-Беларускай дзяржавы, вялікі князь павінен быў вырашаць наступныя справы па нарадзе і згодзе з панамі радамі: пасылаць пасольствы ў чужыя дзяржавы і весьці дыплёматычныя справы, касаваць выданыя раней з панамі радаю законы, адымаць і раздаваць урады, рабіць усякія расходы з дзяржаўнага скарбу і выносіць судовыя пастановы па важнейшых справах[3]. Гэтым прывілеем быў зафіксіраван звычай, які існаваў да гэтага году. Цяпер на будучыя часы вялікі князь законам быў прымушан вырашаць дзяржаўныя справы па „намове“ і згодзе з панамі радаю. Пры вырашэньні бягучых спраў гаспадар вырашаў іх з тымі панамі рады, якія ў даны момант былі пры ім; для вырашэньня важнейшых пастаноў склікаліся ўсе паны на агульны зьезд. Такі сход паноў рады называўся соймам паноў рады. На ём вырашаліся тыя пытаньні, дзеля якіх ён быў склікан, а także і набраўшыяся справы па ўпраўленьні дзяржавай.

Калі да соймаў паноў рад далучалася шляхэцтва, або яго прадстаўнікі, то такі сход называўся вялікім вальным соймам. Вальны сойм выступае там, дзе нельга вырашаць спраў без „призволения“ шляхэцтва. Шляхэцтва паступова пачынае цікавіцца ўсімі дзяржаўнымі справамі, а ня толькі тымі, якія ставяцца ўрадам і панамі радаю. Яно пачынае падаваць ад імя шляхэцтва „просьбы“ гаспадару. Адказы на іх гаспадар дае па „намове“ з панамі радаю. Закондаўчая ўлада фак-

---

[1]) Г. Маліноўскі opuscitract. 26.

[2]) Лаппо В. кн. Л. I. 129.

[3]) Любавский. Очерки, приложения, ст. 307-312.

тычна належала панам радзе, і гэта было зафіксавано Статутам 1529 г.[1]). Шляхта пачынае дабівацца ў часы паміж першым і другім Статутамі пашырэньня сваіх праў і Статутам 1566 году было пастаноўлена, што законадаўчая ўлада належыць толькі ўсім станам вялікага вальнага сойму[2]). Такім чынам толькі перад Люблінскай вуніяй была абмежавана законадаўчая ўлада рады, і органам законадаўчай ўлады стаў вялікі вальны сойм.

Адначасна з абмежаваньнем законадаўчай улады рады былі скасаваны выключныя правы паноў – рады, князёў і паноў—судзіцца толькі ў гаспадара. Былі ўтвораны новыя выбарныя шляхэцкія суды, якім падлягаюць і паны і шляхта.

Па рашэньні прывілея Люблінскай вуніі Соймы і Рады абоіх народаў будуць заўсёды Сполнымі каронными пад сваім гаспадаром каралём польскім і засядаць будуць паны радныя паміж сэнатарамі, а паслы паміж пасламі і абгаварываць справы на соймах і бяз сойму аб спольных патрэбах як у Польшчы, так і Літве[3])

Месца паноў рад літоўскіх, як духоўных, так і ссьвецкіх вызначана сярод паноў кароных, як ужо ў адным сэнаце[4]) і затым прыводзіцца месца кожнага пана рады ў спольным сэнаце.

Такой постановай было вырашана палажэньне Рады ў вялікім вальным сойме, органе, галоўным чынам, законадаўчым, але зусім не абкрэсьлена значэньне Рады, як вышэйшага органу ўпраўленьня і суду. Невырашанасьць гэтага значэньня Рады паставіла Літоўска-Беларускае княства ў палажэньне досыць выгаднае; гэтым княству дана была магчымасьць самаму ўтвараць і будаваць вышэйшую сваю ўстанову—Раду, як кіраўнічы орган дзяржавы.

Ужо ў „Pacta conventa“ Генрыха было ўнесена патрабаваньне, каб кожны сойм назначыў па 16 сэнатараў з Польшчы і Літоўска-Беларускай дзяржавы ў прыбочную каралеўскую раду, так званых сэнатараў рэзідэнтаў, з якімі кароль павінен быў вырашаць усе дзяржаўныя справы. Агульная пастаноўка пытаньня была нездавальняючай для літоўска-беларускіх паноў рады і пры абраньні Стэфана Баторыя зноў выстаўляюцца патрабаваньні аб урэгуляаваньні палажэньня Рады. Граматаю ад 29 чэрвеня 1576 г. Стэфан Баторы пастанавіў, што літоўска-беларускія паны рады пастаянна павінны быць у прыбочнай радзе. Але дзякуючы таму, што Літоўска-беларускіх сэнатараў меней, чым польскіх і іх чарга канчаецца раней, чым польская, то літоўска-беларускія паны рады назначаюцца ў прыбочную раду па іх сьпісу спачатку, каронныя-ж сэнатары вядуць сваю чаргу.

Сэнатары Польшчы і паны рады Літоўска-Беларускай дзяржавы разглядаюцца тут не як прадстаўнікі адзінай, агульнай дзяржавы, а як абаронцы інтарэсаў двух дзяржаў—Польскай і Літоўска-беларускай, хаця і аб'яднаўшыхся ў адну Рэч Паспалітую, але маючых свае асобныя правы і розныя інтарэсы. [5])

Трэці Літоўскі Статут замацаваў гэта значэньне рады, як установы, з дапамогай і нарадаю якой вялікі князь кіруе Літоўска-Беларускай дзяржавай. Рада выступае, як установа самостойная, бяз усякай супольнасьці і сувязі з сэнатарамі каронными. Праўда, Статут не пералічвае пэўнай компэтэнцыі Рады і тых спраў, якія яна вырашала, але існаваньне Рады, як установы аддзельнай ад Польскага сэната, выступае выразна.

---

1) Статут 1529 г. III, 6.

2) Маліноўскі, ст. 111.

3) Vol. legum. II, 90 § 8.

4) ibidem ст. 93 і конст. 34, ст. 94.

5) Лаппо Вел. Кн. Литовское ст. 153.

Статут адрозьнівае раду прыбочную ад Сойму паноў Рады. За зьневажаньне высокасьці гаспадарчага маестату тым, што хто-небудзь абразіў шляхціча словамі, „шкодлівымі учцівосці шляхэтской“ у гаспадарскім палацу, той прыцягваецца да адпаведнасьці перад гаспадаром „с паны радами нашими при нас на тот час будучими“... „Ведже где бы шло о якую речь, штот ся чсти дотычеть, тогды то аж на сойме с паны радами нашими здешнего паньства судити маем.“[1])

Статут выдзяляе тыя справы, якія вырашаюцца гаспадаром з панамі радамі „прибочными“, рэзыдэнтамі.

У выпадку нездаваленьня пастановай суду па справах зямельных шляхты з гаспадаром і нязгоды камісараў, высланых для вырашэньня зямельнай спрэчкі, а такжа аб бяспраўных данінах, або прыўлашчаньні спадкавых маемасьцяй „тагды апеляцыя да нас гаспадара обема сторонам вольно, а мы за тую апеляцыю, тут у великом князьстве литовском судити будем с паны радами нашими, которые при нас будуть“ [2]).

Працэсы аб няправільных данінах шляхэцкіх грунтаў і маёнткаў каму-небудзь у дзяржаньне, а такжа працэсы аб парушэньні свабод і вольнасьцяй шляхэцкіх вырашаюцца „з права й з суду справедливаго через нас и потомки наши за радою рад нашых великого князьства [3].) Наем і ўвод войска ў межы Літоўска-Беларускай Дзяржавы бяз веданя радных паноў ня можа адбыцца.“ Тэж уставуем иж людей прибылых, так обчых, яко и суседних заграничников прыймовати и вести до паньства нашего великого князства Литовского и через тоеж паньство не маем, аж з ведомостью и за радами рад наших великого князства Литовского [4]).

Назначэньні на дзяржаўныя пасады робяцца гаспадаром з панамі радамі. Хорунжыя назначаюцца з кандыдатау, абраных станамі „кому се нам с паны радами нашими попристойне видети будет“. [5])

Дзеля вырашэньня многіх спраў, як судовых, так і па ўпраўленьню склікаюцца сходы—„соймы паноў-рады,“ як поўная ўстанова. Не зьявіўшыся на суд „за позвом“, „тот непослушенством кўправу, не толькі горло, але в честь тратити будет за отосланьем врядовым, з разсудку нашого господарского и панов рад того паньства на сойме за доводом стороны поводовое“ [6]).

Такія сходы рады звычайна адбываюцца на вялікім вальным сойме. „Тэж обецуем и будем повинны каждому с поданных наших, кому-бы шло о честь, прудкую а неотвлочную справедливость учинити, на першом близко пришлом сойме великом вальном с паным радами нашими великого князства Литовского без всякае отволоки“. [7]).

Статут падкрэсьлівае, што судовыя процесы аб „чести и горле“ адбываюцца „нигде инде одна на сойме великом вальном с паны радами нашими великого князьства Литовского“ [8]).

Вялікія вальныя соймы склікаюцца па нарадзе з панамі-радамі: „маем мы и потомки нашы завжды коли того потреба укажеть Речи Посполитой за порадаю рад нашых тогож паньства складаны листы нашыми были (разд. III, арт. 6.)“

Паны рада, як цэлая ўстанова, выступаюць на галоўным з‘ездзе ў Слоніме перад вялікім вальным соймам. Галоўны зьезд адбываецца за

---

1) III Лит. Статут разд. I, арт. 9.
2) Ibidem I, 15.
3) Статут III, 5.
4) ibidem III, 23.
5) II, 5.
6) I, 10.
7) I, 28.
8) I, 4.

два тыдні да адчыненьня сойму, дзе пераглядаюцца інструкцыі ўсіх зямель, і паветаў і выносіцца агульная пастанова ад імя ўсяго княства (III, 8).

Статут ня пералічае ўсе бакі дзейнасьці рады. Статут толькі выпадкова закранае яе дзейнасьць. Аднак дзейнасьць Рады шырокая і калі Статут ня вызначае яе ўсебакова, то ён гэта падразумявае, бо ўносіць агульны артыкул аб кары за невыпаўненьне загадаў і пастаноў гаспадара з панамі радаю і супярэчаньне таму, што „мы господар с паны радами нашими, з выроку нашого сказанье учинили“ [1])

Што дзейнасьць паноў рады шырокая, відна з тых спраў, якія Статут пераносіць на вырашэньне Сойму. Пастановы аб земскай службе, аб вайне, устанаўленьне падатку „саребщины“, а так-жа і другіх падаткаў „мы гаспадар и с паны радами нашими не маем и не будем мочи того учинити“. Дзеля вырашэньня гэтых усіх спраў гаспадар павінен складаць вальны сойм „и так на сойме мы гаспадар и з их милостью паны радами и, послы земскими с парадаю и з годным призволеньем их таковые речи о войне намовляти и становити... а без сойму и позволенья всих станов войны в‘щинати и вести не маем“[2]).

Усе справы, такім чынам, апроч спраў, вырашаемых вялікім вальным соймам, падлегаць рашэньню Рады разам з гаспадаром.

Статут, адзначыўшы ў агуле, галоўным чынам, судовую дзейнасьць Рады, не вызначае складу гэтага суда. Канстытуцыя Сойму 1588 году у соймавы суд рады уводзіць ужо і восемь асоб з пасольскай ізбы. Такім чынам суд становіцца соймавым, а ня судом паноў-рады. З працягам часу лік судзьдзяў ад пасольскай ізбы павялічваецца да 12, 24 і 54 асоб. Можна думаць, што гэты закон аднолькова быў пашыран, як на польскіх, так і на Літоўска-Беларускіх паслоў, хаця канстытуцыя нічога аб гэтым не гаворыць.

Закон пералічае злачынствы, якія падлягаюць гэтаму Суду: crimen laesae majestatis, каторыя толькі inmpersonam Regiam паводле права machinatione, conspiratione, violento conatut et, quod longe absit in vitam committitur“. [3])

Канстытуцыя 1611 году апроч crimina laesaemajestatis пералічае наступныя справы: 1) crimen perduellionis et rebellionis; 2) crimen peculutus; 3) каваньне фальшывой манеты; 4) гвалт, учынены на Сойме, сойміках, судовых трыбуналах і цэлы шэраг другіх спраў[4]).

Канстытуцыяй 1641 году быў устаноўлен парадак і чарга адбываньня на сойме судовых спраў: ў панядзелак разьбіраліся скарбовыя працэсы, у аўторак справы Літоўска-Беларускага княства, у сераду, пятніцу і суботу—справы крымінальныя, а у чацьвер—апеляцыі на рашэньні розных судоў. Калі на які-небудзь дзень не хапае судовых спраў, то разьбіраюцца крымінальныя. Па сканчаньні тыдня той-жа парадак паўтараецца[5]).

Такім чынам Літоўска-Беларускае княства мае свой дзень; вочавідна, свой склад соймавага суду.

Судзьдзі ад пасольскай ізбы разглядалі справы пасля рашэньня справы сэнатарамі і толькі ў канцы XVII ст. пасяджэньні сэнатараў і земскіх паслоў становяцца сумеснымі.

Канчатковае сформаваньне соймавага суду была праведзена ў канцы існаваньня Літоўска-Беларускага княжаства, орданацыяй сойму 1775 году. Гэты суд складаўся з усіх паноў рады і прадстаўнікоў пасольскай ізбы ў ліку 30 асоб: 20 польскіх паслоў і 10 ад

---

[1]) I, II.
[2]) Разд. II, арт. 2.
[3]) Volum. legum II ст. 251.
[4]) Vol. leg III, ст. 36.
[5]) Vol. leg. IV, ст. 8.

паслоў Літоўска-Беларускага княства. Літоўска-Беларускія судзьдзі абіраліся на аддзельным пасяджэньні паслоў вялікага княства, як польскія на пасяджэньні паслоў каронных.

Для засяданьняў судоў былі вызначаны тры шасьцітыдневых пэрыоды: два для кароны і адзін, з першага чэрвеня, для княства. У выпадку экстэрных і спешных спраў кароль мог склікаць соймавы суд княства і ва ўсякі другі час.[1]).

Такім чынам судовая дзейнасьць рады вялікага княства, вылiўшаяся з цягам часу ў соймавую судовую ўстанову, існуе пасля Люблінскай вуніі, мяняючы толькі форму дзейнасьці.

У трэцім Літоўскім статуце дзейнасьць Рады, як вышэйшага кіруючага органу, амаль-што не закранута. Між тым, у некаторых выпадках, рада бярэ на сябе такія рашэньні, якія належаць толькі вялікаму вальнаму сойму. З канстытуцыі 1690 г. мы бачым, што ў 1687 і ў 1689 гадох пастановамі рады княства былі прызначаны экстра ордынарныяпадаткі. Гэтыя пастановы былі выкліканы пільнымі дзяржаўнымі патрэбамі—неабходнасьцю выплаціць войску належачую яму пэнсыю, у той час як два падрад соймы былі сарваны. Сойм 1690 году зацьвердзіў дзейнасьць рады княства, але падкрэсліў, што з гэтага часу сэнацкай пастановай ня будуць устанаўляцца і ўхваляцца падаткі, і кароль абавязаўся за сябе і сваіх наступнікаў ня выдаваць адпаведных унівэрсалаў. Цікава, што канстытуцыя падкрэсьлівае, што Senatus consultum—пастанова рады—была ўхвалена толькі Літоўска-Беларускай радай, бяз удзелу польскіх сэнатараў і што на пасяджэньні была многа асоб паноў рады Літоўска-Беларускага княства[2]).

Гэта падкрэсьліваньне вялічыні сходу рады,borabigna, прыводзіцца ў канстытуцыі для апраўданьня працівазаконнай яе дзейнасьці ў даным выпадку. Для нас-жа з вочавіднасцью ўстанаўляецца факт, што па справах Літоўска-Беларускай дзяржавы ня толькі судовых, но і фінансавых і падатковых, рада княства мела асобныя пасядженьні і вынасіла на іх рашэньні, якія былі неабходны для ўсёй дзяржавы. Калі радзе прыходзілася накладаць нават падаткі, то бягучыя адміністрацыйныя справы само сабой так-жа вырашаліся ёю. Самастойная ад польскага сэнату дзейнасьць Літоўска-Беларускай рады, як судовая, так і адміністрацыйная, пасля Люблінскай вуніі, не падлягае сумненьню.

Вялікі вальны сойм.

Ужо с XV стагодзьдзя у Літоўска-Беларускай дзяржаве паяўляецца вялікі вальны сойм. Склікаюць яго гаспадар і паны радныя. Спачатку на вялікім вальным сойме прымаюць удзел буйныя земляўласьнікі. З першай чверці XVI ст. пачынаюць заклікацца на соймы і баяры-шляхта, г. значыць сярэднія і дробныя земляўласьнікі. Прадстаўніцтва ад шлахты ў першыя часы ня было. Шляхта заклікалася пагалоўна. Пры Жыгімонце Старым ў 1511 г. першы раз быў аддан загад дзяржаўцам склікаць шляхту па паветах і прапанаваць шляхце выбраць па два прадстаўнікі ад павету для ўдзелу ў сойме. Паступова гэта практыка стала ўзмацняцца, аднак шляхце не забаранялася прымаць удзел ў сходах сойму і пагалоўна. На Віленскім сойме 1565-66 г. г. была пряведзена адміністрацыйная рэформа. Вялікае княства была нанова падзелена на ваяводзтвы і паветы. У кожным павеце былі ўтвораны павятовыя соймікі, якія гаспадар абавязваўся склікаць перад вальным соймам не пазней, як за чатыры тыдні да яго пачатку.

[1]) Vol. legum VIII, ордынацыя сойму 1775 г.;
[2]) Volum leg IV, ст. 394.

На павятовыя соймікі павінны былі зьбірацца ваяводы, каштэляны, паны і ўся шляхта павету і абгаварваць як усе рэчы, аб якіх будзе абвешчана гаспадаром, так і свае ўласныя патрэбы. Яны павінны ад кожнага судовага павету абраць двух паслоў і пасылаць іх на вялікі вальны сойм, даўшы ім інструкцыі і поўнамоцтвы вырашаць, як пытаньні, абвешчаныя гаспадаром, так „и иные припалые рэчы водле часу и патрэбы“. Станы заклікаўшыяся раней персанальна на вялікія вальныя соймы—князі, паны хоругоўныя, маршалкі і ўсе другія ўраднікі земскія і дворныя, мелі права персанальна ездзіць на соймы і падаваць галасы па стараму звычаю [1]).

Слад сойму перад Люблінскай вуніяй вызначыўся з наступных „станаў, сойму належачых“.

З кзязёў, апроч тых, якія займалі ўрады, заклікаліся на сойм усе князі Вішнявецкія, Гедройцкія, Дзярэчынскія, Друцкія, Збараскія, Курцэвічы, Лукомскія, Сьвірскія, Масальскія, Ружынскія, Сангушкі, Слуцкія, Сакалінскія, Чэтвярцінскія, Чартарыйскія. З паноў—усе паны Валовічы, Глебовічы, Гарнастаі, Давойны, Завішы, Ільінічы, Кішкі, Нарбуты, Остіковічы, Пацы, Сологубы, Сапегі, Тышкевічы, Хрэбтовічы, Шэметы. Апроч таго, у склад сойму ўваходзілі земскія паслы, абіраемыя ўсімі земляўласьнікамі шляхэцкага стану на павятовых сойміках. Усе ўдзельнікі сойму, усе „станы сойму належачые“, былі фактычна пад'аддзеламі аднэй грамадзянскай клясы, карыстаўшайся правамі шляхэцтва. Ні мяшчанства, ні баярства, гэта значыць ваена-служылы стан, які не атрымаў шляхэцва, ні сялянства, ня мела свайго праўстаўніцтва на сойме.

Перад самай Люблінскай вуніяй, у 1568 г., атрымалі месца на сойме мяшчане сталічнага гораду Вільні па прыкладу важнейшых польскіх гарадоў. Ім была дарована права пасылаць на вальны сойм двух або трох бурмістраў, якія павінны былі выказвацца толькі тады, калі на сойме зайдзе размова аб горадзе Вільні [2]).

У часы пасяджэньняў вялікі вальны сойм дзяліўся на два „кола“; „коло“ паноў рады і „коло“ рыцарскае, шляхэцкае. Кожнае кола абгаварвала справы асобна, а затым, як і ў польскім еойме ў той час, пастановы абедзьвюх палат прыводзіліся да згоды. Сойм насіў арыстократычны характар. Магнаты, гэта значыць буйныя земляўласьнікі, напаўнялі ня толькі Раду, но ў асобах княжат, панят, ураднікаў земскіх і дворных напаўнялі так-жа і рыцарскае кола. На складзе сойму адбіваўся феўдальны характар грамадзянства таго часу ў вялікім Літоўска-Беларускім княстве. У вялікім вальным сойме прымалі ўдзел толькі тыя асобы, якія карысталіся сувэрэннымі правамі на сваіх землях пад вышэйшым сюзэрэнам—вялікім князем. Па істоце вялікі вальны сойм быў конгрэсам літоўска-беларускіх гаспадароў-феўдалаў і іх паўнамоцных прадстаўнікоў з гаспадаром вялікім князем на чале. Прадстаўнікі Літоўска-Беларускіх гарадоў ня былі поўнапраўнымі членамі сойму, бо Літоўска-Беларускія гарады ня сталі феўдальнымі дзяржавамі, поўнапраўнымі з адпаведнымі маемасьцямі князёў і паноў; ня было і прадстаўнікоў ад сялян, якія былі вялікакняскімі або панскімі падданымі, ні прадстаўнікоў духавенства, як асобнага стану, бо духавенства атрымлівала свае пасады ад гаспадароў-феўдалаў княства і лічылася іх духоўнымі ўраднікамі; ня было також прадстаўнікоў шляхты, жыўшай на землях панскіх і гаспадарскіх спадковых маенткаў, бо яна была на палажэньні вассалаў другой ступені. Толькі тыя шляхты, якія трымалі землі непасрэдна пад гаспадаром вялікім князем і былі вассаламі, як князі і паны, першай ступені, мелі правы на ўдзел у сойме [3]).

---

[1]) М. Любавский—Литовско-русский сейм, ст. 732.
[2]) Любавский, opus citra, ст. 5.
[3]) Любавский—Л.—Р. сейм, ст. 850;

Літоўска-Беларуская шляхта з 60 гадоў XVI ст. пачала весьці барацьбу супроць паноў і князёў і дамагацца ўлады. Каб перамагчы сваіх праціўнікаў, умацаваць свае шэрагі і аслабіць магнатаў, яна пачынае дамагацца вуніі з Польшчай і спадзяецца, што пры дапамозе польскай шляхты, яна пераможа сваіх магнатаў. Часткаю надзеі шляхты здейсніліся з Люблінскай вуніяй, калі Соймы вялікага княства сталі супольнымі з соймамі Польшчы.

У склад супольнага сойму не вашло многа Літоўска-Беларускіх магнатаў. У сэнацкае кола—Раду, не папалі ўраднікі дворныя, а ў пасольскаю ізбу—княжаты, паняты, ураднікі земскія і дворныя, якія ня былі абраны павятовымі соймікамі, а заклікаліся на соймы персональна. Лік рыцарскага кола паменшыўся, но вага сярэдней шляхты пабольшала, бо ў склад членаў пасольскай ізбы ўвашлі толькі абраныя шляхтаю яе прадстаўнікі[1]).

Ужо да Люблінскай вуніі Літоўска-Беларускі Сойм атрымаў пэўную организацыю. З вуніяй Сойм стаў супольным з соймам польскім. Аднак гэта спольнасьць ня зьліла яго ў адзіны організм. Такому зьліяньню перашкаджала самая пабудова організацыі сойму: правы яго прадстаўнікоў—земскіх паслоў, абіраеміх на павятовых сойміках. Павятовыя соймікі былі ўтвораны 30 сьнежня 1565 году. Іх організацыю замацаваў Другі Літоўскі Статут, які тлумачыў яго, як прадсоймавы сход шляхты павету, якая падгатаўлялася к наступнаму сойму.

Са злучэньнем Соймаў пальскіх і соймаў вялікага княства у адзіны спольны сойм, такія павятовыя соймікі павінны былі набыць асабліва важнае значэньне для абароны сваіх праў. Гэта значэньне соймікаў пашыралася дзякуючы іх організацыі ў абкрэсьленыя формы, якія давалі магчымасьць усяму княству выступаць як організованай адзініцы. Канчаткова такая организацыя была замацавана Статутам 1588 году.

Статут 1588 году ўжо адрозьнівае тры віды соймікаў: 1) перадсоймавы, [2]) 2) падсоймовы [3]) і 3) соймік, або з'езд галоўны перад вялікім вальным соймам [4]).

Павятовыя перадсоймовыя соймікі утвараюцца „для лепшего порадку во всих речах, и способов ку справедивости и обороне, иже бы з волею всих потребы се земские становили и одправованы были". Соймікі склікаюцца гаспадаром „За порадаю рад наших того панства" складнымі гаспадарскімі лістамі. За два тыдні перад соймікам лісты павінны быьць разосланнымі праз паветовых возных „до панов рад до княжат, панят, урядніков земских и паветовых и до иншых станов народу шляхетского, до кого перед тым стародавна листы соймавые с канцелярией нашое посылывано до домов их мають носить, а для всих посполите в местах местечках наших, на торгах, и при костелах парафеяльных обволывати, и копеи з листов наших прибивати."

На соймікі зьяждаюцца наступныя асобы: „бискупове, воеводове, кашталяны и врядники земские, князи, панове и шляхты, каждый у сваем воеводстве або повете".

Усе азначаныя асобы „каждый из милости и повинности сваее ку рэчи посполитой повинен на тые соймики прибыть". Хто-бы на соймік ня прыехаў, для таго абавязковы усе пастановы, якія вынясе соймік. Працяг пасядженьня сойміку чатыры дні.

Прадметы, абгаварваемыя соймікам, уносяцца гаспадаром праз пасылаемыя лісты і праз гаспадарскіх паслоў, адпраўляемых на соймікі спэцыальна дзеля гэтай мэты. Аднак, сарбаушыяся паны і шляхты

---

1) Ibidem, ст. 848.
2) Литовский Статут, III,6.
3) III,9
4) III,8.

маюць права ўносіць і абгаварваць і свае патрэбы „немней теж и о своих потрэбах и долегростях оного повету и воеводства“. Абгаварыўшы ўнесеныя на соймік пропозыцыі, Соймік выбірае ад павету двух паслоў, якім дaручае і дае поўнамоцтвы весьці нарады на вальным сойме. Дзеля таго, каб паслы вырашалі справы на сойме згодна з пастановамі сойміка, ім даюцца пісаныя інструкцыіі: „за печатьми обывателей того повету“. [1]) Кожны пасол адтрымлівае ад свайго повету або ваяводства, патрэбную суму грошай на „страву“. Менскія паслы, напрыклад, атрымлівалі страўных грошай сто шесцьдесят коп.[2])

Пасьля нарад паветовых соймікаў, за два тыдні да адчыненьня вялікага вальнага сойму, адбываўся галоўны соймік, або зьезд усіх абабраных паслоў, а таксама і паноў-рады. Месцам галоўнага сойміку Статут 1588 г. назначае г. Слонім. „Про тое уставуем иж перед кождым соймом великим вальным, за две недели мают вси станы того паньства великого князства, так панове рада их милости, яко и послове земские зьезд свой валный мети у Слониме“.

Галоўныя зьезды маюць задачай дапасаваньне і ўпарадкаваньне ўсіх інструкцый павятовых соймікаў, а таксама ўсіх земскіх спраў і патрэб вялікага княства „и там знесши и посродок себе инструкцыи всех земель и поветов мають межи себе намовы спольные в милости братерской, о всих потребах земских чинити, приводечи се до одного слушного зрозуменья речей ку доброму речи посполитое, за чим бы вжо на великом вальном сойме порадней и спешней справы и потребы речи посполитое становити и отправовати се могли.[3])

Па сканчэньню вялікага вальнага сойму праз чатыры тыдні павінны адбыцца ў кожным павеце соймікі пасоймавыя, або рэляцыйныя. Прыехаўшыя з сойму паслы даюць вестку аб сваім прыезьдзе ваяводзе, або старосьце, ці іх намесьніку, якія праз возных абвяшчаюць аб гэтым шляхту і склікаюць яе на соймік для заслуханьня справаздачы паслоў. „А то для того, жебы на тых сойміках паслове с поветов на сойм посыланые, звернувшиеся з сейму дали о том всим обывателям, кожного повету ведомость достаточную, штобы на котором сойме в справах и потребах речи посполитое, справили и постановили и которые се кольвек на таким соймик з‘едуть, тые тых справ соймовых слухати мають“.

Не зьявіўшаяся шляхта на соймік не адпавядае за няяўку, але падлягае і павінна выконваць ўсе соймавыя пастановы.

Пастановы сойму выдаюцца бясплатна кожнаму паслу з дзяржаўнай канцэляры: Гэтыя пастановы „за печатью нашою“ пасол павінен падаць „ку захаваньню при книгах земских вряду земскому“ „и до книг городских дати то вписати“[4]).

Пры такой будове соймавай організацыі цэнтр цяжкасьці пераносіцца ня ў сойм, а ў павет. Павятовы сход актыўна абгаварвае усе дзяржаўныя пытаньні; выносіць пастановы і складае адпаведныя інструкцыі, гэта значыць прадрашае ўсе пастановы сойму. Абраныя на на сойм паслы не маглі адступіцца ад сваіх інструкцый, тым болей, што паслам прыходзілася выступаць са справаздачай перад сваімі выбаршчыкамі. Калі паслам не ўдавалася правесьці на вальным сойме пастановы свайго павету, яны ўносілі протэстацыі, упісвалі іх ў кнігі дзяржаўнай канцэляры і выпісы іх прывозілі сваім выбраршчыкам у сваё апраўданьне.

---

[1]) Литовский Статут 1588 г., разд. III, арт. 8.
[2]) Разьдз. III арт. 7.
[3]) Литовский Статут 1588 г., разд. III, арт. 8.
[4]) Разьдз. III, арт. 7.

Асабліва важнае значэньне набывалі галоўныя зьезды, як сходы ўсяго княства. Пасля страты сваіх вальных соймаў у галоўным зьезде Літоўска-беларускае княжаства мела орган, які адбіваў жаданьні, патрэбы і волю ўсёй дзяржавы. Па III Статуце ён зьбіраецца у Слоніме і мае мэтай апрацоўку адзінства „умыслов" і згоду інструкцый асобных паветаў. Такім чынам Галоўны зьезд быў перадсоймавым сходам усяго княства і быў зьвязан з дейнасьцю вялікага вальнага сойму.

Такія зьезды, аднак, у некаторых выпадках набывалі характар самастойных соймаў, якія выносілі канчатковыя рашэньні. У 1577 г. Стэфан Баторы склікаў галоўны зьезд ўсяго княства ў Ваўкавыску для ўстанаўленьня падатку на вайсковыя патрэбы. Зьезд выпаўніў жаданьне караля і ўхваліў падаток з Літоўска - беларускіх зямель, абмежаваў яго ўжываньне „ку потребам того самого панства, великого князства Литовского, а не на што иного". Такія-ж зьезды склікаліся ў Вільне ў 1578, 1580, 1582 і 1584 г. г.

Яшчэ большае значэньне мелі галоўныя зьезды ў часы бескаралеўя. Такімі зьездамі былі зьезды 1587 г. *29 студзеня 1587* г. у Вільні сабраліся „рады духоўные и свецкие, княжата, панята, врадники земские и дворные и паслове земские зо всих воеводств и поветов и все рыцарство, обыватели того панства, великого князства Литовского и земли Жомонтское". Гэты зьезд вынёс цэлы шэраг пастаноў, якія „вси вобец, от высшего аж до нисшого стану, задержати и выполнити обецали и обовезали". Пастановы адносіліся да рэлігіі, суду, абароны і скарбу. У адносінах рэлігіі зацверджан быу акт Варшаўскай конфэдэрацыі 1573 г., забясьпечваўшы свабоду вызнаньня. Адносна суду—утвораны былі надзвычайныя, каптуровыя суды. Па складзе гэтых судоў зьліліся ўсе ўрады звычайных судоў паветы—земскага, гродскага, і подкаморскага. Суд павінен зьбірацца кожны месяц у вядомыя для усіх тэрміны.

Адносна абароны была пастаноўлена паклапаціцца аб баявой годнасьці замкау, павелічыць гарнізоны наемнага войска і ў выпадку вайны, падняцца ўсім з сваімі „почтами" агульным ваенным рушэньнем па загаду вялікага гэтмана літоўскага. У справах скарбовых вырашана прыняць грашовую справаздачу падскарбіем земскім ад усіх ураднікаў гаспадарскіх маёнткаў і ад павятовых паборцаў: у назначаны тэрмін усе ўраднікі і паборцы павінны ўнесьці належачыя з іх грошы пад страхам кары смерцьцю і конфіскацыі маемасьці. 1)

2 Кастрычніка 1587 году ў Вільні зьбіраецца новы зьезд паноў рады і ўсяго рыцарства вялікага Літотска - беларускага княства з усіх ваяводстваў і паветаў. Зьезд быў склікан сэнатарамі і шляхтаю, якая была на Варшаўскім элекцыйным сойме, Зьезд абгаварваў пытаньне аб тым, як дзейньчаць вялікаму княству ў зьвязку з адбыўшымся выбарам палякамі двух каралёў на прастол Рэчы Посполітай з нарушэньнем умоў вуніі. Дзеля вырашэньня гэтага пытаньня зьезд назначыу на 8 лістапада новы зьезд у Вільні, у які дзень ён і сабраўся. Гэты зьезд назначыў пасольства з пяцёх сэнатараў і дваццацёх шляхціцаў к абраным номінатам—Эрцгерцагу Аўстрыйскаму Максімільяну і Швецкаму Жыгімонту Вазе для перагавораў па інструкцыі, данай з'ездам. Назначыў сход соймікаў па ўсіх паветах Літоўска-беларускага княства для выбараў паслоў на новы зьезд. На ўсякі выпадак зьезд пастанавіў ваеннае рушэньне па загаду вялікага гэтмана. Сабраўшаеся земскае войска княства павінна была „рушитися и тегнути" супроць усякага ворага „отчизны", а також і „на подпартье которого канды

1) И. Лаппо—Постановления трех Виленских с'ездов 1587 г. Сборник статей, посвященных С. Ф. Платонову, СПБ 1911 г., ст. 369.

дата, была того потрэба. „Зьездам быў вырашан і шэраг другіх бягучых спраў [1]).

У другой палове XVII ст. з'езды перастаюць зьбірацца, але ў той час іх замяняюць павятовыя соймікі і пагроза парушэньня праў вялікага княства была паменшана дзякуючы ўмацаваўшамуся liberum veto.

Зьезды ў часы бескаралеўя прымалі характар ранейшых соймаў, якія вырашалі ўсе дзяржаўныя справы, без усялякай санкцыі спольнага сойму, на павятовых сойміках, а затым панамі раднымі і пасламі земскімі ўсяго княства на галоўным зьездзе.

Галоўныя зьезды давалі магчымасьць абараняць і фактычна абаранялі інтэрэсы ўсяго княства і сваёй дзейнасьцю падтрымлівалі сазнаньне асобнасьці княства. Як перадсоймавыя зьезды, яны наперад вырашалі ў сваіх інтарэсах ўсе пытаньні, якія ставіліся на сойме, і на самым спольным сойме Літоўска-Беларускага княства выступае, як асобная дзяржаўная адзінка, інтарэсы каторай не заўсёды могуць супадаць з інтарэсамі Польшчы, як другой дзяржаўнай адзінкі.

Вырашэньне спраў княства перад спольным вялікім вальным соймам павінна была адбіцца і па самай дзенасьці сойму і на яго пастановах.

Калі задачай галоўнага зьезду княства была прывесьці да згоды ўсе пастановы павятовых соймікаў, то вялікаму вальнаму сойму трэба было зрабіць тое самае з пастановамі ўсіх галоўных зьездаў, склікаўшыхся да канца XVII веку апрача княства ў Вялікай і ў Малай Польшчы.

Вялікі вальны сойм, як прымечана гістарычнай літаратурай у сваёй польскай частцы меў характар конгрэсу, гэта значыць, зьезду суверэнаў, якімі была шляхта, або іх прадстаўнікоў, абіраемых на павятовых сойміках шляхты [2]). Калі можна было пагодзіць інтарэсы шляхты на павятовых сойміках, і затым, на галоўных зьездах, то трудней гэтага было дабіцца на вялікім вальным сойме, дзе зьбіралася шляхта розных дзяржаў, меўшых не ўсягды аднолькавыя інтарэсы, і наперад вырашанымі постановамі адносна кожнай з іх. Асабліва цяжка было дасягнуць згоды паміж Польшчай і Літоўска-Беларускім княставам, імкнуушымся да працівалежных мэт і стаяўшых на працівалеглых пунктах поглядаў. У той час, як Польшча пачала лічыць Літоўска-Беларускае княства уцэленай у карону польскую, вялікае княства імкнулася да захаваньня сваёй дзяржаўнасьці і самастойнасьці. Такія імкненьні польскай шляхты і Літоўска-Беларускага княства выразна адбіліся ня толькі ў тым змаганьні, якое вялося па розных пытаньнях на спольным сойме, галоўным чынам, у другой палове XVI ст., але і ў соймавых constытуцыях і ў форме іх пабудовы.

Соймавыя пастановы, або конституцыі першых соймаў пасьля Люблінскай вуніі падкрэсьліваюць свае пастановы, як адной Рэчы Паспалітай, і аднаго народу. Пабаровы унівэрсал, ухвалены на Люблінскім сойме 1569 году, нарачыта падкрэсьлівае адзінства дзяржавы; Літоўска-Беларускае вялікае княства разглядаецца як і другія „паньствы"—Кіеўскае, Валынскае, Прускае, Мазавецкае, Жмуцкае,—гэта значыць, як зямля, краіна рэчы Паспалітай, займаючая аднолькавае становішча з пералічанымі землямі, належачымі і прыслухаючымі Польшчы. „Усім і кожнаму асобна... У кароне і ўсіх паньствах нашых, як у вялікім княстве Літоўскім, Кіеўскім, Рускім, Прускім, Мазавецкім. Жмуцкім, Падляскім, Інфлянскім і іншых, належачых да Кароны" [3]),

[1]) Н. И. Лаппо, opus citra ст. 374.
[2]) M. Karejew Zarys historyczny Seimun Polskiego Warcszawa. 1893 г. ст. 10.
[3]) Volum Leg. II, ст. 102.

Пастанова гэнэральнай Варшаўскай конфэдэрацыі 1573 г. такжа падкрэсьлівае гэта дзяржаўнае адзінства Рэчы Паспалітай. „Мы, рады каронныя, духоўныя і сьвецкія і ўсё рыцарства і другія станы адзінай і неразьдзельнай Рэчы Паспалітай з Вялікай і Малай Польшчы, вялікага Княжаства Літоўскага, Кіева, Валыні, Падляськя, землі Пруской, Паморскай, Жмуцкай і каронныя гарады“[1]).

Такія тэндэнцыі лічыць вялікае княства правінцыяй Польшчы ўтрымаліся аднак нядоўга. Ужо ў 1573 г. абвестка, азнаямляючая аб абраным каралі, выдаецца ў другой форме: „Мы рады духоўныя і сьвецкія, рыцарства і іншыя станы Кароны Польскай і Вялікага Княства Літоўскага, разам з іншымі панствамі, да іх належачымі“[2]). Карона і княства ўжо стаяць на адным роўні і ад імя станаў абедзьвюх дзяржаў выдаецца азнаямленьне.

У такой-жа форме выданы і артыкулы pacta conventa Генрыха[3]). Констытуцыя вальнага коронацыйнага сойму Стэфана Баторыя, якой зацьверджаны правы і вольнасьці народаў Рэчы Паспалітай, выражана ў такой-жа форме: „усялякія прывілеі, даніны, запісы, дажывоцьця, прэрогатывы, вольнасьці і свабоды як Кароны Польскай і Вялікага Княства Літоўскага, так і зямель да іх належачых, спольных або асобна наданых“[4]).

Такое прызнаньне існаваньня Вялікага Княства, як асобнай дзяржавы, формальна зацьверджанае ў афіцыйных пастановах, хутка прыводзіць да выдзяленьня пастаноў адносна княства, або констытуцыяў. Ужо сойм Варшаўскі 1590 г. выдзяляе пастановы адносна Княства, але называе іх справамі Вялікага Літоўскага Княства[5]).

Пастановы сойму 1607 г. ўжо падзелены на Констытуцыю Каронную і Констытуцыю Вялікага Літоўскага Княства[6]).

Большая частка констытуцый XVII-XVIII вякоў падзелены падобным спосабам, напр., 1611, 1613, 1616, 1621, 1643, 1619, 1650, 1654, 1659, 61, 62, 67, 70, 73, 76, 77, 78, 83, 85. 90, 93, 1703, 1710, 12, 17, 26, 36, 64, 66, 68, 75, 1776. Праўда, і ў констытуцыях каронных пападаюцца пастановы адносна Літоўска-Беларускага княства. Але такія пастановы прымаюцпа з агаворкай. „Тую-ж констытуцыю прымае і Вялікае княства Літоўскае[7]). „Гэту констытуцыю і Вялікае княства Літоўскае прымае“,[8]) або „гэта констытуцыя будзе служыць і ў Вялікім княстве Літоўскім“[9]).

Ёсьць і зьмешаныя констытуцыі, аб'яднаныя адным агульным загалоўкам. Але аб'яднаньне гэта чыста надворнае. Па сутнасьці ў такіх констытуцыях адны пастановы датычацца Польшчы, другія Літоўска-Беларускай дзяржавы. Прыкладам можа служыць такой аб'яднанай формы, напрыклад, констытуцыя 1598 году“[10]). У ёй 91 артыкул. Першы артыкул уступны. Другі артыкул рэасумпцыя і дэкларацыя констытуцыі 1593 году, прычым агаворана, што дэкларацыя на Літоўска-Беларускае княства не пашыраецца. Артыкулы 3-19 датычацца Польшчы; ар. 20-36 і ар. 44 заключаюць пастановы адносна княства, прычым артыкулы 25, 26, 27, 29 пасьвечаны разьмежаваньню паветаў княства ад прылягаючых зямель Польшчы; арт 25 Берасьцейскага ваяводзтва ад Падляськя; 26—назначэньне комісіі дзеля разьмежаваньня

---

1) Ibidem, ст. 124.
2) Ibidem, ст. 131.
3) Ibidem, ст. 133.
4) Ibidem, ст. 159.
5) Ibidem, II, 316.
6) Ibidem, II, 448.
7) Vol. leg. III, ст. 80,
8) Ibideш. III, ст. 178.
9) Ibidem, 180.
10) Ibidem, II, ст. 366-379.

Брацлаўскага павету ад Курляндыі і 27—назначэньне камісараў для разьмежаваньня Юрборскага лясьніцтва ад Прускіх зямель. Артыкул 78 агульны—ордынацыя землі Інфлянцкай. Усе другія артыкулы адносяцца да польскіх спраў.

Падобны характар маюць і другія констытуцыі, маючыя загаловак констытуцый каронных.

Такім чынам, спольны вялікі вальны сойм, адбіваўшы інтарэсы дзьвёх дзяржаў—Польшчы і Літоўска-Беларускага княства пашоў практычна па шляху прызнаньня асобнасьці княства і Кароны. Другога выхаду ня было, прызнаньне гэта выявілася не адразу, а пасьля доўгай парляманцкай барацьбы. Такое прызнаньне адбілася ў формуле розных соймовых констытуцый, якія сталі выносіцца ад імя Рады і паслоў каронных і рады і паслоў вялікага Літоўска-Беларускага княства. Затым па зьмесьце адны артыкулы констытуцый сталі адносіцца да кароны, другія да—Літвы, і наканец, пастановы былі падзелены на констытуцыі каронныя і констытуцыі Вялікага Княства.

Імкненьні польскай шляхты да інкорпорацыі Літоўска-Беларускага княства адбіліся і ў выбары месца для соймаў. Баючыся незалежніцкіх тэндэнцый літоўска-беларускіх паноў і жадаючы ізоляваць літоўска-беларускую шляхту ад іх уплыву, на Люблінскім сойме польская шляхта вызначыла мейсца для спольных сойму г. Варшаву, [1]) ня гледзячы на протэсты літоўска-беларускіх прадстаўнікоў, жадаюшых скліканьня соймаў alternatim—на чарзе ў Польшчы і ў Літоўска-Беларускай дзяржаве.

Да 1653 году ўсе звычайныя соймы, за выключэньнем Торунскага сойму 1573 г., склікаліся ў Варшаве. У 1653 годзе па прычыне цяжкіх надворных адносін для Польшчы—барацьбе з Украінай, паўстаўшай супроць панскага ўціску, экстраордынарны двухтыднёвы сойм быў склікан у Берасьці. [2])

Констытуцыя вялікага Вальнага Сойму ў Варшаве 1673 г. пастанавіла склікаць кожны трэці чарговы сойм у межах Вялікага княства, у месьце Горадне, выключаючы конвокацыйны, элекцыйны і короноцыйны соймы, якія павінны адбывацца ў Польшчы. Пастанова сойму адбівае часткаю і прычыны такой перамены, рытарычна абвяшчаючы, што нішто болей не аб'ядна̀е грамадзянскі настрой (animos) і ня прыводзіць да згоды Рэч Паспалітую, як роўнасьць, каторую пажадана захаваць у Рэчы паспалітай паміж народамі Кароннымі і Вялікага Княства Літоўскага. Пастанова выразна сьведчыць, што і цяпер, праз сто год пасьля Люблінскага сойму, барацьба Вялікага княства з Польшчай ня скончылася, і ў яе процэсе Польшча павінна рабіць уступкі княству.

Разам з вызначэньнем месца, дзе адбываюцца соймы, былі вырашаны некаторыя абрадавыя пытаньні на пасяджэньнях сойму. Пропозыцыі на соймах, дзе-бы яны не адпраўляліся—у межах кароны, ці княства, адносна спраў каронных уносяцца пячатарам, або канцлерам каронным, а па справах княства—канцлерам Літоўска-Беларускага вялікага княства. Калі соймы адбываюцца ў Польшчы, то адказы на вітаньне пасольскай хаты дае канцлер каронны; ён-жа прымае абвестку аб выбары пасольскага маршалку; пры адбываньні сойму ў Горадні прымае вітаньне пасольскай ізбы, абвестку аб абраньні маршалка пасольскай ізбы і дае адказ на вітаньне канцлер вялікага княства. Калі адбываецца сойм у Горадні, то скарб вялікага княства бярэ на свой кошт утрыманьне і прыём паслоў Маскоўскіх, Турэцкіх, татарскіх і казацкіх, прыяжджаючых на сойм, такжа, як

[1]) Uolum leg. II, ст. 92
[2]) ibidem IV, ст. 183.

скарб каронны ўтрымлівае іх на свой кошт пры адбываньні сойму ў Варшаве [1]).

Цяг часу з моманту заключэньня Люблінскай вуніі не дапамог зрастаньню польскай і літоўска-беларускае частак сойму ў адзінае органічнае цела. Літоўска-Беларускае княства ня толькі не памяншае сваіх праў, але дабіваецца зьдзейсьненьня некаторых сваіх жаданьняў, абвешчаных ім на Люблінскім сойме, як, напр., месца пасяджэньняў сойму і на тэрыторыі княства,] ужо спусьця 100 год з лішкам пасьля Люблінскай вуніі. Гэты факт сьведчыць, што традыцыйныя тэндэнцыі княства не памёрлі і княства ня страчвала сазнаньня сваёй ·дзяржаўнай самастойнасьці. Княства не здавальняецца тым становішчам, якое займае, але імкнецца да пашырэньня сваіх праў, каб раўнапраўнасьць дзяржаўных організмаў выяўлялася і ў нязначных фактах, як месца для вялікіх вальных соймаў.

Акт Люблінскай вуніі, катораму прыдавалі да апошніх часоў значэньне акту, аб'яднаўшага дзьве дзяржавы і аканчальна вырашаўшага палажэньне Літоўска-Беларускае дзяржавы ў складзе Рэчы Паспалітае, не зьяўляецца канчатковым. Грунтавацца на адных пастановах Люблінскага сойму ў вырашэньні пытаньня аб становішчы Літоўска-Беларускага княства пасьля 1569 году, ня прыходзіцца. Барацьба паміж княствам і Польшчай вядзецца і пасьля Люблінскай вуніі. Вынікам гэтай барацьбы паяўляюцца новыя акты, якія корэктуюць або ліквідуюць пастановы Люблінскага сойму. Важнейшым з такіх актаў яўляецца Трэці Літоўскі Статут 1588 году, палажыўшы асновы для дзяржаўнай незалежнасьці Літоўска-Беларускага княства і стаўшы гвунтам і апорай княства ў яго барацьбе з Польшчай за сваю самастойнасьць. Другімі актамі, дапаўняючымі статут, зьяўляюцца соймавыя констытуцыі. Але іх правільнае разуменьне магчыма толькі з дэтальным вывучэньнем дзейнасьці вялікіх вальных соймаў, соймавых дзеньнікаў, галоўных зьездаў вялікага княства і паветовых літоўска-беларускіх соймікаў. Чарговай задачай беларускай гісторыі павінна быць вывучэньне гэтых організацый і іх дзейнасьці. Толькі пасьля грунтоўнага дасьледваньня і высьвятленьня політычнага жыцьця Беларусі ў дзейнасьці гэтых устаноў, можна будзе з пэўнасьцю гаварыць аб узаемаадносінах Літоўска-Беларускага княства да Польшчы пасьля Люблінскай вуніі. Разам з гэтым будзе ўстаноўлен правільны погляд на ўплыў польскай культуры на Беларусі і пытаньня рэлігійнага характару, якім да гэтага часу прыдаюць політычнае значэньне.

Ня гледзячы на слабую распрацованасьць гісторыі Літоўска-Беларускага княства пасьля Люблінскай вуніі, можна сказаць, што вывады гісторыкаў, зробленыя на аснове акту Люблінскага прывілея аб страце княствам дзяржаўнай незалежнасьці і зьліяньні з Польшчай у 1569 годзе, сьпешны і неабаснаваны. На аснове Люблінскага прывілею, Трэцяга Літоўскага Статуту і соймавых констытуцый можна лічыць установленым, што Літоўска-Беларускае княжаства пасьля 1569 году мае сваю тэрыторыю з строга адзначанымі межамі. Граніцы княства ахраняюцца спэцыяльнаю стражаю, праводзіцца размежаваньне краін літоўска-беларускіх ад польскіх. Войска польскае ня мае права пераходзіць у межы княства, як і войска літоўска-беларускае ў краіны Польшчы пад страхам вялікай кары [2]).

Жыхарства Літоўска-Беларускага княства карыстаецца ўласнымі і асобнымі правамі, зафіксіраванымі ў Статуце. Палякі, як і ўсе чужаземцы, павінны набыць індыгенат, гэта значыць подданства Літоўска-беларускаму княству, каб карыстацца аднолькавымі правамі

---

[1]) Volum, legum, t. V, ст. 67.

[2]) Vol. leg., t. V, ст. 86,

з тубыльцамі. Жыхарства княства мае свой свод законаў—Літоўскі Статут, свой уласны суд, сваю дзяржаўную беларускую мову, якую захоўвае да 1697 году.

Пасьля вуніі Літоўска-Беларускае княства захавала свой уласны цэнтральны ўрад. Маршалкі земскі і дворны, канцлер, падскарбі, гэтман—урады, якія існавлі і да вуніі. З урадамі былі зьвязаны і адпаведныя ўстановы. Маршалак земскі, як міністар вялікакняжацкага двара з усімі атрыбутамі сваёй улады сьведчыць аб тым, што вярхоўная ўлада князя ня зьліваецца з уладай караля. Хаця і адна асоба займае гэтае месца, але яна сядзіць на двух прастолах з рознаю ўладаю на аснове законаў кожнай дзяржавы. Канцлер з дзяржаўнаю канцылярыяй Літоўска-Беларускага княства, у каторай вяліся ўсе справы княства, меўшы ў сваіх руках дзяржаўную пячатку, без якой ніводзін загад ня меў сілы, быў пастаяннным абаронцай дзяржаўнай самастойнасьці Літоўска-Беларускага княства.

Падскарбі земскі міністар фінансаў княства. Па ўмовах Люблінскай вуніі ўводзілася толькі аднолькавая па форме і весу монэта. Аддзельнасьць фінансаў і скарбу ў Польшчы і ў Літоўска-Беларускім княстве захавалася поўная. Вялікае княства мае і сваю мынцу, дзе чэканіць монэту для ўласных патрэб. Кожная дзяржава мае свой бюджэт і даўгі аднэй строга даходзяцца з другое.

Гэтман найвысшы з сваім намесьнікам гэтманам польным быў вайсковым міністрам і галоўнакамандуючым літоуска-беларускім войскам. З часоў Люблінскай вуніі войска, як і да вуніі, засталося ў Літоуска-Беларускай дзяржаве ўласнае. Яно складалася з наёмнага войска і земскага рушэньня. Земскае рушэньне склікалася ў часы вайны і заключалася ў тым, што ўся шляхта павінна была выстаўляць з сваіх зямель устаноўлены законам лік жаўнераў. Констытуцыяй 1676 году было прызначана для Кароны 80.000 чалавек і для Літоўска-Беларускага княства 20,000 чалавек.

Вялікае Літоўска-Беларускага княства, маючае сваю уласнаю тэррыторыю, урад, войска, мае і свой цітул, дзяржауны гэрб і дзяржауную пячатку, як сыбмалы сваей дзяржаунай самастойнасьці і захоувае іх да самага падзелу Рэчы Паспалітай.

Спольным з Польчшай зьяуляецца вялікі вальны сойм. Аднак характар яго органузацыі перешкаджае яму зліцца ў аднароднае адзінае цела. Супольныя пасяджэньня палякаў з літоуцамі і беларусамі на сойме не цамаглі органічнаму зрастаньню двух народаў і дзяржаў. Двухдзяржаунасьць Рэчы Паспалітай захоуваецца на працягу усяго перыяду сумеснага існаваньня і выразна адбіваецца на пастановах вялікага вальнага сойму, каторы прымушан выносіць асобны констытуцыі для Кароны і асобныя для Літоуска-Беларускага Княства. У некаторых выпадках адбываюцца і асобныя пасяджэньня як рады княства, так і пасольскага „кола“

Як-жа назваць такую організацыю Рэчы Паспалітай? Палітычнага адзінства, нават фармальнага, у Рэчы Паспалітай, як вачавідна, ня існавала. Усе элементы дуалізма на фэдэрацыйных асновах выразна выяўлены у пабудове Рэчы Паспалітай.

Д. А. Жаринов.

Крестьянская дифференциация перед падением крепостного права.

В истории русского хозяйственного быта эпохи, непосредственно примыкающей к ликвидации крепостного права, исследователи останавливаются, главным образом, на условиях русского помещичьего хозяйства и обрабатывающей промышленности, оставляя сравнительно в тени вопрос об экономических явлениях, характеризующих внутреннюю жизнь крепостной деревни. Между тем, едва ли вполне основательно рассматривать крепостную народную массу, как что-то застывшее в хозяйственном развитии, выступающее единственно в качестве орудия для осуществления помещичьих или государственных интересов. Крепостная деревня, хотя и при ненормальных условиях, все же переживала свой процесс роста производительных сил, и этот процесс незаметно, хотя и неуклонно, подтачивал основу крепостного права. Мы привыкли к мысли, что единственным проявлением освобождения крестьян снизу были крестьянские волнения: но не служат ли и сами эти волнения только одним из конкретных выражений какого-то более глубокого экономического процесса?

Не задаваясь задачей представить здесь внутреннюю хозяйственную жизнь крепостной деревни во всей ее полноте, остановимся пока на одной стороне этой жизни—на процессе *хозяйственного расслоения* крепостных крестьян за время преимущественно второго двадцатипятилетия XIX-го века.

I.

В 1923 году С. Архангельский напечатал весьма интересную статью по вопросу об экономической дифференциации крестьян нечерноземной полосы второй половины XVIII-го века. Ученый оперирует с извлеченными из вотчинных архивов хозяйственными инструкциями Румянцева, Шереметьева, князя Грузинского, Орлова и других, привлекая в дополнение и кое-какой материал, уже появившийся в печати, как приказ ярославского помещика Карновича, наказы Болотова и Рычкова, переписка Суворова и друг. Выводы Архангельского бросают некоторый свет и на отношения XIX-го века, но что касается до литературы специально по XIX веку, то тут продолжают пока стоять на первом плане работы П. Б. Струве и Н. П. Огановского.

П. Б. Струве принадлежит честь впервые в вопросе о помещичьем хозяйстве обратиться к широкому использованию как старой хозяйственной журналистики и литературы, так и некоторых архивных данных. По неоднократно приводимой выдержке из Струве, „дореформенные агрономы из помещиков гораздо раньше земских статистиков и гораздо раньше марксистов открыли крестьянскую дифференциацию. Они знали, что ее гнездилищами были селения свободных государст-

[1]) С. Архангельский. „Крестьяне крепостной деревни Московского промышленного района во второй половине XVIII-го века.“ Архив истории труда в России, 1923, 8.

венных и оброчных помещичьих крестьян" [1]). Правда, дифференциация развиваемая оброком, была выгодна для помещика лишь при наличности прибыльных промысловых заработков, где к оброку в форме поголовной подати можно было присоединить и дополнительный подоходный налог с разбогатевших крестьян; но, с другой стороны, и бороться с дифференциацией было трудно: всякие искусственные поравнения оказывались бессильными против явлений, выросших на почве торговли и ростовщической эксплоатации. Дифференциация обычно сопровождает и промышленную, и поземельную оброчную систему, так как и последняя все же открывает для горсти богатеев некоторый путь к самостоятельному накоплению; а поскольку на оброк должны поневоле переходить как имения очень крупные, так и мелкие, то можно заключить, что, по мнению Струве, развитие оброка содействовало и развитию дифференциации.

Была ли дифференциация в барщинных имениях?

Барщина, по мнению Струве, только нивеллировала крестьян, так как нуждалась в кооперации равносильных хозяйственных единиц, а вместе с тем, отнимая у крестьян весь прибавочный продукт, в самом корне подрезывала возможность накопления. Но автор все-же признает, что, во-первых, „средний крестьянин представлял абстракцию"; были крестьяне с хлебными избытками, были и с постоянным дефицитом, что определялось если не развитием собственно социальных отношений, то географическими условиями национального разделения труда; во-вторых, в особой статье Струве „Попытки артельной организации крепостных крестьян" последняя понимается как проявление особенных забот об уравнении; стало-быть, и в барщинных имениях сказывалось какое-то расслоение. [2])

Интересные и содержательные выводы Струве пересмотрены Огановским в сопоставлении с материалом, почерпнутым как из разных статистических описаний (Стат. Отд. М. Вн. Дел., М. Гос. Им., Вольн. Эконом. Общ., Редакц. Комис., офиц. Генер. Штаба), так и из целого ряда монографий старых и новых авторов. По мнению Огановского, хотя, с размножением населения и падением урожайности полей, дифференциация крепостной массы вообще должна была приостановиться и смениться, если не нивеллировкой, то общей подвижкой вниз, все-же в промысловой полосе процесс этот не только не парализовался, но даже пересиливался влиянием дифференцирующих факторов, каковым является развитие промыслов; затем автор совершенно не согласен со Струве по вопросу о дифференциации крестьян в барщинной черноземной полосе; если здесь дифференциация и была слабее, то вовсе не вследствие уравнительной политики помещиков, а потому, что земельные наделы были слишком малы и расслоению мешала ограниченность средств существования. „Самые благожелательные помещики, указывает Огановский, говорили, что нельзя уравнять состояние всех хлебопашцев, и идеалом ставили лишь требование, чтобы бедняков и бездомных бобылей, сельского пролетариата, не было..... Но и этот идеал зачастую не достигался,—и пешие безлошадные дворы были, вероятно, довольно частым явлением в барских имениях. [3]) Что касается, далее, до мысли Струве о влиянии на расслоение географических условий, в частности земельного простора и редкости населения, Огановский подтверждает ее ссылкой на исследования, касающиеся юго-восточной и северо-восточной России, а также и Украины (в последнем случае, главным образом, по данным Румянцевской пере-

---

[1]) П. Б. Струве „Крепостное хозяйство" М. 1913 г. стр. 85.

[2]) П. Б. Струве. Op. cit., стр. 135, 173, 174.

[3]) Н. Огановский. Очерки по истории земельных отношений в России. Сар. 1911, стр. 329.

писи 1767 г., по исследованиям Багалея, Филимонова, Лучицкого, Мякотина и по данным инвентарей, по работам Осадчего и Фундуклея. [1])

Оба автора—и Струве, и Огановский,—согласны, что дифференциации благоприятствует, во-первых, земельный простор, во-вторых, оброчная система. Постараемся подтвердить эти предположения и некоторыми дополнительными данными из хозяйственной литературы и журналистики 30-х и 40-х годов, которые за последние два года были предметом нашего специального обследования.

В оброчных имениях Белоруссии, по наблюдениям витебского помещика Грейфенфельса, „так называемые „богатыри" отвлекают бедных от собственных работ на свои за ничтожные вознагражения; пользуясь их нуждою, снабжают помощью, за которую втрое отбирают, а в припорную пору имеют в своем распоряжении более подвластных работников, нежели сам владелец." [2]) В многоземельном псковском имении помещика В. „проворные крестьяне разбогатели, а ленивые дошли до разорения... Половина крестьян остались исправными и платили оброк по 60 руб. с обязанностью одной зимней подводы в С.-Петербург или вместо нее 10 руб. в добавок к оброку. Другая половина крестьян немощных: они ходят на барщину; лошади у них плохие, которых большая часть имеет по одной только на тягло, а некоторые и вовсе без лошади" [3]).

В Петербургской губ. сообщаются сведения о дифференциации в имениях Траубенберга, Лошкарева, а также еще одного помещика, которого его управитель, автор статьи, не называет. У Траубенберга при оброке в 25 руб. с тягла обычный посев не превосходил 5—6 четвериков на тягло, но зажиточные крестьяне высевали более, потому что беднейшие были у них в работниках. Богатые имели над ними неограниченную власть[4]). В имении Лошкарева крестьяне делились на четыре разряда: богатых, достаточных, безбедных и бедных[5]). Наконец, в третьем имении, где впрочем крестьяне преимущественно были ижоры и финны, было 8—10 дворов богатых, несомненно имеющих капиталы, хотя их [и скрывающих, располагающих 6—15] штуками скота; 12—15 дворов имеют по пяти и по десяти голов скота, хотя и не имеют запасов; от 23—25 дворов имеют от двух до восьми коров, платят бездоимочно подати, но терпят нужду весной и летом; в 12 дворах из этой группы совсем нет лошадей и землю отдают исполу. Есть еще 7 домов, между ними один дом девушки-хозяйки с малолетними братьями, один крестьянина, страдающего падучей, и два дома хозяев хронически больных. Бедняки не только остаются всегда в недоимках, но почти и никогда ничего не платят. На господскую работу только начинают учиться выходить исправно; едят только хлеб с молоком, редко овсяную кашицу, а иногда и хлеба не имеют и за сухой хлеб нанимаются в поденщики. Они часто в долгах у богатых крестьян или у сельских лавочников[6]).

Земельный простор, в свою очередь, в губерниях Тамбовской, Казанской, Саратовской и друг. тоже дает возможность зажиточным крестьянам иметь своих батраков, в качестве полугодовых работников, пользоваться трудом вышедших из тягол за летами или безлошадных односельцев и сверх получаемой от владельца земли возделывать на-

---

[1]) Н. Огановский. Op. cit., стр. 367.

[2]) Гибер фон Грейфенфельс. Мысли на статью, пом. в № 7 Земл. Газ. на 1846 г. О средствах к водворению грамотности между крестьянами. Земл. Газ. 1846, № 30 стр. 244.

[3]) В. Опыт заведения многопольного полеводства. Земл. Газ. 1838 № 65.

[4]) Ф. Дикгоф. Взгляд на хозяйственное устройство, введенное Г. надв. Советн. Траубенбергом. Землед. Газ. 1827, № 6.

[5]) Сергей Лошкарев. Отчет о состоянии и ходе хозяйства в частном имении Санкт-Петербургской губ. Журн. М. Г. Им. 1843, № 3, 148.

[6]) С. Л. Б. Еще взгляд на крестьян Петербургской г. Земледельческая Газета 1848. № 73, 679

нимаемую землю, новь, ветоши.[1]) В Саратовской губ. помещику Балашевского уезда И. Фролову встречались крестьянские семьи, которые платили по найму за одну обработку и уборку с полей своего хлеба от 500 до 1000 руб. при цене за обработку сотенника (4 десятины 400 с.) около 94 руб. [2]).

Один автор из Казанской губ., очевидно, имеет в виду свою округу, сообщая, что в России есть крестьяне, которые считают скот у себя десятками, а не единицами. [3]) Обилие скота констатирует у лучших крестьян и Ф. Майер для своего имения Новосильского уезда Тульской губ., которое по условиям хозяйства он причисляет к степным[4]).

Обратимся теперь к издельным имениям центральной черноземной полосы. Есть ли тут дифференциация? По Струве, нивеллирующее действие изделья само по себе исключает возможность расслоения крестьян.

Соображения Струве в данном случае едва ли может быть принято без значительных оговорок. Если ссылаться на нивеллирующее влияние возложенных на крестьян повинностей, то скорей, пожалуй, нивеллировать мог оброк, чем барщина. Ведь именно при оброке помещик, по выражению самого Струве, в дополнение к платежу в форме подушной подати мог приложить платеж в форме подоходного налога. Это мы и видим в целом ряде крупных оброчных имений. С другой стороны, если даже обкладывались одинаковым оброком все крестьяне, то обычно оказывал опять-таки нивеллирующее влияние часто применявшийся в оброчных имениях принцип общественной раскладки и круговой поруки. Последнему мы находим целый ряд примеров. Известный агроном Шелехов сообщает, например, о таком уравнительном порядке уплаты оброка в селах Верхней и Нижней Ландех Нижегородской губ. Оброки рассчитываются самими крестьянами по паям, или участкам, каждый участок, или пай в Нижнем Ландехе составляет 75 коп., в Верхнем—30. Иные мужики платят по 150—200, по 300 оброков в год. Доходность промыслов меняется, меняются и паи оброка. Ежегодно крестьяне выбирают между собой добросовестных, которые ходят по дворам и устанавливают, сколько каждый хозяин может платить со своей семьи оброку на будущий год.[5])

При оброчной системе повинность крестьянина легко было привести в соответствие со всяким повышением дохода. Далеко не всегда замечаем мы такое соответствие при изделье. Именно потому, что помещик нуждается в кооперации равных сил, повинности устанавливаются одинаково для всех тягол, и это может не только не помешать, а даже содействовать дифференциации. Самарин констатирует наличность самых противоположных крайностей в разряде издельных: „наряду с ужасающей нищетой, отупением и безчувственностью тут проявляется порой и постепенное возрастающее довольство. Конечно, самостоятельное участие крестьянина в устройстве своего быта весьма ограничено при изделье; тем не менее, если у барщинных крестьян получается несколько больше свободного времени, чем сколько нужно для пропитания, то при счастливых обстоятельствах и напряженном трудолюбии они могут улучшить свое состояние, смотреть не без надежды вперед“[6]). И несомненно, издельных крестьян имеет в виду тот орловский помещик Афросимов, на которого ссылаются и Струве, и Огановский. У Афросимова прямо читаем, что бедняки, попавшие в

---

[1]) Журн. М. Г. Им. 1849, XXXI, 58.

[2]) И. Фролов. Об обработке земли и урожае в некоторых частях Саратовск. губ. Земл. Газ. 1837, № 72, 578.

[3]) Земл. Газ. 1839, № 3, 20.

[4]) Ф. Майер. О степях и степных хозяйствах. Полн. собр. соч. М. 1851, т. I., 119.

[5]) Д. Шелехов. Народное руководство в сельском хозяйстве М. 1830, т. II, 115.

[6]) Ю. Самарин. Соч. т. II, 76-77.

кабалу к богатым, работают на них или ходят за них всю зиму на барщину[1]). Повидимому, будет гораздо осторожнее остановиться на мнении Огановского, который, признавая оброчную систему более благоприятной для дифференциации, тем не менее, с одной стороны, видит причину этого лишь в доведении до минимума крестьянских наделов, а с другой—допускает, что у барщинных крестьян дифференциация имелась и была только менее развита, чем у оброчных[2]).

II.

Каковы были источники первоначального накопления для верхнего слоя крестьян крепостных имений?

„Возьмем в пример, говорит Вилькинс,—две тысячи душ крестьян, в одном месте населенных. Полагая на каждую ревизскую душу по восьми десятин полевой и усадебной земли, должны занять они площадь в 153 кв. верст. и 1440 сажен; следовательно, дальняя полоса у крестьянина в каждую сторону будет слишком за 6 верст от жилища, если бы даже сие последнее и находилось в самом центре владения. Неудобство обрабатывать землю на таком дальнем расстоянии побудило некоторых из жителей, более предприимчивых, обратиться к промыслам и даже к торговле. С увеличением народонаселения и образованности, выгоды от сих оборотов стали делатся ощутительнее, и торговые крестьяне стали приобретать немаловажные капиталы. Следствием такого разделения выгод и занятия в одном и том же селении был неминуемый упадок других крестьян, собственно хлебопашцев, в той же пропорции распространяющийся, в какой умножалось богатство крестьян капиталистов“. [3]) „Богатство крестьянина, читаем мы у другого автора, иногда приобретается сохою, а часто кулем соли или задешево купленной лесною дачей“[4]). „В Ярославской губернии способнейшие и зажиточнейшие крестьяне бывают обыкновенно подрядчиками и часто берут на себя огромные работы“. [5]) В свое время Туган-Барановский уже отметил, в виде источника крестьянского обогащения, ткачество миткаля и раздачу пряжи по другим, более бедным избам. [6]) В приведенных случаях указывается, главным образом, промышленная деятельность, но иногда источником обогащения являлось и образцово поставленное сельское хозяйство. О таких хозяйствах у некоторых крестьян Костромской губ. сообщают сотрудники Журнала Мин. Гос. Им. и Трудов Вольн. Эк. Общества [7]). Если не в виде источника первоначального накопления, то дальнейшего преуспеяния зажиточных крестьян приводит тульский помещик Ф. Майер наличность в имении каменоломни, рыбных ловель, соседства с большой дорогой. Богатый крестьянин имеет людей и орудия для обделки жерновов; имеет сеть для рыбной ловли, большой двор и приют для приежающих [8]).

[1]) Земл. Журн. 1834, XX 888-889.

[2]) Ср. П. И. Лященко. Очерки аграрной эволюции России. Л. 1924, 117. По мнению автора, барщина могла быть для крестьян легче оброка; она была по крайней мере определена и, хотя для помещичьего хозяйства была также крайне непроизводительна, но давала возможность крестьянину повысить производительность труда на другой половине полей, в собственном своем хозяйстве.

[3]) И. Вилькинс. Мысли о возможности рационального хозяйства России, Земл. Журн. 1833, 635—737.

[4]) Общие замечания по сельскому хозяйству, Земл. Газ. 1844 № 38, 299.

[5]) Промышленность Ярославской губ. Библ. для чтен. 1849, XI.

[6]) М. Туган-Барановский. Русская фабрика в прошлом и настоящем. М. 1922, стр. 167—168.

[7]) Е. Доможиров. История крестьянского хозяйства в одном помещичьем имении, Ж. Г. Им. 1843, XXXI, 27. С. Дмитриев. Опыт практических замечаний Кинешемского земледельца о сельском хозяйстве Костромской губ. Тр. И. В. Эк. Об. 1843,54.

[8]) Ф. Майер. Опыт сельского благоустройства или полиции. М. 1835, 192-194, 239-240.

Было, вероятно, немало и других источников обогащения и первоначального накопления. Так, нередко получали доступ к обогащению дворовые. В Белозерском уезде, по наблюдению помещика Владимирского, [1]) зажиточные дворовые составляют для нужд крестьян неиссякаемый заемный банк. Помещик Дмитриев рекомендует ставить в привиллегированное положение скотников с дозволением им брать в свою пастьбу и стадо соседних селений, хотя бы с пастьбой его на господских пустошах[2]). Источником обогащения мог быть выгодный брак. Любопытно, что уравнительные стремления помещика здесь явно сталкивались с интересами зажиточных крестьян. Так, помещик Титов прямо констатирует недовольство крестьянской бедноты отказом помещика вмешиваться в заключение брака: бедные крестьяне лишились возможности найти себе невесту, а бедные невесты женихов. Но уступая требованиям жизни, и сам Титов, и большинство помещиков середины XIX-го века должны были предоставить крестьянам свободу брака[3]), Наконец экономическому возвышению крестьянина могла помочь и грамотность, знакомство с каким-либо квалифицированным ремеслом. Первое открывало путь к какой-нибудь должности в помещичьей конторе или при разных промышленных предприятиях, вторая могла стать источником большого заработка. Правда, указывается, что уже и само стремление к грамотности обнаруживает преимущественно зажиточный крестьянин. В богатом белорусском имении Гибера фон Грейфенфельса в основанную помещиком школу родители сами приводили детей, прося наперерыв принять их в школу; учеников в первое время нельзя было оторвать от таблиц и книг; сорганизовалось даже взаимное обучение. Но в бедной деревне своей родственницы тот же помещик не имел успеха. Лишь некоторые ученики—замечает автор—„дети более достаточных родителей, обнаружили понятие и охоту к учению; дети же бедняков оказались бедны не только хлебом и одеждой, но и охотой и способностями“[4]). Грамотность является и симптомом, и вместе источником довольства, она дает крестьянину способы улучшить хозяйство без разорительных расходов со стороны помещика, повышает уровень культурных потребностей крестьян[5]). „Образованный крестьянин—читаем мы в брошюре издателя „Посредника“ С. М. Усова—основательнее обдумывает свои предприятия, ведет себя воздержаннее и трезвее и вообще в своем состоянии бывает исправнее и зажиточнее, нежели грубый и необразованный: первый доставит себе и более пользы, и для помещика будет благонадежнее, и для государства важнее, потому что в нем можно будет ожидать хорошего фермера, размножение которых так способствует развитию усовершенствований в сельском хозяйстве“. „Этот фермер—вторят другие авторы, будет непременно думать о промышленности; получив грамоту, не остановится на ней, а сам все узнает дальше, что нужно и возможно“ [6]).

На первом плане среди источников обогащения стоит все же самостоятельная хозяйственная деятельность крестьян. Но в условиях

---

[1]) В. Владимирский. О ссудах между крестьянами Ж. М. Г. Им. 1845, XVI, 149, 150-151

[2]) С. Дмитриев. Опыт практических замечаний кинешемского владельца о сельском хозяйстве Костромской губернии. Тр. И. В. Эк. Общ. 1844, II, 384-386.

[3]) Михайло Титов. О косьбе ржи. Зем. Журн. 1836. № 4, стр. 77. Также записки А. О. Смирновой. Спб. 1895, 288 6 ноября 1853 г. через министра внутр. дел было об'явлено Высочайшее распоряжение, подтверждающее ст. 949 IX Т. Св. Зап.

[4]) Гибер фон Грейфенфельс. Об успехах приходских школ в Витебской губ. Земл. Газ. 1848, № 85, 677.

[5]) Главные основания расчетливости в сельском хозяйстве Земл. Газ. 1837, № 64,511. П. П-н. О необходимости усиления внутреннего потребления земледельческих произведений. Ж. М. Г. Им. 1843 № 2 303-306.

[6]) С. М. Усов. Учение сельскому хозяйству. Спб. 1841, 11 Бар. Ф. Унгерн-Штернберг. Крестьянское училище. Земл. Газ. 1841. № 62,492 Д. Ф. Л. О средствах к водворению грамотности между крестьянами. Земл. Газ. 1846, № 7, стр. 50.

крестьянского быта нужно было, повидимому, считаться с одной очень существенной основой для этой деятельности—наличностью в крестьянском семействе некоторого избытка рабочих сил. В этом отношении обратим внимание на интересные данные по расслоению крестьян одного оброчного, но еще вполне земледельческого имения Варнавинского уезда Костромской губ., напечатанные в одном из выпусков Арх. Ист. Тр. в России. Мы сводим эти данные в следующую таблицу:

СОСТОЯНИЕ КРЕСТЬЯН	Тягла	Рабоч.	Едоки	На 1 раб. едоков	Скот	Хлеб	На ед.	Сено	На 1 раб. скота	Скота на едока
Хорошее (43,5%).	1,95	5,85	7,29	1,25	12,73	37,75	5.16	980	76,96	1,75
Посредственное (30,4%) . . .	1,94	4,64	5,54	1,19	8,8	15,97	2,9	522,86	74,69	1,59
Бедное. (26,1%) .	0,5	2,5	3,27	1,3	3,15	5,83	1,78	96,67	30,7	0,96 [1])

В первом разряде, несмотря на неблагоприятное отношение работников к едокам, все же семья питается гораздо лучше, ее хозяйство устойчивее, относительно она располагает большим количеством скота. Является возможность занять должность, обучиться ремеслу. Так, два двора из первого разряда имеют в своей среде—один бывшего барского лесника, другой оспопрививателя. Далее мы видим, как зажиточность, в среднем, убывает вместе с уменьшением семьи. Собственно говоря, можно отметить, что „агрономы средины XIX-го века“ не вполне точно выражались: быть может, гнездами дифференциации были прежде всего именно большие семьи как в оброчных, так и в барщинных имениях. „Одно из важнейших правил в сельском домоводстве то“— говорит один из агрономов 40-х годов барон А. Боде, „чтобы как можно менее дозволять семействам делиться: потому что, чем более будет работников в одном доме, тем успешнее и правильнее пойдет у них работа, и от временной болезни их или отлучки одного-двух членов семейства не расстраивается весь дом“[2]). Или вот еще отзывы: „Большие семейства, -- пишет один анонимный автор, никогда не бывают в такой бедности, как малые, не только потому, что они обладают большими силами, но и потому, что в большой семье всегда найдется один смышленее других, который распоряжается работами“. „Только тот пахарь богат, который имеет большое семейство—пишет известный помещик У. Карпович: ни под каким видом не допускать разделов между крестьянами в домах или имуществе, разве в таком случае, когда каждая часть, отделяясь, будет заключать не менее трех тягол“[3]). Даже при наличности инвентарей белорусские помещики Минской губ. отрицательно относятся к разделам, хотя и указывают, что в погоне за расширением числа инвентарных повинностей киевские помещики поощряют разделы. Разбираясь в правилах люстрации 1849 г. речицкий уездный предводитель сообщает минскому губернатору, что, по мнению речицкого дворянства, раздел крестьянских семейств следовало бы допустить лишь по внимательном местном обсуждении этой статьи владельцами, „так как одно только к сему желанию крестьян, бывающее часто без побудительных причин,

---

[1]) Данные по вычислению количества едоков и эквивалентных соотношений хлебов в калориях—по брошюре С. А. Первушина. „Обследования питания населения и их значение“ М. 1921, а также по нормам, принятым Губ. Стат. Бюро Минск. губ. Эквиваленты скота—по нормам Бюджет. Под‘отд. Ц. Ст. Упр.

[2]) А. Боде. Опытный взгляд на сельское домоводство России. Библ. для чтения 1844, XV-IV стр. 5.

[3]) У. Карпович. Хозяйственные опыты тридцатилетней практики. СПБ. 1837, стр. 274.

может впоследствии оказаться вредным и послужить к их обеднению (чего случались уже и примеры), влекущие за собой обременительные для владельцев вспомогательные издержки.“ [1]) О противодействии семейным разделам в великорусских губерниях говорил в свое время и Заблоцкий-Десятовский [2]). В свою очередь, известный барон Гакстгаузен подчеркивает важность большой семьи для русского крестьянина: „Многолюдная семья нигде не считается большим благословением, чем у русских крестьян. Сыновья приносят главе семьи новые наделы, дочери составляют такой ходкий товар, что едва требуют при них приданого, иной раз даже готовы сами заплатить за них. Иметь много детей для русского крестьянина большое богатство.“ [3]).

III.

Бесспорно, там, где трудно установить градацию повинностей, помещик борется с дифференциацией и в некоторых отношениях считает ее большим неудобством.

По мнению уже цитированного нами витебского помещика Грейфенфельса, самое лучшее—поощрять всяческим способом выкуп разбогатевших крестьян на свободу; иначе богатый, имея сильный перевес и влияние на самых распорядителей, найдет всегда способ творить зло без наказания и тем подает вредный и соблазнительный пример [4]). Управляющий несколькими имениями Курской губ. Льговского уезда Филипп Векрот признает необходимость бороться с мироедством, т. е. с влиянием людей, которые уже нажили или думают нажиться около своих крестьян и которые, ораторствуя по своему на сходках, управляют мирскими приговорами и к сельским должностям назначают своих клевретов [5]). Борется с дифференциацией и Франц Майер, утверждая, что крестьяне одного селения, несущие равные повинности, должны иметь равные права и на местные угодья. „У бедного нет средств эксплоатировать эти угодья: в таком случае надо на богатых наложить пошлину в пользу общества или обязать их какою-либо дополнительною повинностью. У бедного одна только лошадь и немного мелкого скота. Если-бы у всех было по стольку же, то от избытка подножного корма лошадь его была бы сильнее и мелкий скот сытее. Не ясно ли, что богатый кормит свои шестнадцать лошадей, шесть коров, сорок овец и десять свиней, которые у него против бедного лишние, на счет этого последнего?“ [6]). В том же уравнительном направлении смоленский помещик А. Вонляр-Лярский предлагает разделить крестьян на гильдии и обложить каждую особым налогом [7]).

К каким, однако-ж, реальным результатам приводили эти уравнительные тенденции? Уже из приведенного видно, что не всегда и при оброчной системе удается помещику обнаружить у крестьянина его достаток. „Я не знаю степени кредита между помещиками,—говорит сотрудник Журнала Министер. Гос. имущ. Д. Протопопов, но в крестьянском быту слыхал, что у иного существование капитала ока-

---

[1]) Архив бывш. Двор. Дел. Собр. Дела, по описи 1034 и 1005. Ср. донесения бобруйского предводителя дворянства минскому по предмету новых инвентарных правил 17-го апреля 1854 года, дело по описи 1005.

[2]) А. П. Заблоцкий-Десятовский. Граф П. Д. Киселев и его время, IV-306.

[3]) A. F. Haxthausen. Studien über die innern Zustände Russlands, Hann. 1847, I, 128, ср. стр. 109.

[4]) Земл. Газ. 1846 г. № 30—244.

[5]) Ф. Векрот. Ответ старого управителя вотчинами на статью, пом в № 39 З. Г. 1845. Земл. Газ. 1845 г. № 57—450.

[6]) Ф. Майер. Опыт сельского благоустройства или полиции. Москва 1835. 239—240.

[7]) А. Вонляр-Лярский. Руководство к управлению имениями. Спб. 1841—108

зывается при покраже[1]). Муромский помещик В. Г. встретил в 1834 г, крестьянина, который страшно жаловался на свою бедность и на то, что барин не оказывает ему никакой помощи. А затем оказалось, что этот крестьянин покупает у соседа помещика 90 десятин поемного луга по Оке за 14 тысяч руб. ассигнациями[2]). Далее, признавая дифференциацию в некоторых отношениях неудобной и вредной, помещик в то же время, при борьбе с дифференциацией, безусловно не может игнорировать соображение, по удельному своему весу не менее важное, чем забота о поравнении. Дело в том, что к середине XIX-го века перед помещечьим хозяйством очень определенно встает грозная опасность того, что наши аграрные статистики называют „общей подвижкой вниз", т. е. по-просту обеднения крестьянства. Встревоженный этой опасностью, помещик готов закрыть глаза на длительно совершающийся процесс эксплоатации бедняков более зажиточными, лишь бы не дать своей деревне окончательно обеднеть в ближайший, до известной степени уже надвинувшийся момент. Отсюда ясно обнаруживающаяся по временам забота об отдельных зажиточных семьях и целый ряд возражений против поравнительной политики и вообще всего того, что мешает расслоению. Поравнение и подвижка вверх— две заботы, взаимно сталкивающиеся. Чем больше становится крестьян и чем труднее затрата на их содержание, тем более и подвижка вверх начинает доминировать над поравнением. А забота о подвижке вверх не позволяет препятствовать обогащению тех или иных крестьян, хотя это и было порой в ущерб благосостоянию остальной массы.

Находятся черезчур усердные управители, которые ставят своей целью разорить богатых крестьян, так как с ними не сладить и они рассуждают, но такие управители не встречают одобрения[3]). Мало того, сам Майер, сторонник поравнения, все же должен признать, что между крестьянами восемь примеров из десяти показывают, что богатый и бедный—синонимы трудолюбивого и ленивого: „и нет сомнения, что всякий благоразумный помещик сочтет за обязанность ободрять домовитого и зажиточного крестьянина". Среди крестьян есть хорошо одетые, привыкшие пить чай; но разве это вредно с точки зрения интересов русской промышленности? „Пожелаем лучше—говорит один автор на страницах журнала „Земледельческий Муравей"—распространения сей роскоши между крестьянами; авось она поселит любовь в них к опрятности и возбудит стремление к улучшению своего быта и в других отношениях"[4]).

Вилькинс—противник крестьянской роскоши и щегольства, привычки к чаям и самоварам: уравнение рабочих крестьянских сил он считает в известной мере делом возможным и полезным. Но и он в своей рецензии на книгу Майера относится очень критически к предложенной автором поравнительной схеме: „здесь, может быть, покажется сомнительным то, что ежели все крестьяне какой-нибудь вотчины при водворении своем получили от помещика равные права на местные угодья, а впоследствии времени двое или трое из них умели воспользоваться этими правами и с помощью трудолюбия и рачительности приобрели себе хорошее состояние, между тем как другие, положим, от недостатка умственных способностей или просто по лености не хотели употребить их в пользу и через то разорились: в таком случае справедливо

---

[1]) Д Протопопов. О жалобах на обильные урожаи хлеба. Журн. Мин. Гос. Им. 1844-5. 195.

[2]) В. Г. Рабочее время так называемых барщинных крестьян. Земл. Газ. 1845 №83,660.

[3]) Ю. Ф. Самарин. Сочинения, II, 11.

[4]) Земледельческий Муравей, 1832, № 34, стр. 266—рецензия на статью Кикиня и Вилькинса „О настоящем положении дворянских состояний".

ли будет, когда сельское начальство, желая уравнять общие выгоды, заставит богатых платить лишние деньги в мирскую казну или нести лишние повинности в пользу бедных за то только, что они употребили свой невещественный капитал, т. е. свою умственную силу, для того, чтобы упрочить собственное положение?[1]) „Разумеется", заявляет на совещании Лебедянского общества сельского хозяйства помещик Шишков „что не все работники могут быть одинаковой силы и способностей. Чем же виноват тот, кто сильнее и богаче? Неужели на него накладывать больше работы?" [2]) Помещики Минской губ. с этой же точки зрения определенно восстают против круговой поруки: „порука эта, хотя бы была весьма полезна для владельца... но это средство обеспечения владельца было бы пагубным для старательного крестьянина... добропорядочный крестьянин не только не поощрялся бы к полезным трудам, но напротив того, потерял бы стремление к труду, видя свои силы обращенными в пользу ленивого"[3]).

Интересно, как в агрономической литературе 30-40 г. г. растет и крепнет отрицательное отношение к уравнительному землепользованию в крестьянских обществах. Даже сам Майер совершенно не возражает против вреда переделов. Ведь именно при переделах богатые и пронырливые крестьяне часто происками, меной с приплатой денег и проч. достигает того, что земля их очутится подле самого селенья; а затем „даже при справедливом поравнении, чем чаще оно бывает, тем меньше каждый крестьянин может считать свой участок прочным и надежным владением. Не зная, долго ли он будет им пользоваться, и полагая, что может быть на другой же год земля, предмет его трудов и издержек, должна перейти к тунеядцу, самый благонамеренный крестьянин может потерять охоту к хлебопашеству", самое лучшее не производить переделов, а на лишние прибылые тягла оставлять свободной земли и наделы закрепить наследственно[4]). По мнению князя Волконского, переделы безусловно вредны: „крестьянину надо вселить уверенность, что участок, ему по жребию доставшийся, не подлежит раздроблению и переделу; тогда только крестьянин его и будет надлежащим образом удобрять[5]). Ярым противником крестьянских переделов выступает и Вилькинс и многие другие авторы[6]).

IV.

Выделение богатых крестьян не есть еще дифференциация: ведь под дифференциаций, как справедливо замечают исследователи, „можно

---

[1]) И. Вилькинс. „Опыт сельского благоустройства или полиции, соч. Ф. Майера" Земл. Журн. 1836, I, 133-134. Ср. Мысли и наблюдения о положении земледельческой промышленности, Ж. С. Хоз. и Овц. 1843 10, 24-27, также примечание к сочинению Ф. Векерлинга. Об английском сельском хозяйстве. Ж. С. Хоз. и Овц. 1844,-10 11, 12 прим.

[2]) Сельско-хоз. совещание в Лебед. Общ. сельск. хоз. в 1849 г. Ж. М. Г. Им. 1850-36, 55.

[3]) Соображения по проекту положения о люстрациях помещичьих имений в Минской губ. Арх. бывш. Двор. Собр. Д. по оп. 1034. Против. поравнительности и у А. П Заблоцкого-Десятовского „Граф Киселев и его время" IV, стр. 287.

[4]) Ф. Майер. Опыт сельского благоустройства, стр. 116-117.

[5]) Кн. Н—ай В—ский. Указания на некоторые неудобства хлебопашества в Калужской губ. Земл. журнал 1831, IV, 24.

[6]) Вилькинс. Мысли и наблюдения о положении земледельческой промышленности в Замосковных к северу губерниях. Ж. С.-Хоз. и Овц. 1843 № 10, 34—39. Зубов. О лучшем разделении крестьянских полей. Труды И. В. Эк. Общ. т 72, стр. 232, 234, 238. О разделах полей не ранее, как через 29 лет, см. статью. „О важности для помещиков лично заниматься нравственностью крестьян". Посредник 1840, № 17, 133-134. А. Мишуринский. О вредном обыкновении крестьян делить ежегодно луга и пашни. Земл. Газ. 1839, № 34, 271-272. М. Вюст. О причинах неурожаев ржи в Северной России и о средствах их устранения. Тр. В. Экон. Общ. 1850 г., № 2, 99-100. В. Х. Хозяйственный календарь М. 1844, 25. „Чресполосное разделение полей и обычай наших крестьян разрезывать на малые участки вдоль по склону пахотные свои земли, чрезвычайно увеличивают число оврагов". (Отчет за 11 лет о ходе и произведениях Болховского хозяйства. Отеч Записки. 1844 XXXV. Отд. IV, 7).

понимать только такой процесс, когда нижние и верхние слои, крайние слои пролетариев и капиталистов увеличиваются за счет средних"[1]).

Возникает вопрос, в какой степени крестьянская буржуазия строила свое благосостояние на эксплоатации своих же односельчан и в какой степени рост благосостояния одних встречал себе соответствие в обеднении других, т. е. в какой степени процесс выделения буржуазии крепостной деревни сопровождался процессом крестьянской пролетаризации?

Категория крестьян с несколько более высоким уровнем зажиточности обычно получает источник своего дальнейшего преуспеяния во всякого рода ростовщических сделках. Помещик Сабуров с умилением перед великодушием русского сердца отмечеет, что в нынешние времена нет ни одного зажиточного крестьянина, который не ссудил бы хлебом бедного своего соседа, но, конечно, делается это не даром, а под проценты[2]). В расстроенном имении В.Ч...ой Пензенской губ. Краснинского уезда в 2114 душ крестьяне имели неуравнительную нарезку: кто три кола (т. е. десятину) в поле, кто два, а богатые мужики имели по 30, по 60 колов, т. е. по 10—20 десятин, на тягло. Богатые мужики давали беднякам взаймы: две четверти на посев, урожай пополам и работа заемщика, да кроме того еще денька три работы при жнитве[3]).

— Большие имения, говорит другой автор, „не малою частью состоят из нищих мужиков, тогда как богатые из них, или так называемые прасолы, с каждым годом более и более богатеют. Богачи в неурожайные годы, обсевают лучшие нивы бедняков своим хлебом, а в урожай за это берут с большею лихвою[4]).

Об эксплоатации бедняков богачами в имениях гр. Шереметьева говорит Гакстгаузен[5]); и тоже бедняков в долгу у богачей представляет неоднократно нами цитированный Ф. Майер. При этом крестьянин, нуждающийся в хлебе или деньгах, редко, по словам Майера, найдет кредит у своего брата за обыкновенные проценты. По большей части, вместо процентов он дает свою землю, и это бывает причиной, что такой крестьянин остается в нищете до тех пор, пока не поправит его помещик решительным вспоможением.[6]) Сплошь да рядом земельный надел бедняков фактически оказывается в руках кредитора. „Начальник, проезжая крестьянским полем, найдет, что всякий на своей земле убирает хлеб, но когда придет время возки, то увидит, что на гумнах бедняков нет ни снопа и они еще с осени просят у богатых хлеба, закладывают им свои тягловые участки земли, всю зиму на них работают или ходят за них на барщину. Богачи сии, как пиявки, сосут кровь из бедных, а приказчиков спаивают и научают всем злоупотреблениям"[7]). Дворовые крестьяне, по замечанию муромского помещика Владимирского, дают обыкновенно взаймы на следующих условиях: за 7 руб. ассигнациями обязывают крестьянина-собрата работать у них, начиная с Фомина понедельника до рождественского поста по одному дню в неделю. Это составит около 35-ти дней. Если положить за каждый из них по 40 коп. кругом, то заимодавец получает 14 рублей (ровно вдвое). Но есть дни во время посева, сено-

---

[1]) Н. Огановский. Очерки по истории земельных отношений в России. Сар. 1911, 360.

[2]) И. В. Сабуров. Записки пензенского земледельца о теории и практике сельского хозяйства. От. запис. 1842, стр. 41.

[3]) А. Пономарев. Опыт устройства имения. Земл. Газ. 1922, № 6, 43.

[4]) Общ. замечание по сельскому хозяйству. Земл. Газ 1844, № 38 300.

[5]) A. F. Haxthausen. Studien über die innern Zustände Russlands, Hann,. 1847. II, 72.

[6]) Ф. Майер. Опыт сельского благоустройства или полиции, стр. 239.

[7]) А. Афросимов. Опыт оценки работ по уездам. Земл. Журн. 1837, XX, 898, 899

косов и жатвы, которые ценятся выше рубля, тогда взнос должника должен дойти до утроения капитала, взятого им в ссуду. При получении же крестьянином 14-15 руб. он работает 2 дня в неделю, 21-25 руб.—3 дня. А за целую неделю, или полное летнее казачество, получает от 50 до 55 руб. ассигнациями, смотря по силе и ловкости[1]). В Киевской губ. каждый зажиточный крестьянин может быть уверенным, что в любой день его обыкновенно многочисленные кредиторы явятся на работу за чарку вина по первому приглашению[2]). В некоторых случаях эксплоатация бедняков заключалась в предоставлении им на прокормление скота. Так. в Кинешемском уезде Костромской г., „если зажиточный крестьянин имеет к осени более грех коров на тягло, то излишних по своему мнению отдает на зимнее прокормление крестьянам недостаточным, у коих или вовсе нет коров, или только одна, с условием, чтобы по прошествии года получить свою корову обратно и еще шесть или семь руб. деньгами; а крестьянин, кормивший корову зимой, пользуется во весь год от нее молоком, а если будет, то теленком“[3]).

Ясно, что во всех вышеприведенных случаях мы имели определенные формы дифференциации: багачи наживаются за счет бедных. Источник обогащения—ростовщичество. „Подобно развесистому дубу, который ветвями своими заглушает все, что около его выростает, разбогатевший крестьянин, живущий в деревне, делает нищими несколько десятков своих соседей, порабощая их своему корыстолюбию; ибо торгующий крестьянин есть ни что иное, как ростовщик из всех бессовестных бессовестнейший, из всех безчеловечных самый безчеловечный, употребляющий все хитрости и соблазны, дабы развратить крестьян и сделать их своими данниками“. Но такой торгаш покупает у помещика лес на сруб, снимает мельницу[4]).

Жалобы на разорение крестьянской массы, на рост недоимок, на необходимость перевода крестьян с оброка на барщину, в целях улучшения их пошатнувшегося положения встречается довольно часто в хозяйственной литературе 30-40-х годов. Беднота все больше и больше давит на помещика. „Раньше крестьяне, говорит Вилькинс,—не только не надоедали помещику постоянными просьбами и вымогательствами, но даже сами готовы были при первой же надобности притти к помещику на помощь. Обыкновенная поговорка была в то время: „Если барин богат, то и крестьяне всем довольны“. Между тем уже к 30-м годам видимо ослабла эта цепь. Крестьяне начинают строить свое благосостояние не на добровольном содействии богатству помещика, а наоборот—на использовании этого богатства в интересах поддержки своих пошатнувшихся хозяйств. „Как делается у нынешних крестьян? продолжает Вилькинс: продают осенью свой хлеб, едва успевши обмолотить его, с половины зимы приходят уже к помещику требовать ржи, потому что нечего есть. Пришла весна, и опять новое требование овса на посев: иначе полоса будет не засеяна. „Что хочешь барин делай, а просьбу их удовлетвори“. Общая теперь пословица: „Э, барская шея толста: где хочешь возьмет, а нас прокормит, небось по миру не пустит“. Среди крестьянской бедноты получают все большее распространение посевы картофеля[5]).

---

[1]) В. Владимирский. О ссудах между крестьянами. Ж. Г. Им. М. 1845 XVI—15 151.

[2]) Гохгут. Хозяйственное обозрение Киевской губ. Журн. Мин. Гос. Им. 1847, XXIV—43.

[3]) С. Дмитриев. Опыт практических замечаний Кинешемского владельца о сельском хозяйстве Костромской губ. Тр. И. В. Эк. общ. 1844, II, 520.

[4]) *** О средствах к улучшению состояния землѐдельца и земледелия в России Тр. И. В. Эк. Общ. 1845, I, 231.

[5]) Вилькинс. Мысли о возможности рационального хозяйства в России. Зем. Журн. 1833 635-637.

Быть может, до некоторой степени на пролетаризацию крестьян указывает и необходимость для них все чаще и чаще обращаться к денежным тратам.

Эрнест Рудольф жалуется, что в 40-х годах крестьяне, как и помещики, начали не по одежке протягивать ножки, и от того у тех и других обнажились и стали зябнуть ноги. Последнее общее замечание позволяет думать, что дело идет не об отдельных зажиточных крестьянах, разоряющихся на предметы роскоши, а именно о крестьянской массе. Крестьяне, по замечанию Майера, уподобляются помещику, попадая в необходимость покупать в долг. И чтобы не ездить крестьянам слишком часто за покупками, один из помещиков Курской губ. заводит собственную лавочку. По местам владельцы должны с своей стороны открывать крестьянам денежный кредит, и это не только в промышленных губерниях, что соответствовало бы более высокому уровню здесь денежного хозяйства, но и в губерниях черноземных, как Тульская, Саратовская[1]). О пролетаризации свидетельствует необходимость для помещиков Сурожского уезда заводить собственный инвентарь и нанимать постоянных дворовых работников из собственных же обедневших или нерадивых крестьян[2]). Из пролетаризованных, выбитых из нормальной колеи крестьян создаются по некоторым имениям особые сводные дружины, как это мы видим, напр., в имении гр. Разумовской Карповке или в имении саратовского помещика Акинфа Жукова[3]).

V.

Слабела или усиливалась дифференциация ко времени крестьянской реформы?

Материалы для окончательного ответа лежат в архивах и ждут разработки. Пока на основании данных литературы и журналистики, имеющихся в нашем распоряжении, считаем возможным подчеркнуть лишь весьма и весьма вероятное усиление ко времени реформы явлений, которые, согласно предыдущему изложению, содействовали дифференциации.

Мы указали, что выделяются из крестьянской массы семьи по преимуществу многолюдные. Правда, в замосковских к северу губерниях Вилькинс констатирует значительную убыль семьянистых дворов: „раньше, за 7 лет до французского года, число семьянистых в 6-8 раз превосходило число одиноких, а в начале 40-х годов—семьянистых едва ли наберется у нас третья часть против одиноких“.[4])

Но вопрос: если $^2/_3$ уже измельчали, не выиграла ли от этого в хозяйственном отношении остальная треть, т. е. не отмечает ли Вилькинс одну сторону все того-же процесса дифференциации? И кроме того, достаточно много отзывов, рисующих в отношении черноземной полосы как раз прирост многолюдных семей. В Рязанской губ., по наблюдениям Заблоцкого-Десятовского, сплошь да рядом получаются семьи в 27-40 человек. У Игнатович высчитано по некоторым губерниям количество душ на тягло: известно, что, если, напр., во Владимирской губ. приходится на тягло менее двух душ, то в черноземных свыше трех. Тягла скучиваются по избам. По свидетельству управителя имения гр. Бобринской барона Унгерн-Штернберга, на одну избу в

---

[1]) Э. Рудольф. Выдержки из дневных записок Ефремовского земледельца, Ж. М. Г. М. 1846 XIX. Ив. Мещеринов. О способах к улучшению состояния крестьян. Земл. Ж. 1831 № 2,226-334. Андрей Леопольдов. Очерк хозяйства А. М. Сумарокова, Саратов. губ. Сердобск. уезд в селе Александровке. Земл. Газ. 1838 № 59.467.

[2]) Г. И. Есимонтовский. Сельское хоз. в Сурожск. уезд. Черниг. губ. Ж. М. Г. Им. 1845, XV, 8.

[3]) А. Жуков. Начальные основания русского сельского хозяйства. М. 1837, 159-160. *Известия о разных хозяйственных распоряжениях по имению гр. Разумовской.* Земл. Газ. 1835. № 62,483-493.

[4]) Вилькинс. Мысли и наблюдения о положении земледельческой промышленности в замосковных к северу губерниях. Ж.С.Х. и Овц. 1843 № 8,109.110, № 9, 255-262, № 10,3.46-52.

Тульской губ. приходится от 3 до 4 тягл. Источники дают нам некоторую возможность проследить постепенное уплотнение и самых тягол. В 30-х годах Н. Муравьев в примечаниях к Тэеру дает,—на основании, быть может, сведений и не по одной своей Московской губ.,—среднее количество на тягло—2 души. Для 1847 г. по губерниям Казанской и Пензенской один из авторов считает, что обыкновенно число тягл составляет менее, нежели половину числа душ, так что при 100 душах обыкновенно бывает 45 тягол; это-же подтверждается и Заблоцким-Десятовским. [1]) На тягло получается 2,5 души. Между тем, в Приложениях к Трудам Редакционных комиссий для Пензенской губ. средняя цифра душ на тягло уже 2,16. Таким образом, среднее количество душ на тягло, по крайней мере в черноземной полосе, сгущается, семьи становятся многолюднее, а следовательно, по крайней мере для некоторых из них, открывается путь к хозяйственному возвышению.

Многолюдность семьи—залог ее преуспеяния, но в большинстве случаев, как мы видели, преуспеяние это получается за счет обращения части рабочих сил семьи к оброку; не даром,как замечает Сабуров, все почти большие семьи, даже в Саратовской губ., на оброке. Таким образом, благоприятным условием для дифференциации можно признать и рост оброчной системы.

Увеличивалось ли применение этой системы ко времени реформы?

Это вопрос, в отношении которого, как известно, еще нет вполне установленного мнения. В то время, как одни, напр. Н. А. Рожков, в усилении оброчной системы видят одно из типичных проявлений торжества денежного хозяйства над замкнуто-крепостническим [2]), другие, как П. Б. Струве, настаивают на развитии обратного процесса—перевода с оброка на барщину.

При разрешении этого вопроса приходится иметь в виду: 1) в какой степени расширяется поле крестьянских оброчных заработков; 2) в какой степени возрастает у крестьянина досуг для них, т. е. в какой степени остается неиспользованным труд крестьянина на месте, 3) очень важное отношение к вопросу о развитии оброчной системы имеет и вопрос о так называемой системе смешанной, по которой или часть крестьян обращается на изделы, часть на оброк, или одно и то же тягло часть времени отдает изделию, часть оброку?

Расширяются ли крестьянские денежные заработки.

В пользу этого свидетельствует вся картина эволюции нашей хозяйственной жизни. С одной стороны, город вообще все больше и больше требует сил от деревни. Дворянство, живущее по-европейски, обычно держит в городах наемную прислугу, чего раньше не водилось [3]). Дворянские дома переходят во владение казны, общественных учреждений, купцов и всяких разночинцев; для обслуживания вновь возникающих магазинов, трактиров, гостинниц и проч. требуются опять таки вольно-наемные; рост городского населения увеличивает потребность в постройке и ремонте зданий [4]). Увеличивается спрос народных сил и со стороны нужд всякого рода транспорта—как в пределах растущих городов, так и по передвижению товаров к местам внутреннего и внешнего сбыта. В Болховском уезде у крестьян оказывается значительная потребность в лошадях, удовлетворяемая за счет сокращения числа рогатого скота, по причине не

---

[1]) „В большей части помещичьих имений число тягол составляет несколько менее половины ревизского числа душ". „Граф Киселев и его время"; 276.

[2]) Н. А. Рожков „Город и деревня в русской истории". П. 1918 г., 103. Его-же. Русская история в сравнительно-историческом освещении, Л. М. 1924, т. X, стр. 280-283.

[3]) A. F. Haxthausen, Studien über die innern Zustände Russlands, Hann, 1847, I, 81

[4]) Припомним те необходимые поправки по поводу численности русского городского населения 40-ых годов, которые внес А. Корнилов в успевшую уже утвердиться у нас схему Милюкова—А. Корнилов „Курс истории России XIX в.", III, 27.

только увеличивавшейся запашки, но и извоза [1]). Бурлаками, по Гакстгаузену, были преимущественно помещичьи крестьяне. Фабриканты опять-таки предпочитали нанимать помещичьих, а не государственных крестьян, между тем как рост нашей фабрично-заводской промышленности уже достаточно обрисован [2]). Далее выдвигается мало-по-малу новый заработок по самим помещичьим имениям, по мере перехода части этих последних к собственной переработке сельско-хозяйственных продуктов. По подсчету Шишкова, в 7 лет для произведения 16956 берковцев свекловицы потребовалось 35926 рабочих дней мужских и женских, т. е. на каждый берковец, собранный с плантации свекловицы, требуется около 2½ рабочих дней, а следовательно для одной десятины, (из расчета 80 берковцев с десятины) потребуется около 250 рабочих дней. Это, по мнению Шишкова, делает совершенно невозможным обработку свекловицы, а тем более добывание сахара барщиной, почему все работы как на плантации, так и на заводах производятся у него наймом [3]). В некоторых случаях нанимались свои же крестьяне, которым заработная плата зачитывалась в оброк; но сплошь да рядом общее осложнение хозяйства, связанные с возделыванием свекловицы и вообще корнеплодов, создавало спрос на вольно-наемный труд по самым разнообразным отраслям и в более широком масштабе. „Я поставил себе за правило, говорит зарайский помещик Михайло Титов, —производить уборку корнеплодных не барщиной, а наймом: при малом урожае одними своими, а при большом и сторонними людьми" [4]). В исходящей книге имения Богородицкого уезда Тульской губ. графа А. П. Бобринского значится, что, напр., 29-го августа 1851 года выдано свидетельство крестьянину Ивану Давыдову, отправленному в разные селения для найма рабочих. Выдача свидетельства указывает, вероятно, на выезд за пределы из владений Бобринского. 23-го сентября 1860 года выдано свидетельство крестьянину Тульск. губ. Веневского уезда деревни Подосинок помещика Кожина Борису Тихонову, по случаю ушиба отправленного в свою деревню. 29 декабря 1860 года дан пропуск крестьянину села Иевлева для найма рабочих в гор. Тамбов. При свекло-сахарном заводе Бобринского работают тульские столяры и слесаря, владимирские плотники. Из таких постоянных рабочих у графа в 1855 году пришлых 10,24 процента, в 1857—6,88 проц. [5]).

Ясно, что по мере перехода некоторых крупных имений к более квалифицированным видам сельского хозяйства, здесь и создается новый источник заработка для крестьян, располагающих возможностью отдать часть своих сил на работу по найму. Получают заработок и мужчины, и женщины. Последние, по словам одного автора, преисправно полют свекловицу и постепенно привыкают к трудам [6]). Развивается и вообще сельско-хозяйственный наем. В Белевском, Новосильском и Чернском уездах Тульской губ. спрос на рабочие руки уже не удовлетворяется местным населением: „пропустив срок весенний, пишет помещик Мясоедов,—трудно найти и работника для жнитва; но приезжают к нам из Смоленской и Калужской губ. целыми деревнями; также оттуда приходят партии копачей, каменьщиков и прядильщиков канатных [7]).

---

[1]) И. Лавров. Отчет за 11 лет о ходе и произведениях Болховского хозяйства. Отеч. записки, 1846, г., т. 48., 19—21.

[2]) И. Игнатович. Помещичьи крестьяне накануне освобождения, М. 1910, стр. 90, и М. Туган-Барановский. Русская фабрика в ее настоящем и прошлом. М. 1922, стр. 101—102.

[3]) О свеклосахарной промышленности России. Ж. М. Г. Им. 1852, т. 42,57.

[4]) М. Титов. О разведении картофеля, как пособия в народном продовольствии. Ж. Сельск. Хоз. и Овц. 1841, 11, 105.

[5]) Д. А. Жаринов. К вопросу о помещичьем хозяйстве в Тульской губ. Труды Археограф. Ком. Археолог. Общ. 1913 г.

[6]) А. Трубников. Заметки о Малороссийском крае. Зем. Газ. 1840, № 77, 614.

[7]) Григ. Мясоедов. Хозяйственно-статистический обзор южной части Тульской губернии. Тр. И. В. Эк. Общ. 1842, 1, 249.

По Гакстгаузену, за 8 лет до его путешествия в Бобровском уезде Тамбовской губ. заработная плата поденщику была 20 к. ассигнациями, а уже во время путешествия она поднялась до 1 р. 20 к. [1]).

Несомненно, очень важное значение для развития отхода имеет рост сельского хозяйства в Поволжье и Новороссии. В Саратовской губ. многие туземцы идут на заработки, но многие десятки тысяч приходят из губерний соседственных: Пензенской, Тамбовской, Воронежской и дальних: Нижегородской, Костромской, Рязанской, Харьковской и других[2]). На юг, в Таврию идут рабочие не только из южных, но и белорусских губерний[3]). Констатируется отход на юг по исходящей имения Бобринских. И в Поволжье, и в Новороссии стоит очень высокая заработная плата, которая все возрастает. Так, в Новороссии и Екатеринославской губ. годовая плата годовому работнику при своей одежде и обуви составляла:

1836—38 г.	20 р. —	сер.
1838—40 г.	23 р. —	„
1840—42 г.	26 р. —	„
1842—44 г.	28 р. 50 к.	„
1844—46 г.	30 р. —	„
1846—1849 г.	33 р. —	„

Кроме того, в среднем выдавалось на харчи 11 р. 50 к.

Работнице:

1836—41 г.	12 р.	сер.
1841—45 г.	14 р.	„
1845—49 г.	16 р.	„
Кроме того, на харчи	8 р.	„ [4])

При этом можно констатировать явление, небезинтересное с точки зрения нашей темы. Суражский уезд Черниговской губ. очень беден, и там трудно найти вольно-наемного работника; последних, наоборот, сколько угодно в хлебородных уездах Кролевецком и Глуховском. „Очевидно, делает вывод Г. Есимонтовский, богатый хлебом крестьянин охотно идет зарабатывать лишнюю копейку; напротив, наш Суражский боится оставить бедное, колеблющееся свое хозяйство, которое в его отсутствии может подвергнуться большому расстройству и тем увеличить его скудность“[5]). С другой стороны, в дальнем отходе в Новороссию участвуют порой и зажиточные, и бедные, но зажиточные, обладая лошадьми, успевают опередить бедняков в прибытии к местам самого выгодного спроса и лучших цен, так что бедняки оказываются нередко в очень трудном положении, заболевают и умирают по дороге[6]). Между тем, по мере продвижения колонизации

---

[1]) A. F. Haxthausen. Studien über die innern Zustände Russlands, Hann. 1847, II, 97.

[2]) А. Леопольдов. Заработки в Саратовской губ. Ж. М. Гос. Им. 1842, № 4, смесь 165—166.

[3]) П. Юревич. Сельско-хозяйственные наблюдения по дороге из Коренной в Харьков. Ж. М. Гос. Им. 1852, т. 44, 100.

[4]) С. Лошкарев. Земледельческая хроника. Ж. М. Гос. Им. 1851, т. 40, 99. И. Шумяков. Общие замечания по сельскому хозяйству в имениях Таврической губернии Днепровского уезда. Ж. С. Хоз и Овц. 1846 № 3, 231—232. А. Мясоедов. Степное Саратовское хозяйство в Аткарском уезде. Ж. С. Хоз. и Овц. 1847, № 6, 232. Иван Сперанда. О сенокосных местах и хлебокошении в Новороссийском крае. Ж. С. Хоз. и Овц. 1847, № 10, 57. И. Рекк. Отчет о степном хозяйстве в Саратовском Заволожье Ж. М. Гос. Им. 1843 № 1, 46—47. С. Лошкарев. Путевые записки о сельском хозяйстве Южной России. Тр. И. В. Эк. Общ. 1845 № 1, 17—18. Н. Мартыновский. Заметки хозяина Новороссийского края в 1842 г. Земл. Газ. 1843, № 27, 212.

[5]) Г. Есимонтовский. Сельское хозяйство в Суражском у. Черниг. губ. Ж. М. Г. Им. 1845. т. XV, стр. 10.

[6]) К. Буницкий. О промыслах земледельческого сословия в Новороссийском крае. Ж. М. Гос. Им. 1847. Т. 23, 62—63, 64.

на юг и главный спрос на вольно-наемных естественно отодвигается к югу, все дальше и дальше от мест отхода: даже северные уезды Харьковской губ.: Ананьевский, Бобринецкий, Тираспольский и почти весь Александровский к концу 40-х годов оказались в необходимости от вольнонаемного труда перейти к барщине, тогда когда еще за 20 или 25 лет до этого времени здесь все почти хозяйства действовали наймом.

Итак, заработки растут, сфера применения крестьянской предпримчивости и труда заметно расширяется. Это и само по себе влияло на дифференциацию, и, как можно не без основания предположить, значительно усиливало переход к оброку. Правда, параллельно развивается и внутренний хлебный рынок, и отсюда потребность помещиков сохранить и даже расширить собственное барское хозяйство. Но последнее все более и более уживается с оброком, поскольку хозяйственная эксплоатация крестьянского труда получает себе новое подспорье. Это подспорье—улучшенные орудия и машины.

Вопрос об орудиях и машинах имеет отношение и к вопросу получения крестьянином большего досуга, и к вопросу все о том-же-расширении крестьянских вольно-наемных заработков. Здесь опять-таки мы сталкиваемся в литературе с научным контроверзом. Самый факт значительного распространения сельско-хозяйственных машин был констатирован П. Б. Струве[1]), но высказанное в связи с этим мнение Рожкова о влиянии технических усовершенствований на развитие вольнонаемного труда и оброчной системы было истолковано в свое время как результат чрезмерного увлечения трафаретом, снятым с развития обрабатывающей промышленности. Указывалось, что в тех местах, где господствовали самые экстенсивные системы земледелия, там именно и получил распространение вольно-наемный труд, тогда как в центральных районах, с более интенсивным хозяйством, он встречается лишь, как исключение, на свекловичных плантациях западно-украинского района; что вместе с тем, вообще, вопреки мнению Струве и Рожкова, прогрессивные течения в помещичьем хозяйстве были совершенно ничтожны и не могли оказать влияния на общую систему земледелия[2]).

Рассмотрим, 1) насколько были распространены улучшенные машины и орудия и 2) каково было их влияние на систему помещичьего хозяйства.

В хозяйственной литературе начала и середины XIX-го века не раз указывается преимущество плуга над сохой—преимущество, видно уясненное не из теоретического знакомства с западно-европейской агрономией, а из практических опытов[3]). У пензенских помещиков в 50-х годах заводятся экстирпаторы и другие подобные орудия. Шишков на заседании Леб. Общ. С. Хоз. опровергает мнение, будто крестьяне не понимают пользы новых орудий и машин: наоборот, где они заводятся с благоразумной осмотрительностью, с надлежащим надзором, там крестьяне вскоре убеждаются в пользе нововведения и отдают им должное преимущество. Постановка вопроса об орудиях и об отношении к ним крестьян на заседании Лебедянского

---

[1]) Крепостное хозяйство М. 1913, 75—76.

[2]) Н. Огановский. Очерки по истории земельных отношений в России, Сар. 1911, 372—373. А. Лосицкий. Хозяйственные отношения при падении крепостного права. Образование, 1906, № 11.

[3]) Неизвестный. Записка о хозяйстве, устроенном в одной подмосковной по новому способу землевоздельивания. Земл. Журн. 1821 г. т. 1, 89. Ярослав Линовский. Беседы о сельском хозяйстве. М. 1845. 1. П. Поздюнин. Сравнение употребительнейших в России пахотных орудий. Земл. Журн. 1833, № 14. 937. Записки деяний И. В. Эк. Общ. в 1820 г. Прилож. к 72 тому Труд. Общ., стр. 320-332.

Общества Сельского Хозяйства указывает до известной степени на их распространенность. [1]) Известна далее довольно оживленная полемика на страницах нашей хозяйственной литературы по поводу преимущества серпа и косы при уборке хлеба: в защиту косы выдвигаются, помимо гуманных соображений общего облегчения работы, и экономия в рабочих силах: вместо 10 жнецов на десятину идут два косаря и четыре вязальщицы. Судя по многочисленным корреспонденциям по вопросу о косе, о разных способах приспособления косы к уборке хлеба, видно, что кошение ржи получило довольно широкое распространение. Смоленские помещики—Бельского уезда Жегалов и Ельнинского Григорьев—изобрели колосожатные тележки. Засуха 1834-35 года и наступление ранних морозов в 1836 году заставили петербугского помещика Мамышева так поторопиться с уборкой, что, не справившись с барщиной, он сооружает длясебя, по указаниям, полученным из Земледельческой газеты, жатвенную машину [2]). Опыты смоленских помещиков и Мамышева говорят еще не о распространении жней, а только о зародившейся в них потребности: но о некотором распространении жнеек в южном полосе (не забудем сказанного выше о кризисе с вольным наймом в северной части Новороссии) свидетельствует анонимная статья о состоянии сельского хозяйства в южной России в 1851 году. [3]) Хозяйство может даже остаться экстенсивным, но необходимо поторопиться с уборкой. Это последнее соображение—о необходимости ускорить уборку, подготовить хлеб к отправке по первому зимнему пути, а равно и сберечь труд крестьян для какого-либо иного продуктивного применения—открывает особенно широкий путь к распространению в наших помещичьих хозяйствах молотилок. По вопросу о молотилках мнение Огановского о слабой у нас распространенности сельско-хозяйственных машин кажется особенно преувеличенным. „Несмотря на то, что слышим более неблагоприятных, чем одобрительных отзывов о машинах—читаем мы в отчете Ярославского Общества Сельского Хозяйства—употребление их год от года увеличивается в сельских хозяйствах. Даже не прибегая к статистическим данным, можно смело сказать, что нет ни одной губернии, даже ни одного уезда, где бы не находилось в постоянном действии несколько молотильных и веяльных машин. И покупаются эти машины не одними богатыми помещиками,“ такими владельцами, у которых ценность машины может на время поколебать хозяйственный баланс доходов [4]). По свидетельству агронома Марковского, в Пензенской губ. в 1852 г. молотьба у помещиков производится почти исключительно машинами [5]). О выгодности молотилок, применяемых в помещичьих хозяйстах, пишут авторы в отношении губерний Казанской, Симбирской, Киевской, Екатеринославской. В Екатеринославской губернии иные молотят телегами, каменными катками, лошадьми, но молотьба молотильными машинами, *которыми работают ныне почти во всех помещичьих имениях* (к. н.), почитается самою выгодною [6]).

---

[1]) Агр. Адам Марковский. Опыт о сельском путешествии по Пензенской губ. Ж. М. Гос. Им. 1852, 42-274. Мнение Н. П. Шишкова в Записках Леб. Общ. Сельск. Хоз. за 1850 год. М. 1851.

[2]) Н. Мамышев. Саможалки. Земл. Газ. 1837, № 28, 218.

[3]) Ж. М. Гос. Им. 1852. т. 44, стр. 121.

[4]) Извлечен. из Отчета Яросл. общ. Сельск. Хоз. Ж. М. Гос. Им 1852, 44, 215.

[5]) А. Марковский. Отчет о сельско-хозяйственном путешествии по Пензенской губернии Ж. М. Гос., Им. 1852 I, т. 42, 274.

[6]) Яков Дорохов. О пользе введения машин в хозяйстве вообще, о достоинстве молотильной машины г. г. Бутенопов в особенности. Земл. Газ. 1838, № 2, 11, П. Якубовский. Хозяйственные заметки о губерниях: Казанской, Симбирской и Пензенской. Ж. М. Гос. Им. 1847, т. 25, 24. Я. Дорохов. Несколько замечаний о хозяйственных распоряжениях у казанских помещиков. Земл. Журн. 1837, № 5, 243. Общие замечания по сель-

Главными насадителями технических усовершенствований в русском сельском хозяйстве является, как известно фирма Бутенопов. По Историческому Обозрению Действий и Трудов М. О. С. Хоз. за 1850 год, машино-строительным заведением братьев Бутенопов с 1833 по 1846 год продано земледельческих орудий и снарядов на 3.000.000 руб. ассигнациями. По отдельным орудиям и машинам проданное распределяется:

Молотилок	1100	Больших мучных мельниц с кон. приводом. .	5
Веяльных машин . . .	6060	Меньших с одним привод.	143
Соломорезок	550	Ручных мельниц . . .	182
Плугов	1600	Машин для сортир. хлебн. зерен, снарядов для резки корнеплодов, раст. на корню, как-то: картоф., репы	31
Экстирпаторов	125	Машин для мялки льна .	22
Борон	1200	Чистилок для льнян. сем	174
Разных снарядов и машин для свекловичн. произ.	42	Маслобоек . . . около	250
Больш. картоф. терок с кон. привод.	35	Кочкорезов	3340
Ручных карт. терок . . .	300		
Сеяльных машин . . .	32		

В общем, это дает скромные цифры. Но не надо забывать, что кроме заведения Бутенопов имелся целый ряд других: в губернии Рязанской (Бибиковых и М. Титова) в Петербурге при Технолог. Институте, при Мариин. Школе Практическ. Земледелия и Ремесл. графини Строгановой и при Вольн. Экон. общ., а также в мастерской Тарлова в Риге, на фабрике Верман и сын, в Екатеринославской губ. на Луганской образцовой ферме Стиссера, в 40-х годах у конотопского помещика Кандибы, Кременчугского Потемкина, Луганского, Шумана, в гор. Ромнах у Рихтера, в Екатеринославле у Заславского. Это, не считая, как говорится в одной статье, домашних заведений у многих помещиков, работающих орудия и машины для соседей, или маленьких кустарных мастерских, в роде напр., мастерской, самодельных машин по моделям, делаемым в Москве мастером самоучкой. Как указывает Струве, Департаменту сельского хозяйства в 1853 г. известно было до 19 заведений, занимавшихся сельско-хозяйственным машиностроением[1]).

Характерно обилие за 30 и 40-е годы всякого рода попыток пустить в ход собственные изобретения или, по крайней мере, самостоятельно приспособить к русским условиям иностранные изобретения. В молотилке у каждого помещика, пишет агроном Марковский о Пензенской губ., найдете какую-нибудь особенность: решить, которая из этих молотилок лучше, это Гордиев узел; каждый хвалит свою; пожалуй, в отношении к своим потребностям, к которым приноровлены молотилки, может быть, и все они правы [2]). Многие из наиболее деятельных членов М. О. С. Хоз. отдали дань этому общему увлечению по изобретению машин или орудий. Иные хозяева заботятся об улучшении пахотных орудий, выделывают сошники по надлежащим лекалам, дают палице надлежащий выгиб. Пользуются известностью орало Гусятникова, одноконный плужок Павлова, одноконный пахарь

скому хозяйству. Земл. Газ. 1845, № 22, 171. Оттон Бари. Хозяйственно-статистические и климатические очерки Екатеринославской губ. Ж. М. Гос. Им. 1851 г. 39. 42-43. Иван Кедрин. Материалы для хозяйственной статистики Киевской губ. Ж. М. Гос. Им. 1852, т. 42, Смесь 6.

[1]) Крепостное хозяйство. М. 1913 г. 76. Ср. „Механические заведения для земледельческих орудий и машин“.—Эконом, 1846, № 10. Здесь сообщается, между прочим, о выработке земледельческих орудий и машин по всем удельным образцовым фермам.

[2]) А. Марковский. Отчет о сельско-хозяйственном путешествии по Пензенской губ. Ж. М. Гос. Им. 1852, т. 42, стр. 274.

Майера, молотилки Щербакова, Махова, Вишнякова, Чеплыгина, веялка Кульмана и др[1]).

Если машины были довольно значительно распространены, то могли ли они создавать условия, благоприятствовавшие развитию оброка и вольно-наемного труда? Ведь для Струве технический прогресс в помещичьем хозяйстве только усложнял и укреплял все ту же барщину, и если молотилки освобождали крестьян от зимней молотьбы, то переводили их на новый вид труда по вывозу хлеба.

Однако, именно этот перевод крестьян на новый вид труда не мог не подтачивать в известной мере и самые устои барщины. Молотилка во время уборки ставила на хозяйственный фронт все рабочие силы и даже как бы углубляла крепостную эксплоатацию, занимая и женщин, и детей. Но это лишь на сравнительно короткое время уборки. После нее у крестьян, даже при наличности извозной повинности, образовывался досуг, который, конечно, мог быть использован для заработков в форме, напр., отхода на фабрику или в город для занятия уже своим, не помещичьим извозом. „Благодаря молотилке, пишет Яков Дорохов, крестьяне мои облегчены в трудах: жены их зимой и осенью совершенно предоставлены своей домашней жизни и через то избавлены от необходимости бытьцелый день в сырости на холоде и подвергаться вьюгам и непогодам“[2]). „Машина оставляет крестьянину, пишет тот же автор в другом месте,—больше досуга в его домашней жизни, избавляя на зиму от тяжелой барщины по молотьбе“. Дорохов обращает этот крестьянский досуг в свою пользу, но это уже работа несколько более квалифицированная—на заводах паточном, дубильно-овчинном и по выделке сельско-хозяйственных машин: здесь работают желающие и за плату[3]). „Благодаря молотилке, пишет еще один автор, хлеб с меньшим трудом и поспешно обращаемый в зерно, может ранее и дальше быть доставляем и продаваем за хорошую цену к портам. При выгодах для владельца крестьяне могут иметь еще надежный извозный промысел“[4]). Наконец, в отчете Ярославского Общества Сельского Хозяйства определенно признается, что при всех—и действительных, и предполагаемых—недостатках, молотилка есть все-же драгоценное приобретение, так как позволяет заменить сильных работников женщинами, дворовыми и даже подростками, „по слабости сил не приносящими без помощи машины никакой пользы хозяйству“ [5]). А взрослых и сильных можно было, следовательно, тем свободнее обратить к отхожим промыслам.

Затем—по вопросу о вольном найме. Машина, как известно, пред‘являет двоякого рода требования к рабочим в отношении квалификации труда. Часть рабочих, очень небольшая, иногда один,-два, по управлению машиной, должна дать труд повышенной квалификации. Для другой же части, громадного большинства, труд, наоборот, упрощается и значительно ослабляет всякие требования специальной выучки. С этим общим соображением, повидимому, приходится считаться и по вопросу о влиянии машин на крепостное хозяйство. Рабочих по управлению машинами или приходилось прямо нанимать

---

[1]) С. Маслов. Истор. Обзор. действий и Трудов И. М. О. С. Хоз. М. 1850, 55, 89 119, прил. 119-121. Его-же. Отчет И. М. О. С. Хоз. за 1832, 33 и 34. Земл. Журн. 1835, № 1, 18-19. Его-же. Отчет Имп. М. О. С. Хоз. за 1839 г. Земл. Журн. 1840 № 3, 330. Список машино-строительных заведений, 1843 № 105, 783 и вышеназванная статья из „Экономa“

[2]) Я. Дорохов. Несколько замечаний о хозяйственных распоряжениях казанского помещика. Земл. Журн. 1837, № 5, 243.

[3]) Яков Дорохов. О пользе введения машин в хозяйство вообще, о достоинстве молотильных машин господ Бутенопов особенности. Земл. Газ. 1838, № 2, стр. 11

[4]) Общие замечания по сельскому хозяйству. Земл. Газ. 1845 г. № 22.174

[5]) Из отчета Ярославск. Общ. Сельск. хоз. Ж. М. Г. Им. 1853, 44, 219.

со стороны, из учеников-практикантов разных образцовых ферм, или если брать из крепостных, то ставить их в более или менее привиллегированное положение, соответствующее возлагаемой на них ответственной задаче. Так, у помещика Коншина в Екатеринославской губ.—правда, не мастерам при молотилке, но все же представителям квалифицированного труда из крепостных, 2 винокурам, 4 мельникам, токовому, уплачивается почти такая же плата, как и вольно-наемным[1]) С другой стороны, в отношениях к рядовой массе рабочих опять таки сильно облегчается переход к вольно-наемному труду, поскольку машина сама налаживает темп и качество работ, ослабляет необходимость в контроле, сглаживает соображения о преимуществах своего, с детства приученного и натасканного работника перед первым попавшимся пришлым. Мы видели, что в центральной черноземной полосе растут подсобные заработки: часть этих заработков несомненно увеличивалась и за счет увеличения спроса на сельско-хозяйственных рабочих в связи с появлением улучшенных орудий и молотилок. Косвенным указанием на связь машины с вольно-наемным трудом служит признание одного автора, что к машинам переходят не по прихоти и не по моде, а с распространением правильнейших понятий о ценности труда и времени как своих, так и *наемных* работников[2]).

Изложенные факты склоняют нас к мысли, что как общий темп экономического развития России, так и технические усовершенствования в помещичьем хозяйстве перед реформой благоприятствовали оброку. В хозяйственной литературе 30-40-х годов мы, правда, встречаем еще немало защитников барщины, но все более и более указаний и на то, что, при всей выгодности барщины, как формы труда, оброк предпочительнее по соображениям системы хозяйства: к системе этой приходится переходить то вследствие малоземелья, то по наличности хороших посторонних заработков, то по разорительности барщины для крестьян и опасности их обеднения, то по нежеланию помещика слишком стеснять себя осложняющимся контролем над крепостными, заботами об их хозяйстве, снабжению их хозяйственным инвентарем и пр[3]).

---

[1]) Н. Шилов. Имение г. Коншина Екатеринославской губернии. Ж. М. Г. Им. 1847, т. 24, 130.

[2]) Н. Дружинин. О машинах, делаемых на заведениях братьев Бутенопов в Москве и Бибиковых в Рязанской г. Земл. Ж. 1833, № 13, 767-769.

[3]) Причина перехода на оброк—увеличение досуга: или, как напр. у Столыпина, с уменьшением крестьянской и барской запашки на каждое тягло (Д. Столыпин. Земледельческие порядки до и после упразднения крепостного права, Русский Архив 1874, т. 5). или с сокращением барской запашки, при дополнительном наделении крестьян землей за счет барской ее части, П. П. Семенов Тянь-Шаньский, Мемуары, П. 1917, т. I стр. 19. О хозяине, который, для поправки имения, должен был прямо выпроводить своих крестьян на оброк и тем доставил им выгодные заработки, т. е. выгодные, конечно, и для них, и для самого помещика. М. Титов. Замечания на статью Г. Шелехова „Как хозяйничать в русском поместье“, Земл. Ж. 1839, № 3, стр 440. Муравьев считает вполне целесообразным оброк для лишних рабочих: „если с уменьшением хозяйства уменьшится количество пашни и останутся лишние работники без дела, тогда можно лишних отпустить на оброк, выбрав для сего тех крестьян, которые по заботливости своей благонадежны к бездоимочному платежу, а прочих оставить на изделной господской работе; и едва ли имение менее прежнего будет приносить доход. М. Тэер. Основания рационального сельского хозяйства, т. I, 92 и 30. Смоленский помещик Ельчанинов говорит про одно из своих имений (Калужской губернии): „Ясенок получил свое бытие с тех пор, как я позволил отпускать крестьян на оброк... Земли здесь так мало, что им совершенно нечего делать; от лености и от вечного сиденья дома, крестьяне избаловались и обеднели. Лесу вовсе нет, лугов также; одна Москва может их прокормить“. Н. Ельчанинов. Мои дорожные записки в проезд мой через г. г. Смоленскую, Калужскую, Тульскую, Рязанскую, Московскую, Владимирскую, Ярославскую, Костромскую и Тверскую, 1831 г. Рук. Смоленского Губ. Архива, по описи № 5.

Защита барщины начинает колебаться уже к 30-м годам XIX в. „Там только выгодно иметь крестьян на изделье—высчитывает один автор, хотя из нечерноземной полосы, но знакомый и с хоз. в других местностях,—где запашки доведены до урожая в девять раз против посева или более; но едва ли сыщется именье, где бы для запашки в таком виде можно было взять всех крестьян на барщину“. На большое количество барщины надо иметь много скота; важно и общее улучшение хозяйства, и для общего улучшения хозяйства необходимы, в свою очередь, такие „мыслящие помощники“, каковых скорее могут дать оброчные крестьяне. Автор и сам считал бы для себя более приятным распоряжаться барщинниками, но тем не менее приметил не только в своем околотке, но и *всюду, где ему случалось быть в России* (к. н.), что оброчник приметно изобильнее живет, бывает крепче здоровьем, веселее, живее и умнее, нежели барщинник; оброк оставляет больше свободы для личной предприимчивости крестьянина, а вся масса народная как в благосостоянии, так и в понятиях своих без сомнения выиграет при большем числе оброчников, что будет выгодно и для помещиков, поелику никто, я думаю, не станет спорить, что наше благосостояние неразлучно с изобилием наших крестьян и что для нас полезно, когда они расторопны, смышленны и промышленны“ [1]). Шелехов защищает барщину, но тут-же сознается, что „барщинные хозяйства для владельца многих усадеб с господской запашкой превращают помещика прямо в мученика [2]). Издельные крестьяне в Костромской губ. живут лучше оброчных, но это лишь при бдительном надзоре самого помещика [3]). У помещика К-на Полтавской губ., по возвращении его из-за границы, крестьяне были переведены с барщины на очень легкий оброк—по 1 р. с десятины, между тем как сами крестьяне получали за ту же десятину, с посторонних лиц четыре рубля. Крестьяне пустились в торговлю, забросили земледелие, разорились. Сын П. К. должен был перевести их снова на барщину, но лишь для приучения их к сельским работам, а через два года вернул их к поземельному оброку, но с платой на 50 к. дороже против посторонних [4]).

К сожалению, в исторической литературе слабо освещен вопрос о так называемых смешанных крестьянах. Повидимому, этот разряд, встречающийся по местам и в XVIII в., только в средине XIX в. получает значительное распространение. Разряд этот, думается нам, свидетельствует, в свою очередь, о некотором торжестве оброчности над изделием. Правда, по сравнению данных оброка и барщины у Семевского и сводки на основании прил. к Тр. Ред. Ком., сделанной Игнатович, выходит, что в 12 губерниях разряд смешанных появляется в большей степени за счет сокращения оброчных, чем барщинных. Но

---

[1]) П. Л. „О неумеренных запашках“. Земл. Журнал 1834 г. № 16,476—477.

[2]) Д. Шелехов. Наука домоводства. Библ. для чтения 1836, XIX 3-4.

[3]) Дмитриев. Опыт практических замечаний кинешемского земледельца о сельском хозяйстве Костромск. губ. Тр. И. В. Эк. Общ. 1843, 53.

[4]) А. Тархов. Письмо к члену Г. К-ну Тр. И. В. Эк. Общ. 1846. 175-192. Ср. известное место письма Пензенского помещика. „Барщина губительно действует и на богатых, и на бедных, урывает всякую предприимчивость, отучает крестьянина от старательной работы даже на своей земле, отбивает и у помещика всякую охоту лично заниматься хозяйством. Конечно, и оброк имеет свои неудобства, но что же делать? Какое же другое средство уравнить повинности крестьян с землею, им выдаваемой, какое другое средство расшевелить дух предприимчивости ремесленной, фабричной, торговой и таким образом вывести их нужды, поправить, обогатить крестьян? Какое другое средство помещику избавить себя от тысячи мелочных забот, необходимых при барщине: снять с себя беспрестанно наростающее, тяжелее и тяжелее становящееся бремя несправедливостей, совершаемых ежедневно, неприметно, часто против воли, по незнанию, в глазах и уж подавно за глазами“. Ж—н. Письма пензенского помещика. Тр. И. В. Эк. Общ. 1845, № 4.

во-первых, сравнение данных Семевского (данные Экономических Примечаний к генеральному межеванию, по 20 губ. „Крестьяне в царствование импер. Екатерины II" Спб. 1903, 1,581-582 и 579) особенно в отношении смешанных, не исключает сомнений (Семевский—на основании имевшихся у него данных %—смешанных для времени Генерального межевания не мог вычислить), а во-вторых, остается все же характерным, что оброчных в XIX в. переводят не прямо целиком на барщину, а именно на *смешаную* повинность, где все-таки был элемент оброка[1]. Например, один помещик Псковской губ., признавая, что платимый ему крестьянами оброк в 60 руб. оказывается невыгодным по сравнению с тем, что доставляют барщинные, находит нужным привлечь отчасти к полевым работам и оброчных, но сняв с них *половину* оброка[2]. Или вот еще случай. В издельном имении Епифанского уезда помещика А. Мясоедова треть тягол была на оброке, тогда как арендная цена земли, им предоставленной, была вдвое больше. Владелец перевел оброчников на барщину, но лишь *по причине недоимок*[3]. В этом уже неоднократно отмечавшемся нами приеме, перевода на изделье единственно в целях воздействия (а иногда только временного воздействия) на недоимщиков, не приходится ли, в свою очередь, усматривать условия, по которым высокий % издельных еще не свидетельствует в полной мере об общей хозяйственной предпочтительности барщины перед оброком?

Оброк и оброчность, видимо даже вопреки понятной приверженности помещиков к даровому труду, все-таки обнаруживает тенденцию к торжеству над изделием. Но оброк, в свою очередь, усиливает дифференциацию.

Теперь, если мы примем во внимание соображение Огановского, что дифференциация связана с наличностью земельного простора, то является вопрос, в какой степени росло количество помещичьих хозяйств в местностях, где имелся на-лицо земельный простор?

---

[1]) Сопоставляя данные Семевского и Игнатович, получаем таблицу:

ГУБЕРНИИ	Измен. в % оброчн. в XIX в. сравн. с XVIII в.	Смешанные	Измен. в % издельных в XIX в. сравн. с XVIII в.
Ярославская . . .	+ 14,43	28	— 13,77
Владимирская . .	+ 22,61	19,46	— 42,7
Костромская . . .	— 24,37	20,77	— 4,4
Олонецкая . . .	— 24,4	47,04	— 22,64
Московская . . .	+ 29,62	14.75	— 44,37
Вологодская . . .	— 18,04	16,47	+ 1,57
Нижегородская . .	— 36,86	29,58	+ 7,28
Тверская	— 12,35	34,76	— 22,41
Новгородская . .	— 20,73	37,48	— 16,75
Петербургская .	— 12,31	26,35	— 14,04
Калужская . . .	— 13,66	14,36	— 0,85
Воронежская . . .	— 13,66	8,52	— 5,04
Разянская . . .	+ 18,27	10,71	— 28,98
Смоленская . . .	— 11,66	17,51	— 5,95
Псковская . . .	+ 10,7	2,27	— 12,97
Тульская	+ 10,33	9,17	— 19,50
Орловская . . .	— 21,85	14,13	+ 7,72
Тамбовская . . .	— 11,18	11,90	— 0,72
Пензенская . . .	— 40,43	7,12	+ 33,31
Курская	+ 4,54	4,13	— 8,67

[1]) Все же в подчеркнутых губерниях можно предположить рост смешанных или за счет вообще сокращения издельных, или за счет их сокращения в большей степени, чем за счет сокращения оброчных.

[2]) В. Опыт заведения многопольного полеводства. Земл. Газ. 1838, № 65-517.

[3]) А. Мясоедов. Причины расстройства крестьян хлебопашных имений от платы разного рода оброков деньгами. Зел. Газ. 1834, № 94, 747.

Давно уже замечено, что рост населения в плодородных окраинах Заволжья и Новороссии значительно опережает другие местности, с середины XIX в. заселенные уже достаточно густо. Правда, к середине XIX в. оказывается уже довольно густое население частъю и в таких местах, которые для XVIII или даже начала XIX в. открывали, в смысле свободного развития площади запашки и даже скотоводства, еще самые широкие перспективы. Но сельско-хозяйственная колонизация середины XIX в. охватывает за то новые чрезвычайно ценные районы Юга и Востока. Здесь все дышет, как пишут современники, полезною предприимчивостью и трудолюбием, и на каждом почти шагу встречаются предметы промышленности и торговли. Иные предприниматели получают здесь до 50% прибыли с оборотного капитала. В Заволжьи и Новороссии быстро возрастают цены—особенно на незаселенные земли, так как на последние помещики переводят избытки населения из центра.

По свидетельству помещика Сабурова, цены на землю по луговой стороне Саратовской губ. за 30-40 лет поднялись, по сравнению с нач. XIX в., в 20 раз. Сильный под'ем земельных цен приводится в литературе и относительно Новороссии. Около 1815 г. платили за десятину от 5 до 6 руб. сер. К 1847 г. эта цена возрасла в иных местностях до 10 р. сер. и редко где, кроме Херсонского и северной части Таврической г., можно купить землю дешевле 4 р. сер. за десятину. По другому свидетельству, земля в Новороссии стоила не ниже 10 руб. уже в середине 30 г., когда в то же время в окрестностях Одессы и Елисаветграда за нее платили 30 р. сер.[1]). Но как ни бысто растут эти цены, все же они ниже цен густо населенного черноземного центра, и помещичья мысль чрезвычайно заинтересована колонизацией этих благодатных районов. „Одесское общество“, пишет один новороссийский помещик—„предлагает г. г. великороссийским помещикам приобретать земли и виноградные плантации в Крыму, а я указываю на выгоды и богатства Новороссийского края. Спешите приобретать здесь земли: с возрастающим народонаселением они удесетерят свою цену. Где под русской луной найдете вы другую благодатную землю, которая без унавожения дает на одном клину 5 и 6 сплошных урожаев и самородку?“[2]). С увеличением населения в Новороссии и Заволжье там увеличивается и число помещичьих хозяйств, но, конечно, на душу здесь приходится гораздо больше земли, а кроме того для хозяйственной предприимчивости крестьян открываются широкие пути и в заарендовании соседних, еще незаселенных участков, с обработкой их силами или вольно-наемных, или своих же более бедных односельчан, закабаляемых ссудами и зимним наймом[3]).

---

[1]) „Земли по луговой стороне Саратовской губ. поднялись с 5 р. до 100 руб. за десятину, тогда как на нагорной за 30 лет всего с 10 р. до 60 р.“ И. Сабуров. Записки Пензенского земледельца о теории и практике сельского хозяйства. Отеч. Зап. 1843 г., т. XXVI, 29-30. В. Шостак. О ценности земель в Новороссийском крае. Ж. М. Г. Им. 1847, XXII. 8. О выгодах России в хлебной торговле. Письмо к редактору Одесского журнала. Зем. Газ. 1834, № 29, 228. М. Жданов. Путевые записки по России в 20 губ. Спб. 1843, 129. А. Авксентьев. Очерк сельско-хозяйственной промышленности Новороссийского края Екатерининской губ. М. 1850, 32.

[2]) Н. Маришковский. Сельско-хозяйственные замечания новороссийского помещика о своем крае. Земл. Газ. 1843 г. № 5, 34.

[3]) И. Рекк. Отчет о степном хозяйстве в Саратовском Заволжье. Ж. М. Г. Им. 1843, I. По поводу цен см. также Д. И. Рихтер. О статистике продажных цен на землю Тр. И. В Эк. Общ. 1897,4—по сведениям о продажных ценах на землю изд. Земск. Отд. Мин. Внут. Дел. в 1859 г., вып. I-III. По этому источнику—таблиц. № 1 в прилож. к книге П. Маслов. Аграрный вопрос в России. Спб. 1905 г. Цены незаселенной земли в Самарской губ., 8 р. 26 к., почти совпадают с ценами Псковской и Костромской губ. 9 р. 46 к. и 8 р. 66 к.), Саратовской (15 р. 86 к.) в Тверской и Ярославской (14 р. 69 к. и 14 р. 71 к.) Впрочем, в отдельных случаях цены бывают и много выше — ср. А. Софронов. Саратовское Заволжье. Земл. Газ. 1840 № 64, 508.

Мы уже приводили примеры выделения крестьян богачей в Заволжье. Местная сельско-хозяйственная культура, по своему общему характеру, может только благоприятствовать этому процессу. „О способе хозяйства крестьян в Заволжье трудно сказать что-нибудь определенное—читаем мы в описании 1845 г. „Земледелие находится здесь в первобытном состоянии, и никакой системы еще не установилось; возделывается преимущественно яровая пшеница, называемая белотуркой; на десятине новой земли сеется обыкновенно от 5.5 до 7 пуд. пшеницы; на другой и третий год нужно уже более сеять; лучший урожай пшеницы считается 100 пуд. с десятины (14 зерен), средний 40-50 пудов (7 зерен) и худой (4 зерна)"[1]. Но поднимать новину было довольно трудным делом, и оно, естественно, более практиковалось у зажиточных крестьян.

Теперь остановимся еще на одном источнике дифференциации—крестьянской грамотности и обученности ремеслам. Мы видели, как к грамоте тянут особенно зажиточные крестьяне и как, в свою очередь, сама грамотность расширяет им пути к дальнейшему улучшению быта. Возрастала ли грамотность и доступ крепостных к образованию за первую половину XIX в.?

Осложнение хозяйства повышало у помещиков потребность в грамотных крестьянах, Соответствующие архивные исследования, вероятно, откроют нам гораздо больше помещичьих школ, чем об них сообщалось до сих пор в исторической литературе, хотя, быть может, по разным соображениям, помещики не очень охотно давали о них сведения. В 1836 г. считалось, согласно исчислению Фармаковского, 661 школа в помещичьих имениях; из них 36 сохранилось от времени Екатерины, 6 от времени Павла, 349 от двадцатилетнего царствования Александра и 243 учреждены при Николае за 11 лет царствования. Таким образом, количество помещичьих школ видимо возрастало; расширялся вместе с тем доступ крепостных даже в средние школы. Характерны данные двух законодательных актов времени Николая—19 августа 1827 и 9 мая 1837 г. По первому подтверждается право крепостных обучаться в училищах приходских, уездных и частных с программой не выше уездных, а также в казенных и частных училищах для обучения сельскому хозяйству и ремеслам: между тем, будто бы по дошедшим до правительства сведениям, *часто крепостные люди из дворовых и поселян обучаются в гимназиях и других учебных заведениях (К.Н.)* Во втором указе решительнее средактирован пункт, по которому крестьяне могут получить доступ даже в школы повышенного типа,при условии получения отпускной, а во-вторых, интересна оговорка, чтобы и в тех школах, „кои ныне существуют или впредь заведены быть могут помещиками для обучения крепостных их людей в собственных их именьях, сохраняемы были те же самые пределы, какие вообще установлены для училищ низших"[2]. В хозяйственной литературе и журналистике мы встречаем упоминание о школах в имении кн. Вл. Волконского (Шацк. у., Тамб. г.), гр. Строгановой (Новгор. г.), Грейфенфельса (Витебской), Стремоухова (Харьковской), гр. Бобринской (Тульской), гр. Фроловой-Багреевой, гр. Разумовской и К-на (в Полтавской губ.), Коншина (Екатеринославской губ.), вообще о помещичьих школах на Украине и в Херсонской губ. и др. Некоторые помещики заводят воскресные просветительные собеседования, другие принимают от соседей учеников для обучения ремеслам. При М. Общ. С. Х. образуются комитеты для распространения грамотности между крестьянами в помещичьих имениях. Согласно недавно вышедшей

---

[1]) Описание Заволжского края в топографическом и агрономическом отношениях. Ж. М. Г. Им. 1845, XVII, 4.

[2]) П.С.З. (2), II № 1308 и XII, отд. I, № 10217.

заметке Колпенского, накануне реформы Ланской поручил полковнику Философову собрать сведения по вопросу о грамотности в помещичьих имениях. В Московской губ., в 1860 г. оказалось около 20 школ для крестьянских детей обоего пола; кроме того, в многих селах обучали грамоте священники и причты, а также за плату брались учить конторщики и отставные солдаты. Крестьяне, особенно из окрестностей Москвы, сами заботились об обучении детей грамоте и платили за выучку, продолжавшуюся от 4 лет до 6 до 10 руб. серебром. В Тульской губ. тоже оказалось несколько училищ, учрежденных помещиками, и также во многих селах обучали детей священники[1]).

Конечно, мы далеки от мысли преувеличивать и количественное, и качественное значение этих школ. Помещики и накануне реформы, и в 30—40 г. г. побаиваются грамотных крестьян, признают, что это элемент временами неспокойный, и сплошь да рядом указывается, что об‘ем сообщаемых крестьянам сведений должен быть по возможности ограничен. Стремоухов прямо предпочитает центр тяжести просветительной работы перенести на девочек, т. к. „круг действий женщины вообще сосредоточеннее, и не было примера народного беспорядка или беспокойства, происшедшего от женщины“[2]). „Не входите, возлюбленные, во что-либо великое, не беритесь за то, что выше сил ваших“—читаем мы в одном образцовом поучении поселянам сороковых годов: „сами говорите часто, что Господь поставил вас в самом низком звании, что вы люди простые и неученые; вам, стало-быть, прилично особливо смирение и кротость“[3]). Но на одних кротости и смирении не устроить хозяйства, оно уже в первой половине XIX в. требовало более сознательных работников. Грамотность приходилось поощрять. Смоленский помещик Ельчанинов в поездку 1831 г. встретил в своем селе Заболотье, Галицкого узда, Костромской губ. грамотных, в числе которых был и новоизбранный староста Леонтий Павлинов. „Он привел ко мне, говорит Ельчанинов,—своего приемыша лет 12-ти, который довольно бегло прочел не только книгу, но и разобрал мою руку, за что я ему дал 80 коп.“ П. Муравьев подчеркивает необходимость грамотности: „Первое попечение образцового помещика, желающего надлежащим образом устроить свое хозяйство и усилить свои доходы, прежде всего состоять должно в приготовлении людей грамотных и способных“. „Великим пособием ко всем улучшениям служит распространение грамотности между крестьянами—говорит один автор на основании своих личных наблюдений в Черниговской губ.: надобно пожить и поработать несколько лет с безграмотными людьми, потом обучить их, и тогда только можно познать истинную цену грамотности и вполне вразумиться, до какой степени она имеет влияние на развитие смысла человеческого“. И по словам издателя „Посредника“ С. М. Усова, в 40-х годах вопрос о школах для крестьян занимает очень многих[4]).

---

[1]) В. Колпенский. Сельская школа накануне крестьянской реформы Арх. Ист. Тр. в России 1922, IV, 33.

[2]) Н. С. Стремоухов. Мысли о возможности улучшения сельского хозяйства в России, основанные на природе человеческой и на древних российских обычаях. Земл. Журн. 1829, XXV. Ср. П. Б. Струве. Крепостное хозяйство, М. 1913, 180-190. О женском образовании—также одно из сочинений, представленное в Учен. Ком. Мин. Гос. Им. на конкурсе 1842—43 г. Ж. М. Гос. Им. 1844, № 7, 87. О школе Стремоухова—Сельская школа для крестьянок у г. Стремоухова—Ж. С. Хоз. и Овц. 1844, № 6, 312, 314, затем—„Первая крестьянская девичья школа в России“ и „Отношение о том же предмете“—самого Стремоухова и священника Василия Проценкова—Ж. С. Хоз. и Овц. 1845, № 6, 269—278.

[3]) **Краткое поучение поселянам.** Маяк, 1843, XV, смесь, 22.

[4]) Н. Ельчанинов. Мои дорожн. записки. Смол. Губ. Архив, № 5. А. Тэер. Основания рационального сельского хозяйства, т. I, 246. Г. Есимонтовский. Сельское хозяйство в Суражск. у., Черниговской губ. Ж. М. Г. Им. 1844, № 7, 22 С. М. Усов, Учение сельскому хозяйству, Спб. 1811, 23—24.

Накануне реформы часть помещиков просила упомянутого полковника Философова оказать им помощь в деле образования, а другая часть оправдывала свое пассивное отношение опасением разных трений с М. Н. Пр. Разумеется, при ограниченности программы, школа давала почти исключительно одну грамотность, и было немало случаев, когда крестьянам некуда оказывалось применить свое уменье; но с другой стороны, есть также свидетельства и о том, что грамотный крестьянин более или менее быстро находит путь к улучшению своего хозяйственного быта. В ответ на справку правительства о школах, минские помещики в 30-х годах все очень дружно показали, что у них нет школ (не укрывая-ли, быть может, от правительства школы униятские или польские?), но в донесении губернатору минский губернский предводитель все же считает нужным признать, „что как весьма естественно, помещики не только из любви к человечеству и стремления к благоденствию края, но и в видах собственной пользы искренне желают, чтобы народ, вверенный их попечению, сбросил с себя личину невежества и озарен был светом науки и нравственности; следственно, нет никакой необходимости побуждать владельца к принятию деятельного участия в просвещении крестьян, приняв во внимание хоть бы одно то обстоятельство, что нравственность крестьянина тесно связана с вещественною пользою владельца"[1]).

VI.

Переходим теперь к ближайшему рассмотрению вопроса, в какой степени дифференциация могла стать одной из причин падения крепостного права. Мы видели, что крепостная буржуазия, как бы ее появление ни противоречило уравнительным тенденциям крепостного права, получает в глазах помещиков перед реформой все более и более прочное признание: буржуазия, может быть, иногда и зло, но искоренение этого зла грозит еще горшим злом—уменьшением, по крайней мере, на первое время, помещичьих доходов. Вместо искоренения буржуазии, ей, не только в имениях оброчных, но и в имениях издельных, видимо мирволят, а это открывает ей простор к получению некоторого, если не независимого, то все же привиллегированного положения. Прибирая к рукам своих более бедных односельчан, крестьяне хозяйственные и более зажиточные становятся мало-по-малу своего рода промежуточной стеной, отделяющей помещика от крепостной массы, как бы отчуждают оба эти элемента друг от друга, приучают их смотреть в разные стороны в осуществлении хозяйственных интересов: „потеряно с обоих сторон равновесие, как значится в одном документе: крестьяне безбоязненно живут под помещиками, и помещики потеряли к ним привязанность и взаимно не радеют о их добром быте"[2]).

В помещичьем хозяйстве перед реформой явно обнаруживается необходимость считаться с зажиточными крестьянами, без содействия которых владелец иной раз положительно не умеет обойтись. Пусть Шелехов замечает в одном месте, что для помещиков и для успехов народного и сельского хозяйства нет особой выгоды от зажиточного крестьянина[3]). Мы видели, как эта выгода достаточно учитывается наиболее предприимчивыми хозяевами 30-40-х годов. „Совершенно напрасно—сетует в противовес Шелехову один автор—у нас не делают никакого различия между настоящим земледельцем, который может

---

[1]) Арх. бывш. Двор. Деп. Собр., дело № 1222.

[2]) Донесенье Бобруйск. уездного предводителя Бумана 8 февр. 1834 г. Дело 1006, № п. 81—82.

[3]) Д. Шелехов. О черезполосном владении землями и о специальном размежевании общих и черезполосных дач.—Библ. для чтения 1839, XXXIV, 51.

хорошо управлять и распоряжаться сельскими работами, и простым работником, который лишь способен к тому, чтобы хорошо вспахать землю, вымолотить хлеб и т. п. Так как они пользуются равными правами, то первый не имеет ни возможности, ни способов распространить свое хозяйство, а последний не умеет быть хорошим хозяином, и оттого оба бедны"[1]). Надо поощрить предприимчивость и использовать некоторые организаторские способности хозяйственных мужичков. Помещик Владимирской губ. фон Рейц предлагает для усовершенствования хозяйства во владельческих поместьях разделить землю на участки и во главе каждого поставить смышленных достаточных крестьян, у которых все другие как раз именно и находились бы в работниках, и последним даже не дозволять браков, как будто в еще большее углубление их пролетаризации. По мнению Витебского помещика У. Карповича, следует обязать подписками всех богатых крестьян, что они ручаются друг за друга в том, что недоимок за обществом не будет, что они не дозволят своему брату, равно пользующемуся землею и всеми угодьями, лениться. Что касается до сельских начальников, то на должности назначать всего лучше из других губерний богатейших крестьян.[2]) В имении Дикгофа Нарвск. у. для сбора картофеля желающим из крестьян предоставляется самим распределяться на артели от 8 до 12 чел., по соображению собственных сил и надежности; при сдельной оплате труда естественно, в основу соображений о надежности—опять таки, уже самими крестьянами—выдвигались наиболее зажиточные[3]). То же можно сказать и о молотьбе артелями, под присмотром и ответственностью выборных, у пом. Калошина, в Гжатском у., Смоленск. губ[4]). и в других попытках артельных организаций на началах круговой поруки. Шелехов, только что выступивший пред нами с мнением об отсутствии каких-либо особых выгод от богатых крестьян, сам же мечтает в той же самой статье о создании в России фермерского хозяйства, в основу которого следует положить сдачу зажиточным крестьянам особых благоустроенных усадеб[5]).

Так, задолго до Столыпина, помещичья мысль 30—40-х годов предвосхищает знаменитую ставку на сильных со стороны русских землевладельцев начала XX в.

Но зажиточный крестьянин, как мы уже кое-где упомянули, проявляет и большую силу сопротивления помещичьей власти.

Не на счет ли этих более зажиточных, привередливых крестьян следует отнести известное признание Самарина, что, по отзыву старых помещиков и приказчиков, народ стал сильно портиться, что „теперьу же редко проходят безнаказанно такие злоупотребления, против которых лет 50 тому назад никто бы не стал и роптать", и что „очень часто распоряжения вовсе не жестокие, не противные законам, но стеснительные или придирчивые, встречают прямое сопротивление"[6]).

Мы видели, что богатые крестьяне держат в своих руках „начальников", и начальники явно иногда становятся на сторону мира в пререканиях с помещиками. Повалишин сообщает о случае, который

---

[1]) О средствах к улучшению состояния земледелия в России. Тр. И. В. Эк. Общ. 1845 I—218.

[2]) Фон-Рейц. О работах барщинных крестьян. Земл. Газ. 1845, № 102. У. Карпович. Хозяйственные опыты тридцатилетней практики. Спб. 1837, 26, 289.

[3]) Ф. Дикгоф. Уборка картфеля. Земл. Газ. 1837, № 92, 730.

[4]) М-П-М-С-в. Об успешном вымолоте хлебных зерен цепами Земл. Газ. 1836, № 94, 745—748.

[5]) Д. Шелехов. О чересполосном владении землями и специальном размежевании общих и чрезполосных дач. Библ. для чтения 1839, XXXIV, 51. Ср. О русских доходах и русских приказчиках по сельскому хозяйству. Библ. для чтения, 1839, XXXVI, 17.

[6]). Ю. Ф. Самарин. Сочинения II, 65-66.

ему представляется в известной мере типичным, как один помещик вздумал было наказать своего крестьянина розгами, приказал принести их старосте, а тот ответил: „я не могу принести розог“; и мир при этом зашумел и закричал: „не за что, не нужно, Павел Кондратьевич!“ И барин не настаивал, как будто это так и быть должно [1]).

У Игнатович описано волнение крестьян в имении Пауль, Калужской г., Козельского у. Когда, по мнению помещика, настроение крестьян стало угрожающим, то он отослал на шоссейные работы в Малороссию 40 лучших работников, большею частью домохозяев, считая их главными бунтовщиками [2]).

Или вот еще случай 1849 г., сообщаемый Е. Кац. За просрочку долга подлежало продаже с торгов имение помещицы Бордаковой Владимир. г. Крестьяне, не жившие в имении, попробовали было выкупиться на свободу по указу 8 ноября 1847 г., но когда для этого потребовалось внести в месячный срок более 65000 р., то принуждены были „по неимению денег от выкупа отказаться“, в чем дали и подписку. Но часть крестьян имения, повидимому, зажиточных и авторитетных, находившаяся на оброке в Одессе, решительно запротестовала против отказа от выкупа, заставила подписавшихся отказаться от своей расписки и требовать выкупа, хотя был уже пропущен месячный срок. В результате получилось волнение с отказом крестьян от повиновения помещице Поливановой, успевшей внести требуемую сумму [3]).

В тех случаях, когда можно установить степень зажиточности крестьян, подающих жалобу на помещиков, податели большею частью оказываются из зажиточных крестьян. К сожалению, эта сторона мало обращала на себя внимание исследователей, и нам приходится брать кое-какие отрывочные данные из местного Государственного архива.

30 мая 1829 г. подана была жалоба на помещика Бобруйск. у. Чуховского—в угнетении крестьян работами и изнасиловании 12 девочек—*сотскими и десятскими* 7 деревень [4]).

23 февраля 1839 г. подали жалобу минскому губернатору крестьяне деревни Гребенца, помещика Слотвинского: помещик их разорил, но прежде они были богаты, имели запасы, хлеб и овощи, волов и лошадей [5]).

В свое время минским властям причинила довольно много хлопот помещица Минск. у. Ивановская, на которую неоднократно приносили жалобы за время с 20-ых до 40-ых годов. По жалобе 1823 г. было допрошено 107 человек; из них 33 показало, что к Ивановской никаких претензий не имеют, а 73, в том числе 23 подписавших прошение, показали согласно с обнаруженным по следствию. Писали жалобу и расписывались за неграмотных крестьян какие-то минские обыватели,а на сей конец был сбор денег и хлеба. Едва ли 23 подписавшихся не принадлежали к числу лиц, которые понесли главные расходы по этому сбору; между тем, как, по делу выяснилось, третья часть крестьян, более 30 дворов, была из бобылей: не эти ли бобыли выступали в числе 38 запуганных и загнанных помещицей, отказавшихся от каких бы то ни было претензий? Когда приехал в село присланный от земского суда ключвойт, то гнев помещицы обрушился, между прочим, на шинкаря Завистовского, у которого она, как

---

[1]) Д. Повалишин. Рязанские помещики и их крепостные. Ряз. 1903, 135.

[2]) И. Игнатович. Продовольственный вопрос в помещичьих имениях накануне освобождения. Голос минувшего, 1913, 10, 97.

[3]) Е. Кац. К выяснению причин крестьянских волнений в Николаевскую эпоху. Арх. Ист. Тр. в России, 1923 IX, 50.

[4]) Арх. бывш. Двор. Деп. Собр., дело по оп. 1006. л. 13–14.

[5]) Ibid., дело по оп. 991 ,л. 33—34.

обнаружилось по письму ее к управителю, отдала приказ отнять имущество. Кто этот шинкарь? Ни по 7, ни по 8 ревизии его нет в числе крепостных Ивановской, и вероятно, это, несмотря на белорусскую или польскую фамилию, еврей; но гнев помещицы не об"ясняется ли тем, что шинок был местом главной агитации против помещицы и что, стало быть, богатые крестьяне могли здесь и сами собираться и других угощать? [1]).

На эту же помещицу Ивановскую 26 августа 1841 г. принесли жалобу, от имени всех крестьян имения Прилук, два крестьянина, одному из которых приказано было обрить полголовы за то, что он повез в Минск на продажу несколько пудов нечистого сена. Не говоря уже о том, что показания и о количестве, и о степени чистоты сена здесь может быть взято под сомнение, все же и при полной правдивости показания, в такой голодный год, 1841, оно может свидетельствовать о некоторой зажиточности жалобщика [2]).

26 июля 1834 года крестьяне Бобоеды подали жалобу на помещика Иосафата Полубинского (Борисовский у.). По делу выяснилось, что Иосафат Полубинский совокупно со своей женой 1832 г. марта 30 купил одну хату крестьянина Янка Бобоеда, в коей числилось мужского пола 3 души, и что у сего крестьянина было 20 штук рогатого скота, пять лошадей и несколько ямок хлеба; не имея же сам, где жить, помещик поместился в одной с крестьянином хате и таким образом занял их пахотную землю, весь скот и наличный хлеб в свое ведомство и хозяев обратил в паробков [3]).

При расследовании дела о притеснении крестьян помещиками Бобр. у. Левановичами выделена особо жалоба крестьянина Карпа Апанасова, у которого Николай Леванович забрал две лошади [4]). И опять, при подаче жалобы крестьянами, имел здесь место законами запрещенный денежный сбор.

В 1837 г. подали жалобу на помещика Бобр. у. Ждановича его крестьяне на изнурение непомерными работами, при чем, по расследованию бобруйского предводителя, у каждого из жалобщиков оказался и белый хлеб, и запасы до нового урожая, и достаточная конная и воловая упряжь [5]).

Вероятно, можно бы привести много подобных сведений и из Минского, и из всех других архивов. Бобруйский уездный предводитель просит губернского предводителя обратить внимание начальства на то, что в городе Бобруйске имеется много „исключенных из службы либо отставных за дурное поведение офицеров, кои для собственного пропитания между крестьянами и помещиками водворяют несогласие“: стало быть, составление жалоб для крестьян могло быть источником пропитания [6]). Зажиточный крестьянин был необходим помещику, и в то же время расшатывал крепостные устои: недаром когда-то и Екатерина II толковала об освобождении крестьян, „сделав нечто полезное для собственного их, рабов, имущества“. Общий рост производительных сил России развертывался не только за счет развития фабрично-заводской и помещичьей сельско-хозяйственной промышленности, но и за счет внутреннего расслоения в недрах крепостной деревни. Выдвигавшаяся из крестьянской среды буржуазия, в известной степени, эмансипировала крестьян.

---

[1]) Ibid., дело по оп 996. л. 7—17.

[2]) Ibid. Дело по оп. 996, л. 20—21.

[3]) Ibid., д. по оп 1006. 43, 50,54.

[4]) Ibid. д. по оп. 1006. 82.

[5]) Ibid. д. по оп. 1006, л. 84—85.

[6]) Ibid. д. по оп. 1006 л. 81-82.

С другой стороны, любой исследователь хозяйственных отношений XIX в. не будет отрицать и значения противоположного процесса—крестьянского обеднения в форме пауперизации и пролетаризации. Первая форма или прямо выводила из хозяйственного строя целые ряды крестьян, превращая в бродяг и нищих, или сажала их помещику на шею, заставляя тратить последние гроши, придумывать всевозможные средства к выходу из положения; вторая ставила крестьянина на положение вольно-наемного, даже при крепостном праве. И надо заметить, что как пауперизованный крестьянин, так и пролетаризованный, утратив свою крестьянско-хозяйственную устойчивость, являлся поистине горючим материалом для всякого рода революционной агитации. Крестьяне зажиточные действовали жалобами, следовательно, мирным путем; но в известных случаях они могли влиять на экономически от них зависящие массы в смысле активного движения; при этом крестьянин-батрак, крестьянин-бурлак, крестьянин заводский или фабричный рабочий—это уже зачатки не только крепостного, но и капиталистического пролетариата с экономически ему присущими данными к самостоятельному, организованному противодействию помещичьей и царско-чиновничный власти.

Так крестьянское освобождение, производимое сверху в результате давления крупно-помещичьего класса на правительственную власть, оказывается в известной степени подготовленным снизу, поскольку на самую помещичью власть давят не одни крестьянские волнения, как вспышки народного гнева, а и явления, связанные с процессом экономического роста крепостной деревни. Помещик, волею исторической диалектики, поставлен в экономическую необходимость сам поощрять эти явления, поскольку грозные для будущего, они однако могут поддержать помещичье хозяйство в условиях его непосредственных, ближайших интересов. Мы не хотим сказать, что в этом заключается единственная экономическая причина падения крепостного права, как и далеки от мысли, что поставленная нами проблема достаточно разрешена предыдущим положением. Но мы думаем, что в ряде других причин, выдвигаемых ростом крупной сельско-хозяйственной и фабрично-заводской промышленности, все же сделала свое дело и хозяйственная дифференциация деревни; новые данные о помещичьих хозяйствах, сильно обогатившие за последнее время и центральные, и провинциальные архивы, без сомнения не раз обратят внимание исследователя на этот вопрос и приведут его к желанному разрешению.

Проф. М. О. Гредингер.

Проблема возложения обязанности загладить вред и отношение ее к обязательству возмещения причиненного вреда.

I.

Заманчивая мысль о желательности замены краткосрочного лишения свободы в виде тюремного заключения имущественным вознаграждением, насколько известно, высказанная еще Бентамом, нашла горячего поборника в лице Герберта Спенсера[1]). Но в возможность скорого практического осуществления этой меры знаменитый социолог, повидимому, мало верил. Зато итальянская антрополого-позитивная школа усмотрела в ней своего рода эльдорадо, открывающее светлые надежды на возможность коренного оздоровления карательной системы. При этом в глазах представителей названного направления возложение обязанности загладить вред и обязательство возмещения вреда на первых порах не дифференцируются. Ферри, напр., считая, что обязанность возместить причиненный вред носит специфически публично-правовой характер, находит, что битье по карману зачастую представляется лучшею репрессиею, чем даровая квартира и стол в тюрьме в течение короткого срока. Он упивается предлагаемою мерою, рассматривая ее как спасительное средство для успешной борьбы с преступлением, способное служить дополнением и исправлением существующего порядка обороны общества от преступных деяний[2]). Но не следует забывать, что вред, причиненный социально-опасным действием, может повлечь за собою взыскание денежного штрафа и, независимо от этого, создать повод к вознаграждению пострадавшего. Как мера социальной обороны, штраф рекомендуется лишь в применении к маловажным правонарушениям уголовного характера и в этой своей функции является публично-правовым. Возмещение же причиненного пострадавшему вреда имеет всегда частно-правовое значение. Потому-то штраф поступает в доход казны, вознаграждение же идет в пользу пострадавшего. Но так как право является средством, при помощи которого господствующий класс регулирует общественно-экономические отношения, то соблазн возникающую вследствие причинения вреда обязанность возместить последний—использовать в интересах публично-правовых—весьма велик. В своем увлечении идеею возложения обязанности загладить вред, как некоей социальной функциею, приверженцы антрополого-итальянской школы доходят до того, что требуют незамедлительного возмещения пострадавшему понесенного им вреда из средств государственной казны—с тем, чтобы за государством признано было право обратного требования в отношении

---

[1]) Spencer. The moral of prison.—Rosenfeld. Welche Strafmittel können an die Stelle der kurzzeitigen Freiheitsstrafe gesetzt werden? 1890, стр. 181.

[2]) Социальный смысл краткосрочного лишения свободы в последнее время решительно отрицает Chrzesinski в статье „Schwankende Begriffe" в DIZ, Heft 19—20—1924 г., стр. 773-774.

правонарушителя [1]). Государство, таким образом, рисуется как солидное страховое общество, принявшее на себя обязанность выплачивать своим гражданам и вообще находящимся на его территории лицам соответствующие понесенным ими от преступных деяний убыткам суммы. И совершенно так же, как это имеет место в договоре страхования,—государство, возместив „страхователю“ ущерб, причиненный ему третьим лицом, в праве обратиться к последнему с регрессом.

Не трудно видеть, что в данном случае мы имеем пред собою лишь модификацию буржуазного представления о призвании и задачах государства. „Добрый ночной сторож“, охранявший обывательский покой в Германии до 48 ч., в итальянской версии превратился в универсального страховщика, отвечающего за всякий вред, причиняемый преступлением гражданам. Такая постановка вопроса была бы принципиально неприемлема в отношении пролетарского государства. Но и в капиталистических странах она встретила энергичный отпор, так что призыв антрополого-позитивной школы к возложению на государство указанных страховых функций остался гласом вопиющего в пустыне. Однако, самая мысль о целесообразности включения в карательную систему, в качестве меры социальной защиты, возложения обязаности загладить вред, нашла благоприятную почву в нашем действующем УК. Перечисляя в своей 32-й статье „наказания, налагаемые по Уголовному Кодексу“, последний в пункте „к“ этой статьи называет также „возложение обязанности загладить вред“. А так как размер вреда обычно оценивается в иске об убытках, с другой же стороны, ст. 8 У. К. как-бы отожествляет наказание с другими мерами социальной защиты, то и понятно, почему некоторые криминалисты склонны к криминализации гражданского иска о возмещении вреда и убытков, преступным деянием причиненных, коль скоро такой иск рассматривается в соединенном процессе.

Так, напр., проф. В. Н. Ширяев в помещенной в журнале „Право и Жизнь“ чрезвычайно интересной статье говорит по этому поводу: „Гражданский иск, присоединенный к публичному обвинению, из случайного, но в то же время довольно громоздкого привеска уголовного дела, сделался его неотделимою частью, органически с ним связанною; вместо инородного тела, случайно попавшего в организм уголовного дела,... гражданский иск в нашем современном уголовном кодексе может быть рассматриваем как составная часть уголовного дела“. „Эта криминализация гражданского иска в уголовном суде, продолжает почтенный ученый, является плодом определенного, может быть, даже не вполне сознанного в процессе законодательного творчества влияния материального Уголовного Кодекса на кодекс Уголовно-Процессуальный“ [2]).

Но гражданский иск в соединенном процессе и полномочие уголовного суда по возложению обязанности загладить вред, как мы постараемся доказать, не одно и то же. Так, прежде всего, для выяснения проблемы нельзя не остановить внимания на ст. 50 У. К., по которой суд, избрав одно из наказаний, предусмотренных соответственными статьями Уголовного Кодекса, может присоединить к нему либо необходимую меру социальной защиты, либо иное, менее тяжкое, наказание из указанных в пунктах „д“—„к“ ст. 32 У. К. Пункт же „к“ и устанавливает возложение обязанности загладить вред. И применить этот вид наказания суд может совершенно независимо от требования потерпевшего, „исключительно в заботах о судьбе этого последнего“,

---

[1]) Вульферт. Антрополого-позитивная школа уголовного права в Италии. Выпуск II и последний, 1893, стр. 310.

[2]) Проф. В. Н. Ширяев в помещенной в журнале „Право и Жизнь“ (№ 7/8—1924 г.) статье: „Судьба гражданского иска при обжаловании приговора уголовного суда“.

раз только признано будет целесообразным, чтобы осужденный, как выражается ст. 45 У. К., личными усилиями, точно указанными в приговоре, устранил последствия правонарушения или причиненный потерпевшему ущерб. Что должно быть понимаемо под несколько расплывчатым представлением о личных усилиях, остается невыясненным. Но весьма знаменательно и характерно то обстоятельство, что во всей особенной части нашего Уголовного Кодекса не встречается ни единой статьи, в которой возложение загладить вред фигурировало бы в качестве самостоятельной меры социальной защиты. Пункт „к“ ст. 32 У.К., по имеющимся в моем распоряжении данным, отличающимся исчерпывающею полнотою, применительно к одной из союзных республик представляется мертвою буквою. Едва-ли актуальность отмеченного постановления многим выше и в других республиках, и мы не будем слишком далеки от истины, если станем утверждать, что практическое значение нормы, предоставляющей уголовному суду право возложения на осужденного обязанности загладить понесенный потерпевшим вред, равняется нулю. Вот почему мне думается, что этот красивый „привесок“ попал в наш Уголовный Кодекс, как дань увлечению учением антрополого-позитивной школы, имея не столько реальную, сколько декоративную цену. Не этим-ли об'ясняется, что, обсуждая проект Уголовного Кодекса, ставший потом законом, III сессия Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета IX созыва не уделила внимания занимающей нас мере социальной защиты? [1]).

II.

Итак, естественно встает перед нами кардинальный вопрос о юридической природе проводимой в пункте „к“ ст. 32 У. К. меры. Идентична-ли она с гражданским иском, или представляет собою нечто обособленное, нечто отличное от него, своеобразный феномен советского процессуального законодательства? К отождествлению гражданского иска, основанного на обязательстве, возникающем вследствие причинения другому вреда, с „привеском“ пункта „к“ ст. 32 У.К., как думается мне, нет достаточных оснований. Ведь, пред'явленный в уголовном процессе гражданский иск может и не заслуживать удовлетворения, может частично или полностью быть отвергнут; и тем не менее, суд этим обстоятельством не связан, желая использовать указанный „привесок“. Как мера социальной защиты, по смыслу закона, возложение обязанности загладить вред может иметь место и тогда, когда гражданский иск вовсе и пред'явлен не был. Правда, в силу ст. 276 УПК ранее начатия судебного следствия председатель раз'ясняет потерпевшему его право пред'явления гражданского иска, если он еще не был заявлен. Но если такое раз'яснение на потерпевшего не произведет впечатления? Тогда неминуемо возникает вопрос: можно-ли, пренебрегая пассивностью потерпевшего, навязать ему гражданский иск, от себя инсценируемый судом?

Для тех, в глазах которых „всякое рассуждение о различном характере судов уголовного и гражданского неосновательно“, возбужденный вопрос, конечно, представится праздным, и ответ не сможет быть иным, как утвердительным по правилу житейской мудрости „je prends mon bien, oú je le trouve“ [2]). Но диаметрально противоположный ответ получится, если стать на ту проводимую некоторыми линию (на мой взгляд, неприемлемую), согласно которой соединенный процесс, т. е. одновременное рассмотрение уголовного иска и гражданского иска о возмещении вреда и убытков, преступным деянием причиненных, от начала до конца, во всех его фазах, определяется правилами уголовного судопроизводства. В этом случае должна отпасть

---

[1]) Бюллетени указанной сессии за 1922 г.

[2]) Н. Петухов в „Еженед. Сов. Юстиции“, № 18—1924 г.

всякая возможность начатия гражданского иска помимо непосредственно заинтересованного лица. На самом деле в соединенном процессе принципиально открещиваться от применения гражданско-процессуальных норм отнюдь не приходится, и прав был Фойницкий [1]), когда учил, что, хотя многие правила гражданского процесса, являются несомненно неприменимыми к процессу соединенному, все же порядок разбирательства гражданских исков в суде уголовном в его общем построении должен быть по возможности тот же, что в суде гражданском. В силу же ст. 2 ГПК суд приступает к рассмотрению дела не иначе, как по заявлению заинтересованной в том стороны. А если сторона не пожелает воспользоваться иском и наотрез откажется пред'явить его, что сможет сделать суд, опираясь на правила гражданского процесса, чтобы сломить ее сопротивление? Правда, ГПК здесь открывает выход: если не суд, то прокурор, в качестве государственного и классового органа публичной власти, в праве начинать исковые дела, когда того требуют интересы государства или трудящихся масс. Но, по справедливому замечанию А. А. Бугаевского, это правило вряд-ли будет жизненным, когда дело идет о конкретных правах частных лиц [2]). Возложение обязанности загладить вред ни в коей мере и не должно быть отожествляемо с гражданским иском, ибо не является эквивалентным с суммою вреда и убытков, причиненных преступлением, а составляет особого рода меру социальной защиты, известное наказание. В таком именно виде рисовалась эта мера, в применении к маловажным проступкам, родоначальникам антропологопозитивной школы. В этом отношении Вульферт правильно отмечает, что Ферри без всяких различений об'единяет, в виду поставленного им принципа, денежные штрафы и вознаграждение за вред и убытки, забывая, что денежные штрафы, идущие в доход государства, составляют, как говорит цитируемый автор, карательное средство, тогда как вознаграждение за вред и убытки коренится в основных положениях гражданского права [3]). Замена „карательного средства“ гражданским вознаграждением, хотя бы применительно к незначительным преступлениям, как, напр., простой краже, телесному повреждению, сводит их на положение гражданских правонарушений. На эту сторону вопроса обычно не обращается внимания. Конечно, если исходить из положения, что при пролетарском строе все гражданские права, в большей или меньшей степени, окутаны в публично-правовую оболочку, то это беда еще не такой большой руки. Но способ охранения законов гражданских и публичных прав, во всяком случае, различный.

III.

Таким образом, мы приходим к выводу, что возложение обязанности загладить вред и обязательство возмещения убытков, преступлением причиненных, суть явления различного порядка.

Как особый вид наказания обязанность загладить вред выступает в нашем У К. Это—дополнительная форма уголовно-правового принуждения. Правда, такая форма, которая в уголовном Кодексе как-бы застыла в эмбриональном состоянии, не получив дальнейшего развития, и которая, не отразившись на особенной части кодекса, является нежизнеспособною. Практическая малоценность указанного вида „наказания“ в отведенных ему У. К. рамках, надо думать, осознана была составителями „основных начал уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик“, утвержденных ЦИК ССР 31 октября.

---

[1]) Проф. И. Я. Фойницкий. Курс уголовн. судопроизводства, том II, стр. 90.

[2]) Бугаевский. Гражданский процесс в его движении, 1924 г., стр. 7—8. (В этом отношении весьма поучительно определение Гражд.—Кассац. Кол. Верховного Суда УССР по делу Василия Иванова (см. Вестник Сов. Юстиции—1924 г., № 2, стр 61—62)

[3]) Вульферт, там-же, стр. 346—347

1924 г. Перечисляя „меры социальной защиты судебно-исправительного характера“, статья 13 этих основных начал о возложении обязанности загладить вред вовсе и не упоминает[1]). И если я выше охарактеризовал включение этого вида „наказания“ в уголовный кодекс, как дань увлечению учением антрополого-позитивной школы, то не свидетельствует-ли отмеченное отношение составителей „основных начал“ о наступлении некоторого разочарования в этом вопросе? Правда, возложение обязанности загладить вред не окончательно выведено из строя, так как ст. 13 „основных начал“ предоставляет союзным республикам право устанавливать и „иные меры социальной защиты“, лишь бы они находились в соответствии с общими принципами уголовного законодательства СССР.

Воспользуются ли отдельные союзные республики предоставленным им правом, дадут-ли они в своих кодексах место возложению обязанности загладить вред, в качестве меры социальной защиты, сказать трудно. Одно только кажется мне несомненным: если законодательства союзных республик пойдут по открытому им в этом отношении пути, то не в направлении криминализации гражданского иска в соединенном процессе. Ибо криминализация означала бы здесь лишь возврат к тому давно минувшему прошлому, когда обязательства из правонарушений вмещали в себе две функции: возмещение вреда и имущественное наказание правонарушителя. В этот первородный грех, как мы видели, советское законодательство не впало. Ни УПК в своих статьях 14—18, 327, 328 и др., ни УК (ст. 32, пункт „к“) не дают оснований к смешению указанных функций. Не идет в разрез с этим выводом и ст. 45 УК, хотя и говорит, что обязанность загладить вред возлагается на осужденного, если суд признает целесообразным, чтобы он личными усилиями устранил последствия правонарушения или причиненный потерпевшему ущерб, ибо, как указано, нет тождества между гражданским иском и декретируемою исключительно по мотивам целесообразности, в интересах публично-правовых, мерою судебно-исправительного характера. Да и предпосылки для гражданского иска и применения меры социальной защиты иные. Ведь, в отношении последней безусловно учитываются степень и характер опасности преступного деяния, изучается, согласно ст. 24 УК, обстановка, при которой оно было совершено, выясняется и личность преступника, поскольку она выявилась в мотивах его и поскольку возможно уяснить ее на основании его образа жизни и прошлого. И здесь внимание останавливается и на заранее обдуманном намерении, и на хитрости, и на жестокости, и на легкомыслии, и на многом другом, так как УК не порвал связи конкретного „наказания“ с отдельными, конкретными

---

[1]) В „Основных началах уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик“ проведено слияние мер социальной защиты и наказаний. Тем самым утрачивает остроту интереса вся дискуссия по поводу необходимости различения в У. К. наказаний и мер социальной защиты. Так, напр., А. А. Пионтковский писал в „Советском Праве“ (№ 3 (6)—1923 г., стр. 42): „Поскольку в У.К. РСФСР есть различие оснований уголовно-правового принуждения: „вины“—формальной и материальной—и „опасного состояния“..., постольку мы имеем полное право в УК различать наказание, понимая под ним все виды уголовно-правового принуждения, имеющие основанием „вину“, и меры социальной защиты, понимая под ними все виды уголовно-правового принуждения, имеющие основанием „опасное состояние“. Сравнивая „меры социальной защиты в УК РСФСР и в итальянском проекте уголовного уложения 1921 г.“, проф. Маннс (в „Сборнике трудов профессоров и преподавателей Гос. Иркутского университета“, Вып. VI 1923 г., стр. 265) замечает: „На том, какую теоретическую позицию занимает проект в вопросе об отношении мер социальной защиты к наказанию, нет надобности останавливаться, так как на него дает ответ слияние им социальной защиты и наказания в единый институт—уголовную санкцию“. У итальянского проекта и наших „Основных начал“ оказалась в этом отношении общая точка зрения.

составами преступлений[1]). При этом умысел определяется согласно волевой теории, неосторожность же охватывает и преступное легкомыслие и преступную небрежность[2]). С этого угла зрения момент вины не может считаться окончательно вытравленным из нашего уголовного права, как утверждает проф. А. Г. Гойхбарг[3]). Одно лишь не подлежит сомнению: наш уголовный кодекс не усматривает причины преступности в „злой воле“ преступника, как в чем-то прирожденном ему, а потому и карательные меры, рассматриваемые через эту призму, должны были в итоге превратиться в меры социальной защиты.

В совершенно ином виде представляется вопрос о вине с точки зрения нашего действующаго гражданского права. Для возникновения обязательства возмещения вреда и убытков Г. К. признает достаточным простой факт их причинения. Нужно только, чтобы между наступившим вредом и вредоносным действием ответчика существовала причинная связь—не в философском значении этого слова, а связь, признаваемая житейским опытом, повседневными массовыми наблюдениями однородных случаев. Ярким выражением этого принципа является кардинальное правило, изложенное в ст. 403 Г.К., согласно которому причинивший вред личности или имуществу другого обязан возместить причиненный вред. Имели ли место умысел или неосторожность со стороны причинившего, эти обстоятельства никакой роли не играют. Наличие факта знаменует собою наличие обязательства. Такая постановка вопроса в гражданском обороте означает не что иное, как претворение в юридическую норму той, социально правильной мысли, (сугубо верной в пролетарском государстве), которую еще Гирке выразил в известном афоризме: пусть причинивший вред сам по себе и не виновен, но еще менее его виновен потерпевший[4]).

IV.

Возможно-ли, однако, целесообразно использовать возложение обязанности загладить вред, как меру уголовно-правового принуждения?

Проблема важная не только de lege lata, но, в виду ст. 13 приведенных „основных начал“, и de lege ferenda. Если исходить из действующего закона (ст. 45 УК), то может получиться впечатление, что возложение обязанности загладить вред сводится к удовлетворению гражданского иска об убытках. Но в таком случае, для чего вообще понадобился „привесок“ к ст. 32 УК, раз им ничего нового не вносится? На самом деле здесь имелось в виду нечто другое—обеспечить торжество конкретной справедливости, соответствующей критерию целесообразности. Гражданский иск, вытекающей из факта совершения преступления, предполагает определенное, более или менее математически точно исчисляемое уменьшение имущества пострадавшего, известный материальный ущерб. Не даром же, по ходячему мнению, под имуществом подразумевается совокупность имеющих материальную ценность благ определенного лица[5]). Но если еще потенциальная возможность обеспечить себе известное имущественное положение втягивается в рамки прав гражданских, исковым порядком защищаемых, если т. н. исключительные права пользуются признанием и защитою,—то нематериальный интерес, который, кстати, в огромном большинстве случаев также может быть сведен к материальной базе, обычно остается за пределами предоставляемой в по-

[1]) А. А. Пионтковский. Уголовное право РСФСР, 1924 г., стр. 80—81.

[2]) Проф. Э. А. Немировский в статье: „Спорные вопросы общей части и отношение к ним уголовного кодекса УССР“ в „Журнале научно-исследовательских кафедр в Одессе“, том I, 1924 г., книга 7.

[3]) Проф. А. Г. Гойхбарг. Хозяйственное право РСФСР, 1923 г., стр. 122.

[4]) Gierke. Die sociale Aufgabe des Privatrechts. 1889, стр. 33.

[5]) Дернбург. Пандекты. Том I, стр. 55 (русский перевод 1906 г.).

рядке гражданского судопроизводства охраны. Когда под влиянием совершенного над ним посягательства умалена энергия данного лица, когда обезображена внешность лица, особенно женского пола,—найдется ли достаточно основания для формулировки гражданского иска? Правда, нельзя отрицать, что советское право вовсе не относится абсолютно отрицательно к нематериальным интересам [1]). Так, напр., ГПК упоминает об исках неимущественного характера; но ГК в этом отношении обнаруживает отсутствие гибкости, и лишь в ст. 142 его, по поводу чрезмерно высоких неустоек, рекомендуется суду принять во внимание, „не только имущественный, но и всякий иной, заслуживающий, уважения, интерес кредитора“ [2]). Мысль о том, что внимания законодателя и суда достойны лишь материальные, денежные интересы, справедливо замечает проф. А. М. Винавер, многими современными законодательствами, в том числе и Гражданским Кодексом, отвергнута. Всякий „серьезный“ интерес заслуживает судебной защиты. А когда преступление обусловливает возникновение подобного интереса, когда перед судом в ярких красках развертывается картина неравенства имущественного положения обидчика и обиженного, в частности имущественное превосходство первого, может-ли в этом случае преступление не служить основанием некоторой компенсации? Или возьмем, для примера, посягательства на личность и ее достоинство (ст. 149-162 УК.) или же преступления в области половых отношений (ст. 166-171 УК.). Все они создают почву для предоставления пострадавшему лицу известной компенсации, диктуемой принципом конкретной справедливости. Но у нашего гражданского суда свобода движения в этом отношении парализована. Она даже меньше, чем, напр., у судов германских, управомоченных, благодаря § 847 BGB, на назначение некоторого, „справедливого“ вознаграждения в случаях телесного вознаграждения, лишения свободы и оскорбления женской чести. Недостаточная эластичность, являющаяся тормазом в суде гражданском, исчезает в отношении уголовного суда, менее связанного узкими и строгими рамками точного исчисления понесенного ущерба. В этом может казаться несомненное преимущество процедуры возложения обязанности загладить вред пред необходимостью проведения иска в порядке гражданского судопроизводства. Но тут мы незаметно подошли к решению вопроса „de lege ferenda“, ибо действующий закон, в частности упоминавшаяся несколько раз ст. 45 УК, не дает неопровержимых данных для дифференциации возложения обязанности загладить вред и иска о возмещении ущерба, преступным деянием причиненного. Достаточно для этого провести параллель между упомянутой статьею и ст. 410 ГК, чтобы констатировать их близкое родство, внутреннее тождество. В том виде, в каком возложение обязанности загладить вред, вылилось в УК, оно, вопреки ст. 50, не является наказанием, не является мерою социальной защиты, поскольку гражданский иск не может считаться „наказанием“ или мерою социальной защитою. Наоборот, это тот же иск, который нормируется ст. 14 и след. УПК. Ни о какой криминализации здесь речи быть не может.

„Основные начала уголовного законодательства“, утвержд. ЦИК Союза ССР 31 октября 1924 г., разрешают ввести в Уголовные Кодексы союзных республик меры социальной защиты, не идущие в разрез с этими основами. Если-бы „привесок“ к ст. 32 УК, в настоящее время представляющий собою лишь красивый брелок в цепи мер социальной защиты, был развит в указанном выше направлении и утили-

---

[1]) Проф А. М Винавер. Неустойка. 1924, стр. 25.

[2]) См. ст. 35 ГПК.

Ст. 142 ГК в общем воспроизводит § 343 BGB и составлена под влиянием русского проекта гр. ул. об обязательствах.

зирован, как средство, содействующее торжеству конкретной справедливости,—важное социальное значение его могло бы считаться обеспеченным. Но в этом случае надобно воздать suum cuique, сохраняя в чистоте гражданский иск в соединенном процессе и преобразовывая злополучный привесок ст. 32 УК в действительную меру уголовно-правового принуждения.

V.

Авторитетное мнение покойного проф. Фойницкого о значении и применении гражданско-процессуальных правил в соединенном процессе указано выше. Порядок разбирательства гражданских исков в суде уголовном в его общем построении должен быть, по словам этого выдающегося криминалиста, по возможности тот же, что и в суде гражданском. Другого правильного решения этого вопроса, конечно, и быть не может. Гражданский иск вхождением в уголовное дело, вопреки проводимому некоторыми мнению, не меняет своей природы, не перестает быть домогательством охраны гражданских прав, являясь средством исцеления „хозяйственной болезни“ [1]). Как таковой, гражданский процесс представляет собою двойное юридическое отношение: публично правовое, устанавливающее связь между судом, как органом государственной власти и тяжущимися, и частно-правовое, определяющее отношение спорящих между собою и к об‘екту спора [2]). Сопровождающий уголовный процесс гражданский иск не криминализуется, оставаясь самим собою и требуя применения к себе гражданско-процессуальных правил, поскольку они не препятствуют движению главного предмета соединенного процесса, уголовного дела.

Было бы бесцельно излагать здесь подробно, какие правила гражданского судопроизводства подлежат применению в соединенном процессе и какие должны быть отвергнуты. Ответ на это можно вывести из постановлений УПК. Но нельзя не остановиться, в связи с затронутым общим вопросом, на вопросе о подсудности гражданских исков в соединенном процессе.

Спрашивается: может-ли народный суд, разбирающий подсудное ему уголовное дело, одновременно разбирать гражданский иск, превышающий пределы его подсудности?

Мы уже видели, что гражданский процесс есть отношение не только между сторонами, но и между ними и судом. Как сумма процессуальных правил, служащих гарантиею против произвольных действий органа власти, он полностью относится к области публичного права и в этом смысле обладает всеми свойствами принудительности и неизменяемости. Свойственные порядку разбирательства гражданских дел публично-правные черты связывают отношение суда к тяжущимся и предмету спору, не зависящее от усмотрения его. Не составляет исключения из этих основных правил и подсудность. А так как гражданский иск в соединенном процессе, как мы видели, вхождением в уголовное дело не утрачивает присущего ему частно-правного характера, не криминализуется,—то он и должен подчиниться тем же правилам, которые установлены для разбирательства гражданских исков в суде гражданском, поскольку они не мешают движению главного, т. е. уголовного, дела. Ведь, не должно забывать, что круг ведомства или об‘ективная компетенция судов вводится в интересах государственного строя, преследуя важные государственные цели, которые абсолютно обязательны, связывают суд и им по общему правилу от-

[1]) По меткому выражению Фукса (Fuchs. Recht und Wahrheit in unserer heutigen Justiz. 1908, стр. 231).

[2]) Проф. В. А. Краснокутский. Очерки гражданского процессуального права. 1924, стр. 19.

нюдь не могут быть изменяемы[1]). Ибо суд прежде всего и в особенности должен стоять на страже революционной законности, которая есть не что иное, как оформившееся в кодексах социалистическое правосознание[2]). Расшатывать, подтачивать, произвольно изменять эти основы, исходя из ложно понимаемого принципа целесообразности, отнюдь не следует. Вот почему на частный вопрос о том, в праве ли народный суд разрешать иск, превышающий пределы его подсудности,— хотя-бы в соединенном процессе,—необходимо дать безусловно отрицательный ответ. Не имеет значения, что ст. 14 УПК не подчеркивает границ подсудности. Согласованность обоих процессуальных кодексов сама собою подразумевается, и если исходить из императива ст. 23 пункта „а“ ГПК, то иск, превышающий компетенцию народного суда, безусловно следует выделить из уголовного процесса, передавая его для рассмотрения в подлежащий гражданский суд. Этот вывод, кроме изложенных соображений, основывается на той предпосылке, что к предметам ведения народного суда отнесены лишь простые, несложные дела, в том числе сравнительно малоценные иски.

Но против этого положения иногда приводится то возражение, что, если народный суд признается достаточно компетентным разбирать имущественные споры в сумме тысячи руб., логично-ли отрицать его способность к разбору таких споров, цена которых определяется, напр., в тысячу один рубль, особенно в процессе соединенном?

Однако, так ставить проблему, конечно, не приходится. Правопорядок нуждается в твердых, об‘ективных нормах и критериях; считаясь с ними, закон связывает с наступлением тех или иных обстоятельств известные юридические последствия. Установление таких демаркационных линий, при которых наступление юридического события считается совершившимся фактом, целесообразно и практически необходимо не только в области процессуальной, но вообще и в праве публичном, и в частном праве. Ибо нормы права рассчитаны не на то только, чтобы ограждать интересы отдельных людей, но в то же время имеют целью дать возможно большую точность и известность принятым в них измерениям в интересах общих[3]). Не без борьбы, правда, пробил себе дорогу этот принцип целесообразности, но за то крепко утвердился во всем культурном мире[4]). Конечно, в отдельных случаях могло бы казаться, что установление подобных граней заключает в себе некоторую долю произвольного, формального, и что по духу своему советское право чуждается всяких формальностей. Но такое возражение может быть принято за звонкую монету лишь с большою оговоркою. Вспомним, кстати, известный афоризм Рудольфа Иеринга о том, что форма,— это враг произвола.

В самом деле, для того, чтобы не существовало произвольных действий со стороны органов власти, призванных охранять предоставляемые гражданам права, известный минимум формы необходим. К этому минимуму относятся также правила о ведомстве и подсудности. Только в границах, очерченных законом, суд может считаться компетентным и, следовательно, способным закономерно создать процессуальное отношение между судом и сторонами. Отсюда логически вытекает, что решение постановленное за этими пределами, должно быть рассматриваемо, как ничтожное. Вот почему нельзя не присоединиться к авторитетному раз‘яснению, данному в циркуляре Верховного Суда

---

[1]) Этому общему правилу ст. 24 ГПК не противоречит.

[2]) Чельцов-Бебутов. Социалистическое правосознание и уголовное право революции, 1924 г., стр. 61.

[3]) Проф. Н. Л. Дювернуа. Чтения по гражданскому праву. Том I, вып. 1, 1898, стр. 315—316.

[4]) Любопытно: Ulpiani fragmenta, XI, § 28.

РСФСР от 11 июня 1924 г. за № 20, в котором говорится: „В виду отсутствия в У. П. К. каких либо указаний на порядок рассмотрения исков в уголовных делах, разрешаемых в нарсудах в тех случаях, когда означенные гражданские иски превышают подсудность нарсуда, Верхсуд раз'ясняет, что в случае пред'явления токовых исков, нарсуды должны оставлять их без рассмотрения, предоставляя заинтересованной стороне право пред'являть такие иски в подлежащем суде и принимая, в случае надобности, меры предварительного обеспечения будущего иска применительно к 330 ст. У. П. К." Добавлять к этому раз'яснению ничего не приходится; оно само за себя говорит. К сожалению, однако, белорусская судебная практика, поскольку мне известно, придерживается противоположного взгляда.

И. Я. Герцык.

Теория ренты в связи с трудовой теорией стоимости.[1]

Цена земли—ее образование—требует особого об‘яснения с точки зрения школы трудовой теории стоимости. Земля, не будучи продуктом труда, покупается и продается, цена ее повышается и понижается, подчиняясь в своих изменениях особым, ей свойственным законам. Появление земли на капиталистическом рынке, в качестве особого товара, не может быть рассматриваемо как одно из „исключений“ в ряду других подобного рода товаров, в роде старых монет, вышедших давно из употребления почтовых марок, занимающих свое скромное место на рынке и не имеющих значения с хозяйственной точки зрения. Земля является наиболее важным средством производства, необходимым условием функционирования остальных. Неудовлетворительное об‘яснение образования ее цены школою трудовой теории стоимости должно было бы заставить пересмотреть основы нашей теории. В III-м томе „Капитала“ Маркс счел нужным подробно остановиться на этом вопросе. Маркс указывает, что в капиталистическом обществе все, что в состоянии давать доход, котируется, покупается и продается на рынке, даже „честь и совесть“: земля дает особый доход, помимо получаемого от приложения капитала и труда—земельную ренту. Цена ее и устанавливается в зависимости от ренты, получаемой за нее, и средней процентной нормы в стране по ссудному капиталу; она равна капитализированной ренте, т. е. ссудному капиталу, который давал бы доход, равный ренте. Понятно, с изменением, по каким бы то ни было причинам, ренты или ссудного процента или той и другого, соответственно изменяется и цена земли: прямо пропорционально ренте, обратно пропорционально ссудному проценту[2]).

Но каковы причины земельной ренты, и как она устанавливается? Рикардо, один из крупнейших представителей классической школы, не упоминает совершенно в своем основном труде об абсолютной земельной ренте, т. е. о ренте, платимой с худших земель их владельцу за право пользования ими, ренте, приводящей к соответственному повышению цены добываемых продуктов. Он останавливается исключительно на дифференциальной ренте, т. е. обусловленной удобным местоположением по отношению к рынку, плодородной почвой, вложением новых капиталов в связи с законом падающей производительности труда в земледелии. Об‘ясняет он, как известно, дифференциальную ренту тем, что для удовлетворения потребности населения в пище необходима обработка и худшей земли, а так как она возможна только при выручке на последней как издержек производства, так и нормальной прибыли, то эта сумма—издержки производства на худшей из обрабаты-

---

[1]) Краткое изложение доклада, читанного в Научном обществе при Бел. Государствен. Университете (в марте 1923 г.).

[2]) К. Marx „Das Kapital“. Hamburg, Verlag Otto Meissner. 1894 III B. II Th., 162-166.

ваемых земель плюс средняя норма прибыли,—и определяет цену продукта на рынке, разница же в расходах по производству на худшей и лучшей земле составляет ренту лучшей земли [1]). А за худшую землю разве не приходится платить ренту? Разве землевладелец за право пользования худшей землей не потребует никакого вознаграждения? Рикардо не дает прямого ответа на этот вопрос. Но Дж. Ст. Милль останавливается подробно на нем в своем главном труде „Основания Политической Экономии". Милль был безусловным сторонником теории ренты Рикардо. Он был более других знаком с теми взглядами Рикардо по экономическим проблемам, которые последний не успел развить в печати. (В вышеупомянутом своем труде Милль рассказывает, что Рикардо был очень дружен с его отцом и делился с ним взглядами по интересующим его теоретическим вопросами [2]).

Мнение Милля заслуживает поэтому особого внимания.

Милль находит, что за худшую землю не уплачивается рента. Обратное, т. е. получение землевладельцем платы и за худшую землю, предполагается, по его мнению, экономистами только потому, что арендная плата назначается за всю сдаваемую землю, которая обыкновенно включает как хорошие, так и дурные участки; фактически в расчет принимается только лучшая земля.

При недостатке продуктов производства хорошей земли, раньше чем перейти к худшей и платить ренту, замечает Дж. Ст. Милль, будут вкладывать новые капиталы в уже обрабатываемую землю, хотя продуктивность работы на ней и будет уменьшаться. Современем же и худшая земля будет давать дифференциальную ренту, если при этой ренте можно будет продавать продукт не дороже, чем при новом вложении капитала в ранее обрабатывавшуюся землю.

Это рассуждение считают безусловно неверным крупнейшие представители нашей науки во вторую половину XIX столетия—Маркс и Родбертус. Маркс прекрасно выясняет насколько нехарактерны случаи сдачи худшей земли вместе с лучшей. В гораздо больших размерах можно отметить переход к обработке сплошь худшей земли и уплате за нее ренты. Именование же этой ренты дифференциальной, так как она больше или равна другой дифференциальной ренте, получаемой, благодаря новым помещениям капитала в лучшую землю, Маркс считает неправильным, ибо здесь решающей является рента с худшей земли: она указывает предел, до которого можно вкладывать капитал в лучшую землю при падающей производительности труда. Рента с худшей земли влияет на установление цены продукта. Целый ряд фактов в странах с капиталистическим строем убеждают нас в том, что переход к худшей земле, уплата за нее ренты и соответственное увеличение цены продукта не могут быть оспариваемы [3]).

Как же об'ясняется рента, получаемая и за худшую землю, наиболее последовательными сторонниками трудовой теории стоимости, Родбертусом и Марксом? По мнению Родбертуса, рента является следствием различного органического строения капитала в земледелии и промышленности. В земледелии часть капитала, затрачиваемая на заработную плату, относительно больше, чем в обрабатывающей промышленности, так как сырье, один из элементов расходуемого капитала в промышленности, в земледелии ничего не стоит. Прибавочная ценность, или, по терминологии Родбертуса, рента, получается, как известно, только

---

[1]) Рикардо. „Начала Политической экономии и податного обложения", пер. под редакцией Д. Рязанова, книгоизд. „Зерно", 1908 г. стр. 34-36.

[2]) „Основания Политической Экономии". Изд. А. Н. Пыпина. СПБ. 1865 г., том II, стр. 86.

[3]) K. Marx. „Das Kapital". III B. II Th. S. 284-288.

с части капитала, предназначенной для заработной платы; она относительно больше в сельском хозяйстве; следовательно, и норма прибыли там выше. Этот излишек, в виде земельной ренты, забирается землевладельцем, так как капиталисты, снимающие у него в аренду землю, должны удовлетвориться обычной нормой прибыли.

Неудовлетворительность теории Родбертуса выяснена была многими экономистами. Ведь, согласно его об'яснению, прибыль равна прибавочной стоимости, и средняя цена продуктов равна их ценности, что отрицается и Родбертусом во многих местах его произведений. Затем, согласно этому об'яснению, все производства, где органическое строение капитала низкое, в частности сырье которых стоит дешевле, должны давать добавочную ренту, так как сырье для выработки полуфабрикатов стоит дешевле, чем для выработки фабрикатов; по теории Родбертуса, отрасли промышленности, производящие полуфабрикаты, должны давать добавочную ренту, что, конечно, не соответствует действительности.

Маркс, признав также, на основании выше указанных рассуждений, неправильность теории Родбертуса, отметил, однако, что в этой теории имеется и зерно истины[1]). Это дало повод некоторым экономистам проводить полную аналогию между теориями Родбертуса и Маркса, что безусловно неверно, как и постараемся теперь выяснить, обратившись к теории Маркса.

Маркс, как и Родбертус, указывает, что в земледелии в настоящее время органическое строение капитала ниже, чем в промышленности и, следовательно, прибавочная ценность больше средней нормы прибыли. Если бы земледелие находилось в одинаковых условиях с промышленностью, то излишек в этой отрасли производства прибавочной ценности над нормою прибыли распределялся бы равномерно между капиталистами всех отраслей производства; но в сельском хозяйстве, замечает Маркс, на пути между арендаторами земли и другим и капиталистами имеется помещик, которому принадлежит земля. Он ставит свои условия и не допускает к распределению между капиталистами сверх-прибыли, которая получается, благодаря низкому органическому строению капитала в сельском хозяйстве, и забирает эту сверх-прибыль в свою пользу[2]). Но означенная сверх-прибыль не всегда всецело составляет доход землевладельца в виде ренты. Это зависит от различных условий, главным образом, от конкуренции между землевладельцами и возможности доставки хлеба из-за границы. Чем больше конкуренция между помещиками и чем легче населению получить дешевый хлеб из-за границы, тем ниже будут цены на хлеб в стране и тем меньшая часть сверх-прибыли придется на долю землевладельцев. Вместе с тем Маркс указывает, что низкое органическое строение капитала—теоретически, по крайней мере—не является обязательным для сельского хозяйства. С развитием техники в земледелии, с развитием производительных сил, все больше будет внедряться в сельское хозяйство употребление машин и, следовательно, будет изменяться органическое строение капитала. Оно может стать не ниже, чем в средних отраслях промышленности, даже выше. В этом случае прибавочная ценность не будет превышать нормы прибыли и не будет указанной сверх-прибыли. И тогда с худших земель, при частной собственности на них, может взиматься рента; но эта рента не будет в связи с прибавочной ценностью,—она будет, по обозначению Маркса, монопольной рентой. Своим правом на землю, имеющуюся в ограниченном количестве, землевладелец пользуется, как всякий монополист. Цена будет зависеть, при данной средней производитель-

[1]) K. Marx. „Das Kapital" III B. II Th. S. 311.
[2]) Marx. „Das Kapital" III B, II Th, S. 293-296.

ности труда в сельском хозяйстве, если оставить в стороне конкуренцию заграницы, от количества требуемого продукта и платежеспособности населения. Такие монопольные цены, превышающие сверхприбыль, возможны и при низком органическом строении капитала в земледелии, если потребность на производимые продукты значительно увеличивается, благодаря густоте населения, трудности подвоза и т. д. [1]). Следовательно, в зависимости от тех или других условий, рента может быть ниже или выше разницы между получаемой на худших землях прибавочной ценностью и средней прибылью в стране. В первом случае, т. е. когда рента ниже указанной разницы, Маркс называет ее абсолютной, во втором случае монопольной рентой[2]).

Как уже было указано в начале статьи, земля, не будучи продуктом человеческого труда, имея цену, не имеет ценности. Ее цена есть антиципированная рента, плата за пользование рентой. Эта цена земли—не действительный, а фиктивный капитал, как цены облигаций государственных займов, по которым полученные суммы уже давно истрачены на военные расходы и даже, возможно, расстреляны. Не буду излагать глубоких и остроумных доказательств Маркса, что цена земли не может влиять на цену продуктов сельского хозяйства. Как мы уже указали, цена земли зависит от ренты и от нормы процента в стране. При изменении нормы процента, цена земли соответственно изменяется, хотя рента сохраняется в том же размере.

Теория Маркса вызвала против себя много возражений. Эти возражения собраны и об‘единены одним из наиболее вдумчивых критиков Маркса—нашим соотечественником, берлинским проф. Л. Борткевичем, в его обширной статье Die Rodbertussche Grundrententheorie u. die Marxsche Lehre von der absoluten Grundrente. Изложив весьма обективно теорию Маркса, профессор Борткевич отметил правильно, в чем Маркс расходится с Родбертусом: а именно, Маркс подчеркнул монопольный характер землевладения и, в отличие от Родбертуса, указал, что земельная рента может быть как ниже, так и выше сверхприбыли[3]). Но проф. Борткевич считает искусственным установление Марксом связи теории ренты с теорией ценности, проведение различия *между абсолютной и монопольной* рентой. Маркс, замечает проф. Борткевич, сам указывал, что рента может быть и выше, и ниже разницы суммы прибавочной ценности с худших земель и средней прибыли в стране. К чему же, по мнению проф. Борткевича, новые термины, вводимые Марксом в его рассуждения, нисколько не раз‘ясняющие действительного движения ренты [4]).

Мне кажется, возражения проф. Борткевича напоминают критику противников теории ценности Маркса. Последние считают совершенно ненужными, даже вносящими путаницу в умы, понятия: переменный капитал и прибавочная ценность. Ведь Маркс, замечают они, сам доказывает, что цены продуктов не только не совпадают с их ценностями, но и не тяготеют к ним—так же, как и прибыль, по их мнению, ни в какой связи с прибавочной ценностью не находится (знаменитое „противоречие“ I и III тома „Капитала“ Маркса). Однако, более вдумчивые из критиков трудовой теории, особенно побывавшие, хотя бы не долго, „в марксистах“, не могут не признать социологической ценности теории Маркса (П.Б.Струве, С. Франк). Франк в своей книге „Теория ценности Маркса и ее значение“ указывает значение этой теории в выяснении роли труда,

---

[1]) Marx. „Das Kapital“. III B. II Th. 297-298.

[2]) Archiv für die Geschichte des Socialismus u. der Arbeiterbewegung, I heft 1910 u. III heft 1911.

[3]) Do F 419 (III Heft).

[4]) Do F 421—423.

как производственной основы человеческого общежития [1]). Человеческое общество не может не сообразовать своих хозяйственных действий с необходимым для них трудом. Этого значения труда, как создателя хозяйственных ценностей, не отрицают, конечно, серьезные критики Маркса, но они находят, что ценность в этом смысле не стоит в связи с меновой ценностью, с распределением продуктов: ведь и Маркс признает, замечают они, что продукты не распределяются пропорционально затраченному на них труду [2]).

Много ясности в этот вопрос вносит И. И. Рубин своей брошюрой „Очерки по теории стоимости Маркса". И. И. Рубин правильно указывает исходный пункт рассуждений Маркса. Таковым для Маркса является работа в человеческом обществе, в частности, в капиталистическом. Маркс выясняет, как в капиталистическом обществе создаются богатства и как они распределяются между различными классами; он изображает экономические условия функционирования производственного механизма и его нормального развития. Для Маркса не самое главное об'яснить образование цен, как полагает психологическая школа; ему важнее выяснить, как создаются богатства, как они распределяются между различными классами, в каком отношении находится распределение к труду, как функционирует и развивается хозяйственная жизнь в капиталистическом обществе. Маркс сам не раз высказывал эту основную идею своего главного произведения. Ограничусь двумя цитатами, приводимыми И. И. Рубиным в его вышеупомянутой брошюре: „Всякий ребенок знает, что каждая нация погибла бы с голоду, если бы она приостановила работу, не говорю уже, на год, а хотя бы на несколько недель. Точно так же известно всем, что для соответствующих различным массам потребностей масс продуктов требуются различные и количественно определенные массы общественного совокупного труда. Очевидно само собою, что эта необходимость разделения общественного труда в определенных пропорциях никоим образом не может быть уничтожена определенною формою общественного производства, измениться может лишь форма ее проявления... Форма, в которой проявляется это пропорциональное разделение труда при таком общественном устройстве, когда связь общественного труда существует в виде частного обмена индивидуальных продуктов труда,—эта форма и есть меновая стоимость этих продуктов" [3]). Ту же мысль выражает Маркс и в III-м томе „Капитала" (Капитал, т. III, 410): „Распределение этого общественного труда и его взаимное довершение, обмен веществ между его продуктами, его подчинение ходу общественного механизма и включение в этот последний,—все это предоставлено случайным, взаимно уничтожающимся стремлениям единичных капиталистических производителей... Лишь как внутренний закон, как слепой закон природы, выступает в глазах отдельных деятелей производства закон стоимости и осуществляет общественное равновесие производства среди случайных колебаний" [4]).

Интересующихся более подробным развитием этой мысли я отсылаю к интересному труду И. И. Рубина. Моею целью было обратить внимание на ту точку зрения, из которой Маркс исходит также при изучении вопроса о ренте. Марксу важно было выяснить, как землевладельцы, пользуясь своим правом монополии на естественные силы природы, получают свою долю из общего продукта, вырабатываемого страною, и за чей счет они получают свою ренту. Стоит понять эту точку зрения и, мне кажется, все вышеприведенные возражения

[1]) С. Франк. „Теория стоимости Маркса и ее значение" стр. 232-234.
[2]) Do ст. 34-41.
[3]) „Письма к Кугельману", перев. под ред. Ленина, 1907 г., стр. 43-44.
[4]) И. И. Рубин. „Очерки по теории стоимости", стр. 38.

проф. Борткевича теряют свое значение. С указанной точки зрения Маркса, конечно, очень важно различие, делаемое им между абсолютной и монопольной рентой. В форме абсолютной ренты землевладелец получает всю или часть сверх-прибыли в сельско-хозяйственном производстве, т. е. сумму дохода, превышающую среднюю прибыль в стране. Рента землевладельца в этом случае представляет вычет из прибыли капиталистов-предпринимателей. Если бы землевладельцы не удерживали эту ренту, то данная сумма была бы распределена между капиталистами, и остальное население мало выиграло бы от этой перемены. При монопольной же ренте землевладельцы не только отнимают у капиталистов часть их прибыли, но и забирают некоторую долю продуктов у всех потребителей: они эксплоатируют в данном случае самые широкие слои населения. Следовательно, с социальной точки зрения, это разделение ренты на абсолютную и монопольную имеет большое значение и представляет огромный интерес.

Изучая „Капитал“ Маркса, мы все более убеждаемся, как проникнуты единой идеей все части теории Маркса и в какой тесной связи находится каждая из них с основным принципом его главного труда.

В. И. Пичета.

Состав населения в господарских дворах западной Белоруссии в пореформенную эпоху.[1]

(Продолжение).

Крестьяне осадные. Платежи осадных крестьян в Кобринской экономии, в Берестейском старостве, в Пинском старостве, в Гродненской экономии, в Жмудском старостве. Платежи частно-владельческого крестьянства. Земельные наделы господарского и частно-владельческого осадного крестьянства. Формы землевладения господарского осадного населения.

I.

Крестьяне, сидевшие на осаде, составляли наиболее многочисленный разряд сельского населения в господарских дворах и экономиях. Они не несли никаких натуральных повинностей,—последние были выкуплены. Осадное крестьянство, предоставленное самому себе, определив все свои отношения к господарскому скарбу обязанностью вносить в господарский скарб платы в сроки, назначенные Уставой о волоках, было, конечно, более самостоятельно в хозяйственном отношении в сравнении с тяглым населением. Платежи осадных крестьян состояли из чинша, платы за кур, гусей, яйца, неводы, стации, за овес и сено. Кроме того, они уплачивали деньги за осаду и выкупы за толоку и кгвалт. Размеры платежей осадных крестьян были неодинаковы и находились в прямой зависимости от качества почвы их волоки. Изменялся обыкновенно чинш и плата за овес и сено. Но взносы за осаду, толоку, кгвалт, за кур, гусей, стации, невода и яйца оставались неизменными. Не смотря на то, что все повинности были переведены на деньги, все-таки не исключалась возможность взимания некоторых платежей натурой, что зависело от усмотрения руководителя господарского хозяйства и состояния последнего. Сохранившиеся писцовые книги дают возможность составить полное представление об экономическом положении осадного крестьянства в господарских дворах.

Земли в Кобринской экономии составитель описания экономии разделил на пять разрядов: на „средние, подлые, вельми подлые, никчемные, подлые для низкости". Размеры чинша вполне соответствуют Уставе о волоках: 12, 8 и 6 грошей За осаду вносилось 30 грошей и за толоку с кгвалтом 22 гроша (10 и 12 гр.). За кур, гусей, яйца, стации и неводы, по Уставе, уплачивалось 8 грошей. За овес и сено поступало с одной средней волоки 25 гр., а с волоки плохого грунта только 15 грошей, так как овса требовалось одной бочкой меньше. Наконец, с „вельми *подлого грунта" овса и сена, согласно Уставы о волоках, не полагалось.* Отступлений в определении платежей от Уставы о волоках в Кобринской

---

[1]) См. Труды Белорусского Государственного Университета, № 4-5.

экономии нет. Платежи в 97 гр.[1]), 83 гр.[2]) и 66 гр.[3])—нормы, соответствующие Уставе о волоках. Платежи осадных крестьян в Пинском старостве делятся на пять категорий. Последняя категория не предусмотрена Волочной уставой, и определение размеров платежей всецело зависело от усмотрения ревизора. В Пинском старостве с осадной волоки плохой по качеству почвы поступало в господарский скарб 83 гр.[4]), с вельми плохой по качеству почвы 66 гр.[5]). Но в Пинском старостве было немало совершенно негодных земель. Осадное крестьянство не желало их брать по нормам Уставы, и это обстоятельство заставило ревизоров установить новые нормы платежей: 55 гр.[6]), 42 гр.[7]) 30 гр.[8]). Определяя размеры платежей для села Сочино, ревизор счел возможным остановиться на норме 55 гр. вместо 66-ти грошей, т. к. крестьяне не хотели на них осаживаться по нормальной оценке. По той же причине были определены платежи по взаимному соглашению по селам, относящимся к 4-й и 5-й категориям по размерам повинности. Платежи в Берестейском старостве делятся на четыре категории, в зависимости от деления земель по качеству почвы на 4 категории: среднюю, подлую, подлую, смешанную с преподлым грунтом, преподлую на-пол с преподлым. Принятые нормы платежей в Берестейском старостве соответствуют нормам Уставы в трех случаях: 97 гр.[9]), 83 гр.[10]), 66 гр.[11]). Составитель описания счел возможным на некоторые земли наложить платы в размере 73 гр.[12]). Он оставил чинш и все платежи в том виде, в каком они поступали с каждой подлой волоки, но только освободил население от платежа 10 гр. за бочку овса с отвозом. Последнее наблюдение было сделано еще М. В. Довнар-Запольским в его работе, посвященной описанию Берестейского старостве[13]). В Гродненской экономии надо отметить также большое разнообразие платежей, но они вполне совпадают с Уставой о волоках. Только овес непременно доставляется натурой. В Гродненской экономии было не мало земель „доброго грунта“. Согласно

---

[1]) К первому разряду относятся села: Стрыевичи, Остромечь, Яковчичи, Пруска, Столпы, Пестенчичи, Данковичи, Глинянки, Ластовки, Осовая Римки, Загорье, Смольники, Микитичи, Слонимцы, Городняны, Линово, Мощоная, Поросляне, Жадены, Лежайко-Малеч, Постолово, Дубов Хлев, Кобаки, Блудень Великий, Горец, Остромец, Буховичи.

[2]) Ко второму разряду относятся села: Козище, Каменное, Гореэдричи, Залесье, Селецкое, Красновское, Хабовичи, Гваричи, Руховичи, Шиповичи, Ляхичи, Плоское, Залесье, Туличи, Дашковичи, Долгое, Ольшаница, Обчее, Чахчи, Оловая, Льсняне, Павловичи, Подгороды, Залужье, Рицевичи, Подольманец, Стрыевичи, Лукомир, Сосновая, Олехновичи, Блудень Малый, Тимковичи, Ревятичи, Иловское, Подзимная, Грушевая, Ходлин, Углы, Челищевичи, Камень.

[3]) К третьей группе относятся села: Кобтево, Шерчеево, Хыдры, Подкрайцы, Вощаница, Сазоновичи, Пархвеновичи, Пишанка, Уколка, Соболевичи, Голица, Бармутовичи, Карпесцы, Березная.

[4]) К первой категории следует отнести: Чернчичи, Ковнятино, Бродница, Гутово, Ляховичи, Заборовцы, Куреличи, Доверовичи, Осовница, Купетичи, Костечи, Паршевичи, Посиничи.

[5]) Ко второй группе относятся: Гневичи, Ворочевичи, Городище, Дружиловичи, Приселица, Псищево, Осовница Малая, Жолна.

[6]) К третьей категории: Сочина.

[7]) К четвертой категории: Бобровичи, Озерцы, Вяды, Великая Гать, Малая Гать, Колонское, Великая Глинная, Селище.

[8]) К последней категории: Малая Глинная.

[9]) К первой категории: Нехолости, Сичи, Волмовичи, Воробьи, Рахитная, Костянково, Студеная, Варотоль, Полоски, Дубровица Малая, Дубровица Большая, Рудно, Виски, Березов Кут, Валинная, Кролев Брод, Коденец, Пашни.

[10]) Ко второй группе: Малашевичи, Кобыляне, Лебедево, Яцковичи, Збероги, Осято, Любенка, Княжая, Добрянка, Воля Бокинная, Вичолни, Воронец, Карпцы, Кривая Берва, Голя, Красники, Медведка, Пужичи.

[11]) К третьей категории: Старое Село, Черняны, Клетища, Доролеевичи, Осая, Ромятово, Луцкое, Малая Ритая, Бродяти, Копытник, Корощинка, Вылеги, Моковичи.

[12]) К четвертой категории: Клет, Масевичи, Ритая Великая, Ляховцы, Хотеславль, Орехово, Олтуш, Медведка, Радеш, Гвозница, Збураж.

[13]) К. У. Из. 1898 № 2.

Уставе о волоках, с такой волоки поступало 106 грошей [1]). Размеры платежей в Гродненской экономии такие же, если выразить бочку овса в денежных ценностях. С волоки средней по качеству почвы поступало 97 гр. [2]). С волоки же подлой земли 83 гр. [3]), а с волоки преподлой по качеству 66 гр. [4]). Встречаются в Гродненской экономии и платежи меньшего размера, как 42 гр. с волоки среднего грунта [5]). Но такие платежи установлены временно, пока держатели волок выстроятся и приведут волоки в надлежащее состояние. Осадные крестьяне в селе Ельня уплачивают чинш в 40 гр. и, кроме того, дают одного сторожа на господарский двор, так как, по словам составителя книги, „из-за песковатого и никчемного грунта“ на этих условиях принимать землю не хотели [6]). По тем же соображениям такие же платежи вносят в господарский скарб и осадные крестьяне села Ковали [7]). Равным образом, крестьяне села Копрановичи уплачивают только 42 гр. всяких плат. Крестьяне села Зиняковичи уплачивают по 50 гр. с каждой волоки, крестьяне села Рыбацкое вносят только по 30 гр. с волоки „из-за злых и непожиточных грунтов“. Крестьяне села Соловей тоже платят только 42 гр.; 30 гр. вносят и крестьяне села Лимпя. Однако, 40 гр. не самая минимальная плата за пользование волоками. Крестьяне села Лихово уплачивают только по 12 гр. с каждой волоки „надер подлого грунта“. Следует при этом прибавить, что волоки этого села не лежат в одном месте, а разбросаны, так что годятся только на выпуст. Этим и об'ясняются столь минимальные размеры чинша [8]). Точно так же при измерении на волоки городов Брянска и Суража с принадлежащими к ним волостями соблюдались нормы платежей, установленные Уставой о волоках. Составитель писцового описания даже счел необходимым привести из Волочной Уставы установленные в последней платежи: 106 гр. для земель добрых по качеству почвы, 97 гр. для средних по качеству, 83 гр. для подлого грунта и 66 гр. для надер подлого грунта [9]). Села, прилегавшие к городам Брянска и Суража, распределяются по категориям следующим образом. К первой по обложению категории земель относятся села: Малеша, Носки, Завойки; ко второй по обложению группе земель принадлежат села: Залозье, Свириды, Хоево, Шпаки, Годишево, Кипяц, Седлец, Голонки, Белевичи, Репники, Помхацкое, Клепачи, Олишни. К третьей группе земель относятся села: Баронки, Богданки, Дороски, Гриневичи. Таким образом, в Кобринской экономии и Берестейском старостве,

---

[1]) К первой категории относятся села: Жемойты, Глядовичи, Пруска, Нововоля, Лаша, Красна, Ходоровичи, Шемеренки, Нетеча, Судаки, Начевичи, Дойлиды, Одверницкое, Малые Жиличи, Олхово, Жарна, Шафраны, Шидейка, Скобулово (писцовая книга Гродненской экономии, часть I и II).

[2]) Ко второй категории относятся: Скребляки, Норейки, Вичемевичи, Городислав, Волосовичи, Капечево, Бируличи, Пузево, Рищичко, Наумово, Приступичи, Соловьи, Колбащичи, Санники, Яков Луг, Бакуново, Раковичи, Величковичи, Шембелево, Довспуда, Кривоволя, Переросля, Яновка, Ильковичи, Бобиничи, Горнича, Чуриловичи, Волотыня, Борисово, Ковали, Остров, Струга, Каменный Мост, Лаша, Путная, Соломянка, Ивановичи, Новоселки, Сухменевичи, Дойлидка, Берег (писцовая книга Гродненской экономии, ч. I и II).

[3]) К третьей категории относятся: Скребляки, Конюхи, Стуси, Совонево, Микилевичи, Зарудовье, Бриковичи, Ростовляне, Прокопичи, Коханово, Струбница, Намейксы, Лососина, Колесники, Шлумпичи, Сторожино, Баличи, Соловей, Кореневичи, Сущево, Берег, Кузьмичи, Хомичи, Марженовичи, Пыховчичи, Пилково, Каменка, Головичи (писцовая книга Гродн. эконом., ч. I и II),

[4]) К четвертой категории следует отнести: Санники, Колодезна, Довдзица. Бубново, Ошники, Понемоне, Зельма, Заневиша, Марковичи, Лампя, Илькги, Ганцевичи (писцовая книга Гроднен. экон. ч. I и II).

[5]) Село Храпово.

[6]) Писцовая книга Гродненской экономии, ч. I, стр. 221.

[7]) Там же, стр. 223.

[8]) Писцовая книга Гродненской экономии, ч. I, стр. 255, 272, 274, 370, 415.

[9]) Писцовая книга Гродненской экономии, ч. II, стр. 319. 320.

в Гродненской экономии и Пинском старостве производившие реформу ревизоры руководились предписаниями Уставы о волоках при обложении осадных волок платами. Если были кое-где отступления, то они были вызваны местными условиями, о которых составитель писцовой книги счел нужным непременно оговорить. Следовательно, уравнительная политика в отношении поступавших в господарский скарб платежей с каждой осадной волоки проводилась и осуществлялась весьма строго и точно господарскими аграрными деятелями.

II.

Платежи осадного крестьянства в Жмудской земле—несколько иного порядка. Крестьяне уплачивали в господарский скарб чинш, деньги за подводу, сторожу и за иншые его королевской милости должности и потребы в размере 15 гр. Кроме того, они же вносили за две бочки овса с отвозом – 20 гр. Размеры чинша на Жмуди зависят от качества почвы волоки. Описания Жмудской земли 1554 года, преимущественно в сохранившейся ее части, Упитской волости, указывает на чинш в размере 76 гр. (одна копа и 16 гр.), 70 гр. (одна копа и 10 гр.) и, наконец, 67 гр. (одна копа и 7 гр.) Следовательно, все денежные платы, поступавшие в господарский скарб были трех видов: 111 гр.[1]), 105 гр.[2]) 102 гр.[3]). Это все нормальные платежи. По разным хозяйственным соображениям приходилось уменьшать платежи.

---

[1]) Ейкобданы, Довчишки, Войшили, Кголминовичи, Повешмены, Якгейловичи, Верени, Пураны, Сонтовтово, Кгулбуежерас, Берлы, Биржели, Дросутовичи, Молсупя, Нарушевичи, Юревичи, Сирейковичи, Свирилевичи, Мадейковичи, Войшкляны, Мицуни, Дракгани, Стерковичи, Колебы, Дуче, Челни, Подюны, Покершняны, Кгостокголи, Ветейканы, Бучкони, Кгойловичи, Миткуны, Волдейкуны, Кгостяни, Роман, Шумóны, Стуркуны, Андрушевичи, Перволкишки, Тетервини, Немейкшоны, Дейкшакгола, Молони, Мондейковичи, Шмилкги, Утяны, Ужвокчы, Донковичи, Витевичи, Пожучи, Похоли, Митюшки, Радикчали, Донюшиски, Кгурди, Помачоли, Деветибрати, Помавчи, Шавлони, Нековичи, Ловейкапи, Велжи, Акоины, Матиковичи, Укштанское, Можейканы, Немены, Вятычи, Поезере, Ериманти, Заезеро, Шедуни, Крожаны, Авктыкштолы, Левдишки, Биржели, Соенское, Добковичи, Будевичов, Нарбутович, Бейнортовичи, Дуцкое, Кгравмечи, Невежницкое, Ужуцили, Нарбойшатов, Бертошовичев, Кгостяни, Вмалонах, Семяшковичев, Межишки, Нарвидовичев, Поморновское, Ян Кумпеника, Бутевичев, Можукновичи, Якгейлишки, Скилвянское, Можейканы, Шукяпчев, Болы, Довкгяны, Довнаришки, Дейнишки, Воболдники.

[2]) Куркли, Вишмонтишки, Ковкшни, Радвиловичи, Бирякгола, Абвовпис, Шилейковичи, Олкшоупис, Бивидовичи, Шпиковичи, Кгобакголи, Провакголи, Мицовичев, Полакупис, Швойники, Войшвиляти, Малоны, Бойданы, Нукеве, Станевичев, Довняны, Романи, Поюдис, Шилокгольское, Ужубали, Ворклони, Мицевичев, Поцековичев, Ворейково, Викголайнов, Жвобанев, Дровнашки, Лавкакали, Полавкев, Повешенти, Крокгеновели, Ужуволки, Янишки, Ворклани, Радминовичи, Кготовкишки, Паберли, Дюкгани, Миконы, Поудево, Малони, Дочевичи, Рейзки, Плуни, Воля, Роканцы, Дабейковичи, Куркли, Подовкгивени, Войдиловичи, Докчужайчи, Кгилбокгола, Добковичи, Кгиндикишки, Милошевичи, Ожокчи, Бучконы, Велжи, Сипаны, Можейканы, Кякшти, Крекгеди, Титани, Кудевичи, Потвенчини, Пилвяны, Кгегечи, Лаборы, Скрепле, Довкневичи, Меловичи, Ченюни, Вольдейкон, Тацкони, Вилдуни, Ячуни, Декглени, Мишковичи, Якубовичи, Сутковичи, Жостовтани, Поподволки, Докгойтишки, Торвидони, Ишкани, Еунтовичи, Моневичи, Нарбутовичи, Бортковичи, Петковичи, Лепушки, Попламянское, Вилейковичи, Мобершталское, Ромейковское, Немейшуни, Тыченкани, Робкопи, Петропи, Швойницкое, Пакури, Пашое, Полашпис, Жалеурвис, Микгони, Порышки, Домейкуни, Ярышки, Кгравжи, Молдучи, Войзгирды, Жедейкуны, Римкуни, Пруцуны, Боревичи, Кикани, Киркилани, Анмени, Ужуокгони, Щукяны, Ожолати, Коундрати, Кшчаны, Жигуны, Велмантуни, Ужутиле, Кгудели, Гинкгеланы, Жодейкуны, Бойвидишки, Тонты, Иодунь.

[3]) Роебани, Пунини, Руклишки, Вязкга, Повязга, Дровмяны, Крейкоки, Дорвиле, Жекертани, Монтивиловичи, Кгайжуны, Кгокгупи, Лакупис, Сверноупия, Мичкуповичи, Меймечи, Шурблани, Посееры, Межишки, Пявна, Шедовишки, Бикголайнов, Вора, Полавени, Довнонтоны, Войшноровичи, Вашнюны, Можейковичи, Пасровты, Пакгируди, Поедуны, Критишки, Игкоглавкис, Меняпы, Берневичи, Гарупис, Пашиле, Кгоди, Демантишки, Ужутатолы, Ужутоли, Войшнаровичи, Будрейковичи, Петровичи, Свирни, Нарущишки, Тетуани, Пысы, Каджеупис, Мейлютовичи, Доричевичи, Можуйки, Левдишки. Побиржи, Бобрувя, Миневичи, Корчми, Минкели, Невидайче, Шети, Заезерское, Толейковичи, Поезеры, Талушаны, Видовки, Вейстартовичи, Можани, Пупяны, Янчушки, Лавое, Кгочени, Мартиновичи, Ропановичи, Трумковичи, Парошели, Сенткупи, Повинкги-

Крестьяне села Берневичи платят „для заросли" 42 гр.[1]) „доволи и ласки его королевской милости", с освобождением от всяких плат в течение 42-х лет. Держатели местных волок села Бобрувя платят 42 гр. с каждой волоки также „доволи и ласки его королевской милости" со льготой от всяких платежей в течение 2-х лет. Население села Чепюни было освобождено на год от уплаты всех денежных поступлений, вследствие „убожества, не мають ничего, а збоже ся им не сродило, бо низко земля для мокрости"[2]). Крестьяне села Янчушки были освобождены от уплаты чинша и др. денежных поступлений на три года „для заросли волок"[3]). По тем же причинам крестьяне села Лавое были освобождены от всяких плат на один год[4]). Крестьяне села Мартиновичи получили волю на один год „для заросли волок". После льготного года они в течение 1556—1557 года уплачивают только 40 гр., и только с 1558 г. население села уплачивает в господарский скарб все повинности полностью[5]). Село Немейши получило волю на три года „для заросли волок"[6]). Селу Нарошели была предоставлена льгота в уплате платежей на три года „для заросли волок". В течение трех лет население было обязано уплачивать по 50 гр. ежегодно[7]). По аналогичным соображениям селу Жалепурвис была предоставлена возможность уплачивать в течение трех лет только по 40 гр.[8]). Вообще ревизоры Упитской волости довольно часто оставляли население на уменьшенных платах в течение определенного количества времени, обычно в течение трех лет[9]). Полная свобода от уплаты всех податей в течение одного—двух лет предоставлялась только „для заросли великой"[10]). Для села Лимани временно „доволи и ласки его королевской милости" устанавливалась плата в размере 42 гр. „за все повиновачество". Но в виду того, что лес оказался еще совершенно неразработанным, село получило полную свободу от податей в течение 4-х лет[11]). Население села Полавки также уплачивало за все повинности 42 гр. „доволи и ласки его королевской милости", но полная свобода от податей была предоставлена только на 1 год[12]). Повинности сего Бойвидишки были временно понижены до 42 гр. при одногодичном полном освобождении от всяких плат[13]). Все эти довольно многочисленные отступления от принятой системы уплат были временного характера. Неразработанность леса, обилие ленчи с зарослей было главным мотивом, побуждавшим господарских агентов давать столь существенные финансовые льготы населению.

В Кретинской волости, как видно из инвентаря, составленного в 1566 году, принята иная расценка плат с каждой волоки. Здесь действует Устава о волоках и, согласно ее нормам, крестьяне вносят за каждую „добрую" волоку 106 гр. и „за среднюю" 97 гр.[14]). И в Кре-

---

няйте, Поверволки, Криштани, Шмилкги, Пильмельковыс, Пивесою, Станкевичи, Друтишки, Можи, Бертели, Позянбе, Пакгелайше, Пашалупи, Венцлавочи, Скайтакгиры, Сандришки, Биржели, Пурковичи, Миноколпих, Палавки, Кгекгабраста, Войдатовичи, Сиротышки, Вечуни, Мартоновичи, Иждекги, Веймушки, Манвиловичи, Меловы, Суримкишки, Мажуляны, Нарейковичи, Дорсовети, Вилунишки, Курукелме, Стродани.

[1]) Архивный Сборник т. VIII, стр. 45, 65.
[2]) Арх. Сб. т. VIII стр. 76
[3]) Арх. Сб. т. VIII стр. 76
[4]) Арх. Сб. т. VIII стр. 78
[5]) Арх. Сб. т. VIII стр. 80
[6]) Арх. Сб. т. VIII стр. 84
[7]) Арх. Сб. т. VIII стр. 87
[8]) Арх. Сб. т. VIII стр. 88
[9]) Арх. Сб. т. VIII стр. 89, 99, 101, 103, 106, 108. 118
[10]) Арх. Сб. т. VIII стр. 93, 97, 98, 100, 101, 103, 107, 120
[11]) Арх. Сб. т. VIII стр. 99
[12]) Арх. Сб. т. VIII стр. 107
[13]) Арх. Сб. т. VIII стр. 118
[14]) АВК XIV, Ст. 101—152.

тинской волости приходилось, по разным соображениям, понижать платежи и облегчать положение крестьянской массы. Крестьяне села Клеебне освобождались на 10 лет от платежа осадного, т. к. они имеют во всех трех полях весьма мало разработанных участков, да к тому же „выгорел лес и поломалось много дерева“ [1]). Крестьяне села Курмаице освобождались от толоки в течение 4-х лет, т. к. в их участках осталось довольно много неразработанного леса [2]). По тем же соображениям крестьяне села Тубавские освобождались на 8 лет от толоки [3]). Крестьяне села Сиенчадсе освобождались от платежа осадного в течение 8-ми лет, т. к. на их трех полях не мало ломаного леса, выкорчевывание которого, очевидно, требует не мало времени [4]). Села Шехайце, Рубуле, Жедекайце, Олтейки [5]) освобождаются от толоки в течение 3—6-ти лет. Мотивы те же. Довольно разнообразны платежи в Ретовском старостве. Его измерение началось в 1563 г. и кончилось только в 1585 г. Расценка чинша в выше названном старостве значительно расходится и с Уставой о волоках, и с нормами, принятыми при описании Упитской волости. В Ретовском старостве принято обычное деление земельных участков по качеству почвы на добрую, среднюю и подлую. Платежи состоят из чинша и плат „за подводы, сторожи и бочки овса“. Эти нормы остаются неизменными. Платы за подводы, сторожу определены в 15 коп гр. и остаются неизменными. Что же касается платы за бочки овса, то таковая определена в 20 гр. для добрых и средних по качеству почвы земель. Плата за бочку овса уменьшалась до 10 гр. при плохом грунте и совсем слагалась из общей суммы платежей при наличии злого грунта [6]). Что же касается размеров чинша, то последний равнялся 76 и 71 гр. гр. с волоки доброй земли [7]). На волоку средней земли падал чинш в размере 60 и 62 гр. гр [8]). С волоки подлой земли чинш поступал в размере 58 гр., 50 и 51 гр. [9]), а с преподлой 30 гр.[10]). В известных случаях, в случае принятия новых волок, держатели последних получали значительную льготу в смысле уменьшения приходившихся на волоку платежей [11]). Размеры чинша 76 гр. и 60 гр. с волоки доброй и средней по качеству земли можно считать исключением, если только не вкралась ошибка при печатании самого документа. Таким образом, общая сумма платежей, падавших на каждую волоку доброй земли, равнялась 111 и 106 гр. гр., средней—97 и 95 гр., подлой – 83, 76 и 75 гр., преподлой—45 гр.

В сравнении с платежами по Упитскому старостству совпадение будет только в одном случае: в обоих староствах с каждой волоки доброго грунта поступало 111 гр. В остальных случаях колебания были значительны.

Впрочем, плата „за подводы, сторожу и за иншие потребы“, как и плата за бочки овса, в обоих староствах одинаковы. Описание Ретовского староства не дает никаких более точных указаний относительно расценок чинша. По всей вероятности, последнее обстоятельство зависело от каких-либо местных хозяйственных условий, но в общем колебания были не особенно значительные, так что не приходится говорить о большом отклонении в сторону от общепринятых норм.

---

[1]) АВК XIV, ст. 118.
[2]) АВК XIV, ст. 122.
[3]) АВК XIV, ст. 130.
[4]) АВК XIV, ст. 133.
[5]) АВК XIV, ст. 135, 139, 142, 146.
[6]) АВК XXV, ст. 381—442.
[7]) АВК XXV, ст. 385, 387, 389.
[8]) АВК XXV, ст. 386, 390, 395.
[9]) АВК XXV, ст. 399, 401, 430.
[10]) АВК XXV, ст. 398.
[11]) АВК XXV, ст. 399.

III.

Сохранившееся известное количество частно-владельческих инвентарей имений, расположенных в западной части Литовско-Белорусского Государства, дает точный, хотя не особенно большой, материал для изучения положения осадного крестьянства в частно-владельческих хозяйствах. На основании этих отрывочных данных все-таки можно уловить общую тенденцию в положении частно-владельческого осадного крестьянства. Начнем со Жмуди, ибо для этой территории сохранилось несколько инвентарей. По данным инвентаря имения „Куршаны", принадлежавшего пану Юрию Зеновичу и составленного 29 сентября 1581 г., все крестьянство сидело на осаде. Инвентарь знает платежи в размере 2-х коп и 40 гр. (160 гр.), 3-х коп и 10 гр. (190 гр.), 2-х коп и 30 гр. (150 гр.), 2 коп и 20 гр. (140 гр.). Следовательно, нормы плат были приняты в значительно большем размере по сравнению с господарскими крестьянами[1]). Ту же картину повинностного положения осадного крестьянства в частно-владельческих имениях можно наблюдать и в имении Обновян на основании инвентаря, составленного 18-го февраля 1583 года.

Повинности крестьянства состояли из

чинша в размере 2-х коп	или	120 гр.	
жита бочки	или . . .	20 гр.	
овса бочки	— . . .	10 гр.	
гуся	или . . .	2 гр.	
2 кур	— . . .		16 пенезей
20 яиц	— . . .		4 пенезей
стации	— . . .	2 гр.	
Итого . .		156 гр.	

Эта норма платежей была одной для всех крестьян. В одном случае с 4-х волок поступал только чинш в размере 2-х коп грошей. Волоки были расположены где-то над озером, очевидно, в местности, мало благоприятной для хозяйства [2]).

Крестьяне, отданные Софьей Пошушвенской Пошушвенскому Евангелическому Собору, вносили в домовую контору с каждой волоки:

чинш в размере 2-х коп	или	120 грошей	
гуся	или . . .	2 гр.	
овса бочку	„ . . .	10 гр.	
одну курицу	„ . . .		8 пен.
10 яиц	„ . . .		2 пен.
Итого .		133 грошей.	

В хозяйственном инвентаре овес, гуси, куры, яйца вносятся натурой. Перевод на деньги по общепринятым ценам сделан для сравнения. Кроме того, крестьяне должны выходить на „вшелякую работу" по одному дню в неделю „от великой ночи до всех святых", т. е. в летнее время[3]). Крестьяне имения Кревка,[4]) принадлежавшего виленскому епископу, кардиналу Юрию Радзивиллу, уплачивали за каждую добрую осадную волоку 2 копы грошей и обыкновенный дополнительный побор в виде одной бочки жита, 2-х бочек овса, давали три подводы в год, выходили на сторожу на панский двор, а также должны были выходить на работу на панский двор три дня в году и косили

[1]) АВК № 21.
[2]) АВК № 24.
[3]) АВК XIV № 38.
[4]) АВК XIV № 30.

панское сено. В имении, состоявшем из сел Рекеце, Скавдайце, Имбор, Колупян и принадлежавшем пану Войцеху Стабровскому, как видно из инвентаря, составленного 27 ноября 1593 г., осадные крестьяне платили осадного за каждую волоку: за старую—3 копы или 180 грошей, или же 2 копы или 120 грошей, за новую—1 копу или 60 грошей.

Кроме того, „по старому обычаю" крестьяне давали стацию, составляющуюся из „Kietwiertaina" жита, овса и курицы. Эта стация поступала с каждой волоки. Kwiertaina пшеницы и ячменя поступала только с трех волок. Кроме того, осадное крестьянство уплачивало с каждой старой волоки за сторожу по 24 гроша от каждой волоки[1]). В имении Жемелян, принадлежавшем Карлу Ходкевичу, крестьяне платили в конце XVI века осады 3 копы и 40 грошей, т. е. 220 гр. с каждой волоки и, кроме того, давали стацию:

с каждых 6-ти волок	по	1	бочке	жита
„ „ „ „	по	1	„	ячменя
„ „ 2-х „	по	1	„	овса
„ каждой 1-й волоки	по	1	возу	сена
„ „ „ „	по	20	гарнцев льна, 1 кур., 10 яиц.	

Таким образом, сохранившиеся частно-владельческие инвентари на Жмуди второй половины XVI века указывают на значительную эксплоатацию платежных сил крестьянского населения. Если даже оставить в стороне „стацию", которая в иных имениях собиралась натурой, а в других деньгами, то размеры чинша в 2 копы считаются нормальными. Чинш в количестве одной копы платили только держатели или очень плохих волок, или новопринятых. Конечно, высокие платежи говорят также о развитии сельского хозяйства, об оживлении экономической жизни страны, ибо поднятие чинша фактически было бы немыслимо, если бы населению не представлялась возможность сбыта по выгодным ценам своих сельско-хозяйственных продуктов [2]).

Такую же картину положения осадного крестьянства можно наблюдать и в Виленском воеводстве. Так, осадное крестьянство имения Медник, принадлежавшего Виленской иезуитской коллегии, уплачивало в 1575 г. с каждой волоки: осадное по 4 копы или 240 гр., и стаций—по 4 гр.

Кроме того, держатели осадных волок, наравне с тяглым крестьянством, давали иезуитской коллегии натурой: одну бочку жита, одну бочку овса, курицу, гуся и яйца. Помимо этого, они были обязаны доставлять на двор коллегии по два воза сухих дров, выходить на толоку в течение 12-ти дней, на сенокос в течение 3-х дней, на кгвалт летом в течение 2-х дней и, наконец, на дворовую толоку с получением содержания от дворовой конторы в течение 8-ми дней. Это все повинности, падавшие на держателей хороших волок. Держатели волок „подлого грунта" уплачивали только 2 копы грошей, или 120 гр. Кроме того, с каждой волоки давали по 2 каплуна. Точно так же новоселы платили сначала пониженный чинш в количестве 2-х коп грошей [3]).

Осадные крестьяне имения Здятла в Гродненском повете платили в 1580 г. чинш в размере 2-х коп грошей с каждой „доброй волоки". Кроме того, они давали „побор"—яловицы, баранов, гусей, кур, яйца, выходили на толоку шесть дней в году. Осадное крестьянство, сидев-

---

[1]) АВК XIV № 57.
[2]) АВК XIV № 72.
[3]) АВК XIV № 31.

шее на волоках средней по качеству почвы, уплачивало чинш в размере 120 грошей, но побор натурой был несколько уменьшен: так, одна яловица собиралась с 10-ти волок, один баран с 5-ти, один гусь, 2 курицы, 20 яиц—с одной волоки. Шестидневная толока была обязательна и для волок среднего грунта. Держатели же подлых волок „по качеству земли" уплачивали чинш в размере 50-ти грошей, выходили 6 раз на толоку и давали общепринятый в хозяйстве побор. Иногда этот чинш понижался до 40 и 30-ти грошей, когда грунт был „злой". В таком случае крестьяне не отправляли никаких других повинностей, за исключением шестидневной толоки [1]). Такова была общепринятая расценка осадных волок. Крестьяне села Кунишевичи того же имения платят чинш с каждой средней волоки в размере 70 гр., не несут больше никаких повинностей и не дают никакого побора, за исключением только шестидневной толоки. Но зато всякий держатель волоки обязан доставить на панский двор по 4 воза дров и, кроме того, „водлуг данного звычья" „допущи, то тесанные дерева и спущенные будут повинни на властную потребу до двора" [2]). В имении Русоты, расположенном в том же повете, осадное крестьянство уплачивает с каждой волоки по 100 гр., но зато совершенно свободно от других повинностей и каких бы то ни было работ [3]).

В имении Нибров в Ковенском повете крестьяне уплачивают чинш в размере 2-х коп и 10-ти грошей и кроме того, побор—„три солянки овса, солянку жита, воз сена" [4]). В имении Косово в Слонимском повете крестьяне платили в 1597 г. за каждую осадную волоку 120 гр., 100, 90 и 80 гр. Кроме того, выходили на сторожу и на толоку в течение 12-ти дней в году [5]). Не смотря на то, что приведенные данные довольно кратки и, конечно, не дают общего представления о повинностях осадного крестьянства в частно-владельческих имениях, все-таки можно констатировать, что в частно-владельческих имениях положение осадного крестьянства было значительно тяжелее, чем в господарских имениях.

(Продолжение следует).

---

[1]) АВК XIV № 18.
[2]) АВК XIV № 18, стр. 219.
[3]) АВК XIV № 19.
[4]) АВК XIV № 28.
[5]) АВК XIV № 83.

איין בלאס ווי פּאַפּיר (דאָרט, № 210). עס **עפנט זיך אַלע קוואַלן** (№ 214). וואָס **העלפט** אונזערע **קליידער...** (מ. ג. № 241).

155. זיינען באַ אייך פאַראַן אַזעלכע אויסדריקן—ווערטערפאַרבינדונגען, וואָס אי אַנדערע אויסשפּראַכן ווערן זיי ניט געבּרויכט? צ. ב., **לאָ(ז) מיך געמאַך! וואָס איז דער מער? אַלעביידע! אינדז זענע מאָ גיגאַן?** ברענגט א צעטל פון אַזעלכע אויסדריקן.

156. אין אייער אויסשפּראַך מוזן זיין אַסאַך ווערטער, וואָס אין דער ליטעראַרישער שפּראַך זיינען זיי אינגאַנצן ניטאָ, אָדער זיי ווערן דאָרט געבּרויכט מיט אַן אַנדערער באַדייטונג. פאַרצייכנט אַזעלכע ווערטער, בעסער פון אַלץ אין אַ גאַנצן געדאַנק. גרינגער וועט אייך זיין צו קלייבּן דעם ווערטערבּוך פון אייער אויסשפּראַך, אויב איר וועט די דאָזיקע אַרבּעט טאָן לויט באַשטימטע טעמעס, וואָס איייניקע פון זיי ווייזן מיר נידעריקער אָן.

א. הויז און זיינע טיילן. ב. קיילים, געשיר. ג. שׁוכוואַרג. קליידער. ד. עסנוואַרג, מאַשקעס. ה. מעלאָכעס, זייערע אינסטרומענטן און פּראָדוקציע. ו. האַנדל, געלט. ז. בּלומען, פּרוכטן, אויבּס, בּרויטן, בּוימער, גראָזן. ט. כייעס, בּעהיימעס, אויפעס, פיש. י. זידלערייען (שטעלט זיך ניט אָפּ פאַר פּאָרנאָגראַפישע אויסדריקן). כ. קראַנקהייטן. ל. טיילן פון קערפּער באַם מענטשן און כייעס. מ. קרויוועשאַפט, שידעך, כאַסענע. נ. נאַטור-דערשיינונגען: צייטן פון יאָר, טאָג, מעסלעס, גוטער און שלעכטער וועטער. ס. ווערטער, אנטליענע באַ רי ניט יידישע שכיינים און אנד.

157. באַם ריידן ווערן אייניקע ווערטער אינעם זאַץ פאַרקירצט, צונויפגעגאָסן מיט אַנדערע, ס'פאַלן אָפּ איינצעלנע קלאַנגען און גאַנצע זילבּן. מיר ברענגען דאָ אַ פּאָר בּיישפּילן פון אַזעלכע דערשיינונגען, און איר פאַרגרעסערט זייער צאָל. אין קלאַמערן זיינען גענומען יענע טיילן פון וואָרט, וואָס ווערן ניט ארויסגערעט. **(וו)ייס עך וואָס, (ווע)סט קומען, (אי)כל(וועל) קומען, (נ')ש(ט) קאָשע. קינאָרע, קינעהארע**-קין עין הרע. **מיר(וועל)ן גיין, (ע)ר(וו)עט גיין** א. א. וו. **קרישמע**-קריאת שׁמע, **ס'אי(ז) גאָרניט, ס(איז) אן** אומגליק, **אָ(פּ)געבן, כאלטיך**-כיי וואָלט איך א. א. וו.

שען, שאָין, שעים אָדער שעם? ניט—נישט? נעבן איז פאַראַן אין דער לעבעדיקער שפּראַך? אָדער בלויז לעבן—לעם? איצט אָדער יעצט? יאָ אָדער יע? ווילע—ווייל? ווערט געברויכט דאָס וואָרט אַפּולע אַנשטאָט אַסאַך, פיל?

141. ווערט אַנשטאָט דאָך געברויכט זעך. כ'האָב זעך (דאָך) אייך געזאָגט. כ'גיי זעך (דאָך)?

142. זאָגט מען: מער, מערער, מיין?—ווייניקער אָדער ווינציקער?

143. איז פאַראַן דער אויסדריק: צום בעסטן-בעסער פון אַלץ, צום שענסטן—שענער פון אַלץ? ווערט אַז געברויכט אַנשטאָט ווי, איידער, פאר? מער אַז פינף וואָכן שיין, אַז גאָלד..? טאָג אַז נאכט..?

144. ווערט באַ אייך פאַרביטן אָבער מיט אָדער: איך אָבער (אָדער) דו?

145. ווערט געברויכט דאָס וואָרט אָבער אין זינען פון נאָך אַמאָל: איז בא אייך פאַראַן אַן אויסדריק; ווידער אַמאָל און אָבער אַמאָל?

146. ווי זאָגט מען: שלאָגן זיך קאָפּ אין וואַנט, אָדער אָן וואַנט? ביים, באַם, ביין אָדער באַן גאָרטן? באַ אָדער ביי מיר? אַפּם אָדער אַפּן ברעג? אום, אים אָדער אין שאַבעס? אינעם אדער אין דעם-גאָרטן? ביז, ביסקל, ביסקן? ביסקוואַנען, ביזוואַנען?

147. עפּשער זיינען באַ אייך פאַראַן ווערטער, וואָס שיידן זיך אונטער לויט זייער אַקצענט פון דער ליטעראַרישער שפּראַך. עפּשער זאָגט מען באַ אייך: זיך איבערלאַיגן (מעיאַשעוו זיך זיין). בילעט, די צאָרעס טראגן אין זיך, פּאָדלאָגע אָדער פאדלאָגע, קאָפּעטע אָדער קאפּאָטע? ברענגט נאָך אַזעלכע ביישפּילן.

148. איז פאַראַן דער מיטעלער געשלעכט אין אייער אויסשפּראַך? ווי זאָגט מען דאָס—שטעטל, קרעמל, דעכל, אָדער די שטעטל, די קרעמל, דער דעכל?

149. אויב ס'איז ניטאָ קין מיטעלער געשלעכט, איז ווי וועט איר זאָגן: דאָס קינד, דיס קינד, אַ סקינד אָדער די קינד?

150. דורך דער צושטעלונג פון די ווערטער דער, די, דאָס ווייזט אָן, צו וואָס פאַר א געשלעכט ס'געהערן די פאָלגנדיקע ווערטער:

א. הערינג, צווילינג, מאַנטל, שפּיגל, געשריי, געוויין, גערודער, גערויש, געזאנג.

ב. גרויס, גרויסקייט, טיף, טיפקייט, הויך, הויכקייט, הייליקייט, קראנקהייט, בעריעשאַפט, באשעפעניש, צוזעצעניש, רייסעניש, בייסעניש.

ג. גאָלד, זילבער, אייזן, בליי.

ד. לעבן, שטאַרבן, לויפן.

ה. בייז, גוטס, שלעכטס.

ו. דריטל, פערטל, אַכטל.

ז. פּאָנים, קאָל, סייפער, צידקעס, רישעס, בעסמעדרעש, בעסוילאָם.

כ. קאָפּ, פוס, אויג, האַרץ, נאָז, הויז, מאָל, מיסט, פרייז, אָרט, פליישׁ, פיש, וואַסער, גלאָק, גרוב, צונג, ביין, בילד, בלאט, ברעט, גלאָז, דאָרף, וואָרט, טוך, לאָך, ליד, מויל, פּאָלק, פעלד, קאַלב, קאָרן, קלייד, ראָד טינט, שטיק, פערד, באַרג, בייטש.

151. אויב די ווערטער—קאָפּ, טיר, באַן, וואַנט און אַנדערע זיינען בא אייך ווייבלעך, קען מען זאָגן: אַפּם קאָפּ, צום טיר, באַם באַן, אפּם וואַנט?

152. ווי זאָגט מען: ניט לויף אָדער לויף ניט? ניט וויין אָדער וויין ניט?

153. איך זאָג, דאָס ער וועט קומען, אָדער—אַז ער וועט קומען?

154. איז מעגלעך, אַז דאָס זאַכוואָרט (סוביעקט) זאָל שטיין אין דער מערצאָל און דאָס זאָגוואָרט (פּרעדיקאט) אין דער איינצאָל. צ. ב., בא די יירן געפינט זיך ניט קין מיסע זאַכן (פרילוצקי, פאָלקסלידער ב. I, № 311). סע וועט נאָך קומען אזעלכע טעג. (דאָרט טאַקע). וואָס איז פאַרווינט דיינע אויגן? (מאַרעק, גינזבורג: לידער № 175). מיינע ליפּן

126. קען מען זאָגן: **צווייען, פירן**—א. אַ. וו.—זענען מיר געזעסן, אָדער דאַווקע, **אין צווייען, אין פירן...?**

127. **איך גיב, דו גיסט** אָדער **איך געב, דו געסט? גיבן** אָדער **געין? געגעבם** אָדער **געגעין?**

צין אָדער **צינדן, ברען** אָדער **ברענען, געשטאַן** אָדער **געשטאַנען? מיגן** אָדער **מעגן?** מיר **מעגן** אָדער מיר **מאָגן?** איך, ער—**מאָג** אָדער **מעג?**

קען מען זאָגן: **זעלן** אָנשטאָט **זאָלן, געזעלט** אָנשטאָט **געזאָלט, געוועלט** אָנשטאָט **געוואָלט?**

ווי זאָגט מען: **טון טין, טאָן?** איז פאַראַן אין דער לעבעדיקער שפּראַך: **איך טו שרייען, געטאַן אַנטלויפן?** אָדער בלויז אין לידער און אין דער אַלטער ליטעראַטור טרעפן זיך אַזעלכע אויסדריקן?

128. ווי זאָגט מען: ער **ווייס, פלעג, קער, זאָל, טאָר, מעג, קען, וויל, דאַרף** אָדער **ווייסט, פלעגט, קערט...?**

129. ווען זאָגט מען **איך קען** און ווען **איך קאָן?** אָדער ס׳איז קין אונטערשייד ניטאָ?

130. זענען באַ אייך פאַראַן די פאָרמען: **איזן** (זיין), דו **בינסט** (ביסט), ער **בינט** (איז); **זענען, זייגען, זאַנען; זענט, זייט; געוועזן, געוועסט, געוועןָ?** וועלכע פון זיי ווערן מער געברויכט?

131. ווי זאָגט מען: **איך האָב געשלאָפן, געלאָפן, געפאָרן, געלעגן** אָדער דאַווקע: **איך בין געשלאָפן, געלאָפן?**

132. וועלכע פאָרמען ווערן באַ אייך געברויכט: **געטראָטן** אָדער **געטרעטן? געקנאָטן—געקנעטן? געקראָגן— געקריגן? געשריגן—געשריען? געקוואָלן—געקוועלט? געפאָלן—געפעלן? געשאָנקען—געשענקט? געגאַן—געגאַנגען? געצון—געצונדן? געוועלט—געוואָלט? געליען—געליגן? געשפּיגן—געשפּייט? געהינקען—געהינקט? געשינדן—געשינט? געדרעשט—געדראָשן? געפּראָרן—געפּרירט? געמאָלקן—געמעלקט?** ברענגט נאָך ביישפּילן, וואו דער פּאַרטיציפּ שייט זיך באַ אייך אונטער פון דער ליטעראַרישער פאָרם?

133. עקזיסטירט באַ אייך די פאָרם: **רופטס, גייטס, לויפטס?**

134. קען מען באַ אייך זאָגן אַנשטאָט: **מיר פלעגן גיין—מיר וואָלטן גיין** אַנשטאָט איך **פלעג שרייבן—וואָלט שרייבן?**

135. ווערט באַ אייך געברויכט די לאַנגפאַרגאַנגענע צייט: **איך האָב געהאַט אָנגעשריבן, איך בין געווען אַנטלאָפן?** איך **וואָלט געהאַט** דורכגעלייענט?

136. און די צווייטע קומענדיקע: איך **וועל האָבן אָנגעשריבן,** איך **וועל האָבן געלייענט?**

137. ווי זאָגט מען: איך בין געבאָרן **געוואָרן** אין 1890 יאָר, אָדער פּאָשעט **איך בין געבאָרן** אין 1890 יאָר? זאָגט מען: ער איז **אַנטלאפן געוואָרן** אָדער פּאָשעט: **אַנטלאָפן?**

138. הערט מען באַ אייך: **איכל** עם **געזען** (כ׳האָב עם געזען), **כל אָגעגעסן** (כ׳האַב אָבגעגעסן).

139. פאַראַן אַ פאָרם: **איך האָב וועסט געטאָן,** איך **האָב געוועסט געפּרוווט?**

140. וועלכע פאָרמן ווערן באַ אייך געברויכט: **אַוואו, אַוואוהין, אַצוריק** אָדער **וואו, וואוהין, צוריק?** איז מעגלעך צו זאָגן: **ווין, וויהין** אין דעם פאַל, אויב אייער אויסשפּראַך איז אַ ליטווישע אדער ווייסרוסישע?—פאַראַן באַ אייך אַ וואָרט **נאכשאָל** (פאַרוואָס)?—**פון וואנען?** אָדער **פון וואנעט? פון דאַנען** אָדער **פון דאנעט? דעמאָלט. דעמאָלס, יעמאָלט?** זאָגט מען: **דאָדערט, אנוסטן, אַנומלט, אַנומלטן?—פונדערווייטן—פונדערווייטנס?** פאַראַן באַ אייך אַן אויסדריק: **הינע, דרינע? פאראנען** אָדער **פאראן?** ווערט געברויכט דער אויסדריק **נימער ערגער? אויבער, אויבע—אויבּ? כאָטש, כאָטשיק,** אָדער **כאטשע? אומעטום—אומעדום? קאַם-קאָם** אָדער **קוים?**

103. ווי זאָגט מען: איך גיי **צו דער גוטער מאַמען** אָדער **צו די גוטע מאַמע? דער גוטער** מאַמעס האַרץ אָדער **די גוטע** מאַמעס האַרץ?

104. זאָגט מען אָנשטאָט: **מיינער, דיינער, זיינער... דער מייניקער, דער דייניקער, דער זייניקער?**

105. באַ אייך ווערט מען מיסטאָמע זאָגן: **יענע** טאָכטער? און **יעדע** טאָכטער—איז מעגלעך אָדער דאַווקע **יעדער...?**

106. קען מען זאָגן: **דיינע, מיינע, אונזערע**—טאָכטער אָדער דאַווקע: **דיין, מיין, אונזער...?**

107. קען מען באַ אייך זאָגן: **אונדז זענען מיר** געגאַנגען.

108. ווי זאָגט מען: ער האָט **מיר, דיר** פיינט—אָדער: ער האָט **מיך, דיך** פיינט? איך זע זי אָדער **איר?**

109. זאָגט מען באַ אייך: **עץ, ענק** אָנשטאָט **איר?** איז פאַראַן אַ וואָרט **ענקער? עמיץ, עמעצער** אַדער **אימיצער?**

110. ווי איז באַ אייך: **מען** זאגט אָדער **מע** זאָגט, **מען** עסט אדער **מע** עסט? **מען** טרינקט אָדער **מע** טרינקט? עסט **מען** אָדער עסט **מע**, טרינקט **מען** אָדער טרינקט **מע?**

111. זאָגט מען בא אייך: **רייסטן** אָנשטאָט **רייסט מען, פאָרטן** אָנשטאָט **פאָרט מען?**

112. איז באַ אייך פאַראַן אַן אויסדריק: **דריי אירע** (פארשוין) זענען געזעסן באַם טיש?

113. ווי ווערט מען זאָגן: **עס, סע**—דונערט? עקזיסטירט אינעם לעבעדיקן ריידן דאָס פאַרקירצטע **ס׳—ס׳לויפן, ס׳יאָגן?**

114. **וועמענען** אָדער **וועמען, וועמעס** אָדער **וועמענס? דעם—דעמען?**

115. קאָן מען זאָגן אָנשטאָט: **איך** וויל ניט—**מיינער** וויל ניט. **מיינער** זיצט און הערט...?

116. אָנשטאָט: איך זאָג **אייך**—קען מען זאָגן: איך זאָג **אין?** ווענדנדיק זיך צו דער צווייטער פערזאָן, קען מען זאָגן אָנשטאָט: **וואָס מאַכסטו?** וואָס מאַכט **איר?**—וואָס מאַכט **ער?** וואָס מאַכן זיי?

117. ווי זאָגט מען: איך וואַש **מיך**, דו וואַשט **דיך**, ער וואַשט **זיך**, אָדער אין אַלע פערזאָנען גלייך—**זיך?**

118. ווערן געברויכט די ווערטער **אַזעטיקער** אָדער **אַזעלכער? וואוּסאַרנער, סאַרנער** אָדער **וואָסערער? יעטוועדער** אָדער **יעדער? וואזא, וואזוי?**

119. ווי זאָגט מען: **פינף, פינעף,** אָדער **פימף? נאַין, נאַיען, נאהען? צען צעהען, צייען? עלף, עלעף? צוועלף, צוועלעף? צוואַנציק, צוואָנציק?**

120. קען מען באַ אייך רעכענען אַזוי: **איינסע, צווייע, דרייע, פירע, פינווע, זעקסע, זיבענע, אַכטע, נייענע, ציינע, עלעווע, צוועלעווע?**

אין ווען קומט עס פאָר?—ווייטער, נאָך צוועלף קען מען אַזוי ציילן?

121. ווי ציילט מען: **דריי און צוואַנציק** אָדער **צוואַנציק דריי? דריי און פערציק** אָדער **פערציק דריי?...**

122. וועלכע טערמינען זענען באַ אייך פאַראַן פאר באַשטימטע צאָלן: **טוץ, צענדלינג** אָדער **צענדליג, מענדל, שאָק** און וויפל זאַכן באַטייטן זיי?

123. וועלכע פאָרמען זענען אייערע: **פיפטער-פינפטער? פער.טער-פערדער?** קען מען ציילן אַזוי: **עלף, צוועלף, דרייצן—הונדערט** אָדער דאַווקע: **טויזנט מיט הונדערט...?**

124. זאָגט מען: **זאַלבענאַנד, זאַלבעדריט, זאַלבעפערט...?**

125. ווי זאָגט מען: **דריטהאַלבן** אָדער **צוויי מיט אַ האַלבן? פערטהאַלבן** אָדער **דריי מיט אַ האַלבן?**

פריער, **איצטער**—**איצטערט**, **טאקיש**—טאקע, **כאטשעק**—כאָטש, **אפיליק**—אפילע. **נאוונט**—נאָנט, **דארפם**—דאפם, **צענדליק**—צענדלינג, **בעימע**—בעהיימע.

87. ווי זאָגט מען: **גאניידים** אדער **גאַניידן**? **ברונעם** אדער **ברונען**? **שוין** אדער **שיים**? פאָרוויין אָדער פאָרווייס? שטילערהייד אָדער שטילערהייט?

מאָרפאָלאָגיע, סינטאקסיס און ווערטערבוך.

88. ווי זאגט מען בא אייך: דעם **מענטשנס, זיידנס, טאטנס, רעבנס**—גליק. אדער דעם **מענטשס, זיידעס, טאטעס, רעבעס**—גליק?

89. איך זע דעם **מענטשן, זיידן, טאטן, רעבן** אדער דעם **מענטש, זיידע, טאטע, רעבע**?

90. איך גיי צום **מענטשן, זיידן, טאטן, רעבן**, אדער צום **מענטש, זיידע טאטע, רעבע**.

91. ווי זאָגט מען בא אייך: דער (די) **מאמענס** אדער דער (די) **מאַמעס** הארץ? איך קום צו דער (די) **מאמען**, אָדער צו דער (די) **מאמע**, איך זע די **מאמע**, די **מאמען**, אָדער דער **מאמע**, דער **מאמען**.

92. ווי זאָגט מען: אסאך **מעסערס, טעלערס, לערערס** אָדער **מעסער, טעלער, לערער**?

93. **לאָדנס, פארגעניגנס, בעקנס, פלאָדנס**—אָדער **לאָדן, פארגעניגן, בעקן, פלאָדן**.

94. אַסאך **גווירים, יערידים, ימים** אָדער **גווירן, יערידן, יאמען**.

95. איז פאַראן א פאָרם: **שוועסטערן** (אסאך שוועסטער), **פייעסן** (פייעס), **מאכלויקעסן, טאעסן, ביימען** (בוימער) אָדער **באימער, פישן** (אסאך פיש), **שע** (פיל שאען)? **ברונעמס** אָדער **ברינעמער**? **נארן, נאראנים** אָדער **נאראים**? **רעבעס, ראביים** אדער **ראבעים**? **קני** אָדער **קניעס**? **ברונעמער, בוידעמער** אָדער **ברונעמס, בוידעמס**?

96, וואָס פאר פאָרמען עקזיסטירן בא אייך פאר גלעטווערטער: **מאמעשי? מאמעניו, מאמעליו, מאמעלע, מאמעטשקע, מאמינקע**?

97. און פאר פארקלענערטע: **מיילעכל, מיילעכן, מיילכעלע? טישעלע, טישל**?

98. קען מען בא אייך זאָגן: **אויגאנעס, שטעקאנעס, גאנצענע, וועגענער, שטעקענער? אזעלכענע** צאָרעס. און—**פיסיילעס, שטיביילעס**—האָט איר געהערט?—און וואָס פאר אַ באַרייטונג האָבן אַזעלכע פאָרמען: צי ווייזן זיי בלויז די גרויס פון דער זאַך, אָדער ס׳ווערט נאָך אויסגעדריקט די באַציונג פונעם ריידער—אַכטונג, איראָניע, פאראכטונג?

99. אַף אויסצודריקן א צוגעלאָזט—איראָנישן טאָן ווערט געברויכט די ענדונג—**עץ**, —**ויץ: באכערעץ, גויעץ, נארוץ**?

און די נידערשעצונג מיט דער ענדונג ןּ ', יק אדער אנדערע: **שניידערוק...?**

100. ווי זאָגט מען בא אייך: א **שיין** קינד אדער א **שיינע** קינד? אַ **קליין** שטעטל אדער אַ **קליינע** שטעטל?

101. אויב ס׳ווערן געברויכט די צווייטע פאָרמען, זיינען פונדעסטוועגן מעגלעך אַזעלכע אויסדריקן: **גוט** מאָרגן, **גוט** יאָר, א **גאָלדן** פינגערל, מיין **גאנץ** לעבן, מיין זיס לעבן, **גאנץ** קאָהאל, **גרויס** ראכמאָנעס, **גרויס** דערעכערעץ, **גוט** אויג? און—מיט **גרויס** ראכמאָנעס, **פאר גרויס** קאיס, מיט **גאנץ** קאהאל—איז מעגלעך?

102. אין אַ **פרייעם** אדער אין אַ **פרייען** לאַנד—זאָגט מען באַ אייך? דעם **רויעם**—דעם **רויען** עפל? **גרויעם**—**גרויען**? **שיינעם**—**שיינען**? **ריינעם**—**ריינען**? **רויטן**-**רויטעם**? **שנעלן**-**שנעלעם**?

אויב מע וועט זאָגן—דעם **יונגן** מענטשן—אָן אַ **ע** (אין אייגנשאַפטוואָרט) ווערט דער דאָזיקער **ע** פונדעסטוועגן אַרויסגערעדט אין הויפטוואָרט: די גראָבע **יונגען**?

70. איז אין אייער אויסשפּראַך מעגלעך צו הערן א שוואַכן נאָזצוהויך אין אזעלכע ווערטער ווי מיין, דיין, זיין און אנד. מע זאָל, צ. ב., זאָגן מאָ (מיט א לאַנגן א און אַ שוואַכער נאָזצוהויך צום סאָף)?

און אַנשטאָט די ווערטער—מייסטער, דייגע, אַשר—קען מען הערן—מאנסטער, דאנגע, אנשער?

71. א מ אָדער אַ נ הערט איר אין סאָף ווערטער:
שרייבן, קלייבן, ליפּן, זויפן, העלפן, הייוון, אייוון?

72. ווי זאָגט מען בא אייך: איך אָדער ייך? איד אָדער ייד? אינגל אָדער ייִנגל? איר (צווייטע פּערזאָן מערצאָל) אָדער ייר? איר (ווייבלעכער דאטיוו איינצאל) אָדער ייר?

73. ווי איז ריכטיקער לויט אייער אויסשפּראַך: ציען, צייִען אָדער ווי אַנדערש? פליען, פלייִען?, זעהען זעען, זייען?

74. איז באַ אייך מעגלעך, אַז מע זאָל דעם ה ניט אַרויסריידן דאָרט, וואו ער איז פאַראַן אין דער ליטעראַטור, און אַרויסריידן אים דאַווקע דאָרט, וואו אין דער ליטעראַטור איז ער ניטא?

קען מען באַ אייך זאָגן: די און (הון) אט (האט) געלייגט א היי (איי). ער ליגט אפּם איי (היי). אָבער (האבער), האָבער (אבער)?

75. ס אָדער צ הערט מען בא אייך אין די ווערטער: קינצלער, פּענצטער, פינצטער?

76. קומט באַ אייך פאָר, אַז דער ס זאָל פארביטן ווערן מיט אַ ש? זאָגט מען בא אייך: נאש (נאס), שאָד (סאד), איידעש (איידעס), שיידער, גאש, ווישן, בישן, פּאָשיק, ווייש־ינקער, שיוער, שייכל?

77. הערט מען בא אייך אַ פּאלאטאלע (ווייכע) אויסשפּראך פונעם ש? קען מען זאָגן: ש׳אבעס, ש׳אטן, אש׳, נאש׳, וואש׳, ש׳ולאכץ (שאלעכץ), ש׳ולעם (שאלעם), ש׳עפּס, וועש׳, מעש׳, ש׳ויטע, ש׳ויפער, ש׳קוש׳ע (נישקאָשע), פיש׳ (פיש), טיש׳, ש׳וין, ש׳ויב.

78. קען בא אייך פאַרביטן ווערן דער ש אַף אַ ס? ס׳איז בא אייך מעגלעך צו זאָגן:
סניידער, סוסטער, סיסעלע, פּליים. סיסן, וויסן (ווישן), סעמען זיך, סטייסל, סאל, סודעס, סלעפּן, סעפּס, סטופּן סנעל, סלאָפן, סאבעס, סיינער, סווארץ, סמארץ, סיקן, סיקער?

עפּשער ריידן עלטערע מענטשן מיטן ס אין ייִנגערע מיטן ש? עפּשער ווערט בלויז אַ טייל פון ווערטער אַרויסגערעט מיטן ס?

79. איז באַ אייך מעגלעך אַ פּאלאטאלע (ווייכע) אויסשפּראַך פונם טש? מענ׳טש׳, פּעטש׳, טש׳איניק טש׳אָלנט?

80. ווערט בא אייך דער טש פארביטן מיטן צ? קען מען זאָגן: צאָלנט, מענץ, בענצן, וויבצן, הענצקע?

81. איז מעגלעך דער פאַרקערטער פאַרבייט—פונם צ אַף טש? קען מען זאָגן: טשוריק, אכטשיק, פופטשיק, דערטשו, האמטשאע, טשיבעלע, טשימעס—צוריק, אכציק פופציק, דערצו, האַמצאָע, ציבעלע, צימעס.

82. הערט מען באַ אייך דעם ז אַנשטאָט דעם ליטעראַרישן זש? (וואָס) זע, (ווי) זע, סאזע, פארזאווערן, זעדנע, זאלעווען.

83. און דער זש מיטן ז קען פאַרביטן ווערן? זשויער, זשייגער, בוזשים, ראזשינקעס, געזשונט, זשיצן, זשיבעטשיק, זשי, זשיבן, זשיס.

84. קען מען בא אייך הערן: טשיר, דזשיר, טשיכל—טיר, דיר, טיכל?

85. קען מען באַ אייך זאָגן: האלדזש אונדזש׳ גאנדש׳—האלדז, אונדז, גאנז.

86 ווערן בא אייך צוגעשטעלט, אפּגעוואָרפן, אָדער אַרייַנגעשטעלט קאָנסאָנאנטן דאָרט, וואו זיי זיינען אין אַנדערע אויסשפּראַכן ניטאָ: ליגנט—ליגן, אלאינט—אַליין, פּריערט—

60. הערט מען באַ אייך אַ טיילווייזן וואָקאַל—א טיילווייזן יִ (y), ע, אָ אָדער אַן אַנדערן אין די ווערטער: וואָרט, האַרץ, שטאַרק, מאַרק, קאַרק, קאַלב, מילך. אַלזאָ: וואָרײט, האַרײץ, מילאָך, קאַלאַך...?

61. הערט זיך באַ אייך א טיילווייזער ו צום סאָף פון די ווערטער: קלייבן, שרייבן, לייגן, ליידן? קלייבון, שרייבון.. ?

62. אַ עפל אָדער אַן עפל? אַ עמער אָדער אַן עמער? אַ אָקס אָדער אַן אקס?

63. קען מען זאָגן: באַר עים, (בא אים), באַן אונדז (בא אונדז), צין עים (צו אים), אזאַן עפל?

64. הערט מען בא אייך: די נאַם,—אַם, די נאַפּישקע—אַפּישקע, נאַוונט—אָוונט?

קאָנסאָנאַנטן.

65. אין די נאכקומענדיקע ווערטער איז פארצייכנט, ווען דער ל איז פּאַלאַטאַליזירט, ווייך—(רוס ль, פויליש—l) און ווען ער איז האַרט אין דער וואַרשעווער אויסשפּראַך, פאַרגלייכט מיט אייער אויסשפּראַך און ווייזט אָן, אין וועלכע ווערטער טרעפט זיך בא אייך דער ווייכער ל.

א. קאַלט, באַלד, פאַלן, זאַלץ, גאָלד, געוואַלט, שטאַלץ.
ב. לויפן, לויבן, פאַלן, לויט, אבער—קל׳ויבן, גל׳ויבן, קל׳ויסטער.
ג. לאַטען, לאַנד, לאַכן אָבער—קל׳אַפּן, גל׳אַכן, קל׳אַנג.
ד. אַלאַין, לאַיגן. לאָים אָבער—קל׳אינאָ(ר), קל׳אַידאָ(ר), גל׳איבן.
ה. לאָקשן, לאָקן, לאָמפּ, אָבער—גל׳אָק, קל׳אָץ, גל׳אָצן.
ו. שפּיל׳ן, קיל׳, מיל׳, ל׳יד, ל׳יב, ל׳ינג, שיל׳ד, זיל׳בא(ר), בריל׳ן, שטיל׳, בל׳ים, ל׳יפּן.
ז. מול׳ן, גול׳ן, צול׳ן, שמול׳, בל׳וזן, קל׳וגן, של׳וגן.
ט. וועל׳דאָ(ר), פעל׳דאָ(ר), מעל׳קן, געל׳ט, ל׳עמפּל, ל׳עפּל, גל׳עקל.
י. האיל׳ן, צאיל׳ן, איל׳אָם, גאָיל׳אָם.
כ. זעקל׳, פּעקל׳, שטעקל׳.

66. טרעפט באַ אייך, אַז אַנשטאָט דעם ל זאָל זיך הערן אַ טיילווייזער ו?

קען מען באַ אייך זאָגן: לאַבו (לייבל), וואַבו (ווייבל), שמייכו (שמייכל), דעכו (דעכל), פאַסטעכו (פאַסטעכל), זעמו (זעמל), פלעמו (פלעמל), הימו (הימל), לעפו (לעפל), קעפו (קעפל), לעמפו (לעמפל)? מעסערו, פעדערו, זינגערו (אין די דאָזיקע ווערטער ווערט דער ר, מעגלעך, ניט אַרויסגערעט און ריכטיקער וועט זיין צו שרייבן: מעסעוו, פעדעוו, זינגעוו), קאַוט, וואָוף, ביון (קאַלט, וואָלף, בילן).

67. וואָס פאַר א ר רעט מען באַ אייך?

ווערט ער באַ אייך נאָך וואָקאַלן, באַזונדערס צום סאָף, אינגאַנצן פאַרפאַלן? מוטע(ר), ברודע(ר), שיינע(ר), דע(ר)נאַך, פאַ(ר)געסן?

עפּשער איז דער ר בא אייך א כאָרכלדיקער, קימאַט ווי א ה אָדער גאָר ווי א כ? הייזל, פּעטעה, מוטעה—רייזל, פּעטער, מוטער?

מעגלעך, אַז ער ווערט באַ אייך אַרויסגערעט שאַרף, מיט א ציטער פון דער צונג?

68. הערט מען בא אייך דעם ווייכן נ אין די נאכקומענדיקע ווערטער?

א. שענ׳קען, העננ׳גען, בענ׳קען, שלענ׳גל. לענ׳ג, ענ׳ג.
ב. בענ׳טשן, הענ׳טשקע, מענ׳טש, ווינ׳טשן.
ג. זינ׳גען, זינ׳קען, שפּרינ׳גען.
ד. לאַנ׳ג, קלאַנ׳ג, גזאַנ׳ג.

69. עפּשער הערט מען אין אייניקע פון די געבראַכטע ווערטער אַזאַ נ ווי אין די ווערטער זאָקן, טראָגן? דער דאָזיקער נ איז אין גאַנץ יידיש איינער און דערזעלבער.

אומבאטאָנטע וואָקאלן.

47. צום סאָף פון די נאכקומענדיקע ווערטער איז אין די פאַרשיידענע אויסשפּראכן מעגלעך די קלאַנגען—ע, י^{3}, י^{2}, אָ. ווי איז בא אייך?

מאמע, טאטע, זיידע, באָבע, טוירע, מאציייווע, פּאַרנאָסע, קאַפּאָרע, מאַטאָנע. אלזאָ: **מאמע, מאמי^{3}, מאַמי^{2}, מאמאָ...?**

48. וועלכן פון די אויסגערעכנטע וואָקאלן הערט איר אין לעצטן זילב פון די נאכקומענדיקע ווערטער: **יאנטעף, אלמען, פּאסעק, שאמעס, זיידעס, פּאַסטעכל, גרעניץ?**

49. דאָסזעלבע ווייזט אָן וועגן די ווערטער: **בוידעם, פּאָדים, אוילאָם גוילאם.**

50. ווי קלינגען בא אייך די ווערטער: **ברודער, פּעטער, גוטער, שיינער?—ברו(י)דע? ברו(י)דאָ?** אָדער אַנדערש?

51. וועלכן קלאַנג הערט איר אין פאַרלעצטן זילב פון די ווערטער: **קאַפּעטע, פּאָדלעגע, מאַמעש, כאָליווע, פּערענע.**

52. פאַרשרייבט פּינקטלעך די ענדונג פון די ווערטער: **מח, כח, רח, רוח, מיידלאך, גרינדלעך, נעבעך, שטילעכל, שפּייעכץ, פּארבראקעכץ, פּייסאָך, ל׳ילאך, לעקאך.**

עכ, אַכ, אָכ,—אָדער אַן אַנדער קלאַנג הערט איר אין דער ענדונג.

עפּשער אין פאַרשיידענע ווערטער פאַרשיידן?

די ערשטע פיר ווערטער קען מען בא אייך ארויסריידן אזוי: **מעיך, קעיך, רעיך, רוך?**

53. אַ אָדער אָ הערט מען בא אייך אינעם ערשטן טראַף פון די ווערטער: **פּאגאָדע, קאנצערט, הארלאטשיק, האלאבליעס?**

54. וועלכן קלאַנג הערט איר אין ערשטן זילב פון די ווערטער: **פּאַרנאסע, פּארשוין, מאטאנע, מאציייווע, קאטאוועס.**

איז מעגלעך צו זאָגן: פּי^{3}נוסע, פּי^{3}שוין מי^{3}טונע...?

55. וואָס פאַר אַ קלאַנג—ע, י^{1}, א אדער א אַנדערן—הערט מען בא אייך אַנשטאָט דעם העברעישן שוואָ? **לבנה, גדולה, מנורה, קדושה, מלמד, מכשפה, מחותנתטע, גנבה, בשעת, נדבה, בהמה, ירושה, יריד.**

ס׳איז מעגלעך: 1) י^{1}. **גי^{1}דולע, גי^{1}נייווע, בי^{1}שאס.** 2) ע (ניט קין דייטלעכער ע, צווישן י^{2} און ע): **גענייווע, געדולע, בעשאס.** 3) י^{3} (y): **גי^{3}נייווע, גי^{3}דולע, בי^{3}שאס.** 4) אַ: **מאלאמעד, מאכוטן, גאנייווע.** 5) עי: **לעירעך, לעיוואנע,**

6) קיין שום וואָקאל: **גנייווע, מלוכע, קדושע.**

עפּשער אין פאַרשיידענע ווערטער פארשיידן?

56. **בא, בי, בע** אדער ווי אַנדערש קלינגט בא אייך דער ערשטער זילב אין די ווערטער: **באגראבן, באריסן, באשאפן?**

עפּשער אין פאַרשיידענע ווערטער פאַרשיידן?

57. דאָסזעלבע ווייזט אָן וועגן די טיילעכלעך— **גע, צו:**

געגראָבן, געבראָכן, צובראָכן, צוריסן. אָדער: **גי^{3}גראָבן, גי^{3}בראכן?** אָדער: **גי^{1}בראָכן?**

58. **אנטלויפן** אָדער **אנקלויפן?** ברענגט נאך ביישפּילן, אויב ס׳ווערט געברויכט דאָס טיילעכל **אנק.**

59. איז בא אייך מעגלעך, אַז דער **ע** צום סאָף זאָל זיך אינגאַנצן ניט הערן אין די נאָכגעקומענע ווערטער: **געדאנקען, געזונגען, געטרונקען, סאָרען, דער באָבען, מוישען, פייגען,—געדאַנקן, געזאנגן..?**

אויב אַזאַ דערשיינונג איז פאַראַן באַציט זי זיך אַף אַזעלכע ווערטער, ווי: **שלוימען, האָמאָנען?**

28. איז באַ אייך מעגלעך אַ ווייכע אויסשפּראַך פונעם ע, אַזוי ווי דער רוסישער e, מיענק, ביענצן, גיעלט, מיעל, וויעלט? (ריכטיקער איז צו פאַרצייכענען: מ׳ענק, ב׳ענצן, ג׳עלט, מ׳על, וו׳עלט, וואָרים ווייך איז דאָ דער קאָנסאָנאַנט, ניט דער וואָקאַל.).

29. עי, י^{3}י (yj) אָדער אַי הערט זיך אין די ווערטער: שניי, וויי, אייביק?

30. י^{1}, אָדער י^{3} איז באַ אייך אין די ווערטער: בינדן, בלינד, ווינטער, פּיש׳ ליגן, מישן?

31. און אין די ווערטער: דינגען, דרינגען, קלינגען, זינגען, שפּרינגען, טרינקען?

32. הערט מען באַ אייך דעם מיטעלן קלאַנג—צווישן י^{1} און י^{3}, וואָס מיר פאַרצייכענען דורך י^{2}, אין די ווערטער: ליב, פאַרלירן, פאַרדינען, פליגל, דינסטיק, דיר, שטיוול, דירע, ניגן?

33. אָנשטאָט—ליכט, זיך, (אַקצענטירט), גיך, גיכער, זיכער, וועט מען זאָגן: לעכט אָדער לאַכט, זעך אָדער זאַך, זאָך, זאַכאָ, זעכער א. אַ. וו.

34. אויב אין די געבראַכטע ווערטער הערט מען באַ אייך יכ, ווערט עפּשער אין וואָרט גיכער—אַרויסגערעדט אַ עכ—געכער? עפּשער זענען אין אייער אויסשפּראַך פאַראַן נאָך אַזעלכע ווערטער?

35. ווי איז באַ אייך: היפּש, היבש אָדער העיבש? אונטערשיד אָדער אונטערשעיד?

36. מאַכט זיך באַ אייך, אַז דער כיריק זאָל אַרויסגערעדט ווערן ווי אַ: קאַמאַט-כמעט, מאלכאָמע—מלחמה?

און דער כיריק זאָל קלינגען—עי: כאָלעילע, ראַבעים?

37. באַמערקט זיך באַ אייך אַן אונטערשייד אין דער אויסשפּראַך פון די ווערטער— זיך, מיך, דיך, ווען אַף זיי פאַלט דער שטאַרקער אָדער שוואַכער אַקצענט? באָדן זעך, באָדן זאַך, באָדן זאָך? זיך, זאַך, זאָך—נעמסטו? זעסט—מיך, מעך, מאָך? מיך, מעך, מאָך—זעסטו?

38. ווי ווערט אויסגערעדט דאָס וואָרט איך: יאַך, יעך, איך, ייך, עך?

39. פאַרצייכנט די אויסשפּראַך פון די ווערטער—מיר, דיר, איר אונטערן אַקצענט און אָנעם אַקצענט. מיר גיב דאָס און גיב מיר; דיר גיב איך, און גיב איך דיר.

40. איז מעגלעך די אויסשפּראַך: מי׳אָ (מיט אַ טיילווייזן אָ צום סאָף)—מיר?

41. אַי, אַ אדער אַ̄ (לאַנגער אַ) הערט זיך אין די ווערטער: מיין, דיין, זיין פריין, אייזן?

42. אויב ס׳ווערט אין די פאָריקע ווערטער אַרויסגערעדט אַי, הערט זיך עפּשער אַ אין אַזעלכע ווערטער: רייך, טייך, לייכט?

43. י^{3}, י^{2} אָדער י^{1} הערט איר אין די ווערטער: בריוו, דינען, דינסטיק, ליד, שיר?

44. עי, י^{3}י אָדער אַי—הערט זיך אין די ווערטער: ביידע,ביין, אייגן, פלייש, קליין, קליידער, מיינען, ריין? עפּשער הערט זיך דער קלאַנג—אַ̄ (לאַנגער אַ)— קלאַ̄ד, פלאַ̄ש?...

45. וועך, צעכן, קעכעס, עך (ווייך, צייכן, קויכעס, אויך), איז באַ אייך מעגלעך אַזאַ אויסשפּראַך?

אָי, עי, אָדער י^{3}י—הערט מען אין די ווערטער: קויפן, לויפן, אויג, רויבן, טויגן?

46. שטייסל, ביימער, רייכערן, גלייבן, זייגן.

ווייזט אָן די ריכטיקע אויסשפּראַך פון די דאָזיקע ווערטער: שטו׳סל, שטעיסל, שטאַיסל? אָדער ווי אַנדערש?

11. פאַרצייכנט די אויסשפּראַך פון די ווערטער: **אויער, טויער, רויער.—עווער. שעווער, רעווער?** אָדער: **אייער, טייער, רייער?** אָדער אַנדערש?

12. וּ, י[3] (y) אָדער י[1] הערט מען באַ אייך אין די ווערטער: **בּרוּנעם, בּרוּסט, געזוּנט, פרוּם, הוּנט, שוּלד, באַזוּנדער. טרוּקן?**

קען מען הערן **אָן** אנשטאט **און?**

13. אויב ס'ווערט באַ אייך אין די געבראַכטע ווערטער אַרויסגערעט ניט קיין וּ, נאָר י[3], טאָ הערט זיך צו, ווי איז אין די ווערטער: **גוט, יונג, קומען, קוש, קומער, גומען**—אויך י[3] (y) אָדער י[1] (i)?

14. אויב ס'איז באַ אייך אָנשטאָט דעם ליטעראַרישן וּ—י[3] אָדער י[1], טאָ קען מען הערן אַ מיטעלן קלאַנג-צווישן y און i–, וואָס מיר פאַרצייכענען מיטן י[2], אין די ווערטער: **טונקל, בּלום, טוך, שטול, בּלוט, טון** (טאָן)?

15. וועלכן קלאַנג—וּר, **אָר**, י[3]ר (yr). אָדער אַן אַנדערן—הערט איר אין די ווערטער: **דורך, דוּרשט, בּוּרעקעס, קורץ, טורמע, מוראַשקעס, וואורשט?**

16. פאַרצייכנט די אויסשפּראַך פון די ווערטער: **הויז, הויט, אויס, בּרוין, בּויך, קרויט, מויל, מויז, אויף, טויב, פלוים, שויב, יויך, וויינטרויבּן, מויד, גרויפּן.**

דאָ זענען מעגלעך די קלאַנגען—וּ (הוּז, הוּט, מוּז, בּוּך), וּי (הוּיז, הוּיט, מוּיז, בּוּיך), אָי (האָיז, האָיט, מאָיז, באָיך), אָוּ (האָוּט, באָוּך), אָ (האָז, באָך, מאָז) און אַנד.

מעגלעך אַז אייניקע ווערטער רעט מען אַרויס מיט איין קלאַנג, די אַנדערע מיט אַ צווייטן. פאַרצייכנט עס.

ס'איז אויך מעגלעך, אַז יונגע און אַלטע ריידן אַרויס פאַרשיידענע קלאַנגען אין די דאָזיקע ווערטער.

17. פאַרשרייבּט די אויסשפּראַך פון די ווערטער: **מויער, פויער, זויער, טרויער געדויערן. מאָווער? מוער? מויער? מאָיער?**

18. וּ, י[3] (y), י[2] אָדער י[1] ווערט באַ אייך אַרויסגערעט אין די ווערטער: **בּרוּדער, פאַרזוכן, גוט, מומע, בוך, בּלוט, שטול, גומען, טוך, בּלום, פוּס, צוּ, הוט, גענוּג?**

עפשער אין פאַרשיידענע ווערטער פאַרשיידענע קלאַנגען?

הערט מען באַ אייך: **מיגן** (מעגן), **קיניג** (קעניג), **גילדענער** (גאָלדענער)?

19. **אַי** אָדער **אָ̄** (לאַנגער **אַ**) הערט זיך אין די ווערטער: **לייט, טייוול, געטריי, פריינט, פיינט, היינט?**

20. אויב מע זאָגט באַ אייך—**לאיט, פראַינט,** הערט מען עפשער דעם **אַ** אין די ווערטער: **לייכטן, לייכטער, מייכל. ייכל?**

21. **ע** אָדער אַן אַנדער קלאַנג הערט איר אין די ווערטער: **מענטש, בּעט, לעשן, געדענקען, ענג, הענגען, בּענקען?**

22. **ע, עי,** י[3]י (yj) אָדער י[3] רעט מען באַ אייך אַרויס אין די ווערטער: **לעבּן. פלעגן, וועגן, טרעטן?**

23. **ע, עי** אָדער **עיאָ** (צום סאָף אַ טײלווייזער **אָ**, מעגלעך **ע**) רעט מען באַ אייך אַרויס אין די ווערטער: **ערד, שווערט, שווער, ער, מער, ווער?**

24. פאַרשרייבּט די אויסשפּראַך פון די ווערטער: (עי, י[1]י, אַי?) **אייל, איידל, אָנהייבּן, לייגן.**

25. קען מען באַ אייך הערן: **בּראכן** (ברעכן), **קנאַכט** (קנעכט), **וואַרטאָ** (ווערטער). **אַרטאָ** (ערטער). **לאַראָ** (לערער), **לאַרענען** (לערנען)?

26. קען מען הערן דעם קלאַנג י[3] (y) אָנשטאָט **ע** אין די ווערטער: **לעבּן, גלעזער, קעגן, שעמען זיך, געזעגענען זיך, נעפּעש, בּאַשעפעניש?**

27. **ע,** י[3] אָדער **עי** הערט מען אין די ווערטער: **קערן, בּאַשערן, הערן, ווערן, שערל, ערשטער?**

פאָנעטיק.

באטאָנטע וואָקאלן.

1. וואָס פאַר אַ קלאַנג הערט איר אין די נאָכקומענדיקע ווערטער: אַ קורצן אַ, אַזוי ווי עס ריידן אים אַרויס די ליטווישע יידן, אָדער אַ לאַנגן, אויסגעצויגענעם אַ אָדער עפשער גאָר אַן אַנדער קלאַנג? אַקסל, אַלץ, אַנדערש, אַרבעטן, באַנק, האַלטן, דאַנק, גאַנץ, גאַסט, האַנט, קראַפט, לאַכן, לאַנד, נאַכט.

2. הערט מען באַ אייך ריידן: טאָטע, מאָמע, כאָסענע, קאָץ, זאָמד, טאָפלי, אָלט, קלאָל?

3. אויב יאָ, טאָ ווייזט אָן, וואָס פאַר אַ קלאַנג—אַ אָדער אָ רעט מען אין אַזעלכע ווערטער:

א. אַוועק, אַלעווייי, אַקלאַל, אַהער, אַהין, אַנידער, אַהיים.
ב. מאַכן, לאַכן, מאַכט, נאַכט.
ג. וואַרטן, נאַר, האַרגענען, אַרן, וואַרפן, שאַרפן, אַרבעט.
ד. האַק, פאַק, געשמאַק.
ה. מאַשקע, וואַשן, קאַשע, נאַשן, ראַש.
ו. לאַנג, שאַנק, שלאַנג, געדראַנק.
ז. סאַזשע, מאַזשען.
ט. פאַטש, קאַטשען, קאַטשקע.

אַלע, אָלע אָדער י3לי (yly) זאָגט מען באַ אייך?

4. ווי רעט מען באַ אייך: באַלן אָדער באַילן? קאַס אָדער קאַיס? מאַימער אָדער מאַמער? מעשוגאַס—מעשוגאַיס?—קען מען הערן: איינצוג, איינטייל—אַנטייל, מאָנייט—מאָנאַט?

5. קען מען באַ אייך הערן דעם קלאַנג ו (רוס.–y פויליש–u) אין די ווערטער: אָרעם, באָדן, קלאָגן, האָבן, שאָדן, פאָטער, טאָטער? אַלזאָ: אורעם, בודן, קלוגן א.א.וו.

6. עפשער איז דער דאָזיקער ו אַ לאַנגער, אויסגעצויגענער? אוֹרעם, בוֹדן, קלוֹגן...?

7. הערט מען באַ אייך דעם צווייקלאַנג ױ ע (אַ לאַנגער ו און אַ טיילווייזער ע) אין די נאָכקומענדיקע ווערטער? באָרד, נאָז, גלאָז, גאָר, וואָס, שטאָט, באָד, גראָז, שמאָל, יאָר, פאָר, האָר? בוערד, נוּעז, גלוּעז...

8. פאַרשרייבט די פּינקטלעכע אויסשפּראַך פון די ווערטער: גרויער, בלויער, טאָעס, קאַטאָעס.-גראָווער, בלאָווער, טאָוועס, קאַטאָוועס? גראָער, בלאָער? אָדער ווי אַנדערש?

9. אין די נאָכקומענדיקע ווערטער ווערט באַ אייך, מיסטאָמע, אַרויסגערעט אַ קורצער אָ? וואָרט, גאָלד, גראָב, גאָט, קאָפּ, האָלץ, מאָרגן, אָבער, אָפן.

10. אָי (oj), עי (ej) אָדער י3י (yj)—הערט מען באַ אייך אין די ווערטער: וואוינען, הויף, לויבן, קוימען, מוירע, טוירע, גרויס, הויך, קלויסטער, נויט? אַלזאָ: וואָינען, ווערנען אָדער ווי3ינען? האָיף, העיף, אָדער הי3יף? א. א. וו.

איז באַ אייך מעגלעך די אויסשפּראַך—טערע, מערע, דווערע—טוירע, מוירע, דוואוירע?

א) י מיט דער ציפער איינס (י1) באַטייט דעם קלאַנג i (רוסיש и). ב) י מיט דער ציפער צוויי (י2)—דעם קלאַנג צווישן i און y, ווי דער דייטשער ü, נאָר אָן דער ליפּנרונדונג. ג) י מיט דער ציפער דריי (י3)—דעם קלאַנג y (רוס. ы). ד) י=j. ה) אָי=oj. ו) אַי=aj. ז) עי=ej. ט) וי=uj. י) י3י=yj. כ) אַ טיילווייזער וואָקאַל ווערט פאַרצייכנט דורך אַ האַלבקייקעלע פון אונטן. צ. ב. ף-ניט קין פולער ו. ל) אַ לאַנגער וואָקאַל ווערט פאַרצייכנט דורך אַ פּאַסיקל פון אויבן (אָ̄, ע̄). מ) אַן אַפּאָסטראָף איבערן קאָנסאָנאַנט באַטייט די פּאַלאַטאַליזירטקייט (ווייכקייט) זיינע (נ׳, ל׳).

6. מע דאַרף זיך ניט באַגנוגענען מיטן איבערכאַזערן אין דער אָדער יענער פאָרם דעם מאַטעריאַל פונעם פּראָגראַם. מע מוז וואָס מער ברענגען אייגענע ביישפּילן, באַזונדערס אין יענע פאַלן, ווען איר האָט צו טאָן מיט אַן אָריגינעלער דערשיינונג, וואָס שייט זיך שטאַרק אונטער פון די אָנגענומענע פאָרמען, קלאַנגען א. א. וו.

7. ווייזט אויספירלעך אָן די געאָגראַפישע גרעניצן פון דער אויסשפּראַך, וואָס איר באַשרייבט זי. ווייזט אויך אָן די גרונטייגנשאַפטן פון די שכיינעסדיקע אויסשפּראַכן. אויב אַף דער דורכויסעדיקער טעריטאָריע פון אייער אויסשפּראַך געפינען זיך אינזלען, יישואווים פון אַנדערע אויסשפּראַכן (פאַרשטייט זיך, יידישע) כאַראַקטעריזירט זיי אויך.

8. געדענקט, אַז וועגן אַלץ איז אינעם פּראָגראַם אומעגלעך צו פרעגן, וואָרים אַ סאַך אייגנשאַפטן פון אונזערע אויסשפּראַכן זיינען מיר אַפילע ניט כוישעד. דערפאַר דאַרף דער קלייבער אַליין דערפילן דעם פּראָגראַם און אָנווייזן אויך אַזעלכע דערשיינונגען פון זיין אויסשפּראַך, וועלכע מיר דערמאָנען ניט.

9. ס׳איז מעגלעך צו ענטפערן ניט אַף אַלע פראַגן פונעם פּראָגראַם. מע קען זיך אויסקלייבן אַ געוויסע אָפּטיילונג—די קלאַנגען, פאָרמען אָדער דעם ווערטערבוך. מע דאַרף זיך אויך ניט רעכענען מיט דער גרויס פונעם מאַטעריאַל. עטלעכע אין דער ליטעראַטור ניט באַקאַנטע ווערטער, ביפראַט נאָך פאָרמען, האָבן אויך אַ גרויסן ווערט.

10. די פראַגן זענען ניט פאַרטיילט לויט די דיאַלעקטן. ס׳איז דערפאַר, ווייל אַ סאַך פראַגן זענען געמיינזאַמע פאַר אַלע אויסשפּראַכן. אַכוץ דעם זענען פאַראַן גרעניצדיאַלעקטן, וואו מע קען געפינען די סימאָנים פון פאַרשיידענע אויסשפּראַכן. דערפאַר דאַרף דער קלייבער אַליין אויסטיילן יענע פראַגן, וואָס זענען שייעך צו זיין אויסשפּראַך און בלויז אַף זיי ענטפערן.

11. דעם ענטפער דאַרף מען פאַרצייכענען מיט דעמזעלבן נומער, וואָס עס שטייט באַ דער פראַגע.

12. די מאַטעריאַלן דאַרף מען צושיקן לויטן אַדרעס:

Минск. Инбелкульт. Евотдел. Лингвистической комиссии.

בריוו, באַנדעראָלן און אַלע שיקונגען אַפּם אַדרעס פון ·אינווייסקולט זענען פריי פון פּאָסטאָפּצאָל און ווערן איבערגעשיקט א ו מ ז י ס ט. (גרונד: די באַשטימונג פון סאָווּנאַרקאָם סססר פון 2 סענטיאַבר 1924 יאָר און פון 26 דעקאַבר 1922 יאָר, ווי אויך דער צירקוליאַר פון נאַרקאָמפּאָטשטעל פון 16 סענטיאַבר 1924 יאָר נום. 868—34, פאַרעפנטלעכט אין ביולעטען נום. 37 פון 1924 יאָר).

13. די בעסערע קאָרעספּאָנדענצן, אומאָפּהענגיק פון זייער גרויס, וועלן געדרוקט ווערן אין די אויסגאַבן פון אינווייסקולט. פאַרן געדרוקטן מאטעריאל ווערט אַרויסגעגעבן ווערן האָנאָראַר.

14. די בעסערע קאָרעספּאָנדענצן, וואָס וועלן צוליב באשטימטע סיבעס, ניט געדרוקט ווערן, וועלן פונדעסטוועגן באַצאָלט ווערן.

מ. וויינגער.

מ. ווײַנגער.

וואָס, ווי אַזוי און בײַ וועמען קלײַבן און פאַרשרײַבן.

באַם קלײַבן דעם מאַטעריאַל לויט דעם דאָזיקן פראָגראַם דאַרף מען אָפּהיטן פאָלגנדיקע פאָדערונגען:

1. קלײַבן דאַרף מען בײַ די שטענדיקע אײַנוואוינער פונעם אָרט, און זייער שפּראַך דאַרף מען שטרענג אונטערשיידן פונעם ריידן פון די אָנגעפאָרענע.

2. ס׳מערקט זיך אַן אונטערשייד אינעם ריידן פון מענטשן ניט בלויז פון פאַרשיידענע וואוינערטער, נאָר אויך בײַ פאָרשטייער פון פאַרשיידענע געשלעכטער, דורעס און באַשעפטיקונגען. מע דאַרף דערפאַר קלײַבן דעם מאַטעריאַל אין אַן איינאַרטיקער מאַסע. ס׳איז נייטיק אָנצואווייזן די אונטערשיידן, וואָס מערקן זיך אינעם ריידן פון יונגע און אַלטע, מענער און פרויען. מע דאַרף פאַרשרײַבן דעם עלטער, געשלעכט און באַשעפטיקונג פון די, בײַ וועלכע מע קלײַבט דעם מאַטעריאַל.

3. זאַמלען איז בעסער ניט דורך פרעגן, וואָרים דערבײַ קען מען אומבאַמערקט פאַר יענעם אָנוואַרפן אים אַ פרעמדן פאַר זײַן אויסשפּראַך קלאַנג, וואָרט, פאָרם. מע דאַרף זיך צוהערן בײַ יעדער געלעגנהייט צו די רייד פון די אַרומיקע און אָדער באַלד פאַרשרײַבן אָדער האַלטן זיי אין זיקאָרן און דערנאָך פאַרצייכענען. אופנעמען איז בעסער גאַנצע אויסדריקן און געדאַנקען, אַזוי ווי ס׳קומט זיי אויס צו הערן, קעדיי דער, וואָס ס׳וועט אים אויסקומען פאַנאַנדערצואַרבעטן די מאַטעריאַלן, זאָל קענען אויסנוצן אַפילע אַזעלכע דערשײַנונגען, וועלכע דער זאַמלער האָט געהאַלטן פאַר ניט וויכטיק אָדער ער האָט זיי אינגאַנצן ניט באַמערקט.

4. נאָך בעסער איז פאַרשרײַבן לידער, מייסעס, גלײַכווערטלעך, און אַנד.—אַזעלכע מאַטעריאַלן וואָלטן געבן רײַכערע פאַקטן וועגן דער שפּראַך און וואָלטן אויך פאַרווירקלעכט אַן אַנדער ציל: צונויפקלײַבן די פאָלקשאַפונג, וואָס ווערט פון טאָג צו טאָג פאַרגעסן און אַרויסגעשטויסן דורך דער קינסטלעכער ליטעראַטור, נאָר דערבײַ דאַרף מען אַף יעדן טריט געדענקען, אַז פאַרן שפּראַכפאָרשער האָבן אַ ווערט בלויז יענע מאַטעריאַלן, וואָס זײַנען פאַרשריבן **פאָנעטיש**, ד. ה., יעדער קלאַנג ווערט פאַרצייכנט ניט אַזוי, ווי עס איז אים אָנגענומען צו שרײַבן אין דער ליטעראַטור, נאָר אַזוי, ווי ער ווערט אַרויסגערעט אין יענער אויסשפּראַך, וועגן וועלכער מע קלײַבט די מאטעריאַלן.

5. באַם פאַרשרײַבן דאַרף מען געדענקען, אַז די סימאָנים פונעם עקזיסטירנדיקן אַלעפבייז זײַנען ניט גענוג אַף צו פאַרצייכענען די קלאַנגען פון דער שפּראַך מיט דער ווּיסנשאַפטלעכער גענויקייט. אין אַלעפבייז איז, צ. ב., ניטאָ קין סימען פאַרן קלאַנג y (רוסיש—ы), וואָס מע הערט אים אין די פוילישע און דאָרעמרוסלענדישע אויסשפּראַכן. ניטאָ קין סימאָנים פאַר פאַלאַטאַליזירטע („ווייכע”) קאָנסאָנאַנטן, וואָס ווערן אין רוסיש, צ. ב., פאַרצייכנט דורכן ь (нь, ль). אַכוץ דעם ווערן אייניקע סימאָנים געברויכט פאַר עטלעכע קלאַנגען. צ. ב., **יי**-באַטײַט aj און ej (די נעקודעס ווערן געשטעלט ניט סיסטעמאַטיש) א. א. וו.

דערפאַר דאַרף מען אַכוצן געוויינלעכן אַלעפבייז באַנוצן דעם פאָלגנדיקן סיסטעם פון סימאָנים:

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ:

Стр.	Строка.	НАПЕЧАТАНО:	НАДО:
12	10 сверху	схоластизм	схоластицизм
13	33 „	в	об
17	2 „	капиталистическому	социалистическому
—	19 „	, также и мы,	также, как и мы,
81	31 „	Тасоо	Тассо
188	3 „	революций	революции
194	45 „	заков	законов
196	12 снизу	интервьера	интервьюера
197	7 сверху	Щегловитым	Щегловитовым
198	33 „	часто... вся	выкинуть эти слова

ЦЕНА 2 р. 50 к.

Содержание предыдущих номеров „Трудов Б. Г. У."

№ 1.

№ 2—3.

№ 4—5.


B000000008 13003